





PG/3011/V38/1969





AND REPRINTINGS

Venguera, Samen, different auto

C A Someposi

Comment waster

по мерери

VCCKON IMTERATOREL

2-n statement, feet papers bern.



MOUTON

THE OROTE - PARKET

SLAVISTIC PRINTINGS AND REPRINTINGS

edited by
C. H. VAN SCHOONEVELD

Indiana University

226

1969
MOUTON
THE HAGUE · PARIS



Библіотека "СВѣТОЧА"

подъ редакціей С. А. Венгерова.

№№ 56-65.

Серія "Исторія и теорія литературы" № 4.

Vengerov, Semen Afanas' evich

С. А. Венгеровъ.

Ocherki po istorii russko: literatury.

ОЧЕРКИ

ПО ИСТОРІИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

2-е изданіе, безъ перемѣнъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія т-ва "Общественная Польза", Б. Подъяческая, 39.

1907.

оглавленіе.

	OIF.
Предисловіе ко II-му изданію	V
Предисловіе къ І-му изданію	VII
Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы.	1— 21
Общій очеркь исторіи новъйшей русской литературы.	23 - 163
Писатель-гражданинъ (Н. В. Гоголь)	165 - 244
Великое сердце (Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій).	245-378
Передовой боецъ славянофильства (Константинъ Акса-	
ковъ)	379 - 492

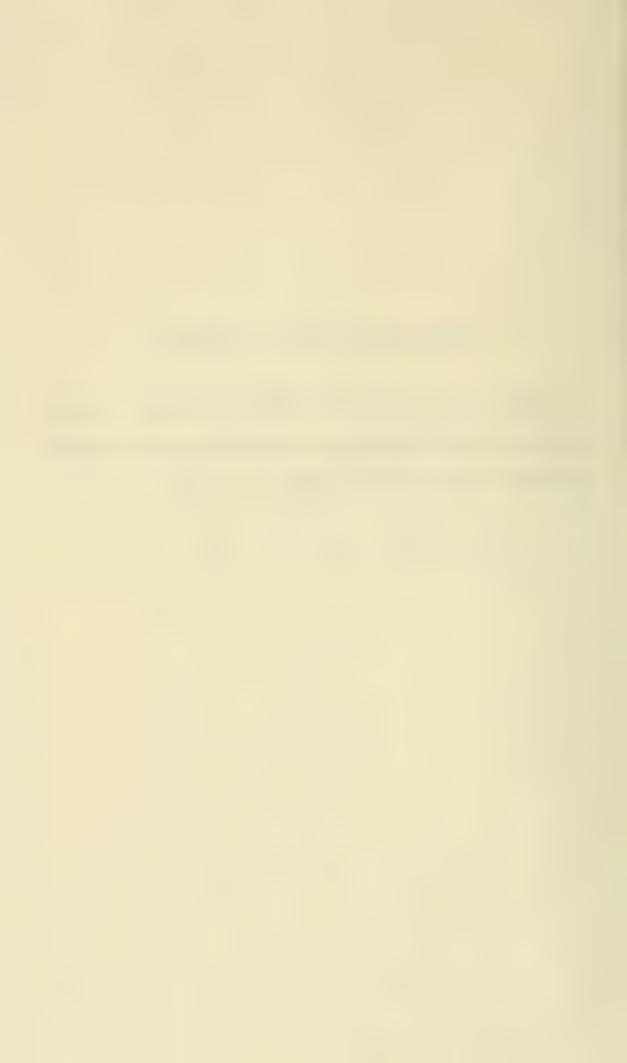
THE RELLETO

Horaconomic na Hear manning and an accompany of the second state o

ПРЕДИСЛОВІЕ КО 2-му ИЗДАНІЮ.

Второе изданіе "Очерковъ" отдѣлено отъ перваго всего нѣсколькими мѣсяцами. Поэтому оно появляется безъ всякихъ измѣненій. Исправлены только нѣкоторыя ошибки и опечатки.

23 сентября 1907 г.

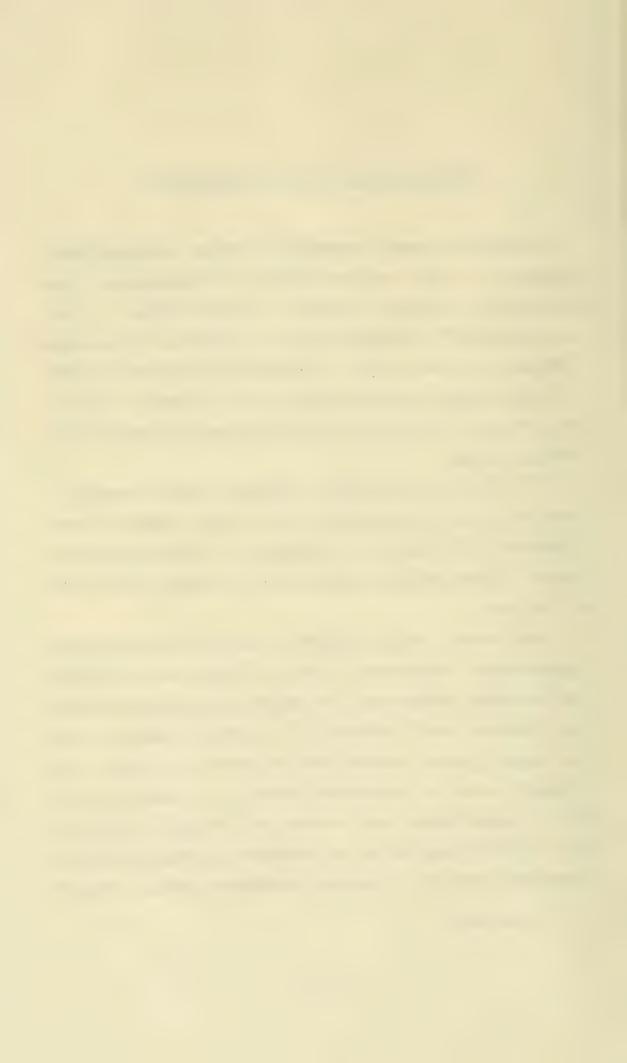


ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ 1-му ИЗДАНІЮ.

Большинство статей, вошедшихъ въ составъ настоящей книги, появляется въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ первоначально были напечатаны въ "Русскомъ Богатствѣ" ("Великое Сердце", "Писа тель-гражданинъ"), "Вѣстникѣ Европы" ("Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы"), "Критико-біографическомъ словарѣ" ("Передовой боецъ славянофильства"). Онѣ дополнены только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ надо было внести нѣкоторыя, позднѣе опубликованныя данныя.

Но "Общій очеркъ исторіи новъйшей русской литературы" подвергся коренной переработкъ и почти весь написанъ заново. Первоначальный эскизъ его напечатанъ въ "Энциклопедическомъ словаръ" Брокгаузъ-Ефрона, здъсь же онъ расширенъ болъе, чъмъ въ три раза.

Этотъ очеркъ отнюдь не имѣетъ цѣлью давать индивидуальныя характеристики отдѣльныхъ писателей. Задача его — представить общую картину литературнаго или, вѣрнѣе, литературно-общественнаго движенія второй половины XIX столѣтія. Признавая основной чертой русскаго литературнаго творчества его тѣсную и неразрывную связь съ общественной жизнью, я съ этой точки зрѣнія и разсматриваю ходъ литературной эволюціи послѣднихъ 60—70 лѣтъ. Наша литература, какъ яркое выраженіе русской общественности— вотъ что я старался прослѣдить въ своемъ "Очеркѣ".



Основныя черты исторіи новъйшей русской литературы.

Вступительная лекція, читанная въ Спб. университеть 24 сентября 1897 г.

I.

На нашихъ глазахъ происходило чудесное превращение, глубоко умилительное для нашего національнаго самолюбія. Русская литература, которой еще такъ недавно въ западно-европейскихъ руководствахъ отводилось четыре-пять страницъ, столько же, сколько литературь румынской и новогреческой, —вдругь стала возбуждать въ Европъ удивленіе, близкое къ энтузіазму. Хотя Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь и Грибовдовъ уже давно переведены почти на всв европейскіе языки, но какъ-то они мало трогали и публику и ценителей. Прелесть Пушкинскаго и Лермонтовскаго стиха пропала въ передачъ, а содержаніе казалось европейскимъ критикамъ подражаніемъ Байрону. Одънить же глубоко-національныя стороны русскаго байронизма, понять насколько въ Онфгинф, напримфръ, геніально воспроизведены чисто-русскія явленія и теченія, европейская критика, при своемъ полномъ незнакомствъ съ русской жизнью, конечно, не могла. Еще менъе могло быть понято ею значение Гоголя и Грибоъдова, съ ихъ воспроизведеніемъ явленій, кажущихся каждому европейцу какоюто грубою и неправдоподобною карикатурою.

Зато и публика и критика Западной Европы въ совершенствъ поняли и опънили гордость и красу русскаго слова второй половины XIX въка—Тургенева. Поразительно, однако, что при всей восторженной внимательности, съ которою Тургеневъ былъ оцъненъ и изученъ въ Европъ, это было признаніе чисто-индивидуальное, къ одному Тургеневу относившееся. Никому изъ прозорливъйшихъ европейскихъ критиковъ не приходило на умъ, что такія снѣговыя вершины литературнаго творчества, какъ авторъ "Записокъ Охотника" и "Дворянскаго Гнѣзда", не мыслимы на плоской поверхности. Онъ неизбъжно должны быть въ связи съ цѣлою горною цѣпью, съ цѣлымъ

рядомъ такихъ же горъ. Следовательно, повести и романы Тургенева должны были вырасти на глубоко-замъчательной литературной почвъ. И только появление въ переводъ "Войны и Мира", "Анны Карениной", "Преступленія и Наказанія", "Обломова" и другихъ русскихъ романовъ подчеркнуло это основное положение истории литературы. Европейская критика была глубоко удивлена, увидъвши, что Тургеневъ, котораго она считала лучшимъ прозаикомъ второй половины въка, имъетъ литературныхъ товарищей, не только не уступающихъ ему въ значенів, но въ лицъ Толстого и Достоевскаго стоящихъ выше его по глубинъ захвата. Такое открытіе не могло пройти безследно, и мы, действительно, видимъ, что въ Европе теперь говорять уже не объ отдельныхъ русскихъ писателяхъ, а о русской литературь. Сочиненія Толстого расходятся въ международной книжной торговле въ такомъ количестве изданій, къ каждому слову великаго русскаго писателя прислушиваются съ такимъ безконечнымъ вниманіемъ, что, въ концѣ концовъ, можно даже задуматься надъ темъ, где онъ более знаменить и любимъ-у себя дома или за границей. Достоевскій произвель сильнейшее впечатленіе и много уже можно указать литературныхъ произведеній, въ томъ числъ такихъ крупныхъ талантовъ какъ Гауптманъ, Бурже, Д'Анунціо, гдф вліяніе великаго патологическаго генія сказалось ярко и наглядно. Но не только великіе представители русскаго слова вліяють теперь на европейское творчество - европейскій литературный міръ прислушивается и къ голосу цълаго ряда второстепенныхъ русскихъ писателей. Въ общемъ, такъ называемое "русское вліяніе" стало виднымъ явленіемъ европейской литературной жизни, что и повело къ знаменательнъйшему результату: русской литературъ отводится мъсто рядомъ съ литературой англійской, французской и намецкой. Это почетное уравнение нашей молодой письменности съ литературой главенствующихъ народовъ пивилизованнаго міра, заматерѣлыхъ въ культурной жизни, не покажется, конечно, преувеличениемъ всякому, кто хоть несколько размышляль надъ первокласнымъ матеріаломъ, даваемымъ новою и новъйшею русской литературой. Пушкинъ, Грибовдовъ, Лермонтовъ, Гоголь, Белинскій и вся плеяда такъ называемыхъ писателей 40-хъ годовъ-развѣ имъ не должно быть отведено мъсто въ первыхъ рядахъ человъчества?

Но, собственно говоря, слѣдуетъ прійти къ еще болѣе разительнымъвыводамъ. Если брать для сравненія только новѣйшую русскую литературу, еторой половины XIX стольтія, то простой перечень ея корифеевъ покажетъ, что мѣсто ея нѣсколько иное. Неужели произведенія Толстого, Тургенева и Достоевскаго стоятъ только рядомъ съ англійской и американской литературой второй половины вѣка, куль-

минаціонными точками которой являются романы Джоржъ Эліотъ, Бичеръ-Стоу, разсказы Бретъ-Гарта, туманная поэзія Броунинга и Вальта Витмана? Только ли рядомъ следуеть ее поместить и съ тою нъмецкою литературою послъднихъ 50 лътъ, во главъ которой стоятъ Ауэрбахъ, Фрейтагъ, Шиильгагенъ и Поль Гейзе? Наконецъ, несовсемь рядомь ей место даже съ французской литературой последняго полувъка, хотя она блистаетъ такими сильными талантами, какъ Дюма-сынъ, Флоберъ, Зола и Гюи де-Мопассанъ. Нътъ, безъ всякаго національнаго бахвальства можно сказать, что по индивидуальному генію своихъ высшихъ проявленій, а главное по основнымъ течепіямъ своимъ русская литература новъйшаго времени стоитъ безусловно выше новъйшей западно-европейской литературы, кульминаціонный пункть которой—не во второй, а вь первой половиню вѣка, въ творчествъ Гете, Шиллера, Гейне, Байрона, Бальзака, Гюго, Жоржъ-Зандъ, Диккенса. Развѣ то, что такъ недавно въ Европѣ являлось последнимъ словомъ художественнаго прогресса-реализмъ, не господствуетъ у насъ уже около семидесяти лътъ? И притомъ, какой же человъкъ съ развитымъ эстетическимъ пониманіемъ не чувствуетъ, насколько мельче многопрославленный европейскій реализмъ 70-хъ и 80-хъ гг., такъ близко граничащій съ порнографіей и отсутствіемъ идеаловъ, въ сравнении съ реализмомъ русскихъ писателей? У русскихъ писателей жизненность изображенія въ самомъ дёлё доведена до полнаго воспроизведенія дійствительности, и это до посліднихъ предёловъ реальное воспроизведение все-таки озарено свётомъ идеала и полно такой любви къ человъку, о которой и помину нътъ даже у крупнъйшихъ европейскихъ реалистовъ. Тъ въ своемъ анализъ жизни дошли до предъла, гдъ трезвость и правда изображенія переходять въ невольный аповеозъ грубъйшихъ инстинктовъ животной природы человъка. И несомнънно, что именно въ этомъ различіи русскаго и европейскаго реализма и лежитъ тайна огромнаго успъха новъйшихъ русскихъ писателей въ публикъ и критикъ Западной Европы. Всъ чувствують, что въ застоявшійся и подернувшійся мутью потокъ европейской литературы вливается какаято свъжая струя, полная своеобразныхъ красокъ, составляющихъ не продукть гніенія и разложенія, а результать органической работы непочатыхъ и не истощенныхъ еще молодыхъ силъ. Вчерашніе варвары говорять какое-то новое слово, которому суждене, и отчасти уже пришлось оказать глубокое вліяніе на блёдное творчество послёдняго періода европейской литературы; оказать въ силу того, что въ этомъ новомъ словъ, въ этомъ одухотворенномъ реализмъ говоритъ не тоска пресыщенія и немощь старческаго истощенія, а юношески-страстный порывъ къ свъту и правдъ.

Π.

Какъ относится высокое развитіе русской литературы къ формамъ русской общественной жизни? Литература есть отраженіе жизни,—гласить историческая наука. У великаго народа всегда бываеть великая литература и наобороть: великая литература есть продукть духовнаго существа великаго народа. У великаго народа, казалось бы, должны быть соотвѣтствующія формы общественной жизни.

Таковы теоретическія построенія. Такъ ли оно, однако же, на практикъ? Нужно ли много распространяться о томъ, что русская общественная жизнь находится еще въ совершенно младенческомъ состояніи? Я, конечно, всего менте намтренъ отрицать, что русская общественная жизнь представляеть собою великую потенцію. Можеть быть, величайшую изъ всёхъ потенцій, вложенныхъ въ русскій національный геній, предназначенную удивить міръ своеобразіемъ своихъ общественныхъ построеній. Но теперь я говорю о настоящемъ и недавнемъ прошломъ, о той странной гражданственности, которая началась прямо съ учреждения Академии Наукъ и, продолжая развиваться въ томъ же направленіи, привела къ тому, что мы стоимъ теперь во главт европейскихъ народовъ по своей литературъ и въ хвостъ по народному образованію. Общественность же создается только участіемъ въ духовной жизни страны среднихъ и низшихъ классовъ. И вотъ почему въ настоящемъ своемъ видъ наша общественная жизнь слишкомъ блъдна и незначительна, чтобы выдержать сравнение съ кипучимъ потокомъ общественной жизни западно-европейской.

Кромѣ литературы есть другія проявленія интеллектуальной жизни: наука, техника, живопись, скульптура, музыка. Въ какомъ соотношеніи находятся онѣ съ высокимъ развитіемъ русской литературы?

Безспорно успѣхи наши въ этомъ направленіи очень велики. П русское искусство, и русская наука выдвинули не одно славное въ Европѣ имя. Въ общемъ, однако, нельзя не признать, что на поприщѣ науки, пластическаго и тональнаго искусства, Россія не достигла еще той стадіи, при которой могла бы вполнѣ стать на одну доску съ наукой и искусствомъ Западной Европы. А тѣмъ болѣе претендовать на первенство. Достаточно привести въ подтвержденіе, что всякій русскій ученый, техникъ, художникъ и музыкантъ отправляется для "усовершенствованія" за границу. Во всякомъ случаѣ "о русскомъ вліяніи" въ наукѣ и искусствѣ Западной Европы пока еще никакой рѣчи не можетъ быть.

И вотъ, если сопоставить фактъ необыкновенно высокаго развитія русской литературы съ тёмъ, что наука и искусства относительно

не такъ высоко стоять въ Россіи, а общественная жизнь находится въ младенческомъ состояніи, то мы приходимъ къ выводу, что новъйшая русская литература не только замъчательное само по себъ явленіе, но что она-самое замичательное явленіе русскаго духа. Вся совокупность стихійныхъ и историческихъ условій, которая создала широкій размахъ русскаго душевнаго склада, ярче всего выразилась въ литературъ. Въ силу своеобразнаго положенія русской интеллигенціи, вслёдствіе малой культурности окружающей среды, принужденной замыкаться исключительно въ сферв интеллектуальныхъ интересовъ, -- въ силу этого разлада русская литература есть центральное проявление русскаго духа, фокусъ, въ которомъ сошлись лучшія качества русскаго ума и сердца. Нигдъ она не является такимъ исключительнымо проявленіемъ національнаго генія, какъ у насъ. Въ жизни другихъ народовъ литература есть только частный случай общаго культурнаго состоянія страны, частное проявленіе духовныхъ силъ, которыя болъе или менъе равномърно распредълены по всъмъ отраслямъ національной жизни. У насъ этого соотвътствія нътъ, литература могущественно развивается у насъ чо своимъ особымъ внутреннимъ законамъ, при полной дремотъ общественныхъ силъ и общественной иниціативы. Было бы, конечно, смішно думать, что русскій національный геній имфеть какое-то особое предрасположеніе къхудожественному творчеству и только въ немъ одномъ можетъ проявиться. Дело исключительно въ условіяхъ мало-культурной среды, которая одна и есть причина того, что новъйшая русская литература стала центральнымъ проявленіемъ всёхъ силъ русскаго духа, придругомъ уровнъ общественной жизни нашедшихъ бы себъ не столь исключительное примъненіе.

III.

Такое центральное положеніе русской литературы не могло не сообщить ей особенностей, рѣзко отличающихъ ее отъ литературы другихъ европейскихъ народовъ. Главная изъ нихъ та, что наша литература никогда не замыкалась въ сферт чисто художественныхъ интересовъ и всегда была канедрой, съ которой раздавалось поучительное слово. Всѣ крупные дѣятели нашей литературы въ той или другой формѣ отзывались на потребности времени и были художниками-проповѣдниками.

Эта знаменательнъйшая черта съ особенной яркостью обрисовалась въ послъднія 60 льтъ, но начатки ея идутъ очень далеко.

Русская литература начинается съ Кантемира, — и чемъ же былъ этотъ первый лепетъ нашего художественнаго творчества, еще не нашедшаго себъ даже соотвътственнаго литературнаго выражения, еще пользовавшагося антихудожественною формою прежняго, монашескаго періода русскаго просвъщенія—силлабическими виршами? Воспитанника древнихъ классиковъ, имфвшаго въ своемъ распоряжении всъ роды и виды литературы, не прельстила ни безпритязательная любовная пъснь, ни отръшенная отъ жизни идиллія, хотя въ переводъ образцовъ этихъ родовъ поэзіи онъ и упражняль свой стихъ. Онъ прямо схватился за бичъ сатиры и является въ ней одушевленнымъ поборникомъ и пропагандистомъ петровской реформы. Такимъ же воинствующимъ публицистомъ и страстнымъ агитаторомъ усвоенія европейской культуры быль и Ломоносовь въ своихъ одахъ, несмотря на всю низкопоклонность ихъ. Оды Державина тоже вышли изъ невысокихъ побужденій, но настоящій талантъ никогда не можетъ остаться въ сферъ однихъ низменныхъ побужденій, и въ общемъ оды Державина являются живою поэтическою льтописью своего времени и искреннимъ выражениемъ восторговъ, возбужденныхъ блестящимъ по внѣшности царствованіемъ Екатерины. Характерно, что даже такое, казалось бы, отръшенное по своей темъ отъ условій мъста и времени произведение, какъ ода "Богъ", непосредственно вытекло изъ полемическаго желанія автора дать отпоръ шедшему изъ Франціи скентицизму. Творчество четвертаго крупнаго діятеля XVIII въка — Фонвизина уже всецъло посвящено учительнымъ задачамъ глубокаго общественнаго значенія. Тъмъ же серьезнымъ общественнымъ задачамъ посвятила себя оригинальная, полу-художественная, полу-прямопублицистическая литература памфлета и картинъ нравовъ, которая приняла форму летучихъ листковъ такъ называемой "сатирической журналистики". Народившійся въ концъ въка сентиментализмъ ударился въ одно приторное воспѣваніе чувства или върнъе чувствительности, но онъ не привлекъ къ себъ ни одного крупнаго художественнаго дарованія (значеніе Карамзина не художественное), а наиболье даровитый изъ пъвцовъ сентиментализма-Дмитріевъ выказалъ лучшія стороны своего дарованія въ сатирѣ на злобу дня-наводнение литературы скверными одами. Въ началъ нашего въка выдъляется дъятельность писателя, литературная карьера котораго особенно ярко подчеркиваетъ учительное значение русской литературы. Мы говоримъ о Жуковскомъ, поэтъ очень симпатичнаго и изящияго, но безусловно второстепеннаго дарованія и тімъ не менье достигшаго первостепеннаго значенія. Чымь же? Тымь, что

онъ взялъ на себя роль учителя въ буквальномъ смыслѣ слова и знакомилъ русское общество съ литературою Запада въ рядѣ превосходныхъ переводовъ. А изъ оригинальныхъ произведеній Жуковскаго наибольшее впечатлѣніе произвелъ "Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ"—откликъ на злобу дня въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Сверстникъ и современникъ Жуковскаго — Батюшковъ былъ поэтъ болѣе сильнаго и оригинальнаго дарованія, чѣмъ Жуковскій, но онъ не достигъ и половины значенія и популярности послѣдняго, потому что его эпикурейская муза, воспѣвавшая наслажденіе, была чужда русскому читетелю, привыкшему искать въ литературѣ не только забавы, но и правилъ жизни.

Объ учительномъ значеніи Крылова, конечно, распространяться нътъ надобности: оно вытекаетъ изъ самаго существа литературнаго рода, которому посвятиль себя геніальный баснописець. Но не будеть лишнимъ прибавить, что нигдъ басня не получила такого развитія и нигдъ она не получила такого ръзкаго національнаго отпечатка, какъ въ русской литературъ 18-го въка. Въ то время какъ въ западноевропейскихъ литературахъ (причемъ характерно, что есть литературы, напр., англійская, совстмъ не имтющая выдающихся баснописцевъ) басня привлекала къ себъ лишь незначительное количество поэтовъ, изъ русскихъ поэтовъ 18-го въка нътъ почти ни одного, который бы не писаль басень. Какъ всякій геній, Крыловъ есть только кульминаціонный пункть целой эпохи процветанія русской басни, замфчательной еще тфмъ, что она не ограничивалась простымъ подражаніемъ древней баснь, стоящей внь времени и пространства и довольствующейся моралью самаго общаго и, следовательно, безобиднаго свойства, а бичевали непосредственно пороки и смѣшныя стороны своего времени. Конечно, процватание басни въ русской литературъ 18-го и начала 19-го въка, а затъмъ исчезновение ея можетъ быть объяснено и тъмъ, что басня вообще есть младенческая форма литературы, популярная только въ начальномъ періодъ каждой письменности. Но это объяснение есть только объяснение. Оно нимало не колеблеть самаго факта, что русскій читатель всёмъ ходомъ своей литературы пріучень смотрть на нее, какъ на источникъ учительнаго слова на живыя темы современности.

Начало 1820-хъ годовъ ознаменовано дѣятельностью писателя, въ лицѣ котораго художественно-учительное значеніе русской литературы едва ли не достигло высшей своей точки. За исключеніемъ комедій Аристофана, создавщихся въ литературѣ народа, у котораго совсѣмъ не было личной нравственности, а была одна только нравственность политическая и общественная, ни въ одной европейской литературѣ нѣтъ драматическаго произведенія, до такой степени насквозь про-

никнутаго гражданскою, въ полномъ смыслѣ слова, скорбью, какъ "Горе отъ ума". По искренности и глубинъ негодующаго чувства и вообще по цъльности настроенія геніальная "комедія" Грибофдова есть витстт съ тти и настоящая проповедь, страстный призывъ идти по другимъ путямъ. И это темъ характерие, что самъ авторъ отнюдь не былъ ни Катономъ, ни Аристидомъ. Значитъ, силу ему дало богатое общественными настроеніями направленіе цілой эпохи, выразителемъ которой онъ явился. Выразителемъ той же эпохи явился и молодой Пушкинъ. Въ александровскую эпоху Пушкинъ явился живымъ отраженіемъ безпокойнаго настроенія времени и самъ себя характеризоваль какъ поэта, который "свободу лишь умветь славить". Въ первыхъ романтическихъ поэмахъ своихъ онъ бросалъ страстный вызовъ всемъ старымъ традиціямъ, провозглашалъ свободу чувства и проповъдывалъ презръніе къ условнымъ формамъ. Со второй половины 20-хъ годовъ улеглось брожение и самого Пушкина и общества, и поэтъ вступаетъ въ такъ называемый "объективный" періодъ своего творчества. Но помимо того, что и это стремление къ объективному творчеству было отражениемъ настроения времени, утомленнаго возбужденіемъ последнихъ летъ царствованія Александра и жаждавшаго спокойствія, помимо этого косвеннаго служенія нуждамъ времени, Пушкинъ никогда не былъ въ состояніи совладать съ живою натурою своею и остаться на олимпійскихъ высотахъ безразличнаго творчества. Всеобъемлющій геній его никогда не успоканвался на чемъ-нибудь одномъ и никто точне его самого не исполнялъ завета, который онъ даль поэту:

. дорогою свободною иди Куда влечеть тебя свободный умъ.

И такъ какъ отзывчивая натура влекла его то въ одну, то въ другую сторону, то каждая изъ главныхъ литературныхъ теорій нашихъ можетъ подтвердить свои положенія ссылками на Пушкина. Да, въ минуту полемическаго раздраженія онъ дѣйствительно воскликнулъ въ "Черни":

Мы рождены для вдохновенія, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Но развѣ это же самое стихотвореніе не есть полное нарушеніе провозглашенныхъ въ немъ принциповъ? Вѣдь въ немъ нѣтъ ни звуковъ сладкихъ, ни молитвъ, и въ общемъ оно представляетъ собою яркій образчикъ тенденціозно-дидактическаго запрещенія идти дорогою свободною, куда влечетъ поэта его свободный отъ какихъ бы то ни было запрещеній умъ.

Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ будто бы созданъ поэтъ. И вслѣдъ затѣмъ пишется страстный памфлетъ "Клеветникамъ Россіи"—откликъ на злобу дня въ буквальномъ смыслѣ слова—на дебаты въ одномъ изъ засѣданій французскаго парламента.

Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ Сметаютъ соръ—полезный трудъ. Но, позабывъ свое служенье, Алтарь и жертвоприношеніе, Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?

Такъ иронизируетъ поэтъ, когда ему предлагаютъ быть "полезнымъ". А черезъ нѣсколько лѣтъ этотъ же жрецъ, единственно изъ желанія быть полезнымъ, берется за метлу журналиста и великое дарованіе тратится на сметаніе сора, внесеннаго въ литературу Булгаринымъ и К^о.

Ты можешь, ближняго любя, Давать намъ смѣлые уроки, А мы послушаемъ тебя,

просить поэта "чернь", т. е. публика, всёмъ ходомъ русской литературы пріученная получать отъ нея поученіе. Но поэтъ презрительно отказывается:

Подите прочь—какое дѣло Поэту мирному до васъ.

А въ это самое время онъ заканчивалъ "Евгенія Онѣгина", въ которомъ жизнь "черни" отразилась съ небывалой до того полнотою и въ которомъ въ плѣнительномъ образѣ Татьяны былъ преподанъ одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ и волнующихъ уроковъ жизни, когдалибо преподанныхъ русской литературой. Скоро будетъ семьдесятъ лѣтъ, какъ Татьяна отвѣтила Онѣгину:

Я васъ люблю, къ чему лукавить, Но я другому отдана И буду въкъ ему върна

и этотъ отвѣтъ не перестаетъ до сихъ поръ волновать русскаго читателя и поднимать въ немъ вопросы нравственнаго порядка. Многое, очень многое въ геніальномъ романѣ перестало интересовать позднѣйшаго читателя, на многое онъ сталъ смотрѣть исключительно съ исторической точки зрѣнія, но образъ Татьяны, олицетворившей въ себѣ полную свободу отъ условности съ неумолимымъ сознаніемъ долга, навсегда врѣзался въ сердце русскаго читателя. Каждое поколѣніе имѣетъ свое отношеніе къ отвѣту Татьяны, то восторженно-положительное, то насмѣшливо-отрицательное, но во всякомъ случаѣ не безразличное. "Смѣлый урокъ" на практикѣ былъ данъ поэтомъ, теоретически отъ него отказавшимся. На практикѣ, слѣдовательно, ве-

ликій поэть въ эпоху своего стремленія къ игнорированію того, что не есть интересь чисто-художественный, никакъ не могъ удержаться въ ограниченной сферѣ чисто-эстетическихъ настроеній, и тоже сталь учителемъ жизни.

Творчество геніальнаго преемника Пушкина—Лермонтова нашло себѣ опредѣленіе въ его поэтическомъ profession de foi—"Журналистѣ, читателѣ и писателѣ". Въ чемъ источникъ его творчества?

Перомъ сердитый водитъ умъ.

Совъсть. Вотъ онъ тотъ девизъ, который искони былъ девизомъ лучшихъ русскихъ умовъ и которому въ послъ-лермонтовскій періодъ суждено было отодвинуть на второй планъ всё остальные источники творчества. Въ творчествъ самого Лермонтова совъсть принимаетъ исключительно формы негодованія и озлобленія, въ размѣрахъ, до него совершенно чуждыхъ нашей литературъ. Имъ владѣетъ безумная жажда активнаго презрѣнія къ обществу своего времени, ему, съ такою безпримърною ръзкостью охарактеризовавшему въ плачѣ надъ гробомъ Пушкина "высшіе" слои этого общества, ему даже на праздникъ хочется "смутить веселость" и "бросить въ глаза" пустому сборищу

. желѣзный стихъ Облитый горочью и злостью.

Нельзя къ этому озлобленію безъ оговорокъ примінить эпитетъ учителя жизни. Нельзя забыть, что въ лиць Печорина эгоизмъ отчасти поставлень на пьедесталь. Но въ этомъ эгоизмъ было столько презрѣнія къ пошлости, Печоринъ такъ ярко подчеркнулъ скуку и томленіе бездійствія, которое должень быль испытывать чуткій человъкъ въ жалкой дъйствительности 30-хъ годовъ, Лермонтовъ такъ высоко поднялъ сознаніе личности, что именно съ него начинается настроеніе, рішнвшееся бросить непримиримый вызовъ косности окружающей среды. Неласковая муза "мести и печали", которая уже всецьло стала звать на подвиги добра и любви къ людямъ, была непосредственной преемницей гордой и непреклонной поэтической личности Лермонтова. Изъ всъхъ поэтовъ наибольшее вліяніе на музу Некрасова оказаль Лермонтовъ, которому подъ конецъ его жизни уже не были скучны "пъсни земли", который заговорилъ даже о "мужичкахъ", который закончилъ свое поприще самымъ жгучимъ въ русской литературъ выражениемъ непреклонности воли и протеста-"Пророкомъ". Пророкъ Лермонтова знаетъ во что обходится "гордость", онъ не строить себв никакихъ иллюзій насчеть успвха стремленія глаголомъ жечь сердца людей, какъ Пушкинскій пророкъ, сказать кстати еще одинъ доводъ въ пользу того, что странно считать

Пушкина представителемъ равнодушно объективнаго творчества. Но Лермонтовскій пророкъ, тѣмъ не менѣе, смѣло идетъ на презрѣніе и гоненія, это не удерживаетъ его превозглашать

И правды чистыя ученья.

И вотъ эти-то завершительные аккорды промелькнувшей ослѣпительнымъ метеоромъ литературной дѣятельности Лермонтова даютъ вполнѣ опредѣленное значеніе его озлобленію. Это то озлобленіе, которое, говоря словами ученика Лермонтова—Некрасова,

. проповѣдуеть любовь Враждебнымъ словомъ отрицанья.

И люди, вдумавшіеся въ Лермонтовскую мизантропію, Какъ много сдѣлалъ онъ поймутъ, И какъ любилъ онъ—ненавидя.

IV.

Смертью Цушкина и Лермонтова заканчивается періодъ новой русской литературы и начинается періодъ литературы новийшей, который и составить предметь нашихъ чтеній. Новъйшей — потому что настроенія и идеи, народившіяся въ 40-хъ годахъ, еще не изжиты и часто еще составляють предметь ожесточенных схватокь. Въ этомъ новъйшемъ періодь служеніе потребностямь жизни и взглядь на литературу, какъ на учительную каседру, всецьло завладываеть умомь и сердцемь людей, стоящихъ во главъ льтературнаго движенія. Начиная съ 40-хъ годовъ, въ Россіи всякій писатель становится въ то же время общественнымъ вождемъ, и въ основъ главнъйшихъ произведеній послъднихъ 50 лётъ лежитъ проповёдь тёхъ или другихъ общественныхъ взглядовъ и воззрѣній. Всякій писатель долженъ пойти направо или нальво, а писатель индифферентный къ общественнымъ вопросамъ не имфетъ ни вліянія, ни успъха въ соотвітствующей его таланту степени. Когда со средины 50-хъ гг. началась эпоха великихъ реформъ, первенствующую роль играла литература. Во главъ движенія стали не представители общественныхъ группъ, а представители литературы. Вождями новаго покольнія были непосредственно-публицисты и литературные критики, а въ художественномъ отраженіилучшіе наши беллетристы и поэты. Борьба общественныхъ партій происходила почти исключительно на страницахъ журналовъ, и что самое характерное - лозунги сплошь да рядомъ съ внёшней стороны

были чисто-литературные. Вопросъ о поэтическомъ значеніи Пушкина становился существенною частью общественно-политическихъ программъ и краеугольнымъ камнемъ того или другого общественно-политическаго міросозерцанія. Вопросъ о назначеніи искусства раздѣлилъ всю литературу на два лагеря, причемъ люди, считавшіеся передовыми въ общественномъ отношеніи, стояли за служебную роль искусства, а противники поступательнаго движенія—за "чистое" искусство.

Съ тъхъ поръ, какъ въ эпоху Бълинскаго русская мысль раскололась на два основныхъ русла, въ ходъ литературы первенствующую роль получаеть вопрось о "направленіи" — слово, прямо неизвъстное европейской критикъ въ томъ смыслъ, какъ его у насъ понимаютъ. Съ техъ поръ, какъ кружокъ Белинскаго решительно примкнулъ къ европейскимъ идеямъ 40-хъ годовъ, эти идеи проходятъ красною. нитью чрезъ всё произведенія писателей, усвоившихъ себе міросозерцаніе великаго критика. Все, что составляеть основаніе славы и значенія Тургенева, Гончарова, Григоровича, первой половины діятельности Достоевскаго и Писемскаго, все, что писали Щедринъ, Некрасовъ, Глъбъ Успенскій и беллетристы 60-хъ и 70-хъ годовъ, все что пишеть последнія 20 леть Левь Толстой, все это является передовыми позиціями весьма опредѣленнаго міросозерцанія. Съ другой стороны, писатели, группировавшіеся въ 40-хъ гг. около славянофиловъ, Погодина, и Шевырева, а въ 60-хъ гг. и поздиве около "Русскаго Въстника", Достоевскій, Писемскій и Гончаровъ въ последній періодъ ихъ дъятельности, всь эти писатели съ пламеннымъ усердіемъ давали отпоръ новымъ идеямъ и тоже превращали свои произведенія въ органъ проведенія въ сознаніе общества своего міросозерцанія. Даже тѣ изъ поклонниковъ "чистаго" искусства, которые не пускались въ прямыя схватки, а только нампренно уходили въ область абстрактнаго и намфренно устраняли въ своихъ произведеніяхъ все, что напоминало "грязь жизни", этимъ самимъ сообщали имъ весьма опредъленную окраску. Благодаря такому тъсному переплетенію художественныхъ и общественныхъ задачъ, чисто-литературныя достоинства ръдко вліяли на оцэнку даннаго произведенія въ критикъ. Его оцънивали по преимуществу, какъ факторъ прогресса или регресса. Прямо можно сказать, что литературной критики въ томъ смыслъ, какъ ее понимають на Западъ, т. е. какъ стараніе разобрать непосредственно творческія достоинства самаго писателя, у насъ не существуетъ. А, между темъ, все наши выдающеся критики были люди съ весьма тонкимъ эстетическимъ чутьемъ и безграничною любовью къ художественному творчеству. Литературные критики наши, начиная съ 40-хъ годовъ, прямые трибуны, для которыхъ художественныя произведенія—не болье какъ предлогъ

выяснить свои общественные идеалы. Они узаконили особый родъ критическихъ статей "по поводу", которыя очень мало занимались эстетическою стороною произведенія и очень много общественными выводами, изъ него вытекающими. Знаменитая борьба по вопросу объ искусствѣ была только предлогомъ для выясненія, съ одной стороны, новаго общественно-политическаго міросозерцанія, а съ другой—противодѣйствія ему. Статьи какъ будто трактовали о Тургеневѣ, Островскомъ, Гончаровѣ, а на самомъ дѣлѣ это были лирическіе манифесты того или другого міровоззрѣнія.

Но самымъ яркимъ проявленіемъ стремленія новѣйшей русской литературы всегда быть учительною каоедрою, нельзя не признать взглядъ на роль печатнаго слова двухъ величайшихъ писателей, стоящихъ на противоположныхъ концахъ періода, исторію котораго мы собираемся разсказать. Въ срединъ 40-хъ годовъ Гоголь, а въ наши дни Толстой съ глубочайшимъ воодушевленіемъ старались убъдить своихъ современниковъ, что задачи литературы учительныя и только. И если значение словъ Гоголя ослабляется тъмъ, что они вылились у него въ періодъ упадка творческихъ силъ, то зрѣлище отреченія Толстого отъ всего, что доставило ему всемірную славу, поистинъ поразительно. Именно въ тотъ моментъ, когда весь міръ восторженно аплодируеть ему, какъ геніальному художнику, именно въ тотъ періодъ, когда напряженіе творческихъ силъ его достигаетъ высшихъ пределовъ въ созданіи "Смерти Ивана Ильича", мелкихъ разсказовъ, "Власти Тьмы" и "Крейцеровой Сонаты", именно въ этотъ моментъ великій писатель Земли Русской провозглащаетъ, что само по себъ чистое искусство не только пустая, но подчасъ и вредная забава. Здёсь не мёсто вступать въ споръ съ этимъ слишкомъ очевиднымъ преувеличеніемъ и увлеченіемъ. Мы здісь только вспомнимъ, что какъ ни значителенъ тотъ или другой индивидуальный геній, онъ всегда есть порожденіе и выраженіе взглядовъ и настроеній окружающей среды. И вотъ почему въ доведенномъ до крайности взглядъ графа Толстого мы должны усмотръть органическое выражение общаго стремления нашей литературы свять

разумное, доброе, вѣчное.

V.

Сообразно всему сказанному и исторія новѣйшей русской литературы по преимуществу сводится 1) къ исторіи смѣны идей и настроеній, волновавшихъ русское общество, и 2) къ указанію взаимодѣйствія между общественною жизнью и литературою. Изслѣдователю, который захотѣлъ-бы заняться исторіей новѣйшей русской литера-

туры только съ эстетической точки зрвнія было-бы очень мало двла, потому что за последнія 50 леть русская литература, какъ явленіе эстетическое, никакимъ замътнымъ движеніемъ не ознаменована. На Западъ за это время смънился цълый рядъ литературныхъ стилей и кореннымъ образомъ измѣнилась техника писанія. Можно-ли себѣ представить самаго плохенькаго французскаго романиста, который сталъ-бы теперь писать въ стилъ Жоржъ Зандъ? Цълая бездна лежить между Зола и Жоржъ Зандъ, не только въ основныхъ пріемахъ, но и въ языкъ, въ діалогь, въ концентрированіи вниманія читателей и т. д. А въ наши дни манера Зола во французской литературъ уже обветшала. Въ Германіи долго держалась манерность Ауэрбаха и Поля Гейзе, но теперь она почти исчезла и уступила мъсто отчасти натуралистической, отчасти мистической школь Гауптмана, Зудермана и "Юной Германіи". Та же радикальная перемъна произошла въ Италіи и Скандинавіи. Такимъ образомъ въ Европъ произошла ръзко-выраженная эстетическая эволюція, произошла действительно полная смена покольній. Но въ Россіи, гдь идеть безпрерывная эволюція идей, литературныя формы почти неподвижны 1). Беллетристическая манера, установившаяся въ 40-хъ гг., ни въ чемъ существенномъ не измѣнилась. Между Тургеневымъ и его литературнымъ внукомъ Гаршинымъ разницы въ стилъ нътъ, нътъ ея и между Некрасовымъ и Надсономъ. Когда Гюго было 70 льть, ему поклонялась вся Франція, но никто ему не подражаль. Толстому теперь тоже 70 льть и онь не только представляетъ собою самую животрепещущую современность, но всякому ясно, что онъ еще долгіе годы будеть законодателемь формы русскаго романа. Единственная литературная область, гдв за последнія 50 льтъ замъчается значительное измънение литературныхъ приемовъ, это беллетристика изъ народной жизни. Колоритность языка, близость къ земль Гльба Успенскаго, конечно, представляетъ собою значительный шагь впередъ по сравненію не только съ "пейзанами" Григоровича, но и съ крестьянами Тургенева, теперь уже кажущимися намъ условными и недостаточно-жизненными. Но тутъ собственно нътъ измѣненія литературной формы, а просто въ 40-хъ гг. народъ не былъ достаточно изученъ. Что тутъ дело именно въ этомъ недостаточномъ изученін-лучшее доказательство Толстой, человѣкъ почти сороковыхъ годовъ. Отвлекаясь отъ степени таланта и литературнаго значенія, развъ мужики "Власти Тьмы" менье колоритны и близки къ дъйствительности, чъмъ мужики Глъба Успенскаго? Что касается изображенія купцовъ и міщанъ, то они, конечно, въ наши дни коло-

¹⁾ Лекція прочитана десять лѣтъ тому назадъ. Съ тѣхъ поръ обозначи лась нѣкоторая эволюція литературнаго стиля, о которой мы еще будемъ имѣть случай говорить въ настоящихъ очеркахъ.

ритнъе, чъмъ въ 40-хъ гг. Но родоначальникомъ этой колоритности является человъкъ конца сороковыхъ годовъ—Островскій. Если типы Островскаго отчасти устаръли подъ дружнымъ напоромъ нашихъ культурныхъ успъховъ, то литературная манера Островскаго, его удивительный языкъ и его яркая бытовая окраска столь-же свъжи теперь, какъ и пятьдесятъ лътъ тому назадъ.

Итакъ, повторяемъ еще разъ, исторія новѣйшей русской литературы не можеть ограничиться одною эстетическою сферою. Она должна быть исторіей идей и взаимодѣйствія русской литературы и русской общественности. Можно разно къ этому относиться, можно возмущаться этимъ взаимодѣйствіемъ съ точки зрѣрія "чистаго" искусства или можно, напротивъ того, восторгаться такою близостью искусства къ потребностямъ времени. Но понять ходъ новѣйшей русской литературы можно только путемъ параллельнаго ознакомленія съ русскою общественностью.

Изученіе новъйшей русской литературы требуеть обстоятельнаго знанія событій общественной исторіи нашей, съ которою она органически тъсно переплетена. Въэпоху "реформенной Россіи" литература и жизнь до такой степени сближаются другь съ другомъ, что сплошь да рядомъ при анализътого или другого общественнаго явленія нельзя отличить, гдъ кончается литературный генезись его и гдъ начинается пепосредственное дъйствіе общественныхъ силъ. И наобороть—при изученіи того или другого факта литературной исторіи не знаешь, гдъ кончается общественное воздъйствіе и гдъ начинается сфера чисто-литературнаго творчества.

Можно насчитать цёлый рядъ произведеній, отражающихъ просто интересы "времени", а прямо интересы того или другого года. Чтобы понять, напр., общій тонъ вышедшаго въ 1860 г. Тургеневскаго, Наканунъ", нужно быть хорошо знакомымъ съ тъмъ радостновыжидательнымъ настроеніемъ, которое охватило русское общество подъ вліяніемъ реформаціонныхъ стремленій новаго царствованія. Но для оценки "Отцовъ и Детей", которыхъ отделяеть отъ "Наканунь" всего три два года, уже этого недостаточно. За ничтожный промежутокъ двухъ лътъ успъло выясниться новое общественное теченіе, безъ подробнаго знакомства съ которымъ мы будемъ безсильны понять смыслъ романа. Черезъ пять лѣтъ послѣ "Отцовъ и Дътей" появляется "Дымъ", и опять нужны новыя свъдънія объ изміненіяхь общественно-политической атмосферы, иміншихь місто въ теченіе этихъ пяти льтъ. Наконецъ, для пониманія "Нови" требуются уже совсёмъ новыя свёдёніи о явленіяхъ, зачатки которыхъ не идуть дальше начала семидесятыхъ годовъ.

Мы нарочно взяли для иллюстраціи нашей мысли Тургенева, пи-

сателя, высокая художественность котораго составляеть предметь восторженнаго удивленія. И именно этотъ-то тонкій художникъ вмѣстѣ съ темъ представляетъ собою образецъ самаго теснаго взаимодействія литературы и общественной жизни, именно онъ тонко и чутко "ловилъ", говоря терминомъ русской критики, "моментъ". "Ловить моментъ"--это второй терминъ, наравит со словомъ "направленіе" почти неизвъстный европейской критикъ. Выше этой похвалы нътъ для русскаго писателя, къ какой-бы онъ школъ или направленію ни принадлежаль. Правда, "моменты" понимаются весьма различно. Одинъ усматриваеть его въ торжествъ реализма, а другой въ это-же время рисуеть торжество идеализма, одинъ провозглашаеть побъду позитивизма, а другой стремится показать, что наступиль моменть торжества метафизическихъ стремленій. Но все это уже дёло пониманія и таланта, а не различія метода. Характеристичнымъ остается тотъ факть, что никто не довольствуется простымъ произведениемъ, а всякій стремится къ воспроизведенію непремённо тёхъ явленій, въ которыхъ онъ усматриваетъ геній времени, и что каждому хочется воздъйствовать на общественное сознание въ пользу того міропониманія, къ которому онъ примкнулъ.

VI.

Идейно-проповѣдническій характеръ новѣйшей русской литературы неизбѣжно ведетъ къ тому, что въ исторіи ея совсѣмъ особое мѣсто должна занимать исторія теоретическій русской мысли. Теоретическая мысль давала лозунги, а проводникомъ ихъ явилось художественнное творчество, которое само по себф можеть быть только органомъ проведенія извістных идей, но никакъ не источникомъ ихъ. Не дай Богъ, если-бы русская художественная литература заняласьбы выработкою того или другого міровозрінія. Это привело бы къ сухому дидактизму и было-бы уже не идейностью, а тою тенденціозн остью, въ которую впали нъкоторые второстепенные писатели 60-хъ н 70-хъ гг., не совладавшіе, по б'ядности своего художественнаго дарованія, съ истинными задачами идейнаго творчества. Ніть, сила новъйшей русской литературы въ ея крупныхъ представителяхъ именно въ томъ, что въ ней идейность не есть абстрактное теоретизированіе, а вполиж художественное претвореніе. Если мы обратимся къ исторіи творчества важивншихъ представителей русскаго слова новъншаго времени, то мы увидимъ, что ходъ ея былъ таковъ.

Писатель, какь сынъ своего времени, напитывался идеями, которыя посились въ воздухъ, были предметомъ жаркихъ споровъ въ кружкахъ, обсуждались въ журналахъ, а въ сороковыхъ годахъ составляли предметь обширнъйшей переписки между друзьями. Въ значительномъ большинствъ случаевъ сила этого усвоенія идей времени была очень велика, переходила въ прямой энтузіазмъ и сообщала необыкновенную глубину и твердость убъжденія. Данная идея органически проникала все существо писателя, становилась собственностью его духа, приходила на помощь его духовному взору и какъ бы давала ему двойное зръніе. Но, ставъ второю натурою, идея могла выразиться только въ тъхъ формахъ, въ которыхъ всегда выражаются глубокія настроенія всякой художественной организаціи, —въ художественных образахъ. Такъ, молодой Тургеневъ, подъ вліяніемъ общаго настроенія кружка Белинскаго, выработаль себе весьма опредъленное міросозерцаніе п въ частности далъ аннибаловскую клятву бороться съ крепостнымъ правомъ. Когда онъ ее давалъ, онъ еще совершенно не установился какъ писатель, и самый размъръ его таланта не былъ еще ясенъ даже такому прозорливому цѣнителю, какъ Бѣлинскій. Но убѣжденія его получили весьма опредѣленную окраску, вошли въ его плоть и кровь, онъ горълъ желаніемъ воплотить ихъ. Поэтому, когда дарованіе его установилось, онъ сталъ не только великимъ художникомъ, но и выдающимся борцомъ за свое міровоззрѣніе.

Тотъ же процессъ органическаго претворенія теоретическихъ настроеній можно проследить въ исторіи творчества всёхъ выдающихся новыхъ писателей нашихъ. Такъ, изъ пдейнаго броженія, перешедшаго къ намъ во второй половинъ 40-хъ годовъ изъ Франціи, вышли Достоевскій, Щедринъ и Некрасовъ. Съ другой стороны, въ кружкъ такъ называемой "молодой редакціи Москвитянина", съ его мистическою любовью кърусскому быту, получило окраску дарованіе Островскаго. Даже уровновъшенный "фламандецъ" Гончаровъ въ своей авторской исповеди сообщиль, что въ "Обыкновенной Исторін" старался отразить "первое мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, не рутиннаго, а живого дела, въ борьбе съ всероссійскимь застоемь". Итакъ, не просто изображалъ, а "задавался цѣлью" сослужить службу обществу. Еще ярче это "задаваніе цѣлью" въ "Обломовъ" и "Обрывъ". Нечего уже говорить, насколько "задаванье цѣлью" было сильно въ литературномъ поколѣніи 60-хъ и 70-хъ годовъ, меньше одаренномъ художественномъ талантомъ и потому еще нагляднее подчинявшемся разнымъ теоретическимъ веяніямъ.

И вотъ, въ виду рѣшающаго значенія, которое имѣетъ у насъ теоретическая мысль, какъ указательница путей, по которымъ покор-

но шло художественное творчество, мив и кажется, что періоды исторіи новъйшей русской литературы должны быть установлены соотвътственно кругу общественно-этических пдей, въ данные годы получившихъ господство. Неправильно было бы делить исторію новъйшей русской литературы по именамъ ея наиболъе выдающихся художественныхъ деятелей. Если мы делимъ литературу прежняго времени на періоды Ломоносовскій, Державинскій и Пушкинскій, то это вполнъ правильно: Ломоносовъ, Державинъ и Пушкинъ держали въ свое время скипетръ литературы, правили безраздъльно литературнымъ движеніемъ и сообщали ему окраску, которая исходила только изъ ихъ произведеній. Но какъ и какіе годы мы назовемъ Тургеневскими, когда не онъ создавалъ настроенія читающей публики, а имълъ успъхъ потому, что отражалъ "моментъ", т. е. попадалъ въ это настроеніе, подготовленное теоретическою мыслью. Какъ только онъ не попалъ въ настроеніе, значительнійшая и наиболіве вліятельная часть публики отъ него отвернулась. Какой же это вождь? И другіе сверстники Тургенева точно также никогда не создавали настроеній, а только подчинялись имъ и выражали ихъ. Ужъ на что славенъ и великъ въ наши дни Толстой. И все-таки назвать его именемъ какъ художника какой бы то ни было періодъ натъ возможности. Толстой-мыслитель, конечно, одинь изъ властителей думъ нашего времени, но въ годы созданія величайшаго художественнаго произведенія своего-, Войны и мира", онъ быль не болье, какъ предметомъ холоднаго любопытства, а въ годы появленія "Анны Карениной" прямо подвергался высмёнванію, потому что и критика и публика совершенно проглядёли внутренній смыслъ романа и усмотръли въ немъ апонеозъ великосвътскихъ амуровъ. Легендарная популярность Толстого начинается только сътвиъ поръ, какъ онъ выступиль самь какъ теоретикъ и воплотиль въ своихъ тревожныхъ исканіяхъ больную совъсть въка.

Такъ же, какъ нельзя установить періоды исторіи новъйшей русской литературы по именамъ крупнъйшихъ художественныхъ представителей ея, нельзя дълить ее и по литературнымъ стилямъ. Если мы дълимъ нашу литературу 18-го и начала 19-го въка на эпоху классицизма или, какъ ее почему-то принято называть у насъ, ложно-классицизма, на эпоху сентиментализма, романтизма и т. д., то это вполнъ правильно. Въ эпоху господства каждаго изъ этихъ стилей, все содержаніе современной литературы только ими и опредълялось. Опредълялось или торжествомъ даннаго стиля, или борьбою съ предыдущимъ и послъдующимъ и, слъдовательно, представляло собою движеніе. Но въ исторіи новъйшей русской литературы, какъ я уже говорилъ, движенія чисто-литературнаго, смѣны литературнаго стиля, почти не

было въ теченіе цѣлаго полустолѣтія. Съ 40-хъ гг. властно установился реализмъ того типа, о которомъ я говорилъ въ началѣ своей лекціи ¹).

Итакъ, ни по именамъ ея выдающихся художественныхъ силъ, ни по чисто-литературнымъ направленіямъ исторію новъйшей литературы нашу дѣлить нельзя, потому что такое дѣленіе не даетъ характерныхъ признаковъ. Единственнымъ, дѣйствительно, характеристичнымъ дѣленіемъ, т. е. такимъ, которое уже въ одномъ названіи носитъ свое опредѣленіе и даетъ представленіе объ основныхъ чертахъ эпохи,—это только дѣленіе по кругу идей, въ данный періодъ завладѣвшихъ умами, и по именамъ представителей теоретической мысли. Если вы скажете: это было въ эпоху русскаго гегеліанства, въ эпоху реформъ, въ эпоху, вульгарно называемую эпохою "нигилизма", въ эпоху писаревщины, въ эпоху народничества, марксизма и т. д., то представленіе получается яркое и опредѣленное, обнимающее весь комплексъ какъ общественныхъ, такъ и литературныхъ явленій извѣстнаго періода.

VII.

Эпоха, которою начинается исторія новъйшей литературы, т. е. конецъ тридцатыхъ и сороковые годы, нашла наиболье яркое выраженіе въ дъятельности Бълинскаго. Его именемъ можно назвать эпоху, потому что онъ, дъйствительно, далъ ей свою окраску. Бълинскій, конечно, краеугольный камень всей вообще новой русской литературной мысли. Бълинскій—первоисточникъ всего великаго, хорошаго, эстетически-върнаго и этически-правильнаго, что было въ русской литературь послъднихъ 60 льтъ. Но понятно, что всего ярче должно было сказаться вліяніе его въ годы его непосредственнаго воздъйствія.

Критика Бѣлинскаго была сосредоточіемъ русской мысли своего времени, энциклопедіей русскаго ума и чувства. Она захватывала все, что интересовало лучшихъ людей эпохи, она старалась, насколько было возможно, отвѣчать на всѣ проклятые вопросы, которые возникали въ душѣ чуткаго человѣка. Вытекая изъ пламеннѣйшаго стрем-

^{&#}x27;) За десять лѣтъ, прошедшихъ послѣ произнесенія настоящей лекціи, несомнѣнно, обозначилась эволюція литературнаго стиля, о чемъ мы еще будемъ имѣть случай говорить въ настоящихъ "Очеркахъ". Но это не мѣняетъ, конечно, общаго положенія, что движеніе идейное у насъ идетъ несравненно болье быстрымъ темпомъ, чѣмъ движеніе чисто-литературное.

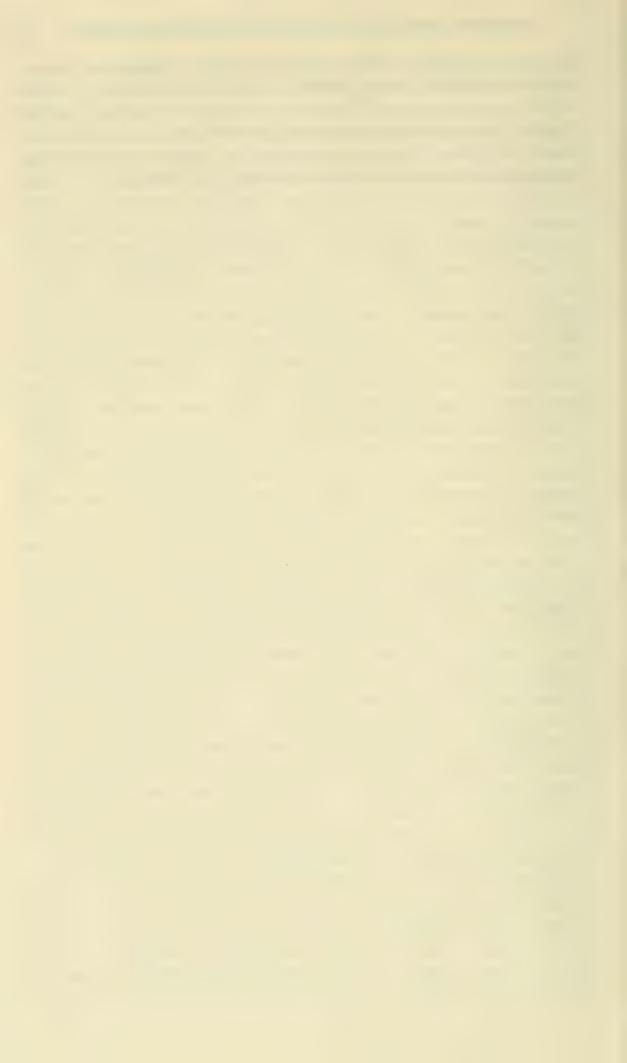
ленія передать читателю выношенные путемъ истиннаго страданія идеалы, статьи Бѣлинскаго, его "обзоры" всегда имѣли въ своей основѣ ту руководящую идею, которая была нервомъ времени. Оттого они прокладывали новые пути въ литературѣ и создавали школу.

Правда, кругъ пдей, въ защиту которыхъ выступалъ Белинскій, далеко не однороденъ. Деятельность его представляетъ собою смену двухъ, порою діаметрально-противоположныхъ настроеній Но по сушеству, раздвоенія туть никакого ніть. Все діло въ томъ, что передъ нами муки рожденія, бользненный процессъ выработки новой русской мысли. Въ послъдующія эпохи, въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, вожди покольнія не переживали никакихъ "фазисовъ", не терзались никакими сомнъніями, и дъятельность ихъ однородна на всемъ своемъ протяженіи. Это потому, что отправная точка была найдена въ эпоху Бѣлинскаго и можно было, не сбиваясь, идти впередъ по пути, уже твердо и опредъленно намъченному. Бълинскому же пришлось пробираться ощупью сквозь предразсветную мглу, и если онъ при этомъ бросался на болотный огонекъ, принималъ его за путеводную звъзду и попадалъ въ трясину, то тутъ только фактическая ошибка и нътъ никакого измѣненія въ самомъ главномъ-въ источникахъ исканія. По отношенію къ нимъ Бѣлинскій никакихъ "фазисовъ" не переживаль, всегда оставался все тъмъ же беззавътнымъ искателемъ истинныхъ задачъ человъческаго существованія. И въ сущности значеніе Бълинскаго и ослъпительная красота его духовной личности не столько въ пдеяхъ и взглядахъ его, какъ они ни върны и глубоки сами по себъ, сколько именно въ его мучительныхъ поискахъ за истиной. Самое содержаніе идей Бѣлинскаго далеко не ему одному принадлежить. Оно выработано совмъстными усиліями цълаго кружка, въ которомъ Бълинскому очень часто принадлежала только роль выразителя. Но это нимало не умаляеть его значенія, потому что заслуга всякаго генія обыкновенно въ томъ и заключается, что онъ ярко завершаеть целый рядъ подготовительныхъ, неяркихъ попытокъ. Главная заслуга Бълинскаго не въ томъ, что онъ лично додумался до всъхъ идей, имъ высказанныхъ, а въ томъ, что онъ провелъ ихъ сквозь горнило сожигавшаго его внутренняго пламени и сообщиль имъ отнечатокъ своей идеально-прекрасной личности.

Непреходящее вліяніе статей Бѣлинскаго зиждется на томъ, что въ нихъ слышно бісніе сердца, безспорно самаго благороднаго, когдалибо бившагося въ русской груди, что въ нихъ сказалась никѣмъ другимъ не достигнутая высота настроенія, сила и глубина чувства. Великій праведникъ литературы русской, рыцарь безъ страха и упрека, на свѣтлой памяти котораго нѣтъ ни единаго самомалѣйшаго иятнышка, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ великимъ страстотерицемъ новой

русской мысли. Онъ глубоко выстрадаль свои убъжденія и, въ полномъ смыслѣ слова, писалъ лучшею кровью своего сердца. Основная задача историка эпохи Бѣлинскаго—ознакомить читателя съ этой борьбой за правду и показать, какъ на основѣ завѣтовъ Бѣлинскаго создалась новѣйшая русская литература, это удивительное сочетаніе художественной красоты и нравственной силы, широкаго размаха и тоски по идеалу.

1885-1897.



ОБЩІЙ ОЧЕРКЪ

исторіи новъйшей русской литературы.



общій очеркъ

исторіи нов вішей русской литературы.

I.

Эпоха Бълинскаго.

Очеркъ этой эпохи см. дальше въ статьѣ "Великое Сердце".

II.

Последніе годы дореформенной эпохи.

(1848-1855).

Смерть Бѣлинскаго страннымъ образомъ завершаетъ собою и весь литературный періодъ сороковыхъ годовъ. На этотъ разъ не только умеръ праведникъ, но и свѣтъ его погасъ. Не только исчезъ изъ литературы великій талантъ, но и ослабѣло высокое направленіе, которое онъ сообщалъ творчеству своихъ современниковъ. Лично для себя Бѣлинскій умеръ вполнѣ во-время, потому что его ждали большія невзгоды и дѣятельность его ни въ какомъ случаѣ не могла бы продолжаться въ прежнемъ направленіи.

Съ 1848 г. наступаетъ литературно-политическое безвременье, которое длится до 1855 г., когда, благодаря уроку крымской кампаніи, начинается новый, свѣтлый періодъ русской исторіи. Но раньше, чѣмъ вступить въ этотъ новый періодъ, Россія и русская литература должны были пройти чрезъ тяжелый искусъ, чрезъ мрачное семилѣтіе реакціи 1848—55 гг., которое можно назвать одною изъ самыхъ темныхъ полосъ въ исторіи русской мысли. Глубокое уныніе, порожденное безвременьемъ, дѣлаетъ понятнымъ праздничную психологію начальныхъ лѣтъ новой эпохи, объясняетъ то безграничное, полное самыхъ свѣтлыхъ надеждъ умиленіе, которое овладѣло тогда самыми

озлобленными умами, ту радостную суетливость, съ которою русскій человѣкъ принялся нагонять потерянные годы.

Тяжелое безвременье 1848—1855 гг. было вызвано ни на чемъ не основанною боязнью, что европейское революціонное возбужденіе 1848 года могло распространиться и на Россію. И такъ какъ литература и наука, при полномъ отсутствіи общественной жизни, были единственными поприщами, на которыхъ сколько-нибудь замётно могли сказаться вліянія епропейскихъ настроеній, то вся тяжесть "бішенной реакцін" 1848—1855 гг. (выраженіе консервативнаго публициста М. (). Де-Пуле) целикомъ и легла на нихъ. Дъятельность цензуры достигла крайнихъ предъловъ напряженія. Одинаково встиъ кругамъ русской интеллигенціи пришлось тяжело отъ ея болізненнаго усердія, цензурныя стфсненія уравнили всф партіи и направленія. Передовой "Современникъ" и квасной патріотъ Погодинъ, сочиненія Гоголя и Пушкина, цвътъ московской аристократін-славянофилы, воспитатель наследника и любимецъ царской семьи Жуков. скій и даже Булгаринъ-всѣ должны были проходить самыя удивительныя цензурныя мытарства и подвергаться самымъ непостижимымъ придиркамъ. Исторія цензуры 1848—1855 гг. будетъ подробиве изложена во И томф настоящихъ "Очерковъ". Пока отмфтимъ, что она въ большинствъ случаевъ представляетъ собою льтопись величайшихъ курьезовъ и совершенно анектодичныхъ случаевъ, которые заставили такое вліятельное лицо, какъ гр. Д. Н. Блудовъ, во всеуслышаніе сказать въ одномъ очень вліятельномъ салонь: "Наши цензора сродни паяцамъ". Черезъ нѣсколько лѣтъ, въ 1862 г., въ офиціальной докладной запискъ дъятельность цензуры 1848—1855 гг. была признана «Эпохою цензурнаго террора». Дождь ственительныхъ мвръ посыпался также на университеты, и это непосредственно отразилось и на литературномъ настроенін, потому что большинство ученыхъ очень тесно примыкало тогда къ журналамъ, гдв имвлся даже особый и одинъ изъ наиболъе объемистыхъ отдъловъ подъ заглавіемъ "Науки".

Но, конечно, наиболѣе удручающимъ образомъ дѣйствовалъ на литературное настроеніе эпохи рядъ небывало-строгихъ мѣръ, направленныхъ противъ личности писателей.

Первымъ пострадалъ Салтыновъ Щедринъ. Вина его состояла въ томъ, что въ мартовской книжкъ "Отечеств. Зап." за 1848 г., первой, которая вышла послъ революціонныхъ событій на Западъ, онъ напечаталъ повъсть "Запутанное дъло". Черезъ 14 лътъ эта же самая повъсть была безпрепятственно напечатана авторомъ, не обративъ на себя ни вниманія публики, ни вниманія цензуры. Но въ 1848 г. молодой столоначальникъ долженъ былъ отправиться въ Вятку для охлажденія своихъ елишкомъ явныхъ и лирическихъ

симпатій къ "униженнымъ и оскорбленнымъ". Какъ и во всёхъ молодыхъ людяхъ конца сороковыхъ годовъ, въ Салтыковъ бродиль тоть же неопредъленный и туманный "соціализмъ", который сказался и въ литературной деятельности всехъ его сверстниковъ: въ Достоевскомъ — привлечениемъ симпатій къ ничтожной по своему соціальному положенію личности Девушкина; въ Григоровичь — возбужденіемъ жалости къ Антону-Горемыкь; въ Тургеневь отыскиваніемъ высокозамѣчательныхъ чертъ въ крѣпостномъ рабѣ; въ Некрасовъ, Плещеевъ, Дуровъ-"низведеніемъ" поэзін до воспъванія любви какого-нибудь огородника и призывами къ добру, правдъ и справедливости; въ разныхъ мелкихъ представителяхъ "натуральной школы" -- Бутковъ и др. — описаніемъ петербургской нищеты и т. д. Но въ "Запутанномъ дѣлѣ", не имѣющемъ бытовой подкладки и написанномъ въ фантастическо-карикатурной манеръ, эта "соціалистическая" или, какъ называетъ ее Тургеневъ, "теплая демократическая струйка" должна была сказаться явственнъе. Повъсть состоить, главнымь образомь, изъ авторскихь разсужденій и явносубъективной исихологіи дъйствующихъ лицъ, не оставляющихъ никакого сомивнія относительно того, въ какую сторону склоняются симпатіи автора.

Но если при помощи науки сердцевъдънія и улавливанія образа мыслей можно было найти поводъ къ ссылкѣ Салтыкова, то аресть Юрія Самарина быль полною несообразностью со всёхь точекъ зрвнія. Молодой славянофиль служиль въ рижскомъ комитетъ по устройству лифляндскихъ крестьянъ и въ началъ 1849 г. написаль "Рижскія письма", въ которыхъ даль пояную волю своему ультра-патріотическому и руссификаторскому негодованію на чрезмёрную силу нёмецко-юнкерскаго элемента въ прибалтійскомъ крав. "Рижскія письма"—въ рукописи, конечно, — быстро распространились въ публикъ, всегда падкой на "запрещенное". Остзейские бароны страшно разсердились и послали въ Ш отделение донесение, въ которомъ извъстнымъ образомъ была освъщена дъятельность Самарина по крестьянскому комитету и его стремленія къ возстановленію правъ лифляндскихъ крестьянъ на землю. Плохо бы пришлось посаженному въ Петропавловскую крѣпость Самарину, если бы не огромныя связи. Самаринъ получилъ возможность лично объясниться съ Государемъ. Императоръ увидель, что имфетъ дело съ человекомъ, который, если и напалъ ръзко на правительство, то исключительно потому, что онъ былъ plus royaliste que le roi. Но строптивость и желаніе имѣть свое мнѣніе по вопросамъ, не подлежащимъ сужденію въ то время, все-таки, должны были быть наказаны, и пылкій руссофиль быль отправлень въ почетную ссылку въ Симбирскъ

Въ апрълъ 1849 г. послъдовалъ арестъ членовъ будто бы революціоннаго "общества" Петрашевцевъ, совершенно несообразно своему дъйствительному значенію, раздутаго следователемъ И. И. Липранди. Въ исторіи новъйшей русской литературы мнимый "заговоръ Петрапо многимъ причинамъ является однимъ изъ очень яркихъ эпизодовъ. Прежде всего по значительному количеству писателей и ученыхъ, прикосновенныхъ къ процессу. Кромъ самого М. И. Буташевича-Петрашевскаго (1822-67), пздавшаго подъ фирмою Кириллова весьма замѣчательный "Словарь иностранныхъ словъ", попались братья Достоевскіе, Плещеевъ, Пальмъ, поэтъ С. Ө. Дуровъ, лексикографъ и беллетристъ Ф. Толь, химикъ Ө. Львовъ, гигіенисть Д. Д. Ахимрумовъ, извістный теоретикъ поздивішаго славянофильства Николий Данилевскій, изв'єстный романисть Григорій Данилевскій (по ошибкв). Попались непосредственно, потому что почти всѣ бывали на пятницахъ Петрашевскаго и былитамъпереписаны агентомъ Липранди. Но если бы у Липранди было больше агентовъ--не приминулось бы выясниться, что кружокъ Петрашевскаго, посредствомъ отдъльныхъ членовъ своихъ, стоитъ въ тесной афиліаціи со множествомъ другихъ кружковъ, гдф разсуждали совершенно въ томъ же духѣ о строгостяхъ цензуры, о безобразін крѣпостного права, о продажности тогдашняго чиновничества, гдф съ огромнымъ интеросомъ читались и коментировались теоріи Кабе, Фурье, Прудона и гдф, наконецъ, съ восторгомъ слушали письмо Бфлинскаго къ Гоголю. И такъ какъ перечисленныя только-что "преступленія" составляють вею сущность "заговора", то при большей освёдомленности агентовъ Липранди попался бы и примыкавшій къ кружку Петрашевского кружокъ извъстного педагога и переводчика Принарма Введенского, къ которому принадлежали молодые литераторы и студенты: Г. Е. Блигосвютловь, А. И. Милюковь и И. Г. Чернышевскій. Долго и усердно посвщаль иятницы Петрашевскаго Аполлонъ Майковъ, но спасся отъ преследованія только потому, что случайно прекратиль свои посъщения къ тому времени, когда за иятницами быль организованъ надзоръ.

Лишь смерть избавила отъ преслѣдованій Валеріана Майкова и Бълинскаго. Валеріанъ Майковъ принимальтлавное участіе въ составленіи "Словаря иностранныхъ словъ" Кириллова, который былъ однимъ изъ крупнѣйшихъ согриз delicti процесса. Что касается Бѣлинскаго, то само собою разумѣется, что за письмо свое къ Гоголю онъ былъ бы причисленъ къ преступиѣйшей категоріи "общества". Многіе изъ петрашевцевъ только и были повинны, что въ распространеніи этого письма. Такъ, окончательный, т. е. уже значительно смягченный, приговоръ относительно Илещеева гласитъ: "За распространеніе письма Бълинскаго, лишить всѣхъ правъ состоянія и сослать въ каторжную работу на заводахъ на 4 года".

Дъло Иетрашевскаго долго составляло предметъ государственной тайны, а имя Бълинскаго было рядъ лътъ изъято изъ обращенія. Эта тапиственность, въ связи съ суровымъ наказаніемъ, участниками "общества" (первоначально понесеннымъ ная казнь, замененная каторгой только на Семеновскомъ плацу, послѣ пережитыхъ ужасныхъ минуть ожиданія смерти) создали представленіе о дёлё Петрашевскаго, какъ о серьезномъ политическомъ "заговорь", который ставился наряду съ заговоромъ декабристовъ. Но это представление совершенно разрушается при ближайшемъ изслъдованіи, которое показываетъ, что Петрашевцы пали исключительно жертвою бользненной подозрительности эпохи и чиновничьяго честолюбія сльдователя. Въ дъйствительности, все сводилось къ преніямъпотремъ "главнымъ вопросамъ": необходимости освобожденія крестьянъ, реформы судопроизводства и смягченія цензуры, т. е. къ тъмъ реформамъ, которыя чрезъ нъсколько лътъ были провозглашены съ высоты трона. Единственнымъ върнымъ "обвиненіемъ" было увлеченіе "фурьеризмомъ". Всѣ Петрашевцы, несомнѣнно, увлекались идеями французскихъ соціальныхъ реформаторовъ. Но только въ этихъ увлеченіяхъ не было ничего консипраторскаго, не было ничего наступательно-опаснаго. Воспоминанія и письма людей сороковых годов самых разнообразныхъ оттънковъ, начиная съ Герцена, Салтыкова, Достоевскаго, Бълинскаго и кончая такими узкими спеціалистами, какъ напр., оріенталисть Григорьевъ и нумизмать Савельевъ, единогласно свидътельствують, что, за самыми незначительными исключеніями, вся прогрессивная часть русской литературы и русскаго общества 40-хъ годовъ страстно увлекалась французскою соціальною литературою. Интересъ къ соціальнымъ теоріямъ просто въ воздухѣ тогда носился. Разговоры о Нью-Ланаркъ, объ Икарін Кабе, о фаланстерахъ Фурье, о Прудонъ, Лун-Бланъ составляли преобладающую тему каждой интеллигентной бесѣды. Но все это имѣло безусловно платоническій характеръ, и если въ чемъ выражалось практически, такъ только въ усиленіи озлобленія противъ безобразій "трехъ главныхъ вопросовъ": т. е. келейнаго, подъяческаго суда, крѣпостного права и цензуры того времени. Изъ соціальныхъ системъ черпали только общегуманную подкладку, стремленіе положить общее благо, правду и справедливость въ основу общественной жизни. Но именно потому-то мнимый "заговоръ" Петрашевскаго, какъ рельефно обрисовавшаяся ячейка большого цълаго, имъетъ такое первостепенное значеніе для характеристики литературно-общественнаго настроенія конца дореформенной эпохи. Пользуясь терминологіею Липрандіевскаго доклада, слёдуеть констатировать, что такія "засѣданія", какъ на пятницахъ у Петрашевскаго, происходили по всемъ угламъ Россін, когда сходились люди, живущіе высшими интересами, такой "гнусный либерализмъ", такія "вредныя" идеи "пропагандировались" всякимъ, въ комъ житейская проза не убила запросовъ сердца и совъсти. Правильно говорилъ Липранди въ первомъ пунктъ своего доклада: "Я никакъ не могъ остаться при мысли, чтобы злоумышленное общество состояло изъ тёхъ только людей, которыхъ агентъ мой видълъ и слышалъ въ собраніяхъ Петрашевскаго". Правильно говорить онъ затемъ о "провинціальныхъ паствахъ" Петрашевцевъ, о томъ, что иден ихъ "посвяны" и принесли "болве или менње плоды въ разныхъ мъстахъ государства". Нельпо только, что во всемъ этомъ ему мерещились "обширныя и далеко пущенныя отрасли" организованнаго заговора, между темъ какъ на самомъ дълъ тутъ было цълое общественное теченіе, считающее своихъ приверженцевъ тысячами. Могучее общественное движеніе, наступпвшее послѣ крымской войны такъ внезапно и стремительно, было бы совершенно непонятнымъ явленіемъ, если бы мы не знали, что сѣмена новаго міросозерцанія были брошены раньше, что кружокъ Петрашевцевъ быль только однимъ изъ многочисленныхъ ему подобныхъ кружковъ.

Рядомъ съ ужасною участью Петрашевцевъ, дальнъйшія писательскія невзгоды періода 1848--55 гг., конечно, уже не такъ поражають, но сами по себф онф достаточно угнетающе действовали на настроение литературной среды. Почему, напр., должны были выпасть непріятности на долю Островскаго? Онъ быль центральнымъ лицомъ такъ называемой "молодой редакціп Москвитянина", воевавшей съ "западниками" и "Современникомъ" во имя "истинио-русскаго" патріархальнаго склада жизни. И темъ не мене въ 1850 г. не только было запрещено поставить на сцену "Свои люди-сочтемся", но даже писать о ней рецензіи, а самъ авторъ быль отданъ за свою комедію подъ надзоръ полиціи. Въ комедін плутни кончаются удачею. А между тъмъ "благодарная и полезная цъль таланта", какъ отъ имени министра нар. просв. объяснялъ Островскому московскій попечитель, заключается "въ утверждении того, столь важнаго въ жизни общественной и частной върованія, что злодъянія находять достойную кару еще и на землъ". И времена стояли такія, что Островскій не только долженъ быль выслушать это "вразумленіе", но и письменно принесъ "глубокую благодарность за совъты, которыми министру угодно было почтить" его.

Весьма малымъ отличается отъ "вины" Островскаго гораздо строже наказанная "вина" Тургенева. Она состояла ва томъ, что послъ смерти Гоголя, въ 1852 г., Тургеневъ написалъ о немъ восторженный некрологъ. Некрологъ долженъ былъ появиться въ "С.-Пет. Въд.", но главный начальникъ петербургской цензуры, свиръпый попечитель Мусинъ-

Пушкинъ запретилъ статью, сказавъ "что о такомъ писателю преступно отзываться столь восторженно"! Тургеневъ послалъ статейку въ Москву Василію Боткину, единственно для того, чтобы показать, что и "холодный" Петербургъ страшно взволнованъ великою потерею, но Боткинъ взялъ и напечаталъ ее въ "Моск. Вѣд."., съ разрѣшенія, конечно, московской цензуры, ничего не знавшей о петербургскомъ запрещеніи. Появленіе статьи взбѣсило Мусина-Пушкина. Онъ пожаловался, изобразилъ Тургенева "бунтовщикомъ", и авторъ "Записокъ Охотника" былъ водворенъ на съѣзжую, что на Офицерской. Пробывъ мѣсяцъ въ этомъ пріятномъ мѣстѣ, онъ былъ высланъ изъ столицы.

Передряга Тургенева вводить въ одну изъ наиболее любопытныхъ подробностей мрачнаго семильтія—въ исторію преслидованій имени Гоголя. Смерть Гоголя (21 фев. 1852 г.) произвела огромное впечатлъние на публику. Охлаждение, вызванное "Перепискою съ друзьями", быстро смѣнилось самою искреннею горестью о преждевременной утратъ такого великаго писателя. Пошли оживленные толки и разговоры, въ немногихъ газетахъ того времени появились прочувствованныя статьи, служились панихиды при большомъ стеченіи молящихся, наконецъ, были устроены торжественныя похороны. Словомъ, сонное общество нъсколько пробудилось изъ глубокой апатіи, въ которую оно погрузилось благодаря безвременью. И вотъ это-то воодушевленіе, вызванное смертью какого-то писаки, да еще такого, которому не могли простить его прежняго отрицательнаго направленія, до глубины души возмутило ревнителей общественнаго благочинія. Главный органь мракобъсія — "Съверная Пчела" выходила изъ себя. Болъ 20 лътъ не устававшій повторять, что Гоголь пустой и безнравственный писатель, Булгаринъ не унялся въ виду свіжей могилы его и продолжаль утверждать, что "Гоголь не что иное, какъ русскій Поль-де-Кокъ". Но нападки его не ограничивались одной этой чудовищной безвкусицей. Зная, чёмъ въ какое время надо угождать, Булгаринъ съ особенною энергіею сталь теперь напирать на то, что Гоголь обращаеть внимание исключительно только на темныя стороны русской жизни и совершенно игнорируетъ свътлыя. "Представилъ ли онъ хотя одинъ образецъ высокаго благородства, самоотверженія за правое діло, великодушія, безкорыстія", натетически воскличалъ благородный Өаддей Бенедиктовичъ. Нападки Булгарина, попавшія въ настроеніе подлежащихъ сферъ, произвели неотразимое впечатлѣніе, и поднялось, по выраженію старика Сергѣя Аксакова, "безумное гоненіе имени Гоголя". Приказано было строго цензурировать все, что пишется о Гоголь, и, наконець, объявлено было совершенное запрещение говорить о Гоголь. Приходилось говорить обиняками. Литература не дерзала называть по имени своего величайшаго генія и часто обозначала его словами "изв'єстный пасатель". При такихъ условіяхъ понадобились три года хлопотъ и усилій, чтобы осуществить изданіе полнаго собранія его сочиненій. Были найдены пути къ вел. кн. Константину Николаевичу, который исхлоноталь особое высочайшее разр'єшеніе на новое изданіе произведеній, уже больше 15 л'єть составлявшихъ гордость русской литературы. И то при этомъ заглавіе "Мертвыя души" должно было быть зам'єть "Похожденіями Чичикова".

Не менње характеристична передряга, перенесенная московскими славянофилами, когда они въ 1853 году представили въ цензуру 2-й томъ "Московск. Сборника". Не только весь невиннъйшій сборникъ въ полномъ составъ былъ запрещенъ, но и всь сотрудники-все люди, принадлежащие къ высшей московской аристократін, люди, смиренномудріе которыхъ составляло предметъ въчныхъ насмъшекъ противной партін, люди, фанатически преданные существующему порядку, возводившіе въ основной догмать своего ученія вой основныя начала русской государственной жизни, словомъ люди, какъ уже выше было сказано по поводу Юрія Самарина, plus royalistes que le roi, были отданы подъ надзоръ полицін. "Что имъ мерещится?"— съ недоумъніемъ спрашиваетъ Хомяковъ въ письмъ съ Гильфердингу, которому разсказываеть о томъ, какая надъ кружкомъ стряслась "невзгода, какія подозрѣнія, какія угрозы". "Кирѣевскій и Черкасскій", сообщаеть онъ далье, "въ большомъ негодованін, особенно Киржевскій. Богомольный монархисть, ему и не снилось, чтобы его въ чемъ-нибудь заподозрѣли, и онъ считаетъ себя сильно оскорбленнымъ. Я, разумъется, смъюсь, потому что ожидалъ даже худшаго и увъренъ, что худшее устранено только добрыми людьми". Превосходно объяснение, которое Хомяковъ давалъ всей этой нельной исторін: "Мысль и ея движеніе теперь подозрительны, какое бы ни было ея направленіе" (неувядаемая, увы, формулировка). Больше всёхъ опаснымъ казался Хомяковъ, которымъ чрезвычайно интересовалась наследница, и о которомъ самъ императоръ Николай Павловичъ очень благосклонно отзывался! "Когда бёднаго Павлова схватили", разсказываетъ Хомяковъ Гильфердингу, "велено было прежде всего некать монхъ писемъ. Можно ли себъ представить что-нибудь емъшнье этого, а это фактъ". Упоминаемый здъсь "бъдный Навловъ" есть извъстный Инк. Филии. Павловъ, талантливый авторъ появившихся въ концъ 30-хъ гг. "Трехъ повъстей" и выдающійся публицистъ конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ. Онъ пострадалъ за то, что у него нашли "запрещенныя кинги". Черезъ девять літь этому же самому Павлову, тогда редактору газеты "Наше Время", вмвств съ редакторами другихъ газетъ и журналовъ, было дано офиціальное право получать безъ цензуры выходящія за границею на русскомъ и иностранномъ языкахъ всякія книги и періодическія изданія. Но въ 1853 г. Павловъ за "запрещенныя книги" и притомъ самой невинной категоріи—на иностранныхъ языкахъ (русскаго книгопечатанія за границей еще не существовало тогда) былъ сосланъ въ Пермь.

При такихъ условіяхъ ипсателю конца дореформенной эпохи приходилось осуществлять свои творческіе замыслы, и не трудно понять, что общая окраска ихъ не могла быть радостной. Годы, непосредственно предшествующие реакцін конца дореформенной эпохи, были одновременно и эпохою яркаго пробужденія общественно-политическаго чувства, и эпохою вфры въ то, что близится лучшая пора. Въ извъстномъ стихотвореніи Плещеева "Впередъ", которое является какъ бы программой деятельности молодой литературы, поэтъ, восклицая: "Впередъ! безъ страха и сомивнья, на подвигъ доблестный, друзья", туть же прибавляетъ: "Зарю святого искупленія ужъ въ небесахъ завидълъ я". И хотя, заканчивая свой призывъ, онъ и допускаетъ возможность неудачи ("Впередъ, впередъ! и безъ возврата что бъ рокъ вдали намъ ни сулилъ"), но только для того, чтобы ноказать твердость своей ръшимости. Фаланга молодыхъ талантовъ тѣмъ именно и была сильна, что вѣрила въ живучесть и скорое торжество тъхъ гуманныхъ общественныхъ возареній, которыя легли въ основу ихъ произведеній. И вдругъ все это разстевается дымомъ: одному "собрату" за желаніе карать "глаголомъ истины" "рокъ сулиль "мертвый домъ, другому - солдатчину, третьему - въчное изгнаніе изъ родины и т. д., со всёхъ сторонъ надвигается грозная стёна стёсненій, запрещеній, уръзываній, всякая самостоятельная мысль, всякая непредусмотр виная симпатія вивияется въ государственное преступленіе. Безнадежное уныніе овладело всеми, кто еще такъ недавно бодро и смъло глядълъ въ будущее. "Есть съ чего съ ума сойти", писаль Грановскій, разсказывая въ интимномъ письмѣ, относящемся къ 1850 г., какъ "положение становится нестериимъе день ото дня", какъ "доносы идутъ тысячами", какъ "университеты предполагалось закрыть", какъ "устроили комплектъ изъ 300 чел., всл'ядствіе чего изъ 1.400 студентовъ московскаго университета нужно выпустить 1.300, чтобы имъть право принять сотню другихъ". Для кадетскихъ корпусовъ составлены программы, которымъ "позавидовали бы іезунты", "священнику предписано внушать кадечто величіе Христа заключалось преимущественно покорности властямъ" и въ томъ, что онъ былъ "образцомъ подчиненія и дисциплины". Учитель же исторін "долженъ разоблачать

мишурныя добродѣтели древнихъ республикъ". Влаго Бълинскому, умершему во время", заключаетъ Грановскій свое письмо. "Много порядочныхъ людей впали въ отчаяніе и съ тупымъ спокойствіемъ смотритъ на происходящее—когда же развалится этот міръ". Эти леденящія слова особенно характерны тѣмъ, что принадлежатъ человѣку, который выдѣлялся въ кружкѣ Бѣлинскаго и его друзей своею умѣренностью и оптимизмомъ.

Уныніе, овладівшее одними, смерть и невзгоды, постигшія другихъ, отразились на литературѣ весьма замѣтно. Въ одинъ, два года какъ личный составъ, такъ и общая литературная физіономія эпохи изміняется существеннійшимь образомь. Особенно велики были перемъны въ области теоретической мысли, сразу лишившейся вождей въ лицъ "во время умершаго" Бълинскаго и во время ушедшаго за границу Герцена (въ теченіе всего 1848 г. онъ еще имълъ возможность вернуться изъ своей легальной поъздки, но въсти изъ Россіи отбивали всякое желаніе, и онъ въ 1849--50 гг. окончательно сжигаеть за собою корабли, напечатавъ "Съ того берега" и др.). Изъ рядовъ дъятелей художественной литературы тоже совершенно выбываетъ Достоевскій, въ томительные годы пребыванія въ Мертвомъ Домъ не написавшій ни одной строчки. Щедринъ промолчалъ вплоть до наступленія новаго царствованія, когда нісколькихъ мъсяцевъ общественнаго возбужденія было достаточно, чтобы у него вылилось такое первоклассное произведение какъ "Губернские Очерки". Достоевскій и Щедринъ были перворазрядные таланты, и нотому въ концъ концовъ они выдержали натискъ бури и, съ наступленіемъ лучшихъ временъ, вернулись къ литературной діятельности съ темъ же настроеніемъ, съ какимъ ее начали. Но у молодого, 23-льтняго Плещеева не было такого могучаго таланта и связанной со всякимъ большимъ дарованіемъ духовной энергіи. Его невзгода одолъла окончательно, сообщивши его поэзін тотъ исключительно-грустный характерь, который съ рокового 1849 г. составляеть основную черту всьхъ его произведеній. Еще такъ недавно призывая идти "впередъ, безъ страха и сомнънья", молодой голосъ поэта быль полонь огня воодушевленія и бодрой вѣры. А черезъ какихънибудь 7 лътъ, возвратившись послъ аминстін 1856 г. къ литературной деятельности, поэтъ прямо заявляеть, что "запуганъ мракомъ ночи", что "морозы ранніе безжалостно побили безпечной юности любимые цвъты" и что душа его обръла увы, "лишь жалкое въ себъ разувъренье, да убъждение въ безплодности борьбы, да мысль, что ни одно правдивое стремленье ждать не должно себъ пощады у судьбы".

Тургеневъ—талантъ, доброю половиною своего значенія обязанный своей чуткости, своему умѣнью улавливать "моменты" общественной

жизни, тоже ярко отразиль уныніе эпохи. Безвременье сообщило произведеніямъ, вышедшимъ изъ-подъ его пера въ періодъ 1848—55 гг., тотъ меланхолическій оттвнокъ, который, правда, вообще составляеть одну изъ основныхъ чертъ писательскаго темперамента Тургенева, но, все-таки, никогда не проявлялся въ немъ съ такою силою, какъ въ разсматриваемые годы. Типъ "лишняго человѣка", — это до ужаса яркое воплощение разлада, разъвдавшаго "до-реформеннаго" русскаго человъка, былъ созданъ Тургеневымъ въ годы разсматриваемаго безвременья. Къ "лишнему человѣку" примыкаетъ цѣлый рядъ однородныхъ типовъ, созданныхъ Тургеневымъ тогда же. Гамлетъ Щигровскаго увзда, безполезный и никому ненужный Вязовнинъ изъ "Двухъ пріятелей", герой "Переписки", съ ужасомъ восклицающій, что "у насъ, русскихъ, нътъ другой жизненной задачи, какъ разработка нашей личности", богатая натура Веретьева и Маши изъ "Затишья", изъ которыхъ одного пустота и безцъльность русской жизни приводить къ трактиру, а другую въ прудъ-всв эти типы лишнихъ, безполезныхъ и исковерканныхъ людей зародилось въ творческомъ мозгу Тургенева какъ разъ въ тяжелые годы конца дореформенной эпохи. Прибавить къ этому щемящую поззію "Пъвцовъ", "Свиданія", "Якова Пасынкова", "Муму"—и получается цёлая однородная полоса мрачнаго и безнадежнаго отчаянія.

Въ жизни Некрасова разгромъ недавно столь бодрыхъ передовыхъ кружковъ выразился даже въ чисто-количественномъ отношенін — онъ крайне вяло работаль въ тяжелые годы мрачнаго семилътія. Дарованіе по преимуществу боевое, Некрасовъ предавался усиленному поэтическому творчеству только въ годы учащеннаго біенія общественнаго пульса. Хорошихъ стихотвореній имъ написано въ 1848-55 гг. не больше какъ три, четыре ("Въ деревнъ" "Власъ", "Внимая ужасамъ войны"). А между тъмъ эти немногія стихотворенія совершенствомъ чисто-художественнаго исполненія своего показывають, что писательскія способности Некрасова были въ полномъ расцвътъ, что имъ только чедоставало ощущеній, впечатлівній, чтобы дать обильную поэтическую жатву. Но не только въ ослабленіи поэтической производительеости выразилось дъйствіе безвременья на Некрасова. Въ эти же годы его литературный формуляръ обогатился такимъ печальнымъ пріобретеніемъ, какъ почти лубочные романы "Три страны свъта" и "Мертвое озеро", сочиненные Некрасовымъ въ сообществъ со Станицкимъ (псавдонимъ Евдокіи Яковлевны Головачевой-Панаевой (1820—1893) Некрасовъ самъ по себъ быль человъкъ и недостаточно образованный, и недостаточно нравственно-устойчивый. Все свое идейное богатство онъ черпалъ изъ общенія сълюдьми, группировавшимися около издававшихся имъ журналовъ.

Въ сороковыхъ годахъ—кружокъ Бѣлинскаго, со средины 50-хъ годовъ—Чернышевскій, Добролюбовъ и ихъ друзья, позднѣе сотрудники "Отеч. Зап."—вотъ кто влилъ въ творчество его ту струю, которая сдѣлала Некрасова—Некрасовымъ. Но именно этого-то вдохновляющаго и подтягивающаго элемента и не было у Некрасова въ разсматриваемые годы. Фатоватый Панаевъ, холодный дэнди Дружининъ, любитель порнографіи Лонгиновъ—вотъ кто были теперь наиболѣю близкіе люди къ Некрасову. Въ этоъ близости не было ничего случайнаго. "Однихъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече" могъ съ полнымъ правомъ сказать Некрасовъ про прежнихъ друзей своихъ и вдохновителей. Какъ только мракъ общественной атмосферы немножко разсѣялся, сейчасъ же нашлись и вдохновители, и лира "мести и печали" стало звучать тѣми струнами, которыя сообщили Некрасову его писательскую физіономію.

Въ томъ фактъ, что Некрасовъ не постъснялся подписать свое имя подъ почти-дубочными романами "Три страны свъта" и "Мертвое озеро", ярко сказалась одна изъ характеривишихъ чертъ печальнаго семильтія, — общее пониженіе литературнаго тона. Главный органъ литературной жизни-ежемфсячная журналистика въ безвременье 1848-55 гг. потеряла и въ опредъленности стремленій, и въ живости, и въ чувствъ собственнаго достоинства. Опредъленность стремленій, выражающаяся въ партійной борьоб, идейной полемикв, толкахъ о міросозерцаніяхъ, выясненій идеаловъ и являющаяся признакомъ всякой крупной эпохи, почти исчезаетъ въ напуганной журналистикв. Мусинъ-Пушкинъ уравнилъ всв мивнія, всв засвли по угламъ, всякій быль радъ, если о немъ забыли. Замолкли западники, замолкли и славянофилы и великая битва, ратные звуки которой такъ недавно еще оглашали долы и высоты русской журналистики, почти прекращается. У славянофиловъ даже постояннаго органа своего не было, а когда въ 1852 г. они издали 1-й томъ «Московскаго Сборника», онъ вызвалъ только ивсколько мимолетныхъ рецензій, потому что въ литературныхъ кружкахъ было извѣетно о цензурной невзгодъ, тотчасъ же постигиней со 2-мъ томомъ издателей, и у кого же могла подняться рука сражаться съ людьми, у которыхъ была отнята возможность защищаться. Но, помимо брезгливости, были туть соображенія и менфе высокаго свойства. Хотя и опальное, славянофильство было куда благонадеживе во мивніе надлежащихъ сферъ, и сражаться съ нимъ было не безопасно. Практическій Некрасовъ, какъ издатель «Современника», очень скоро это поняль, и воть въ главномъ органв западничества и въ такомъ видномъ мфстф, какъ объявление о подпискф на 1849 г., т. с. въ редакціонномъ proffession de foi, попадаются такія фразы: «Теперь настало другое время. Въ настоящую минуту уже стало очевидно,

что міръ славяно-русскій и міръ романо-германскій два совершенно особенные міра. У насъ свое діло, своя задача, своя ціль, свое назначеніе, а потому и своя особенная дорога, свои особенныя средства. Чувства народной самобытности телерь получили и у насъ окончательно право гражданства» и т. д. Это быль языкъ Хомякова и Кырвевскаго и можно было бы туть усмотрвть полную сдачу западнической программы, если бы не было достовърно извъстно, что все это писалось подъ прямымъ давленіемъ страшнаго «Комитета 2 апрѣля» (1848), поставленнаго теперь во главѣ цензуры и прямо требовавшаго, чтобы журналы доказывали, что у Россіи «своя особенная дорога», т. е., что европейскія настроенія должны остаться намъ чуждыми. Само собою разумъется, однако, что какъ ни были лицемърны подобныя заявленія, они, все же, дълали совершенно немыслимымъ споръ съ славянофильствомъ. Современники не могли не замътить такого капитальнаго явленія, какъ исчезновеніе журнальныхъ оттънковъ. «Вслъдствіе отсутствія строго-раздъленныхъ партій въ нашемъ обществъ и въ нашей литературъ», говорилось въ одномъ пзъ журнальныхъ обозрѣній 1851 г., «и самые журналы не представляють рёзкихъ между собой отличій, а могуть быть раздёляемы только по некоторымъ и большею частью весьма слабымъ оттенкамъ». Всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ было совсѣмъ нначе. Грановскій отдаль въ «Москвитянинъ» (1843) безразличнъйшую компиляцію книги Штенцеля «Geschichte d. preussischen Staats». Это настолько возмутило Бълинскаго, что когда Грановскій спросиль у него мивнія о статьв, онь ему отвътиль, что «не принимаеть свиданій съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ». Часто бы пришлось Бѣлинскому повторять эту отновъдь, если бы онъ пережиль 48-й годъ. Множество писателей теперь одновременно участвовало въ разныхъ журналахъ. Григоровичь, Писемскій, Полонскій, Феть, Щербина, Потвхинь, Мих. Ил. Михайловъ помѣщали свои произведенія въ одно и то же время въ «Современникъ», «Отеч. Зап.» и «Москвитянинъ». Дружининъ одновременно сотрудничалъ въ «Современникѣ» и «Библ. для Чтенія» Сенковскаго. Онъ даже перенесъ туда свои «Письма иногородняго подписчика», когда разошелся на нѣкоторое время съ «Современникомъ». Ифсколько лътъ тому назадъ такое явление было бы совершенно немыслимо, такъ какъ «Ппсьмами иногородняго подписчика» Дружининъ занялъ амилуа «перваго критика» «Современника» и следовательно, составляль главное выражение «направления» журнала. И вдругъ перекочевка къ Сенковскому, этому исконнему противнику кружка «Современника», человѣку совершенно противоположнаго душевнаго и умственнаго склада.

Въсвязисъ утратою опредъленности міросозерданія, исчезаетъ теперь

пжизненный нервъ всякой бодрой печати—полемика. Бълинскій съэнтузіазмомъ говорилъ про себя: «Я рожденъ для печатныхъ битвъ, мое призваніе, жизнь, счастье, воздухъ, пища-полемика», а Дружинину, зачявшему послъ смерти Бълинскаго амплуа перваго критика, полемика ожда «скучна», онъ не признавалъ за ней никакой «пользы». Исчезла однако только идейная полемика, полемика же въ смысле руготни и личной перебранки не только не исчезла, а напротивъ того распустилась пышнымъ цвётомъ п, къ соблазну читающей публики, приняла грубый, лавочническій характеръ зазыванія къ себѣ подписчиковъ. Это уже было прямымъ следствіемъ литературнаго безвременья. Безвременье, конечно, не создало меркантильности, составляющей основную черту издателя «Отеч. Зап.» Краевскаго и «практичности», составляющей значительную черту въ характерф Некрасова, издателя «Современника». Но дело въ томъ, что прежде все это пряталось подальше и не выставлялось на всеобщее позорище. Вражда между первенствующими журналами-«Отеч. Зап.» и «Современиикомъ» началась еще съ 1846 г., когда большая часть кружка Бѣлинскаго вивств съ нимъ ушла отъ Краевскаго въ купленный у Плетнева Некрасовымъ и Панаевымъ «Современникъ». Но вражда была глухая, выражавшаяся недружелюбіемъ въ частныхъ отношеніяхъ. Никогда эта вражда не вносилась въ литературныя отношенія. Пока живъ былъ духъ Бълинскаго и Герцена, журналистика высоко держала свое знамя. Но теперь, когда журналистика сошла съвысоты, на которую ее поставила правственная сила лучшихъ людей сороковыхъ годовъ, когда журналисты изъ знаменосцевъ превращаются въ поставщиковъ занимательнаго чтенія, когда толковать объ идеяхъ и тому подобныхъ матеріяхъ было совсёмъ не ко двору, мелкія страстишки могли безпрепятственно выползти наружу и стали возможны прямо апраксинскіе эпизоды. Только при полномъ исчезновеніи чувства собственнаго достоинства могли появиться въ лучшемъ журналѣ такія «полемическія» строки: «Читатели, вфроятно, замфтили, что съ ифкотораго времени бумага «Отеч. Зап.» стала бѣлѣе, особенно на первыхъ и последнихъ книжкахъ журнала, прифтъ лучше и совершенно исчезло деленіе страниць на два столоца. Легко заключить, что эти «улучшенія» произошли вслідствіе вліянія «Современника», котораго наружность, какъ извъстно, съ перваго раза заслужила общее одобреніе». Чёмъ это не предостереженіе табачной фабрики отъ «поддълки» ея папиросъ, «заслужившихъ лестное одобреніе публики»? Вследь затемь давалась «сравнительная таблица», которая должна была убъдить читателя, что хотя «Отеч. Зап.» и скопировали вившность «Современника», но занимательность ихъ, все же, меньше: "Выводъ изъ этой сравнительной таблицы ясенъ для всякаго: въ теченіе года "Современникъ" по дѣлу русской словесности далъ своимъ подписчикамъ 1450 страницъ русскихъ повѣстей и романовъ, а "Отеч. Зап." въ тотъ же періодъ времени, по тому же отдѣлу дали 825 страницъ, т. е. "Современникъ" далъ 625 стр. больше противъ "Отеч. Зап.".

Такая безобразная перебранка длилась вплоть до наступленія новыхъ временъ, когда возможность говорить о серьезныхъ интересахъ общественной жизни сдълала совершенно неприличными и прямо невозможными подобныя дрязги. А вмёстё съ утратой опредъленности направленія и чувства собственнаго достоинства, журналистика переходнаго времени потеряла также въ живости и отзывчивости. Въ весеннихъ журнальныхъ книжкахъ 1848 г. говорилось о новостяхъ парижскихъ театровъ и ни единымъ словомъ не упоминалось о событіяхъ политическихъ. А еще за годъ до того искандеровскія "Письма изъ Avenue Marigny" и "Парижскія письма" Анненкова вполъ удовлетворительно знакомили публику съ предреволюціоннымъ общественнымъ возсужденіемъ. Въ мат 1848 г. умеръ Бтдинскій. Это было еще до "раскрытія" дёла Петрашевскаго, и Бёлинскій еще не быль поставлень вив закона. Всего только Дуббельть за мъсяцъ до смерти Бълинскаго пожелалъ "лично познакомиться" съ знаменитымъ критикомъ, для чего и пригласилъ его въ III отдёленіе. "Знакомство" по болъзни Бълинскаго не состоялось, но достаточно было и факта приглашенія, чтобы журналы не посм'яли пойти дальше коротенькихъ некрологовъ. "Современникъ" посвятилъ важнѣйшему сотруднику своему-десять строкъ, "Отеч. Зап." около двадцати. Не имъя возможности давать матеріалъ сколько-нибудь живой и вмъстъ съ тъмъ обязанные удовлетворять установившейся съ 30-хъ годовъ потребности выпускать "толстыя" книжки, журналы начинають наполнять свой страницы статьями, которыя являются яркимъ патологическимъ продуктомъ глубокаго застоя умственной жизни. Чѣмъ-то прямо анекдотическимъ отзывается обширнъйшій отдълъ "Наукъ" въ журналахъ 1848-55 гг. Заботясь теперь единственно о томъ, чтобы статьи были "посерьезнъе" и "подъльнъе", журналы не стъснялись цъликомъ вваливать въ "Науки" тяжеловъснъйшіе ученые трактаты, съ цифрами, таблицами, спеціальными рисунками. И не только трактаты, а даже техническія руководства. "Москвитянинъ" 1852 г. помъщалъ у себя обширное руководство къ приготовленію торфа, съ многочисленными рисунками машинъ. Тамъ же появилось подробное изложение "Новаго способа дубленія кожи". "Библ. для Чтенія" печатала "Исторію тонкоруннаго овцевства", "Современникъ" трактать о рыбоводствв. "Сынъ Отечества" знакомилъ своихъ читателей съ "Переугливаніемъ льсовъ", устами того же самаго Н. В. Шелгунова, который въ 60-хъ

годахъ пишетъ рядъ научно-популярныхъ статей, діаметрально противоположнаго характера, вызывающихъ со стороны многихъ упрекъ въ чрезмѣрной популяризаціи. Шелгуновъ же поучалъ въ "Библ. для Чтенія" "Укрѣпленію летучихъ песковъ", а въ той же самой книжкѣ капитанъ Звѣгинцевъ помѣстилъ "Графическій способъ дѣленія дуги на три части" съ формулами и геометрическими чертежами. "Современникъ" помѣщалъ спеціальнѣйшія рецензіи, съ употребленіемъ логариемовъ и интеграловъ, о такихъ книгахъ, какъ "Теорія наровыхъ машниъ", "Курсъ высшей и низшей геодезіи", "Измѣренія для опредѣленія разности уровней Чернаго и Каспійскаго морей". "Отеч. Зап." цѣликомъ перепечатали на 120 стр. "Сибирскія лѣтописи XVI и XVII столѣтій" и т. д., и т. д. Если 60-ые годы можно назвать періодомъ живой науки, то разсматриваемую эпоху въ полномъ смыслѣ этого слова можно назвать періодомъ мертвой науки.

Въ сферъ литературной ослабление журнальной отзывчивости ярко сказалось въ упадкъ критики, во главъ которой теперь сталъ Александръ Васильевичь Дружининь (1824—1864), критикъ не безъ серьезныхъ достоинствъ, но безусловно второстепенныхъ, а самое главное совершенно несоотвътствующихъ тому понятію о "первомъ критикъ", о вождъ поколънія и властитель думъ, которое было создано Бълинскимъ. Его "Письма иногородняго подписчика", занявшія въ литературт разсматриваемой эпохи руководящее положение, даже не пытались касаться тёхъ вопросовъ, которые поставили критику сороковыхъ годовъ на такую высоту и сделали ее жизненнымъ нервомъ журналистики. Критика Бълинскаго и Валеріана Майкова была средоточіемъ русской мысли своего времени, энциклопедіей русскаго ума и чувства. Всего менъе въ ущербъ "эстетикъ", всего менъе въ ущербъ глубокому пониманію искусства и его законовъ, она захватывала все что интересовало развитого читателя, старалась подъ дымкою абстрактныхъ разсужденій отвічать на всі "проклятые вопросы", которые возникли въ душъ чуткаго русскаго человъка, какъ только онъ начиналъ сознательно относиться къ явленіямъ окружающей его дъйствительности. Вытекая изъ пламенивниаго стремленія передать читателю выношенные въ душѣ идеалы, статьи Бѣлинскаго, его "обзоры" всегда имъли въ своей основъ одну руководящую идею, и оттого онъ прокладывали новые пути въ литературъ и создавали школу. А Дружининскія письма—это отмітки журнальных явленій. Отмътки болъе или менъе върныя, болъе или менъе остроумныя, но, все таки, отмътки. Ни общей мысли, ни сколько-нибудь определеннаго чувства. Замѣчательно, что тотъ же Дружининъ, вращавшійся исключительно въ сферъ мелкихъ литературныхъ явленій, пока занималь амилуа "перваго критика", написаль рядь очень интересныхъ критическихъ статей общаго значенія во второй половинь 50-хъ годовъ, когда оживленіе литературы и критики отодвинуло его на задній планъ. Есть и въ нихъ, правда, прежняя холодность, которая такъ не подходила къ роли преемника "неистоваго Виссаріона", есть и прежній дэндизмъ, но безъ твни той бездушной щеголеватости, которая является основной чертой деятельности "Иногородняго подписчика". Какъ беллетристъ, Дружининъ, начавшій "Поленькой Саксъ" -- блестящей повъстью на тему о семейныхъ отношеніяхъ, отразившей общее стремление молодой литературы пересмотрать установившіяся общественно-политическіе взгляды, теперь совствиь захирълъ. Подобно Григоровичу, Дружининъ, по холодной природъ своей чуждый новаторства и страстнаго увлеченія чёмъ бы то ни было, создалъ "Поленьку Саксъ" не самъ по себъ, а потому что новое настроение прямо въ воздухѣ носилось. Но измѣнилась общественная атмосфера, и подававшій блестящія надежды авторъ вдумчивой "Поленьки Саксъ" (Белинскій видель въ немъ задатки второго Герцена), пишетъ рядъ ничтожныхъ повъстей и романовъ, даже заглавія которыхъ безследно исчезли изъ литературнаго сознанія.

Кромѣ Дружинина, въ разсматриваемые годы, тоже совершенно несоразмѣрно своимъ литературнымъ силамъ, выдвинулся Павелъ Васильевичъ Анненковъ (1812—1887). Онъ имѣетъ серьезныя заслуги предъ исторіей русской литературы какъ издатель перваго полнаго собранія сочиненій Пушкина и какъ близкій другъ плеяды писателей сороковыхъ годовъ, благодаря чему его воспоминанія являются главнымъ источникомъ свѣдѣній объ этой великой эпохѣ. Но его собственныя критическія силы, его вялый писательскій темпераментъ, его половинчатость и стремленіе помирить "мысль" съ "чистымъ художежествомъ"—все это еще въ несравненно меньшей степени, чѣмъ Дружинина дѣлало его пригоднымъ для первенствующаго положенія въ литературѣ. И положеніе это весьма скоро измѣнилось: съ наступленіемъ новой литературно-общественной эпохи Анненковъ еще нѣсколько лѣтъ изрѣдка помѣщаетъ критическія статьи, мало кѣмъ замѣчаемыя, и затѣмъ окончательно отдается своимъ цѣннымъ мемуарамъ.

Рядомъ съ измельченіемъ литературной критики въ непосредственномъ смыслѣ этого слова, разсматриваемые годы необыкновенно богаты статьями о старо-русской литературѣ, для которыхъ дало внѣшній поводъ выходившее тогда Смирдинское "Собраніе русскихъ авторовъ". Галаховъ, Стоюнинъ, Гаевскій, Пыпинъ, Иринархъ Введенскій, Дудышкинъ, Лонгиновъ, Геннади помѣстили въ "Современникъ" и "Отеч. Зап." рядъ обширнѣйшихъ изслѣдованій о Третьяковскомъ, Богдановичѣ, Костровѣ, Херасковѣ, Княжнинѣ, Лукинѣ, Хмѣльницкомъ, Дельвигѣ и др. Этотъ внезапный интересъ къ Кострову и Княж-

нину не могъ быть ничемъ инымъ, какъ направлениемъ силъ въ сторону наименьшаго сопротивленія. Его насильственно навязала журналистикъ реакціоннаго періода трудность касаться болье живыхъ явленій. Нервность, напр, какую внесь въ статью о Третьяковскомъ еле выпутавшійся изъ дёла Петрашевскаго Иринархъ Введенскій, челов'якъ съ очень разкой общественно-политическою жилкою, не могла, конечно, быть вызвана сюжетомъ статьи. И эта нервность весьма скоро была замъчена всевидящимъ окомъ "Комитета 2 апръля", и уже статья Галахова о Богдановичь вь "Отеч. Записк." вызвала цензурное гоненіе, потому что стиль и пріемы статьи напоминали, по мнвнію наблюдателей, духъ прежней туманной философіи и, если позволено такъ выразиться, напыщенной галиматьи (!) сего журанала, дававшей преднамъренной неясностью идей п наборомъ словъ широкое поле къпроизвольнымъ разсужденіямъ и примъненіямъ". Приходилось такимъ образомъ и этотъ суррогатъ критики направить въ сторону еще меньшаго сопротивленія, отдать отдёль критики предметамь еще болье безобиднымъ, уже ничего общаго съ современностью не имѣющимъ. И вотъ наступаетъ въ "критическомъ" отделе періодъ самаго мелочнаго крохоборства. "Гдъ первоначально были помъщены такіе стихи, какія въ нихъ были онечатки, какъ они измѣнены при послѣднихъ изданіяхъ, кому принадлежить подпись А или В въ такомъ-то журналь или Альманахь, въ какомъ домъ бывалъ извъстный инсатель, съ къмъ онъ встрѣчался, какой табакъ курилъ, какіе носилъ сапоги, какія книги переводилъ по заказу книгопродавцевъ, на которомъ году написаль первое стихотвореніе - воть важивншія задачи современной критики, вотъ любимые предметы ея изследованій, споровъ соображеній". Такъ характеризоваль Добролюбовь только-что закончившійся періодъ русской критики на рубежь новой эпохи. А черезъ три года, когда мрачный періодъ уже отошель въ область исторіи, Добролюбовъ, снова заговоривъ о библіографическомъ крохоборствъ, замфинвшемъ въ 1848-55 гг. критику, имелъ возможность дать ему п превосходивниее объяснение: "Да мало-ли что можно вспомнить изъ этого времени, въ томъ же безвредномъ родъ, какъ будто вызванномъ отчаяниемъ скупи".

('реди незначительности, порою переходившей въ ничтожество критики разсматриваемой эпохи есть, однако, одно исключеніе. Въ эти же годы опредѣлилось вполнѣ одно изъ серьезнѣйшихъ дарованій русской критики—Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ (1822—1864). Дѣятельность его связана съ такъ называемой "молодой редакціей Москвитянина", сообщившей жизнь и интересъ совершенно погибшему въ борьоѣ съ равнодушіемъ публики младенчески-патріотическому и забавно-обскурантскому журналу Шевырева и Пого-

дина. Совершенно неожиданно для нихъ самихъ вокругъ ихъ журнала около 1850 г. группируется, по характеристикъ самого Аполлона Григорьева, "молодой, смелый, пьяный, но честный и блестящій дарованіями" дружескій кружокъ, въ составъ котораго входили: Островскій, Инсемскій, Аполлонъ Григорьевъ, остроумный поэть-пародисть Ворисъ Николаевичь Алмазовъ (1826—76), немножко тяжеловъсный, но образованный критикъ-эстетикъ Евгеній Ничолаевичь Эдельсонь, (1824-68), Алексий Потижинь, Сергий Максимовь, Горбуновь, Иечерскій-Мельниковъ, талантливый бытописатель московского м'вщанства Иванъ Тимофеевичъ Кокоревъ (1826-53), Мей, поэтъ-переводчикъ Николай Васильевичъ Бергъ (1824—84), идеализаторъ всего старо-русскаго публицистъ богословъ Тертій Ивановичь Филипповъ (1825—1899) и др. Это далеко не былъ кружокъ однородный, и съ наступленіемъ новаго періода онъ разбрелся по самымъ разнообразнымъ изданіямъ. Теперь же ихъ сплачивалъ по преимуществу глубокій упадокъ западническаго лагеря, который, прекративъ всякую серьезную идейную полемику съ славянофильствомъ, вивств съ твиъ въ рядв мелкихъ выходокъ и шпилекъ продолжалъ сектантски враждебно относиться ко всему, что исходило изъ славянофильского лагеря. А между темъ время было такое, когда прежнюю нетерпимость по отношенію къ славянофильству надо было бросить, Западничество переживало послъ общееврспейской реакціи, посльдо. вавшей за возбужденіемъ 1848 г., тяжелый кризисъ. Полное крушеніе идеаловъ, осуществление которыхъ, казалось, было такъ близко, поневоль забрасывало сомньніе относительно нравственныхъ силь Запада. И выразителемъ этихъ сомивній явился не кто иной какъ Герценъ. Въ своей ръчи, произнесенной въ 1853 г. во время лондонскаго празднованія годовщины февральской революцін, онъ высказалъ столько мистическаго преклоненія предъ тіми новыми началами, которыя русскій народъ должень внести въ европейскую цивилизацію, что подъ значительнъйшею частью ръчи съ радостью подписался бы всякій славянофиль. И это было началомь той эволюціи, которая, отбросивъ все то, что было въ слагянофильствъ византійскаго, привела къ позднайшему народничеству. Но свободно сознаются въ своихъ сомнъніяхъ только большіе люди. Второстепенные же представители критической и теоретической мысли, которымъ безвременье дало первенствующую роль-попавшій теперь въ критики Панаевъ, Дружининъ, Дудышкинъ. и разные мелкіе, безыменные критиканы, особенно обильные въ "Отечеств. Зап.", и не были на это способны, и недостаточно чувствовали всю глубину переживаемаго кризиса. Наконецъ они просто не были настолько проницательны, чтобы разобраться въ такомъ новомъ явленіи, какимъ была "молодая редакція Москвитянина". Изъ-за вившией связи съ русопетствомъ Погодина они прогля-

дъли, что то "русское" направленіе, представителемъ котораго являлась молодая редакція, находилось въ прямомъ и органическомъ преемствъ сь завътомъ Гоголя изображать дъйствительную жизнь. Это просто быль кружокь писателей, превосходно знавшихь русскую жизнь и справедливо такимъ знаніемъ гордившійся. Островскій создаваль бытовую комедію и открываль русскому искусству новый, то того совершенно неизвъстный ему міръ купечества; Писемскій какъ никто другой зналь провинціальную жизнь; Печерскій, несомнінно, самый колоритный и выдающійся изъ всьхъ нашихъ писателей-этнографовъ; Поть. хинъ и Сергъй Максимовъ начинали въ "Москвитянинъ" свою литературную дъятельность этнографическими картинками народной жизни: наконецъ, Кокоревъ описывалъ народную жизнь не какъ просвъщенный наблюдатель, а какъ непосредственный сынъ народа, самъ на своей шкуръ испытавшій горе, треволненія и мелкія радости той жизни, которую выставляль въ своихъ безхитростныхъ разсказахъ. Въ общемъ, вся эта литературная молодежь, и на первомъ мѣстѣ Островскій, несомнѣнно, говорила "новое слово" и не напрасно съ величайшимъ энтузіазмомъ подчеркивалъ это "новое слово" знаменосецъ и теоретикъ "молодой редакцін" Аполлонъ Григорьевъ. И будь критика западническаго лагеря на высотъ своего призванія, она бы постаралась съ своей точки зрвнія освітить новый матеріалъ, даваемый московскимъ кружкомъ, и не обращала бы вниманія на его лично-дружескія связи съ Погодинымъ и Шевыревымъ. И Гоголь былъ въ тъснъйшей дружбъ съ тъми же Иогодинымъ и Шевыревымъ и даже всв ихъ обскурантскія общественно-политическія воззрѣнія раздѣляль. Но не помѣшало же это Бѣлинскому преклониться предъ Гоголемъ-художникомъ и такъ освътить его творчество, что оно сделалось основою міросозерцанія, съ которымъ Гоголь-теоретикъ не имълъ ничего общаго. Точно такъ же поступилъ поздиве по отношенію къ главному столпу "молодой редакціи Москвитянина"--Островскому тотъ критикъ, который занялъ по праву вакантное мѣсто перваго критика, когда литературное безвременье кончилось. Въ "Темномъ царствъ" Добролюбовъ далъ такой коментарій къ произведеніямъ Островскаго, который разъ навсегда сдёлаль Островскаго однимъ изъ лучшихъ достояній передовой части литературы. Самъ Островскій призналь толкованіе Добролюбова правильнымъ, что выразилось темъ, что онъ съ техъ поръ окончательно перешелъ въ лагерь "Современника". Со свойственной ему горячностью Григорьевъ называль это "изменою". Но на самомъ деле это только говорить объ одномъ: если бы въ 1850 г., когда Островскій примкнуль къ "Москвитянину", изъ лагеря "Современника" раздавалось бы такое же живое и убъжденное слово, какое слышалось въ

1859 г. въ "Темномъ царствъ" Добролюбова, Островскій никогда бы не присоединился къ архаическому журналу Погодина, никогда бы не поддержалъ своимъприсутствіемъ въ спискъ сотрудниковъвизантійско-русопетское направление старой редакции. Столь же неорганическимъ было сотрудничество въ "Москвитянинъ" Писемскаго, который еще въ разсматриваемые годы сталъ сотрудникомъ "Современника". Алексъй Потахинъ черезъ насколько лать становится однимъ изъ наиболае "либеральныхъ" представителей такъ называемой "обличительной" литературы. Алмазовъ дъятельно сотрудничаетъ въ англоманскомъ "Русскомъ Въстникъ"; Эдельсонъ въ 60-хъ годахъ былъ критикомъ западническо-либеральной "Библ. для Чтенія" редакцін П. Д. Боборыкина. Такимъ-то образомъ вся "молодая редакція" разбрелась въ разныя стороны, явно доказавъ этимъ, что она не представляла собою новой литературной группой и была загнана въ "Москвитянинъ" только упадкомъ и близорукостью западнического лагеря. И только одинъ Аполлонъ Григорьевъ навсегда остался съ тою же духовною физіономіею, которая опредълнлась съ перваго его дебюта въ "Москвитянинъ". Григорьевъ самъ называлъ свое міросозерданіе органическимь, и, подобно сомньніямъ Герцена, оно тоже, несомнѣнно, представляетъ собою одну изъ ступеней той эволюціи, которая, заимствовавь изъ славянофильства преклоненіе предъ силою народнаго духа, привела къ синтезу лучшихъ элементовъ западничества и славянофильства въ позднайшемъ народничествъ. Если очистить міросозерцаніе Григорьева отъ мистическаго жаргона и отъ бользненнаго свойства его опутывать и окутывать всякую самую ясную мысль туманнъйшими въщаніями, то "органическая" критика сводится къ требованіямъ вполні безспорнымъ. За десять літь до Тэна Григорьевъ доказывалъ, что каждый писатель есть не только органическій продукть своего народа и времени, но даже той містности, гдв онъ родился. Отсюда вытекали и то "органическое" требованіе самобытности, которое онъ предъявляль къ каждому литера. турному произведенію, и тотъ восторгъ, въ который онъ пришелъ, когда въ произведеніяхъ Островскаго увидѣлъ полное осуществленіе своихъ мечтаній обытовой окраскъ литературы. Но человъкъ до последней степени безалаберной и въ личной жизни, и въ литературной дъятельности Григорьевъ во всю свою жизнь не удосужился стройно и опредъленно формулировать свое міросозерцаніе, въчно отклонялся въ сторону и изъ-за полемическихъ экскурсовъ забывалъ главное. И такъ какъ безпорядочность и туманность изложенія дёлали труднымъ чтеніе его статей, то публика знала его не столько по собственнымъ его писаніямъ, сколько по тёмъ lapsus'амъ и экстравагантнымъ выходкамъ, которыхъ всегда былосколько угодновъ этихъ безпорядочныхъ писаніяхъ и которыя враждебная ему печать, конечно, выуживала съ

особеннымъ удовольствіемъ. Н вотъ почему прошелъ безплодно и не поднялъ плоскаго уровня эпохи и этотъ единственный въ разсматриваемые годы представитель того высокаго типа русской критики, который былъ созданъ въ сороковыхъ годахъ и шевелилъ самыя сокровенныя струны въ душѣ чуткаго читателя.

HI.

Медовый мъсяцъ русскаго прогресса.

(1855 - 1861).

1855 годъ есть рубежъ между старою и новою Россіею. Но особенно разкою демаркаціонною линіею является онъ въ исторіи литературы, которая въ Россіи, въ силу слабаго развитія общественной жизни, более чемъ где-нибудь служить выразительницей духовныхъ силь своей страны. Она ярко отражаеть теперь новое теченіе русской государственной жизни, ею овладъваетъ лихорадочное, страстное возбужденіе, подъ вліяніемъ котораго духовныя богатства великой литературной фаланги сороковыхъ годовъ, внавшія въ летаргическій сонъ въ тяжелую годину реакціи 1848-55 гг., распускаются пышнымъ цвътомъ, а журналистика становится могущественнъйшимъ факторомъ общественной жизни. Литература съ небывалымъ воодушевленіемъ выдвигаеть теперь понятіе о гражданиню своей родины, его правахъ и обязанностяхъ. Благодаря этому, русское общественное мижніе выростаеть въ своемъ собственнымь уваженіи и въ уваженіи къ нему окружающей среды, а это-то и ведеть къ цѣлому ряду реформъ, быстро слъдующихъ одна за другою и создающихъ совершенно иныя условія общественнаго и народнаго быта.

Наступающая теперь "Эпоха великихъ реформъ" какъ въ политическомъ, такъ еще больше въ литературно-общественномъ отношеніи, не есть, однако, эпоха вполнѣ однородная. Какъ и всѣ моменты ускоренной исторической жизни, она, несмотря на то, что обнимаетъ всего 11—12 лѣтъ, распадается на нѣсколько, весьма замѣтно отличающихся другъ отъ друга періодовъ.

Первый, обнимающій приблизительно всю вторую половину 50-хъ годовь и самое начало 60-хъ, представляеть собою единственный въ новъйшей исторіи русской интеллигенціи періодь, когда почти не было рѣзкихъ партійныхъ разногласій. Основной тонъ праздничной психологіи начальныхъ лѣтъ новой эпохи—это, какъ мы уже отмѣтили разъ, безграничное, полное самыхъ свѣтлыхъ надеждъ умиленіе, которое

овладъло тогда самыми озлобленными умами, и радостная суетливость, съ которою русскій человѣкъ принялся нагонять потерянные годы. Послъ мрака и холода долгой ночи безвременья, загнавшаго ее въ трясину нравственнаго и умственнаго отупенія, Россія радостно встръчала лучезарное тепло восходящаго солнца и шумно расправляла своп окоченввшие и изнывшие члены. Несостоятельность стараго режима, который чрезъ нъсколько лътъ снова пріобрътаетъ и въ обществъ и въ литературъ усерднъйшихъ защитниковъ, теперь такъ ярко сказалось въ неудачахъ крымской войны, что не было двухъ мнъній относительно того, что дальше такъ продолжаться не можетъ. Не было ни "консерваторовъ", ни "либераловъ", потому что оскорбленное національно-патріотическое чувство находило утвшеніе въ томъ, чтобы причину неудачи справедливо находить въ результатахъ прежней системы отсутствія общественнаго контроля: казнокрадствъ и всяческихъ злоупотребленіяхъ, достигшихъ во время войны неслыханныхъ даже по тому времени размъровъ. Съ наступленіемъ возможности гласнаго обсужденія, обличенія этого казнокрадства, разсказы о хищеніяхъ такъ наз. "партіонныхъкомандировъ" ополченскихъ отрядовъ, интендантства и всякихъ другихъ злоупотребленій становятся существеннымъ содержаніемъ какъ публицистики, такъ и беллетристики. И такъ какъ эти злоупотребленія казались легко устранимыми при помощи одного только добраго желанія, то общее настроеніе начальныхъ літь новой эпохи не имітеть въ себі ничего ъдкаго и преисполнено самыхъ розовыхъ надеждъ на ближайшее наступление самыхъ лучшихъ временъ и порядковъ. Господствовало всеобщее убъждение, что крымская гроза окончательно расчистила общественную атмосферу отъ всёхъ вредныхъ міазмовъ.

Весеннія вѣянія эпохи были настолько заразительны, что отъ нихъ не ушелъ даже Герценъ, только что основавшій въ Лондонѣ "вольный" органъ русской печати "Колоколъ". Несомнѣнно-прогрессивное настроеніе правительства, амнистія 1856 г., вернувшая декабристовъ и петрашевцевъ, офиціальноо преслѣдованіе злоупотребленій, судъ надъ казнокрадами, смѣна столиовъ стараго порядка—Дуббельта, Закревскаго и др., ослабленіе цензурнаго гнета—все это убѣждало Герцена, что правительство идетъ рука объ руку съ обществомъ и враждебное настроеніе его постепенно таяло. А когда въ 1857 г. появилась первая вѣсть градушаго освобожденія крестьянъ—манифестъ на имя виленскаго генералъ-губернатора Назимова—сердце Герцена дрогнуло, и онъ написалъ въ "Колоколѣ" восторженный привѣтъ Александру II, начинавшійся словами: "Ты побѣдилъ, Галилеянинъ". Въ свою очередь, и въ правящихъ сферахъ необычно относились къ дѣятельности вольнаго лондонскаго органа. Все это содѣй-

ствовало тому, что Герценъ достигъ въ концф 50-хъ гг. безпримфрнаго въ исторіи русской публицистики вліянія и значенія. Къ словамъ его съ одинаковымъ волненіемъ и съ одинаковою симпатіею прислушивались во всёхъ слояхъ русскаго общества, не исключая дворцовъ и министерскихъ совътовъ. Членамъ редакціонныхъ комиссій по крестьянскому дѣлу офиціально раздавали нѣкоторые №№ "Колокола" со статьями по крестьянскому вопросу. Свёдёнія о положеній діль въ Россій Герцень всегда иміль превосходнійшія, доставляли ему ихъ всегда изъ первыхъ рукъ и—что самое знаменательное доставляли люди самаго разнообразнаго душевнаго склада: въ числь его корреспондентовь быль, напр., такой принципіальный противникъ всего революціоннаго, какъ Иванъ Аксаковъ. "Колоколъ" являлся своего рода высшей судебной инстанціей, и стать предметомъ его обличеній представители администраціи боялись, какъ огня, потому что ко всёмъ заявленіямъ "Колокола" относились съ величайшимъ вниманіемъ и довфріемъ. Своимъ огромнымъ авторитетомъ Герценъ пользовался съ величайшею умфренностью, обличая одни только явныя и безспорныя злоупотребленія и почти не касаясь основъ государственнаго устройства. Въ общемъ, "Колоколъ" гораздо больше напоминаеть позднёйшія безцензурныя газеты, чёмь эмпгрантскій органъ. Источникъ умъренности "Колокола" лежалъ не столько въ тактъ издателя и въ брезгливости тонко-чувствующаго человъка, который не хочеть быть ръзкимъ при условіяхъ, когда никто ему не можетъ помѣшать быть рѣзкимъ, а, главнымъ образомъ, въ общемъ оптимистическомъ настроеніи эпохи, искренно убѣжденной, что гласность и обличение все исправять безъ всякой коренной ломки.

Но если съ такимъ полнымъ довъріемъ и оптимизмомъ относился къ будущему формальный выходець, то естественно, что еще больше надеждъ возлагали на новое настроеніе люди, которые не порвали связей съ русскими порядками. Это чрезвычайно рельефно сказалось въ небываломъ количествъ частныхъ докладныхъ записокъ и проектовь, которые въ то время подавались на имя государя и разныхъ административныхъ учрежденій. Когда въ 1857 г. открылся комитеть по крестьянскому дёлу, въ него на первыхъ же порахъ поступило до 100 разныхъ проектовъ-до того жгучъ былъ интересъ къ вопросамъ государственной жизни. Изъ записокъ, касавшихся общей постановки внутренней политики, наибольшее значение, послъ записокъ, поданныхъ въ то время людьми, близко стоящими къкормилу правленія (мин. внутр. дёлъ Ланскимъ, кн. Орловымъ и др.). имъли записки представителей литературы и науки-Кавелина, Кошелева, Юрія Самарина, Хомякова, Тютчева, Константина Аксакова. Даже Тургеневъ, во всю жизнь не написавній ни одной "дъловой" строчки, въ концъ 50-хъ гг. подавалъ записку о введеніи всеобщаго обязательнаго обученія. Многія записки представляли собою обширные историко-публицистические трактаты, но желание высказаться съ тою полнотою, которая немыслима была въ печати, была настолько велика, что всв работали съ наслаждениемъ. Особенный интересъ для исторіи литературы им'єють записки славянофиловь, представляющія одинь изъ важнѣйшихъ матеріаловъ для сужденія объ ихъ міросозерцанін. Въ 40-хъ гг. тѣ стороны славянофильскаго ученія, въ которыхъ они являются самыми энергичными противниками темныхъ сторонъ стараго порядка, не могли стать предметомъ гласнаго обсужденія, и свободны славянофилы были только въ славословящихъ частяхъ своего освъщенія русской государственной жизни. Этимъ и объясняется великая вражда къ нимъ западниковъ, тоже не имъвшихъ возможности сколько-нибудь полно высказаться, но по крайней мфрф молчаніемь оттфиявшихь свое отношеніе къ вещамь. Съ наступленіемъ же эпохи реформъ въ дъятельности славянофильства на первый планъ выдвигается та глубокая преданность народному благу, которая заставила Герцена сказать, что западники и славянофилы, подобно Янусу, дъйствительно, смотръли въ разныя стороны, но сердце у нихъ билось одно. Въ эпоху реформъ славянофилы энергически защищаютъ крестьянскую реформу въ наиболе ея широкихъ предположеніяхъ и горячо поддерживають всё остальныя начинанія новой эпохи: гласный судъ, самоуправленіе, свободу слова и печати. Особенно широко ставиль вопросы Константинъ Аксаковъ въ своей замфчательной докладной запискф, поданной молодому государю въ 1856 г. Здёсь онъ, опираясь на примёръ московской Руси, всегда справлявшейся съ мненіемъ "земли", предлагаль созвать земскій соборъ.

Характернымъ знаменіемъ времени были также разнаго рода доклады и записки карьеристовъ новаго типа, которые сообразили, чѣмъ теперь можно преуспѣть. Въ ряду ихъ особенно выдаются написанныя по поводу паденія Севастополя "Думы Русскаго" П. А. Валуева, того самаго Валуева, который, ставши въ 1862 г. министромъ внутреннихъ дѣлъ, пріобрѣлъ печальную знаменитость систематическимъ искаженіемъ всѣхъ великихъ реформъ. "Думы Русскаго" представляютъ собою настоящій обвинительный актъ противъ "всеобщей офиціальной лжи", а весь правительственный механизмъ сводится Валуевымъ къ формулѣ: "сверху блескъ—снизу гниль". И авторъ всего менѣе пострадалъ. Въ офиціальномъ приказѣ генералъадмирала, вел. кн. Константина Николаевича, напечатанномъ въ "Морскомъ Сборникѣ", было перепечатано самое рѣзкое мѣсто ходившихъ по рукамъ въ рукописи "Думъ", и эти "правдивыя слова" вельно было принять къ руководству.

Литературнымъ центромъ всеобщаго оживленія на первыхъ порахъ становится возникшій въ 1856 г. журналъ М. Н. Каткова "Руск. Въстникъ". Благодаря своему радостно-оптимистическому настроенію, "Русск. Въстникъ" становится наиболье отзывчивымъ на потребности минуты журналомъ. Другой первенствующій журналь того времени-"Современникъ", хотя и необыкновенно оживился и поднялся съ наступленіемъ новой эпохи, весьма скоро сталъ насмішливо относиться (см. дальше) къ элементарнымъ требованіямъ тогдашняго "прогресса" и недовърчиво-къ продолжительности новаго настроенія руководящихъ сферъ. "Русскій же Въстникъ", наоборотъ, относился къ новымъ въяніямъ общественно-политической атмосферы съ увлеченіемъ и полнымъ довърјемъ. Онъ энергично взялся какъ за критику старыхъ порядковъ, такъ и за указаніе путей созиданія новыхъ условій общественной жизни. Въ цъломъ рядъ научно-публистическихъ статей Бунге, Головачева, Молинари, Унковскаго, Заруднаго, Лохвицкаго, Бориса Утина, Побъдоносцева и др. говорилось о необходимости реформъ въ области судебной, о вредъ сословныхъ преимуществъ, объ основахъ будущей крестьянской реформы, о благод тельности самоуправленія и т. д. Чрезвычайную сенсацію производили обличительныя статьи превратившагося изъ жандарма въ либеральнаго публициста Степана Степановича Громени (1823—1877) о полицін, ея взяткахъ и вымогательствахъ. Особенно ярко сказывалось направленіе журнала въ отдёлё "Современной лётописи", главнымъ сотрудникомъ которой быль самь Михаиль Никифоровичь Катковь (1818-1887), впервые здёсь развернувшій свой блестящій публицистическій таланть. Онъ выступиль убъжденнымъ англоманомъ, конституціоналистомъ, съ нъсколько аристократическимъ оттвикомъ, и горячо проповъдывалъ необходимость пересадить въ Россію установившуюся въ Англіи непоколебимую законность, свободу личности и общественной иниціативы. Съ жадностью ловила "Современная летопись" всякій признакъ пробужденія общественнаго самосознанія. Весьма знаменательнымъ признакомъ времени является то, что не только общее направление цензурнаго въдомства теперь ръзко измъняется, но, кромъ того, находятся отдельные цензора, которые, рискуя своею служебною карьерою, отъ себя лично дълають существенивйшія послабленія. "Русск Въстникъ" имълъ такого цензора-друга въ лицъ Н. Ф. фонъ-Крузе, который скоро и быль уволень за чрезмірное и, по тому времени, синсходительное отношение къ цензуруемому журналу, но все же усивлъ много посодвиствовать публицистическому интересу поваго органа самостоятельной русской мысли.

Наряду съ чрезвычайною отзывчивостью въ отдёлё публицистическомъ, "Русск. Въстникъ" становится и центромъ "обличительной" беллетристики, начало которой положилъ Салтыковъ-Щедринъ своими "Губернскими Очерками". Успахъ ихъ превзошелъ всякія ожиданія и сразу выдвинуль автора въ первые ряды литературы. Позднъйшему читателю "Губернскіе Очерки" тоже чрезвычайно нравятся своею колоритностью и яркостью, а больше всего, можетъ быть, великолъпными, нестаръющими типами странниковъ и богомольцевъ. Но для того, чтобы понять то почти физіологическое наслажденіе, съ какимъ читатель "Русск. Въстника" 1856 г. накинулся именно на первые три "губернскіе очерка"—на "Разсказы подъячаго", съ ихъ анекдотами о чиновническомъ взяточничествъ, надо уже стать на историческую точку зрвнія. Надо вспомнить, съ одной стороны, всю безмфрность злоупотребленій дореформенной эпохи, а съ другой-то, что въ возможности гласнаго обличенія этихъ злоупотребленій всь радостно усматривали похороны старыхъ порядковъ и стараго безправія. Необычайный усобхъ "Губернскихъ Очерковъ" создаль цёлый рядъ повъстей въ "щедринскомъ родъ". Изъ нихъ наибольшее вниманіе обратили на себя "Старые годы" Мельникова-Печерскаго, "Откупное дъло" Владиміра Николаевича Елагина (1831—63) и разсказы Ильи Васильевича Селиванова († 1882).

Вся эта "обличительная" литература очень элементарна по своимъ задачамъ, а большею частью и по художественному исполненію. Но не за художественными впечатлѣніями и обращалась публика къ "обличительной" литературѣ и не съ художественными цѣлями приступала къ своимъ произведеніямъ значительная часть "обличительныхъ" писателей. Начинающая завладѣвать умами теорія подчиненія искусства требованіямъ жизни выдвигаетъ даже оригинальный типъ "литератора-обывателя", т. е. непрофессіональнаго литератора, который такъ и начинаетъ свое произведеніе съ заявленія, что онъ и не искусенъ въ литературномъ дѣлѣ, и писателемъ себя не мнитъ, но ему удалось близко присмотрѣться къ такому-то и такому-то печальному или радостному явленію, и вотъ онъ въ цѣляхъ "гражданскихъ" и публикуетъ свои наблюденія. Журналы и газеты конца 50-хъ годовъ охотно помѣщали произведенія такихъ "литераторовъ-обывателей", чрезвычайно охотно читавшіяся.

То же стремленіе не столько доставить эстетическое удовольствіе, сколько принести "пользу" легло въ основу такъ наз. "гражданских мотивовъ", постепенно завладѣвающихъ стихотворнымъ отдѣломъ журналистики и имѣющихъ затѣмъ большой успѣхъ въ отдѣльныхъ изданіяхъ. Характернѣйшею стороною "гражданской" поэзіи второй половины 50-хъ годовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ яркимъ выраженіемъ

однородности настроенія эпохи является то, что наиболье замьтными представителями ея были отнюдь не "либералы". Первые, кто стихами отозвались на новое настроеніе, были Розенгеймъ и Бенедиктовъ: оба-люди совершенно чуждые какихъ бы то ни было связей съ передовыми кружками. Михаиль Петровичь Розенгеймь (1820—1887), когда отошли новыя въянія, переходить въ лагерь охранительношовинистическій, а Бенедиктовъ въ первую эпоху своей литературной карьеры, какъ извъстно, былъ предметомъ самыхъ ожесточенныхъ нападокъ Бълинскаго, начавшаго свою критическую дъятельность съ ниспроверженія надутой, пустозвонной и безпредметной поэзін теперешняго півца необходимости обновленія нашей общественной жизни. Пустозвонность и надутость слишкомъ, однако, органическіе недостатки для поэтическаго произведенія, чтобы ихъ могло скрасить содержаніе, и потому, въ концѣ концовъ, "гражданское" направленіе поэзіи Розенгейма и Бенедиктова не придало интереса и значенія ансамблю ихъ литературной діятельности. А такъ какъ они еще были наиболье талантливые изъ многихъ стихотворцевъ, созданныхъ медовымъ мъсяцемъ россійскаго "прогресса", то въ общемъ и "гражданская" полоса ничего ценнаго для исторіи русской поэзін не дала. Причислять къ "гражданской" поэзін начальныхъ льть новой эпохи Некрасова, какъ это делается иногда, было бы большою ошибкою-главнымъ образомъ потому, что по источникамъ вдохновенія "муза мести и печали" не имѣла ничего общаго съ банальной бенедиктовщиной и розенгеймовщиной. Суровая, истинногражданская поэзія Некрасова была выраженіемь того глубокаго стремленія къ созданію новаго строя жизни и духа, который охватиль лучшіе и руководящіе кружки наши, начиная съ 40-хъ годовъ, и охватилъ какъ протесть, между темъ какъ Бенедиктовъ, Розенгеймъ и др. "обличали" и взывали къ "гражданскимъ" чувствамъ потому, что это было разръшено и даже офиціально одобрено.

Пустозвонностью отзывался въ значительной степени и обличительный театръ конца 50-хъ годовъ. Тутъ опять приходится сдѣлать исключеніе для крупныхъ писателей. Островскій въ "Доходномъ мѣстѣ", несомнѣнно, примкнулъ спльно и рѣшительно и уже потомъ шелъ все по тому же пути. Но въ чрезмѣрно расхваленномъ нѣкогда Бѣлинскимъ, а по существу великосвѣтскомъ писателѣ графѣ Владимірть Александровичть Соллогубъ (1814—82), сочинявшемъ водевили и пьесы даже на такія "современныя" темы, какъ царившая одно время въ Петербургѣ мода на мыльные пузыри, увлеченіе карающими задачами театра тоже было слѣдованіемъ модѣ. Его "Чиновникъ", въ которомъ главный герой Надимовъ, обличая взяточничество, патетически восклицаетъ: "Крикнемъ на всю Русь, что пришла пора вырвать

зло съ корнями", имълъ шумнъйшій успъхъ на сценъ. Но это свидътельствовало только о настроеніи общества, жадно ловившаго всякій намекъ на обновление отжившаго строя. Люди же, умъющие разбираться въ литературныхъ явленіяхъ, тогда же видёли внутреннюю фальшъ и фразерство "Чиновника". Такъ, не менѣе шумный успѣхъ, чвить самая пьеса, имвла блестящая и вдкая критическая статья о пей, помъщенная Н. Ф. Иавловымъ въ "Русскомъ Въстникъ". Оба успѣха одинаково тѣсно связаны съ настроеніемъ времени и другъ другу не противоръчать, такъ какъ Павловъ всего менте нападаль на общественныя задачи пьесы, а только доказываль, что за великое дъло обновленія надо браться съ большимъ проникновеніемъ и съ большимъ желаніемъ не однъ только красивыя фразы говорить, но и дъло дълать. Изъ другихъ драматурговъ обличительной эпохи имъли еще успъхъ Николай Михайловичъ Львовъ (1821—1872), авторъ комедій "Свѣтъ не безъ добрыхъ людей" и "Предубѣжденіе" и особенно Алексий Антиповичь Потъхинъ (род. 1829), обратившій на себя внимание также романами и повъстями, изображавшими борьбу старыхъ понятій съ новыми и грубость отходящаго времени.

Новыя теченія и настроенія ярко сказались не только въ общей журналистикъ и художественныхъ произведеніяхъ. Оживленіе охватило и сферы, какъ будто съ идейными возбужденіями ничего общаго не имфющія. Какъ это ни странно, но къ числу самыхъ чуткихъ журналовъ своего времени принадлежалъ "Морской Сборникъ". Объясняется это тъмъ, что стоявшій во главъ морского въдомства вел. кн. Константинъ Николаевичъ былъ однимъ изъ наиболе горячихъ поборниковъ реформъ, и такъ какъ общей цензуръ "Морской Сборникъ" не подлежаль, то онь и пользовался гораздо большей свободой, чемь другіе органы печати. Первыя обличенія злоупотребленій, обнаружившихся во время войны, появились въ "Морскомъ Сборникъ", здъсь же были напечатаны первыя статьи о судебной реформъ. Но наибольшее впечатленіе произвели "Вопросы Жизни" знаменитаго хирурга и въ скоромъ времени попечителя кіевскаго округа Николая Ивановича Пирогова (1810-1881), появившіеся на страницахъ "Морского Сборника" въ 1856 г. Наряду съ "Губерскими Очерками", они вызвали громадную сенсацію и превратились въ крупное общественное событіе по темъ надеждамъ, которыя возлагали на нихъ, благодаря тому, что они появились въ офиціальномъ органъ. Тема "Вопросевъ Жизни" педагогическая. Пироговъ доказывалъ вредъ того, что у насъ ребенка сызмала приготовляють къ спеціальной деятельности, къ тому, чтобы быть морякомъ, военнымъ, купцомъ и т. д. Истинная же задача педагогін-воспитывать человтька, который

потомъ, усвонвши себъ основы общечеловъческой культуры, пусть и избираетъ по желанію и способностямъ ту или другую спеціальность.

Гуманное воодушевленіе, съ которымъ написаны "Вопросы Жизни", было предтечею коренныхъ преобразованій въ учебномъ дълъ, прежде основанномъ исключительно на кастовомъ духъ и суровомъ стремленіи уничтожить всякую индивидуальность. Одновременно съ "Вопросами Жизни", въ томъ же "Морскомъ Сборникъ" появляется рядъ статей Бэма, Даля, пастора Зедергольма, которыя встрътили самый горячій отзвукъ въ другихъ журналахъ, и все это, идя рука объ руку съ добрыми намфреніями руководящихъ сферъ, привело къ чрезвычайному оживленію въ учебномъ дёлё. Университеты широко раскрывають двери всвиь желающимь, не исключая и женщинь, профессора читають публичныя лекцін, привлекающія множество слушателей, въ студенчествъ пробуждается страстный интересъ къ общественной жизни, благодаря чему оно вскорт становится однимъ изъ важивншихъ и дающихъ тонъ слоевъ русской интеллигенціи. Чрезчайно ярко общая система благожелательнаго отношенія къ студенчеству выражается въ томъ, что разрѣшаются студенческія сходки, кассы, сборники (въ сборникъ петербургского студенчества дебютировали Писаревъ, Леонидъ Майковъ и др.).

Система безусловнаго довърія къ общественнымъ силамъ совпадающій съ нею періодъ также безусловнаго общественнаго одинодушія въ стремленін къ реформамъ длится, однако, очень не долго. Если вообще медовый мъсяцъ эпохи реформъ и россійскаго "прогресса" можно помъстить между 1855 и 1862 гг., то собственно время полнаго единодушія и реформаторскаго умиленія длится не болье двухъ льтъ, приблизительно до появленія въ 1857 г. манифеста на имя виленского генералъ-губернатора, возвъщавшого близость уничтоженія крѣпостного права. Надо было теперь отъ корошихъ словъ переходить къ дѣлу, надо было не только обличать но и жертвы приносить, и единодушіе постепенно исчезаетъ. Слишкомъ крупные интересы, и имущественные, и сословные были тутъ замфшаны, чтобы не образовалось нфсколько группъ. Крфпостниковъ внолить откровенныхъ, безусловно противившихся отманть крапостного права, почти не было въ составъ редакціонныхъ комнесій, ни тъмъ болве въ литературв. Но людей, которыхъ можно было назвать крвпостниками, потому что они старались сузить рамки будущей реформы, было очень много, и хотя они тоже не имѣли сколько-инбудь серьезнаго представительства въ литературъ, но зато были сильны своими связями и временами достигали того, что печать (особенно "Современникъ") была стъснена въ обсуждении реформы. Эти неожиданныя етвсненія, которыя какъ бы указывали на колебанія въ самомъ рефор-

маторскомъ настроенін, заставляли теснее сплачиваться людей, колебаній не знавшихъ. И вотъ почему уже въ концѣ пятидесятыхъ годовъ столь недавнее единодушіе "обличительной" эпохи постепенно исчезаетъ, и для проницательнаго наблюдателя ясно обозначаются первые контуры скоро наступающей ожесточенной борьбы міросозерцаній и покольній. Это быль органическій процессь, вызванный не только измѣненіемъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Какъ во всякую эпоху коренныхъ переломовъ, изъ общаго хора первоначально всегда умфренныхъ тробованій начинають выдфляться люди болфе ръшительныхъ стремленій. Открытой борьбы между умъренными и радикальными элементами еще нътъ, но радикальное настроеніе все растетъ. Крипнетъ постепенно рознь между умъренно-прогрессивными "отцами" - людьми сороковыхъ годовъ, помнящими суровость только что завершившейся эпохи и потому довольствующимися малымъ, и бурно опрокидывающими все старое "детьми", которыя о старомъ судять не по непосредственному впечатлёнію, а больше по разсказамъ, и потому отъ кажущихся имъ очень скромными переменъ въ умиление прийти не могутъ. Центромъ этого радикальнаго настроенія въ концъ пятидесятыхъ годовъ становится "Современникъ" въ лицъ главныхъ своихъ теоретиковъ- Чернышевскаго и Добролюбова.

Николай Гавриловичь Чернышевскій (1828—1889) быль человікь чрезвычайно разнообразныхъ знаній и оставиль яркій слёдъ критикъ, философіи, публицистикъ, политической экономіи. Съ критическою дъятельностью Чернышевскаго обыкновенно совершенно ложно связывается представленіе о "разрушеніи эстетики", которое въ дъйствительности составляетъ характерную черту слъдующей эпохи. Правда, въ своей извъстной диссертаціи "Эстетическія отношенія искусства къ дъйствительности" (1855) Чернышевскій задался страннымъ вопросомъ о томъ, что "выше": жизнь или искусство? Страннымъ, потому что сравниваются понятія по своей разнородности совершенно неизмфримыя. Чернышевскій приходить къ выводу, что жизнь выше, потому что искусство только воспроизводить жизнь и подражаеть ей. Но выводь этоть нимало не колеблеть ни громадной роли искусства, ни того, что въ основу искусства долженъ быть положенъ принципъ красоты. Для Чернышевскаго только несомнино, что "прекрасное есть жизнь" и что искусство "кроми воспроизведенія, имветь еще другое значеніе объясненіе жизни". Въ практическомъ приложении своихъ эстетическихъ воззрѣній, Чернышевскій восторженно ознакомплъ русское общество со создателемъ новоевропейской эстетики Лессингомъ, еще болъе восторженно относился къ Пушкину, и не только не стоялъ за тенденціозное искусство, но прямо говориль: "Автономія—верховный законъ искусства" а "верховный законъ поэзін— храни свободу своего таланта, поэтъ".

Впрочемъ, если не считать того, что своими извъстными "Очерками Гоголевскаго періода" онъ положиль начало культу Бѣлинскаго, то значение Чернышевскаго, вообще, не въ сферъ литературной критики, которою онъ занимался, къ тому же, недолго. Историческая роль его въ томъ, что какъ мыслитель онъ былъ врагъ всего неяснаго и мистическаго и больше всёхъ содействоваль переходу передовой части русской интеллигенціи отъ отвлеченной философін 40-хъ годовъ къ научно-позитивному міропониманію. Какъ политико-экономъ, онъ окончательно укрѣпилъ въ свободолюбивыхъ слояхъ то отрицательное отношение къ буржуазному строю, которое началось еще въ 40-хъ годахъ, но затъмъ замерло подъ вліяніемъ реакціи 1848-55 гг. Какъ публицисть и полемисть, онъ выработаль тоть особый, только въ Россіи встрачающійся типь журнальныхъ статей, который удержался до нашихъ дней. Онъ состоить въ томъ, что научно-философскія темы разрабатываются не какъ предметъ спеціальнаго изследованія, а берутся только въ общихъ своихъ очертаніяхъ и немедленнымъ приложеніемъ къ разрѣшенію вопросовъ времени получаютъ жгучій интересъ отвѣта на самые животрепещущіе запросы ума и сердца. Помимо блестящаго таланта, главный источникъ огромнаго вліянія Чернышевскаго на наше безвольное и расплывчатое общество-въ глубокой его убъжденности, въ ясности его міросозерцанія и въ той непреклонности, которая на первый взглядъ представляла такой удивительный контрастъ съ личными качествами его. Когда вождь и основатель русскаго радикализма умеръ при условіяхъ, мало располагавшихъ къ положительнымъ отзывамъ, цълый рядъ духовныхъ лицъ (товарищи Чернышевскаго по воспитанію) засвидітельствоваль, что это быль не только идеаль душевной чистоты, во и человъкъ необыкновенной доброты и мягкости. Но именно эта-то душевная чистота и делала его такимъ рѣшительнымъ. Не зная компромиссовъ въ личной жизни, онъ не допускаль ихъ въ жизни общественной, не зная высшаго принципа, чемъ общественное благо, онъ его сделалъ верховнымъ началомъ всякой діятельности.

Такимъ же непреклоннымъ ригористомъ былъ и необыкиовенноумный и даровитый юноша, которому Чернышевскій вскорѣ уступилъ критическій отдѣлъ въ "Современникѣ", оставивъ себѣ статьи научно - публицистическія. Николай Александровичъ Добролюбовъ (1836—61) принадлежитъ къ числу тѣхъ стихійно-выдвигаемыхъ событіями дѣятелей, которыми богаты всякія эпохи коренныхъ перево-

ротовъ и переломовъ. Едва вышедши изъ отроческаго возраста, онъ писалъ, духовно выростая во время самаго писанія и всего менте предчувствуя, что статьи его получать историческое значение (въ самый разгаръ своей промелькнувшей для другихъ ослѣпительнымъ метеоромъ литературной деятельности, онъ быль убежденъ, что пишетъ "слабо, плохо, старо, безполезно", онъ не "дорожитъ своими трудами, не подписываетъ ихъ и очень радъ, что ихъ никто не читаетъ"). Какъ бы за него, такимъ образомъ, писали грядущія требованія эпохи, въ его именно статьяхъ и получавшія первыя свои очертанія. Самъ по себъ и этотъ второй создатель русскаго "отрицанія", какъ и Чернышевскій, таиль въ своей душь удивительныйшій запась ныжности и мягкости, необычайно ярко выступающій въ его интимной жизни. Но въ общественной дъятельности онъ былъ безпощаденъ и ръзокъ, потому что всегда ненавидить сильно тоть, кто сильно любить. Молодость сыграла весьма крупную рольвъ созданіи Добролюбовской рѣзкости и непримиримости. Не переживъ самъ николаевской эпохи, онъ не могъ чувствовать того умиленія отъ переміны политической атмосферы, которое охватило людей. живо помнившихъ недавніе дни безправія и мрака. Идеалы его шли гораздо дальше. Ученикъ Чернышевскаго, онъ никакъ не могъ удовлетвориться умфренными требованіями эпохи, а стадность внезапно, съ указнаго дозволенія, народившагося всероссійскаго "прогресса" ему прямо претила. Слишкомъ глубоко преданный иде дъйствительнаго прогресса, онъ не выносилъ показной и репетиловскишумливой прогрессивности, и вопли о правдь, гласности, взяткахъ свобод в торговли, вред в откуповъ, гнусности угнетенія и проч. разныхъ Розенгеймовъ, Бенедиктовыхъ, Львовыхъ, Соллогубовъ, которымъ вторили даже откупщикъ Кокоревъ и разные ловители рыбывъ мутной водь, его крайне раздражали. Въ серьезную борьбу онъ не вступалъ съ этою стадностью, но въ знаменитомъ "Свисткъ" — сатирическомъ приложеніи къ "Современнику" (заведенъ въ 1858), гдф онъ принялъ деятельное участіе, Добролюбовъ далъ полную волю своему тонкому остроумію и разъ навсегда провель ръзкую демаркаціонную линію между людьми, либеральничающими, потому что это дозволено, и людьми, для которыхъ свобода общ6ственной жизни —священный лозунгъ всѣхъ ихъ духовныхъ стремленій. Такую же демаркаціонную линію Добролюбовъ провель и своимъ отношеніемъ къ Пирогову. Добролюбовъ вначалѣ относился къ автору "Вопросовъ Жизни" съ величайшимъ сочувствјемъ. Но именно въ серьезности похвалъ, которыми Добролюбовъ осыпалъ Пирогова, и крылся источникъ позднъйшихъ на него нападеній. Глубоко долженъ быль онь огорчиться, когда прославленный имъ врагъ "виляній" и уступокъ "конвенансамъ" вдругъ сдёлалъ уступку рутинной педагогикъ и въ изданныхъ имъ "Правилахъ" о проступкахъ и наказаніяхъ

учениковъ гимназій кіев округа-правда, съ разными оговоркамиузакониль съчение. Страстно преданный дълу, а не лицамъ, неумолимый ригористь, Добролюбовь ни одной минуты не сомнтвался въ томъ, какъ ему поступить съ вчеращинимъ своимъ кумиромъ Онъ пишетъ громовую статью противъ Пирогова, озаглавленную "Всероссійскія иллюзін, разрушаемыя розгами", и не обинуясь называетъ кіевское съченіе "злодьяніемъ". Рызкость статьи, направленной противъ одного изъ самыхъ яркихъ представителей новаго теченія, глубоко поразила всёхъ умеренныхъ прогрессистовъ. Стало ясно, что народилось новое поколеніе, которое однеми заплатами стараго строя не удовлетворится и потребуетъ коренного обновленія всего общественнаго организма. Статья о Пироговъ и вскоръ последовавшая крайне пренебрежительная характеристика Кавура, имя котораго, какъ одного изъ деятелей итальянскаго объединенія, было окружено тогда особеннымъ ореоломъ, создали совершенно невърное представление о Добролюбовъ, какъ о разрушителъ по преимуществу. Этобезусловно несправедливо. "Свистуну" Добролюбову обязанъ своею литературною репутаціею цёлый рядъ писателей. Кто, какъ не онъ, создалъ Островскому настоящую, всероссійскую славу, которую были безсильны доставить ему ближайшіе литературные друзья изъ "Москвитянина", кто красноръчивъе всъхъ комментировалъ "Обломова"? Несправедливо также усматривають въ Добролюбовъ разрушителя "эстетики" и упразднителя искусства. И то и другое можетъ быть приручено только къ Инсареву. Самъ же онъ является не провозвъстникомъ публицистическаго искусства, а основателемъ стической критики. Съ него начинается та полоса русской критики, не закончившаяся и понынь, когда чисто-литературныя достоинства рёдко вліяють на оцёнку произведенія: его оцёнивають, по преимуществу, какъ факторъ прогресса или регресса. Какъ мы уже отмътили во вступительной стать в настоящихъ "Очерковъ", начиная съ Добролюбова, литературные критики нашипрямые трибуны, для которыхъ художественныя произведенія—не болће какъ предлогъ выяснить свои общественные идеалы. Добролюбовъ создалъ особый родъ критическихъ статей "по поводу", которыя очень мало занимались эстетическою стороною произведенія (хотя самъ Добролюбовъ былъ, въ отличе отъ Чернышевскаго, человъкъ съ очень тонкимъ эстетическимъ пониманіемъ) и очень много общеетвенными выводами, изъ него вытекающими. Статьи Добролюбова какъ будто трактовали о Тургеневъ, Островскомъ, Гончаровъ, а на самомъ дълъ это былилирические манифесты новаго міросозерцанія.

Илоды дѣятельности Чернышевскаго и Добролюбова и связанное съ нею выступленіе на литературную арену новаго поколѣнія ска-

зались и всколько поздиве — въ начал в 60-хъ годовъ. А покам встъ еще пышно развертывается при всеобщихъ аплодисментахъ всъхъ слоевъ общества могучая дъятельность плеяды сороковыхъ годовъ, застывшая въ летаргическомъ снѣ въ тяжелую годину реакціи 1848—55 гг. Въ исторіи русской литературы нётъ равнаго по интенсивности промежутка времени, какъ первыя 5-6 льтъ эпохи великихъ реформъ. Именно къ этимъ немногимъ годамъ относится созрѣваніе, а отчасти и нарожденіе ослѣпительной фаланги великихъ талантовъ новѣйшаго періода. "Рудинъ", "Дворянское гитздо", "Наканунт", "Отцы и дъти", "Обломовъ", "Гроза", "Губернскіе Очерки", "Тысяча душъ", "Горькая Судьбина", "Записки изъ Мертваго дома", "Севастопольскіе разсказы"-весь этотъ фундаментъ храма славы новъйшаго русскаго романа и драмы создался въ немногіе первые годы новой эпохи. Знаменательно, что даже въ жизни представителей такъ назыв. "чистой" поэзін-Майкова, Полонскаго, Фета конецъ 50-хъ годовъ былъ эпохой таланта: появляется лучшая вещь Майковарасцвѣта TXL "Три смерти", лучшая вещь Полонскаго—"Кузнечикъ-Музыкантъ", въ эти-же годы были напечатаны характернъйшія произведенія музы Фета. О Некрасовъ уже говорить ничего-изъавтора нъсколькихъ хорошихъ стихотвореній онъ превращается въ крупнѣйшаго со всѣхъ точекъ зрвнія поэта, ввщее слово котораго воспитываеть рядь поколвній въ любви къ обездоленнымъ и неимущимъ. Въ сферъ теоретической мысли и публицистики этотъ же короткій промежутокъ ознаменованъ необыкновеннымъ расцвътомъ дарованій. Герценъ, конечно, весь человъкъ сороковыхъ годовъ. Но только новая эпоха дала такое огромное значеніе этому ослѣпительному таланту, который прежде уходиль въ значительной степени на фейерверкъ и блестки. Къ Чернышевскому и Добролюбову можно относиться разно, но никто еще не отрицаль первостепенную умственную величину ихъ. И если къ этому прибавить, что и шедшіе немножко въ разр'єзь съ эпохою Аполлонъ Григорьевъ и Дружининъ тоже во второй половинь 50-хъ годовъ написали лучшія статьи свои, то въ общемъ получается картина небывалаго литературнаго оживленія, если даже совершенно пожертвовать мелкотою литературы "обличительной" и надуто-"гражданскимъ" направленіемъ писателей стадной "прогрессивности".

Тѣсная связь оживленія общественно-политическаго и литературнако всего ярче, однако, сказывается не въ самомъ фактѣ появленія цѣлаго ряда высоко-талантливыхъ произведеній, а въ той, по пренмуществу, общественной окраскѣ, которая отнынѣ становится одной изъ основныхъ чертъ нашей литературы. Если и вообще наша литература никогда не замыкалась въ сферѣ чисто-художественныхъ интересовъ и, по нашей формулировкѣ, всегда была кафедрой, съ которой раздава-

лось учительное слово, то отнына вса крупные даятели нашей литературы ва той или другой форма отзываются на потребности времени и становятся художниками-проповадниками. Всякій писатель является теперь и общественныма вождема, и ва основа главнайшиха произведеній лежита желаніе провести ва общества та или другіе общественные взгляды и воззранія. Создается особый термина "ловить момента", т. е. отражать потребности времени, и это считается величайшею похвалою.

Ярче другихъ думы и ожиданія начальныхъ льтъ эпохи реформъ отразиль самый крупный писатель того времени Иванъ Сергњевичъ Тургеневъ (1818-83), въ талантъ котораго чуткость къ колебаніямъ общественной атмосферы является наиболже характерною чертою. Одинъ изъ самыхъ тонкихъ художниковъ всей всемірной литературы, онъ, вийстй съ тимъ, представляетъ собою образецъ самаго тиснаго взаимодъйствія литературы и общественной жизни. Въ общеніп съ Бълинскимъ онъ выработалъ себъ весьма опредъленное общественное міросозерцаніе и сталь не только великимь художникомь, но и выдающимся борцомъ за свое міровоззрѣніе. Въ начатыхъ въ концъ сороковыхъ годовъ "Запискахъ охотника" онъ выполнилъ Аннибаловскую клятву своей молодости-бороться съ крипостнымъ правомъ, въ меланхолическихъ произведеніяхъ первой половины 50-хъ годовъ отразиль общую подавленность тяжелой эпохи, а теперь онъ возбужденно отдается воплощенію въ художественныхъ образахъ новыхъ общественныхъ настроеній и теченій. И такъ какъ для другихъ еще незамътно, но для его остраго зрънія уже совершенно опредъленно въ воздухѣ носится не умилительное согласіе и близкое осуществленіе всяческихъ надеждъ, а нарожденіе совершенно иной эпохи, иныхъ людей, иныхъ нравовъ, то творческое чутье тянетъ его къ подведенію итоговъ прошлаго покольнія и къ гаданію о близкомъ будущемъ. Олицетворение вынужденной бездъятельности сороковыхъ годовъ Рудинъ ("Рудинъ", 1857) умираетъ за чужое діло; неприспособленный къ активной роли въ жизни Лаврецкій ("Дворянское гитадо", 1859) добровольно очищаетъ масто и съ грустью, не безъ горечи благословляетъ молодыя, грядущія силы. Въ "Наканунь" (1860), эти молодыя силы впервые властно выступають на арену общественной жизии, а въ "Отцахъ и дътяхъ" (закончены 1861)—начинается пора открытой борьбы двухъ покольній. Названныя произведенія, составляющія, вифстф съ отразившими настроеніе сороковыхъ годовъ "Записками Охотника", основаніе значенія Тургенева, представляють собою наиболье яркое проявление одной изъ самыхъ характерныхъ особенностей новъйшей русской литературы. Именно литература и жизнь до такой степени солижаются другь съ другомъ, что силошь

да рядомъ при анализъ того или другого общественнаго явленія нельзя отличить, гдъ кончается литературный генезись его и гдъ начинается непосредственное дъйствіе общественныхъ силъ. И наобороть - при изученіи того или другого факта литературной исторіи не знаешь, гдъ кончается общественное воздъйствие и гдъ начинается сфера чисто-литературнаго творчества. Съ произведеніями Тургенева происходило следующее: какъ сказано, при ихъ созданіи онъ удивительно тонко и чутко отражалъ носившіяся въ воздухѣ эпохи настроенія и теченія. Но именно вслідствіе этой удивительной способности придавать еще неопредалившемуся опредаленныя очертанія, кристаллизовать еле образующееся въ яркихъ и ясныхъ художественныхъ образахъ, онъ самъ являлся могущественнымъ фактомъ выработки новыхъ общественныхъ теченій. Романами Тургенева не только зачитывались, его героямъ и героинямъ подражали въ жизни. Всякая дъвушка воображала себя Еленой изъ "Наканунъ" и прямо полъ-покольнія захотьло стать Базаровыми.

Не менте крупную общественную роль, хотя совершенно иного свойства, сыграло другое подведение итоговъ-, Обломовъ" Ивана Александровича Гончарова (1812-1891). Для насъ, отошедшихъ на 40 лътъ отъ лихорадочнаго стремленія того времени порвать всякія связи съ прошедшимъ, въ знаменитомъ романъ больше всего интересна бытовая сторона его-изображеніе жизни въ Обломовкъ и иныя картины нравовъ. Но тайна колоссальнаго успъха "Обломова" лежала не въ эпическихъ его достоинствахъ. Нужно было яркое воплощение нашей эпохи, нужна была кличка для обозначенія нашей дореформенной инертности и косности—и она быстро вошла во всебщій обиходъ, какъ только Добролюбовъ ее формулироваль въ своей знаменитой стать в "Что такое Обломовщина". По свидътельству современниковъ, ръшительно всякій усматриваль въ себъ элементы "обломщины". Встмъ казалось, что найдено объяснение несовершенствъ нашего общественнаго строя, всякій съ ужасомъ отворачивался отъ перспективы столь же безплодно пройти жизненное поприще, какъ герой Гончаровскаго романа, всякій даваль клятву истребить въ себъвсъ следы этого сходства. Такимъ-то образомъ попалъ въ великую честь инсатель, составившій себъ репутацію безстрастнаго фламандца и по общему складу своего духовнаго существа всего менте склонный къ тому, чтобы стать писателемъ-проповъдникомъ. Но онъ уловилъ "моментъ", и его произведение сыграло, совстить помимо его творческихъ намфреній, роль одного изъ сильнайшихъ ферментовъ новаго настроенія.

Въ эти же последніе дни мира достигь высшей точки своей изв'єстности Алекскій Өеофилактовичь Писемскій (1820—81), напечатавшій

въ 1859 гг. лучшія свои вещи-романъ "Тысяча душъ" и драму "Горькая судьбина". Въ "Тысячъ душъ" рядомъ съ картинами разныхъ злоупотребленій, Писемскій въ лиць главнаго героя, неудовлетворившагося личною карьерою Калиновича, вывель администратора новаго типа, искренно задающагося цёлью содёйствовать, насколько это отъ него зависить, искорененію старыхь непорядковь. Калиновича не следуеть связывать съ пустозвонствомъ соллогубовского чиновника Надимова, говорящаго эффектныя фразы для того, чтобы самому любоваться на себя и на другихъ произвести выгодное впечатлъніе. Онъ свою порядочность купилъ дорогою ценою тяжелыхъ страданій и внутренняго перерожденія, и чисто-литературный интересь произведенія въ томъ, что перерождение это психологически вполнъ подготовлено и потому художественно-правдиво. "Тысячью душъ" Писемскій заняль одно изъсамыхъ крупныхъ мъстъ въ исторіи русскаго общественнаго романа, и это особенно характерно темъ, что до того онъ считался человекомъ чисто физіологическаго таланта, творившаго, не задаваясь никакими идейными проблемами.

Еще менфе, казалось бы, подходиль къ ролп выразителя новыхъ общественныхъ теченій недавній столиъ полуславянофильской, молодой редакцін Москвитянина", крупнейшій драматургь новейшей русской литературы Александръ Николаевичъ Островскій (1823—1886). А между темъ въ какой яркой форме выразилась это перемена или, по огорченному выраженію его сконфуженаго теперь апологета Аполлона Григорьева, "измъна". Переходъ Островскаго какъ-то даже вдвойнъ произошелъ. И самъ по себъ онъ пишетъ "Доходное мъсто" (1856), "Воспитанницу" (1859), "Грозу" (1860), которыя помимо всякихъ комментаріевъ совершенно определенно примыкаютъ къ новымъ въяніямъ, а кромъ того и вся его предыдущая дъятельность получаеть теперь совершенно новое толкованіе. Его даль Добролюбовь въ одной изъ тъхъ составляющихъ эпоху въ исторіи литературы статей, которыя сразу и навсегда устанавливаютъ значение и смыслъ дъятельности того или другого писателя. Все равно, какъ Гете своимъ объясненіемъ характера Гамлета положилъ конецъ прежнимъ безконечнымъ спорамъ объ этомъ предметв и далъ одно изъ твхъ толкованій, посль которого каждый съ недоумьніемъ спрашиваеть: какъ можно туть было иначе думать, такъ и Добролюбовъ своими "Темнымъ Царствомъ" разъ навсегда устранилъ всѣ до того существовавшіе разнорфчивые взгляды на Островскаго. Онъ определиль значеніе драмъ его, какъ произведеній искиючительно гуманныхъ, гуманныхъ безъ всякихъ заднихъ мыслей, безъ всякаго тенденціознаго желанія прославлять "истинно-русскія" начала жизни, будто бы сохранившіяся въ патріархальномъ быту московскаго купечества. До появленія статей Добролюбова были возможны критическія статьи (Т. И. Филиппова), въ которыхъ доказывалось, что комедіей "Не такъ живи, какъ хочется" Островскій хотѣлъ показать, что, во имя охраненія "русскихъ" семейныхъ началъ, жена должна безпрекословно повиноваться мужу даже въ томъ случаѣ, если расходившійся повелитель начнетъ ее бить безъ всякой вины. Но уже въ появившемся послѣ "Темнаго Царства" лучшемъ произведеніп Оостровскаго— "Грозѣ" всѣ единодушно усмотрѣли только одну потрясающую картину дикаго самодурства, хотя и въ достаточной степени "истинно-русскаго".

Изъ второстепенныхъ выразителей общественнаго "момента" второй половины 50-хъ годовъ большой усивхъ выпалъ на долю Михаила Васильевича Авдъева (1821—1876). Въ воздухъ носились новыя представленія о семейныхъ отношеніяхъ, въ крайнемъ своемъ развитіи создавшія въ 60-хъ годахъ теорію такъ называемаго "гражданскаго брака". Ихъ и отразилъ, отчасти, Авдъевъ въ своемъ нашумъвшемъ романъ "Подводный камень" (1860).

Наряду съ романомъ и драмой, безусловно благотворно подъйствовалъ общій подъемъ русской жизни и на таланть лучшихъ представителей поэзіи. Не только плохіе стадно-"гражданскіе" поэты почувствовали въ себъ приливъ творческихъ желаній. О какомъ бы то ни было гоненіи на поэзію еще и намека никакого не было. Мы уже знаемь, что мнимый "разрушитель эстетики" Чернышевскій въ высшей степени почтительно относился къ Пушкину и "свободу таланта" считалъ верховнымъ закономъ поэзін". Добролюбовъ же прямо восторженно относился къ Пушкину и не только тонко понималъ поэзію, но и самъ быль человькь съ истинно поэтическою жилкой. Кромь целаго ряда весьма остроумныхъ стиховъ въ "Свисткъ", онъ написалъ нъсколько прекрасныхъ лирическихъ стихотвореній, о которыхъ съ большою симпатіей отозвался такой придирчивый ценитель, какъ Тургеневъ (въ "Нови"). Добролюбовъ поднялъ на смѣхъ "гражданскую" поэзію Розенгеймовъ и Бенедиктовыхъ столько же за ен мелкоту, сколько за прозаичность.

При такомъ настроеніи вождей новаго литературнаго движенія, въ полномъ душевномъ равновѣсіи доживаетъ послѣдніе дни почета поэтическая плеяда, на голову которой чрезъ нѣсколько лѣтъ посыплется цѣлый градъ насмѣшекъ и оскорбленій. Но въ свою очередь и она также еще не посвящаетъ себя всецѣло "чистому" искусству, не уходитъ намъренно въ область абстрактнаго, не устраняетъ намѣренно въ своихъ произведеніяхъ все, что напоминаетъ "грязь жизни".

Въ дъятельности главнаго представителя плеяды поэтовъ сороковыхъ годовъ Аполлона Николаевича Майнова (1821—1897) начало эпохи великихъ реформъ является и временемъ очень напряженнаго

творчества, и временемъ высшаго признанія. Публика съ необычной въ писательской карьеръ Майкова горячностью привътствовала теперь его, когда онъ на вошедшихъ въ моду шумныхъ и оживленныхъ литературныхъ вечерахъ выступалъ съ новъйшими произведеніями своей раньше столь строго-античной и безстрастной музы. Но и самъ онъ былъ теперь не обычный классикъ, съ холодно-выдержаннымъ и мраморно-красивымъ стихомъ. Въ его творчествъ господствуетъ теперь полоса преклоненія предъ такими людьми, какъ Саванаролла, Гуссъ, и изъ трехъ римлянъ, дъйствующихъ въ "Трехъ смертяхъ" (поэма начата въ 1841 г., но въ окончательномъ видъ появилась въ 1857 г.), самый безпокойный, самый нервный – это поэтъ Луканъ. Когда Майковъ выступалъ на литературное поприще, ему поэтъ рисовался въ видъ грека-пастуха, который, сдълавъ себъ изъ тростника свирёль, оживиль лёсь и долы сладкими звуками ("Искусство"). А теперь тоже представитель античнаго міра Луканъ рисуеть себъ вотъ въ какомъ видъ задачу "дара пъсенъ":

Народовъ мысли—образъ дать, Ихъ чувству—слово громовое, Вселенной душу обнимать И говорить за все живое— Вотъ мой удёлъ! вотъ власть моя.

Это "не звуки сладкіе". Такъ же мало напоминаетъ "молитвы" впечатлѣніе, производимое стихами Лукана:

Когда для правды безпріютной, Въ сердцахъ людей мелькавшей смутно Скую изъ слова образъ я— И тутъ враговъ слъпан стая Его подхватитъ, злясь и лая, Какъ псы обглоданную кость.

И въ заключение Луканъ съ гордостью сообщаетъ про

Злобу мрачныхъ изувѣровъ, Ханжей, фигляровъ, лицемѣровъ, Съ которыхъ маски я сбивалъ.

Даже чисто-антологическая картинка, вродѣ вошедшей во всѣ дѣтскія книжки "Нивы", заканчивается моленіемъ "о духовномъ хлѣбѣ", о томъ, чтобы "повѣяло весной" и чтобы пустили "свѣжіе ростки" "мысли сѣмена".

Несомивнию, хорошо чувствоваль себя въ эти годы всеобщаго мира и другой видивйшій представитель старой поэтической школы—Яковъ Петровичь Полонскій (1820—98), Въ связи со всёми остальными

фактами литературной исторіи разсматриваемаго періода, нельзя считать простою случайностью, что наивно-поэтическое дарованіе Полонскаго именно теперь создало самое выдержанное, самое художественно-цѣльное произведеніе свое—прелестную поэму "Кузнечикъ-Музыкантъ". Очевидно, поэтъ чувствовалъ возможность вполнѣ отдаться своему настроенію, и идиллическій сюжетъ никому не казался малодостойнымъ и недостаточно "серьезнымъ".

Третій членъ впослѣдствіи въ шутку такъ окрещеннаго "тройственнаго союза" поэтовъ-хранителей Пушкинскихъ традицій, истинный представитель отрѣшенной отъ условій мѣста и времени поэзін — Афанасій Афанасьевичъ Фетъ (1820—1892), въ слѣдующую эпоху является однимъ изъ самыхъ часто упоминаемыхъ и обсуждаемыхъ поэтовъ русскихъ. Писаревъ, въ своемъ походѣ противъ поэзіи, сдѣлалъ Фета мишенью своего остроумія, и имя высоко-даровитаго лирика сдѣлалось надолго синонимомъ "безцѣльнаго" творчества. Но по-камѣстъ съ тѣмъ же "Современникомъ", гдѣ главенствовалъ Чернышевскій, Фетъ былъ настолько литературно-друженъ, что здѣсь печатались не только его "безцѣльныя" стихотворенія, но даже путевыя письма изъ-за границы.

Өедора Ивановича Тютчева (1803—1873), начавшаго свою литературную дъятельность при Пушкинъ и всецъло опредълившагося въ 30-хъ и 40 гг. трудно причислить къ активнымъ литературнымъ силамъ разсматриваемыхъ лътъ. Но для характеристики періода всеобщаго литературнаго мира слъдуетъ отмътить, что именно теперь и создавалась извъстность этого выдающагося поэта-мыслителя. Въ наши дни среди поклонниковъ "чистаго искусства" и символистовъ почитаніе Тютчева приняло характеръ какого-то культа. Поэтому очень интересно отмътить, что основание извъстности Тютчева положено "Современникомъ". Почти на самомъ рубежѣ новой эпохи, къ апръльской книжкъ "Современника" 1854 г. была приложена книжка стихотвореній Тютчева съ восторженной статьей о нихъ Тургенева. Только съ этого времени Тютчевъ и становится извъстнымъ большой публикъ. Въ высшей степени также знаменательно, что первый, кто въ печати заговорилъ о Тютчевѣ, --это "поэтъ-гражданинъ" Некрасовъ ("Современникъ" 1850).

Кромѣ корифеевъ поэзін Пушкинскихъ традицій, продолжали въ полномъ душевномъ равновѣсін свою дѣятельность два поэта небольшого, но изящнаго таланта Левъ Александровичъ Мей (1822—62) и Николай Өедоровичъ Щербина (1821—1869), выступившіе въ началѣ пятидесятыхъ годовъ и въ эпоху писаревскаго гоненія на поэзію тоже причисленные къ школѣ "чистаго искусства". Это до извѣстной степени правильно по отношенію къ незлобивому Мею, но далеко

не точно по отношенію къ Щербинь. Запечатльвъ память о себь въ исторіи русской поэзіи "Греческими мелодіями", гдь, дъйствительно, культъ античной красоты является основнымъ мотивомъ, онъ вмьсть съ тьмъ одинь изъ самыхъ злыхъ и желчныхъ эпиграмматистовъ.

Изъ другихъ поэтовъ школы "чистаго искусства" во второй половинъ 50-хъ годовъ получаетъ извъстность графъ Алексий Константиновичь Толстой (1817--1875). Расцвёть его дёятельности хронологически, впрочемъ, можно отнести и къ 60-мъ годамъ, когда онъ написалъ свою превосходную драматическую трилогію, чрезвычайно популярный, несмотря на чисто внёшнюю разработку, историческій романъ "Князь Серебряный" и рядъ стихотворныхъ сатиръ на "нигилистическое" движение и вычурныхъ балладъ въ мнимостарорусскомъ стилъ. Всепъло принадлежитъ второй половинъ 50-хъ годовъ безотрадная поэзія воронежскаго поэта-самоучки Ивана Саввича Никитина (1824-61). Въ противоположность мажорному тону его знаменитаго земляка Кольцова, лира Никитина настроена очень минорно: онъ рисуетъ грубость, невъжество, эксплуатацію сильнымъ слабаго. И это не было въ немъ результатомъ напускныхъ "гражданскихъ" чувствъ, а върнымъ отраженіемъ не только собственныхъ наблюденій, но и собственныхъ страданій. Въ грусти его нътъ ничего ходульнаго: знаменитая элегія или, върнье, похоронная пъснь самому себъ: "Вырыта заступомъ яма глубокая" принадлежить къ трогательнъйшимъ стихотвореніямъ всей русской поэзін. Искренность чувства доставила теперь успъхъ и поэзін Юліи Валеріановны Жадовской (1824-83), въ сороковыхъ годахъ довольно сурово встрѣченной Бѣлинскимъ.

Къ разсматриваемой эпохъ относятся также первые дебюты цълаго ряда поэтовъ-юмористовъ, представителей легкой сатиры. Это было явленіемъ совершенно новымъ. Собственно родоначальникомъ спеціально-юмористического стихотворенія (мимоходомъ и прежде поэты наши писали эпиграммы, шуточныя стихотворенія и т. д.) следуетъ считать коллективное поэтическое лицо Кузьмы Прутнова, стихотворенія котораго относятся къ концу дореформенной эпохи ("Современникъ", 1850—1854). Нъкоторое участіе принимали туть Некрасовъ и Алексъй Толстой, главное-братья Жемчужниковы (Алексъй, Александръ и Владимиръ Михайловичи), изъ которыхъ Алексъй Михайловичь (р. 1821) до сихъ поръ является бодрымъ поэтомъ-гражданиномъ. Популярность Кузьмы Пруткова въ значительной степени преувеличена и, главнымъ образомъ, держится на нъсколькихъ забавныхъ своею напыщенною напвностью афоризмахъ. Въ общемъ, Кузьма Прутковъ скорфе поражаетъ темъ, что въ его смехе много таланта потрачено такъ безрезультатно для подъема общественнаго

самосознанія, и это нельзя не привести въ прямую связь съ идейнымъ упадкомъ безвременья первой половины 50-хъ годовъ. Съ литературной точки зрвнія юмористы новой эпохи часто были гораздо ниже Кузьмы Пруткова, но общественное значение ихъ сатиры было ярче. Изъ выступившихъ въ концъ 50-хъ годовъ поэтовъ-юмористовъ особенно выдается Василій Степановичь Курочкинь (1831—1875), переводчикъ Беранже, основавшій въ 1856 при помощи талантливаго карикатуриста Н. А. Степанова знаменитую сатирическую газету "Искра". Общественное возбуждение новой эпохи вызвало къ жизни цьлый рядъ юмористическихъ журналовъ ("Знакомые", "Карикатурный Листокъ" "Весельчакъ", "Арлекинъ", "Гудокъ", "Развлеченіе", "Зритель") и даже уличныхъ, эфемерныхъ листковъ. Уличные листки (1858, больше 30) были грубою, бездарною спекуляціею на потребность публики смъяться надъ отходящимъ строемъ жизни, но это-то и характерно: рынокъ всегда очень чутокъ къ въяніямъ времени. Перечисленные выше юмористические журналы, въ которыхъ, правда, участвовало много талантливыхъ людей, тоже далеко не всегда стояли на уровнъ строгихъ требованій общественной сатиры и часто пробавлялись простымъ зубоскальствомъ. Но "Искра" быстро обратилась въ грозную общественную силу. По общему направленію большинства своихъ сотрудниковъ примыкая всецело къ міросозерцанію Чернышевскаго и Добролюбова, "Искра" страстно бичевала несовершенства отживающаго порядка, зорко следила за общественною жизнью и въ той или другой форм'в ум'вла казнить техъ, кого считала вредными для дёла освобожденія Россіи. "Попасть въ Искру"-было такъ же страшно даже для очень сильныхъ людей, какъ и "попасть въ Колоколъ". Изъ наиболъе дъятельныхъ сотрудниковъ "Искры" Дмитрій Дмитріевичь Минаевь (1823—1889) обладаль чрезвычайно легкимъ и бойкимъ стихомъ, а Петръ Исаевичъ Вейнбергъ (р. 1830) составиль себѣ почетную извѣстность какъ одинъ изъ лучшихъ переводчиковъ Гейне и Шекспира. Высоко-литературными достоинствами обладають также переводы провозвъстника женской эмансипаніи Muхаила Ларіоновича Михайлова (1826—1865), въ 1862 г. арестованнаго за составление прокламации и вскоръ умершаго въ Сибири.

Подводя итоги разнообразію, силѣ и количеству литературной производительности начальныхъ лѣтъ эпохи великихъ реформъ, нельзя ее не признать одной изъ самыхъ плодотворныхъ полосъ во всей исторіи русской литературы. Однако, объяснять этотъ расцвѣтъ только однимъ всеобщимъ согласіемъ, царившимъ тогда во всѣхъ сферахъ умственной, государственной и общественной дѣятельности, было бы односторонне. Огромное значеніе еще имѣетъ то, что литература была тогда почти единственнымъ поприщемъ, на которомъ могъ бы сказаться геній эпохи. Несомивнию, серьезно и глубоко было и чисто-общественное броженіе, но процессъ еще не завершился, еще не создались пути для полнаго проявленія общественныхъ силъ. Общественная двятельность даже въ твхъ скромныхъ размврахъ, какіе были даны въ послвдующую эпоху благодаря институту мировыхъ посредниковъ, новому суду, земскому и городскому самоуправленію, теперь еще была немыслима, и вся сила духовнаго полета уходила въ литературу. Это важное обстоятельство всегда надо имъть въ виду при разсмотрвніи того на первый взглядъ столь поражающаго факта, что литература дореформенной Россіи по чисто-художественнымъ качествамъ своимъ выше литературы Россіи реформенной.

IV.

Реакція и эпоха "нигилизма".

(Первая половина 60-хъ годовъ).

Усиленіе радикальных встремленій въ молодежи, въ связи съ польскимъ возстаніемъ и петербургскими пожарами літа 1862 г., напугали какъ руководящія сферы, такъ и часть общества. Начинается реакція, желаніе затормозить діло реформъ, министерство Валуева всячески коверкаетъ цервоначальный широкій размахъ крестьянской реформы и иныхъ начинаній. Катковъ отказывается отъ либеральной программы и, какъ глашатай обузданія и подавленія прогрессивныхъ стремленій въ обществь, получаеть въ соотвытственныхъ кругахъ огромное значение и вліяние. Въ обществъ и молодежи господство получаетъ не серьезный радикализмъ "Современника", а поверхностный, кричащій, вижшній радикализмъ "Русскаго Слова" и теоріи узкаго утилитаризма, грубо вышучивающаго все, что не "полезно". Ослѣпительно-талантливый, но не глубокій Писаревъ въ своемъ стремленін къ разрушенію эстетики доходить до геркулесовыхъ столбовъ, отрицая Пушкина и совътуя замънить литературу популяризацією естественныхъ наукъ. Односторонне-понятый романъ Чернышевскаго "Что делать", въ связи съ темъ, что Герценъ назвалъ "радикальною ноздревщиною", опошляють движение и подготовляють ночву для слёдующей эпохи семидесятыхъ годовъ, замёнившей утилитаризмъ стремленіями общественными. Таковъ общій фонъ, на которомъ вырисовывается картина литературнаго движенія первой половины шестидесятыхъ годовъ.

Центральной фигурой въ ней является Дмитрій Ивановиче Писаревъ (1841-1868). Про этого высокодаровитаго юношу-вождя еще въ гораздо большей степени, чемъ про Добролюбова, можно сказать, что не столько онъ самъ писалъ, сколько за него писало время, именно неудержимое стремленіе всякой бурной эпохи доходить до послёднихъ выводовъ. Писаревъ былъ выдвинутъ этимъ стремительнымъ потокомъ общественной мысли совершенно стихійнымъ образомъ. Еще въ январъ 1861 года онъ не могъ принять участія въ умъренно-прогрессивной "Русской Ръчи" Евгеніи Туръ, потому что въ переговорахъ съ редакціей защищаль принципъ "чистаго нскусства", еще въ апрълъ того же года онъ отправлялъ въ редакцію духовнаго журнала "Странникъ" свой переводъ "Мессіады" Клопштока. А черезъ нъсколько мъсяцевъ онъ-уже видный сотрудникъ ультра-радикальнаго "Русскаго Слова" и въ началѣ слѣдующаго года, при обсуждении тургеневскихъ "Отцовъ и дътей", уже выступаеть, какъ вождь покольнія. Вліяніе его растеть съ каждой новой статьей, превращаясь мало-по-малу въ полную диктатуру, благодаря несравненному блеску его стиля и необыкновенной легкости его литературной манеры, которая дёлала доступными серьезные вопросы пониманію самыхъ элементарныхъ слоевъ читающей публики. Эта легкость не означала, однако, что статьи легко давались писавшему. Какъ и Добролюбовъ, онъ буквально сгорълъ въ работъ и уже года за два до своей столь ранней смерти почти умеръ духовно, утративъ блескъ и силу. Въ три-четыре года своей напряженнъйшей дъятельности онъ подвергъ безпощадному анализу весь строй старыхъ понятій и по каждому старался установить понятія новыя. Пересмотрввъ кодексъ старой морали, старой эстетики и старой науки, предшествовавшей расцвъту естественныхъ наукъ въ серединъ нашего въка, онъ пришелъ къ полному разрушенію прежняго "предлистическаго" міросозерданія и на основъ положительнаго знанія старался создать міросозерцаніе "трезвое", достойное "развитой личности" и "мыслящаго реалиста". Какъ Добролюбовъ и Чернышевскій, и этотъ "разрушитель" быль человъкъ мягкаго и нъжнаго сердца и, конечно, необыкновенной искренности. Это-то и придавало, помимо таланта, такую убъдительность всему, что онъ писалъ, и это же дълало его такимъ последовательнымъ. Провозглашая известный принципъ, онъ, подобно Бълинскому, уже не останавливался ни передъ какими крайними выводами. Онъ не побоялся посягнуть на славу величайшаго русскаго поэта, отлично сознавая, что создаетъ себъ репутацію вандала. И съ этой репутаціей онъ остался навсегда. Писаревъ--- это синонимъ разрушенія искусства вообще и поэзіи въ частности. Онъ, однако же, не то, чтобы совстмъ отрицалъ искусство. Онъ только за нимъ не

хотъль признавать первостепеннаго значенія. Главнымъ образомъ надо "полезное" дело делать, а какъ отдыхъ можно себе позволить и искусствомъ позабавиться, вродъ того, какъ человъкъ послъ работы разрѣшить себѣ выпить вина. Этоть, на первое впечатлѣніе очень радикальный, очень разрушительный, очень возмутительный и т. д. взглядъ былъ въ дъйствительности взглядомъ чрезвычайно старымъ. Его около ста лѣтъ тому назадъ высказывалъ не кто иной, какъ... Державинъ. Для Писарева искусство и поэзія была чаркой вина, а по Державину-поэзія есть то же самое, что "лѣтомъ сладкій лимонадъ". Великая историческая заслуга Бълинскаго предъ русскою гражданственностью въ томъ именно и заключается, что онъ показаль, что литература не есть пріятный лимонадь, а явленіе первостепенной общественной важности. Такимъ образомъ Писаревъ своимъ мнимымъ новшествомъ пошелъ не впередъ, а назадъ, и лишь гдъ надо было пойти назадъ, именно стать на историческую точку зрѣнія при одънкъ Пушкина, онъ этого не сдълалъ. На мъсто низвергнутаго искусства Писаревъ поставилъ науку, но не всв ея отделы, однако же, а исключительно естественныя. Боясь чаръ "идеализма", онъ даже Грановскаго причислилъ къ "сиренамъ", сладкій голосъ которыхъ можетъ сбить трезваго реалиста съ пути достиженія вполнів научваго міросозерцанія. Всячески потішаясь и вышучивая "идеализмъ", Инсаревъ, конечно, считалъ себя "реалистомъ" чистъйшей воды. Но было бы очень близоруко повърить ему въ этомъ. На самомъ дълъ, памятуя, что главное свойство всякаго роматника есть экзальтація, нельзя не признать Писарева типичнѣйшимъ романтикомъ, только влюбленнымъ не въ заоблачныя мечты, а въ естественныя науки. И онъ съ такимъ восторгомъ, съ такимъ зажигающимъ увлеченіемъ говорить о томъ, что на мъсто упраздненной "эстетики" сль. дуетъ поставить естественныя науки, что, дъйствительно, успълъ свое увлечение передать читателямъ. Есть цёлый рядъ признаний современныхъ натуралистовъ, свидетельствующихъ, что первыя семена стремленія къ естествознанію въ нихъ заронили статьи Писарева, съ ихъ широкими перспективами проникновенія въ самую "суть" вещей, съ ихъ заманчивыми ув реніями, что только на основ в "реальныхъ" знаній можно устроить свою жизнь "истинно-человьческимъ" образомъ.

Такимъ же, по существу, романтикомъ Писаревъ является и въ своей проповѣди "разумнаго эгоизма" и неограниченной свободы чувства или вѣрнѣе "чувственности", которая вся относится къ тому времени, когда онъ, за участіе въ распространеніи прокламацій, сидѣлъ въ крѣпости… Но есть иден, которыхъ не спасаетъ чистота намѣреній ихъ провозвѣстниковъ. Вотъ почему писаревская проповѣдь "разумнаго эгоизма" въ концѣ концовъ не только не приви-

лась, но и подкопала все зданіе писаревскаго утилитаризма. Подкопала его именно исключительно нравственною несостоятельностью своею, а отнюдь не потому, что въ составъ его входило вандальское отношение къ искусству, какъ часто утверждаютъ. Одни взгляды на искусство не въ состояніи никого дискредитировать. Не только на нашихъ глазахъ, а на глазахъ всего міра Толстой еще съ гораздо большей разкостью уничтожаеть эстетику, всю изящную литературу и въ частности Пушкина. И это не ослабляетъ "толстовщину". Пала же "писаревщина" потому, что она провозгласила основнымъ принципомъ жизни наслаждение, потому что въ основъ писаревскаго "разумнаго эгоизма" лежалъ не принципъ общественнаго блага, не самопожертвованіе, не віковічный принципь "положи душу за ближняго своего", а принципъ индивидуальнаго благополучія. Подъ девизомъ свободы личности Писаревъ далъ полную волю страстямъ. Протестуя безъ всякихъ ограниченій противъ стѣсненія личности, Писаревъ упустилъ изъ виду, что истинная мораль состоитъ въ томъ, чтобы ограничить себя во имя высшаго принципа. Безнравственно стеснять чужую личность, но высоко нравственно подавлять свою собственную во имя какого-либо идеала. Чуткіе элементы русскаго общества, сначала именно потому увлекшіеся писаревскимъ разумнымъ эгоизмомъ, что онъ какъ будто ставитъ всв наши добрыя чувства на незыблемый пьедесталь, быстро поняли, что съ нимъ попадешь въ трясину уже не разумнаго эгоизма, а эгоизма грубъйшаго и матеріализма не философскаго, а мелко практическаго, и это подготовило настроеніе следующей эпохи высшаго развитія альтруизма.

Къ тому же возведенію наслажденія въ высшій принципъ жизни фатальнымъ образомъ приводилъ знаменитый романъ Чернышевскаго "Что дѣлать". Участь романа, написаннаго въ крѣпости, вдвойнѣ печальна: во-первыхъ, потому что въ исторіи литературной репутаціи Чернышевскаго это слабое произведеніе заняло слишкомъ замѣтное положеніе, а, во-вторыхъ, потому что выводы, которые изъ него были сдѣланы, всего менѣе соотвѣтствовали тому, что вдохновляло автора.

Проповъдь "разумнаго эгоизма" у Чернышевскаго, котораго по личнымъ его качествамъ его товарищи по духовной семинаріи считаютъ "ангеломъ во плоти", была въ сущности игрою словъ. Тотъ "эгоизмъ", къ которому Чернышевскій хочетъ свести лучшія движенія нашей души,—весьма своеобразный. Оказывается, что человѣкъ, поступая благородно, дѣйствуетъ такъ не для другихъ, а исключительно для себя. Онъ поступаетъ хорошо, потому что поступать такъ доставляетъ ему удовольствіе. Такимъ образомъ, дѣло сводится къ простому спору о словахъ. Не все-ли равно, чѣмъ мотивировать само-

пожертвованіе; важно только то, что является охота жертвовать собою. Такимъ образомъ, въ трогательно-наивныхъ стараніяхъ Чернышевскаго убѣдить людей, что поступать хорошо—не только возвышенно, но и "выгодно", ярко сказался только высокій строй души самого проповѣдника "разумнаго эгоизма", столь оригинально понимавшаго "выгоду".

Въ романъ суровая фугура аскета и провозвъстника общественнополитическаго движенія последующей эпохи Рахметова, а также великодушный поступокъ Лопухова, покидающаго родину, чтобы дать возможность любимой имъ жент сойтись съ человткомъ, котораго та полюбила, казалось, ясно говорили о первостепенномъ значеніи самопожертвованія въ общественной и личной жизни. Но все вниманіе читающей публики по преимуществу сосредоточилось на героинъ романа Вфрф Павловиф, съ легкимъ сердцемъ принимающей приносимыя для нея жертвы и видящей рядъ розовыхъ сновъ. Въ этихъ снахъ аллегорически были воплощены политико-экономические идеалы Чернышевскаго о равномърномъ распредълении богатствъ, о первенствующей роли трудящихся и т. д. Будущее рисовалось въ такихъ исключительно свътлыхъ очертаніяхъ, что отпадало самое важное при осуществленін всякихъ новыхъ идеаловъ-тѣ жертвы, которыя выпадають на долю піонеровь. А между тёмь именно эта-то розовая окраска создала успъхъ роману въ несерьезныхъ кругахъ средней публики, быть новымъ человѣкомъ à la Вѣра Павловна, на которой не лежало никакихъ обязанностей и жизнь которой текла весело, было очень заманчиво, а подражать ей было такъ легко.

И тутъ-то и крылось фатальное дъйствіе романа. Опасность и проклятіе всякой невърной и ложно освъщенной мысли заключается въ томъ, что уродливые выводы изъ нея получаютъ несравненно болѣе скорое приложение къ дъйствительности, чъмъ зерно истины, кроющееся въ каждой новой идев. Такъ случилось съ писаревской різкостью, такъ вышло и съ проповъдью неограниченной свободы чувства, положенной въоснову "Что делать". На этой почве весьма кратковременно, но зато очень ярко распустилось то отклонение отъ идеаловъ Добролюбова и Чернышевскаго-публициста, которое чаще всего характеризуется тургеневской кличкой "нигилизмъ". Кличка эта далеко перешла намфреніе Тургенева, у котораго, во всякомъ случаф, воплощеніе нигилизма—Базаровъ—человѣкъ крупный. Базаровъ весьма мало напоминаетъ тъхъ крикливыхъ адептовъ "новый идей", радикализмъ которыхъ главнымъ образомъ въ томъ и выражался, что мужчины носили длинные волосы, а женщины ихъ стригли. И фальшь многочисленныхъ "противонигилистическихъ" романовъ и повъстей, появившихся въ срединъ и концъ шестидесятыхъ годовъ, не въ томъ

заключается, что лохматые, нечесанные, грязные мужчины и утратившія женственность особы женскаго пола выдуманы. Они, несомнѣнно, были и, несомнѣнно, оскорбляли тонко чувствующихъ людей, но надо было понять, что основное свойство рѣшительно всякаго массоваго движенія—это то, что къ нему примѣшиваются умственные и нравственные подонки. ІІ думать, что именно эти-то подонки знаменуютъ все движеніе—значить проявить неумѣніе отличить главное и существенное отъ второстепеннаго и наноснаго.

Въ литературъ нигилизмъ имълъ своего Базарова въ лицъ Иисарева, который восторженно преклонялся передъ тургеневскимъ героемъ; нигилизмъ же вульгарный, внъшне-крикливый и неглубокій выразился въ другихъ дъятеляхъ "Русскаго Слова". Самая характерная фигура между ними-Григорій Евлампіевичь Благосвътловь (1824—1880), редактировавшій журналь до его закрытія въ 1866 г., а затъмъ основавшій "Дъло". У Благосвътлова не было сколько-нибудь замътнаго писательскаго таланта, но было замъчательное умъніе создавать сотрудниковъ, умѣніе чисто творческое, потому что онъ давалъ сотрудникамъ не только темы, но и основныя мысли, и такимъ путемъ создались наиболье хлесткія и яркія статьи "Русскаго Слова" и "Дъла". Какъ это ни странно, но Писарева создалъ не кто иной, какъ всеми забытый теперь Благосветловъ. Человекъ очень образованный и отрицатель радкой озлобленности, онъ-то въ полгода и превратиль переводчика "Мессіады" въ вождя разрушительныхъ стремленій и прямо вложиль въ него значительную часть того содержанія, которое, прошедши черезъ горнило писаревскаго таланта, получило такой ослепительный блескь и создавало такой небывалый успъхъ статьямъ молодого критика. Еще въ большей степени умственнымъ созданіемъ Благосвѣтлова быль Варооломей Александровичь Зайцевь (1842—1882), весьма часто заставлявшій о себѣ говорить своими ръзкими выходками и яростнымъ ниспровержениемъ всяческихъ авторитетовъ. Это онъ находилъ, что "юнкерская" поэзія Лермонтова пригодна только для чахоточныхъ барышенъ. Цёлый рядъ другихъ пугавшихъ мирныхъ обывателей выходокъ Зайцева былъ высказанъ въ редакціонныхъ собраніяхъ Благосвітловымъ, а Зайцевъ ихъ только изложиль на бумагь. Благосвътловъ не страдаль авторскимъ самолюбіемъ, не отдёлялъ себя отъ журнала, и ему было рёшительно все равно, чья подпись будеть стоять подъ изложеніемъ и развитіемъ его мыслей. Въ значительной степени могъ считаться созданіемъ Благосв'єтлова рьяный полковникъ Николай Васильевичь (?) Соноловь (умерь эмигрантомъ въ 1888), тоже одинъ изъ наиболье яростныхъ "разрушителей" "Русскаго Слова", помъщавшій здёсь статьи политико-экономическаго характера. Номинальный редакторъ "Русск. Слова" Николай Александровичъ Благовъщенсній (1835—1889) создаль себѣ извѣстность разоблаченіемъ монашескихъ плутней на Авонѣ и въ Іерусалимѣ.

Серьезное противодъйствіе крайностямъ и поверхностному радикализму "Русскаго Слова" могь бы оказать только пользовавшійся огромнымъ обаяніемъ органъ Чернышевскаго и недавно умершаго Добролюбова "Современникъ", такъ какъ нападки консервативныхъ и умфренныхъ органовъ, уже по источнику своего происхожденія, могли оказывать только совершенно противоположное дъйствіе. И "Современникъ" попытался образумить Писарева и другихъ дъятелей "Русскаго Слова", доказывая, что они только вредять обаянію того міросозерцанія, во имя котораго ополчаются, что они не реалисты, а лже-реалисты, что они ополчаются противъ метафизической философін, не зная ея и потому не умъя указать ея дъйствительно слабыя стороны и т. д. Но "Современникъ" не вышелъ побъдителемъ, потому что не могъ выставить бойца, равнаго Писареву. Чернышевскій, арестованный въ 1862 и въ 1864 осужденный, выбылъ изъ рядовъ дъйствующей литературы, а замънившій его и Добролюбова Максимъ Алекспевичь Антоновичь (р. 1835) не стояль на высотъ положенія. Онъ былъ сухъ и разсудоченъ, а, между темъ, надо было покорять не столько умъ, сколько сердце. А самое главное, онъ самъ былъ еще худшій "разноситель", чёмъ сотрудники "Русскаго Слова". Въ литературной памяти его имя связано больше всего съ Тургеневымъ и Некрасовымъ. Противъ Тургенева онъ выступилъ, когда появились "Отцы и Дѣти", со статьей "Асмодей нашего времени", въ которой съ совершенно еще непривычной для 1862 года ръзкостью напалъ на пользовавшагося огромнымъ обаяніемъ перваго писателя своего времени, приравнивалъ его къ обскуранту Аскоченскому и яростно доказываль, что Базаровь есть злостная клевета на молодое покольніе. Поздите (1868) Антоновичъ выступилъ съ неслыханно резкимъ памфлетомъ, втаптывавшимъ въ грязь личность того самаго Некрасова, въ журналѣ котораго онъ былъ главнымъ дѣятелемъ. Всего же чаще Антоновичъ выступалъ въ роли "разносителя" мелкихъ литературныхъ людишекъ, и полемика его производила впечатление безпельныхъ дрязгъ, необузданность языка доходила у него до крайнихъ предъловъ грубости. Въ лучшемъ случав, такому противнику, какъ Тургевевъ, доказывалось, что онъ "литературный черкесъ", что онъ равенъ "тупоумному" Писареву. Въ полемикѣ же, которую Антоновичъ велъ въ 1864 и 1865 гг. съ "Русскимъ Словомъ", подъ исевдонимомъ "Посторонняго сатирика", дёло дошло до словъ "ракалія", "хавронья", "гнилой бутербродъ", "барскій лакей", "шелопай", "безсовъстная рожа" и т. д. Въ этой полемикъ Антоновичъ былъ совершенно правъ,

обличая Благосвътлова (человъка, очень несимпатичнаго и грубаго эксплоататора) и указывая промахи Писарева, но на публику потокъ ругательствъ и взаимныхъ изобличеній произвелъ крайне тягостное впечатльніе и не могъ не уронить престижа обоихъ журналовъ.

Больше всего, конечно, "расколъ между нигилистами" доставлялъ удовольствія многочисленнымъ уже тогда врагамъ новыхъ стремленій и молодого поколвнія. Отъ недавняго единодушія теперь не оставалось уже ни малъйшаго слъда и литературно-общественная мысль раздълилась на рядъ партій и фракцій. Крайнюю правую составляли обскурантская "Домашняя Бесъда" Виктора Ипатьевича Аскоченскаго (1813—1879) и крѣпостническая "Вѣсть" Владиміра Дмитріевича Скарятина († въ 1890-хъ гг.). "Домашняя Беседа" была, по преимуществу, забавна, и ее только вышучивали, но за "Въстью" стояли опасныя по своимъ связямъ сферы, и съ нею надо было полемизировать серьезно. Самымъ же опаснымъ врагомъ прогрессивныхъ теченій являлись "Москов. Въдомости", съ 1863 г. перешедшія къ Каткову и подъ его талантливымъ редакторствомъ, при значительномъ, впрочемъ, содъйствіи московскаго профессора-классика Павла Михайловича Леонтьева (1822-1874), превратившіяся въ органъ первостепенной важности и огромнаго вліянія. Благодаря перемінь въ настроеніи руководящихъ сферъ, къ Каткову перешло все то вліяніе, которымъ недавно даже у людей власти пользовался Герценъ. Но и въ средней публикъ "Московскія Вѣдомости" имѣли чрезвычайный успѣхъ, благодаря польскому возстанію и вызванному имъ національному возбужденію. Когда кончилось возстаніе, кончилось и общественное вліяніе и значеніе "Московскихъ Въдомостей". Но роль спасителя отечества слишкомъ пришлась по вкусу честолюбиваго издателя и онъ начинаетъ создавать рядъ новыхъ опасностей, которыми постепенно становятся веф великія реформы Александра II. Недавній конституціоналисть превращается въ мрачнаго реакціонера, борющагося съ противниками главнымъ образомъ орудіемъ политическаго доноса. Другой органъ Каткова "Русскій Въстникъ", совершенно утративъ свой прежній характеръ, становится главнымъ пріютомъ "противонигилистической" беллетристики. Начавъ съ облеченныхъ во всѣ формы уваженія къ противнику "Отцовъ и Дътей", "Русскій Въстникъ" становится все грубъе и грубъе. Онъ даетъ своимъ читателямъ "Взбаламученное море" Писемскаго, "Марево" Виктора Петровича Клюшникова (1841—92), "Дымъ" Тургенева, а съ конца шестидесятыхъ годовъ рядъ романовъ Лъскова-Стебницкаго и автора бульварныхъ "Петербургскихъ Трущобъ" Всеволода Владиміровича Крестовскаго (1840—1895), гдф всф "нигилисты" въ лучшемъ случав дурачки, а большею частью воры, мошенники, грабители, убійцы и поджигатели. Въ 1870-хъ гг. къ старымъ обличителямъ "Русск. Вѣстника" присоединяется великое дарованіе Достоевскаго ("Бѣсы") и посредственные романисты Б. М. Маркевичъ и В. Г. Авсѣенко. Также обличалъ нигилистовъ авторъ печально прославившихся скабрезныхъ "Бродящихъ силъ" ("Всем. Трудъ", 1867)—Василій Петровичъ Авенаріусъ (р. 1839), впослѣдствіи писатель для юношества. Примыкаетъ къ "противонигилистической" литературѣ и "Обрывъ" Гончарова (1869).

Особое положение заняли такъ называемые "почвенники". сгруппировавшівся около журнала "Время". Главными сотрудниками его были Аполлонъ Григорьевъ, Достоевскій и Страховъ. Уже одно присутствіе Аполлона Григорьева въ роли перваго критика дёлало журналъ какъ бы продолженіемъ "молодой редакцін Москвитянина". Лозунгь близости къ народной "почвь" прямо вытекалъ изъ "органической" критики Григорьева. Въ политическомъ отношенія "Время" держало себя солидарно съ лучшими органами прогрессивной мысли, горячо поддерживая всѣ начинанія эпохи реформъ. Вотъ почему было возможно появление во "Времени" нъсколькихъ стихотвореній Некрасова и очерковъ Щедрина. Но журналъ кореннымъ образомъ расходился съ духомъ эпохи по вопросу о народности, которую онъ понималъ, какъ поливищее подчинение народному міровозэрвнію. Столь же кореннымъ образомъ онъ расходился съ тою "соблазнительною ясностью", которую эпоха, на основъ естествознанія, вносила въ вопросы сверхчувственнаго бытія.

Главный полемисть "Времени"-критикъ и философъ Николай Николаевичь Страховь (1828-1896) въ своей позднейшей деятельности все болѣе и болѣе уходилъ отъ тона "Времени" и все твснве примыкаль къ тону "Русскаго Въстника". У Страхова есть горячіе поклонники, ставящіе его очень высоко. И несомнѣнно, это быль мыслитель вдумчивый и очень образованный. Не обладая творческимъ умомъ, онъ все-таки занимаетъ довольно видное мъсто въ нашей философской литературъ. Какъ критикъ, Страховъ не обладалъ живою эстетическою чуткостью и совершенно не былъ способенъ оценить первый дарованія возникающія, но, благодаря своей вдумчивости, онъ сдёлалъ многія интересныя поясненія къ нашимъ установившимся, великимъ писателямъ. Въ общемъ, съ именемъ Страхова не связано ни одно прочно привившееся толкованіе, которое можеть считаться его неприкосновеннымь вкладомь въ исторію русской критической мысли. А вмъстъ съ тъмъ, съ его именемъ связано крупнъйшее критическое фіаско. Почти всю свою жизнь Страховъ считаль себя лучшимъ истолкователемъ Толстого. И какъ же онъ понималь его? Какъ философа смиренномудрія, какъ проповъдника идеаловъ скромнаго семейнаго счастія и вообще какъ рѣшительнаго

врага всего того, что выработано протестующею русскою мыслью. Все это толкование теперь безслёдно рухнуло не только потому, что съ конца семидесятыхъ годовъ Толстой становится пугаломъ для людей такого направления, какъ Страховъ, но и потому еще, что выяснилось, что основы позднёйшаго духовнаго облика Толстого совершенно опредёленно выразились уже въ первыхъ его произведенияхъ.

Оригинальнымъ проявленіемъ уравнительныхъ теченій эпохи реформъ было выступление на литературномъ поприще такъ называемаго "разночинца". Литература первой половины въка, даже въ такихъ самыхъ радикальныхъ проявленіяхъ своихъ какъ Бакунинъ и Герценъ, была, за самыми малыми исключеніями, дворянская. Теперь же и вожди теоретической мысли (Зайцевъ, Добролюбовъ, Чернышевскій, Антоновичь, Благосвітловь) и многіе беллетристы (Помяловскій, Левитовъ, Ръшетниковъ, Николай и Гльбъ Успенскіе и др.) по происхожденію принадлежали либо къ духовенству, либо къ мелкому чиновничеству; и большинство изъ нихъ къ сознанію ненормальности общественных в отношеній пришло не только путемъ теоретическимъ, но и испытавши прелесть этихъ отношеній на самихъ себъ. Этимъ тъснымъ соприкосновеніемъ съ реальной дъйствительностью объясняется грубоватая рёзкость новыхъ литературныхъ дёятелей и горечь, которая особенно была сильна въ произведеніяхъ разночинцевъ-беллетристовъ. Самое крупное дарование въ ряду послъднихъ-Николай Герисимовичъ Помяловскій (1835-63), авторъ превосходньйшей картины изъ отживавшаго педагогическаго быта-, Очерковъ бурсы" и двухъ замъчательныхъ романовъ—"Мъщанское счастье" и "Молотовъ", въ которыхъ впервые была взята насмъшливая нота по отношенію къ личному благополучію, хотя бы и достигнутому хорошими путями. Другіе беллетристы-разночинцы шестидесятыхъ годовъ-Николай Васильевичь Успенскій (1842—1889), Александрь Ивановичь Левитовъ (1842—1877) и Өедөрь Михайловичь Ръшетниковъ (1841—1871) оставили яркій слёдъ въ сферѣ изображенія народной жизни. Посл'в ихъ "трезвой правды" (выражение Тургенева по отношенію къ Решетникову) прежде барски-соболезнующее, смягченное и приподнятое изображение народной жизни исчезаеть навсегда. Еще ивсколько лёть тому назадь большой успёхь имёли разсказы изъ украинской народной жизни Марко-Вовчка (псевд. Марьи Александровны Марковичь, р. въ 1830-хъ гг., ум. въ 1907 г., писала при содъйствіи мужа своего Аванасія Васильевича Марковича, умершаго въ 1867 г.), сами по себъ талантливые и поэтическіе, но до-нельзя сантиментальные и приподнятые. Въ томъ же сантиментальномъ родъ писала свои народные разсказы Кохановская (псевдонимъ Надежды Степановны Соханской, 1825-1884), подкрашенные притомъ еще славянофильски-

утрированнымъ преклоненіемъ предъ стариною. Этой барской сантиментальности у писателей-разночинцевъ не было. Писатели сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, задавшись благородною и высокою цълью отыскать въ народъ человика, проглядълн (частью намъренно) въ немъ мужика, на которомъ темнота и рабство не могли же не отразиться не только бѣдностью, но и нравственнымъ вырожденіемъ. Народникиразночинцы 60-хъ годовъ отнеслись къ своей задачъ діаметральнопротивоположно. Они почти поглядели въ мужике человека и обратили все свое внимание на звъря. Имъвшие кратковременный успъхъ разсказы Николая Успенскаго поражають своимъ безпощаднымъ отношеніемъ къ народу, который въ его изображеніи почти сплошь состоить изъ пьяницъ, воровъ, дураковъ и лентяевъ-въ общемъ какая-то орда глупыхъ дикарей. И представитель самаго крайняго русскаго радикализма — Чернышевскій горячо прив'ятствуеть Успенскаго именно за то, что тотъ "пишетъ о народъ правду безъ всякихъ прикрасъ". Чернышевскій не видить никакого основанія "утанвать передъ самимъ собою истину ради мужицкаго званія" и протестуетъ противъ "пресной лживости, усиливающейся идеализировать мужиковъ". Это единодушіе критики и беллетристики, конечно, показывало, что демократизмъ настолько теперь окрѣнъ, что ни въ какомъ искусственномъ подогрѣваніи не нуждался. Сравнительно съ переоцененнымъ въ свое время Николаемъ Успенскимъ, даровитый Левитовъ съ его мягкимъ поэтическимъ колоритомъ казался многимъ идеализаторомъ народной жизни. Но это впечатлъние создается почти исключительно лирическими отступленіями автора, которыя не нужно смішивать съ темъ, что онъ изображаетъ. Въ большинстве случаевъ левитовскій "народъ" производить самое безотрадное впечатлівніе: все это шоссейные попрошайки, пристанодержатели, родители, сбивающіе своихъ дочекъ, и прочій, какъ его авторъ самъ окрестиль, "безпечальный народъ", который "не светь, не жнетъ". Но настоящій ужасъ навели "Подлиповцы" Ръшетникова. Сенсація, вызванная этимъ произведеніемъ, доставившимъ огромную извъстность его автору, почти лишенному художественнаго дарованія, основана на недоразумѣнін (см. во II т. настоящихъ "Очерковъ" этюдъ о Рѣшетниковъ). Ръшетниковъ самъ назвалъ "Подлиповцевъ" "этнографическимъ очеркомъ" и выводилъ въ нихъ пнородцевъ съвера Пермской губернін, такъ наз. "пермяковъ". Это-форменные дикари, не умъющіе считать дальше пяти, не умъющіе говорить по-русски, молящіеся пермяцкимъ идоламъ, не знающіе, что такое царь, не знающіе даже, что такое паспорть и т. д.; чтобы избавиться отъ детей, они ихъ морозять въ нетопленныхъ избахъ, отцы живутъ съ дочерьми и т. д. Все это и читатели и критика приняли за изображение жизни

русскаго пермскаго крестьянства. И вотъ почему "Подлиповцы", хотя и по недоразумѣнію, явились поворотнымъ пунктомъ въ изображеніи народной жизни. Послѣ ихъ ужасной "правды" не только "пейзане" Григоровича, но и высоко-художественные народные типы Тургенева, съ ихъ нѣжно опоэтизированною психологіей, съ ихъ, хотя и крестьянскою, но все же черезчуръ гладкою рѣчью, становятся прямо немыслимыми.

Изъ писателей-неразночинцевъ разсказы изъ народной жизни писалъ талантливый Василій Александровичъ Слѣпцовъ (1836—1878). И этотъ передовой писатель и радикальный общественный дѣятель изображаетъ мужиковъ настоящими головотяпами. Главное произведеніе Слѣпцова—большая повѣсть "Трудное время". Несравненно жесточе относясь къ "мѣщанскому счастью", чѣмъ Помяловскій, Слѣпцовъ съ безпощадною ироніею вышучиваетъ умѣренный либерализмъ, который не идетъ дальше двухъ, трехъ хорошихъ порывовъ, а затѣмъ остываетъ и обращается къ устройству личнаго благополучія.

Рядомъ съ органами и дъятелями радикальной и всякой вообще ярко-окрашенной мысли, органы умфренно-прогрессивнаго направленія не могли имъть успъха и вліянія въ эпоху, справедливо иногда называемую нашей "Sturm und Drang Periode"—"періодомъ бури и натиска". Уже въ самомъ началъ 60-хъ гг. (1862) погибъ "органъ женскаго ума"-, Русская Рвчь", во главв которой стояли обратившая на себя въ началъ 50-хъ годовъ вниманіе романовъ "Племянница" Евгеній Турь (псевдонимъ графини Елисаветы Васильевны Сальясьде-Турнемирь, 1815—1892) и тогда еще либеральный историкъ-публицистъ Евгеній Михайловичь Өеоктистовъ (1829—1898), поздніве начальникъ главнаго управленія по дёламъ печати въ тяжелую годину реакцін 80-хъ годовъ. Весьма жалкое существованіе влачили со своимъ неопредъленнымъ направленіемъ нъкогда могущественныя "Отеч. Записки". Во главъ ихъ стоялъ теперь Степанъ Семеновичъ Дудышкинъ (1820-1866), критикъ и изследователь исторіи литературы не безъ достоинствъ, но выдълявшійся только дъловитостью и совершенно лишенный темперамента. Дъятельное участие въ Дудышкинскихъ "Отеч. Зап." принималъ образованный публицистъ Николай Викентьевичь Альбертини (1826—1890), успъвшій уже остыть послъ недолгаго періода обличительнаго жара Громека, туманный эстетикъ Николай Ивановичъ Соловьевъ (1831—1874); переводчикъ Байрона Ефимъ Өедоровичъ Заринъ (1829—1892), подъ псевдонимомъ Incognito полемизировавшій съ Чернышевскимъ и Писаревымъ. Послѣ запрещенія (по недоразум'внію, въ 1863 г.) органа "почвенниковъ" "Времени" и прекращенія его неудачнаго продолженія "Эпохи"—сюда

же переселились Страховъ, Аверкіевъ и др. Благодаря той же неопредёленности направленія не имѣла усиѣха и перешедшая въ 1863 г. къ молодому П. Д. Боборыкину "Вибліот. для Чтенія". И "Отеч. Зап." и "Библ. для Чтенія" въ вопросахъ внутренней политики вполнѣ были на сторонѣ лучшихъ вѣяній эпохи великихъ реформъ, но разными выходками противъ молодого поколѣнія онѣ приблизились къ реакціонной печати.

V.

Эпоха высшаго развитія альтруизма.

(Семидесятые годы).

Несостоятельность утилитаризма, не дававшаго логической основы порывамъ къ самопожертвованію, низводившаго до нуля значеніе идеальныхъ интересовъ и въ томъ числъ искусство, скоро выяснилась для лучшихъ элементовъ русскаго общества. Кръпнетъ сознаніе, что однимъ разрушеніемъ стараго и стремленіемъ къ матеріальной "пользь" не проживешь. Возникаеть потребность въ выработкъ идеаловъ положительныхъ. Окраску эпохф даетъ теперь не грубоватый "разночинецъ", выступившій въ шестидесятыхъ годахъ съ требованіями равноправности для себя, а напротивъ того, отказывающійся отъ своихъ историческихъ правъ "кающійся дворянинь", желающій искупить и загладить вину своего сословія передь народомъ. Рядомъ съ идеаломъ усовершенствованія личности, выдвигается принципъ общественнаго блага. Отсюда интересъ къ общественнымъ наукамъ и мистическое преклоненіе предъ народомъ. Изъ теоретиковъ И. Л. Лавровъ и Н. К. Михайловскій удовлетворяють стремленію къ ознакомленію съ общественными науками и потому становятся главарями движенія. Публицистика заполняется изслёдованіями экономическаго быта народа; въ сферѣ художественнаго творчества "мужицкая беллетристика" занимаетъ первенствующее положение; молодежь въ разныхъ формахъ идетъ "въ народъ". Какъ особая фракція альтрунстически-демократическаго настроенія, возникаетъ прогрессивное "народничество", имъющее то общее съ славянофильствомъ, что оно тоже провозглашаетъ принципъ "особенностей" русскаго народа, съ тъмъ, однако, существеннымъ различіемъ, что эти особенности исключительно усматриваетъ въ общинноартельныхъ "устояхъ" русской народной жизни. Но всъ фракціи радикальной мысли одинаково сливаются въ одномъ общемъ, страстномъ стремленіи всецьло отдать собя служенію народу, жертвуя для этого всьми личными интересами Ни одна эпоха русской исторіи не видьла такого накопленія идеальныхъ стремленій. Самые отдаленные идеалы казались близко осуществимыми, твердая рышимость дыйствительно положить душу свою за благо ближняго своего становится массовымъ свойствомъ. Сословный и личный эгоизмъ кажется прямо отвратительнымъ, и только полное подчиненіе единичныхъ интересовъ общественному благу удовлетворяетъ нравственно чуткаго человыха.

Могло ли подобное настроение выразиться въ искусствъ, могъ ли такой историческій моменть, всего менье теоретическаго свойства, воплотиться въ литературъ, которая всегда сильна только въ эпохи подготовительныя? Лучшія душевныя силы работали въ другомъ направленіи. Уже литература шестидесятых годовь была менье блестяща, чёмъ литература сороковыхъ годовъ, потому что помыслы современниковъ только отчасти были направлены на литературу. Но темъ более, значитъ, должно было пострадать чисто-литературное творчество семидесятыхъ годовъ. И дъйствительно, чего-нибудь виолив соответствующаго нравственному подъему эпохи, литература того времени не дала. Такъ, несмотря на то, что "мужицкая беллетристика" совершенно заполонила страницы журнала, она выдвинула только одно сиильное дарованіе - Глѣба Успенскаго. У остальныхъ писателей изъ народной жизни-Златовратскаго, Наумова, Засодимскаго, Каронина, Нефедова и др. добрыя намъренія преобладали надъ исполненіемъ. Внъ среды мужицкой беллетристики, настроеніе эпохи отразили два, самихъ по себѣ весьма замѣчательныхъ, дарованія—Гаршинъ и Короленко. Но все же и эти лучшіе беллетристы поколенія не могуть быть поставлены на одинъ уровень съ писателями покольнія сороковых в годовь. Среди поэтовъ Минскій, Якубовичъ, Надсонъ имѣютъ свои серьезныя достоинства, но, опятьтаки, не могутъ въ чисто-литературномъ отношении сравняться съ поэтами предыдущихъ эпохъ.

Но если конецъ шестидесятыхъ годовъ и семидесятые годы оказались неблагопріятными для созданія первостепенныхъ талантовъ, то они оказались чрезвычайно благопріятными для развитія трехъ великихъ талантовъ—Щедрина, Достоевскаго и Толстого, унаслѣдованныхъ отъ эпохъ предыдущихъ. И это ни въ какомъ случаѣ не простая случайность, а явленіе, объясняемое вполнѣ органически.

Всего ярче эта связь сказалась на творчествѣ Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826—1889). На порогѣ старости его талантъ становится все болѣе и болѣе могучимъ, доходя по временамъ

по истинно свифтовской силы. Чёмъ круче становились времена, тамъ опредаленнае становилось его міросозерцаніе и тамъ цальнае, значить, его творчество. Въ шестидесятыхъ годахъ Писаревъ немножко рвзко, но довольно-таки върно называлъ сатиру Щедрина "цвътами невиннаго юмора". Дъйствительно, невиннаго, нотому что юморъ, направленный безразлично, во всё стороны, всюду выискивая смешное, отзывается балагурствомъ и зубоскальствомъ. А Щедринъ долго именно такимъ образомъ разбрасывалъ соль своей сатиры безъ опредъленной цъли. Надъ чъмъ онъ только не смъялся? Надъ реакціонерами и надъ либералами, надъ "Московскими Вѣдомостями" и надъ земствомъ, надъ подъячими и надъ гласнымъ судомъ, и поэтому трудно было уловить его собственные идеалы. Но со второй половины шестидесятыхъ годовъ, ознаменованной появленіемъ геніальной "Исторіи одного города", и особенно въ семидесятыхъ годахъ Щедринъ стрълы своихъ насмъщекъ направляетъ уже не во всѣ стороны, а бьетъ все въ одну точку. Уже не холодный юморъ "насмѣшника", а истинно-злобная пронія, облитая настоящею желчью и кровью, слышится въ щедринскихъ произведеніяхъ разсматриваемыхъ лътъ. Онъ умъетъ теперь ненавидъть и властно предъявлять требованія своего наболівшаго сердца. Символически резюмируетъ всю дъятельность Щедрина въ последнія двадцать льть его жизни діалогъ "торжествующей свиньи" съ "правдой": сколько въ немъ страшной проніи, сколько непоколебимой ненависти человъка, котораго стихійной силой пригнуло къ земль, но который, тьмъ не менье, сохраниль въ себь гордое стремление къ небу. Этотъ же періодъ окончательнаго установленія его идеаловъ, какъ гражданина, ознаменованъ также полнымъ развитіемъ художественныхъ силъ великаго сатирика. Теперь окончательно вырабатывается язвительный блескъ его языка, теперь пишутся удивительныя сказки, геніальная эпопея "Господа Головлевы", подготовляется превосходная хроника "Пошехонская Старина".

Связь Өедора Михайловича Достоевскаго (1821—1881) съ настроеніемъ, начавшимся во второй половинѣ шестидесятыхъ и окончательно выработавшимся въ семидесятыхъ годахъ, для многихъ въ свое время была не ясна. Ихъ даже пугалъ тотъ огромный успѣхъ, тотъ апогей славы Достоевскаго, который относится къ серединѣ и концу семидесятыхъ годовъ и получилъ такое грандіозное выраженіе въ царскихъ похоронахъ, ему устроенныхъ. Но, именно, эти похороны, на которыхъ было такое огромное количество молодежи, что на простолюдиновъ они произвели впечатлѣніе похоронъ "учителя". ясно показали, что въ успѣхѣ Достоевскаго надо было разобраться.

Онъ нимало не свидетельствовалъ поворота къ обскурантизму, котораго было такъ много и въ злѣйшемъ романѣ-памфлетѣ "Бѣсы" (1871), и еще болье въ "Дневникъ писателя", сначала печатавшемся въ ярко ретроградномъ "Гражданинъ", а съ 1876 г. выходившемъ отдъльно. Чуткіе элементы, сами охваченные беззавътнымъ стремленіемъ къ самопожертвованію, сумъли выдълить въ Достоевскомъ тъ два духовныхъ существа, которыя въ немъ соединились въ такую неотразимо влекующую къ себъ силу. Достоевскій, говоря мистическимъ языкомъ, въ одно и то же время совивщаетъ въ себв и ангела и дьявола. Никто не заражаетъ въ такой степени своимъ религіознымъ экстазомъ, какъ Достоевскій, и никто не опускается въ такія нензміримо глубокія бездны невірія. Бездны потому и такія головокружительныя, что невёріе это вышло не изъ равнодушія къ въръ, а изъ страстной, всепоглощающей жажды ея. Никто не можеть быть такимъ злымъ и жестокимъ, какъ Достоевскій, но никто также не можетъ доходить до такихъ высотъ величайшаго просвътлънія любви, и нътъ ему равнаго ни въ русской, ни во всемірной литература по сила всепроникающей любви къ униженнымъ и оскорбленнымъ. И вотъ это-то и было опенено теперь, между темъ какъ въ шестидесятыхъ годахъ изъ-за выходокъ противъ радикализма къ великому дарованію автора "Записокъ изъ мертваго дома" и "Преступленія и наказанія" относились холодно. Въ семидесятыхъ годахъ Достоевскій-не вождь умственный, а вождь правственный; никто не учился у него, что любить, но учились самой любви, проникались силою ея и страстностью.

Еще менъе сознавалась въ свое время тъснъйшая связь между альтруистическими теченіями семидесятых годовъ и графомъ Львомъ Николаевичемъ Толстымъ (род. 1828). Критика и публика, признавая его великій таланть, все же относилась къ нему холодно и внутренняго смысла его произведеній прямо не понимала. Достаточно сказать, что въ "Аннъ Карениной" усмотръли тогда аповеозъ великосвътскихъ амуровъ. Поэтому, когда на рубежъ семидесятыхъ и восьмидесятых годовъ стали обращаться въ публик многочисленные списки толстовской "Исповеди", а затемъ последовалъ рядъ нравственно-философскихъ трактатовъ и разсказовъ, всъхъ ошеломившихъ необыкновенною разкостью своей критики, въ этомъ усмотрали "переворотъ". "Новый" Толстой, Толстой-проповедникъ становится властителемъ думъ своего времени, и значение его получаетъ совершенно небывалые, прямо легендарные размъры. Самъ "великій писатель Земли Русской" тоже не прочь признать себя перерожденнымъ и съ пренебрежениемъ говоритъ о томъ періодъ своей жизни, когда онъ писалъ "только" романы. Однако, пристальное изученіе его литературной деятельности критикою всёхъ странъ и народовъ совершенно твердо установило тотъ фактъ, что нътъ "новаго" Толстого, что на всемъ протяжении его пятидесятилътней дъятельности и чрезъ всѣ его великія произведенія проходить одна и та же красная нить-исканіе смысла жизни и желаніе достичь доподлинной правды, не пугающейся никакихъ выводовъ. Такимъ образомъ, строго говоря, Толстого нельзя пріурочить ни къ одной опредѣленной эпохъ. Великій геній, онъ какъ бы внъ времени и пространства. Но, все же, совстмъ свободными отъотпечатка своего времени не могутъ быть и самые великіе люди. И вотъ, если задаться вопросомъ, какую же полосу русской литературно-общественной мысли всего ярче отразиль Толстой, то теперь, когда уже въ теченіе целой четверти въка онъ сталъ синонимомъ человъка, пересмотръвшаго и отвергшаго вет старыя общественныя нормы, на этотъ вопросъ не можеть быть двухь отвётовь. Къ періоду всеобщаго умиленія второй половины пятидесятых годовъ нельзя никакъ причислить такую небывало разкую постановку вопросовъ, къ которой приходитъ Толстой. Къ первой половинъ шестидесятыхъ годовъ онъ уже гораздо ближе и въ частности примыкаетъ къ теоріи "полезнаго" искусства. Но всего ближе онъ къ семидесятымъ годамъ, съ которыми его органически роднить сила и жгучесть того порыва, который въ каждомъ движеніи составляеть наиболье характеристическую его часть. Кореннымъ образомъ расходясь съ альтрунстами семидесятыхъ годовъ въ путяхъ служенія народу, Толстой всецёло къ нимъ примыкаетъ по тому чисто-мистическому экстазу, съ которымъ въ семидесятыхъ годахъ была выдвинута эта задача. Величественная фигура Толстого нестразимо приковала къ себъ внимание всего культурнаго міра главнымъ образомъ въ качествъ "кающагося дворянина".

Изъ менѣе крупныхъ дарованій къ семидесятымъ годамъ относится расцвѣтъ таланта самой замѣчательной изъ русскихъ писательницъ—Надежды Дмитріевны Хвощинской-Заіончковской (1825—1889), писавшей подъ именемъ "Крестовскій-Псевдонимъ". Она начала писать въ пятидесятыхъ годахъ и составила себѣ серьезное литературное положеніе своими романами изъ провинціальной жизни. Но лучшія ея вещи—"Большая Медвѣдица", "Альбомъ", "Первая борьба" и др.— относятся къ семидесятымъ годамъ. Въ нихъ она чрезвычайно выросла и въ художественномъ, и въ общественномъ отношеніи, освободилась отъ прежней идеализаціп забитыхъ женскихъ фигуръ и съ большею энергіею выводила на чистую воду пошлые элементы жизни.

Установить точныя хронологическія очертанія "семидесятыхь" годовъ—трудно. Приблизительно начало ихъ можно отнести къ 1866—70 годамъ. Вѣхами могутъ служить—прекращеніе "Современника" и "Русскаго Слова" (1866 г.), "Историческія письма" Миртова-Лаврова (1866—70), первыя статьи Михайловскаго въ перешедшихъ въ 1868 г. къ Некрасову и Салтыкову "Отечественныхъ Запискахъ", которыя теперь становятся центральнымъ органомъ новаго фазиса литературно-общественной мысли.

"Историческія письма" и другія работы ставшаго уже тогда эми. грантомъ Петра Лавровича Лаврова (1823—1900), быстро сдёлались катехизисомъ поколънія семидесятыхъ годовъ. Профессоръ математики артиллерійской академін, человъкъ огромнъйшей эрудицін по философскимъ и точнымъ наукамъ и, въ общемъ, самый ученый изъ всёхъ вождей русской теоретической мысли, Лавровъ всего менье обладаль литературнымь талантомь. Изложение его темно и сбивчиво, на всёхъ его писаніяхъ лежить печать отвлеченности гегельянства, въ школъ котораго онъ воспитался. Но живое нравственное чувство, которое билось подъ этою почти схоластическою корою, сообщалось сколько-нибудь вдумчивому читателю, и такъ какъ оно совпадало съ новымъ настроеніемъ чуткихъ элементовъ общества, то ученіе Лаврова и сділалось лозунгомъ эпохи. Это ученіе сводилось къ тому, чтобы показать огромное и даже ръшающее значение личности въ исторіи. Всего менье отрицая, что личность есть продукть физическихъ и историческихъ условій, Лавровъ все-таки полагаетъ, что окончательное опредвление личности даетъ воля и собственное сознаніе. Отсюда прямой выводъ-человікь съ характеромъ подчиняеть обстоятельства себь, люди съ опредъленнымъ міросозерцаніемъ дълаютъ исторію. Въ вышедшемъ нъсколькими годами позже "Введеніи въ исторію мысли" Лавровъ доказывалъ, что и самое-то слово "исторія" есть фикція: "Реальны въ исторіи лишь личности, лишь онъ желають, стремятся, обдумывають, дъйствують, совершають исторію". "Историческія событія сами собою не происходять. Что бы ни писали о духъ времени, о неизбъжномъ теченіи событій, увлекающемъ личностей, но, въ концъ концовъ, все-таки делаютъ исторію личности, духъ времени составляется изъ настроенія мысли личностей; потокъ событій, увлекающій однѣхъ, образуется другими, онять-таки личностями".

Но, конечно, не всякая "личность" дёлаетъ исторію. Если считать сущностью историческаго процесса прогрессъ, то этотъ прогрессъ создается "критически-мыслящей личностью" по слёдующей схемё: та или другая идея "зарождается въ мозгу личности, тамъ развивается, потомъ переходитъ изъ этого мозга въ мозги другихъ лично-

стей, разрастается качественно въ увеличении умственнаго и нравственнаго достоинства этихъ личностей, количественно въ увеличении ихъ числа и становится общественною силою, когда эти личности сознаютъ свое единомысліе и рышаются на единодушное дыйствіе". Въ общемъ, "прогрессъ человѣчества лежитъ исключительно на критически-мыслящихъ личностяхъ: безъ нихъ онъ безусловно невозможенъ".

Взваливши всю тяжесть исторіи и всю отвѣтственность за достиженіе прогресса на плечи отдѣльной личности, Лавровъ всего на всего создалъ бы этимъ одну изъ многочисленныхъ исторіософическихъ теорій, если бы его ученіе не совиало съ тою жаждою самопожертвованія, которая составляетъ основу психики семидесятыхъ годовъ. Лѣтъ черезъ 15, въ 80-хъ годахъ, не только такія несомиѣнно "критически-мыслящія личности", какъ Толстой и Владиміръ Соловьевъ, усомнятся въ томъ, что прогрессъ такая уже святая вещь, но—самое главное—всякій скажетъ: "Да миѣ-то до всего этого какое дѣло". Но теперь "критически-мыслящая личность" не только умомъ, но и необыкновенно-чуткою совѣстью сознала, что ничто не сдѣлается помимо активнаго участія каждаго изъ насъ и что—какижъ бы это личныхъ жертвъ не потребовало—каждый долженъ посвятить себя дѣлу народнаго счастья, какъ основной цѣли прогресса.

Николай Константиновичь Михайловскій (1842—1904) обладаль одновременно и блестящимъ литературнымъ талантомъ и выдающейся эрудиціей въ наукахъ философскихъ и общественныхъ. Въ еще большей степени, чъмъ Чернышевскій, онъ создаль особый родъ литературно - соціологическаго писанія, который трудно подвести подъ установившіеся типы критики и разработки научно-общественныхъ вопросовъ. Это-откликъ буквально на все, что волновало русское общество какъ въ сферъ научной мысли, такъ и въ сферъ практической жизни и текущихъ литературныхъ явленій. Самъ Михайловскій, съ увѣренностью человѣка, къ которому никто не приложитъ такого эпитета, охотиве всего называль себя "профаномъ", и одна изъ важивищихъ частей его литературныхъ замътокъ такъ и называется-"Записки профана". Этимъ самоопредѣленіемъ онъ хотѣлъ себя отделить отъ цеховой учености, которой нётъ дела до жизни и которая стремится только къ формальной истинъ. "Профанъ", напротивъ того, интересуется только живою жизнью, онъ ко всякому явленію подходить съ вопросомъ: а что оно даетъ для уяспенія смысла человъческой жизни, содъйствуетъ ли достиженію человъческаго счастья?

Благодаря тому, что блескъ таланта создалъ ему огромную аудиторію, Михайловскій становится главнымъ выразителемъ наступающаго теперь созидательнаго періода русской мысли. Созидательнаго

въ смыслъ выработки положительныхъ идеаловъ, которымъ смънился боевой переводъ "бури и натиска", направленнаго исключительно на ниспровержение старыхъ устоевъ общественнаго міросозерцанія. Въ этомъ смыслъ Михайловскій явился прямой реакціей противъ крайностей и ложныхъ шаговъ Писарева, мѣсто котораго онъ занялъ, какъ "первый критикъ" и властитель думъ поколѣнія семидесятыхъ годовъ. Хронологическій преемникъ Писарева, онъ въ общемъ обликъ своей дъятельности былъ продолжателемъ Чернышевскаго, а въ своихъ соціологическихъ работахъ-Лаврова. Главная заслуга его въ томъ, что онъ созналъ опасность, заключавшуюся въ писаревской пропагандъ утилитарнаго эгоизма и узко-понятаго "мыслящаго реализма", которые вь своемъ логическомъ развитіи неизбѣжно приводили къ игнорированію интересовъ ощественныхъ. Молодой соціологь и критикъ, какъ въ своихъ теоретическихъ, такъ еще больше въ литературныхъ статьяхъ своихъ, съ особенной силою выдвинулъ идеалъ служенія обществу и самопожертвованія для блага общаго, а развивая Лавровское ученіе о роли личности, давалъ бодрость начинать это служение немедленно. Являясь однимъ изъ главныхъ представителей такъ называемой "русской школы" соціологін и провозвъстникомъ "субъективнаго метода" разработки соціологицескихъ вопросовъ, Михайловскій впоследствін быль предметомъ сильныхъ нападокъ за "ненаучность" такого метода. Здёсь нётъ никакой надобности касаться существа этихъ нападокъ, победоносно подчеркивавшихъ, что всякій научный методъ тѣмъ и методъ, что онъ устраняетъ субъективность. Можетъ быть. Да вѣдь не въ "научности" историческое значеніе Михайловскаго. Михайловскій всю свою жизнь быль передовымь бойцомь, всю жизнь стояль, по прекрасному определенію изданнаго въ его честь юбилейнаго сборника, "на славномъ посту", и интересовали его не столько стройность и логическое совершенство, сколько благотворное воздействие на читателя. Вотъ почему чисто-научные доводы противъ "субъективнаго метода" не колеблють значенія, которое въ свое время имѣли соціологическія работы Михайловскаго, какъ явленіе публицистическое. Встмъ нападающимъ на "субъективный методъ", не принимая при этомъ во вниманіе момента возникновенія его, слёдуетъ твердо помнить, что весь-то "субъективный методъ" быль по преимуществу псевдонимомъ. Требовалось наукообразное обоснование того самоотверженнаго порыва къ переустройству общества, которое овладело новымъ поколвніемъ, и его-то, наряду съ ученіемъ Лаврова, и давала соціологія Михайловскаго. Какъ реальный фактъ исторіи русскихъ общественныхъ настроеній, следуеть отметить, что страстный интересъ Михайовскаго къ роли личности, его протестъ противъ органической теорін Спенсера, его стремленіе показать, что въ исторической жизни важнѣйшая часть личности—идеалъ, элементь желательнаго, имѣетъ огромное значеніе, создавали въ читателяхъ настроеніе, страстно враждебное историческому фатализму и квіетизму. Рождалась нравственная обязанность каждому человѣку опредѣлить свое отношеніе къ задачамъ общественной жизни и, противопоставивъ свою твердую волю непреоборимой на первый взглядъ силѣ окружающей среды, сдѣлать что-нибудь рѣшительное для достиженія общественнаго блага.

А прежде всего блага народнаго въ тесномъ смысле этого слова. Благо съраго мужика становится центромъ думъ и размышленій лучшей части нашего общества. Идеалъ Писарева-Базаровъ говорилъ: "А я и возненавидълъ этого послъдняго мужика, Филиппа или Спдора, для котораго я долженъ изъ кожи лезть и который мив даже спасибо не скажетъ... ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ, ну, а дальше?" Но людямъ 70-хъ годовъ только и "было дѣло" до того, чтобы дать возможность Филиппу и Сидору перемънить черную избу на бълую. Никогда еще русское общество не присутствовало при такомъ взрывъ беззавътной готовности отдать себя угнетеннымъ и оскороленнымъ. Новое покольніе полюбило отвлеченное понятіе "народь" съ такимъ конкретнымъ пыломъ, съ такимъ душевнымъ жаромъ, что едва ли юноша, въ первый разъ полюбившій прекрасную дівушку, могъ бы больше волноваться, больше страдать, больше горьть страшнымъ желаніемъ отдать всего себя, всю свою жизнь для счастья дорогого существа.

Этотъ характеръ новаго народолюбія, эта горячка первой любви неизбѣжно носили въ себѣ зерно будущаго разочарованія. Разгоряченная фантазія рисовала умственную и нравственную физіономію народа въ грандіозныхъ очертаніяхъ чего-то непостижимо-хорошаго, чего-то невыразимо-прекраснаго. Народъ представлялся какимъ-то безбрежнымъ, безконечнымъ океаномъ, по которому ходятъ гигантскіе валы, въ которомъ есть страшно-сильныя теченія, который иной разъ затихаетъ передъ бурей, но только затѣмъ, чтобы потомъ разыграться во всей могучей красотѣ, во всей сокрушающей силѣ. И думалось разгоряченному уму, и вѣрилось влюбленному сердцу, что стоитъ только окунуться въ этотъ океанъ, чтобы совершенно съ нимъ сродниться. Еще крѣпче была надежда, что, разъ окунувшись въ него, разъ сроднившись съ нимъ, легко будетъ направлять его валы труда, куда имъ слѣдуетъ направляться...

Параллельно такому теченію въ подпочвенномъ, родниковомъ слов лучшей части литературы, появляется цёдый рядъ беллетристовъ, крайнихъ пдеализаторовъ народа. Среди нихъ выдёлились: Hu-

колай Николаевичь Златовратскій (р. 1845), Николай Ивановичь Наумовь (1838—1901), Павель Владиміровичь Засодимскій (писаль и подъ псевдонимомъ Вологдинь, род. 1843), Филиппъ Діомидовичь Нефедовь (1848—1902).

Всв они имъли глаза тольно для твхъ темныхъ силъ, которыя гнетуть мужика, для твхъ скверныхъ условій, въ которыя поставили народъ помимо его воли, для того горя, которое ему причинили люди, въ томъ заинтересованные. Въ полную противоположность недавнему изображенію народа какъ скопища дураковъ, плутовъ и лѣнтяевъ, о которомъ мы говорили выше по поводу Николая Успенскаго, мужикъ самъ по себв изображался теперь чвмъ-то безгрышнымъ, идеаломъ всякихъ нравственныхъ и даже умственныхъ совершенствъ. Въ произведеніяхъ Златовратскаго нехитростный, свренькій мужичекъ сплошь да рядомъ превращается въ какого-то эпическаго Микулу Селянпновича, который подчасъ даже говоритъ былиннымъ складомъ и чвмъ-то въ родв бвлыхъ стиховъ. Въ такихъ же эпическихъ очертаніяхъ рисовалъ сибирскіе народные типы Наумовъ. Деревенскихъ Лассалей изображалъ Засодимскій.

Апогеемъ идеализирующаго періода народолюбія семидесятыхъ годовъ явилась статья, подписанная иниціалами П. Ч. въ "Недѣлѣ" 1875 г., озаглавленная: "Отчего безжизненна наша литература". Эта небольшая статейка, принадлежащая автору (земскому статистику Петру Петровичу Червинскому (род. 1845), никогда болже не останавливавшему на себъ внимание большой публики, создала огромную литературу журнальныхъ и газетныхъ статей (въ томъ числѣ цѣлыхъ три статьи Михайловскаго). Страстно разбирался въ нихъ тезисъ статьи П. Ч., что интелигенція наша должна благоговъйно преклониться передъ нравственностью "деревни", что литература и мышленіе наши только тогда войдуть въ настоящую силу, когда всецёло усвоять правду съраго мужика. Дальше, конечно, нельзя было идти. Признать полное безсиліе интеллигенціи создать какія бы то ни было нравственные идеалы; отрицать у встах элементовъ нашей литературы возможность сказать живое нравственное слово, и въ то же самое время думать, что въ "деревнъ", въ составъ которой входять и кулаки, и міровды, и плуты всякаго рода, неисчерпаемыми залежами скопленно одно только золото нравственной высоты и силыэто уже не была любовь къ народу, не пристрастіе, а прямо идолопоклонство.

Михайловскій и другіе органы передовой мысли, съ должными оговорками во имя принциповъ истиннаго демократизма, ополчились противъ этого идолопоклонства, и въ широкихъ кругахъ "деревня" не сдѣлалась тѣмъ фетишемъ, въ честь котораго "Недѣля" готова

была пожертвовать всёми завоеваніями культуры. Статья П. Ч. является лишь началомъ особаго направленія, которое сконцентрировалось по пренмуществу въ "Недёлё". Главнымъ теоретикомъ этого теченія выступилъ Юзовъ (псевдонимъ Осипа Ивановича Каблица, 1848—1893). Онъ окончательно формулироваль свое ученіе нёсколько позднёе—въ началё 80-хъ годовъ, и называль его "народничествомъ". Исходилъ Юзовъ не изъ одного только прекловенія передъ правственнымъ величіемъ народной психологіи. Такъ какъ сёрый народъ составляетъ подавляющее большинство населенія Россіи, то интеллигенція, по мнёнію Юзова, не смёстъ навязывать ему свои идеалы, какъ бы они хороши сами по себё ни были. Истинный демократизмъ состоитъ только въ томъ, чтобы въ государственную жизнь проводить народные идеалы совершенно независимо ото того, каковы они по существу.

Логическимъ выводомъ изъ такого преклоненія предъ народными идеалами, не потому, что они хороши, а потому, что ихъ исповѣдуетъ много людей, было преклоненіе и передъ тѣми формами русской общественности борьба съ которыми составляла главное содержаніе духовной жизни поколѣнія 70-хъ годовъ. Юзовъ не остановился передъ этими выводами. Для него демократы, имѣвшіе свою собственную программу народнаго счастья, превратились даже во враговъ народа, онъ Михайловскаго и Пыпина обзывалъ "либеральными будочниками". И, ожесточенно воюя съ ними во имя своего ариеметическаго идеала, Юзовъ вполнѣ примирился съ тѣми факторами нашей жизни, которые возмущали гражданское чувство русскихъ демократовъ, но не вызывали протеста въ политически-темной массѣ.

Все это отталкивало отъ ученія Юзова, и если тѣмъ не менѣе терминъ "народничество" удержался вплоть до нашихъ дней, то отнюдь не въ Юзовскомъ смыслъ. Въ общемъ, вышедшее изъ пламеннаго народолюбія 70-хъ годовъ "народничество" является чрезвычайно важнымъ поворотомъ нашей общественной мысли. Великій расколь русской интеллигенцін, происшедшій въ началь 40-хъ годовъ и разбившій русскую общественную мысль на два главныхъ русла-западничество и славянофильство, - породилъ много партійной односторонности и мъшаль правильной оцънкъ явленій русскаго духа и русской жизни. Такъ, Бълинскій, вообще относившійся пренебрежительно къ "бородачамъ" и еще до полемики съ славянофилами заявлявшій, что "одно небольшое стихотвореніе истиннаго художника неизмфримо выше всфхъ народныхъ произведеній, вивств взятыхъ", сталъ еще нетерпимве относиться къ вопросу о русской самобытности, когда славянофилы сделали эту самобытность

главнымъ своимъ лозунгомъ. Такъ, съ другой стороны, славянофилы, называя Западъ страною "святыхъ чудесъ", вмфстф съ тфмъ, присоединялись къ формулъ "Западъ сгнилъ". Только въ видъ исключенія люди одной партіи не стъснялись брать изъ міросозерцанія другой то, что оказывалось въ немъ върнаго: такъ, Герценъ, ближе ознакомясь съ западно-европейскою жизнью, пришелъ къ убъжденію, что есть какая-то особенная русская народная исихологія, полная неотразимаго обаянія и высоко-оригинальная. 60-ые годы были эпохой исключительнаго господства западничества. Громкіе тріумфы западно-европейской науки, смёлыя завоеванія свободной мысли, возрожденіе европейской демократін, оправившейся отъ неудачь 1848 г., реформы, вводившіяся въ то время у насъ одна за другой, все это отодвигало назадній планъ наши національныя особенности, на первый взглядъ столь сфрыя и грубыя. Но вотъ наступаютъ семидесятые годы, съ ихъ безпредъльнымъ народолюбіемъ въ спеціальномъ смыслъ любви къ мужику, и начинается усиленное изучение "кающимися дверянами" народной жизни, какъ теоретическое, такъ и практическое, путемъ непосредственнаго сближенія. И по мъръ того, какъ изучалась народная жизнь, все кръпло убъждение. что народная масса-стихія не инертная и не сфрая, а окрашенная въ весьма опредъленный цвътъ и покоющаяся на устояхъ, вовсе не враждебныхъ лучшимъ завътамъ европейской культуры. Страхъ, внушенный тъмъ, что представители такъ называемой "офиціальной народности" всегда говорили отъ имени "народа", разсвялся. Народные "устон" теперь стали усматривать только въ общинномъ началь, артеляхъ и броженіи сектантской религіозной мысли. Въ произведеніяхъ идеализирующей "мужицкой" беллетристики и аповеозъ "деревни" эти устои были, какъ мы уже знаемъ, поставлены выше духовныхъ устоевъ интеллигенціи, и въ этомъ пересолъ "народничество" не привилось. Но въ общемъ, все-таки идея весьма замъчательныхъ особенностей русской народной жизни пустила глубокіе корни въ кругахъ, съ славянофильствомъ ничего общаго не имѣющихъ. Такъ, въ числѣ лицъ, горячо отозвавшихся на выдвинутый "Недълею" апоееозъ "деревни", былъ Кавелинъ, какъ разъ тогда занимавшійся общиннымъ землевладёніемъ. Рёшительную поддержку "деревнъ" оказала также извъстная изслъдовательница А. Я. Ефименко, показавъ высокій нравственный смыслъ многихъ началъ, лежащихъ въ основъ русскаго обычнаго права. Приблизительно къ этому же времени относится образование спеціальныхъ комиссій въ географическомъ и вольномъ экономическомъ обществахъ для изученія обычнаго права, общиннаго землевладенія, раскола, артелей и рядъ работъ (А. С. Посникова, П. А. Соколовскаго, В. И Орлова, С. Я.

Капустина, Е. И. Якушкина, А. С. Пругавина, И. С. Ефименко, и др.), посвященныхъ научному констатированію замічательныхъ "особенностей" нашей народной жизни. Въ этомъ видъ русскія "особенности" признавали и противники "деревни". Такъ, Михайловскій въ обширныхъ статьяхъ 1875—76 гг., посвященныхъ стать в П. Ч., указывая опасность и односторонность новаго лозунга, вийсти съ тъмъ энергично протестовалъ противъ того, что "къ намъ должна быть цёликомъ пересажена Европа"; онъ же указалъ, что законъ Маркса о трехъ фазисахъ экономической жизни есть законъ историческій, выведенный изъ наблюденій надъ европейскою жизнью, а не естественно-историческій, и Россія, именно благодаря "особенностямъ" русскаго народа, можетъ и не пройти чрезъ капиталистическій фазисъ. Михайловскій не быль экономистомъ, и свою увъренность, что Россію спасуть отъ капитализма "особенности" наши, высказалъ только въ общихъ чертахъ. Обосноваль этоть важивйшій тезись русскаго "народничества" Василій Павловичь Воронцовь (род. 1847), болье извыстный подъ своими иниціалами В. В. Въ концъ 70-хъ и самомъ началь 80-хъ годовъ онъ напечаталъ рядъ статей въ "Отеч. Зап." и другихъ журналахъ, собранныхъ въ книгъ "Судьбы капитализма въ Россіп" (1882). Здъсь онъ высказалъ горячую увъренность, что въковая общинная связь русскаго крестьянства съ землею можетъ спасти Россію отъ земельнаго пролетаріата, а кустарная промышленность и артельное начало отъ пролетаріата фабричнаго. Къ концу 70-хъ и самому началу 80-хъ гг. относятся также производившія огромную сенсацію "Письма изъ деревни" Александра Николаевича Энгельгардта (1828—1893) Подавъ въ деревню не по своей воль, этотъ недавній профессорьтеоретикъ горячо сталъ звать русскую интеллигенцію "свсть на землю", устранвать "интеллигентныя деревни" и жить въ полномъ единенін съ народомъ.

11, наконецъ, къ числу самыхъ яркихъ проявленій "народничества", какъ мы уже указали отчасти въ началѣ настоящей главы, нельзя не присоединить "опрощеніе" Толстого и его безграничное преклоненіе предъ народною мудростью и народною правдою. Въ этомъ собственно не было ничего новаго для всякаго, кто скольконноўдь винмательно слѣдилъ за Толстымъ раньше. Еще въ 60-хъ гг., въ своихъ педагогическихъ статьяхъ и въ созданіи фигуры Платона Каратаева, Толстой достаточно опредѣленно показалъ, что всего менѣе считаетъ народъ младшимъ братомъ, который долженъ благоговѣйно прислушиваться къ тому, что говоритъ старшій брать—культурная интеллигенція. Но въ томъ-то и дѣло, что къ этой сторойѣ міровоззрѣнія Толстого либо вовсе не при-

сматривались, либо относились, какъ къ чудачеству, а то и какъ къ сближенію съ ретроградствомъ. Теперь же главный органъ русскаго радикализма-"Отеч. Зап." оказалъ шпрокое гостепримство знаменитой статьв "О народномъ образованіи" (1875), гдв Толстой съ такою резкостью отказывался оть "последнихъ словъ" европейской педагогіп и отдаваль рёшительное предпочтеніе малокультурнымь, но соотвётствующимъ народнымъ понятіямъ педагогическимъ пріемамъ. А въ связи съ этимъ, въ тъхъ же "Отеч. Зап.", Михайловскій въ своей удивительной, можно сказать, пророчески-геніальной стать в "Шуйца и десница гр. Толстого" положиль начало новому пониманію Толстого, какъ демократа-народника по преимуществу. Разгаръ "опрощенія" Толстого и вся полоса такъ назыв. "толстовства" въ обществъ относится къ слъдующей эпохъ-къ 80-мъ годамъ, но это было только продолжениемъ того общаго новаго отношения къ народу, которое началось въ 70-хъ годахъ и съ обычнымъ демократизмомъ не должно быть смѣшиваемо. Въ 70-хъ гг. перестали смотръть на народъ, какъ на tabula rasa, и съ этой позиціи чуткіе элементы русской интеллигенціи начинають отходить только въ 1890-хъ годахъ, въ эпоху марксизма.

Совсѣмъ особое положеніе, по внесенной имъ страстной трагичности, заняль въ народническомъ движеніи Глюбъ Ивановичь Успенскій (1840—1902). Самый крупный художественный талантъ не только 70-хъ, но и 60-хъ гг., къ которымъ относится начало его дъятельности, Успенскій, какъ писатель, можно прямо сказать, палъ жертвою того лихорадочнаго интереса къ вопросу о народномъ благѣ, которымъ ознаменованы семидесятые годы. Онъ не могъ не сознавать, что странная смісь беллетристики, публицистики и даже статистики, какую представляли его очерки народной жизни, безусловно вредить цёльности его художественной дёятельности. Это переплетаніе явно мѣшало органическому развитію блестящихъ элементовъ таланта Успенскаго, его удивительнаго юмора, удивительной колоритности, замъчательной наблюдательности и способности къ тончайшей нюансировкъ. Но онъ весь былъ охваченъ страстною потребностью сейчасъ же, сію минуту высказаться, не дожидаясь того, что впечатлівнія его отольются въ художественно-законченную форму. Въ немъ инсатель отходиль совершенно на второй плань, а на первый выступалъ гражданинъ, человъкъ, волновавшійся вопросомъ о народномъ счасть в съ почти-бользненной возбужденностью. И трагизмъ писательской карьеры Успенскаго заключается въ томъ, что именно емуто, такъ страстно и всецвло отдавшему себя идев служенія народу, пришлось нанести безпощаднъйшій ударъ всякому идеализированію, всякому преклоненію предъ нравственною силою народа. Не желая

говорить о народь изъ прекраснаго далека, онъ окунулся въ самую глубь народной жизни, поселился въ деревив, весь ушелъ въ непосредственное наблюдение мірской и общинной жизни и... пришелъ въ настоящій ужасъ. Предъ нимъ развернулась картина зоологической борьбы за существование, лишенной какихъ бы то ни было этическихъ началъ, пресловутые народные "устои", прославленный столичными народниками общинный духъ оказывались на дёлё только хищническимъ стремленіемъ побольше урвать. Менте сильный умъ, менфе наблюдательный таланть, можеть быть, всего этого не замфтиль бы и удовольствовался бы двумя-тремя "отрадными явленіями", чтобы остаться при розовыхъ пллюзіяхъ. А человъкъ съ менье правдивой натурой даже предъ самимъ собою убоялся бы формулировать истину во всей ея наготь. Но не таковъ былъ Успенскій, одинь изъ самыхъ пламенныхъ искателей правды въ нашей литературъ. Онъ не остановился передъ тъмъ, чтобы съ глубокою мукою, но прямо и откровенно заявить, что народъ-, свинья", что онъ "творитъ преподлъйшія вещи". Болъзненно было изумленіе народолюбивой части читающей публики, когда скорбныя изліянія Успенскаго начали появляться въ "Отеч. Запискахъ" конца 70-хъ годовъ. Стали даже раздаваться голоса объ "измѣнъ" знамени. что было нельпо по существу, потому что пессимизмъ Успенскаго подрывалъ только формулу "все чрезъ народъ", но тъмъ страстите и убъждените выдвигалъ лозунгъ "все для народа". Несомнънно, однако же, что въ мрачныхъ выводахъ своихъ Успенскій слишкомъ обобщалъ наблюденія надъ однимъ уголкомъ (Самарская губ.), гдъ возможность легкой наживы внесла страшное разложение. Когда затъмъ Успенский переселился въ Новгородскую губ, и сталъ наблюдать бытъ чисто-земледъльческій, его отчаяніе мало-по-малу улеглось. Онъ попрежнему остался при томъ убъжденін, что никакихъ спеціально-деревенскихъ "устоевъ" нътъ, что одновременно со "свистомъ машины", увозящей мужика въ городъ, исчезаютъ и всв его "особенности". Но пока мужикъ остается въ условіяхъ земледъльческаго труда, его, по ставшей крылатымъ словомъ формулѣ Усненскаго, нравственно дисциплинируетъ "власть земли". Въ этой тъсной связи народа съ землей и матеріальное, и нравственное спасеніе народа: поскольку мужикъ остается въренъ земледъльческому труду, для него спасительна и община, и мірское вершеніе его нуждъ. Такимъ образомъ, въ конечномъ выводъ Успенскій все же примкнуль къ лозунгамъ, вплоть до нашихъ дней характеризующимъ "народничество". Но, конечно, не въ этихъ политико-экономическихъ выводахъ литературное значение Успенскаго. Сочиненія Успенскаго навсегда останутся самымъ значительнымъ и самымъ благороднымъ выраженіемъ одной изъ самыхъ благородныхъ

эпохъ исторіи русской интеллигенціи по сконцентрированности всёхъ его помысловъ на вопросё о народномъ благі. Успенскій — это литературный схимникъ, добровольно отвергшій всё соблазны столь доступныхъ его блестящему таланту беллетрическихъ успіховъ, чтобы всеціло отдаться молитві о народномъ счасть .

Чтобы покончить съ "мужицкою беллетристикою", отмѣтимъ еще Каронина (псевдонимъ Николая Елпидифоровича Петропавловскаго, 1857—1892) и Николая Михайловича Астырева (1857—1894). Оба они, въ общемъ, трезво относятся къ народу, не преувеличивая ни его достоинствъ, ни его недостатковъ и выдвигая на первый планъ огромное значеніе культурной работы интеллигенціи въ деревнѣ.

Внъ сферы "мужицкой беллетристики" настроеніе эпохи отразиль рядь молодыхь писателей, которыхь въ отличіе отъ Успенскаго, Михайловскаго и другихъ, выступившихъ еще въ 60-хъ гг., следуеть назвать младшимь покольніемь 70-хъ годовь. Изъ нихъ первый обратиль на себя вниманіе Bсеволодь Михайловичь Гаршинь(1855-1888). Истинно-художественное дарование отводить ему блестящее мъсто въ исторіи русской прозы. Въ его щемяще-меланхолическомъ творчествъ ярко сказался тотъ душевный разладъ, который, наряду съ самопожертвованіемъ, составляетъ одну изъ характерныхъ чертъ поколънія семидесятыхъ годовъ и отличаетъ его отъ прямолинейнаго поколънія 60-хъ годовъ. Разладъ этотъ былъ вызванъ двумя причинами. Одна изъ нихъ та, что, при всей глубинъ всепроникающей потребности въ борьбъ со зломъ, въ поколъніи 70-хъ годовъ всего менте было увтренности, что борьба приведетъ къ чему-нибудь. Порывъ къ самопожертвованію былъ такъ великъ, что даже убъждение въ томъ, что только девятый валъ сокрушитъ твердыню зла, никого не удерживало отдать себя безнадежному напору второго или третьяго вала... Но жизнерадостнаго настроенія такое геропческое самопожертвование безъ надежды на успъхъ не могло создать. А съ другой стороны и самая борьба, съ теми ея особенностями, которыя присущи всякой борьбв, часто противорвчила глубокому чувству любви, составляющему основу всякаго порыва къ самопожертвованію. Въ Гаршинъ этотъ разладъ и сомнънія въ побъдъ были особенно трагичны. По основному складу своей души Гаршинъ былъ натура необыкновенно гуманная, и первыя же его художественныя созданія — "Четыре дня", "Трусъ", "Происшествіе"-отразили именно эту сторону его духовнаго существа. Если онъ самъ пошелъ на войну, то исключительно потому, что ему казалось постыднымъ не принять участія въ освобожденіи братьевъ изнывающихъ подъ турецкимъ игомъ. Но для него достаточно было перваго же знакомства съ дъйствительной обстановкой войны, чтобы

понять весь ужасъ истребленія челов комъ челов ка. И все же, рядомъ съ всепроникающимъ чувствомъ гуманности, въ Гаршинъ жила и глубокая потребность въ деятельной борьбе со зломъ. На этомъ фонъ создался одинъ изъ наиболъе замъчательныхъ разсказовъ ero-,Художники". Самъ изящный художникъ слова и тонкій ценитель искусства, Гаршинъ въ лице художника Рябинина показалъ, что нравственно-чуткій человікь не можеть спокойно предаваться эстетическому восторгу творчества, когда кругомъ такъ много страданій. Всего поэтичнъе жажда истребить неправду міра сказалась въ удивительно-гармоничной сказкъ "Красный Цвътокъ", сказкъ, къ тому же, автобіографической, потому что и лично самъ Гаршинъ, въ припадкъ безумія, мечталъ сразу уничтожить все зло, существующее на земль. Но сынъ эпохи, дъти которой думали только о жертвь, онъ прежде всего не върилъ въ торжество добра. Даже въ почти-юмористической сказкъ "То, чего не было" разсужденія веселой компаніи насікомыхь, собравшихся на лужайкі потолковать о ціляхь и стремленіяхъ жизни, кончаются тёмъ, что приходить кучеръ и сапогомъ раздавливаетъ всёхъ участниковъ бесёды. А съ другой стороны, самъ лично безнадежный меланхоликъ, Гаршинъ не върилъ и въ то, что победа надъ зломъ можетъ доставить душевное равновъсіе, а тъмъ болье счастье. Рябининъ изъ "Художниковъ", бросившій искусство, "не процвёль" и пошедши въ народные учителя. И это, очевидно, не только изъ-за такъ называемыхъ "независящихъ обстоятельствъ", а потому что, какъ и въ тургеневскомъ Неждановъ, не было въ немъ самомъ достаточно увъренности, что идеть онъ надлежащимъ путемъ. Въ чарующе-поэтической сказкв "Attalea princeps" пальма, достигнувъ цели стремленій и выбившись на "свободу", съ скорбнымъ удивленіемъ спрашиваетъ: "П только-то?".

Одновременно съ Гаршинымъ обратилъ на себя вниманіе изъ представителей младшаго поколѣнія 70-хъ годовъ Минскій (псевдонимь Николая Максимовича Виленкина, р. 1855). Къ этому, подчасъ до полной безпринципности "впечатлительному" и поддающемуся всякой новой модѣ поэту мы еще вернемся въ обзорѣ слѣдующихъ лѣтъ. Здѣсь же отмѣтимъ его отзвуки на боевое, но вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко-скорбное, настроеніе эпохи 70-хъ годовъ. Есть, правда, у Минскаго перваго періода и бодрыя поты. Такъ, въ извѣстномъ въ свое время стихотвореніи "Предъ зарею" онъ какъ будто не сомнѣвается въ побѣдѣ ("Не тревожься, недремлющій другъ, если стало темнѣе вокругъ, если гаснетъ звѣзда за звѣздою, если скрылась луна въ облакахъ и клубятся туманы въ лугахъ: это стало темнѣй—предъ зарею…" и т. д.). Но

въ общемъ весь онъ полонъ сомнѣнія и тоски за успѣхъ великодушнаго порыва своего поколѣнія:

> Всталъ онъ бодрый и пошелъ, Движимъ помысломъ высокимъ, Къ новой жизни разбудить Братьевъ, спавшихъ сномъ глубокимъ. Видишь холмъ? здѣсь погребли Вопіявшаго въ пустынѣ. Кто другихъ будилъ, уснулъ. Кто же спалъ, тотъ спитъ донынѣ.

Главное произведеніе перваго періода дѣятельности Минскаго— поэма "Бѣлыя ночи" (1879) всецѣло посвящено трагическому разладу между ясно и страстно сознанною обязанностью бороться за счастье народа и неспособностью прибѣгать къ тѣмъ средствамъ, безъ которыхъ немыслима всякая борьба, да еще въ условіяхъ русской дѣйствительности.

Имя рано умершаго Осиповича (псевдонимъ Андрея Осиповича Новодворскаго, 1853—1882) теперь почти неизвъстно. Но въ свое время онъ возбудилъ чрезвычайныя ожиданія, и такой опытный редакторъ, какъ Салтыковъ, ставилъ Осиповича выше Гаршина. Желаніе отразить то настроеніе, которымъ было охвачено покольніе 70-хъ годовъ и которое, по внѣшнимъ причинамъ, не могло получить яснаго литературнаго выраженія, привело къ тому, что всѣ произведенія Осиповича представляютъ собою рядъ аллегорій и намековъ. Лучшая его вещь—"Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны" представляетъ собою очень оригинальную, блестящую смѣсь беллетристики и публицистики, гдѣ дѣйствующими лицами являются литературные типы прежнихъ покольній—Печоринъ, Рудинъ, лермонтовскій Демонъ, Базаровъ, Елена изъ "Наканунь". Свое покольніе Осиповичъ изобразилъ въ образѣ "ни павы, ни вороны"... Предънами человѣкъ, прежде всего неуравновѣшенный:

"Неотъемлемая особенность его характера—неудовлетворенность и стремленіе къ идеалу".

Именно только "стремленіе" и всего менѣе увѣренность, что истина у него въ карманѣ, какъ въ этомъ глубоко были убѣждены "мыслящіе реалисты" 60-хъ годовъ. Эта неудовлетворенность и характеризуетъ "Ни паву, ни ворону", гаршинскаго Рябинина, настроеніе "Бѣлыхъ ночей" Минскаго и рядъ другихъ произведеній 70-хъ годовъ.

"Ни вороны, ни павы", говорить дале Осиповичь, "этого не испытывають. У первыхъ ничего подобнаго не зарождалось въ головь, а вторыя успокоились на лонь какой-нибудь до того широкой (или узкой) идеи, или на такомъ громадномъ запась силъ, что предъ нею всь сомньнія, терзанія—нуль".

И герой очерка Осиповича мечется по унылой пустынъ россійской дъйствительности, неспособный ни къ тому, чтобы примириться со старымъ, ни къ тому, чтобы отстоять новое.

Пессимистическое уныніе, несмотря на необыкновенную высоту нравственнаго возбужденія эпохи, составляеть основную черту психологів и ряда другихъ писателей, сложившихся въ 70-хъ годахъ. Таковъ, напр., общій тонъ безнадежно-унылаго творчества Михаила Ниловича Альбова (р. 1851), писателя съ задатками крупнаго дарованія, не получившаго, однако, законченнаго развитія. Такова и общая окраска сърой мглы тусклой обыденщины, въ которой прозябаютъ придавленные жизнью герои многочисленныхъ разсказовъ симпатичнаго новеллиста Казиміра Станиславовича Баранцевича (р. 1851).

Максимъ Бълинскій (псевдонимъ Іеронима Іеронимовича Ясинскаго, р. 1850) съ наступленіемъ реакціи 1880-хъ годовт перешель въ ряды обличителей движенія семидесятых годовь и отдался сочиненію многочисленныхъ романовъ въ стиль откровеннаго французскаго "протоколизма". Но въ первые годы своей литературной дъятельности онъ върно отражалъ въ своихъ повъстяхъ, напечатанныхъ въ "Словъ" и "Отеч. Зап.", внутреннюю жизнь тъхъ кружковъ, которые жили общественно-народными интересами. Много у него было тогда выведено типовъ самоотверженнаго стремленія всецівло отдать себя дёлу народнаго счастья, но всё эти герои только исполняють свой долгь первыхь валовь освободительнаго движенія, безь надежды самимъ дожить до побъды дорогихъ имъ идеаловъ. Отсюда ихъ душевная угнетенность, а у натуръ слабыхъ — компромиссъ и подчасъ даже измѣна убѣжденіямъ. Александръ Ивановичъ Эртель р. 1855) писатель слишкомъ сангвиничный, чтобы предаваться (тоскъ и унынію. Поэтому его общественно-политическая возбужденность выразилась частью въ идеализаціи народа, частью въ метаніи громовъ противъ правящаго класса за дряблость, безсиліе и буржуазный эгонзмъ. Возбужденный, прожившій около 10 літь въ містахъ самыхъ отдаленныхъ, Григорій Александровичъ Мачтеть (1852—1901) всю свою деятельность, по собственному определенію, посвятиль тому, чтобы "будить настроеніе". Поэтому въ его часто сбивающихся на мелодраму разсказахъ тоже нѣтъ мѣста тоскѣ и унынію, и всѣ они представляють собою если художественно и не особенно-ценный, то все же страстный призывъ во имя идеаловъ 70-хъ годовъ.

Плодовитый, можно даже сказать черезчуръ плодовитый романистъ и новеллистъ Игнатий Николаевичъ Потапенко (р. 1856) обратилъ на себя внимание только въ восьмидесятыхъ годахъ. Но основныя настроения свои онъ воспринялъ въ 70-хъ гг. и въ лучшихъ вещахъ

является талантливымъ выразителемъ того-же альтруистическаго теченія, которое опредёляетъ значеніе Гаршина и Короленки.

Разсматривая до сихъ поръ полосу "каю щагося дворянства", мы намѣренно устранили двухъ писателей, наряду съ Гаршинымъ наиболѣе прославившихъ младшее поколѣніе 70-хъ годовъ—Короленко и Надсона. Выдѣлили мы ихъ потому, что, всецѣло вышедши изъ настроенія семидесятыхъ годовъ, и творчество Короленко, и недолгое догораніе Надсона развивались, однако же, въ атмосферѣ 80-хъ годовъ, и это существеннѣйшимъ образомъ отразилось на многихъ особенностяхъ ихъ дѣятельности.

Личная жизнь Владиміра Галактіоновича Короленки (р. 1853) такъ сложилась, что ему совсвиъ не приходилось переживать разлада, который такъ мучительно угнеталъ Гаршина. Гаршинъ, тотъ въ самый напряженный періодъ своего творчества съ одной стороны чувствоваль нравственную обязанность активно участвовать въ освободительномъ движеніи, а съ другой-всякая борьба противоръчила всему его существу, да и казалась совершенно безнадежной. Но Короленкъ этой душевной драмы переживать не приходилось. Его въ это время все переправляли съ одного мъста на другое, и когда онъ болъе или менъе прочно осълъ въ якутскихъ тундрахъ, то уже переживать какія-либо сомнёнія о томъ, нужна или не нужна борьба, не приходилось: борьба кончилась. Оттого укръпленное перенесенными лишеніями настроеніе Короленки вполнъ цъльно и никакихъ колебаній не знаетъ. Уже первая литературная попытка Короленки, относящаяся еще къ самому концу 70-хъ годовъ, теперь малоизвъстные "Эпизоды изъ жизни искателя" ("Слово", 1879) представляютъ собою замъчательное историческое свидътельство того удивительнаго героическаго подъема, который охватиль тогда русскую молодежь. "Искатель" Короленки чисто-органически проникнуть сознаніемь, что каждый человькь до лжень себя посвятить общественному благу и ко всякому, кто заботится только о себъ, думаетъ о своемъ личномъ счастіи, онъ относится съ нескрываемымъ презръніемъ. Въ страстномъ альтрунзмѣ "искателя" нѣтъ и тѣни чего-нибудь форсированнаго, это тотъ властный "категорическій императивъ", который пронизываеть человека насквозь. И въ этой категоричности настроенія источникъ всей дальнійшей діятельности Короленки, съ одной только особенностью: съ теченіемъ времени отпала нетерпимость сектантства, исчезло презрвніе къ чужому мнжнію и міросозерцанію, и осталось одно только основное драгоциное зерно настроенія. Въ творчествъ Короленки глубокая любовь къ людямъ выразилась особенно ярко въ его стремленіи доискаться въ каждомъ человъкъ лучшихъ сторонъ человъческаго духа, подъ какой бы тол-

стой и съ перваго взгляда непроницаемой корой наносной житейской грязи онъ ни скрывались. Удивительное умъніе отыскать въ каждомъ человъкъ то, что въ pendant къ гетевскому ewig Weibliche можно было бы назвать ewig Menschliche, больше всего и поразило читающую публику, когда съ середины 1880-хъ гг. Короленко выстуииль съ рядомъ произведеній, дійствіе которыхъ происходить въ обстановкъ, всего менъе, повидимому, способной дать гармоническіе аккорды. Почти потерявшій человіческій образь, объякутившійся полудикарь Макаръ ("Сонъ Макара"), сборище воровъ, нищихъ и разныхъ свихнувшихся людей, пріютившихся въ развалинахъ стараго замка ("Въ дурномъ обществъ"), сибирскіе бродяги и "убивцы", последственное отделение тюрьмы и т. д.-вотъ та среда, которая привлекла къ себъ творческое внимание нашего "искателя" и въ которой онъ сумъль отыскать всю полноту человъческаго сознанія. Настоящая, всепроникающая гуманность автора сказалась въ совершенномъ отсутствіи той тенденціозности, съ которой обыкновенно трактуются типы этой среды. Вотъ, напр., предъ нами "убивецъ"ямщикъ въ извъстномъ разсказъ "Изъ записокъ сибирскаго туриста". Всякій другой пов'єствователь, разсказавши исторію съ обычной точки эрвнія "справедливаго" убійства, въ которомъ невольный "убивецъ" явился мстителемъ за рядъ злодъйствъ и избавителемъ смерти матери съ тремя дътьми, навърное, наэтомъ бы и успокоился. Но "убивецъ" Короленки человъкъ необычнаго душевнаго склада, онъ-правдонскатель по преимуществу, и не удовлетворяеть его справедливость, достигнутая путемъ пролитія крови. Мечется въ страшной тоскъ "убивецъ" и не можетъ примириться съ страшной коллизіей двухъ одинаково-священныхъ принциповъ. То же отсутствіе сколько-нибудь тенденціозной, такъ сказать, программной гуманности составляетъ основную черту всего творчества Короленки. Его гуманность вполнъ органическая и оттого дъятельная, бодрая, чуждая отчаянія. Въра въ будущее и въ живучесть своихъ идеаловъ лежитъ въ основъ всего духовнаго существа Короленки, чуждаго разъедающей рефлексии и отнюдь не разочарованнаго. Это-то его резко и отличаетъ отъ двухъ ближайшихъ сверстниковъ по писательскому рангу, который онъ занимаеть въ исторіи новіншей русской литературы — Гаршина и Чехова. Въ первомъ изъ нихъ обиліе зла на землѣ убило вѣру въ возможность счастья, во второмъ сфрость жизни посфяла невыносимую скуку. Короленко, несмотря на множество личныхъ тяжелыхъ испытаній и всего скоръе какъ разъ благодари имъ, и не отчанвается и не скучаеть. Для него жизнь таить множество высокихъ наслажденій, потому что въ поб'єду добра онъ в'єрить не изъ пошловатаго онтимизма, а въ силу страстной потребности помочь людямъ во что

бы то ни стало. Отсюда, между прочимъ, выдающаяся практическая дѣятельность Короленки, который, гдѣ только ни поселялся послѣ возвращенія въ Россію, вездѣ становился въ центрѣ активнѣйшей литературно-общественной дѣятельности, направленной къ облегченію народныхъ нуждъ и бѣдствій.

Иначе повліяла мрачная реакція 80-хъ гг. на еле начинавшее слагаться творчество безвременно-погибшаго Семена Яковлевича Надсона (1862—1887). Разладъ, который таилъ въ своей скорбной душѣ Гаршинъ, составляетъ и сущность исихологіи Надсона, съ тою только разницею, что реакція дѣлала надежду на побѣду добра еще призрачнѣе. Надсонъ—олицетвореніе гаршинскаго Рябинина. Подобно Рябинину, онъ восклицаетъ:

Но молчать, когда вокругъ звучатъ рыданья И когда такъ жадно рвешься ихъ унять, Подъ грозой борьбы и предъ лидомъ страданья... Братъ, я не хочу, я не могу молчать.

Было время, когда и поэзія была явленіемъ лучезарнымъ.

Она несла съ собой невѣдомыя чувства, Гармонію небесъ и преданность мечтѣ, И былъ законъ ея—искусство для искусства, И былъ завѣтъ ея—служенье красотѣ.

Но теперь растоптаны въ прахъ "роскошные цвѣты" поэзіи, "п темнымъ облакомъ сомнѣній и печали покрылись дѣвственно-прекрасныя черты". Однако, отказавшись отъ поэзіи наслажденія и безмятежнаго созерцанія, Надсонъ, подобно тому же гаршинскому Рябинину, не нашелъ своего назначенія и въ борьбѣ со зломъ. Онъ самъ хорошо это сознаетъ:

И посреди бойцовъ я не боецъ суровый, А только стонущій, устальій инвалидъ, Смотрящій съ завистью на ихъ вѣнецъ терновый.

Такимъ образомъ, "гражданскій" строй музы Надсона является только долгомъ совъсти, исполненіемъ того, что молодой поэтъ считалъ нравственною обязанностью каждаго любящаго родину человъка. Рядомъ съ призывомъ къ борьбъ, въ его душъ идетъ "мучительный споръ" съ сомнъніемъ въ необходимости борьбы ("Чуть останусь одинъ"); рядомъ съ върою въ конечное торжество добра ("Другъ мой, братъ мой", "Весенняя сказка") слагается горькій выводъ, что "въ борьбъ и смуть мірозданья цьль одна—покой небытія" ("Грядущее"), царитъ "мгла безнадежности въ измученной груди" ("Завъса сброшена"), и кръпнетъ сознаніе ничтожества усилій "предъльющейся въка страдальческою кровью, предъ въчнымъ зломъ людскимъ и въчною враждой" ("Я не щадилъ себя"). Наконецъ, иной разъ въ душъ юнаго поэта, опьяненнаго первыми, всегда жгучими

успѣхами, возникаетъ и коллизія съ стремленіемъ къ личному счастью ("Вчера еще радъ былъ отречься отъ счастья"). Во всемъ этомъ отсутствіи прямолинейности нѣтъ, однако, ничего общаго съ неустойчивостью; колебанія Надсона, какъ и у Гаршина, объединены такимъ же общимъ глубоко-гуманнымъ настроеніемъ, не тенденціозно-холоднымъ и надуманнымъ, а истинно-органическимъ. Идеалъ Надсона— Христосъ:

Мой Богъ—Богъ страждущихъ, Богъ, обагренный кровью, Богъ-человѣкъ и братъ съ небесною душой, И предъ страданіемъ и чистою любовью Склоняюсь я съ моей горячею мольбой.

Опредёленіе своей поэзіи самъ Надсонъ далъ въ стихотвореніи "Грезы": "Я плачу съ плачущимъ, со страждущимъ страдаю и утомленному я руку подаю". Въ этихъ словахъ заключается и опредёленіе мѣста, занимаемаго Надсономъ въ исторіи русской поэзіи. Родная дочь музы Некрасова, прямое отраженіе героическаго подъема 70-хъ годовъ, муза Надсона вмѣстѣ съ тѣмъ отразила и уныніе 80-хъ годовъ. Она болѣе склонна къ жалобамъ, чѣмъ къ протесту. И этимъ объясняется, почему она такъ пришлась по сердцу нервному, надломленному поколѣнію, созданному реакціею 80-хъ годовъ и почему имѣли такой небывалый книгопродавческій успѣхъ стихотворенія Надсона, по скромнымъ размѣрамъ своего таланта припадлежащаго къ разряду поэтовъ второстепенныхъ.

Выделивь особо Короленко и Надсона, мы темъ более должны выдёлить Петра Филипповича Якубовича (р. 1860 г., какъ поэтъ извъстенъ подъ своими иниціалами П. Я., какъ беллетристъ-подъ псевдонимомъ Мельшинь), который къ тому же и фактически получилъ возможность вполнѣ отдаться литературной дѣятельности только въ 1890-хъ годахъ. По первымъ внечатлѣніямъ рано созрѣвшаго сознанія принадлежа къ полось 70-хъ годовъ, Якубовичь темь и замечателенъ, что неугасимо пронесъ огонь молодыхъ стремленій сквозь бурю постигшихъ его личныхъ испытаній. И такъ же, какъ личныя испытанія избавили Короленко отъ разлада и колебаній, измучившихъ Гаршина, такъ еще гораздо болъе тяжкія невзгоды, выпавшія на долю Якубовича, закалили его и не дали мъста какимъ бы то ни было сомниніямъ. Онъ-пивець борьбы, онъ понимаеть свою жизненную и поэтическую задачу только какъ отстанвание дорогихъ ему идеаловъ народнаго счастія. Онъ, не колеблясь, отвергаетъ мечты о личномъ благополучін: "Спокой ное счастье преступно и ложно, когда всюду кругомъ безотрадно-темно", подвигъ зоветъ, и на "алтарь свободы" боець несеть "и жаръ души, еще не утоленный, и крипость мышць, и силу воли гордой, и правый гижвъ, и правую любовь". Въ послъдовавшей "битвъ грозной, безжалостной, дикой" боецъ физически быль побъждень, но тутъ и сказывается возвышающая и закаляющая сила страданія за правду—это нимало не сломило его духа. Оплакивая судьбу своего "покольнія, проклятаго Богомъ", Якубовичъ всего менье сталь нытикомъ. Онъ—"недобитый боецъ" и не сомньвается въ томъ, что въ будущемъ его идеалы восторжествуютъ. Выше уже было отмъчено, что люди 70-хъ годовъ превосходно сознавали, что они дълаютъ только первые шаги и что до побъды имъ и не дожить. Якубовичъ тоже это сознаетъ вполнъ опредъленно: рышаетъ дъло "валь девятый, валъ послъдній, роковой", но для этого "нужны первыя усилья, нуженъ первый валь, второй" и боецъ съ радостнымъ чувствомъ обрекаетъ себя участи первыхъ, безплодныхъ валовъ. Ни на какіе компромиссы онъ не пойдетъ; "Жизнь—борьба, а не рабство":

Бѣгп, мечта любви, мечта о примиреньи, Прочь, пѣсни рабскія унынья и тоски: Я—весь огонь и мечъ, я весь—порывъ отмщенья И гнѣва я пѣвецъ до гробовой доски.

Эта бодрость находится въ органической связи съ оптимистической увъренностью, что побъда идеаловъ бойца-пъвца принесетъ несказанное счастіе:

Я знаю—на костяхъ погибшихъ поколвній Любви и счастія прекрасный цввтъ взойдеть, Кровь жаркая бойцовъ и слезы ихъ мученій Лишь почву умягчать, чтобъ дать раскошный плодъ. Изъ груды ихъ крестовъ создастся рядъ ступеней, Ведущихъ родъ людской къ высокимъ небесамъ. Свершится дивный сонъ, и сввтлыхъ райскихъ свней Достигнетъ человвкъ, и богомъ станетъ самъ. О, какъ горитъ зввзда неввдомаго счастья, Какъ даль грядущаго красна и широка, Что значитъ передъ ней—весь этотъ мракъ ненастья Всвхъ этихъ мукъ и слезъ безумные ввка.

Оптимизмъ Якубовича, сказавшійся и въ его прозѣ—очеркахъ изъ жизни "мертваго дома" нашихъ дней ("Міръ отверженныхъ"), нельзя не привести въ связь съ тѣмъ, что литературная дѣятельность его была задержана въ своемъ ходѣ. Этотъ "семидесятникъ", по генезису настроенія, отразилъ собою и настроеніе позднѣйшее. Если приглядѣться къ датамъ подъ наиболѣе энергичшыми стихотвореніями П. Я., то мы увидимъ, что всѣ они группируются около 1890 года—эпохи, когда уныніе начинаетъ уступать тому замѣчательному приливу новой увѣренности въ близкой побѣдѣ, который ближайшимъ образомъ получилъ свое выраженіе въ марксизмѣ.

Полоса "кающагося дворянства", за немногими исключеніями, почти вся сгруппировалась кругомъ "Отечественныхъ Записокъ", въ числѣ сотрудниковъ которыхъ были: Некрасовъ, Щедринъ, Михайловскій, Плещеевъ, Хвощинская, Глѣбъ Успенскій, Златовратскій, Рѣшетниковъ, Наумовъ, Засодимскій и другіе представители "мужицкой беллетристики", Энгельгардтъ, Гаршинъ, Осиповичъ, Ясинскій, Надсонъ.

Кром'в нихъ окраску сообщали журналу: умный "внутренній обозрѣватель" и вліятельный членъ редакціи Григорій Захарьевичъ
Елисѣевь (1821—1891); талантливый публицисть, знатокъ земскихъ
п другихъ внутреннихъ вопросовъ Николай Александровичъ Демерть
(1835—1876); поборникъ строго-научной философіи Владиміръ Викторовичъ Лесевичь (1837—1905); симпатичный и искренній критикъ
добролюбовской школы Александръ Михайловичъ Скабичевскій (р. 1838);
поборница женскаго вопроса, публицистка и критикъ Марья Константиновна Цебринова (р. 1835); остроумный, поздиве ушедшій
изъ прогрессивнаго лагеря критикъ Михаилъ Алексъевичъ Протопоповь (р. 1848); разносторонній публицисть и соціологь Сергый Николаевичъ Южаковь (р. 1849); внутренній обозрѣватель Сергый Николаевичъ Кривенно (1847—1906).

Будучи первенствующимъ журналомъ эпохи, "Отеч. Зап." привлекали многихъ видныхъ писателей, которые далеко не всецъло раздёляли общественно-политическій радикализмъ главныхъ дёятелей. Такъ прошелъ черезъ "Отеч. Зап." цълый рядъ пьесъ Островскаго, "Подростокъ" Достоевскаго, "Мими" Полонскаго. Въ "Отечественныхъ же Запискахъ" пріобрёль широкую извёстность Петръ Длитріевичь Боборыкинь (р. 1836). Этому талантливому и образованному писателю предстояло занять очень серьезное мѣсто въ исторін русскаго общественнаго романа, потому что онъ обладаеть замѣчательною отзывчивостью на вѣяніе времени. И онъ, дѣйствительно, отражаль въ многочисленивншихъ романахъ, поввстяхъ, разсказахъ, очеркахъ, драмахъ, критическихъ статьяхъ, фельетонахъ цёлый рядъ общественныхъ "моментовъ". Отражалъ, при этомъ, всегда одинъ изъ первыхъ, проявляя, следовательно, большую зоркость. Но многонисаніе, растягиваніе, а главное неспособность углубляться въ самую сущность отражаемыхъ теченій и идти дальше первыхъ, хотя и очень вфрио и чутко схваченныхъ, контуровъ, сообщили его произведеніямъ характеръ поверхностности и мимолетности. Много объщали русскому общественному роману Иванъ Афанасьевичь Кущевскій (1847—1877) и Софья Ивановна Смирнова (р. 1852), дебютировавшіе и напечатавшіе лучшія свои вещи въ "Отеч. Запискахъ" начала 70-хъ гг. Но Кущевскій послѣ своего перваго романа "Николай Негоревъ или благополучный россіянинъ", гдѣ изображенъ интересный типъ карьериста, не лишеннаго хорошихъ порывовъ, ничего не далъ. Смирнова тоже не пошла дальше опытовъ своей ранней молодости — "Огонька", "Силы характера", "Попечителя учебнаго округа". Въ этихъ романахъ были опредѣленныя стремленія и порывы, и хотя стремленія были довольно наивны и не шли дальше обычныхъ тогда порывовъ къ разумной дѣятельности для женщины, но они были согрѣты увлеченіемъ молодости, "огонекъ" ихъ передавался читателю.

Уже на рубежѣ восьмидесятыхъ годовъ въ "Отеч. Зап." появляются талантливые очерки Сергъя Николаевича Терпигорева (1841—1895, болѣе извѣстенъ подъ псевдонимомъ Сергъй Атава)—"Оскудѣніе", въ которыхъ ярко и зло было изображено неумѣніе деревенскаго дворянства приспособиться къ новымъ формамъ жизни, созданнымъ крестьянскою реформою. Талантливымъ бытописателемъ новыхъ тяжелыхъ условій деревенской жизни, гдѣ рѣшающее значеніе получаютъ теперь "пауки" — кулаки, міроѣды и скупщики дворянскихъ имѣній, выступилъ въ "Отечественныхъ же Запискахъ"—Илья Александровичъ Саловъ (1835—1902).

Наиболье серьезныя и характеризующія эпоху явленія литературной жизни 70-хь годовь, какъ уже сказано, связаны съ "Отеч. Записками". Но далеко еще не закончилась и полоса шестидесятыхъ годовь. Могикане "мыслящаго реализма" еще подвизаются нѣкоторое время съ успѣхомъ въ основанномъ въ 1867 г. Благосвѣтловымъ "Дѣлѣ". Въ такой же степени, въ какой "Отеч. Зап.", въ общемъ, являлись прямымъ продолженіемъ "Современника" эпохи Чернышевскаго и Добролюбова, въ такой же степени и Благосвѣтловское "Дѣло" было возобновленіемъ Благосвѣтловскаго "Русск. Слова". Тотъ же безусловно-искренній, но столь же безусловно-вульгарный, кричащій радикализмъ, та же грубость въ полемикѣ, та же элементарность мышленія. Но именно эта элементарность и создавала журналу успѣхъ въ провинціп и среди зеленой молодежи, пребывающей на первыхъ этапахъ радикальнаго мышленія.

Элементарностью прежде всего проникнуты были романы, повъсти и стихи "Дъла". Здъсь пышнымъ цвътомъ распускается крайне-тенденціозная беллетристика, посвященная прославленію "новыхълюдей". Главный представитель ея — Александръ Константиновичъ Шеллеръ, писавшій подъ псевдонимомъ А. Михайловъ (1838—1900). Художественныя силы этого плодовитаго и разносторонняго провозвъстника новыхъ идей, кромъ многочисленныхъ романовъ писавшаго и стихи, и историческіе очерки, и очень читавшіеся этюды о соціальныхъ уче-

ніяхъ, весьма скромны. Онъ лишенъ способности сколько-нибудь тонкой нюансировки, обработка сюжета у него самая схематичная и прямолинейная, при крайней тендеціозности неизбѣжно переходящая въ деревянность. Задавшись прославленіемъ "новыхъ людей", провозвъстниковъ писаревскаго реализма и протестантовъ всякаго рода, Шеллеръ дёлалъ изъ нихъ настоящее собрание всевозможныхъ добродътелей и высокихъ качествъ. "Новый человъкъ" Шеллера и необыкновенно уменъ, и массу знаетъ, и находчивъ, и красноръчивъ, и физическою силою обладаеть, и красивъ вдобавокъ, такъ что, конечно, безъ труда илвияетъ сердца "рвущихся къ свъту" "новыхъ" женщинъ. Несмотря на наивно-элементарную прогрессивность, а, пожалуй, именно вследствие элементарности этой всемъ доступной прогрессивности, Шеллеръ имълъ огромное и безусловно-благотворное вліяніе на широкіе слои публики. Отчеты провинціальныхъ публичныхъ читаленъ показываютъ, что и до сихъ поръ Шеллеръ очень читается молодежью. На первыхъ порахъ жажды осмыслить свое существованіе и на неприхотливый художественный вкусъ только-что начинающаго серьезно относиться къ книгъ читателя, романы Шеллера имѣютъ, такъ сказать, пропедевтическое значеніе. Своимъ оптимизмомъ, своею недопускающею сомивній вврою въ то, что стоитъ только захотъть, и жизнь каждаго прогрессиста устранвается вполнъ "разумно" и возвышенно, чтеніе Шеллера, несомивно, воспитываеть желаніе вырваться изъ пошлости среды и выйти на просторъ знанія и свободнаго человъческаго существованія.

Этимъ же оптимизмомъ и върою въ побъдную силу молодого порыва къ свъту и разумной жизни объясияется чрезвычайный успъхъ печатавшагося въ "Деле" романа "Шагъ за шагомъ" (въ отдельномъ изданіп— "Свътловъ, его взгляды, его жизнь и дъятельность") Омулевскаго (псевдонимъ писавшаго также много стиховъ на гражданскіе мотивы Иннокентія Васильевича Федорова, 1836—1883). Меньше побѣдности, но не меньше тенденціозной пдеализаціп людей новыхъ стремленій въ романахъ діятельнаго сотрудника "Діла" 70-хъ гг. Константина Михайловича Станюковича (1844—1903). Это-типы людей, которымъ туго приходится въ жизни за то, что они честны и не знаютъ компромиссовъ: но никакія личныя невзгоды не заставять ихъ измѣнить своимь уо́вжденіямъ. Въ настоящее время эти романы ('танюковича, какъ и поздивнийе его романы à clef, въ ахитуад и аводылад ахынкы далыдовы и другихъ общественныхъ дъятелей, совершенно забыты. Если, однако же, не забыто имя Станюковича, то исключительно благодаря его, относящимся уже къ 80-мъ гг. "Морскимъ разсказамъ", написаннымъ очень живо и главное - тепло. Они дають яркую картину морской

жизни прежняго времени и цёлую галлерею суровыхъ на видъ "морскихъ волковъ", въ которыхъ, однако, часто бъется очень любящее сердце. Членъ редакцін "Дъла" Николай Федотовичь Бажинь (р. 1843) въ первыхъ своихъ произведеніяхъ, напечатанныхъ еще въ "Русск. Словв" 1864-65 гг., земли подъ собою не чуялъ отъ гордаго сознанія, что на Руси начинается новая эра невиданной и неслыханной до того разумной жизни, построенной на началахъ самаго "трезваго режима". Герон повъстей Бажина этой полосы ходять, высоко поднявь голову, смотрять на себя, какъ на соль земли, какъ на провозвъстниковъ самыхъ новыхъ животворныхъ началъ. Но это настроеніе исчезло скоро, и героями пов'єстей Бажина, напечатанныхъ въ "Дълъ", являются "идейные" неудачники-люди, которые страдають въ жизни вслъдствіе преданности высокимъ стремленіямъ; они забывають о своихъ личныхъ интересахъ и потому очень скоро оказываются на мели. Наступаетъ трагедія нужды со всёми ея ужасами, и сърая мгла окутываетъ читателя этого, въ общемъ, мрачнъйшаго беллетриста.

Изъ публицистовъ и критиковъ "Дела" пользовались известностью разносторонній Петръ Никитичь Ткачевь (1844—1885), плодовитый авторъ историческихъ компиляцій Серафимо Серафимовичь Шашковъ (1841—1882), талантливый, но черезчуръ увлекавшійся эффектными перспективами популяризаторъ естествознанія Веніаминъ Осиповичь Португаловъ (1835—1896) и особенно Николай Васильевичь Шелгуновъ (1824—1891). Ткачевъ быль человъкъ самаго крайняго радикализма, до котораго когда-либо доходила русская революціонная мысль. Когда ему, послъ двукратного заключенія въ кръпости, удалось въ началь 70-хъ годовъ перебраться за границу, онъ въ основанной имъ газетъ "Набатъ" сталъ во главъ, такъ называемаго, "бунтарства", считавшаго все дозволеннымъ для достиженія общаго блага. Въ частности, Ткачевъ не считалъ необходимымъ справляться съ мнаніемъ народа, пока онъ дикъ и невъжественъ, и отстаивалъ якобинскій принципъ, что лозунгъ "tout pour le peuple" вовсе не означаетъ "tout par le peuple" Въ подцензурномъ "Дълъ" Ткачевъ, ожесточенно воевавшій даже съ Лавровымъ и Бакунинымъ, не имълъ, конечно, возможности сколько-нибудь ярко выражать свое міросозерцаніе. Но косвенно это выражалось въ грубыхъ насмешкахъ и нападкахъ решительно на все и всъхъ, не исключая и радикальныхъ "Отеч. Зап.". Обладая серьезными знаніями въ области соціально-политическихъ знаній, Ткачевъ всего менье годился въ литературные критики, а между темъ журнальныя условія заставляли его всего чаще писать на литературныя темы. У него даже не было сколько-нибудь опреділенной эстетической точки зрізнія. Съ одной стороны, онъ выступалъ какъ ярый приверженецъ "полезнаго" искусства и писаревскаго "реализма", а съ другой—онъ вдругъ, въ началѣ 70-хъ годовъ, начинаетъ толковать о "художественности", коритъ отсутствіемъ ея не кого иного, какъ Тургенева, и ополчается противъ тенденціозности романовъ своего ближайшаго товарища по журналу Шеллера-Михайлова. Въ извѣстной талантливости Ткачеву нельзя отказать, но въ общемъ рѣзкость его всегда переходитъ въ грубость, а всего чаще и въ вульгарность.

Ничего общаго не имъетъ съ грубостью и вульгарностью Шелгуновь. Этотъ симпатичнъйшій писатель сильно проигрываль отъ общаго малосерьезнаго и вульгарнаго пошиба журнала. Лучшая часть его дъятельности-та, когда онъ, значительно поздибе, ежемъсячно ведя "Очерки русской жизни" въ "Русской Мысли" 1880-хъ гг., совершенно отръшился отъ узости и поверхностности Благосвътловскихъ пріемовъ и даль просторь благороднійшимь сторонамь своей прекрасной духовной личности. Какъ авторъ "Очерковъ русской жизни", Шелгуновъ въ 80-хъ годахъ занялъ одно изъ первыхъ и руко водящихъ мъстъ въ журналистикъ. Въ эпоху всеобщей реакціи онъ высоко держалъ знамя всей полноты шпрокихъ общественныхъ требованій и съ сокрушающей злобою напустился на пошлую проповёдь "малыхъ дёлъ", которую выдвинула трусливая мысль того времени. И этой своею бодростью и энергіею старикъ Шелгуновъ подготовлялъ тотъ идейный подъемъ, который въ 90-хъ годахъ смфиилъ собою уныніе печальныхъ 80-хъ годовъ. Умирающій Шелгуновъ нмѣлъ грустное счастье въ послѣдніе мѣсяцы своей жизни или, втрите, агоніи получить столько знаковъ вниманія со стороны чуткой молодежи, которыхъ онъ никогда не зналъ раньше. Похороны его превратились въ большое общественное событіе. А въ концъ 60-хъ и въ 70-хъ годахъ, когда Шелгуновъ былъ однимъ изъ столповъ "Дъла", вдумчивая часть молодежи и литературы (въ томъ числѣ его позднѣйшій другъ Михайловскій) относилась пронически къ его многочисленнымъ историко-экономическимъ статьямь, легковфеныя обобщенія которыхь сфяли полузнаніе и несерьезное отношение къ разръшению сложныхъ вопросовъ науки и общественности. Какъ литературный критикъ, Шелгуновъ былъ и того слабъе и не имълъ опредъленныхъ эстетическихъ воззрѣній.

Изрѣдка появлялись въ "Дѣлѣ" статьи безнощадно гонимаго полиціей съ мѣста на мѣсто соціолога Василія Васильевича Берви (р. 1829), извѣстнаго подъ исевдонимомъ Флеровскаго. Онъ пользовался у молодежи 70-хъ гг. большою популярностью какъ авторъ первой русской книги по рабочему вопросу ("Положеніе рабочаго класса въ Россіи", 1869) и изъятой изъ обращенія "Азбуки со-

ціальныхъ наукъ (1871). "Азбука" съ научной точки зрѣнія мало обоснована, но молодежь въ ней привлекало ученіе о солидарности человѣческихъ интересовъ.

Къ двумъ основнымъ органамъ радикальной мысли-"Отеч. Зап." и "Дълу", въ концъ 70-хъ годовъ (1878) присоединилось "Слово" Дмитрія Андреевича Коропчевскаго (†1903). Оно возникло въ связи съ цензурными преследованіями научно-позитивнаго журнала того же Коропчевскаго "Знаніе". Но, въ свою очередь, и "Слово", помимо разныхъ редакціонныхъ пертурбацій, пало въ 1881 г. въ борьбъ съ цензурою. Взявшая въ то время на себя веденіе журнала группа сотрудниковъ "Отеч. Зап." (главнымъ образомъ С. Н. Кривенко) основала выходившіе всего годъ (1882) "Устои" (редакторъ С. А. Венгеровъ), тоже подвергшіеся чрезвычайнымъ цензурнымъ гоненіямъ. Промежуточное положение между печатью радикальной и умфреннопрогрессивной занимала "Недвля" Павла Александровича Гайдебурова (1881—1893). Какъ мы уже знаемъ, "Недъля" съ средины 70-хъ гг. становится центромъ крайне-односторонняго, но пока еще безусловно-прогрессивнаго народничества. Поздиже, въ 80-хъ гг., это "народничество" "Недели" и въ статьяхъ своего главнаго выразителя Каблица-Юзова, и въ остальныхъ отдёлахъ изданія совершенно утрачиваетъ радикальный оттвнокъ и рвзко склоняется въ сторону оппортюнизма.

Умъренно-прогрессивная общественная мысль имъла въ ежемъсячной журналистикъ своимъ органомъ "Въсти. Европы", въ ежедневной—"С. Петерб. Въд.", поздиъе "Голосъ", "Страну" "Молву".

"Вѣстникъ Европы" Михаила Матвтевича Стасюлевича (р. 1826) въ беллетристическомъ своемъ отдѣлѣ былъ по преимуществу органомъ литературныхъ корифеевъ, безотносительно къ ихъ политическому міросозерцанію. Наряду съ примирившимся уже съ новымъ поколѣніемъ Тургеневымъ, на страницахъ "Вѣстн. Европы" печатался гончаровскій "Обрывъ", въ лицѣ главнаго героя котораго, Марка Волохова, движеніе 60-хъ годовъ выставлено въ такомъ непривлечательномъ видѣ. Дѣятельнымъ сотрудникомъ журнала былъ и сатирически-относившійся къ новымъ идеямъ Алексѣй Толстой. Но вмѣстѣ съ тѣмъ постоянною сотрудницею журнала была Хвощинская, а съ прекращеніемъ въ 1884 г. "Отеч. Зап."—Салтыковъ. Изъ литературной молодежи въ "В. Евр." выступили Минскій, Эртель, Ясинскій.

Чрезъ научно-публицистическій отдѣлъ журнала прошла вся многополезная дѣятельность одного изъ лучшихъ историковъ русской общественности Александра Николаевичи Пыпина (1833—1905). Въ 70-хъ годахъ эта дѣятельность имѣла весьма опредѣленную окраску. Тъсно связанный узами родства и величайшаго уваженія съ Чернышевскимъ, онъ въ значительной мфрф его духовный вскормленникъ. При всей умфренности своего темперамента, при всемъ томъ, что его никакъ нельзя было назвать челов комъ крайнихъ воззрвній, Пыпинъ все же въ значительной степени былъ проводникомъ если и не соціальныхъ, то литературно-политическихъ идей главаря "Современника". Пыпинъ тесно примыкалъ къ "Современнику" до его закрытія въ 1866 г. и одно время даже былъ отвътственнымъ редакторомъ журнала. Во всякомъ случав онъ унаследовалъ оть Чернышевского глубокую ненависть къ старому строю нашей государственности и къ "офиціальной народности". И труды Пыпина, относящіеся къ 70-мъ гг., Общественное движеніе при Александръ І", "Характеристка литературныхъ мивній 1820-1850 годовъ" и книга о Бълинскомъ были важнымъ явленіемъ передовой мысли времени, лучшимъ доказательствомъ чего можетъ служить энергія, съ которой Дмитрій Толстой не допустиль Пыпина въ академію. Въ 80-хъ годахъ общественная окраска дъятельности Пыпина значительно тускиветь. Онъ удаляется въ мирную область этнографіи и литературной старины и обогащаеть нашу науку двумя капитальнъйшими трудами—,,Исторіею русской этнографін" и "Исторією русской литературы". Но для литературы въ широкомъ смыслѣ этого слова и въ частности для "Вѣстн. Европы" его работы 80-хъ и 90-хъ гг. руководящаго значенія уже не имфють. Иначе сложилась публицистическая деятельность другого виднаго сотрудника "Въсти. Евр." Константина Константиновича Арсеньева (р. 1837). Почтенная въ 70-хъ годахъ, она получила выдающееся значение позднае-въ 80-хъ и 90-хъ, и въ значительной степени измѣнила общественную роль своего журнала. Въ 70-хъ годахъ, когда во главъ литературнаго движенія стояли "Отеч. Зап." и отчасти "Дело," "Вестн. Европы" съ его "умеренностью и аккуратностью" не могъ имъть руководящаго значенія. Но когда въ 80-хъ годахъ воцарилась одна изъ самыхъ страшныхъ въ русской исторіи реакцій, - реакція, страшная темъ, что она захватила также общество и даже молодежь, -, Въсти. Европы", уже только продолжая быть тэмъ, чемъ онъ былъ раньше, вынгрывалъ очень много. Но дело-то въ томъ, что въ 80-хъ годахъ журналъ несомненно, кроме того, подался влёво. А когда исчезли "Отеч. Записки", "Вёсти. Евр.", пріютившій къ тому же Щедрина, заняль въ борьбъ съ реакціею позицію почти передовую. Раньше—въ 70-хъ годахъ-внутреннее обозрѣніе въ немъ велъ Леонидъ Александровичъ Полонскій (р. 1833), публицисть талантливый и разностороние-образованный, но не шедшій дальше либерализма самаго буржуазнаго оттънка, находившій даже

пужнымъ вступать въ полемику съ "крайними" элементами. Въ 80-хъ годахъ эта окраска журнала значительно измёняется и "Въстн. Европы" становится органомъ хотя и чуждой крайностей, но опредъленно-демократической мысли, и выдвигаетъ на первый планъ интересы народные. И этой метаморфозѣ больше всего содъйствовалъ Арсеньевъ, взявъ на себя съ 1880 г. "Внутреннее обозрѣніе" и "Общественную хронику". По вѣрному свидътельству П. Б. Струве, оба эти отдъла воспитывали политическую мысль 80-хъ и 90-хъ годовъ. Въ частности, Арсеньевскія обозрѣнія и его общественныя хроники поддерживали бодрость въ лучшей части земства, создавая строго-лояльную, но неуклонно-энергическую борьбу съ реакціею и административнымъ произволомъ. Кромѣ публицистики, Арсеньевъ въ концъ 70-хъ и 80-хъ гг. дъятельно подвизался и какъ литературный критикъ, благожелательно отмъчая дебюты новыхъ силъ и съ любовью комментируя творчество старыхъ борцовъ освободительныхъ идей-Некрасова, Салтыкова.

Разъ рѣчь забѣжала впередъ и захватила послѣдующій періодъ, то для полноты представленія о "Вѣстн. Евр." 80-хъ и 90-хъ гг. слѣдуетъ отмѣтить, что необыкновенный блескъ ему въ эти годы придало сотрудничество Владиміра Соловьева. Намъ еще придется говорить объ этомъ высоко-оригинальномъ дѣятелѣ, который такъ неожиданно и своеобразно выступилъ въ защиту лучшихъ завѣтовъ русской передовой мысли. Покамѣстъ же отмѣтимъ, что его блестящія полемическія статьи противъ теоретиковъ застоя были настоящими ударами геркулесовской палицы и поражали реакцію съ той позиціи, гдѣ она всего менѣе ожидала нападенія,—съ точки зрѣнія правильно-понятаго хрпстіанства.

Влижайшими сотрудниками журнала за все время его существованія были могикане сороковыхъ годовъ—Анненковъ и Кавелинъ. Знаменитый юристъ Владиміръ Даниловичъ Спасовичъ (1829—1906) помѣщаль въ "Вѣстн. Евр." свои вдумчивые этюды о Шексиирѣ, Байронѣ, Лермонтовѣ, Пушкинѣ. Близкотоже примыкаетъ къ "Вѣстн. Евр." другой блестящій представитель русскаго судебнаго краснорѣчія и изящный эссеисть—Анатолій Федоровичъ Кони (р. 1844). Составлявшія подчасъ довольно рѣзкій диссонансъ въ общемъ умѣенномъ тонѣ журнала критическія и публицистическія статьи Евгенія Исааковича Утина (1843—1894) больше выдавались, однако, радикализмомъ, чѣмъ глубиною. Въ 80-хъ годахъ и позднѣе ближайшимъ сотрудникомъ "Вѣстн. Евр." является разносторонній публицистъ Людвигъ Зиновьевичъ Слонимскій (р. 1850).

Если въ ежемѣсячной, "толстой" журналистикѣ 70-хъ годовъумѣренно-прогрессивное направленіе, даже въ лицѣ такого выдаю-

щагося органа, какъ "Въстн. Евр.", не заняло руководящаго положенія, то гораздо болье крупную роль сыграло оно въ печати ежедневной. Обслуживая круги, несравненно болье широкіе и потому несравненно менье умственно развитые, чымь читатели ежемьсячных журналовь, газета всегда отстаетъ отъ высшихъ слоевъ интеллигенціи и всегда значительно ближе къ "улицъ". Вотъ почему, между прочимъ, мы уже болве полуввка имвемъ радикальную ежемвсячную журналистику и только въ моментъ революціи получили радикальную ежедневную печать. До средины 60-хъ годовъ ежедневная печать почти не играла сколько-нибудь руководящей роли, и во главъ литературно-общественнаго движенія стояли исключительно журналы. Впервые газета получила руководящее значеніе въ 1863-64 гг., когда "Московск. Въд." перешли къ Каткову. Очевидно, нарождающаяся сила газеты была явленіемъ бузусловно-органическимъ, потому что съ того же 1863 года, когда реакція получила такую поддержку въ первостепенномъ публицистическомъ талантъ Каткова, пріобр'втаютъ очень крупное значеніе и умфренно-прогрессивныя "С.-Петерб. Въдомости" подъ редакціею Валентина Өедоровича Корша (1828—1883), человъка очень образованнаго и прекраснъйшей души, но весьма скромныхъ дарованій. "С.-Петерб. Въд." коршевской редакціи (съ 1863 по 1874) далеко ушедшимъ въ своихъ идеалахъ кругамъ нашей интеллигенціи казались черезчуръ смиренномудрыми. Высмёнвали ихъ лозунгъ "наше время—не время широкихъ задачъ", заподозривали даже чистоту ихъ намфреній и считали "прикоснимателями" либерализма (Щедринъ въ "Дневникъ провинціала"), сводили ихъ систему постоянныхъ оглядокъ къ комической формуль "должно сознаться, хотя нельзя не признаться". Однако, злоба реакція, выразившаяся въ томъ, что газета насильственно, съ нарушениемъ контракта, была отнята у Корша Дмитріемъ Толстымъ показываетъ, что при томъ обратномъ ходѣ, которымъ теперь пошла государственная жизнь, газета имъла серьезное политическое значение. Въ общемъ, коршевския "С.-Петерб. Въд. " были самымъ прогрессивнымъ проявлениемъ новой литературной силы-ежедневной печати, развитію которой, при всёхъ ихъ ограничительныхъ стъсненіяхъ, много способствовало освобожденіе въ 1865 г. періодическихъ изданій отъ предварительной цензуры. Въ газетахъ начинаетъ теперь сосредоточиваться очень много литературныхъ силъ. Главными деятелями коршевскихъ "С.-Пет. Вед." являются: выдающійся защитникъ принциповъ самоуправленія кн. Александръ Ивановичъ Васильчиковъ (1818—1881), К. К. Арсеньевъ, знатоки внутреннихъ вопросовъ Нилъ Петровичъ Колюпановъ (1827— 1894) и Өедөрг Өедөрөвичг Воропоновь (род. 1839), образованный редак-

торъ политическаго отдела Эрнестъ Карловичъ Ватсонъ (1839—1891). представители позитивной философіи Григорій Николаевичь Вырубовь (1843—1906) и Евгеній Валентиновичь Де-Роберти (р. 1843), П. Д. Боборыкинъ, иламенный провозвъстникъ новаго русскаго искусства Владиміръ Васильевичъ Стасовъ (1824—1906), "музыкальный нигилистъ" Цезарь Антоновичъ Кюи (р. 1835). Но особенно выдавались среди сотрудниковъ "С.-Пет. Въд." фельетонисты Алексий Сергъевичъ Суворинъ (р. 1834) и Викторъ Петровичъ Буренинъ (р. 1841). Блестящій талантъ Суворина, его тонкое остроуміе и горячая борьба съ ретроградными теченіями придали первостепенное значеніе прежде совершенно ничтожному воскресному фельетону. Язвительное остроуміе критическихъ фельетоновъ Буренина, тоже по преимуществу направленное противъ консервативной печати, сделало его однимъ изъ наиболе ненавидимыхъ въ известныхъ кругахъ застръльщиковъ либеральнаго лагеря. Но еще во второй половинъ семидесятыхъ годовъ, съ этими литературными діоскурами, больше всего содъйствовавшими тому, что газета была отобрана у Корша, происходитъ изумительнъй шая метаморфоза, и пріобрътенная Суворинымъ въ 1876 г. газета "Новое Время" постепенно становится однимъ изъ самыхъ яркихъ и характерныхъ выразптелей реакціоннаго теченія 80-хъ годовъ.

Все въ томъ же 1863 году основанная и соперинчавшая съ "С.-Петерб. Въд." газета Краевскаго "Голосъ" первые годы своего существованія была изданіемъ въ достаточной степени низменнымъ, не брезгавшимъ получать субсидін отъ вёдомствъ и частныхъ предпріятій. По направленію это было что-то межеумочное, всего менъе прогрессивное, однако и не ретроградное. Но постепенно практичный Краевскій сталь уклоняться вліво, а когда въ 1874 г. "С.-Пет. Въд." были отняты у Корша и огромный контингентъ ихъ подписчиковъ остался безъ органа, "Голосъ" быстро поспѣшилъ завладъть этою обширною аудиторіею. Въ значительной степени попытка удалась, и "Голосъ" становится органомъ хотя и буржуазнъйшаго либерализма, но все-таки органомъ безусловно оппозиціоннымъ. Это и было причиною того, что съ наступленіемъ реакціи 80-хъ годовъ газета, достигшая небывалаго по тому времени распространенія (до 30.000 подписчиковъ), была закрыта Дмитріемъ Толстымъ. Этимъ путемъ онъ отомстилъ газетъ за то, что она удаленіе его, во времена Лорисъ-Меликова, съ поста министра нар. просв. назвала "величайшею реформою" царствованія Александра II. Редакцією "Голоса" во второй періодъ завѣдывалъ историкъ Василій Алекстевичь Бильбасовь (1838—1904). Изъ сотрудниковъ перваго періода получиль изв'єстность воскресный фельетонисть Левь Конетантиновичь Панютинь (1829-1832), писавшій подъ псевдонимомъ Ниль Адмирари. Воскреснымъ фельетонистомъ второго періода быль Григорій Константиновичь Градовсній (род. 1842), писавшій подъ псевдонимомъ Гамма. По разнымъ вопросамъ общественной и государственной жизни окраску "Голосу" второго періода давали: буржуазный экономисть академикь Владиміръ Павловичь Безобразовъ (1828-1889), національ-либераль проф. Александръ Диштріевичь Градовскій (1841—1889), профессорь-классикь Василій Ивановичь Модестовь (1839—1907), воевавшій, однако, съ толстовскимъ классицизмомъ и за это лишившійся канедры. Особенную извъстность пріобръль за время своего сотрудничества въ "Голосъ" публицисть, критикь и авторь эффектныхь путевыхь очерковь и слащавыхъ романовъ Евгеній IIьвовичъ Марковъ (1835—1903)блестящій стилисть, больше увлекаемый своимь краснорьчіемь, чьмь глубиною настроенія. Посл'в закрытія "Голоса" онъ преспокойно перекочеваль въ "Новое Время". Изъ его публицистическихъ наскоковъ большое висчатлиніе произвело страстное нападеніе на адвокатовь, за которыми онъ первый закръпилъ кличку "прелюбодъевъ мысли". .Інтературный фельетонъ "Голоса" въ разныя времена вели Владиміръ Викторовичь Чуйко (1839—1899), талантливый музыкантъ Германъ Августовичь Ларошь (1845—1904); съ гораздо большимъ блескомъ вель онъ музыкальный фельетонъ; ветеранъ сороковыхъ годовъ, плодовитый, но совершенно незначительный компиляторъ Владиміръ Рафаиловичь Зотовь, Аргеній Ивановичь Введенскій (р. 1844), поздніве перешедшій въ консервативную печать.

Кром'в "С.-Пет. В'вд." и "Голоса" второй формаціи ум'вреннопрогрессивное настроеніе 70-хъ годовъ было представлено еще цѣлымъ рядомъ другихъ газетъ. Основанныя весьма низкопробнымъ журнальнымъ аферистомъ K. B. Трубниковымъ (1829—1904) "Биржевыя Вѣд." перешли въ 1874 г. къ Василію Аполлоновичу Полетикъ (1820—1888), который привлекъ къ сотрудничеству въ обновленной газетъ нъкоторыхъ сотрудниковъ "Отеч. Зап.", вь томъ числе Василія Курочкина и А. М. Скабичевскаго. Короткое время въ "Бирж. Вѣд." сотрудничалъ оставшійся не у дѣлъ послѣ разгрома "С.-Пет. Въд." А. С. Суворинъ. Въ самомъ концъ 70-хъ гг., когда "Бирж. Въд." были переименованы въ "Молву", въ газетъ принимали также дъятельное участіе Э. К. Ватсонъ, В. Ө. Коршъ. А. Н. Плещеевъ. Д. Д. Минаевъ. Здъсь же выдвинулся остроумный, но лишенный сколько-нибудь яркой общественной окраски фельетонистъ Буква (исевдонимъ Ипполита Федоровича Василевскаго, р. 1850). Выбитый изъ журнальной колен В. Ө. Коршъ основалъ въ 1877 г. "Свв. Вести.", въ которомъ приняло участіе большинство сотрудниковъ "С.-Пет. Въд.", но уже въ апрълъ 1878 г. газета была закрыта по высочайшему повельнію за помъщеніе письма только-что оправданной судомъ присяжныхъ Въры Засуличъ. Почти на рубежъ двухъ эпохъ, въ 1880 и 1881 г., возникли: выходившая 2 раза въ недѣлю "Страна" Леонида Полонскаго и ежедневный "Порядокъ" Стасюлевича. Въ "Странъ", подъ явнымъ вліяніемъ общественнаго возбужденія "лорисъ-меликовской" эпохи, недавній весьма умфренный внутренній обозрѣватель "Вѣстн. Евр." значительно подался влѣво. Онъ требовалъ, между прочимъ, освобожденія Чернышевскаго (что даже въ кульминаціонный пунктъ лорисъ-меликовской "диктатуры сердца" навлекло на газету предостереженіе), а послѣ 1 марта 1881 г. рѣзче выдвинулъ вопросъ объ отвътственномъ министерствъ. "Порядокъ" Стасюлевича не оправдалъ надеждъ, которыя на него возлагались. Та исполненная достоинства сдержанность, которая составляетъ силу "Въсти. Европы", оказалась совершенно недостаточнымъ орудіемъ борьбы въ газеть ежедневной и просто превратилась въ вялость.

Умъренно-консервативная мысль 70-хъ годовъ имъла своимъ органомъ дворянско-земледельческую, въ стиле англійскаго торизма, газету "Русскій Міръ", главнымъ діятелемъ которой быль извістный публицистъ генералъ Ростиславъ Андреевичъ Фадъевъ (1824—1883). Въ самомъ концъ 70-хъ гг. мало-читаемая газета совершенно измънилась и погибла въ борьбъ съ цензурою. Ретроградная еженедъльная газета "Гражданинъ" кн. Владиміра Петровича Мещерскаго (р. 1839) требовала, чтобы къ реформамъ была "поставлена точка" и дворянству была возвращена его руководящая роль. Но въ собственныхъ, не лишенныхъ извъстнаго таланта, хотя и крайне шаржированныхъ романахъ Мещерскаго именно высшее-то дворянство-петербургскій большой світь быль подвергнуть жестокому осміннію. Вь 70-хь годахъ ретроградство Мещерскаго не имъло никакого реальнаго зна ченія—оно было только забавнымъ. Эпоха могущества "Гражданина" наступаетъ позже – въ 80-хъ и 90-хъ годахъ, когда, до извъстной степени уподобляясь англійскому "дѣлателю королей" Варвику, Мещерскій становится "дёлателемъ министровъ", и поражающая своимъ умственнымъ убожествомъ, никъмъ не читаемая газета даетъ лозунги нашей внутренней политикъ. Въ 70-хъ годахъ огромнымъ вліяніемъ на извъстныя сферы пользовались "Моск. Въд.". Къ этому времени последніе остатки прежняго духовнаго облика Каткова исчезли. Исчезають въ его газеть и всякіе остатки какой бы то ни было политической программы. Все сводится къ идей "сильной власти", которая должна истребить въ корнъ всякое желаніе обывателя заниматься государственными делами. Вліяніе "Моск. Вед."

на читающую публику, столь сильное, когда онв въ эпоху польскаго возстанія попали въ тонъ настроенія средняго русскаго человъка къ 70-мъ годамъ совершенно прекращается. Ихъ читаютъ только нъсколько тысячъ обязательныхъ подписчиковъ и дворянство допотопнаго склада, не примирившееся даже съ паденіемъ крѣпостного права. Но съ темъ большимъ вниманиемъ прислушиваются къ "Моск. Въд." руководящія сферы, въ которыхъ волна эпохи великихъ реформъ теперь окончательно замираетъ. Особенно роковымъ оказалось вліяніе Каткова на министра нар. просв'єщенія гр. Дмитрія Толстого Этоть злой геній русской жизни 70-хъ годовь, являясь слёпымь орудіемъ Каткова, провель въ школу печальную карикатуру на настоящій классицизмъ, при которой вся освободительная и просвітительная основа гумаризма безследно исчезла и осталось только систематическое истребление въ учащемся всякихъ проблесковъ самостоятельнаго мышленія. Катковско-толстовскій классицизмъ, ознаменованный длиннымъ рядомъ самоубійствъ, выбрасываніемъ на улицу сотенъ и тысячъ недоучившихся юношей и полнымъ нравственнымъ растлівніемъ педагогической атмосферы, внушиль ужась и отвращеніе людямъ всвхъ направленій, и пасха 1880 г., когда Лорисъ-Меликовъ добился отставки вдохновляемаго Катковымъ министра, была для всвхъ настоящимъ "сввтлымъ праздникомъ". Могущественное положеніе, занятое Катковымъ, съ одной стороны, какъ будто подняло на небывалую высоту значение русской журналистики. Если сопоставить, что въ 40-хъ годахъ съ Катковымъ того времени — Булгаринымъ обращались, какъ съ лакеемъ, а теперь всякій, даже наивысшій сановникъ, проважая Москву, делалъ визитъ всесильному громовержцу Страстного Бульвара, то, какъ будто бы, получалось яркое проявленіе роста русской публицистики. Но въ действительности все сводилось только къ тому, что талантливый писатель и сильный характеръ не погнушался стать сикофантомъ. Свободы слова онъ требоваль только для себя, а въ общемъ самымъ ярымъ врагомъ расширенія правъ печати быль Катковъ же. Вся его "полемика" съ журнальными врагами сводилась къ доносу, къ окрику "слово и дёло", никакихъ доводовъ, кром в обвиненій въ политической неблагонадежности, онъ не зналъ. Неудивительно, что и ненависть, которою въ 70-хъ годахъ было окружено имя Каткова, была равносильна его могуществу. Ужъ на что былъ мягкій и добродушими человѣкъ Тургеневъ, котораго къ тому же съ Катковымъ связывала тесневаная личная и литературная дружба, начавшаяся еще въ 40-хъ годахъ, но и онъ, когда Катковъ на Пушкинскомъ праздникъ 1880 г. протянулъ ему руку, отвернулся отъ него. Это была своего рода казнь.

Кромъ "Моск. Въд." Катковъ продолжалъ издавать и "Русск. Въстникъ". Отъ того времени, когда журналъ стоялъ во главъ освободительнаго движенія, не осталось теперь и отдаленнъйшихъ воспоминаній. Какъ мы уже знаемъ, еще въ первой половинъ 60-хъ годовъ всв произведенія, рисующія въ неблагопріятномъ видв молодое покольніе, находять въ "Русск. Въстн." гостепріимный пріють. До извастной степени хронологію можно начать съ тургеневскихъ "Отцовъ и дътей" (1862), съ ихъ, конечно, враждебнымъ, но все-таки полнымъ уваженія отношеніемъ къ противнику. "Взбаламученное море" Писемскаго (1863) и "Марево" Клюшникова (1864) тоже еще мягко, сравнительно съ позднъйшимъ, относятся къ новому движенію. Но затімь въ "Русск. Вістників" появляются романы Ліскова и Всеволода Крестовскаго, гдв молодое поколвніе прямо выставляется скопищемъ воровъ, закладчиковъ, убійцъ, поджигателей и, въ лучшемъ случав, дурачковъ. Достоевскій въ 1871—72 гг. помѣщаетъ здѣсь "Бѣсы". Романъ геніальный, что и говорить, но цѣликомъ посвященный истерической борьбъ съ молодымъ покольніемъ, силошь представленнымъ, какъ скопище сумасшедшихъ или изверговъ. Въ началь 70-хъ годовъ въ "Р. Въстн." выдвигается новая, какъ она сама себя называеть, "плеяда" писателей-Болеславъ Маркевичь, Аверкіевъ, Авсвенко, рядомъ съ изобличениемъ нигилизма пытающаяся создать положительныхъ героевъ изъ среды представителей большого свъта и древне-русской жизни. Чисто литературное значение любившей себя рекламировать "илеяды", менье, чымь второстепенное, —и только грубая тенденціозность ея заставляли о себѣ говорить. Дмитрій Васильевичь Аверкіевь (1836—1905), начавшій свою діятельность во "Времени" и "Эпохъ", написалъ рядъ крикливыхъ мелодрамъ изъ старо-русской жизни, изъ которыхъ извёстностью пользуется "Каширская старина". Пъснопъвецъ большого свъта Болеславъ Михайловичь Маркевичь (1822—1884), печально закончившій свою блестящую служебную карьеру чрезъ насколько масяцевъ посла того, какъ онъ въ "Моск. Въд." (1874) обозвалъ всъхъ либеральныхъ журналистовъ "разбойниками пера и мошенниками печати", быль человькь не безъ дарованія. Но желаніе изобличить "измьну" лишало его сенсаціонные романы à clef всякаго интереса правдивости. "Измѣна" ему чудилась даже среди министровъ и членовъ государственнаго совъта. Прокуроры и жандармы не преслъдуютъ, а покровительствують крамоль, исправники—друзья пропагандистовь и т. д. Прогрессивная молодежь-это собрание жалкихъ трусовъ, невѣждъ и глупцовъ, для которыхъ, по убѣжденію положительныхъ лицъ романовъ Маркевича-проповъдниковъ "сильной власти", есть только одинъ путь вразумленія: нагайка. Василій Григорьевичъ

Австенко (р. 1842) написалъ и продолжаетъ писать легко-читаемые и столь же легко-забываемые романы и повъсти, большею частью изъ жизни веселящагося Петербурга. По поводу некоторыхъ изъ этихъ романовъ Достоевскій говорилъ, что Авсвенко представляеть собою писателя, "потерявшагося на обожаніи высшаго свъта", пищущаго о немъ "благоговъйно, молебно и молитвенно, однимъ словомъ, совершая какое-то даже богослужение". Заставилъ, однако, о себъ говорить Авсъенко въ 70-хъ годахъ не романами, а критическими статьями, подписанными буквою А. Это былъ систематическій, изъ книжки въ книжку, ожесточенный походъ противъ "петербургской" журналистики и напускного, по митнію критика, увлеченія "мужикомъ". 60-ые годы квалицифировались то какъ "комическое время на Руси", то какъ "позорное"; "нигилизмъ" какъ "обыкновенное мошенничество" и т. д. Изъ другихъ обличителей "петербургскаго" образа мысли обращали на себя вниманіе проф. физики Н. А. Любиловъ, своими нападками на университетскій уставъ 1863 г. подготовившій реакціонный уставъ 1884 г.; авторъ "философскихъ" статей Стадлинъ, обличитель французскихъ республиканцевъ Щербань, историкъ литературы Де-Иуле и др. На литературную судьбу появившейся на страницахъ "Русск. Въстника" толстовской "Анны Карениной" сосёдство съ "плеядой" и остальнымъ синклитомъ катковскаго журнала оказало несомнённое вліяніе. Романъ былъ совершенно невърно истолкованъ: появление его въ органъ, гдв такъ тенденціозно ставилась на пьедесталь великосвітская жизнь, ввело въ заблуждение и критику, и публику, усмотръвшихъ въ романь апочеозъ великосвътскихъ амуровъ.

Внъ воинствующей беллетристики, на страницахъ "Русск. Въст." конца 60-хъ и начала 70-хъ гг. появились замъчательныя эпопен изъ раскольничьей жизни: "Въ лъсахъ и "На горахъ" Павла Ивановича Мельникова, писавшаго подъ псевдонимомъ Андрей Печерскій (1819—1883). Это былъ старый литераторъ, писавшій еще въ 40-хъ годахъ и затьмъ пользовавшійся извъстностью въ эпоху "обличительной литературы" конца 50-хъ гг. Но раскольничьи эпопен выдвинули его въ первые ряды литературы. Какъ беллетристическое чтеніе, онъ принадлежатъ (главнымъ образомъ "Въ лъсахъ") къ самымъ увлекательнымъ книгамъ русской литературы и открывали удивительно-колоритный міръ, полный жизни и движенія. Мельниковъ взяль, однако, только казовую сторону раскольничьей жизни, и передъ нами какой-то въчный праздникъ. "Въ лъсахъ" и "На горахъ" рисують только жизнь богатыхъ да разгульныхъ "тысячниковъ" и прикрывающихъ мнимою святостью свое тунеядство и развратъ скитииковъ. Разсказы Печерскаго не даютъ никакого ключа къ пониманію внутренней сущности такого огромнаго, глубокаго движенія, какимъ является расколь. Почему эти столь жизнерадостные люди, только и занятые вдою, выпивкою и двиками, такъ крвико держатся "старой ввры"? Есть же въ психологіи людей "древляго благочестія" какіе-нибудь глубокіе духовные устои, дающіе имъ силу для борьбы съ гоненіями. И вотъ ихъ-то Мельниковъ и проглядвлъ за пирами и гулянками, почему все великолвиное повъствованіе его имветъ значеніе только для внвшняго ознакомленія съ расколомъ 40-хъ и 50-хъ годахъ.

Къ изображенію этого же міра "древляго благочестія" и вообще къ этнографической беллетристикъ переходить въ срединъ 70-хъ годовъ и недавній злъйшій обличитель нигилизма Николай Семеновичь **Лъсковъ** (1831--1895). Романъ "На ножахъ" ("Русск. Въстн.", 1870-71), гдъ представителями нигилистическаго движенія являются насколько поджигателей, ворова, убійца и отравителей, была своего рода кризисомъ, которымъ разръшился періодъ дъятельности Лъскова, посвященный сведенію счетовъ съ обидъвшимъ его движеніемъ 60-хъ годовъ. Въ послѣдовавшей за этимъ печальнымъ продуктомъ озлобленія "Старгородской хроникъ" изъ быта духовенства— "Соборяне" (1872), нигилисты, правда, все еще мелькають, но уже не въ такомъ ужасномъ видъ. А затъмъ нигилисты исчезають изъ произведеній Лъскова. Наступаеть вторая, лучшая половина дъятельности Лъскова, почти свободная отъ злобы дня. Крупный успъхъ, выпавшій на долю "Соборянъ", влилъ успокоеніе въ наболъвшую душу писателя и раскрылъ ему глаза на настоящее его призваніе — замізчательное умізніе находить яркую колоритность въ сферъ самыхъ сърыхъ, на первый взглядъ, положеній и слоевъ русскаго быта. Одинъ за однимъ появляются превосходные разсказы "Запечатльнный ангель", "Очарованный странникь", "На краю свыта", "Несмертельный Голованъ" и др. Въ концъ 70-хъ гг. появляются въ либеральныхъ, Новостяхъ" лукавыя "Мелочи архіерейской жизни", изъ-за которыхъ Лъскову приходится оставить государственную службу. Поздиве онъ появляется даже на страницахъ "Русск. Мысли" и "Въстн. Европы". Литературное положение его, тъмъ не менъе, было двойственное: старые литературные сверстники относились къ нему холодно, новые — съ осторожностью. Двойственность составляеть и одну изъ наиболъе характерныхъ чертъ всей вообще литературной дъятельности Лъскова: злой и трезвый умъ, чуждый мистицизма и экстаза (при всей страстности и порывистости его натуры), никогда не даваль ему увлечься всецьло и показываль ему недочеты во всемъ. И былъ онъ поэтому ни въ сихъ, ни въ оныхъ. Въ чистохудожественномъ отношенін главнымъ недостаткомъ Лѣскова было

отсутствіе чувства мёры. Благодаря этому, колоритность его столь часто переходить въ вычурность, въ очень многихъ и даже лучшихъ произведеніяхъ своихъ онъ сплошь да рядомъ является не столько серьезнымъ художникомъ, сколько превосходнымъ и занимательнымъ анекдотистомъ.

На поприщъ этнографической беллетристики въ 70-хъ гг. дебютировали также: авторъ быющихъ на внешніе эффекты повестей и разсказовъ изъ средне-азіатской жизни (поздне известный, какъ нллюстраторъ) Николай Николаевичъ Каразинъ (р. 1848) и беллетристъ - путешественникъ Василій Ивановичъ Немировичъ-Дан-(род. 1842). Размашистость письма, отчасти отзывающаяся Марлинскимъ, значительно вредитъ художественной правдивости его произведеній, но съ вившней стороны —Немировичь-Даиченко писатель очень блестящій и колоритный. Выдается также его поразительная плодовитость. Во время турецкой войны 1877--78 гг. Немировичъ-Данченко пріобрѣлъ широкую извѣстность, какъ военный корреспондентъ, раскрывшій много темныхъ сторонъ военнаго быта, а въ наши дни онъ съ тою же неутомимостью занялъ первое мъсто въ ряду корреспондентовъ съ Дальняго Востока. Несмотря на всѣ драконовскія строгости спеціальныхъ цензуръ, его талантливыя корреспонденін сослужили крупную общественную службу. На самомъ рубежь 70-хъ и 80-хъ годовъ выступилъ на литературное поприще Дмитрій Наркисовичь Маминь (р. 1852, подписывается Маминь-Сибирякь), даровитый бытописатель уральской жизни и колоритныхъ прінсковыхъ нравовъ.

Значительное развитие получаеть, начиная съ 70-хъ годовъ; историческій романь, совсьмь было заглохшій въ 40-хъ, 50-хъ и началь 60-хъ годовъ. Отчасти это было результатомъ ложно-понятаго успѣха "Войны и мира", гдъ историческія рамки играють, конечно, совстив второстепенную роль, рядомъ съ великами психологическими задачами романа. Но по преимуществу возрождение исторического романа было удовлетвореніемъ вкусовъ тёхъ неприхотливыхъ слоевъ публики, которые еще только начинають читать и на первыхъ порахъ больше всего ценять "занимательность". Воть почему изъ историческихъ романистовъ наибольшій успёхъ имёль наименёе удовлетворявшій литературнымъ требованіямъ Всеволодъ Сергъевичъ Соловьевь (1849—1903). Несравненно выше по художественнымъ инствамъ исторические романы графа Евгенія Андреевича Саліаса-де-Турнемира (р. 1842), на долю перваго и лучшаго романа котораго "Пугачевцы" (1874) выпаль очень крупный успёхь. Дальнейшая литературная производительность не вполив соответствуеть блестящему началу и, главнымъ образомъ, выдъляется чрезвычайною илодовитостью. Съ успъхомъ перешелъ также въ 70-хъ годахъ на историческую беллетристику Григорій Петровичь Данилевскій (1829—1890), первоначально обратившій на себя вниманіе, въ 60-хъ годахъ, колоритною трилогіей изъ жизни приазовскаго края ("Бътлые въ Новороссіп", "Бътлые воротились", "Новыя мъста"). Сравнительно легко добываемый успахъ исторической беллетристики соблазнилъ и Даніила Лукича Мордовцева (1830—1905). Мордовцевъ пользовался популярностью какъ радикальный историкъ народныхъ движеній и публицисть; отчасти и какъ авторъ очень слабаго въ художественномъ отношеніи, но ярко-публицистическаго романа "Знаменія времени". Ограниченность художественныхъ рессурсовъ не остановила литературной предпріимчивости Мордовцева, и онъ, начиная съ конца 70-хъ годовъ, написалъ длинный рядъ историческихъ романовъ, въ общемъ понизившихъ его литературное положеніе, — онъ перешель въ разрядь поставщиковь "историческаго" чтенія для неприхотливой публики иллюстрированныхъ изданій и второстепенныхъ журналовъ.

VI.

Эпоха разброда и унынія.

(Восьмидесятые годы)

Героическая эпоха 70-хъ годовъ кончилась полнымъ крушеніемъ демократическихъ надеждъ и въ началѣ 80-хъ годовъ наступаетъ самая страшная изъ всѣхъ русскихъ реакцій.

Если 20-ые и 30-ые годы XIX стольтія въ политической исторіи Европы извъстны подъ именемъ метерниховскаго періода, то печальная полоса русской исторіи, начавшаяся въ 80-хъ годахъ, по имени главнаго теоретика наступившей реакціи, должна быть названа Побъдоносцевскимъ періодомъ.

Выдающійся ученый и мыслитель Константинг Петровиче Побѣдоносцевь (1827—1907) занимаеть въ рядахъ представителей нашего бюрократическаго строя совсёмъ особое мѣсто. Уже не будемъ говорить о томъ, что по уму, знаніямъ и дарованіямъ Побѣдоносцевъ былъ головою выше всѣхъ бюрократовъ нашихъ, когда-либо стоявшихъ у руля государственнаго корабля. Но было бы неправильно престо зачислить его въ одинъ разрядъ съ Руничемъ, Магницкимъ, кн. Голицынымъ или, чтобы назвать болѣе свѣжее имя, графомъ Дмитріемъ Толстымъ. Отъ всѣхъ этихъ дѣятелей реакцін, проповѣдниковъ "сильной власти", враговъ "буйнаго разума" и т. д. Побѣдоносцева отдѣляетъ одна чрезвычайно характерная черта—его глубочайшее презриніе къ наукъ и куль-

турь и полное отрицание способности и права людей устраивать свою жизнь по собственному усмотринію. Дмитрій Толстой и Ко боялись культуры и свободы, потому что знали, что свъть знанія и общественнаго самосознанія отбросить ихъ отъ власти, но въ глубина души они безусловно благоговали предъ наукой и культурой. Къ тому же многіе искренніе представители консерватизма вовсе не отрицали свободный государственный строй въ принципа и только думали, что Россія еще до этого не доросла. Наконецъ, всв реакціонеры прежняго времени были государствов вды-практики, примыкавшіе къ немудрой школъ Аракчеева и отдававшіеся своему ремеслу безъ мальйшихъ претензій на теоретическое обоснованіе. Побъдоносцевъ же первый изъ русскихъ бюрократовъ создаль цёлую стройную теорію застоя и возвель въ перль созданія все то, что исключаеть Россію изъ семьи культурныхъ народовъ. Онъ не только теоретикъ россійскаго абсолютизма, онъ въ корнѣ отвергаетъ всѣ основы современной культуры и въ мрачно-мизантропическомъ міросозерцаніи его не то еще характерно, что онъ боится, какъ бы западныя иден не заразили "русскія безумныя головы". Несравненно чреватье была последствіями общая ненависть Победоносцева ко всему тому, что выводить массу изъ ея безсознательнаго отношенія къ государству и религін. Главнымъ недостаткомъ современной культуры Побъдоносцевъ считаетъ ея въру въ силу разума, въ добрую природу человъка и особенно въ значение образования. Что такое знаменитый лозунгъ-, школьный учитель побъдилъ подъ Садовой"? Да просто на просто-, пошлое изречение". Что представляетъ собою "въра во всемогущество школы, въ книжные уроки и чтенія"? Опять-таки не что иное, какъ одно "изъ главныхъ суевърій нашего времени". Нужно ли всеобщее обучение для простого народа? Ни въ какомъ случав. "Отрывая двтей отъ домашияго очага на школьную скамью съ мудреными целями, мы лишаемъ родителей и семью рабочей силы, которая необходима для поддержанія домашняго хозяйства, а дітей развращаемъ, наводя на нихъ миражъ мнимаго пли фальшиваго и отръшеннаго отъ жизни знанія, подвергая ихъ соблазну мелькающихъ передъ глазами образовъ суеты и тщеславія"... Разъ народъ не нужно даже учить, то что уже говорить о томъ, чтобы предоставить ему какое бы то ни было решающее вліяніе! Что такое "народный" судъ присяжныхъ? ..., Пестрое, смъшанное стадо", которое скачетъ по дудкъ корыстолюбцевъ - адвокатовъ. Что такое всеобщая подача голосовъ? - Роковое заблужденіе, одно изъ самыхъ поразительныхъ въ исторін человъчества". Къ числу "самыхъ лживыхъ политическихъ началъ" принадлежитъ "идея, что всякая власть исходитъ отъ народа и имфетъ основание въ волф народной". И что такое, наконецъ,

органы народной воли—парламенты? По пріобрѣвшему печальную знаменитость побѣдоносцевскому опредѣленію, парламенты—это "великая ложь нашего времени", и въ нихъ руководящее значеніе получаютъ исключительно представители "ограниченности ума, безграничнаго развитія эгоизма и злобы, низости и безчестности побужденій". Еще большимъ несчастіемъ является такъ называемая "свобода печати", о которой "кто не вопіетъ и у насъ въ несчастной, оболганной и оболживленной чужеземною ложью Россіи?" Свобода печати есть чудовище, которое насъ пожретъ,—"въ ежедневной печати скопляется какая-то роковая, таниственная, разлагающая сила, нависшая надъ человѣчествомъ"...

Благодаря парламентамъ, конституціямъ и свободъ печати, создался рядъ величайшихъ и пагубнъйшихъ заблужденій. "Провозвъстники свободы ошибаются, полагая свободу въ равенствъ ". Великое заблужденіе "предположить, что въ уравненіи в рованій передъ государствомъ состоитъ свобода върованій". Великое горе, что на Западъ народъ "и свободу, и равенство, и братство принялъ, какъ право свое, какъ состояніе, ему присвоенное". А сколько зла кроется въ томъ, что власть стеснена въ своихъ действіяхъ обиліемъ законодательных в норм в не только на Западъ, но даже въ Россіи. Въ годы, когда вся Россія была переведена на положеніе усиленной охраны, Побъдоносцевъ, говоря о русскихъ дълахъ, съ горечью восклицаль: "На всякомъ шагу тоть, кто призванъ действовать и распоряжаться, долженъ боязливо осматриваться во всё стороны, какъ бы не нарушить то или другое правило, ту пли другую формальность, предписанную въ томъ или другомъ законъ". Все это пагубно парализуетъ "дъйствіе воли и распоряженіе власти".

Указанные Побѣдоносцевымъ горестные факторы современной культуры сводятся въ его міросозерцаніи къ одному центральному пункту—пагубна "вѣра въ общія начала, въ логическое построеніе жизни человика"! "Стоитъ только признать силлогизмъ высшимъ безусловнымъ мѣриломъ истины и"... о, ужасъ!—"сейчасъ же попадаешь въ рабство къ отвлеченной формулѣ логическаго мышленія", приходится "покориться пустотѣ и глупости, владѣющей орудіемъ формулы"

Но если свобода и логика пагубны, то что же спасительно?

Есть, есть-таки одно противоядіе: "Есть въ человъчествъ натуральная сила инерціи, имъющая великое значеніе". Правда, эту силу "близорукіе мыслители новой школы" довольно неделикатно "смъшиваютъ съ невъжествомъ и глупостью", но въ дъйствительности она "безусловно необходима для благосостоянія общества". Наряду съ инерціей, спасителенъ также отказъ отъ точнаго пониманія. "Одинъ развъ глупецъ можетъ имъть обо всемъ ясныя мысли и

представленія"... На самомъ дёлё "самыя драгоцённыя понятія, какія вміщаеть въ себі умь человіческій, - находятся въ самой глубинъ поля и полумракъ". Тъмъ не менъе, "около этихъ-то смумныхъ идей, которыя мы не въ силахъ привести въ связь между собою, вращаются ясныя мысли, расширяются, развиваются, возвышаются". Въ ряду этихъ удивительныхъ "ясныхъ" мыслей, выросшихъ на почвъ "смутныхъ идей", первое мъсто занимаетъ уважение къ старинъ. "Старыя учрежденія, старыя преданія, старые обычаи великое дъло". Съ этимъ тъснъйшимъ образомъ связана въра, значеніе которой безконечно выше разума. "Абсолютная истина доступна только въръ". Но въ чемъ, однако, заключается въра? Съ одной стороны, въ легендю, въ которой простой, неиспорченный умъ народа "чуетъ глубокую истину, абсолютную истину идеи и чувства, истину, которой не можеть дать ему никакой самый тонкій и художественный критическій анализь фактовъ". Наппаче же ввра выражается въ церковном в обрядт, и въ приверженности къ обрядности Побъдоносцевъ видитъ главный залогъ благоденствія Россіи. Что за бъда, что "наше духовенство мало и ръдко учитъ", что оно "только служить въ церкви и исполняеть требы"? Что за бъда, что въ "иныхъ глухихъ мъстностяхъ народъ не понимаетъ ръшительно ничего ни въ словахъ службы церковной, ни даже въ "Отче Нашъ". Въ общемъ, народъ нашъ невѣжда въ своей вѣрѣ, исполненъ суевърій", а духовенство "грубо, невъжественно, бездъйственно". Но все это, - прописываетъ Побъдоносцевъ курсивомъ, - явленія "несущественныя", разъ "остается служба церковная". Само собою разумфется, что Побфдоносцевъ считаетъ вполнф нормальнымъ то, что человѣкъ върующій "считаетъ своимъ долгомъ не только исповѣдывать открыто свое ученіе, но, въ случат нужды, и насильно навязывать его другимъ"...

Таковы основныя черты поистинѣ страшнаго міросозерцанія человѣка, духъ котораго парилъ надъ всѣмъ, что предпринималось въ области государотвеннаго управленія только что закончившагося 25-лѣтія реакціи. Свѣтогасительство, аракчеевщина и подавленіе всякаго проблеска общественности стали лозунгомъ всѣхъ органовъ власти, образованію и просвѣщенію была объявлена ничѣмъ не прикрытая война.

Дорогою цѣною заплатила Россія за торжество побѣдоносцевщины и на поляхъ Манчжуріи, и внутри страны полнымъ разстройствомъ гражданскаго и экономическаго быта. Но было бы, однако, односторонностью свести всю вину того ужаснаго положенія, въ какомъ очутилась Россія, начиная съ 1881 года, только къ личности самого Побѣдоносцева и тѣхъ, которые покорно исполняли волю "великаго

инквизитора". Всякій народъ заслуживаеть то правительство, которое онъ имветъ, и никогда мрачный геній Побъдоносцева не восторжествоваль бы, если бы въ русскомъ обществъ нашлось достаточно силы сопротивленія. Но ея-то и не оказалось, по крайней мірь, первое десятильтіе, и воть почему мы въ началь настоящей главы и назвали реакцію, наступившую съ 1881 г., самой страшной изъ всвхъ русскихъ реакцій. Именно твмъ и страшна эта реакція, что она была не только бюрократическая, но и общественная. Если страшнабыла извъстная намъ изъ предыдущаго бъщеная реакція 1848—1855 гг., то все жо это была реакція только правительственная. Жестоко напугавъ и устрашивъ россійскаго обывателя и читателя, она не отравила души его. Реакція, наступившая въ серединь 60-хъ годовъ уже отчасти захватила и общество. Перепугался быстроты россійскаго прогресса средній русскій обыватель и сталь прислушиваться къ голосу перемънившаго дирекцію Каткова. Но и эта, хотя до извъстной степени общественная реакція захватила только "отцовъ", только наименъе активные элементы. Въ 80-хъ же гг. не только средній обыватель спрятался въ подворотню, но и произошла печальная перемѣна въ настроеніи самыхъ высокихъ духомъ слоевъ русской интеллигенціи. Крушеніе надеждъ путемъ активнаго воздѣйствія достигнуть осуществленія демократическихъ идеаловъ ведетъ за собою не только уныніе, но и разложеніе прежней демократической программы. Порывъ къ самопожертвованію, жажда правды, тоска по идеалу начинаютъ исчезать въ самой чуткой части русскаго общества—учащейся молодежи. Она теперь не только въ значительной части своей охладъваетъ къ пдеямъ высшаго порядка, но почти демонстративно превращается въ буйныхъ буршей, которые въ дни университетского праздника производять уличные скандалы, врываются въ рестораны и публичные дома, нарушаютъ порядокъ на театральныхъ представленіяхъ. Происходить характерная перемёна въ распредъленіи ролей между "отцами" и "дътьми". "Отцы" 80-хъ годовъ, которые въ 60-хъ годахъ были "дѣтьми" и въ житейской борьбъ не растеряли идеаловъ молодости, высмъиваются теперь своими "дътьми"-восьмидесятниками, "трезво" относящимися къ задачамъ жизни вообще и своей благополучной житейской карьерв въ частности. Отець-идеалистъ и сынъ грубый практикъ становятся излюбленными типами чуткихъ къ злобъ дня романовъ Боборыкина и другихъ бытописателей.

Реакція, начавшаяся въ 1881 г., въ общемъ, заняла почти четверть вѣка. Оставляя покамѣстъ совершенно въ сторонѣ государственной переворотъ, связанный съ манифестомъ 17 октября 1905 г., можно сказать, что только съ средины 1904 г. бюрократическій

ancien regime нашъ вынужденъ былъ капитулировать и дать цѣлый рядъ такихъ реформъ, за одно предложеніе которыхъ еще годъ тому назадъ угрожали тюрьма и ссылка. Параллельно этому тоска и уныніе, воцарившіяся въ литературѣ и общественной жизни съ 1880-хъ годовъ, окончательно исчезаютъ тоже только въ ближайшіе къ намъ одинъ, два года, уступивъ мѣсто небывалой нервной возбужденности и лихорадочной жаждѣ полнаго обновленія.

Только-что пережитый нами страшный Побѣдоносцевскій періодъ всего менѣе быль для литературы и общественныхъ настроеній чѣмъто однороднымъ. Цѣлый рядъ частичныхъ настроеній смѣняли одно другое. Была полоса полнаго, абсолютнаго унынія, была полоса грубо-эгонстическаго декадентства, полоса яркаго возбужденія демократической бодрости въ формѣ марксизма, полоса неоидеализма и, наконецъ, наступили наши дни могущественнѣйшаго общественнаго подъема. въ которомъ какъ же не видѣть столь долго жданный девятый валъ русскаго освободительнаго движенія?

Но если, однако, взять литературно-общественную жизнь всего реакціоннаго 25-льтія въ его цьломъ, то, несмотря на частичныя перемъны, не трудно просльдить на всемъ пространствъ Побъдоносцевскаго періода одно основное настроеніе, похороны котораго происходять только теперь, въ наши дни полной ликвидаціи стараго строя, какъ бюрократическаго, такъ и литературнаго. Это основное настроеніе, по-нашему, тоже можно пріурочить къ одному имени. Если для характеристики государственной жизни 1881—1904 гг. мы вводимъ терминъ Побъдоносцевскій періодъ, то полагаемъ, вмъсть съ тымъ, что общественно-литературная жизнь этихъ льтъ можетъ быть названа Чеховскимъ періодомъ. Смерть Чехова (1904 г.) имъетъ въ себъ ньчто символическое. Вмъсть съ Чеховымъ умерла и Чеховская Россія, дряблая, вялая, слабая волей.

На общемъ характеръ творчества Антона Павловича Чехова (1860—1904) неизгладимо запечатлълась та мрачная полоса отчаянія и безнадежной тоски, которая въ 80-хъ гг. охватила нравственно-чуткіе элементы русскаго общества. Утомившись въ безрезультатной борьбъ, эти чуткіе слои русской интеллигенціи были теперь раздавлены сознаніемъ, что они совершенно безсильны побороть косность окружающей среды, что безмѣрно разстояніе между ея идеалами, переросшими даже высшій расцвѣтъ европейской цввилизацін, и мрачно-сѣрымъ, безпросвѣтнымъ фономъ живой русской дѣйствительности. Въ этой живой дѣйствительности народъ еще пребывалъ въ каменномъ періодѣ, средніе классы еще не вышли изъ мрака "темнаго царства", а въ сферахъ правящихъ во всемъ своемъ ужасѣ развертывалась побѣдоносцевщина. Все это,

конечно, не было чёмъ-нибудь совершенно-новымъ для радётелей блага народнаго, которые и въ предшествующій періодъ семидесятыхъ годовъ сознавали всю неприглядность тогдашней "дѣйствительности". Но тогда окрылялъ нервный подъемъ перваго періода борьбы. Въ 80-хъ же годахъ полная неудача вызвала столь же нервную угнетенность и недавнее воодушевленіе смѣнилось сознаніемъ своего полнаго банкротства предъ реальнымъ ходомъ исторіи. Отсюда нарожденіе поколѣнія, часть котораго утратила самое стремленіе къ пдеалу и слилась съ окружающей пошлостью, а другая часть дала неврастениковъ, "нытиковъ", безвольныхъ, безцвѣтныхъ, проникнутыхъ сознаніемъ, что плетью обуха не перешибешь, силу косности не сломишь. Эти Гамлетики годились только для того, чтобы всѣмъ надоѣдать жалобами на свою безпомощность и ненужность.

Этотъ-то періодъ неврастенической разслабленности русскаго общества и нашелъ въ лицъ Чехова своего художественнаго историка Именно историка -- это очень важно какъ для пониманія Чехова, такъ и для психологіи той общественной полосы, которая воспитала творчество Чехова. То, что принято у насъ называть "ндейнымъ творчествомъ", т.е. желаніе въ художественной формъ выразить свое общественное міросозерцаніе, чуждо Чехову и по натур' его, слишкомъ аналитической и меланхолической, и по тамъ условіямъ, при которыхъ сложились его литературные представленія и вкусы. Въ высшей степени характерно, что крупнъйшій художественный таланть не только своего покольнія, но и всей литературной полосы, смьнившей великую плеяду 40-хъ годовъ, Чеховъ самые впечатлительные годы творчества провель въ пошлъйшей и низменнъйшей атмосферъ мелкихъ и оппортюнистскихъ изданій. Мы знаемъ, съ какою силою захватило общественное возбуждение литературную молодежь временъ Бълинскаго, знаемъ, съ какою страстностью отдалось общественному движенію литературное покольніе 70-хъ годовъ. Но Чеховъ въ лучшій періодъ жизни, впечатлівніями котораго питаешься весь остальной въкъ свой, какъ бы дологъ онъ ни былъ, Чеховъ въ эти лучшіе годы ничего подобнаго какому - нибудь "идейному броженію" не переживаль, да просто на просто даже не видаль его. На всемъ пространствъ его сочиненій, гдъ, кажется, нътъ ни одной подробности русской жизни и быта, такъ или иначе не затронутой, вы не найдете ни одного описанія студенческой сходки или тѣхъ принципіальныхъ споровъ до бѣла дня, которые такъ характерны для русской молодежи. Всего этого Чеховъ лично не видалъ и потому не описалъ. Идейной стороной русской жизни Чеховъ заинтересовался только во второй періодъ своей д'ятельности, когда мертвая полоса русской общественности закончилась. Но самъ онъ

тогда вступиль въ ту жизненную пору, когда воспрінмчивость слабъетъ и "опытъ жизни" часто дълаетъ и самыя пылкія натуры апатичными въ вопросахъ выработки міросозерцанія. И Чеховъ всю свою жизнь оставался въ позиціи сторонняго наблюдателя. Ставъ льтописцемъ и бытописателемъ духовнаго вырожденія и измельчанія нашей интеллигенціи, Чеховъ не примкнуль ни къ одному опредвленному міросозерцанію. Если задаться выясненіемъ того, къ какой изъ нашихъ литературно-общественныхъ партій можно было бы причислить Чехова, то эта задача окажется совершен по неразръшимой. Онъ былъ одновременно очень близокъ и къ "Новому Времени" и къ "Русскей Мысли", а последние годы примыкалъ къ органу крайней лівой -- марксистской "Жизни". Чеховъ относится безусловно насмѣшливо къ "людямъ шестидесятыхъ годовъ", къ увлеченію земствомъ и т д., но у него нъть ни одной "консервативной" строчки. Въ "Разсказъ неизвъстнаго человъка" онъ сводитъ къ какому-то пустому мъсту революціонное движеніе, но еще злъе выставлена въ этомъ же разсказъ среда противоположная. Это-то общественно-политическое безразличіе и дало Чехову ту объективную жесткость, съ которою онъ обрисовалъ россійскихъ нытиковъ. Такую же неумолимую жесткость Чеховъ проявилъ и по отношенію къ недавнему предмету литературно-общественнаго пдолопоклонства—народу. Въ русской литературъ нътъ болъе мрачнаго изображенія крестьянства, чёмъ то звёрье, которое Чеховъ описаль въ своихъ нитыхъ "Мужикахъ".

Въ общемъ, рожденный тусклой мглой безвременья пессимизмъ Чехова приняль ужасающіе разміры. Художественный анализь его весь сосредоточился на изображении бездарности, пошлости, глупости россійскаго обывателя и безпросв'ятнаго погрязанія его въ тин'я ежедневной жизни. Чехову ничего не стоить увърять насъ въ "Трехъ сестрахъ", что въ стотысячномъ городъ не съ къмъ сказать чёловёческаго слова и что даже уходъ изъ него офицеровъ кавалерійскаго полка оставляеть какую-то зіяющую пустоту. Безтрепетно заявляетъ Чеховъ въ "Моей Жизни" устами своего героя: "Во всемъ городъ я не зналъ ни одного честнаго человъка". Двойной ужасъ иснытываешь при чтенін превосходивішаго исихологически-психіатрическаго этюда "Палата № 6". Сначала при видѣ тѣхъ чудовищныхъ безпорядковъ, которые въземской больницъ допускаетъ герой разсказа-безпорно лучшій человькь во всемь городь, весь погруженный въ чтеніе докторъ Андрей Ефимовичь. А затёмъ, когда оказывается, что единственный человъкъ съ ясно-сознанными общественными идеалами—это содержащійся въ палать № 6 сумасшедтій Иванъ Дмитріевичъ. А какое чувство безпросвѣтной тоски должно

насъ охватить, когда мы знакомимся съ интимною жизнью знаменитаго профессора, составляющей содержание "Скучной исторіи"! Какъ заманчива эта жизнь снаружи, и какая за этою вившнею заманчивостью кроется страшная внутренняя драма. Тфмъ-то исторія н "скучна", что знаменитый профессоръ пришелъ къ сознанію, что жизнь его дала въ результатъ нуль. И выходитъ, такимъ образомъ, что если попадается вполнъ порядочный человъкъ, то онъ либо сумашедшій, либо сознающій безцільность своей жизни. А рядомъ торжествують хищники и себялюбцы-какая-нибудь мѣщаночка въ "Трехъ сестрахъ", жена, дочь и зять профессора въ "Скучной исторіи", злая Аксинья изъ "Въ оврагв", профессорская чета въ "Дядъ Ванъ", Треплевъ и его возлюбленная въ "Чайкъ" и множество другихъ имъ подобныхъ благополучныхъ россіянъ. И даже не одни хищники и себялюбцы, а просто люди со скольконибудь определенными стремленіями, какъ напримерь, знаменитый "человъкъ въ футляръ" — учитель гимназін Бъликовъ, который весь городъ заставилъ дълать разныя черносотенныя гадости только потому, что опредъленно ставилъ свои требованія. А брезгливые "порядочные" люди подчинялись, потому что не хватало силы характера сопротивляться.

Есть, однако, пессимизмъ и пессимизмъ. Нужно разобраться и въ чеховскомъ пессимизмѣ, нужно непремѣнно отдѣлить его отъ того расхожаго пессимизма, который, относясь насмёшливо къ новаторству, какъ къ мальчишескому "идеальничанію" столь близко соприкасается съ аповеозомъ буржуазнаго "благоразумія". Если Чеховъ такъ жестоко относится къ нытикамъ Победоносцевскаго безвременья, если онъ не мечетъ для ихъ оправданія громовъ противъ засасывающей силы "среды" и т. д., то онъ относится вмёстё съ твмъ и безъ всякой враждебности къ тому кругу идей, изъ котораго исходили наши Гамлеты, нара на грошъ. Если мы для иллюстраціи отношенія Чехова къ обанкрутившимся интеллигентамъ 80-хъ годовъ возьмемъ наиболъе популярный типъ этого рода – Иванова изъ драмы того же названія, то какой мы изъ него должны сдёлать выводъ? Ни мало не тотъ, что не следуетъ быть новаторомъ, что не следуеть бороться съ рутиною, что не следуеть вступать въ борьбу съ общественными предразсудками и т. д. Нътъ, драма только констатируеть, что такимъ слабнякамъ, какъ Ивановъ, новаторство дъйствительно не по силамъ. Самъ же Ивановъ проводитъ параллель между собой и работникомъ Семеномъ, который хотълъ похвастать передъ дъвками силою, взвалиль на себя два огромнъйшихъ мѣшка и надорвался. Только это-то безсиліе неумолимо и подчеркиваеть Чеховъ, и это чрезвычайно важно для уразумѣнія истинной сущности пуховной личности Чехова, чрезъ все творчество котораго проходить глубокая тоска по лучшему, по чему-то светлому и сильному. Было время, когда Чехова обвиняли въ глубокомъ индифферентизмъ. Михайловскій ярче всьхъ формулировалъ этотъ упрекъ, сказавъ, что Чеховъ съ одинаковымъ хладнокровіемъ "направляеть свой превосходный художественный аппарать на ласточку и самоубійцу", на муху и слона, слезы и воду. Эти упреки должны быть отброшены, и тотъ же Михайловскій проницательно уже въ "Скучной исторін" (1889) усмотрівль "авторскую боль". Теперь, когда передъ нами весь ансамбль творческой дъятельности художника, совершенно ясно, что если у Чехова и не было опредъленнаго міросозерцанія, если у него не было опредѣленныхъ идеаловъ вообще, то у него, все-таки, была несомивнияя тоска по идеалу. Онъ потому ко всему относился отрицательно, что у него были большія правственныя требованія. Онъ не создаль положительныхъ тпповъ, потому что не могъ довольствоваться малымъ. Если, читая Чехова, и приходишь въ отчаяніе, то это, все-таки, отчаяніе облагораживающее, потому что вселяеть глубокое отвращение къ мелкому, пошлому, потому что срываетъ покровы съ буржуазнаго благополучія и создаетъ презрѣніе къ отсутствію нравственной и общественной выдержки. Въ этомъ смыслъ Чеховское уныніе было началомъ творческимъ и стало однимъ изъ ферментовъ того великаго броженія, того великаго прилива бодрости, которымъ знаменуется конецъ Побъдоносцевского періода.

Если, правда, постепенно тая и уступая мѣсто настроенію бодрому и боевому, чеховское уныніе является характернымъ для всего Побѣдоносцевскаго двадцатицятилѣтія, то для перваго десятилѣтія мрачной реакціи однимъ изъ наиболѣе знаменательныхъ проявленій безвременія является толстовство.

Подъ "толстовствомъ" отнюдь не слѣдуетъ понимать всю совокупность воззрѣній Толстого-теоретика: въ дѣятельности Толстого слѣдуетъ различать двѣ стороны, безконечно неравныя по своему историческому значенію.

Если Толстой сталь выразителемь совъсти въка, то только въ критической части своего міровоззрѣнія. Историческая роль Толстого въ томъ, что онъ съ неслыханною силою напаль на церковь и полицейское государство съ той стороны, съ которой клерикально-деснотическій строй считаль себя въ совершенной безопасности—съ точки зрѣнія искренно-понятой евангельской завовѣди. По существу, въ критикѣ Толстого, конечно, нѣтъ ни одной черты, которая съ такою же силою не была бы указана радикальною мыслью. Но ра-

дикальная мысль исходила изъ основаній, чуждыхъ среднему, мирному обывателю, и потому широкихъ массъ не затрогивала. Толстой же великъ тѣмъ, что внесъ броженіе и разрушительную критику отживающихъ вѣрованій и понятій въ такіе слоп, которые до него никакими "проклятыми" вопросами не занимались.

Но эта разрушительная работа Толстого, подкопавшая все зданіе стараго показного благочестія и эксплоатаціи народнаго труда, стала яркой и определенной гораздо позднее-въ 90-хъ годахъ, когда параллельно начавшемуся пробужденію отъ всеобщей летаргіи, Толстой поставиль всв точки на і. До бълаго каленія Толстой довель наше жречество только въ 90-хъгг. Къ 80-мъ же годамъ относится самая гнилая часть ученія Толстого—рабская теорія "непротивленія злу". Подъ "толстовствомъ" въ тъсномъ смыслъ понимается дряблое сектантство, захватившее въ 80-хъ годахъ часть чуткихъ элементовъ молодежи н выразившееся въ какомъ-то опереточномъ мужиковствованіи. Великій лозунгъ 70-хъ гг. "въ народъ" былъ воспринятъ "толстовствомъ" какъ форма личнаго самоусовершенствованія. Самое хожленіе "въ народъ" проявляется теперь чисто маскараднымъ превращеніемъ въ мужиковъ по внѣшнему облику безъ всякой протестующей подкладки. "Опрощиваются" теперь не съ темъ, чтобы направить народъ на путь культурнаго развитія и сознанія своей личности а, напротивъ того, чтобы отряхнуть отъ собственныхъ ногъ пыль цивилизаціи и зажить жизнью первобытной близости къ прпродв.

Не простая, конечно, случайность, что рабская теорія "непротивленія злу" и не менѣе рабская теорія самоусовершенствованія, какъ панацен противъ несовершенствъ соціальнаго строя, именно въ 80-хъ годахъ нашли такой громкій откликъ. Много всякихъ теорій понасочинялъ Толстой въ своихъ лихорадочныхъ поискахъ за смысломъ жизни, и въ разныя эпохи разныя стороны его міровозэрѣнія получали разное значеніе. Въ наши дни, напр., мы видимъ, что значеніе толстовской проповѣди леченія общественныхъ язвъ собственною добродѣтелью упало до нуля, и великимъ писателемъ Земли Русской совершенно перестали интересоваться. Это показываетъ, что и самыр великій человѣкъ великъ лишь постольку, поскольку онъ отражаетъ духъ и потребность времени. Вотъ ночему и успѣхъ безкрылой теоріи "непротивленія злу" былъ яркимъ показателемъ того пораженія, которое только-что потерпѣло активное "противленіе злу".

Несравненно болье мелкимъ, но все таки характернымъ выражениемъ безвремения 80-хъ гг. была и теория "малыхъ дълъ". Она называется иной разъ также "абрамовщиной", по имени публициста Якова Васильевича Абрамова (1858—1906), на страницахъ совершенно присмиръвшей "Недъли" старавшагося доказывать, что въ эпохи,

когда исчезають широкія задачи, можно удовлетвориться скромною дѣятельностью въ роли народныхъ учителей, докторовъ, земцевъ и т. п. Сама по себѣ эта теорія не заслуживала вниманія и по второстепенному литературному значенію ея проповѣдника, и по явной маниловщинѣ своей. Но Абрамовъ перешелъ въ "Недѣлю" изъ "Отеч. Записокъ" и причислялъ себя къ радикальному народничеству, и вотъ почему такой первенствующій публицистъ, какъ Шелгуновъ, счелъ своею обязанностью повести на страницахъ "Русск. Мысли" упорную и ожесточенную войну съ этой оппортюнистской пошлостью, усыплявшей настоящую общественную бодрость.

Всеобщимъ уныніемъ и дряблостью не замедлили воспользоваться спекулянты на низменные инстинкты толцы. На этотъ разъ на помощь имъ подоспъли элементы, до того не игравине роли въ русской жизни. Въ дореформенной Россіи и довольно долго въ Россіи послереформенной, решающее значеніе въ ходе общественной жизни имълъ только небольшой контингентъ высшихъ классовъ. И консерватизмъ, и радикализмъ одинаково были дворянскими настроеніями. Въ 60-хъ годахъ пришелъ "разночинецъ", но и онъ быстро усвоиль себь обликь и исихологію правящаго интеллигентнаго класса. Теперь это меняется, и первое, самое страшное десятильтіе Побыдоносцевскаго періода ознаменовано тымь, что на арену общественной жизни впервые съ ръшающимъ значениемъ выступилъ тотъ слой, который Щедринъ назвалъ "улицей". Медленный, но прочный рость промышленности и нарождение мелкой буржуазін на первыхъ порахъ создаетъ общирный, культурный только по внъшности, контингентъ людей, еле начинающихъ мыслить и читать. Эти люди на первыхъ ступеняхъ образованія могутъ понимать только показное и внёшнее, а въ сфере житейскихъ вкусовъ смакуютъ удовольствія только низменныя и ношлыя. Воть почему квасной патріотизмъ, пресмыкательство предъ властью и просто потаканіе пошлымъ инстинктамъ всегда находять въ нихъ прочную опору для борьбы съ элементами передовыми и ищущими серьезной умственной пищи. Отсюда-небывалый расцветь въ 80-хъ гг. "мелкой" и шовинистской прессы. Мелкая пресса развращала своихъ читателей порнографіей, шантажными насквилями, сенсаціонно-кровавою уголовщиною и подогрѣваніемъ всякаго суевѣрія, начиная со спиритизма и кончая "чудесами" Іоанна Кронштадтскаго.

Но несравненно болѣе разлагающее вліяніе, чѣмъ "мелкая" печать, оказывала "большая" шовинистская рептильная пресса, потому что, по условіямъ времени, она оказалась во главѣ печати. Вся оппозиціонная печать была либо совсѣмъ уничтожена, либо обезличена до того, что не пользовалась никакимъ авторитетомъ. Ужъ на что

умъренъ былъ буржуазно-либеральный "Голосъ", прямо заявившій въ 1878 г., что революціонеры недостойны веревки, на которой ихъ повъсятъ. И все-таки "Голосу" пришлось прекратить свое существование (1883) тотчасъ же послѣ вторичнаго воцарения злобномстительнаго Дмитрія Толстого, который отплатиль Краевскому уничтоженіемъ милліоннаго предпріятія за то, что "Голосъ" увольненіе Толстого (при Лорисъ-Меликовъ въ 1880 г.) назваль "величайшею реформою" Александра II. Стремившіяся занять місто "Голоса" "Новости" Осипа Константиновича Нотовича (р. 1848) были слишкомъ робки. За исключеніемъ литературнаго фельетона, который долго велъ А. М. Скабичевскій, недостаточно-ярка была общественнополитическая физіономія главныхъ сотрудниковъ газеты. Изъ нихъ, кромъ павъстныхъ по "Голосу", "Бирж. Въд". и "Молвъ" Г. К. Градовскаго, И. Ө. Василевскаго, М. Л. Песковскаго, следуеть выделить воскреснаго фельетониста и автора популярно-историческихъ этюдовъ Владиміра Осиповича Михневича (1841—1899) и разносторонне-образованнаго публициста п критика Ростислава Ивановича Сементковскаго (р. 1846).

Почти безраздѣльно завладѣло большой публикой 80-хъ годовъ "Новое Время". Съ насильственнымъ прекращеніемъ "Порядка" и "Голоса" и при маломъ авторитетъ "Новостей", робость которыхъ была главнымъ условіемъ того, что имъ было разрѣшено влачить свое вялое существованіе, монопольное "Новое Время" было единственнымъ имъвшимъ политическое значение органомъ петербургской печати Побъдоносцевскаго періода. И ни въ чемъ ужасъ и глубокое нравственное разложение Побъдоносцевского періода не выразилось такъ ярко, какъ въ расцвътъ "Новаго Времени". Всего менъе страшно было "Новое Время" тъмъ, что оно было отражениемъ самой гибельной и преступной изъ всъхъ русскихъ реакцій, въ слъпомъ изступленін доведшей Россію до безпримарных во всемірной исторін бадствій. "Москов. Въд." были несравненно реакціоннъе, но это было прямолинейное, грубое, чисто-полицейское отношение къ вещамъ, безъ малъйшаго желанія привлечь на свою сторону. Пресмыкательство же "Новаго Времени" было глубоко-тлетворно темъ, что велось съ тонкимъ пониманіемъ психологія средняго читателя. "Полемика" и "борьба" "Моск. Въдомостей" съ "вредными" идеями вся сводилась къ жандармскимъ окрикамъ: "уничтожить", "сократить", "посадить въ тюрьму" "сослать", "разстрѣлять". Подобнаго рода "полемика" не только не унижала и не противодъйствовала, а напротивъ того, создавала ореолъ. "Новое Время" этой психологической ошибки не дълало, и тактика его заключалась въ глумленіи, въ томъ, что оно тъ идеи и тъхъ дъятелей, на которыхъ нападало, выволакивало въ грязи. Такого безшабашнаго издевательства надъ личностями, движеніями, идеями, народностями никогда еще въ русской печати не было. Въ это глумление было вложено много таланта, много журнальной сноровки, а также знаніе того круга идей, съ которымъ, пресмыкаясь передъ реакціей, "Новое Время" повело войну, потому что всё главные деятели газеты были выходцы изъ совершеннопротивоположныхъ лагерей. Кто состоялъ въ умфренныхъ либералахъ, кто въ радикалахъ, кто въ революціонерахъ. Мы уже знаемъ, что главари "Новаго Времени" — Суворинъ и Буренинъ какихъ-нибудь 10-11 лътъ тому назадъ были столь опасны, что изъ-за нихъ отняли, вопреки контракту, "С.-Пет. Вед". Изъ техъ же Коршевскихъ "С.-Вад." вышель остроумный циникь Константина Аполлоновичь Скальновскій (1843—1906), глубоко-уб'яжденный, что только Wein, Weib und Gesang есть вещь, а прочее-все гиль. Изъ новыхъ газетныхъ силъ выдъляется Александръ Александровичъ Дьяковъ (1845—1895), некогда активный революціонерь, затемь подъ псевдонимомъ Незлобина написавшій въ "Русск. Въст." 1870-хъ гг. рядъ пасквилей на заграничныхъ эмигрантовъ. Въ "Нов. Вр." онъ подъ псевдонимомъ Житель съ захлебывающейся злобою накидывался на все, что отзывалось воспоминаніями собственной молодости. Изъ ультра-революціонныхъ кружковъ вышли пресловутые корреспонденты И. Яковлевъ (псевдонимъ Исаака Яковлевича Павловскаго) и Александръ Николаевичъ Молчановъ (р. 1847), имя котораго сделалось нарпцательнымъ для обозначенія, мягко выражаясь, "недостовърности". Изъ радикальныхъ изданій и "Голоса" перешли подъ вліяніемъ духа времени Сергъй Атава, Ясинскій, обозрѣватель иностранной жизни Михаиль Андреевичь Загуляевь (1834—1900) и др. И даже для мирнаго научнаго фельетона понадобился выходець изъ "Голоса" Эльпе (псевдонимъ . Тазаря Константиновича Попова, р. 1851), который, сообразно требованіямъ новаго мъста, повелъ ожесточенную войну съ дарвинизмомъ и прочими теоріями научнаго позитивизма.

Въ ряду этихъ выходцевъ есть только одно исключеніе—талантинвый фельетонисть Александръ Валентиновичъ Амфитеатровъ (р. 1864). Онъ больше по легкомыслію и отсутствію въ обществѣ пркихъ настроеній, чѣмъ по органическому сродству, примкиулъ къ "Новому Врем." и уже въ концѣ 90-хъ гг. рѣзко порвалъ съ нимъ всякія связи, для того, чтобы въ "Россін" и затѣмъ въ "Руси", а въ наши дни въ заграничномъ "Красномъ Знамени" выступить горячимъ борцомъ за освободительное движеніе.

Поздиће, въ концѣ 1890-хъ и въ началѣ 1900-хъ гг. подготовительной школой для "Новаго Времени" являлась гайдебуровская "Недѣля"

второго періода – тоже въ достаточной степени приспособившаяся къ духу времени, но все-таки, старавшаяся сохранить извъстнаго рода благопристойность. Изъ "Недъли" перекочевали въ "Нов. Время": фельетонисть Сигма (псевдонимъ Сергия Николаевича Сыромятникова, р. 1864), дълавшій было видъ, что ему дороги славянофильскіе идеалы о свободъ слова и земскомъ соборъ и затъмъ окончательно превратившійся въ рептилію; критикъ и публицисть Николай Алепсандровичь Энгельгардть (род. 1866), изъ сферы идей своего отцазнаменитаго народника А. Н. Энгельгардта перекочевавшій въ старшины "Русск. Собранія" и, наконець, Михаиль Осиповичь Меньшиковъ (р. 1859). Печально-характерна чудовищная метаморфоза, происшедшая съ этимъ замъчательно-талантливымъ писателемъ. Сколько началь 90-хъ гг. симпатій привлекъ онъ къ себъ, когда въ выступиль въ "Недълъ" съ рядомъ блестящихъ статей, въ общемъ отражавшихъ лучшія стороны ученія Толстого. Многимъ, правда, казалась слишкомъ приторной чрезмърная кротость Меньшикова, который даже въ притяжении атомовъ видълъ проявление міровой любви. Но статьи дышали такимъ благороднымъ идеализмомъ, казалось-столько въ нихъ было желанія отыскать истину и устроить жизнь на истиноевангельскихъ основаніяхъ! И что отъвсего этого осталось съ переходомъ въ "Нов. Время"! Въ настоящее время этотъ евангельскій проповъдникъ кротости — самый кровожадный изъ современныхъ публицистовъ, съ упоеніемъ воспъвавшій войну и съ дикимъ ожесточеніемъ защищающій необходимость смертной казни. Ему же принадлежить пальма первенства въ придумываніи всякихъ репрессій, отъ безсміннаго присутствія полиціи въ университетских аудиторіях до самой кровавой расправы съ крамольниками. Но, собственно, не все еще характерно въ метаморфозъ Меньшикова. Гораздо характернъе и для газеты, и для этого теперь самого виднаго ея представителя. что Меньшиковъ сталъ олицетвореніемъ самаго откровеннаго, почти наивнаго въ своей непосредственности оппортунизма, что, рядомъ съ изступленнымъ реакціонерствомъ, тотъ же Меньшиковъ вдругъ заговорить не только "либерально", но прямо радикально, что онъ мфняеть всё цвёта спектра, смотря по тому, что возобладаеть въданный моментъ-революція или реакція.

И вотъ это-то хамелеонство и было самой тлетворной стороной расцвъта "Новаго Времени", развращавшей слабыя и дряблыя натуры.

Говорить серьезно о "направленіи" газеты было бы смѣшно. Самъ хозяннъ газеты съ добродушнымъ цинизмомъ назвалъ ее "парламентомъ разнообразныхъ мнѣній".

"Нов. Время"—это россійское "Figaro", совершенно свободное отъ какого бы то ни было опредъленнаго міросозерцанія, "проводящее"

только то, что въ данный моментъ угодно власти и той мелко-трусливой, но увы, недавно еще столь многочисленной части публики, которая преклоняется передъ всякою силою, какъ таковой, въ какой бы цвътъ она ни была окрашена.

"Не забудемъ тѣхъ безчисленныхъ героевъ, давнихъ и послѣднихъ, что откликались на пророческіе голоса, тѣхъ, чье чистое сердце и душа, и жизнь были принесены въ жерву отечеству и чье заточеніе, мученичество и смерть уми́лостивили, наконецъ, жестокую нашу судьбу и послали намъ освобожденіе. Вамъ благородные, вамъ разумные, вамъ спльные мы обязаны счастьемъ наступающей достойной жизки Намъ—жизнь, вамъда будетъ честь и въ намяти потомства вѣчное безсмертіе!"

Откуда эта выдержка? Изъ "Революціонной Россіи", изъ женевской "Искры", изъ летучей прокламаціи? Нѣтъ, это цитата изъ перваго № "Нов. Времени", вышедшаго послѣ 17 октября, когда всѣмъ въ-серьезъ показалось, что старый режимъ рухнулъ навѣки. И, конечно, статью писалъ Меньшиковъ...

Было бы въ виду этого безусловно-одностороние сваливать вину пышнаго расцвъта "Новаго Времени" въ 80-хъ годахъ исключительно на редакцію, состоящую изъ людей, столь "впечатлительныхъ" и "отзывчивыхъ" на запросы времени. Виновата, конечно, публика, которая поддерживала. Quel maître, tel valet. Въдь вотъ Москва и Земская Россія, оставшіяся върными идеаламъ 60-хъ и 70-хъ гг., въ ту же мрачную годину 80-хъ годовъ создали успъхъ такому высокочестному органу, какъ "Русск. Въд.", о которыхъ ниже будетъ ръчь.

Правда, въ той же Москвъ и въ тъхъ же 80-хъ гг. народился самый ужасный изъ шантажно-уличныхъ органовъ-"Московскій Листокъ" бывшаго кабачнаго сидъльца Пастухова. Продолжали также свою жандармскую двятельность "Моск. Вфд.". Но "Москов. Листокъ" обслуживалъ слои, стоящіе внѣ какихъ бы то ни было идейныхъ воздёйствій, а "Моск. Вёд." никого не обслуживали, такъ какъ, за исключениемъ обязательныхъ подписчиковъ, тиражъ ихъ былъ совершенно ничтоженъ. Но даже въ самыхъ консервативныхъ сферахъ недавній авторитетъ "Моск. Вёд." совершенно палъ со смертью въ 1886 г. Каткова. Ничтожные преемники ихъ, среди которыхъ особенно-печальною извъстностью пользуется Владимиръ Андреевичь Грингмуть (р. 1851), постепенно низвели газету, которой прежде, во всякомъ случав, нельзя было отказать въ политическомъ интересв, до уровня уличныхъ черносотенныхъ прокламацій. Въ наша дни никакого другого лозунга, кром'в призыва: "бей", грингмутовская газета не знаетъ.

Въ 80-хъ и 90-хъ гг. среди грубо-полицейскихъ окриковъ "Моск. Въд." выдълились, однако, голоса двухъ сотрудниковъ, которые стара-

лись перевести постоянно учиняемое газетою жандармское дознаніе на идейную почву и оправдать дикую работу Победоносцевской реакціи общественною пользою. Оба апологета реакціи, какъ водится, тоже были "выходцы". Критикъ Юрій Николаевичъ Говоруха-Отрокъ (псевдонимъ Ю. Николаевъ, род. въ серединъ 50-хъ гг., † 1896) недавно ходилъ "въ народъ", сидълъ нъсколько лътъ въ тюрьмъ и былъличнымъ другомъ Михайловскаго. Еще въ началъ 80-хъ гг. онъ писалъ подвергавшіяся цензурнымъ гоненіямъ повѣсти съ аповеозомъ революціоннаго движенія. Но затімь у него произошло непріятное столкновеніе съ харьковскимъ студенчествомъ, и онъ вступаетъ въ яростную борьбу съ кругомъ идей 60-хъ гг. Человъкъ несомнъннаго таланта, живого эстетического чутья и хорошаго литературнаго образованія, Говоруха, однако, свелъ всю свою работу къ нулю, потому что задался нельпою цьлью доказать, что прогрессивныя стремленія загубили русскую литературу. Полемистъ до такой степени вытъснилъ въ немъ вдумчиваго критика, что, напр., во всемъ творчествѣ Тургенева онъ видълъ одно только подчинение моднымъ вліяніямъ; лишь образъ ушедшей въ монастырь Лизы изъ "Дворянскаго Гивзда" двиствительно "свободно" сложился въ душѣ Тургенева.

Но если, при извъстномъ запасъ мягкосердечія, можно отнестись "объективно" къ метаморфозъ Говорухи-Отрока, то трудно спокойно говорить объ "эволюціи", какъ онъ самъ ее желаетъ формулировать, Льва Александровича Тихомирова (р. около 1850). Про Говоруху-Отрока въ худшемъ случав можно сказать. что онъ ушелъ въ реакціонную печать, чтобы дать исходъ личному озлобленію. Въ свое время онъ достаточно пострадалъ и съ переходомъ въ ретроградныя изданія едва ли не больше теряль, чёмъ вынгрываль. То ли дъло Тихомировъ? Въдь этотъ человъкъ быль однимъ изъ наиболве видныхъ членовъ Исполнительнаго Комитета, который декретировалъ смерть Александра II. И будь въ его раскаянін хоть тёнь пскренности амнистированный Тихомировъ, прикидывающійся теперь богомольнёйшимъ адептомъ теорін божественнаго происхожденія царской власти, долженъ былъ бы уйти въ монастырь, принять схиму, словомъ реальнымъ страданіемъ искупить свою безмірную, съ его теперешней точки зрѣнія, вину. Но, какъ мы это теперь доподлинно знаемъ изъ опубикованныхъ матеріаловъ по исторіи революціоннаго движенія, Тихомировъ и тогда, когда былъ руководителемъ терроризма, и поздне всегда заботливо уходилъ отъ всего, что связано съ опасностью и лишеніями. Изъ бъдствующаго эмигранта онъ превращается, благодаря своей "эволюцін", въ благоденствующаго журналиста, кото рый, главнымъ образомъ, долженъ "стараться". И онъ "старалея" молодцомъ: самодержавіе священно не только для Россін; и для Европы единственное спасеніе въ неограниченной монархін; для искорененія наклонности русскаго общества къ "соціальнымъ миражамъ" достаточно завести "умную и сильную полицію" и т. д. Къ забавнымъ результатамъ привели старанія Тихомирова показать, что и въ области религіозныхъ вопросовъ самостоятельность сужденія есть "самочинство". Съ негодованіемъ восклицалъ вчерашній свободный мыслитель: "Всякій смюеть представлять себть Бога, какъ вздумаеть, словно будто въ самомъ дѣлѣ Богъ самъ себя не показываеть съ начала жизни рода человѣческаго". И великъ былъ конфузъ, когда даже "Церковн. Вѣсти." и "Гражданинъ" доказали перестаравшемуся холопу, что его чисто-католическое желаніе устранить самосознаніе мірянина есть кошунственное извращеніе основной сущности православія.

Именно съ 80-хъ гг., какъ мы уже подчеркнули, все больше и больше крвинуть "Русск. Ввдом,", которымь следуеть отвести почетную страницу въ исторіи русской ежедневной печати. До самаго недавняго времени, когда могучій подъемъ освободительнаго движенія измінилъ до совершенной неузнаваемости обликъ русской печати, "Рус. Въд." были единственной газетой, вполив подходящей къ тому высокому типу печатнаго органа, который созданъ лучшими ежемъсячными журналами. Въ самые мрачные годы безвременья и владычества "улицы", "Русск. Вѣд." никогда не угождали вкусамъ толпы и вмёсто того, чтобы спуститься до уровня массы читающей публики, старались поднять ее до себя. Это создало имъ въ кругахъ, привыкшихъ къ газетамъ "веселымъ" и "бойкимъ", репутацію газеты "скучной", "профессорской" и т. п., но не помѣшало получить огромное распространеніе какъ въ самой Москвѣ, такъ и особенно въ центральной и восточной Россіи. Лучшіе круги провинціи воспитались на "Русск. Вѣд.", и въ этомъ незабвенная заслуга этой газеты передъ освободительнымъ движеніемъ. Во главъ редакцін стояли Василій Михайловичь Соболевскій (р. 1846), изслівдователь общины проф. Александръ Сергъевичъ Посниковъ (род. 1846), одинъ изъ самыхъ выдающихся экономистовъ русскихъ проф. Александръ Ивановичь Чупровъ (р. 1842), проф. антропологін Дмитрій Николаевичь Анучинь (р. 1843), земець Василій Юрьевичь Сналонь (1846—1907). Изъ писателей, причастныхъ къ другимъ изданіямъ, на столбцахъ "Русск. Въд." появлялись въ беллетристическомъ и публицистическомъ отделахъ Боборыкинъ, Короленко, Маминъ, Станюковичь, Елиатьевскій, Гльбъ Успенскій, Чеховь, изредка Салтыковъ и Толстой, Михайловскій (послѣ закрытія "Отеч. Зап."), Скабичевскій, Милюковъ и др. Ближайшими сотрудинками газеты были: фельетонисть Александръ Петровичъ Лукинь († 1905); изряднонаивный въ своемъ увлеченін "великими реформами" Александра II,

но будившій добрыя чувства въ читатель и очень популярный въ публикь Григорій Аветовичь Джаншієвь († 1900) авторь цінныхъ историко-литературныхъ статей Вячеславь Евгенієвичь Якушнинь (р. 1856); блестящій стилисть проф. исторіи литературы Алекстій Николаевичь Веселовскій (р. 1843); замічательный политическій корреспонденть изъ Берлина, трагически погибшій въ наши дни какъ жертва черносотенства, Григорій Борисовичь Іоллось (1859—1907); ийсколько расплывчато, но часто красиво пишущій театральный и литературный критикъ, а также историкъ литературы Ивань Ивановичь Ивановь (р. 1862) и др. Изъ другихъ органовь московской печати съ опреділенной общественной физіономіей слідуеть отмінть очень популярный въ 80-хъ гг. "Русскій Курьерь" Николая Петровича Ланина (1832—1895), нісколько шумливый и наивный, но въ мрачную годину безвременья сыгравшій свою роль въ кругахъ средней публики, для которой "Русск. Від." были слишкомъ серьезны.

И въ сферъ ежемъсячной журналистики Москва въ 80-хъ гг. заняла первенствующее положение, создавъ самый значительный изъ передовыхъ журналовъ начальныхъ лътъ Побъдоносцевскаго періода — "Русскую Мысль". Въ Петербургъ, подъ бъщенымъ напоромъ реакціи, общая, физіономія "толстой" журналистики совершенно изм'єнилась, и органы радикальной мысли были задавлены съ рѣдкимъ цинизмомъ и беззастънчивостью. "Слово" взяли изморомъ (1881), не утверждая редакторовъ, "Устоямъ" (1882) выръзывали по 6 статей въ книжкъ, для закрытія "Отеч. Записокъ" (1883) Дмитрій Толстой не погнушался прибъгнуть къ безсовъстной и глупой лжи: подпись И. К. подъ одной изъ статей была въ правительственномъ сообщения по поводу закрытія журнала истолкована какъ иниціалы Исполнительнаго Комитета! "Дъло" тоже взяли изморомъ, путемъ ареста и ссылки редакторовъ и издателей — Шелгунова и Станюковича. Изъ органовъ оппозиціонной мысли дозволили существовать только одному "Въстн. Европы". Выше (стр. 111) уже было отмъчено, какое достойное положение занялъ журналь, всего менье поддавшись выяніямь реакціи. Но, въ общемь, конечно, "Въстн. Евр." представлялъ собою только самое умъренное крыло русской оппозиціи. Радикальная мысль, такимъ образомъ, была совершенно не представлена въ Петербургъ. И такъ же, какъ, характеризуя Побъдоносцевскій періодъ, мы отказывались всю вину реакпіоннаго неистовства свалить на правительство, мы и въ исчезновеніи яркаго выраженія русской передовой мысли не можемъ не видіть проявленія того, что реакціонное настроеніе захватило также обще-

Доказательствомъ служитъ исторія "Сѣвернаго Вѣстника" Основанный въ 1886 г. докторомъ правъ А. М. Евреиновой, этотъ, перво-

начально очень блёдный и политически-безцвётный, журналъ вскорё привлекъ къ себё всё лучшія силы "Отеч. Записокъ", съ Михайловскимъ во главё. И, однако, журналъ не имёлъ солиднаго успёха, и въ началё 1890-хъ гг. перешелъ къ совершенно инойлитературной группё и сталъ органомъ декадентства и метафизическихъ потугъ.

"Русская Мысль" далеко не можеть быть названа органомъ радикальнаго направленія. Основанная въ 1880 г. энтузіастомъ Сергжемъ Андреевичель Юрьевымь (1821—88), она до средины 80-хъ годовъ скорве была органомъ лѣваго крыла славянофильства. Съ окончательнымъ переходомъ редакціи посл'є смерти Юрьева къ ученому публицисту Виктору Александровичу Гольцеву (1850-1906), "Р. Мысль" весьма удачно старается замёнить закрытыя "Отеч. Записки", главныя силы которыхъ перешли теперь въ московскій журналь. Но вмёстё съ тёмъ отличичительною чертою "Русск. Мысли" быль эклектизмъ. На страницахъ ея рядомъ съ писателями радикальными появились произведенія такихъ писателей, какъ Лъсковъ, Случевскій, Голенищевъ-Кутузовъ, Григорій Данилевскій, которые въ "Отеч. Зап.", конечно, не отважились бы обратиться. Въ сферъ теоретической мысли журналъ съ одинаковою готовностью предоставлялъ поздне свои страницы и "народникамъ", и нарождающемуся, "марксизму" "и экономическому матеріализму", а также писателямъ, старавшимся примирить оба эти направленія. Вь вопросахъ искусства "Р. Мысль" старалась (главнымъ образомъ въ статьяхъ Гольцева) примирить требованія идейности и художественности, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ начала 90-хъ г.г. присяжнымъ критикомъ журнала былъ такой яркій представитель тенденціозной критики, какъ М. А. Протопоповъ. Благодаря своему эклектизму, "Р. М" сосредоточила у себя со средины 80-хъ гг. едва ли не вей наличныя силы вейхъ оттинковъ русской прогрессивной мысли. Это отсутствіе единства было прямымъ отраженіемъ того, что и въ жизни исчезала недавияя прямолинейность и выдержанность. Подъ нивеллирующимъ вліяніемъ всёхъ одинаково-душившаго побъдоносцевскаго гнета, партійная вражда между разными фракціями прогрессивнаго лагеря естественно потеряла свою остроту. Всвхъ объединяла борьба съ общимъ врагомъ. И если, несмотря на эклектизмъ, "Русск. Мысль" достигла въ 80-хъ гг. небывалаго до того въ исторін "толстыхъ" журналовъ усивха (до 14.000 подписчиковъ), то именно потому, что и унаслъдованные журналомъ подписчики радикальныхъ "Отеч. Записокъ" цвинли общую окраску журнала. Эта окраска, въ общемъ, была безусловно-боевая, что особенно ярко сказалось въ отмъченныхъ уже нами нъсколько разъ "Очеркахъ русской жизни" ветерана 60-хъ годовъ Шелгунова. Со средины 90-хъ гг. "Русск. Мысль"

болѣе или менѣе отходитъ на второй планъ, и во главѣ ежемѣсячной печати становятся органы съ вполнѣ-опредѣленною окраскою— "Русское Богатство" и журналы марксистскіе.

Мы уже знаемъ, что ослабление общественныхъ стремлений и неудача, постигшая активную борьбу поколенія 70-хъ годовъ, всего ярче выразились въ уныломъ творчествъ Чехова, въ его сумеречныхъ фигурахъ хмурыхъ и кислыхъ неврастенниковъ, безнадежно махнувшихъ рукой и на себя самихъ, и на окружающую ихъ русскую дъйствительность, и на весь міръ. Это же паденіе интереса къ общественной дъятельности создаетъ почву, на которой опять расцвътаетъ теорія "чистаго", безпечальнаго искусства, затъмъ принимающая вызывающую, воинственную форму агрессивнаго декаденства. Выразителями этого стремленія къ "чистому" искусству явились прежде всего несколько поэтовъ, получившихъ известность въ 80-хъ годахъ. Поэзія талантливъйшаго изъ нихъ Константина Михайловича Фофанова (р. 1862) представляетъ собою рѣдкій образчикъ творчества, почти отръшеннаго отъ условій мъста и времени. Онъ живетъ въ своемъ особомъ мірѣ неясныхъ видѣній и смутныхъ настроеній и отдается піснопінію почти безсознательно, по нъмецкой эстетической формуль "Wie der Vogel singt". Отдъльные образы и рифмы какъ бы сами собою у него складываются, и часто стихотворенія у него создаются и обусловливаются не содержаніемъ, а музыкальными особенностями того размфра, который его въ данный моментъ плънилъ. Все это лишаетъ поэзію Фофанова единства и цёльности, и въ огромномъ большинстве случаевъ стихотворенія его-рядъ отдёльныхъ аккордовъ, звучныхъ и красивыхъ, но не дающихъ, однако, пъсни. Не сдерживаемое сознательностью нанизываніе звучных риемъ привело Фофанова къ небывалому въ исторіи русской поэзіи многописанію, и это совершенно загубило его прекрасное дарованіе. Первоначально очень возбужденное вниманіе читающей публики къ даровитому поэту быстро притупилось и утомилось отыскивать редкіе перлы въ удручающе-огромной массе очень слабыхъ пьесъ.

Изящный судебный ораторъ и болье красиво, чыть вырно и глубоко, оцынивающій литературныя явленія критикь Сергий Аркадыевичь Андреевскій выступаеть въ 80-хъ годахь съ рядомъ стихотвореній и поэмь, въ которыхь "красота и меланхолія" объявляются "единственно-законною" областью поэзін. Въ неглубокой меланхоліи Андреевскаго, однако, несравненно больше красиваго любованія, чыть дыствительнаго чувства. И по возрасту (р. 1847), и по вліяніямь, подъ которыми онъ вырось, Андреевскій почти человыкь

60-хъ гг. Подъ впечатлѣніемъ Писаревскаго похода противъ эстетики, онъ даже долго подавляль въ себѣ порыванія къ поэтическому творчеству. Но теперь онъ демонстративно заявляетъ, что въ его душѣ "о злобѣ дня—заботы нѣтъ", онъ воспѣваетъ погоду въ нѣкій "сѣрый понедѣльникъ", пишетъ даже стихотвореніе, которое такъ и называется "Мадригалъ", въ которомъ воспѣвается нѣкая восхитительная "рука лилейная, прекрасная безъ колецъ".

безразличному искусству создаеть теперь успъхъ замолкшему на весь періодъ 60-хъ и 70-хъ годовъ Алекстю Николаевичу Апухтину (1841—1893). Изъ всей обширной области лирики этотъ талантливый поэтъ избралъ себъ такой крошечной уголокъ, какъ изображение любовныхъ чувствъ старъющаго свътскаго человъка. Но не въ миніатюрности этихъ поэтическихъ владеній характерность Апухтинской поэзіи. Больше всего Апухтинская любовь поражаеть своею анемичностью, она даже не нуждается въ разделенномъ чувстве. И вотъ почему внезапный успахъ Апухтина въ 80-хъ гг. очень знаменателенъ. Безкрылая, безличная психологія Апухтинскихъ героевъ—явленіе органическиродственное пассивности толстовщины и чеховскому безволію. Въ восьмидесятыхъ же годахъ окрвило "буддійское", по опредвленію Владиміра Соловьева, безразличіе графа Арсенія Аркадычвича Голенищева-Кутузова (род. 1848), дебютировавшаго еще въ срединъ 70-хъ годовъ, но выдвинувшагося только теперь. Изящная, спокойная, не знающая мятежныхъ исканій муза Голенищева-Кутузова до такой степени чужда злобы дня, что безъ біографическихъ датъ трудно было бы определить, къ какому времени относится его дъятельность. Онъ поэть интимныхъ настроеній по преимуществу, пъвецъ красотъ природы и стремленія къ безпечальному успокоенію. Самый стихъ его, ровный и пластичный, исключаетъ всякіе порывы и дышить эпическимь безстрастіемь. Лучше всего, поэтому, ему удается разсказъ, меньше всего-драматическія положенія, требующія воодушевленія и яркихъ красокъ.

Кромѣ Апухтина, подъ вліяніемъ общаго усиленія вниманія къ поэзін, въ 80-хъ годахъ возобновляють также свою поэтическую дѣятельность Платонъ Александровичъ Кусковъ (р. 1834) и Константинъ Константиновичъ Случевскій (1837—1904). Случевскаго высмѣяли въ 60-хъ гг. и совершенно несправедливо. Первыя стихотворенія его привели въ восторгъ такихъ цѣнителей, какъ Тургеневъ и Аполлонъ Григорьевъ. Но преувеличенныя выраженія, въ которыхъ Григорьевъ превозносилъ талантъ Случевскаго, вызвали столь же неумѣренныя нападки вліятельнѣйшей тогда "Искры", которая начала выуживать у деоютанта неудачныя выра-

женія и сділала его мишенью очень злыхъ и остроумныхъ вышучиваній. Гоненіе "Искры" бользненно подыйствовало на молодого поэта, и онъ замодчалъ почти на 20 лътъ. Теперь онъ воспрялъ духомъ и становится однимъ изъ плодовитъйшихъ поэтовъ. Поздиъйшія стихотворенія Случевскаго съ эстетической точки зрѣнія въ сущности ниже тахъ, которыми онъ началъ. Въ раннихъ вещахъ Случевскаго звучный, красивый стихъ, пластичность образовъ, ясность настроенія давали полное основание надъяться, что изъ него выработается большая поэтическая сила. Въ позднъйщихъ же произведеніяхъ и стихъ въ общемъ тяжелъ и неуклюжъ, а ясность настроенія смѣнилась того сорта "символизмомъ" и отвлеченностью, за которыми часто нътъ никакого содержанія. Внъ связи съ обще-русскою жизнью выступаеть талантливый поэть еврейства Семенъ Григорьевичь Фругь (р. 1860). Подъ страшнымъ впечатлѣніемъ погромовъ 1881 г. зародилась мысль о новомъ "исходъ", и Фругъ сталъ пъвцомъ сіонизма. Въ стихахъ его, относящихся къ этому періоду, поэтически-сильно смѣшаны скорбь о пережитомъ горькомъ чувствъ обиды и въра въ лучшее будущее. Позднівшая, чрезвычайно-плодовитая, стихотворная дінтельность Фруга литературнаго интереса не представляетъ.

Изъ поэтовъ съ именемъ въ 80-хъ гг. выступилъ Мережковскій. Но объ этомъ впечатлительномъ писатель, поддававшемся самымъ разнообразнымъ вліяніямъ, правильнье будетъ говорить въ очеркъ русскаго модернизма.

Слѣдуетъ затѣмъ отмѣтить Льдова (исевдонимъ Константина Николаевича Розенблюма, род. 1862), поэта съ задатками серьезнаго дарованія въ стилѣ Фета, но совершенно растерявшаго ихъ въ мелкой журнальной работѣ и моветонной полемикѣ съ такими противниками не по зубамъ, какъ Михайловскій, некрасовское вліяніе въ русской поэзіи и т. п.

Ольга Николаевна Чюмина-Михайлова (р. 1862) въ 80-хъ гг. обратила на себя вниманіе, преимущественно, какъ талантливая переводчица и только въ наши дни выдвинулась имѣвшими шумный успѣхъ тонко-юмористическими стихотвореніями на политическія темы. Какъ переводчикъ, заслуживаетъ также упоминанія поэтъ-философъ кн. Дмитрій Николиевичъ Цертелевъ (р. 1852), умѣющій какимъ-то образомъ сочетать изслѣдованія по философіи и работу надъ передачей русской публикѣ "Фауста" и "Манфреда" съ самымъ неистовымъ и воинствующимъ ретроградствомъ. Позднѣе—въ концѣ 90-хъ гг. — печальнѣйшую репутацію "истинно-русскаго" насадителя нагаечной культуры составилъ себѣ своею публицистическою дѣятельностью на Кавказѣ Василій Львовичъ Величю (1860—1903). Но въ 80-хъ гг. онъ дебютировалъ въ нейтральной

сферѣ "Восточныхъ мотивовъ", больше, впрочемъ, относящихся къ области гладкаго версификаторства, чѣмъ подлинной поэзіи. Въ значительной степени версификаторомъ, хотя подчасъ блестящимъ, является Аполлонъ Аполлоновичъ Коринесній (р. 1868), въ искуственно-былинномъ стилѣ идеализирующій старину. Появленіе (1886) въ сонмѣ русскихъ поэтовъ великаго князя Константина Константиновича (р. 1858), пишущаго подъ иниціалами К. Р., вполнѣ отвѣчало возрожденію "чистаго" искусства. Полный восторженнаго благоговѣнія предъ антологіей Майкова, онъ полагаетъ, что поэтъ долженъ "плѣняться"

Лишь тымъ, что свято, безупречно, Что полно чистой красоты.

Въ сферъ беллетристики восьмидесятые годы характеризуются появленіемъ ряда писателей, несомивино одаренныхъ талантомъ, но, тоже несомивно, весьма скромныхъ размвровъ, обыкновенно чуждыхъ тенденціозности, но и чуждыхъ способности оставить въ читатель опредъленное и яркое впечатльніе. Въ общемъ, это литература больше для развлеченія, для наполненія многочисленныхъ иллюстрированныхъ, "семейныхъ" журналовъ, чемъ литература, идущая во главъ духовной жизни своего времени. Въ ряду этихъ писателей, обыкновенно столь же легко читаемыхъ, какъ и легко забываемыхъ, вниманіе публики привлекали: талантливый беллетристь и отлично знающій сцену драматургь Петро Петровичо Гивдичь (р. 1856); братья Тихоновы, изъ которыхъ Владиміръ Алекстевичь Тихоновь (р. 1857) извъстень своими веселыми комедіями, неидущими дальше того, чтобы позабавить зрителя; Алексьй Алексвевичь Тихоновъ (р. 1854), пишущій подъ псевдонимомъ Лугового, обратиль на себя внимание интересными историко-бытовыми "параллелями"—"Pollice verso", но позднъйшими произведеніями не поддержаль этого вниманія. Иванъ Леонтьевичъ Леонтьевь (р. 1856), пишущій подъ псевдонимомъ Щегловъ, выступилъ съ питересными очерками паз военнаго быта и возбуждаль одно время серьезныя надежды. Но затёмь онъ ударился въ шаржъ, и если еще въ сферъ комедіи-водевиля его пьесы изъ кавказской "курсовой" жизни создали ему репертуарный успъхъ, то тоть же шаржь въ позднайшихъ беллетристическихъ вещахъ лишиль ихъ серьезнаго литературнаго интереса. Къ тому же, поддавшись реакціоннымъ вѣяніемъ эпохи, онъ пустился въ 90-хъ гг. въ вышучиваніе тіхъ литературныхъ кружковъ, подъ вліяніемъ которыхъ создались его лучшія вещи перваго періода, и такимъ образомъ очутился уже въ сферъ совсъмъ не литературной. Подаваль несомивиныя надежды и Муравлинь (псевдонимъ князя Дмитрія Петровича Голицына, р. 1860). Рядъ его вышедшихъ въ 80-хъ гг. романовъ

рисуетъ вырождение аристократическихъ родовъ съ незауряднымъ талантомъ. Но затѣмъ онъ отъ своей, хотя и очень односторонней и больше психіатрической, чѣмъ психологической, но все-таки сильной натуралистической манеры перешелъ къ слащавой идеализаціи славянства и старорусской жизни и сошелъ на ничто, если не считать того, что онъ въ наши дни стоитъ во главѣ черносотеннаго "Русскаго Собранія".

Можно было кое-чего ожидать и отъ дѣятельнаго сотрудника "Недѣли" 80-хъ гг. Дѣдлова (псевдонимъ Владиміра Людвиговича Кигна, р. 1856), писавшаго и бойкія критическія статьи, и столь-же бойкіе путевые очерки и разсказы. Но полное отсутствіе какой-бы то ни было руководящей мысли не дали кристаллизоваться этой бойкости въ чемъ-нибудь цѣльномъ и законченномъ и охранить его отъ нехудожественнаго шаржа. Къ тому-же разряду писателей, несмотря на несомнѣнный талантъ, не сумѣвшихъ занять опредѣленнаго положенія въ литературѣ, можно причислить и автора разсказовъ изъ военной жизни Бѣжецкаго (псевдонимъ Алекстая Николаевича Маслова, р. 1853).

Выступившій въ концѣ 80-хъ гг. Алекстай Николаевичъ Будищевъ (р. 1867) по своимъ природнымь дарованіямъ долженъ былъ бы занять видное мѣсто въ ряду нашихъ новеллистовъ. Но сѣрая растерянность эпохи не дала ему опредѣленнаго взгляда на жизнь. Съ истиннымъ талантомъ и колоритно подмѣчая (не въ плохихъ романахъ своихъ, а въ мелкихъ разсказахъ) отдѣльныя черточки дѣйствительности, Будищевъ не даетъ общаго освѣщенія, не выдерживаетъ даже типичности и быстро сбивается на анекдотъ.

Въ особую группу можно выдёлить нёсколькихъ женщинъ-писательницъ, обратившихъ на себя вниманіе въ 80-хъ гг. Несмотря на различіе общественныхъ воззрѣній и стремленій, ихъ объединяетъ то центральное положеніе, которое въ ихъ произведеніяхъ занимаетъ любовь. Внъ любви и треволненій сердца тускиветь жизнь и для героинь общественно-настроенной Ольги Андреевны (р. 1850), и для геройнь совершенно равнодушной къ общественнымъ интересамъ Марьи Всеволодовны Крестовской-Картавцевой (р. 1862) и въ особенности для свътской куколки "Мимочки" — героини талантливой трилогін того же имени, создавшей серьезное литературное имя ея автору—В. Микуличъ (псевдонимъ Лидіи Ивановны Веселитской, род. 1857). Изъ другихъ писательницъ 80-хъ гг., больше объщавшихъ при дебють, чьмъ потомъ сдержавшихъ эти объщанія, можно еще назвать Александру Александровну Виницкую-Будзіаникъ (р. 1847), Александру Станиславовну Монтвидъ-Шабельскую (р. 1845), Юлію Безродную (псевдонимъ Юліи Ивановны Яковлевой, р. 1858), Ардова (псевдонимъ Елены Ивановны Бларамбергъ-Апрълевой, р. 1846).

Устойчивъе оказался талантъ Валентины Іововны Дмитріевой (р. 1859), написавшей рядъ весьма жизненныхъ очерковъ изъ крестьянской жизни, и Екатерины Павловны Лътковой-Султановой (р. 1856). вдумчиво освъщающей въ своихъ новъстяхъ основной мотивъ Чеховскаго періода—трагизмъ безсильной борьбы мыслящей и чуткой личности съ житейской рутиной.

VII.

Начало Возрожденія.

(1890-ые годы).

Прямымъ и органическимъ выраженіемъ перваго, самаго страшнаго періода "Побѣдоносцевскаго" 25-лѣтія было такъ называемое "декадентство". И для того, чтобы держаться хронологическихъ рамокъ, намъ бы слѣдовало теперь дать характеристику этого ядовитаго пустоцвѣта. Но дѣло въ томъ, что за короткое время своего существованія то, что у насъ огуломъ принято опредѣлять словомъ "декадентство", претерпѣло существеннѣйшія измѣненія. Привлекши къ себѣ, благодаря своему исканію новыхъ литературныхъ путей, молодыя силы, "декадентство" преобразилось до неузнаваемости и создало теченіе, во всякомъ случаѣ яркое и, слѣдовательно, литературночитересное. Этотъ второй періодъ мы предлагаемъ характеризовать терминомъ "русскій модернизмъ". Непремѣнно "русскій", потому что въ модернизмъ общеевропейскій тутъ были внесены существенныя отличія.

Характеристика русскаго модернизма не входить въ задачи настоящаго обзора, захватывающаго только вторую половину XIX стольтія. Это составить предметь особой книжки, подготовляемой къ печати. "Декадентство" генетически неотдълимо отъ модернизма и поэтому мы характеристику декадентства переносимъ въ ту же книжку.

Идейное оскудъние и ослабление въ чуткихъ элементахъ интереса къ высшимъ задачамъ жизни не могли длиться долго. Печальный моментъ, когда лучшая часть общества, утомлениая возбуждениемъ семидесятыхъ годовъ, отчасти разочаровалась въ томъ, что еще такъ недавно казалось святынею, охватываетъ собою не больше перваго десятилътия Иобъдоносцевскаго периода. Эпохи самоотвержения часто смъняются эпохами, когда на первый планъ выступаютъ зоологиче-

скіе инстинкты и жажда наслажденій. Но зоологическіе инстинкты не могуть долго владёть обществомь, основною чертою котораго всегда была жажда къ нравственному совершенствованію и подвигу. И достаточно было первой рельефно вырисовавшейся бёды—голода 1891 года, чтобы все хорошее опять всилыло наружу и чтобы порывъ къ подвигу снова получиль могучую, притягательную силу. Картина народныхъ бёдствій "голоднаго года" разбудила уснувшую совёсть русскаго общества, и снова зашевелилась рёшимость освободить родину отъ того порядка вещей, который приводить ее къ гибели.

Со свойственною ему чуткостью, П. Д. Боборыкинъ быстро уловилъ нарождение новаго настроения и очень мѣтко охарактеризовалъ его заглавиемъ своего романа "Перевалъ" (1894). Да, то былъ настоящий перевалъ не только черезъ мрачную громаду Побѣдоносцевскаго византийства, но и черезъ болѣе страшную полосу общественной реакции и апатии.

Этотъ знаменательный "перевалъ" выразился въ оживленіи радикальной журналистики, въ повороть "толстовства" отъ рабской теоріи непротивленія злу къ уничтожающей критикь поповско-буржуваной государственности, но наиболье бурнымъ и яркимъ образомъ—въ формъ "марксизма".

Радикальная журналистика, какъ мы знаемъ, почти заглохла въ 80-хъ годахъ. "Отеч. Зап.", "Дѣло", Слово", отчасти "Устои"— исчезли насильственно, "Сѣв. Вѣстникъ" перваго, радикальнаго періода не имѣлъ должнаго успѣха, успѣхъ "Русск. Мысли" былъ основанъ на ен эклектизмѣ. Но въ 90-хъ годахъ снова создается крѣпкій оплотъ крайней лѣвой русской общественной мысли въ "Русск. Богатствѣ", затѣмъ въ "марксистской" журналистикѣ—"Новомъ Словѣ", "Началъ", "Мірѣ Божьемъ", "Жизни".

"Рус. Богатство" въ 80-хъ годахъ издавалось Леонидоми Егоровичеми Оболенскимъ (1845—1906), писателемъ очень разностороннимъ—онъ писалъ романы, стихи, статьи критическія, философскія,
соціологическія, естественно-научныя, публицистическія—но, въ общемъ, довольно легковъснымъ. При немъ "Русск. Богатство" было органомъ того оппортунистическаго "народничества", наиболье яркимъ
выразителемъ котораго слъдуетъ признать извъстнаго уже намъ
НОзова-Каблица.

Съ начала 1890 хъ гг. "Русск. Богатство" переходитъ къ С. Н. Кривенкъ, В. П. Ворондову (В. В.), К. М. Станюковичу. Затъмъ во главъ журнала становятся Михайловскій и Короленко, и журналъ занимаетъ такое же руководящее положеніе, какое въ 1870 хъ годахъ занимали "Отеч. Записки", изъ сотрудниковъ которыхъ входятъ въ редакцію С. Н. Южаковъ, одно время М. А. Протопоповъ

и др. Позиція "Рус. Богатства" была очень трудная: пришлось вести войну сразу на нѣсколько фронтовъ. Къ обычной борьбѣ теперь прибавилось ожесточенное рато орство съ совершенно-неожиданными врагами—декадентствомъ и марксизмомъ. Неожиданными, потому что эта "литературная смута", по несовсѣмъ удачному опредъленію Михайловскаго, только въ декадентствѣ органически была связана съ реакціею. Марксизмъ же, какъ къ нему ни относиться, былъ несомиѣнно движеніемъ, которое всецѣло смотрѣло впередъ, а никакъ не назадъ. Борьба съ марксизмомъ была, конечно, войной съ братьями—въ этомъ-то и неожиданность ея.

Главная тяжесть борьбы выпала на долю Михайловскаго уже потому, что на него, главнымъ образомъ, была направлена атака "литературной смуты". Михайловскій выдержаль борьбу съ рѣдкимъ мужествомъ и энергіею, и если въ чемъ сказалось неблагопріятно это ратоборство, такъ только въ томъ, что онъ больше не давалъ цѣльныхъ соціологическихъ и критическихъ работъ и весь ушелъ въ полемику.

Но, кромѣ Михайловскаго, "Русск. Богатство" выдвинуло рядъ другихъ талантливыхъ защитниковъ программы революціоннаго движенія 70-хъ годовъ. Однимъ изъ самыхъ видныхъ и симпатичныхъ публицистовъ нашихъ несомиѣнно слѣдуетъ признать Алексюя Васильевича Пѣшехонова (р. 1867), у котораго литературный талантъ и глубокая искренность связаны съ превосходнымъ знаніемъ русской жизни. Въ лицѣ чрезвычайно-разносторонняго Николая Сергюевича Русанова, вынужденнаго обстоятельствами скрываться подъ всевозможными псевдонимами (Тарасовъ, Кудринъ, Подарскій и др.), "Русск. Богатство" имѣло столь же замѣчательнаго знатока западноевропейской политической жизни и мысли.

Талантливымъ публицистомъ-соціологомъ заявилъ себя стремительный Викторъ Микайловичъ Черновъ. Тѣсно-примкнувшіе къ "Русск. Богатству" статистикъ Николай Өедоровичъ Анненскій (р. 1843) и историкъ Венедиктъ Александровичъ Мякотинъ (р. 1867) заняли крупное положеніе въ рядахъ защитниковъ программы 70-хъ годовъ но столько какъ журналисты, сколько какъ выдающіеся ораторы и политическіе вожди. Анненскій—"мужъ совѣта" всѣхъ литературныхъ и политическихъ обществъ—въ минуты подъема возвышается до истиннаго павоса; Мякотинъ своимъ благороднымъ и никогда не покидающимъ его краспорѣчіемъ при всѣхъ условіяхъ покоряетъ аудиторію. Нѣсколько въ сторонѣ отъ присущаго "Русск. Богатству" исключительно-политическаго отношенія къ явленіямъ жизни и искусства стоитъ вдумчивый критикъ-эстетикъ Аркадій Георгіевичъ Горнфельдъ (р. 1867)..

Въ беллетристическомъ отдълъ "Русск. Богатства" цълый рядъ писателей впервые дебютировалъ передъ большой публикой. Въ томъ числъ и такіе, которые черезъ нъсколько лътъ станутъ въ ряды марксизма—Вересаевъ, Чириковъ, Горькій, помъстившій здъсь (1895) такую прямо-враждебную народничеству вещь, какъ "Челкашъ". Но тогда это еще никому не было ясно и всего менъе самому автору. Болъе органически изъ дебютантовъ примыкалъ къ "Русск. Бог." недавній народникъ-практикъ, пытавшійся "състь на землю", Н. Гаринъ (псевдонимъ Николая Георгіевича Михайловскаго, 1852—1906). Онъ возбудилъ большія надежды своими очерками дътской, гимназической и студенческой жизни, но потомъ значительно поблекъ.

Всего органичнъе, конечно, была связь журнала съ своеобразною группою писателей, которую можно назвать "сибирскою", хотя никто изъ нихъ въ Сибири не родился. Къ концу 80-хъ годовъ начинаютъ оживать заживо-погребенные въ карійскихъ рудникахъ и якутскихъ тундрахъ борцы за свободу и дълятся своими впечатлъніями. Раньше другихъ подневольныхъ сибирскихъ этнографовъ выступилъ Короленко-Затъмъ составили себъ литературное имя очерками сибирской и тюремной жизни Якубовичъ-Мельшинъ, Елпатьевскій, Танъ, Діонео, отчасти Мачтетъ и др Почти всъ они —сотрудники "Русск. Богатства" по пренмуществу, а Якубовичъ принадлежитъ "Русск. Богатству" всецъло. Мы уже знаемъ, что ни на Короленко, ни на Якубовича перенесенныя лишенія не подъйствовали угнетающимъ образомъ. Этого нельзя сказать про лирическій талантъ Сергюя Яковлевича Елпатьевскаго (р. 1854). Въ противоположность Короленкъ, на котораго Сибирь произвела такое впечатление романтически-дикою величавостью своей природы, Елпатьевскій въ своихъ разсказахъ передалъ тоску, которую нагоняетъ сибирское безлюдье, эти тысячи верстъ безъ жилья, "огромное и пустое ничто" — сибпрская тайга, а главное передаль ужась жизни въ тъхъ "якобы городахъ" за полярнымъ кругомъ, гдъ приходилось устраивать свою резиденцію подневольнымъ туристамъ. И въ разсказахъ Елпатьевскаго, и въ разсказахъ **Тана** (псевдонимъ Bла ∂ имiра Γ ермановича **Богораза**, род. 1864) и въ очеркахъ Мачтета и Діонео (псевдонимъ Исаака Владиміровича Шкловскаго; р. 1865, теперь извъстенъ корреспонденціями изъ Англіи) передъ читателемъ проходитъ рядъ потрясающихъ картинъ жалчайшаго прозябанія въ полярныхъ окраинахъ людей, еще такъ недавно полныхъ силъ и огня. Но нътъ силъ выдержать ледяныя объятія грозной, мерзлой тайги, одурманившую атмосферу вонючей якутской юрты, жизнь буквально впроголодь, медленное превращеніе въ полузвърей. Могильный холодъ сковываетъ сознаніе, люди сходять

съума, принижаются до уровня бродячаго чукчи, убиваютъ себя. Отчаяніе такъ велико, что въ стихахъ того самаго Тана, котораго мы теперь знаемъ, какъ одного изъ самыхъ бодрыхъ писателей современныхъ, мелькала въ эпоху прозябанія въ полярныхъ тундрахъ страшная мысль: да стоитъ ли самая-то свобода того, чтобы столько за нее страдать?

Конечно, эти вспышки отчаянія проходили быстро, лучезарное сіяніе старой жажды подвига снова озаряло затуманенную страданіями душу Но все-таки, какъ ни подходить къ "сибирской" литературѣ, даже въ такихъ сравнительно-мажорныхъ ея проявленіяхъ, какъ Короленко и Якубовичъ, это былъ только героизмъ "недобитыхъ бойцовъ", по выраженію Якубовича. И, въ общемъ, психологія людей, оставшихся вѣрными лозунгамъ революціоннаго движенія 70-хъ годовъ, можетъ быть формулирована такъ: "Старая гвардія умираетъ, но не сдается".

Да, не сдается, но и не думаетъ о побъдъ.

А вотъ марксизмъ, тотъ только о побѣдѣ и думалъ и ни единой минуты въ ней не сомнѣвался.

Въ совершенно необычныхъ формахъ сказалось въ марксизмѣ это побѣдное чувство, и болѣзненно поражало оно на первыхъ шагахъ старыхъ народолюбцевъ своими лозунгами, звучавшими такъ чуждо и грубо.

Русскій марксизмъ идетъ рука объруку съ теоріею экономическаго матеріализма, по которому важивишимъ факторомъ исторіи являются исключительно экономическія причины, борьба классовъ и интересовъ. Выведенный Марксомъ, частью умозрительно, на основании гегелев. ской тріады, но, главнымъ образомъ, исторически, эмпирическимъ путемъ, т. е. изъ наблюденій надъ жизнью европейских в народовъ, законъ трехъ фазисовъ экономическаго развитія (патріархальный, капиталистическій и соціалистическій) русскими марксистами признается за естественно-историческій, т. е. за нічто непреложное, повторяющееся неизменно во всехъ странахъ. Вотъ почему, несмотря на то, что самъ Марксъ еще въ 70-хъ годахъ сдёлалъ рядъ оговорокъ для Poccin и призналъ общинно-артельный духъ и экономическій строй русскаго крестьянства такими факторами, которые могутъ привести къ тому, что Россія совсѣмъ и не должна будетъ пройти черезъ тяжелый искусъ капиталистическаго фазиса, русскіе марксисты дали ученію Маркса самое распространительное толкованіе. Они энергически доказывали, что Россія непремѣнно должна пройти черезъ горнило капитализма раньше, чёмъ въ ней установится экономическій строй, соотвётствующій интересамъ широкихъ массъ. А разъ это такъ, разъ капиталистические ужасы неизбъжны, то чьмъ они скорье наступять, тьмъ

лучше. Не машаеть, сладовательно, стать акушерами этого неизбажнаго историческаго процесса, помочь капиталистическому строю поскорве родиться, устранить остатки стараго натріархальнаго быта, какъ бы они симпатичны сами по себъ ни были. "Сентиментальное" народничество пусть увлекается русскою общиною, якобы спасающей народъ отъ обезземеленія, сентиментальные поклонники русской артели пусть усматривають въ ней оплотъ противъ превращения въ пролетаріевъ. "Трезвое" же міросозерцаніе не должно дать себя увлечь этимъ непрочнымъ остаткамъ отживающаго быта и должно содъйствовать скоръйшему обезземеленію русскаго крестьянина, скоръйшему уничтоженію всякой самостоятельности кустарнаго производства и скоръйшему насажденію въ Россіи въ наивозможно-широкихъ размърахъ фабрично-заводской промышленности. Фабрика несетъ за собою культуру, фабричный неизбъжно втягивается въ цивилизацію. Не бѣда, что временно его положеніе при этомъ дѣлается сквернымъ, что онъ изъ якобы "самостоятельнаго" крестьянина превращается въ бездольнаго пролетарія. Чёмъ хуже, тёмъ лучше, —чёмъ временно хуже въ настоящемъ, тъмъ скоръе наступитъ въ будущемъ новый экономическій строй, основанный на реальной побыдк рабочаго класса. Исторію ділають не великодушныя настроенія, а соотношение реальныхъ общественныхъ силъ.

Таковы основныя очертанія русскаго марксизма, которыя, благодаря невозможности высказаться прямо и определенно указать свой идеаль, на первыхъ порахъ создавали массу недоразумѣній. Формула, которой заканчивалась книга вождя русскаго неомарксизма Струве: "Признаемъ нашу некультурность и пойдемъ на выучку къ капитализму", взятая сама по себъ, безъ связи со всъми скрытыми симпатіями автора вызывала бользненное недоумьніе. Еще болье бользненно дъйствовали полемическія выходки противъ Чернышевскаго и вообще стараго демократизма. Задорно сменлся неомарксизмъ надъ "старичками" субъективизма, думающими, что настроение личности можетъ вести къ измъненію существующаго строя, пренебрежительно отказывался онъ отъ "наследства шестидесятыхъ годовъ", злобно насмъхался надъ идеалистами-народниками, отдающими себя служенію деревив. Получалось впечатлвніе, что реакція неожиданно пріобрвла могущественнаго союзника. Произошель даже такой курьезь: цензура и полиція на первыхъ порахъ покровительственно относились къ теоріи, которая, по насмъшливому опредъленію консервативнаго публициста Головина-Орловскаго, сводится къ тому, чтобы сидъть у моря и ждать погоды. Благодаря этому недоразумвнію, недавно столь строго-преслвдуемое озпакомленіе русской публики съ пдеями Маркса теперь происходило безпрепятственно, и свирвная цензура 90-хъ гг. пропускала то, о чемъ раньше и думать нельзя было. Скоро, конечно, это комическое недоразумѣніе разъяснилось, изъ чисто-книжной борьбы марксизма съ народничествомъ выявилось грозное соціалъ-демократическое теченіе, и органы марксизма "Новое Слово" (1897—98) и "Начало" (1899) были безжалостно закрыты не за какую-нибудь опредѣленную статью, а за общій духъ. Расчухали, наконецъ, въ чемъ дѣло.

Главными теоретиками русскаго марксизма явились Георгій Валентиновичь Плехановь (р. 1857), Петръ Бернгардовичь Струве (р. 1870), въ сферѣ патентованной учености молодой доценть политической экономіи Михаиль Ивановичь Тугань-Барановскій (р. 1865).

Если держаться строго-хронологическихъ рамокъ, то первое яркое выступленіе русскаго марксизма принадлежить Струве, выпустившему въ 1894 г. "Критическія замѣтки къ вопросу объ экономическомъ развитіи Россін". Другой манифестъ русскаго марксизма—
"Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію. Отвѣтъ
гг. Михайловскому, Карѣеву и Ко" Бельтова (псевдонимъ Плеханова)
вышелъ годомъ позже. Но все-таки отцомъ русскаго марксизма слѣдуетъ, конечно, считать Плеханова, который еще въ 1884 г., вмѣстѣ
съ Аксельродомъ, Дейчемъ и Вѣрой Засуличъ, основалъ группу
"Освобожденія труда" и этимъ положилъ основаніе организаціи
русской соціалъ-демократіи. По существу между русскимъ соціалъдемократизмомъ, первымъ стройнымъ выраженіемъ котораго были
"Наши разногласія" Плеханова (1884), и русскимъ "марксизмомъ"
разницы почти нѣтъ. Въ марксизмѣ получила только большее развитіе теорія экономическаго матеріализма.

Въ лицъ Плеханова русская теоретическая мысль выдвинула одного изъ наиболъе блестящихъ своихъ представителей. Илехановъчеловъкъ общирной и разносторонней эрудиціи въ области соціальнополитическихъ наукъ и философіи, человѣкъ, възначительной мѣрѣ вульгарнаго, но все-таки яркаго литературнаго таланта и непреклонной последовательности. То, что составляло столь характерную особенность Чернышевскаго и Михайловскаго ихъумфніе путемъ полемическаго и публицистическаго оживленія пріохотить публику къ отвлеченнымъ и научнымъ вопросамъ, въ еще большей степени присуще Плеханову. Одной изъ характерныхъ сторонъ русскаго соціалъ-демократическаго теченія слёдуєть, вообще, признать, что оно значительно повысило научный уровень революціоннаго мышленія. Прежде революціонное настроеніе исходило преимущественно изъ области возмущеннаго чувства. А соціалъ-демократія пріучила революціонно-настроеннаго интеллигента къ необходимости научно-политическаго обоснованія своего міросозерцанія. И въ этомъ отношенів заслуги

Илеханова очень значительны. Но этоть же ръзкій переходъ отъ "чувства" къ "уму" не могъ не отразиться весьма существенными особенностями соціаль-демократической литературной манеры вообще и Плеханова въ частности. Лиризма, который составляетъ основную черту русской публицистики, начиная съ Бълинскаго, у Плеханова нътъ и слъда. Къ "чувству" и прочимъ "сентиментальностямъ" онъ никогда не апеллируетъ, и это, конечно, вполнъ послъдовательно для представителя ученія, которое уб'єждено, что міромъ правять только реальные интересы. Не знаетъ онъ и какихъ бы то ни было колебаній и сомніній. Истина у него, очевидно, въ кармані, и до самаго последняго времени, когда онъ какъ-то отступиль отъ прямолинейности, Плехановъ былъ олицетвореніемъ самой непреклонной маркснстской "ортодоксіи", не знающей никакихъ уступокъ и компромиссовъ. При доброжелательномъ отношенін, можно этою глубиною убъжденности хоть нёсколько оправдать неслыханную рёзкость Илехановской полемики, часто связанную, увы, не только съ пренебрежительнымъ отношениемъ къ доводамъ противника, но и съ полнымъ ихъ извращеніемъ.

Если до последнихъ 2—3 летъ Плехановъ былъ, пользуясь его же собственною терминологіею, олицетвореніемъ "твердо-каменной" ортодоксіи, то въ такой же степени Струве, напротивъ того, заслуживаетъ высокое званіе искателя истины. Онъ никогда не могъ успоконться на лонъ какой-нибудь одной, широкой или узкой идеи, онъ лихорадочно бросался изъ стороны въ сторону. Но это шатаніе имѣло большую ценность, потому что въ основе его лежала творческая тревога ума вдумчиваго и сердца чуткаго, а главное-ума и сердца мужественнаго, не боявшагося доходить до выводовъ самыхъ враждебныхъ недавнимъ его симпатіямъ. Отсюда постоянное сжиганіе кораблей за собой, отсюда стремительность эволюціи его міровозарінія, переходъ отъ матеріализма къ идеализму, отъ революціонности къ умфренно-либеральной оппозиціи (періодъ издаванія въ Штутгартф, 1903-1905, "Освобожденія"), въ наши дни-столь противоръчащая общему складу духовнаго существа Струве оппортунистская теорія "реальной политики". Во все это Струве вноситъ глубочайшую искренность и стремительность, и всегда онъ безстрашно занимаетъ позицію человіка, навлекающаго на себя самыя ярыя нападки противниковъ.

Глубокая искренность составляеть также отличительную черту политико-эконома и философа Сергия Николаевича Булганова (р. 1871), не игравшаго, собственно, большой роли въ исторіи марксизма и выдвинувшагося поздніве въ качестві одного изъ главарей нео-идеализма. Эта эволюція, въ связи съ увлеченіемъ теократической

философіей Владиміра Соловьева, приняла у Булгакова форму чисторелигіозную.

Аналогичную эволюцію отъ марксизма къ идеализму и даже прямому мистицизму пережиль и философъ-публицисть Николай Александровичь Бердяевь (р. 1874), писатель болье блестящій, чыть вдумчивый. Бердяевь переживаеть фазисы духовнаго перерожденія безь того страданія, которое вложили въ свои превращенія Струве и Булгаковъ.

Кромф Плеханова и Струве, рядъ экономистовъ—Ильинъ (псевдонимъ поздифе пріобрфвшаго громкую извфстность подъ другимъ псевдонимомъ—Ленина—лидера соціалъ-демократизма), Масловъ и мн. др. вели ожесточенную войну съ "народничествомъ". Если въ сферф теоретической соціологіи главнымъ объектомъ полемики марксизма былъ субъективизмъ Михайловскаго, то въ области чисто-экономической марксизмъ яростно нападалъ на оптимизмъ В. В., который, какъ мы уже знаемъ (стр. 92), былъ убфжденъ, что особенности народнаго уклада спасутъ Россію отъ капитализма.

Было бы, однако, великою ошибкою думать, что суть этого ожесточеннаго ратоборства сводилась къ научно-экономическимъ разногласіямь. Не въ политической экономіи туть было дело. Интересъ, съ которымъ въ журналахъ читались статистическія и экономическія статьи, лихорадочныя, горящія лица молодежи, переполнявшей залы заседаній ученыхъ обществъ въ дни докладовъ на экономическія темы, связанныя съ марксизмомъ, разделение на марксистовъ и народниковъ вплоть до такихъ круговъ, где едва ли могло быть вполив точное представление о научной сторонъ вопроса, все это показывало, что вопросъ переросъ научныя рамки. Очевидно, было задъто нъчто основное, нъчто очень сокровенное въ общественной исихологіи. Дальше, въ статъв "Великое Сердце", въ очеркв настроеній эпохи Бѣлинскаго, читатель нашей книги найдетъ характеристику гегельянскихъ увлеченій конца 30-хъ гг. Мы тамъ отмѣчаемъ, что на увлеченін Бѣлинскаго и его друзей гегельянствомъ впервые ярко сказалась та основная черта русскаго усвоенія отвлеченных идей, которая проходить красною нитью чрезъ всю нашу духовную жизнь последнихъ 60-70 лътъ. Въ томъ-то и дъло, что отвлоченныя иден никогда не оставались для насъ, дъйствительно, отвлеченными, а, переходя въ плоть и кровь, быстро переводились на языкъ жизни и становились чемъ-то очень конкретнымъ. Поколеніе сороковыхъ годовъ къ гегелевскому міро-объясненію отнеслось не съ объективымь любопытствомъ любителей теоретическаго мышленія, а внесло въ усвоеніе гегельянства всю страсть людей, ищущихъ духовной опоры и жаждущихъ найти мъру вещей. Для нихъ философія стала въ полномъ смыслъ слова

религіей, не разъ доводившей ихъ до состоянія прямого экстаза. Чисто-научный интересъ отошелъ при этомъ совершенно на второй планъ. "Мы тогда въ философіи искали всего на свютю, кремю чистаго мышленія", говорить Тургеневь въ своихъ воспоминаніяхъ. И это драгоценное свидетельство даеть ключь не только для правильной одънки философскихъ увлеченій эпохи Бълинскаго, весьма мало имъющихъ общаго съ заправскою философіею. Ту же малонаучную, исключительно жизненную окраску носять всё дальнейшія движенія русской теоретической мысли, вилоть до нашихъ дней. Послѣ Гегеля—французскіе мыслители 40-хъ годовъ; въ 60-хъ годахъ-ньмецкие матеріалисты, Дарвинъ, Милль, Бокль; въ 70-хъ и 80-хъ гг. -- соціологія; затёмъ марксизмъ, экономическій матеріализмъ, Нитче-все это не болье, какъ отправные пункты. Къ каждой скольконибудь яркой научной теоріи русская тоска по правді подходить съ запросомъ "какъ мнѣ жить" и влагаетъ въ нихъ столько жгучаго жизненнаго содержанія, что чисто-научное содержаніе отходить совершенно на второй планъ.

И суть марксизма всего менье въ политической экономіи, а въ томъ, что въ угнетенной психологіи человька Побъдоносцевскаго лихольтья произошель тотъ "переваль", о которомъ было сказано въ началь главы. Дъло тутъ въ крупной перемьнь общественной психологіи, въ подъемь революціоннаго чувства.

Мы знаемъ, что царило уныніе. Революція, казалось, была сражена надолго, побѣдоносцевщина злобно и нагло торжествовала, общество сбѣжало въ подворотню. Не видно было никакого просвѣта, все было мрачно, тяжело, и усталое поколѣніе 70-хъ годовъ погрузилось въ безнадежное отчаяніе. Началось даже разложеніе среди руководящихъ сферъ движенія, пошло повальное ренегатство, дѣло дошло до дегаевщины и превращенія члена Исполнительнаго Комитета Тихомирова въ апологета самодержавія. Въ смыслѣ активнаго воздѣйствія на ходъ русской исторіи роль поколѣнія 70-хъ годовъ, замученнаго въ каторгѣ и якутскихъ тундрахъ, была сыграна. Для борьбы съ твердынею стараго режима всегда требовалось горячечное возбужденіе, и не меланхолическая психологія "недобитыхъ бойцовъ" могла дать этотъ экстазъ.

Требовался новый подъемъ духа, и его могла дать только молодость, для которой все преодолимо, которая при всёхъ условіяхъ находить въ своей совёсти категорическіе императивы броситься въ битву съ силами тьмы.

И вотъ въ этой естественной смѣнѣ усталости и нервнаго подъема и былъ историческій смыслъ марксизма, совершенно независимо отъ новаго пониманія того же самаго Маркса, книга котораю была

евангеліемъ и для покольнія 70-хъ годовъ. Но, конечно, народившееся новое покольніе, которому было противно ныть и отчанваться, въ которомъ кипьли молодыя силы, не отказывалось извлечь пользу изъ уроковъ прошлаго. А урокъ этотъ заключался въ томъ, прежде всего, что твердыню самодержавія однимъ героизмомъ взять нельзя. Надо привлечь широкія массы, надо организовать народныя силы, и для этого капитализмъ, создающій фабричную жизнь, не только не помѣха, а, напротивъ того, превосходньйшая школа. Фабрика создаетъ культурныя привычки и сознательность. Егдо, да здравствуетъ капитализмъ, какъ естественная переходная ступень къ вождельному будущему, какъ путь привлеченія къ дѣлу освобожденія родины не только отдѣльныхъ героевъ, но и всего обездоленнаго народа.

Но для того, чтобы увѣровать въ такой затяжной способъ, и нужна была молодость, перспектива того, что тебѣ еще предстоитъ долго жить. Революція 70-хъ годовъ уже устала работать для будущаго, а выходившее на арену политической борьбы поколѣніе 90-хъ годовъ дѣлало только первые шаги и было полно силъ. И вотъ въ этой рѣшимости предпринять долгую осаду, въ этой молодой готовности довести дѣло до конца и заключается историческій смыслъ марксизма, совершенно независимо отъ политико-экономической подкладки ученія.

Повторяемъ, весь марксизмъ сводится къ замѣнѣ поколѣнія, уставшаго отъ неудачъ, поколѣніемъ свѣжимъ, къ приливу общественной и революціонной бодрости, а не къ забавной въ устахъ студентовъ и курсистокъ "борьбѣ классовъ". Поэтому, какъ ни смотрѣть на марксизмъ, совершенно неоспоримо, что онъ имѣлъ огромное и оздоровляющее значеніе, какъ яркій показатель того, что апатія, овладѣвшая обществомъ подъ вліяніемъ реакцін восьмидесятыхъ годовъ и доведшая его до полнаго индифферентизма, прошла.

На первыхъ порахъ можно было смущаться тѣмъ, что марксизмъ якобы есть апооеозъ силы, что онъ знаменуетъ собою какое-то ослабленіе порывовъ самоотверженія. Но вѣдь проповѣдниками обезвемеленія народа и превращенія его въ фабричныхъ пролетаріевъ явились не фабриканты и промышленники, а такіе же искренніе радѣтели о благѣ народномъ, какъ и тѣ, которыхъ они упрекаютъ въ сентиментализмѣ. И марксизмъ, слѣдовательно, былъ движеніемъ чисто-идейнымъ и идеалистическимъ, самымъ фактомъ своего существованія представлявшій яркое опроверженіе теоріи экономическаго матеріализма и борьбы классовъ. Такъ же, какъ мнимый матеріализмъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ по существу своему былъ самымъ мечтательнымъ романтизмомъ, такъ и "экономическій матеріализмъ" девятидесятыхъ годовъ есть продол-

женіе общаго идеалистическаго стремленія лучшей части русскаго общества загладить свою историческую вину передъ народомъ. По остроумному сопоставленію Владиміра Соловьева, русскій матеріализмъ и "нигилизмъ" говорилъ: "Человѣкъ происходитъ отъ обезьяны, слюдовательно, положимте жизнь нашу за други наши". Про "экономическій матеріализмъ" можно сказать въ томъ же родѣ: "Все въ исторіи дѣлается по побужденіямъ экономическимъ, все въ жизни есть борьба интересовъ, слюдовательно, мы, ничего общаго не имѣщіе съ тѣми интересами, за ксторые ратуемъ, давайте доставимъ имъ торжество и побѣду".

Оживленіе, внесенное марксизмомъ, выразилось прежде всего въ нарожденій новыхъ журналовъ, всецьло посвященныхъ отстаиванію новаго міровоззрѣнія. Изъ нихъ "Новому Слову" (1897—98), во главѣ котораго стояли Струве и Туганъ-Барановскій, удалось просуществовать съ небольшимъ годъ, "Началу" (та же редакція) всего нѣсколько мъсяцевъ (1899). Ихъ мъсто заняла уже въ 1901 г. задавленная цензурою "Жизнь", быстро получившая огромное количество подписчиковъ. Это служило показателемъ того, что зашевелился не только писатель, но и читатель. Фактическимъ редакторомъ журнала быль публицисть Владимірь Александровичь Поссе (р. 1864). Литературный критикь "Жизни" Евгеній Андреевичь Соловьевь (1866— 1905; извъстенъ и подъ псевдонимами Скриба и Андреевичъ) былъ писатель очень разухабистый, неряшливый вплоть до плагіата, порою вульгарный, но, въ общемъ, все таки, безспорно талантливый не разъ даже прямо блестящій. Марксизмъ далъ опредёленную нить его писаніямъ, до того довольно хаотичнымъ. Съ увлеченіемъ сталъ онъ анализировать русскую литературу какъ проявление борьбы классовъ и сословій и сводилъ все къ смѣнѣ "дворянскаго" прекраснодушія озлобленіемъ "разночинца" и къ предчувствію грядущей побѣды у представителей лозунга пролетаріата. Въ это прокрустово ложе марксистской схемы Соловьевъ вгоняль все разнообразіе отдёльныхъ писательскихъ темпераментовъ и художественныхъ силъ. Но поздиве, когда эксцессы марксизма изсколько улеглись, Соловьевъ въ своемъ "Опыть философіи русской литературы" (1905) уже опредъляеть "господствующую идею нашей литературы какъ аболиціонисткую, освободительную". Для него теперь "литература — борьба за освобожденіе личности и личнаго начала—прежде всего". Такимъ образомъ, "борьба классовъ" какъ будто забыта. Вполнъ правильно подчеркиваетъ теперь Соловьевъ "подвижничество за народъ" всей русской интеллигенціи безъ различія "классовъ".

Органомъ марксизма въ значительной степени былъ и широ-

ко-распространенный "Міръ Божій", основанный Александрой Аркадьевной Давыдовой (†1902) и педагогомъ-критикомъ Викторомъ Петровичемъ Острогорскимъ (1840—1902), Главнымъ дѣятелемъ журнала былъ Ангелъ Ивановичъ Богдановичъ (1860—1907), ѣдкія "Критическія замѣтки" котораго одно время заняли мѣсто въ ряду наиболѣе читаемыхъ литературныхъ обозрѣній.

Изъ беллетристовъ марксизма раньше другихъ получили извъстность Евгеній Николаевичь Чириковь (р. 1864) и Вересаевь (псевдонимъ Викентія Викентьевича Смидовича, р. 1867). Поздиве Чириковъ сосредоточивается на психологическихъ разсказахъ и жанровыхъ драмахъ, но выступилъ онъ съ ръзкимъ вышучиваніемъ народниковъ, которыхъ объявилъ "иввалидами". Имъ предлагалось выходить "въ отставку". Народъ уже всего менте окруженъ здъсь ореоломъ; слышится другой призывъ-направить интеллигентные порывы изъ деревни въ городъ, гдв зарождается и могуче крвпнетъ сознательность пролетаріата. Но не просто разочарованіе въ народі, а прямое. озлобление составляеть содержание первыхъ разсказовъ и повъстей Вересаева. Позднъе Вересаевъ вызвалъ страшный шумъ въ печати своими "Записками врача". Самъ врачъ, онъ съ замъчательною искусностью выставиль темныя стороны врачебной деятельности, съ ея необходимостью всегда принимать опредъленное ръшеніе даже въ техъ случаяхъ, когда врачъ и по слабости своихъ познаній, и по безпомощности науки, должень однако поступать такъ. какъ будто никакихъ колебаній нётъ. Съ тою же безпощадною искренностью Вересаевъ въ первыхъ своихъ разсказахъ обрисовалъ трагедію народническо-настроенной интеллигенціи при столкновенів съ народнымъ невѣжествомъ. Безъ всякихъ иллюзій отнесся онъ къ народной дикости поставиль ребромь страшный вопрось: да стоить ли приносить жертвы для этихъ дикарей? И, на фонъ извъстныхъ убійствъ докторовъ въ холеру начала 90-хъ гг., онъ давалъ отвѣтъ отрицательный. Истинное страданіе, съ которымъ давался отвъть, связанный съ отказомъ отъ того, что такъ недавно еще составляло единственный смыслъ жизни, -- все это придавало глубокій интересъ произведеніямъ Вересаева и скрашивало слабость чисто-художественныхъ силъ симпатичнаго автора, сплошь да рядомъ сбивавшагося на прямую публицистику.

И Чириковъ и Вересаевъ характеризуютъ собою только первую стадію марксизма, именно поскольку онъ порываль съ преклоненіемъ передъ народомъ. Полнымъ же выраженіемъ той бодрости и широты порыва, которыя составляютъ суть марксизма, явился Алексюй Максимовичъ Пъшновъ (р. 1869), достигшій всемірной извъстности подъ псевдонимомъ Мансимъ Горькій.

Колоритная біограф я этого писателя, поднявшагося съ самаго "пна" жизни, изпоминаетъ волшебную сказку. Исторія литеразнаетъ примъровъ такого поразительно быстраго и туры не такого головокружительнаго успъха, какой выпаль на долю Горькаго. А самое характерное въ этомъ успъхъ — стихійность. Всъ тв. которые обласкали Горькаго при первыхъ шагахъ его на литературномъ поприщв, распознали въ немъ лишь никоторый талантъ. Никому изъ нихъ и приблизительно не приходило въ голозу и самое отдаленное представление о томь, какая судьба ждетъ талантливаго, но "неуравновъшеннаго" самородка, которому они болье или менье снисходительно покровительствовали. И не только покровители Горькаго, но и самъ онъ не имълъ и самаго скромнаго представленія о внутренней силь своихъ произведеній. Въ автобіографическомъ очеркѣ, составленномъ для литературнаго архива автора настоящей книги, Горькій говориль въ самомъ концѣ 1897 г.: "До сей поры еще не написаль ни одной вещи, которая бы меня удовлетворяла, а потому прозведеній моихъ не сохраняю". А уже черезь полгода, выпустивши 2 тома тыхь самыхь "вещей", которыя и "сохранять" не стоитъ, Горькій, подобно Байрону, могъ сказать, что въ одно прекрасное утро онъ проснулся знаменитостью. Вопросъ о томъ, кто создалъ эту внезапную популярность, представляеть очень большой интересъ для характеристики эпохи. Въ томъ-то и цёло, что сказочный успёхъ Горькаго создала исключительно публика, доставивъ небывалый книгопродавческій успѣхъ его разсказамъ. Критика не больше какъ похваливала, а восторженно аплодировалъ только читатель.

Успѣхъ Горькаго, конечно, обусловленъ прежде всего тѣмъ, чтоу него яркое, истинно-художественное дарованіе, которое не рѣшаются отрицать самые злые ненавистники его. Увлекаютъ въ немъ его замвчательная наблюдательность, замвчательная колоритность, заражающая читателя свежесть воспріятія, не быкновенно высокое развитие чувства природы, первостепенная мёткость афоризма. А больше всего увлекала колоритность Горькаго. Жизнь свра, и русская въ особенности, но зоркій глазъ Горькаго и жадчое стремление его скрасить тусклость обыденщины сделали чудеса. Полный романическихъ порываній, Горькій сумѣлъ найти живописную яркость тамъ, гдф до него видели одну безцветную грязь, н вывель передь изумленнымь читателемь цёлую галлерею типовъ, мимо которыхъ мы прежде совершенно равнодушео проходили, не подозрѣвая, что здѣсь столько захватывающаго интереса. Какъ ярка и интересна Мальва-эта смѣсь безсердечной Карменъ съ русской тоской, и кто-бы подумаль, чтобы можно было найти такую колоритную фигуру на грязномъ, вонючемъ рыбномъ промыслѣ. Какое клокотаніе страстей въ превосходномъ разсказѣ "На плотахъ", хотя героп его—самые ординарные мужики. Подошедши къ народу не со стороны, не какъ наблюдатель, а какъ человѣкъ, описывающій свое кровное, да просто самого себя со своими порывами, Горькій открылъ намъ das ewig Menschliche и полноправныхъ людей тамъ, гдѣ мы видѣли низшую расу и въ лучшемъ случаѣ снисходительно соглашались признать хотя и "братью", но "младшую".

Увлекала затемъ въ Горькомъ свежесть воспріятія, то, что какъ дурное, такъ и хорошее жизни Горькій чувствуеть чрезвычайно сильно. Ему "новы всв впечатлвнія бытія", и это-то сообщаеть силу его лиризму и даетъ ему душевный подъемъ. Особенно и неизмѣнно воодушевляеть Горькаго природа. Почти въ каждомъ изъ удачныхъ разсказовъ Горькаго есть прекрасныя и своеобразныя описанія природы. Это необычный пейзажь, связанный съ чисто-эстетическою эмоцією. Какъ только Горькій прикасается къ природъ, онъ точно мвняется, исчезаеть озлобленіе, онь весь поддается очарованію какого-то великаго цълаго, которое ему всего менъе кажется безстрастнымъ и равнодушно-холоднымъ. Въ какой бы подвалъ судьба ни забросила героевъ Горькаго, они всегда подсмотрятъ "кусочекъ голубого неба". Чувство красоты природы захватываетъ Горькаго и его героевъ тъмъ сильнъе, что эта красота -- самое свътло изъ доступныхъ босяку наслажденій. Стремленіе Коновалова къ бродяжеству имфетъ основой желаніе видфть новое п "красоты всякой". Вотъ почему любовь къ природъ у Горькаго совершенно лишена сентиментальности, которая всегда есть результать извъстной искусственности. Онъ рисуетъ всегда мажорно, природа его подбодряетъ и даеть смысль жизни. Какъ это ни удивительно для "босяка", но сплошь да рядомъ Горькій черезъ красоту приходить къ правдю.

Вполив естественно, что въ пору почти безсознательнаго творчества Горькаго и въ самыхъ раннихъ вещахъ его — "Макарв Чудрв", "Старухв Изергиль" и др. жажда "красоты всякой" привела къ тому, что тотъ же Горькій, котораго литературные аристократы обвиняютъ въ оскверненіи литературы грязными картинами "дна" жизни, вмёств съ твмъ подвергается и упрекамъ въ томъ, что онъ воскресилъ вычуркость Марлинскаго. Упрекъ формально ввренъ, но неправильно освещенъ. Дъло въ томъ, что искренній душевный порывъ къ красотв, который Горькій вложилъ въ эту, съ общей точки зрвнія, литературную фольгу, отнимають у "марлинизма" его главный недостатокъ всякой вычурности — ея искусственность. А уже прямо силу Горькаго составляеть

то, что тоже не разъ ставилось ему въ упрекъ—общій налеть своеобразнаго романтизма и кипънія страстей, свойственный всѣмъ его наиболье озлобленнымъ героямъ и типамъ. Конечно, Горькій—романтикъ, но это не слабость его, а сила: тутъ-то мы и подходимъ къ главной причинъ, почему онъ такъ бурно завоевалъ симпатін изнывшаго отъ гнета сърой обыденщины русскаго читателя.

Заражала его гордая и бодрая въра въ силу и значение личности, отразившая въ себъ одинъ изъ знаменательнъйшихъ переворотовъ русской общественной психологіи. Горькій, съ одной стороны, — органическій продукть и художественное воплощеніе того индивидуалистическаго направленія, которое приняла европейская мысль послёднихъ 20-25 лѣтъ. Ничего не значитъ, что герои его разсказовъ "босяки" и всяческіе отбросы общества. У Пушкина, въ началь его двятельности, мьсто двиствія—разбойничьи вертепы и цыганскіе таборы. И, однако, это было полнымъ выражениемъ байронизма, т. е. умственнаго и душевнаго теченія, вышедшаго изъ надръ самыхъ культурныхъ слоевъ самой культурной изъ европейскихъ націй. Нать поэтому ничего необычайнаго и въ томъ, что устами босяковъ Горькаго говорить самая новая полоса европейской и русской культуры. Философія этихъ босяковъ — своеобразнѣй шая амальгама жесткаго нитчеанскаго поклоненія силь съ тьмъ безграничнымъ, всепроникающимъ альтруизмомъ и самопожертвованіемъ, которыя составляютъ основу русскаго демократизма. Изъ нитчеанства тутъ взята только твердость воли, изърусскаго народолюбія—вся сила стремленія къ идеалу. Въ результать получилось свъжее, бодрое настроеніе, манящее къ тому, чтобы отстоять свое a, не дать злу міра поглотить себя, сбросить ту апатію, которою характеризуется унылая полоса 80-хъ годовъ. Горькій пришель въ литературу, когда нытье и половинчатость, нашедшія свое художественное воплощеніе въ "сумеречныхъ", надорванныхъ герояхъ Чехова уступили мъсто совсъмъ иному настроенію, когда страстная потребность жить полною жизнью снова воскресла, а вмёстё съ тёмъ воскресла и готовность отстоять свои идеалы. Ein rechte Wort zur rechten Stunde — подходящее слово въ подходящій моменть, да еще слово колоритное, яркое, художественно-захватывающее-какъ такому счастливому соединенію всёхъ благопріятныхъ элементовъ литературной удачи не имъть усиъха самаго осль-

Приливъ общественной бодрости и страстный порывъ къ полнотѣ жизни, которымъ знаменуется вторая половина 90-хъ годовъ, получили свое опредѣленное выраженіе въ марксизмѣ и, поскольку это доступно художественному творчеству, Горькій пророкъ его. Вѣрнѣе, впрочемъ, будетъ сказать, что онъ одинъ изъ создателей его,

потому что основные типы Горькаго создались тогда, когда теоретики русскаго марксизма только что формулировали его основныя положенія. Кардинальная черта марксизма-отказъ отъ народническаго благогованія преда крестьянствома, красною нитью проходить чреза вса первые разсказы Горькаго. Ему — пфвцу безграничной свободы, противна мелко-буржуазная привязанность къ земль, и устами наиболье яркихъ героевъ своихъ-Пиляя, Челкаша, Сережки изъ "Мальвы"--онъ не стъсняется даже говорить о мужикъ съ прямымъ пренебрежениемъ. Одинъ изъ наиболе удачныхъ разсказовъ Горькаго "Челкашъ" прямо построенъ на томъ, что романтичный контрабандистъ Челкашъвесь порывъ и размахъ широкой натуры, а добродътельный крестьянинъ-мелкая натуришка, вся трусливая добродетель котораго исчезаеть при первой возможности поживиться. Но еще тфсифе связываетъ Горькаго съ марксизмомъ отсутствіе той несомнѣнно-барской сентиментальности, изъкотораго исходило прежнее народолюбіе. Если прежній демократизмъ русской литературы былъ порывомъ великодушнаго отказа отъ правъ и привилегій, то въ произведеніяхъ Горькаго передъ нами яркая "борьба классовъ". Пъвецъ грядущаго торжества пролетаріата ни мало не желаеть апеллировать къ старонародническому чувству состраданія къ униженнымъ и оскорбленнымъ. Передъ нами настроеніе, которое само собирается добыть себъ все, что ему нужно, а не выклянчить подачку. Теперешній порядокъ Горьковскій босякъ, какъ соціальный типъ, сознательно ненавидить всею душою. Тоскующій въ условіяхъ серой обыденщины пролетарій Орловъ ("Супруги Орловы") мечтаетъ о томъ, какъ "раздробить бы всю землю въ пыль или собрать шайку товарищей или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всвхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты... И сказать имъ: ахъ вы, гады! Зачемъ живете? Какъ живете? Жулье вы лицемърное и больше ничего". Въдругомъ мёсть онъ собирается всьхъ "передушить" и, конечно, смешно было бы усмотръть туть опредъленную угрозу, но ненависть къ существующему строю, конечно, сказалась во всей силь. Выдвинутый нькогда Бакунинымъ лозунгъ "Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust"—страсть къразрушенію — страсть зиждующая — несомивино, ярко проходить чрезъ настроеніе всего творчества Горькаго. Идеалъ его— "буревастникъ" изъ написанной ритмической прозой "Пасни о буревѣстникъ". Унылыя и робкія "чайки стонутъ передъ бурей"; не то буревъстникъ, въ крикъ котораго страстная "жажда бури". "Силу гнава, пламя страсти и уваренность побады слышать тучи въ этомъ крикъ". Буревъстникъ "ръетъ смъло и свободно надъ съдымъ отъ пъны моремъ", всъ его вожделънія сводятся къ одному-, пусть сильнве грянеть буря".

Одна ли "борьба классовъ" одушевляеть, однако, Горькаго, какъ и весь марксизмъ вообще?

Вотъ превосходная, коронная преса Горькаго "На дий", тесно связанная съ его же типами "бывшихъ людей". Предъ нами опять ночлежка, опять мнимые босяки, ярко и образно философствующіе о смысл'в жизни. Предъ нами опять лишь внашнее несоотватстве, которое не помашало, однако, разбойникамъ Шиллера, пиратамъ Байрона, цыганамъ Пушкина, черкешенкамъ Лермонтова отразить настроеніе цёлаго всемірноисторическаго теченія. Съ одной стороны, герои пьесы-люди, которыхъ никакъ не причислишь къ сентиментальной породъ "униженныхъ и оскорбленныхъ". Они нимало не жаждутъ состраданія, они-принципіальные враги существующаго порядка, работу презирають, въ благотворность ея не върять. Но, помимо ихъ воли, все существо ихъ проникнуто тоскою по чему-то положительному, хотя бы въ формъ какого-нибудь красиваго призрака. Центральною фигурою является своеобразный праведникь, странникь Лука, создающій цьлую стройную теорію возвышающаго обмана. Въ лицъ Луки индивидуализмъ доведенъ до крайнихъ пределовъ. Все существуетъ постольку, поскольку я тутъ причастенъ. Есть ли Богъ? "Коли въришьесть; не въришь, -- нътъ... Во что въришь, то и есть". Нужна ли истина даже въ смыслъ простой достовърности? Если она разрушаетъ пріятную мив иллюзію будь она проклята. Сосредоточеніе всего міра въ сознаніи личности получаеть свое центральное выраженіе въ ставшемъ знаменитымъ изречении мнимаго зциника Сатина: "Человъкъ-это звучитъ гордо!" И яркое сознаніе личности, конечно, составляеть тоть Leitmotiw, который проходить черезь всю литературную деятельность Горькаго. Но столь же важно для характеристики Горькаго и то, что сознаніе личности теснейшимъ образомъ связано въ немъ со стремленіемъ къ идеалу. Устами актера изъ "На див" онъ съ увлеченіемъ повторяеть стихи: "Честь безумцу, который навъстъ человъчеству сонъ золотой". И въ общемъ, всею совокупностью своей общественно-политической и литературной даятельности Горькій входить въ исторію литературы какъ человінь, пропрвшій моглам прсне "сездиства храбряхь".





Писатель-гражданинъ.

(Письма Н. В. Гоголя. Редакція В. И. Шенрока. Изданіе А. Ф. Маркса. 4 тома. Спб. 1901).

Наступаетъ пятидесятилътіе заключительнаго момента одной изъ самыхъ страшныхъ драмъ, какія только знаетъ исторія человъческихъ страданій. Драмы, тъмъ особенно страшной, что вся она произошла безъ всякаго внъшняго повода. Нътъ въ ней тъхъ ударовъ судьбы, которые мы привыкли видъть, какъ въ драмахъ, созданныхъ воображеніемъ писателей, какъ и созданныхъ самою жизнью и въ необычайности которыхъ сознаніе страдающаго подъ ихъ тяжестью находитъ своего рода утъшеніе. Въ трагическомъ завершеніи жизни Гоголя весь узелъ драмы былъ въ собственной психологіи страдавшаго, въ томъ, что всю жизнь онъ тосковалъ, всю жизнь метался въ тревожныхъ поискахъ. Мучительно искалъ онъ сначала пути, на которомъ могъ бы выразить всю полноту того, что скопилось у него на душъ, а затъмъ съ тою же мукою усомнился, правиленъ ли найденный путь, несмотря на весь блескъ и утъхи славы, къ которымъ онъ его привелъ.

Есть цѣлый рядъ объясненій гоголевской тоски. Главнѣншія изъ нихъ сводять ее либо къ причинамъ паталого-психіатрическаго свойства, либо къ тому, что Гоголь палъ подъ тяжестью тѣхъ огромныхъ ожиданій, которыя на него возлагали послѣ "Ревизора" и "Мертвыхъ душъ" и оправдать которыя онъ не чувствовалъ себя въ состояніи.

Ни одно изъ этихъ объясненій не выдерживаетъ сколько-нибудь серьезной критики, потому что они либо фактически невѣрны, либо скользятъ по поверхности. Особенно поражаетъ своею несостоятельностью весьма, однако, распространенное убѣжденіе, что Гоголь впалъ въ безысходную тоску отъ сознанія своего творческаго безсилія. Это убѣжденіе основывается на томъ, правда, весьма важномъ фактѣ,

что Гоголь собственноручно сжегъ вторую часть "Мертвыхъ душъ". Но при этомъ никто, однако же, не обращаетъ вниманія на ничтожность промежутка, отдъляющаго выходъ первой части "Мертвыхъ душъ" отъ "Избранной переписки съ друзьями", гдѣ съ такою торжественностью говорилось объ уничтоженіи продолженія великой "поэмы". "Мертвыя души" появились въ 1842 г., "Переписка" въ 1846 г. уже вышла въ свътъ, но начата гораздо раньше: первыя письма, вошедшія въ нее, относятся къ 1843 г. Когда же, спрашивается, Гоголь могъ почувствовать такъ ясно свое безсиліе, чтобы впасть отъ сознанія его въ безнадежное отчаяніе? Всякое свое произведение Гоголь вынашиваль долгими годами, безконечно ихъ передълывая и даже создавъ цълую теорію многольтняго "вылеживанія" произведеній въ авторскомъ портфель. У него въ раннихъ годахъ, въ періодъ полнаго расцвѣта творческихъ силъ, были годы, когда онъ почти ничего не писалъ. Таковъ, напримъръ, весь 1833 годъ. Но онъ отъ этого, однако, не впадалъ въ отчаяние и подчасъ добродушно самъ подсмънвался надъ собою въ письмахъ къ близкимъ и только ругалъ свою "лѣнь". А тутъ вдругъ черезъ два-три года, когда еще не остыль пыль первыхъ похваль, когда еще въ критикъ ломались конья за и противъ великаго произведенія, Гоголь почему-то долженъ былъ такъ безнадежно-ясно узрѣть свою неспособность оправдать великія ожиданія, чтобы печатно поставить крестъ на всей своей писательской деятельности.

Несравненно больше правдоподобія въ попыткахъ медицинскипсихіатрическаго объясненія гоголевской тоски. Очень можетъ быть, что оно фактически вѣрно, даже оставляя въ сторонѣ соблазнительную теорію сродства генія и ненормальности. Весьма вѣроятно, что въ индивидуальной психо-физической организаціи меланхоличнаго съ самыхъ раннихъ лѣтъ Гоголя было опредѣленное предрасположеніе къ его печальному концу, къ той страшной подавленности, при которой какой-нибудь изступленно-невѣжественный изувѣръ могъ стать полнымъ повелителемъ его исчезающаго сознанія.

Но допустимъ даже полную обоснованность гипотезы исихіатрическаго происхожденія безпокойнаго метанія Гоголя и его бользненныхъ понсковъ "настоящаго" пути. И все мы не получаемъ туть ключа къ пониманію того разряда нравственныхъ страданій, которыя съ такою мучительностью пресльдовали Гоголя цьлую половину жизни, чтобы не сказать всю. Вьдь "незримыя міру слезы" душили его грудь и въ эпоху полнаго расцвьта его "видимаго смъха", когда еще и помина не было ни о явно-психіатрическихъ проявленіяхъ посльднихъ льтъ, ни объ упадкъ творческой силы. Почти одновременно съ Гоголемъ умеръ уже всецьло принадлежащій психіатріи.

Батюшковъ, человъкъ тоже съ очень тонкой душевной организаціей и изящнымъ духомъ. Однако же, въ творчествъ Батюшкова, за сравнительно незначительными исключеніями, совершенно ніть грустныхъ нотъ, и въ исторіи русской литературы онъ-одинъ изъ самыхъ яркихъ представителей вакхическихъ возгласовъ въ честь любви и наслажденія. Психіатрическое объясненіе, слёдовательно, ровно ничего не объясняетъ. Оно только указываетъ почву, на которой создается душевная неуравновъшенность, но нимало не опредъляеть ни ея формъ, ни ея проявленій. Даже при явномъ и формальномъ нарушенін сознательной діятельности, не почва является опреділителемъ уклоненія отъ нормы, а тѣ сѣмена, которыя въ нее брошены окружающимъ міромъ. Вспомните Гаршинскій "Красный цвътокъ", въ одно и то же время и глубоко-реальный и глубоко-символическій, въ одно и то же время и "выдумка" и горькая автобіографическая правда. Красный цвътокъ, получившій въ больномъ мозгу героя разсказа такое необычайное значение, символизируетъ собою міросозерцаніе всего покольнія, къ которому этотъ герой принадлежаль. Безуміе его заключалось только въ томъ, что онъ представляль себъ такъ удобоисполнимой побъду надъ зломъ. Но въ самомъ порывъ, въ страстномъ стремлении сорвать все зло міра безумный представитель покольнія семидесятыхъ годовъ ярко отразилъ собою завътныя думы всёхъ своихъ сверстниковъ.

Свойства гоголевской тоски также переносять ее изъ узкой и патологической сферы личнаго недуга, личной меланхоліи въ широкую область общественныхъ настроеній. Великій представитель великаго народа, Гоголь выразиль въ своей тоскъ одинъ изъ знаменательнъйшихъ моментовъ въ исторіи самосознанія этого народа. Будь его тоска его личнымъ недугомъ или свойствомъ, онъ бы ею никого не заразилъ, а если бы кого и заразилъ, то къ невыгодъ. Но на самомъ дълъ гоголевская тоска по общественномъ и нравственномъ совершенствъ, подъ конецъ разошедшаяся сълучшею частью общества въпутяхъдостиженія, но не въ силь и свойствахъ самого порыва, явилась творческимъ началомъ всей последующей русской литературы. Велика и славна теперь во всемъ мірѣ русская литература и славна именно своею тоскою по идеалу, тѣмъ, что ей, по гоголевскому возгласу въ одной изъ самыхъ "веселыхъ" его повъстей, "скучно на этомъ свътъ", доколъ въ немъ властно царитъ пошлость. Все это идетъ отъ Гоголя, и страннымъ недоразумѣніемъ является часто дебатируемый вопросъ: отъ кого пошла новъйшая русская литература—отъ Пушкина или отъ Гоголя. Она пошла и отъ того и отъ другого. Въ лицъ Пушкина подражательная до него русская литература обръла свой собственный духовный обликъ, стала по творческой способности наряду съ литературою

самыхъ культурныхъ европейскихъ народовъ. Пушкинъ далъ ей "этотъ чудный, мощный языкъ", хранить который во всей его неприкосновенности завъщалъ своимъ преемникамъ цълыхъ полвъка спустя умирающій Тургеневъ, далъ ей недосягаемые до сихъ поръ образцы художественной гармоничности и законченности, наконецъ, вывелъ ее на путь здороваго реализма, идя по которому простота не рискуеть впасть въ низменность и вульгарность. Въ лицъ Пушкина литература въ Россін перестала быть забавою и превратилась въ національное дёло, въ которомъ сказалась вся мощь народнаго духа. Но Пушкинъ именно выразилъ только полноту силъ. Пушкинъ-это ясная улыбка пробудившагося сознанія своей мощи, радостное ощущеніе переливающейся по всёмъ жиламъ молодой свёжей жизни. Но такое довольство не могло долго длиться, какъ не длится долго радостное возбуждение и въ реальной жизни вошедшаго въ полную силу человъка. Не замедлили овладъть лучшею частью молодого русскаго общества и тревога, и мятежное исканіе. Эти порожденія душевной неудовлетворенности были уже чужды Пушкину, какъ выразителю совсёмъ иной стадіи развитія русскаго духа, какъ человёку, удивительно-художественная цёльность котораго была проявленіемъ натуры ясно-созерцательной, стремящейся къ стройности и гармоничности и органически враждебной всякимъ диссонансамъ. Въ этомъ смыслѣ новъйшая русская литература, съ ея "святымъ недовольствомъ", съ ея лихорадочною порывистостью, не могла пойти отъ Пушкина. Общій мажорный тонъ пушкинской поэзін не подходиль болбе къ новому настроенію. "Я слезъ хочу, певецъ", говорила эта новая душевная потребность и, какъ всякое сильное настроеніе, быстро нашла выражение вы наиболье одареннныхъ представителяхъ своего времени-въ горькомъ смѣхѣ Гоголя и мрачномъ озлобленіи Лермонтова.

Разъ сдвинутая сильнымъ импульсомъ съ той или другой позиціи, общественная мысль не можетъ не дойти до полнаго своего логическаго развитія, если въ основѣ его лежитъ дѣйствительно глубокое чувство. Въ частности по отношенію къ Гоголю, орудіе такой страшной силы, анализъ такой сокрушающей ѣдкости, какой былъ данъ ему въ удѣлъ отъ природы, не могъ не привести къ самымъ разительнымъ результатамъ, какъ только онъ былъ приложенъ къ крупнымъ явленіямъ жизни. Пусть самъ Гоголь испугался своихъ произведеній, пусть онъ по поводу "Ревизора" увѣряетъ себя и другихъ, что напрасно "частное принимать за общее, случай за правило" (Письма I, 371). Было поздно. Ударивъ якобы только по "шести чиновникамъ", бичъ его сатиры въ дѣйствительности ударилъ по всему строю общетвенно-государственной организаціи. Прокатившись затѣмъ вмѣстѣ

съ Чичиковымъ по Россіи и отконавъ въ этой повздкв только коллекцію правственныхъ уродовъ и въ лучшемъ случав Тентетниковыхъ и Маниловыхъ, Гоголь далъ такую пищу общественному анализу, который уже ни къ чему другому не могъ привести, какъ къ сознанію полной несостоятельности такой безотрадной двиствительности. Вотъ почему тоска и отчаяніе Гоголя носили въ себв творческое начало, вотъ почему онъ навсегда останется дорогъ русской общественной мысли, какъ писатель-гражданинъ по преимуществу.

Задача настоящей статьи извлечь изъ новыхъ матеріаловъ о Гоголь, появившихся въ посльднее время, новыя доказательства того, что духовное существо Гоголя было прямо переполнено гражданскими стремленіями и притомъ вовсе не такъ безсознательно, какъ обыкновенно принято думать.

I.

На первый взглядь ни къ кому изъ русскихъ писателей не примънимо въ такой степени понятие о безсознательности творчества, какъ къ Гоголю. Относительно большинства другихъ великихъ представителей русскаго слова можно установить прямую и непосредственную связь между ихъ теоретическими воззрѣніями и ихъ художественною дѣятельностью. Возьмемъ опять Цушкина, съ которымъ мы уже сопоставляли Гоголя. Какъ ни "ясенъ" онъ въ своемъ взглядѣ на міръ и жизнь, но онъ никогда, однако, не оставался безучастнымъ къ тому, что вокругъ него происходило, былъ темъ эхомъ, съ которымъ онъ сравнивалъ поэта. Лира его давала "откликъ" на "всякій звукъ", и, въ общемъ мудро-уравновъшенная, все-таки посылала "отвътъ" не только пъснъ "дъвы за холмомъ", но и "грохоту громовъ и гласу бури и валовъ". Вотъ почему было время, когда движеніе, создавшее декабризмъ, находило въ немъ горячаго приверженца. Въ эти годы онъ не только пишетъ рядъ стихотвореній, которыя могли увидёть свътъ лишь многіе десятки лътъ спустя, но и все его творчество носить необузданный характерь и состоить изъ сочувственнаго изображенія разбойничьей психологіи, изъ прославленія свободы первобытной жизни, изъ проклятій условности цивилизованной жизни и т. и. Но вотъ бурное кипѣніе молодости улеглось, декабризмъ пошелъ на смарку, Пушкинъ изъ вынужденнаго деревенскаго уединенія переходить въ высшія петербургскія сферы, и творчество его отливается въ совершенно иныя формы: пишется, Чернь", "Клеветни-камъ Россіи", наступаетъ періодъ того "объективнаго" творчества, которое уже въ самомъ желанін полнаго отрѣшенія отъ суеты жизни заключало въ себѣ вполиѣ опредѣленную программу.

И если связь теоретическихъ воззрвній и художнической двятельности можно проследить относительно такого представителя "чистой красоты", какъ Пушкинъ, то что уже и говорить о писателяхъ, которые твиъ преимущественно и славны, что отражали всяческіе "моменты" своего времени и были воплощеніемъ тревожныхъ поисковъ новыхъ идеаловъ. Выросши въ обществъ Бѣлинскаго, на освободительныхъ началахъ 40-хъ гг., Тургеневъ далъ "Анибаловскую клятву" бороться съ крѣпостнымъ правомъ и написалъ "Записки охотника"; Толстой—издатель "Ясной Поляны" и авторъ "Казаковъ", Толстой—авторъ иравственно-соціальныхъ трактатовъ и Толстой—художникъ послѣднихъ 20 лѣтъ—одно и то же лицо; Достоевскій—авторъ публицистическаго "Дневника писателя" и Достоевскій—авторъ "Братьевъ Карамазовыхъ", тоже ни въ чемъ не расходятся. И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Но Гоголь-теоретикъ и Гоголь-художникъ какъ-будто два совсѣмъ разныхъ лица, и то настроеніе, которое Гоголь-художникъ создаваль, Гоголь-мыслитель съ тою же силою разрушалъ. Разрушалъ не только тѣмъ, что общій смыслъ его творчества шелъ въ одну сторону, а теоретическая проповѣдь въ совершенно противоположную, но разрушалъ прямо и непосредственно, посвятивъ всю послѣднюю полосу своей жизни борьбѣ съ собственными произведеніями "Переписка съ друзьями", какъ объяснялъ авторъ въ предисловіи, для того издавалась, чтобы положить конецъ ложному толкованію его "необдуманныхъ и незрѣлыхъ" сочиненій, которыя "почти всѣхъ привели въ заблужденіе насчетъ ихъ настоящаго смысла".

При такомъ, едва ли не единственномъ во всей исторіи литературы, зрѣлищѣ борьбы автора съ собственными произведеніями сама собою рождалась мысль объ инстинктивномъ, почти безсознательномъ творчествѣ. Уже Бѣлинскій, только-что вырвавши Гоголя изъ сердца своего какъ автора "Переписки", но продолжая его все-таки безконечно любить какъ художника, въ этой безсознательности видитъ единственное объясненіе непримиримаго противорѣчія. Въ печати Бѣлинскій только собирался выяснить такое свое пониманіе гоголевскаго творчества и уже заранѣе мучительно страдаль при мысли, что цензура помѣшаетъ и что "надо будетъ много говорить не такъ, какъ думаешь". Но въ длинномъ письмѣ къ Кавелину, которое, какъ всегда у него, больше статья, чѣмъ пясьмо, онъ категорически заявляетъ: "Что Гоголь дѣйствовалъ безсознательно—это очевидно". Бѣлинскій даже находитъ тутъ извѣстный законъ: "Коршъ больше чѣмъ правъ, говоря, что всѣ геніи такъ дѣйствуютъ. Я отъ этой

мысли года три назадъ съ ума сходилъ, а теперь она для меня аксіома безъ исключеній".

Въ печати мысль объ инстинктивности творчества Гоголя становится общераспространенной со средины 50-хъ г.г., когда появились первые серьезные матеріалы для біографіи Гоголя и началось изученіе его литературнаго творчества въ связи съ его личностью. Уже первая обстоятельная біографія—книга Кулиша и тѣмъ же Кулишемъ изданныя письма, дали Чернышевскому поводъ устанавливать полную противоположность между безсознательнымъ, глубоко разрушительнымъ смысломъ произведеній Гоголя и столь же глубокимъ консерватизмомъ его сознательныхъ общественно-политическихъ идеаловъ

За полвека, отделяющие насъ отъ біографіи Кулиша и статей Чернышевскаго, появились цёлыя горы разныхъ новыхъ біографическихъ матеріаловъ о Гоголъ и неизданныхъ писемъ его. Все это какъ будто подтвердило освъщение гоголевскаго творчества, впервые ясно формулированное Чернышевскимъ. Последніе годы реакціонной борьбы противъ идей 40-хъ и 60-хъ годовъ принесли нѣсколько попытокъ "оправдать" Гоголя, якобы "оклеветаннаго" Бълинскимъ въ его знаменитомъ письмъ, вызванномъ появленіемъ "Переписка съ друзьями". Но эти попытки, главнымъ образомъ, стремятся только къ тому, чтобы показать, какъ искрененъ былъ Гоголь въ своей книгъ, какъ правъ быль онь, возставая противь излюбленныхь "шаблоновь" либерализма и т. д. Собственно же самого факта полнаго разлада между Гоголемъ, своимъ "горькимъ смѣхомъ" подкопавшимъ весь нашъ "ancien regime", и Гоголемъ, въ "Перепискъ провозгласившимъ рядъ византійскихъ идеаловъ, наши новъйшіе проповъдники византинизма ни мало не поколебали.

Въ связи съ противоположностью человѣка и художника. Чернышевскій установиль и тотъ, до сихъ поръ, однако, все еще мало проникшій въ общее сознаніе фактъ, что насквозь пропитанная такимъ
мрачнымъ обскурантизмомъ "Переписка" нимало не представляетъ
собою какую-то перемѣну фронта, какъ тогда всѣ думали и какъ
можно заключить изъ неистово-пламеннаго негодованія Бѣлинскаго.
Никакого перелома на самомъ дѣлѣ не было, вплоть до того невыносимо-наставническаго тона и высокомѣрія, которыя возстановили
противъ "Переписки" даже общественно-политическихъ единомышленниковъ Гоголя. На самомъ дѣлѣ между теоретическими воззрѣніями Гоголя въ эпоху созданія "Ревизора" и "Мертвыхъ душъ" и
принципами, нашедшими выраженіе въ "Перепискѣ", никакой разницы не было. "Переписка", слѣдовательно, создалась по тому же
инстинкту, по которому созданы и великія произведенія Гоголя.

И это, въ общихъ только чертахъ высказанное, объяснение Чер-

нышевскаго на первый взглядь тоже вполив подтверждается всвин поздиће изданными матеріалами о Гоголћ. Въ нихъ не трудно найти рядъ прямыхъ доказательствъ того, что если бы Гоголь хоть скольконибудь предчувствоваль пріемь, который встратила его книга, онь никогда бы ее не издалъ. При всей своей отчужденности отъ міра и искреннемъ желаніи убѣжать отъ него, Гоголь быль очень практиченъ и никогда сознательно не предпринималъ шаговъ, которые ему вредили. Издавая "Переписку", онъ былъ искренно убѣжденъ, что книга понравится и произведетъ большое и хорошее для автора впечатленіе. Неуспехъ кинги онъ приписывалъ литературнымъ проискамъ, забывая, какой энтузіазмъ возбуждала его литературная двятельность именко въ тъхъ сферахъ, которыя онъ теперь такъ противъ себя возстановилъ. Побужденій и точки зрѣнія Бѣлинскаго онъ прямо не поняль и свой (частный) отвъть ему свель къ вещамъ второстепеннымъ. Въ своей "Авторской исповеди" Гоголь разделяетъ отклики, вызванные "Перепискою", на три разряда: "Первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возминвшаго, что онъ сталъ выше всёхъ своихъ читателей, имёть право на вниманье всей Россіи и можетъ преобразовать цълое общество; второе, что книга эта есть твореніе добраго, но впавшаго въ прелесть и въ обольщенье человъка, у котораго закружилась голова отъ похвалъ, оть самоуслажденія своими достоинствами, который вслёдствіе этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведение христіанина, глядящаго съ върной точки на вещи и ставящаго всякую вещь на ея законное мъсто". Только эти три сорта впечатлъній и подмътилъ Гоголь и протестъ Бълинскаго тутъ даже не регистрированъ. Отнюдь не следуеть въ данномъ случае примешивать цензурныя затрудненія. Если бы Гоголя сущность негодованія Бѣлинскаго сколько-нибудь затронула, онъ бы, конечно, нашелъ форму для отвъта. Кое-что онъ даже и опровергалъ. Такъ, напр., онъ нашелъ возможность въ той же "Авторской исповеди" мимоходомъ возразить, что онъ не противъ народнаго просвъщенія. Но возразиль именно мимоходомь, вяло, очевидно не заинтересованный. Гоголь всегда считалъ Бѣлинскаго "чудакомъ" и съ извъстнымъ недоумъніемъ относился къ его восторженнымъ похваламъ. Теперь онъ взглянулъ на негодование Бѣлинскаго съ тъмъ же самымъ недоумъніемъ.

Бѣлинскій, какъ мы знаемъ, сначала "съ ума сходилъ" отъ мысли, что всякій геній творитъ безсознательно. Затѣмъ онъ, мало того, что примирился съ этою мыслью, но, со свойственной ему способностью, сейчасъ же все доводить до крайнихъ предѣловъ, пришелъ къ убѣжденію, что безсознательность-то и есть главное отличіе генія отъ

обыкновеннаго таланта. Въ томъ же письмѣ къ Кавелину, которое уже было цитировано, онъ говоритъ:

"Геній—инстинктъ, а потому и откровеніе: бросить въ міръ мысль и оплодотворить ею его будущее, самъ не зная, что сдѣлалъ, и думая сдѣлать совсѣмъ не то. Сознательно дѣйствуетъ талантъ, но за то онъ кастратъ, безплоденъ, своего ничего не родитъ, но зато лелѣетъ, раститъ и крѣпитъ дѣтей генія".

Съ тъхъ поръ, какъ написаны эти слова, теорія не то что полной безсознательности творчества, но строгой его зависимости отъ условій, вив его лежащихъ, сдвлала огромныя завоеванія: страшно сузила историческая школа значение авторскаго произволения и сущность писательства сведена къ отражательной способности. Если виф условій времени и пространства все еще поставлена самая сила отражательной способности, т.е. размёры и свойства таланта, то въ содержанін воспроизводимаго всякій историкъ литературы ищетъ ту незримо въ воздухѣ носящуюся потребность времени, которую всегда нетрудно найти въ каждомъ крупномъ произведении, ударившемъ по сердцамъ "съ невъдомою силой". Строй теоретическихъ воззръній, лично принадлежащихъ самому художнику, такимъ образомъ, отходить на второй плань. Съ этой точки зрвнія разладь между Гоголемъ-художникомъ и Гоголемъ-мыслителемъ, представляя, конечно, большой интересъ (потому что, какъ мы видёли изъ вышеприведенныхъ примфровъ, обыкновенно наблюдается тесная связь между творчествомъ писателя и его міросозерцаніемъ), не заключаеть, однако, въ себъ никакого непримиримаго противоръчія.

И все-таки, не по "наукт", а просто "по человтчеству", есть чтото глубокообидное въ томъ, что мы не имтемъ возможности любить
одинаково-горячею любовью всю совокупность духовной личности
великаго писателя. Грубо выражаясь, выходитъ, что человтъ, отъ
котораго пошло все то, что сильна новтишая русская литература,
не втдалъ, что творилъ. Можемъ ли мы и должны ли мы примириться
съ такою постановкою вопроса, уничтожающей все обаяніе, связанное для насъ съ понятіемъ о волшебной силт всякаго писателятворца, открывающаго намъ далекія перспективы тамъ, гдт мы, простые читатели, до него никогда ихъ не подозртвали, осмысливающаго
для насъ явленія, мимо которыхъ мы до него проходили совершенно
равнодушно?

Не помнимъ въ точности, кто изъ русскихъ соціологовъ, разбирая разныя теоріи причинности историческихъ явленій, говоритъ и о той "корость", которою легко могутъ покрыться эти сами по себъ вполнъ върныя теоріи. Онъ всецьло, конечно, присоединяется къ тому, что историческая жизнъ есть результатъ разныхъ органическихъ

и непреложныхъ условій. Но, вибств съ темъ, спешить предостеречь почитателей строго "научнаго" міровоззрвнія отъ одной ошибки, въ которую такъ легко впасть при чрезмѣрной послѣдовательности. Если, въ самомъ дѣлѣ, все на свѣтѣ такъ причинно, если, такъ сказать, паденіе всякаго волоса съ головы обусловлено цѣлымъ комплексомъ подготовительныхъ условій, то причемъ тутъ окажется живая человѣческая личность, ея стремленіе къ добру и злу и т. д.? Не одинъ ли тутъ шагъ даже до восточнаго фатализма? И вотъ нашъ соціологъ энергично вооружается противъ такого приниженія человѣческой личности и справедливо называетъ всякое желаніе безмолвно покориться предъ историческимъ ходомъ вещей злокачественной "коростой" на здоровомъ тѣлѣ теоріи исторической причинности. Условія условіями, а живая человѣческая личность, при всѣхъ стѣсненіяхъ "историческихъ условій", тоже величина самодовлѣющая.

Такой же коростой на здоровомъ тѣлѣ теоріи писательства, какъ отраженіи потребностей времени, намъ представляется взглядъ на одного изъ величайшихъ дѣятелей русской литературы какъ на человѣка, который не вѣдалъ, что онъ творилъ. Думается, что, не опускаясь въ философскія глубины вопроса о сущности творчества и объ элементахъ безсознательности въ немъ, мы должны непремѣнно попытаться найти ясность въ собственной духовной жизни писателя, который внесъ такую ясность въ русское общественное самосознаніе, которому мы обязаны самымъ отчетливымъ анализомъ условій нашего общественнаго быта.

И думается, что усмотръть полное единство всей творческой дъятельности Гоголя и полную сознательность ея совсёмъ не такъ трудно. Для этого нужно только расширить понятіе о "направленін", исходя изъ котораго обыкновенно констатируютъ глубокій разладъ между началомъ и концомъ гоголевскаго творчества, между внутреннимъ смысломъ его произведеній и тёмъ ужасомъ, съ которымъ онъ позднъе отъ нихъ открещивался. Можно относиться къ понятію о "направленіи", какъ къ понятію видовому, и какъ къ понятію родовому. Въ первомъ случав, конечно, задача отысканія единства въ духовной личности Гоголя совершенно безнадежна. Если сводить вопросъ о "направленін" только къ подразділенію на общественно-политическія партіи, къ консерватизму и либерализму, къ программамъ прогрессивнымъ и реакціоннымъ, къ принципамъ свободнаго мышленія и клерикализму, тогда, несомивнию, бездна между Гоголелъ "Ревизора" н Гоголемъ "Переписки" будетъ такая, что никакого соединительнаго моста туть не перекинешь.

Но когда рѣчь идетъ о томъ, чтобы понять психологію писателя, который такъ мучительно метался всю жизнь, какъ Гоголь, то нельзя

ограничиться однимъ частнымъ, видовымъ понятіемъ, потому что то или другое "направленіе" можно себѣ усвоить, не мѣняя общаго душевнаго склада своего. Надо подняться до широкаго родового понятія о "направленіи", не ограничивающагося такою перемѣнною величиною, какъ то или другое отношеніе къ общественно-политическимъ вопросамъ. Надо сосредоточить свое вниманіе на основномъ, позволяемъ себѣ такъ выразиться, психологическомъ рисункю, на который обстоятельства времени и мѣста накладываютъ только ту или другую краску, не мѣняя, однако, ея сущности и основныхъ очертаній.

Чтобы сдёлать нашу мысль вполнё ясной, возьмемъ писателя, который прямо неистово переходиль отъ одного общественно-политическаго міросозерцанія къ другому и который тімь не меніе, по общему признанію, остается единымъ во всёхъ этихъ своихъ киданіяхъ изъ стороны въ сторону. Мы говоримъ о Бѣлинскомъ. Если нельзя перекинуть нпкакого соединительнаго моста надъ бездной, отдъляющей неумолимую язвительность "Ревизора" отъ елейной покорности "Переписки", то еще болье исключають одна другую отдъльныя полосы общественно-политическаго міросозерцанія Бълинскаго. Не онъ ли изступленно преклонялся предъ всею совокупностью нашего общественно-государственнаго строя 30-хъ годовъ и не онъ ли съ тою же изступленностью поносиль его черезъ и всколько л втъ? Следовательно, съ видовой точки зренія отдельныхъ міросозерцаній Бълинскій есть воплощеніе непримиримыхъ противорьчій. Но личность его получаетъ полное единство, какъ только мы беремъ родовое понятіе о "направленін", какъ о совокупности тъхъ глубокихъ предрасположеній, съ которыми человікь рождается. Изъ консерватора стать радикаломъ, и наоборотъ, — нетрудно, если мы сколько-нибудь искренно составили себъ то или другое міросозерцаніе. Жизнь или наука развернула предъ нами новыя стороны, предъ нами открылись другіе горизонты, мы увидели ошибочность прежняго своего пониманія вещей и, если міросозерцаніе для насъ не карьерная выв'єска, мы его меняемь, конечно, съ душевною болью и муками, но все-таки всецѣло и радикально.

Но никакіе уроки жизни и исторіи не могуть измѣнить тѣхъ глубинныхъ основъ, которыя заложены въ человѣка, какъ совокупность темперамента, наслѣдственности и другихъ стихійныхъ элементовъ, а также, конечно, культурныхъ переживаній, и вмѣстѣ создають его природный душевный обликъ. Люди рождаются съ равнодушіемъ къ истинѣ или съ пламеннымъ къ ней стремленіемъ; съ легкою, но перемѣнчивою воспріимчивостью или съ такою, что уже разъ что усвоено, такъ на вѣкъ; съ стремленіемъ къ наслажденію или аскетическими наклонностями; съ жаждою подвига или глубокимъ эгоизмомъ; съ

жизнерадостностью или равнодушіемъ къ благамъ земнымъ; съ органическою потребностью самопожертвованія или столь же органическою неспособностью къ нему. Вотъ что составляеть, дѣйствительно, основныя черты всякаго человѣческаго характера, которыя подъ вліяніемъ разныхъ условій могутъ принять тѣ или другія формы, но никогда не мѣняются по существу и однѣ только и даютъ вѣрный ключъ къ пониманію душевнаго и духовнаго облика. И стоитъ только понять этотъ, какъ его, кажется, лучше всего назвать, психологическій рисунокъ человѣка, чтобы ватѣмъ узнать его при всѣхъ измѣненіяхъ, какъ мы узнаемъ общій типъ свѣжаго, безбородаго лица юноши и въ обросшемъ густою бородою возмужаломъ лицѣ зрѣлаго мужа, и въ сморщившихся, изборожденныхъ морщинами чертахъ старика.

Такой психологическій рисунокъ намъ и кажется родовымъ понятіемъ о "направленіи", которое, съ этой точки зрѣнія, можеть отливаться въ самыя разнообразныя комбинаціи, не теряя своихъ основныхъ свойствъ и не создавая психологической загадки. Съ такой широкой точки зрѣнія общаго психологическаго рисунка выясняется полное единство духовнаго облика Бѣлинскаго, песмотря на всѣ его бурные переходы изъ одной крайности въ другую. Онъ всегда въ нихъ остается тѣмъ же самымъ неистовымъ искателемъ правды, съ одними и тѣми же лозунгами, въ которые онъ, смотря по тому или другому переживаемому фазису умственнаго развитія, вкладываетъ разное содержаніе, но которые всегда одинаково настраиваютъ нравственное чувство читателя.

Такое же единство направленія, т. е. разряда настроеній, создаваемыхъ писателемъ, мы не преминемъ усмотръть и въ духовномъ обликъ Гоголя, какъ писателя-гражданина по преимуществу. Не будемъ только связывать понятіе о гражданскомъ стров мысли непремѣнно съ тѣмъ или другимъ опредѣленнымъ, общественно-политическимъ міросозерцаніемъ. Гражданинъ есть тотъ, который въ той или другой формъ, но страстно и напряженно думаеть о благъ родины, ищеть цути для достиженія этого блага и подчиняеть всё остальныя свои стремленія этому верховному руководящему началу. Такимъ гражданиномъ Гоголь былъ всю свою жизнь. Пусть его произведенія говорять одно, а его собственныя комментарін нічто совершенно противоположное - это въ данномъ случав не имветъ никакого значенія. Важенъ общій источникъ, изъ котораго рождались и произведенія и позднъйшее авторское недовольство ими. У Герцена есть превосходное сравнение для выяснения взаимнаго соотношения славянофильства и западничества въ моментъ ихъ возникновенія. "У нихъ (славянофиловъ) и у насъ (западниковъ), -- говоритъ онъ, -- запало съ раннихъ лътъ одно сильное, безотчетное, физіологическое, страстное чувство---

безграничной, обхватывающей все существование любви къ русскому народу, русскому быту, къ русскому складу ума. Мы, какъ Янусъ, смотръли въ разныя стороны, въ то время, какъ сердце билось одно". Гоголь-художникъ и Гоголь-теоретикъ совершенно такой же двуликій Янусъ. Пусть объ его ппостаси смотрять въ разныя стороны, но сердечный порывъ всегда былъ у него тотъ же самый, кругъ интересовъ всегда былъ одинъ и тотъ же. Его не захватываетъ ни любовь, ни семейное счастіе, ни область личныхъ радостей и разочарованій, ни воспроизведеніе обстановки, какъ таковой, не захватываеть его также почти ничего изъ той сферы интимныхъ настроеній человѣка, которое такъ глубоко волнуетъ всёхъ другихъ писателей и занимаетъ такое огромное мёсто даже въ произведеніяхъ такихъ спеціальныхъ ловителей общественныхъ "моментовъ", какъ Тургеневъ, Гончаровъ и др. Сфера интересовъ и воспроизведенія Гоголя почти всегда соціальная, массовая, онъ, за незначительными исключеніями, никогда почти не рисуеть индивидуальные портреты, а всегда типовые, всегда набрасываетъ широкія картины, со множествомъ лицъ, которыя оттѣняютъ и дополняютъ одно другое. Всякій характеръ у него выясняется не столько самъ по себъ, сколько по столкновенію съ окружающимъ, всякая личность у него часть общественнаго цълаго. Коллективное всегда поглощаетъ въ произведеніяхъ Гоголя индивидуальное. За исключеніемъ почти-автобіографическихъ этюдовъ о мукахъ творчества, у Гоголя нѣтъ даже героевъ въ обычномъ смыслъ. Героями его произведений всегда являются лица собирательныя, какой-нибудь классъ, какое-нибудь сословіе, какая-нибудь полоса жизни. Даже въ стоящихъ особнякомъ произведеніяхъ Гоголя изъ малороссійской жизни, нимало не сатирическихъ и, следовательно, совершенно свободныхъ отъ общественныхъ задачъ, массовое все-таки выступаетъ на первый планъ. Въ "Вечерахъ на хуторъ близъ Диканки" нътъ ни одного центральнаго лица, и героемъ является весь малороссійскій народноэпическій быть; въ "Тарасъ Бульбъ", несмотря на всю яркую колоритность самого Бульбы, центральное впечатленіе даеть казачество въ его совокупности.

Отъ этого органическаго интереса Гоголя къ общественности одинъ только шагъ къ его тоскъ по общественному совершенству. Родившись съ душою, въ которую съ дътскихъ лътъ было заложено стремленіе ввысь, которую именно потому и оскорбляла такъ глубоко
грубость и низменность, и вмъстъ съ тъмъ одаренный необыкновенною способностью къ анализу, Гоголь оттого и имълъ глаза, такъ
широко раскрытые на все пошлое и недостойное. Грубое непониманіе Булгариныхъ и утратившаго чуткость Полевого могли принять

реализмъ Гоголя за любовное копаніе въ грязи. Но въ дъйствительности Гоголь принадлежаль къ самымъ экстатическимъ натурамъ своего времени, и болъзненная жажда идеальнаго, съ родственнымъ пониманіемъ изображенная Гоголемъ въ лиць художника Пискарева изъ "Невскаго проспекта" и художника Черткова въ "Портретв", есть точное изображение идеальныхъ порывовъ, волновавшихъ собственную душу автора. Безъ этой страстной жажды высокаго зрълище пошлости никогда бы не могло такъ глубоко его задъвать, не было бы столько последовательности въ томъ неумолимомъ постоянстве, съ которымъ Гоголь изображалъ пошлость и отступление отъ интересовъ общаго блага. И въ этой-то странной потребности съ одной стороны отыскать все недостойное и вытащить его на свъть Божій для всенародной казни, а съ другой стороны въ глубочайшей скорби о томъ, что пошлость завдаетъ міръ, и заключается настоящее "направленіе" Гоголя. Ему онъ никогда не измёняль и въ этомъ отношеніи психологическій рисунокъ его души быль всегда одинъ и тотъ же. Пусть онъ ошибался, направляя подъ конецъ жизни поиски спасительныхъ началъ туда, гдв ихъ было всего менве, - это была только печальная ошибка, ошибка фактическая, но не по намъреніямъ. И въ обскурантскомъ міровоззрѣнін "Переписки", и въ его неудачныхъ. съ художественной точки зранія, но глубоко-выстраданныхъ попыткахъ второй части "Мертвыхъ душъ" дать не только отрицательные. но и положительные типы, столько же глубокой жажды добра, какъ и въ грозной обличительной дъятельности, положившей начало русскому общественному самосознанію.

И вотъ зададимъ себѣ опять тотъ же самый вопросъ: могла ли душевная дѣятельность такой страшной напряженности, такого послѣдовательнаго направленія ударовъ въ одну точку происходить безсознательно? Могъ ли человѣкъ такой геніальной проницательности, сумѣвшій пробраться даже въ душу какого-нибудь лишеннаго человѣческаго образа Акакія Акакіевича, оказаться невнимательнымъ къ тому, что происходитъ въ его собственной душѣ?

Попщемъ отвъта на этотъ вопросъ въ только что вышедшихъ подъ редакціей В. И. Шенрока четырехъ убористыхъ томахъ переписки Гоголя, которая прежде была разбросана по многимъ десяткамъ журнальныхъ книжекъ и была почти недоступна сколько-нибудь систематическому ознакомленію.

II.

Письма, изданныя г. Шенрокомъ, не представляютъ собою какойнибудь полной историко-литературной новинки. Большинство изъ нихъ было уже напечатано. Но, во-первыхъ, не всегда полностью. Особенной кастраціи подверглись письма, появившіяся вскор' посл' смерти Гоголя въ собраніи его сочиненій, вышедшемъ подъ редакціей Кулита въ 1857 г. (6-томное). Многое, именно все очень интимное было выброшено самимъ редакторомъ, которому надо было считаться съ щепетильностью еще живой тогда матери Гоголя и другихъ его родственниковъ. Но не мало было и такого, что пришлось опустить и по требованію цензуры. Хотя тогда уже наступали "новыя въянія", однако надо было поступаться фразами и отдёльными словами, нецензурность которыхъ теперь уже мудрено понять. Такъ, напр., была изгнана квалификація Петербурга, какъ "чухонскаго города", была выброшена фраза Гоголя, что на открытіе памятника Александу І навхало "офицерья и солдатства страшное множество-и прусскихъ, и голландскихъ, и австрійскихъ. Говядина и водка вздорожали страшно". Переписка Гоголя съ его землякомъ Максимовичемъ, промънявшимъ канедру въ Москвъ на профессуру въ Кіевъ, была, очевидно, подвергнута изученію съ точки зрвнія того щедринскаго сердцевъда, который открылъ заговоръ съ цълью отдъленія Миргорода отъ Малороссіи. Поэтому не могъ увидѣть свѣта такой возгласъ Гоголя: "Бросьте въ самомъ дёлё кацапію, да поёзжайте въ гетьманщину" и т. д.

Помимо возстановленія всёхъ этихъ пропусковъ, изданные г. Шенрокомъ четыре тома Гоголевской переписки имёютъ тотъ первостепенный историко-литературный интересъ, что хронологическое распредёленіе какъ бы развертываетъ передъ нами дневникъ великаго писателя и даетъ возможность слёдить за постепеннымъ нарастаніемъ и обостреніемъ его настроеній.

Переписка начинается съ очень ранняго возраста Гоголя—съ 1820 г., когда 11-лѣтній мальчикъ былъ отправленъ въ Нѣжинскій лицей или "гимназію высшихъ наукъ". Письма Гоголя-мальчика, прежде всего, поражаютъ своею трезвостью и дѣловитостью. Всякій, кто приступаетъ къ изученію ихъ съ обычнымъ представленіемъ о громадной роли безсознательнаго элемента въ духовной жизни Гоголя, не можетъ не быть удивленъ совершеннымъ отсутствіемъ въ нихъ дѣтскости и полною сознательностью. Это тонъ вполнѣ взрослаго человѣка. Правда, встрѣчаются въ нихъ и очень сентиментальныя мѣста,

какъ будто свидътельствующія о дътской чувствительности. Такъ, напр., въ первыхъ письмахъ изъ Нажина онъ самъ же сообщаетъ "дражайшимъ родителямъ" о чисто-ребяческой плаксивости своей: "Всякій Божій день слезы рекой льются, и самъ не знаю отчего, а особливо когда вспомню объ васъ, то градомъ такъ и льются. Прощайте, дражайшіе родители! далье слезы мьшають мнь писать". Въ позднъйшихъ письмахъ Нъжинского періода несравненно ръже, но дътски - чувствительныя такія же попадаются какъ попадаются, впрочемъ, подобныя же сообщенія о "льющихся слезахъ" и въ письмахъ Гоголя-мужа (Ср., напр., письмо къ Жуковскому отъ 1836 г., І, 383). Но все это имъетъ свое объяснение. Вопервыхъ, въ томъ, что письма молодого Гоголя весьма часто были для него упражненіями въ слогв и, конечно, въ слогв высокомъ, а затъмъ тутъ сказалась одна изъ существенныхъ сторонъ всего его исихологическаго склада. Мы говоримъ о той загадочной смфси глубочайшей искренности съ хохлацкой хитростью, которую такъ быстро примътиль въ Гоголъ даже очень любившій его Пушкинъ и которая составляетъ одну изъ основныхъ чертъ его характера. Въ письмахъ Гоголя-отрока эта смёсь выступаеть очень ярко. Почти каждое письмо его состоитъ изъдвухъ частей. Сначала идутъ трогательнъйшія нъжности и проявленія сыновней любви, нъжности, безусловно искренней въ основъ, но всегда на нъсколько градусовъ надбавленной. А затемь обязательно следуеть маленькій, но настойчивый постьскриптумъ или мимоходомъ брошенная просьба присылки денегъ, книгъ, вещей. И родители, а въ особенности мать, очень любившіе своего "Никошу", знали эту повадку сына, чемъ и объясняется, что они по цёлымъ мъсяцамъ не отвъчали ему на его пересыпанныя нъжностями просьбы. Вотъ небольшой образчикъ этой своеобразной переписки:

"Дражайшіе родители, папенька и маменька. Долгое молчаніе ваше удивляеть меня. Не знаю, какая тому причина. Мѣсяца три не получаю оть вась извѣстія. Это повергаеть меня въ горестное уныніе. Я начинаю думать, не случилось ли вамъ какого несчастья (чего сохрани Богъ). Ради Бога, нетерзайте меня симъ печальнымъ недоумѣніемъ. Утѣшьте хоть двумя словами...

Р. S. Я съ нетеривніемъ ожидаю присылки твхъ вещей, о которыхъ я васъ просилъ. Прошу васъ покорнвійше прислать мив для рисованія тонкаго полотна ивсколько аршинъ" (I, 20).

Безъ такого рода ностъ-скриптума или мимоходной по формѣ, но настоятельной по существу просьбы не обходится почти ни одно письмо молодого лиценста, какъ рѣдко, впрочемъ, обходится безъ нихъ и вся вообще переписка Гоголя, даже съ интимиѣйшими его друзьями.

Извъстно, что эта характерная черта гоголевской переписки не разъ уже возстановляла противъ него тъхъ, кому приходилось ее изучать. На что былъ незлобивый человъкъ и писатель покойный Орестъ Өедоровичъ Миллеръ. Но когда ему пришлось писать вступительную замътку къ нъкоторымъ письмамъ Гоголя, напечатаннымъ въ "Русской Старинъ" (1875 г., т. XIV), и когда буквально въ каждомъ изъ этихъ писемъ приходилось имъть дъло съ такою схемою: сначала рядъ разсужденій о высокихъ предметахъ, а затімъ просьбы или порученія, онъ не вытеривль и разразился характеристикою, въ которой изчезло всякое доброе чувство къ великому писателю. По этой характеристик Гоголь быль чемь-то въ роде систематического вымогателя денегъ и подачекъ всякаго рода. Мы не станемъ теперь останавливаться на искреннемъ негодованіи не только прямодушнаго, но въ данномъ случав и близорукаго въ своей прямолинейности Миллера. Онъ совершенно упустиль изъ виду, что Гоголь быль страшно замкнутый въ себъ и скрытный человъкъ, и что онъ почти не ощущалъ потребности въ томъ, чтобы съ къмъ-нибудь дълиться мыслями и впечатленіями и кому-нибудь изливать свою душу. Въ огромномъ большинствъ случаевъ онъ писалъ письма только тогда, когда ему что-нибудь нужно было. Неудивительно, следовательно, что въ его письмахъ столько просьбъ и вообще дълового. Значительнъйшая часть его переписки-это деловыя просьбы по существу, въ которыхъ все остальное писалось больше для прилику. Не станемъ также теперь останавливаться на квалификаціи этого пріема, которое получаетъ свое правильное освъщение только тогда, когда мы его приведемъ въ связь со всъмъ существомъ Гоголя, когда мы поймемъ, что Гоголь весь состоить изъ смѣси добра и зла, изъ искренности и притворства, изъ подъемовъ и паденій, что онъ, по собственному выраженію, "сгоралъ" въ поискахъ правды и, вмёстё съ тёмъ, когда имъ овладъвали земныя побужденія, былъ весьма себѣ на умѣ. Итакъ, не станемъ пока останавливаться на подыскиваніи надлежащаго объясненія къ дёловымъ кончикамъ гоголевскихъ писемъ. Извлечемъ пока только изъ этой черты немаловажный-таки доводъ въ пользу основного тезиса нашей статьи, убъдимся изъ нея лишній разъ, что безсознательность всего менъе характеризуетъ Гоголя: хитрость и заднія цёли, во всякомъ случав, исключають безсознательность.

Тонъ взрослаго и дѣлового человѣка, характеризующій письма Гоголя-отрока, особенно поражаетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда извѣстная утрата душевнаго равновѣсія никого бы не удивила. Въ апрѣлѣ 1825 года онъ получилъ извѣстіе о смерти отца, смерти неожиданной, потому что обычное недомоганіе Василія Аванасьвича не давало никакого повода ожидать столь быстраго конца. Отца своего

Гоголь, несомивнию, очень любиль, и смерть его, какъ мы сейчасъ увидимъ изъ его же собственнаго письма, несомивнию, произвела на него потрясающее впечатление. Но посмотрите, какимъ философомъ ведетъ себя 16-летний лиценстъ, какую огромную способность сдерживать себя проявляетъ онъ при этихъ совершенно необычныхъ условіяхъ. Вотъ замечательное и въ высшей степени характерное письмо, которое онъ пишетъ матери и въ которомъ скоре является ея старшимъ братомъ, чемъ сыномъ:

"Не безпокойтесь, дражайшая маменька! Я сей ударъ перевесь съ твердостью истинаго христіанина. Правда, я сперва былъ пораженъ ужасно симъ извѣстіемъ; однако-жъ, не далъ никому замѣтить, что я былъ опечаленъ. Оставшись-же наединѣ, я предался всей силѣ безумнаго отчаянія. Хотѣлъ даже посягнуть на жизнь свою, но Богъ удержалъ меня отъ сего; и къ вечеру примѣтилъ я въ себѣ только печаль, но уже не порывную, которая, наконецъ, превратилась въ легкую, едва примѣтную меланхолію, смѣшанную съ чувствомъ благоговѣнія ко Всевышнему.

Благословляю тебя, священная въра. Въ тебъ только я нахожу источникъ утъшенія и утоленія своей горести. Такъ, дражайшая маменька, я теперь спокоенъ, хотя не могу быть счастливъ, лишившись лучшаго отца, върнъйшаго друга, всего драгоцьнаго моему сердцу. Но развъ не осталось ничего, что-бъ меня привязывало къ жизни? развъ я не имъю еще чувствительной, нъжной, добродътельной матери, которая можетъ мнъ замънить и отца, и друга, и всего, что есть милъе, что есть драгоцъннъе?

Такъ, я имѣю васъ, и еще не оставленъ судьбою. Вы одиѣ теперь предметомъ моей привязанности, одиѣ, которыя можете утѣшить печальнаго, успокоить горестнаго. Вамъ посвящаю всю жизнь свою. Буду услаждать ваши каждыя минуты. Сдѣлаю все то, что можетъ сдѣлать чувствительный, благодарный сынъ. Ахъ, меня безпокоитъ болѣе всего ваша горесть! Сдѣлайте милость, уменьшите ее, сколько возможно, такъ, какъ я уменьшитъ свою. Прибѣгните такъ, какъ я прибѣгнулъ, къ Всемогущему"... (I, 26).

Болье чымь странное впечатлыние оставляеть этоть столь важный, по вызвавшимъ его обстоятельствамъ, отголосокъ внутренией жизни юноши. При всей несомивно глубоко-искренней религіозности и любви къ матери, сколько тутъ риторического элемента и отсутствія непосредственности. Передъ нами какой-то образчикъ мудро-почтительнаго письма изъ письмовника или нравоучительной книжки. Какое отсутствіе какого бы то ни было "лирическаго безпорядка", какая стройность изложенія, какой подходящій стиль въ этомъ, очевидно, тщательно-обработанномъ и обдуманномъ, скорве "посланіи", чёмъ просто инсьме. А въ заключение еще обычный постъ-скриптумъ: "Ежели я васъ этимъ не побезпокою и ежели вы можете, то пришлите мив 10 рублей на книгу, которую мив надобно купить, подъ заглавіемъ "Курсъ Россійской Словесности", ибо у насъ ее проходятъ". И постъ-скриптумъ-то еще не простой, а съ извъстнымъ усиленіемъ эффекта, потому что, изложивши свою просьбу о деньгахъ на покупку книги, Гоголь благонравно прибавляетъ: "На свои нужды мив ничего не надобно". Итакъ, даже въ такой совершенно необычайный и экстренный моментъ жизни разсудочность ярко окрасила собою чистый и непосредственный порывъ.

Но, рядомъ съ разсудочностью и дѣловитостью, отроческія письма Гоголя дають намъ возможность заглянуть и въ лучшую часть его души. Мы найдемъ здѣсь и богатѣйшіе доводы для второго тезиса настоящей статьи, для уясненія того, какъ много высоко-гражданскихъ стремленій таилось въ глубинѣ этой всегда задумчивой, всегда серьезной натуры.

Особенности духовнаго существа Гоголя особенно ярко выдѣляются на тускломъ фонѣ лицейскаго быта. Это, въ общемъ, была обстановка удивительно-илоская и ничтожная, которой были чужды какія бы то ни было стремленія ввысь. Между учителями почти ни одного, сколько-нибудь будившаго духъ, между товарищами огромное большинство—люди, которыхъ Гоголь окрестилъ эпитетомъ "существователи"—добрые малые, но очень уже погрязшіе въ малороссійской лѣни и умственной неповоротливости. И Гоголь отчетливо сознавалъ ничтожество этой обстановки и съ тоской писалъ одному изъ немногихъ близкихъ товарищей своихъ—Г. И. Высоцкому, годомъ раньше его кончившему курсъ и уѣхавшему въ Петербургъ:

"Какъ тяжко быть зарыту вмѣстѣ съ созданьями низкой неизвѣстности въ безмолвіе мертвое! Ты знаешь всѣхъ нашихъ существователей, всѣхъ, населившихъ Нѣжинъ. Они задавили корою своей земности, ничтожнаго самодовольствія высокое назначеніе человѣка. И между этими сущестователями я долженъ пресмыкаться... Изъ нихъ не исключаются и дорогіе наставники наши. Только между товарищами, и то немногими, нахожу пногда кому бы сказать что-нибудь. Ты теперь въ зеркалѣ видишь меня. Пожалѣй обо мнѣ! Можетъ быть, слеза соучастія, отдавшаяся въ твоихъ глазахъ, послышится и мнѣ" (I, 75).

Въ первыхъ строкахъ сейчасъ приведеннаго отрывка мы слышимъ мотивъ, который начинаетъ весьма опредъленно звучать въ душѣ Гоголя. Имъ начинаетъ овладѣвать странное стремленіе выбиться изъ "низкой неизвѣстности" и "означить свое существованіе въ мірѣ" (I, 89). Мечтая о томъ, какъ онъ будетъ жить въ Петербургѣ, который ему кажется чѣмъ-то волшебнымъ, но попасть куда онъ мало надѣялся, Гоголь съ тоскою восклицаетъ въ письмѣ къ тому же любезному его сердцу Высоцкому:

"Не знаю, сбудутся ли мои предположенія, буду ли я точно живать въ этакомъ райскомъмѣстѣ, или неумолимое веретено судьбы зашвырнетъ меня съ толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) въ самую глушь ничтожности, отведетъ мнѣ черную квартиру непзвѣстности въ мірѣ" (І, 78).

Въ это-то время и народился злосчастный литературный первенецъ Гоголя—идиллія "Ганцъ Кюхельгартенъ", напечатанная два года спустя, но, такъ сказать, выстраданная именно въ эпоху порываній

въ Петербургъ. Покойный Тихонравовъ и г. Шенрокъ въ своихъ "Матеріалахъ для біографіи Н. В. Гоголя" давно уже подчеркнули автобіографическое значеніе "Ганца Кюхельгартена", гдѣ, въ формѣ рвущагося уйти изъмирной домашней обстановки Ганца, Гоголь передаль свою собственную тоску по болѣе блестящей долѣ. Часто одними и тѣми же, какъ въ письмахъ, словами, выраженіями Ганцъ Кюхельгартенъ восклицаетъ:

Все рѣшено. Теперь ужели
Мнѣ здѣсь душою погибать?
И не узнать иной мнѣ цѣли?
И цѣли лучшей не сыскать?
Себя обречь безславью въ жертву?
При жизни быть для міра мертву!
Душой-ли, славу полюбившей,
Ничтожность въ мірѣ полюбить?
Душой-ли, къ счастью не остывшей,
Волненья міра не испить?
И въ немъ прекраснаго не встрѣтить?
Существованья не отмѣтить?

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ душѣ Гоголя возникаетъ неопредѣленная, но твердая увѣренность, что ему предстоитъ что-то важное въ жизни. "Я совершу свой путь въ жизни", пророчески пишетъ онъ матери въ послѣдній годъ нѣжинскаго пребыванія, и отсюда его твердое рѣшеніе оставить милую сердцу, уютную, но сонную и погрязшую въ тинѣ ежедневности родную среду.

Въ этихъ порываніяхъ на болѣе широкій просторъ недьзя, конечно, усмотрѣть чего бы то ни было особенно характернаго. Мы имѣемъ тутъ дѣло съ довольно обычнымъ юношескимъ честолюбіемъ и столь же обычнымъ кипѣніемъ юношескихъ силъ, когда полнота созрѣванія и предвкушеніе жизни въ каждомъ человѣкѣ поселяютъ какое-то особое, приподнятое настроеніе и увѣренность, что предстоитъ что-то большое, свѣтлое, хорошее.

Но присмотримся не только къ источнику, но и къ содержанію гоголевскихъ порываній уйти изъ ничтожества родного быта, и мы сразу встрѣчаемся съ чѣмъ-то совершенно необычнымъ. Этотъ юноша, вышедшій изъ среды, гдѣ всякій погруженъ только въ животныя заботы о самомъ себѣ, это, вѣроятно, близкій родственникъ Аванасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны, этотъ сосѣдъ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича видитъ свое счастье исключительно въ дѣятельности общественно-государственной. Чѣмъ-то безконечно-чуждымъ всей воспитавшей его средѣ отзывается фраза въ письмѣ Гоголя къ матери: "Во сиѣ и на-яву миѣ грезится Петербургъ съ нимъ вмѣстѣ и служба государству" (I, 58). Добрая матушка Гоголя, вѣ-

роятно, въ первый разъ и съ понятіемъ такимъ выспреннимъ знакомилась. "Государство"! Всякій понималь "службу", чтобы выслужиться, "устроить свою судьбу". Но мечтать о службъ какому-то "государству" могли только пустые люди, какъ это съ полною очевидностью явствуеть изъ нижеприводимаго замёчательнаго письма Гоголя къ Косяровскому. Здёсь Гоголь прямо заявляетъ, что не рёшался делиться съ кемъ бы то ни было своими заветными мечтами о служеніи "благу государства". Кому бы я повёриль и для чего-бы выказаль себя? Не для того ли, чтобы сменлись надъ моимъ сумасбродствомъ, чтобы считали пылкимъ мечтателемъ, пустымъ человъкомъ?" (І, 89). Но стремленіе служить высшимъ интересамъ до такой степени овладъваетъ Гоголемъ въ эпоху порываній въ Петербургъ, т. е. въ 1827 году, что въ той или другой формѣ оно сказалось почти во всёхъ письмахъ, относящихся къ этому году. Разсказывая Высоцкому с томъ, что многіе изъ товарищей, собиравшіеся въ Петербургъ, испугались свъдъній о петербургской дороговизнъ и "навостряютъ лыжи обратно въ скромность своихъ недальнихъ чувствъ и удовольнились ничтожностью, почти въчною", Гоголь затъмъ прибавляетъ: "Хорошо, ежели они обратять свои дъла для пользы человъчества. Хотя въ самой неизвъстности пропадутъ ихъ имена, но благодътельныя намъренія и дъла освятятся благоговъніемъ потомковъ... (І, 79). Вскоръ затъмъ Гоголь пишетъ матери коротенькое письмецо въ 14 строкъ, но и тутъ, скорбя о томъ, что не можетъ прівхать на Рождество домой изъ-за выпускныхъ экзаменовъ, ощущаеть потребность дать выходъ переполняющему его чувству:

"Вы знаете, какъ я всегда въ это время радъ быть съ вами, а теперь принужденъ лишиться моего прекраснъйшаго удовольствія, которое я замфняю только утфшеніемъ будущаго свиданія по выпускф моемъ, а до того времени въ твердомъ, постоянномъ занятіп и въ глубокомъ обдумьи *) будущей должности и новаго бытія въ дфятельномъ мірф, для блага котораго посвящена жизнь моя, можетъ быть, незамфтная, но, по крайней мфрф, всфмои силы будутъ порываться нато, чтобы означить ее однимъ благодфяніемъ, одною пользою отечеству" (I, 93).

Какая серьезность настроенія, какая опредѣленность стремленій! И это пишетъ юноша 18-ти лѣтъ. Глубина этого настроенія исключаетъ всякое заподозриваніе его искренности. Да и передъ кѣмъ нужно было становиться на ходули? Передъ доброй, но весьма малочинтеллигентной женщиной, которую всякая приподнятость могла только отпугать. Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что

^{*)} Языкъ Гоголя въ эту эпоху полонъ самыхъ неправильныхъ оборотовъ и искусственныхъ словъ.

туть сказалась только замвиательная сосредоточенность на одной мысли, и не покажется намъ поэтому высокой фразой возгласъ Гоголя въ другомъ письмв къ матери: "Вврьте только, что всегда чувства благородныя наполняютъ меня, что никогда не унижался я въ душв и что я всю эксизнь свою обрекъ благу" (I, 98). Твмъ болве не должно показаться, что буквально то же самое мы встрвчаемъ и въ писанномъ въ это же самое время "Ганцв Кюхельгартенв":

Благословенъ тотъ дивный мигъ, Когда въ порѣ самопознанья, Въ порѣ могучихъ силъ своихъ, Тотъ, Небомъ избранный, постигъ Цѣль высшую существованья; Когда не грезъ пустая тѣнь, Когда не славы блескъ мишурный Его тревожатъ ночь и день, Его влекутъ въ міръ шумный, бурный; Но мысль и крѣпка, и бодра Его одна объемлетъ, мучитъ Желаньемъ блага и добра.

Мы привели цитаты изъ шести различныхъ мѣстъ переписки и литературныхъ произведеній Гоголя, относящихся къ эпохѣ его порываній въ Петербургъ. Яркости ихъ было бы совершенно достаточно, чтобы быть прямо пораженнымъ высотою совершенно опредѣленныхъ стремленій молодого лиценста посвятить себя благу ближнихъ и государства. Передъ нами, слѣдовательно, гражданское міросозерцаніе рѣдкой выдержанности и силы.

Но вст цитированныя нами мѣста, вмѣстт взятыя, совершенно блѣднѣютъ предъ замѣчательнѣйшимъ письмомъ Гоголя къ дядѣ его, Петру Петровичу Косяровскому. Къ этому письму намъ надо отнестись съ особымъ вниманіемъ, потому что тутъ мы несомнѣнно имѣемъ дѣло съ самымъ центральнымъ матеріаломъ для характеристики Гоголя въ пору его отрочества. Петра Косяровскаго Гоголь особенно любилъ и предъ нимъ, собираясь оставить Малороссію навсегда, онъ раскрылъ всю свою душу:

"Да, можеть быть, мив цвлый ввкъ достанется отжить въ Петербургв, по крайней мврв, такую цвль начерталъ я уже издавна. Еще съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ льть почти непониланія, я пламеньль неугасимою ревностью сдълать жизнь свою нужною для блага государства, я кипълъ принести хотя мальйшую пользу. Тревожныя мысли, что я не буду мочь, что мив преградять дорогу, что не дадутъ возможности принести ему мальйшую пользу, броеали меня въ глубокое уныніе. Холодный поть проскакиваль на лиць моемъ при мысли, что, можеть-быть, мив доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ двломъ—быть въ мірв и не означить своего существованія—это было для меня ужасно. Я перебиралъ въ умв всв состоянія, веф должности въ государствв и остановился на одномъ—на юстиціи. Я видьлъ, что здвсь работы будеть болье всего, что здфсь

только я могу быть благод вяніемь, здесь только буду истинно-полезень для человъчества. Неправосудіе, величайшее въ свъть несчастіе, болю всего разрывало мое сердце, я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сдълавъ блага. Два года занимался я постоянно изученіемъ правъ другихъ народовъ и естественныхъ, какъ основныхъ для всфхъ, законовъ: теперь занимаюсь отечественными. Исполнятся ли высокія мон начертанія? или неизвъстность зароеть ихъ въ мрачной тучь своей? Въ эти годы, эти долговременныя думы свои я затаилъ въ себъ. Недовърчивый ни къ кому, скрытный, я никому не повфрялъ своихъ тайныхъ помышленій, не дълалъ ничего, что бы могло выявить глубь души моей. Да и кому бы я повърплъ и для чего бы высказалъ себя? Не для того ли, чтобы смънлись надъ моимъ сумасбродствомъ, чтобы считали пылкимъ мечтателемъ, пустымъ человъкомъ, Никому, и даже изъ своихъ товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно-достойныхъ. Я не знаю, почему я проговорился теперь передъ вами, оттого ли, что вы, можетъ быть, принимали во мнф болфе другихъ участіе или по связи близкаго родства, этого не скажу; что-то непонятное двигало перомъ моимъ, какая-то невидимая сила натолкиула меня, предчувствіе вошло въ грудь мою, что вы не почтете ничтожнымъ мечтателемъ того, который около трехъ летъ неуклонно держится одной цели и котораго насмещки, намеки более заставять окрепнуть въ предположенномъ начертании. Ежели-же вы и не поучаствуете во мнь, по крайней мърь, вы затанте мое письмо, такъ же какъ я затанлъ въ себъ одномъ свои упрямыя предначертанія" (І, 89-90).

Умоляющій тонъ послѣднихъ строкъ исключаетъ всякое заподозриваніе полной искренности письма. Это, несомнѣнно, задушевная исповѣдь. Заднихъ цѣлей у Гоголя тутъ не могло быть никакихъ: онъ отъ Косяровскаго ничего не ждалъ, и ему не для чего было выставить себя предъ нимъ въ эффектномъ нарядѣ.

Всякая вещь познается сравненіемъ. И вотъ, перебирая юные годы писателей гоголевскаго покольнія, мы развь только въ жизни Герцена и Огарева, въ столь же юные годы давшихъ другъ другу клятву посвятить себя благу человьчества, можемъ найти нъчто аналогичное гоголевскому желанію всецьло отдаться служенію "благу". Но не забудемъ огромной разницы въ тъхъ условіяхъ, при которыхъ сложилось направление Герцена и Огарева, и тъхъ, въ которыхъ воспитался Гоголь. Герценъ и Огаревъ воспитались подъ вліяніемъ энциклопедистовъ и Сенъ-Симона. Гоголь же и именъ такихъ не слыхаль, и вообще читаль мало и до своего настроенія дошель путемъ вполит самостоятельнымъ, взявъ его только изъ движеній собственнаго сердца. А кромъ Герцена и Огарева, нельзя уже указать ни одного изъ старыхъ писателей, у котораго стремление приносить людямъ "пользу" было до такой степени сильно, ярко и определенно. Тутъ именно поразительна сила сосредоточенности. Отдёльныя вснышки, отдёльные моменты такихъ высокихъ стремленій мы найдемъ и у Пушкина, и у Лермонтова, и у другихъ. Но

вмъстъ съ тъмъ всъ они были молоды, всъ не только мечтали о томъ, чтобы пить изъ чаши наслажденій, но и пили изъ нея глубокими глотками. Гоголь же прямо даже не мечталъ никогда о какихъ бы то ни было наслажденіяхъ, а еще того менте пользовался ими въ дъйствительности. Оттого онъ и могъ отдаваться такъ всецёло своимъ порывамъ и настроеніямъ. Тутъ сказываются особенности того, что мы выше назвали психологическимъ рисункомъ человъка. Въ основъ своего душевнаго склада Гоголь-самая аскетическая натура всей русской литературы. Этому человъку лично для себя почти ничего не нужно было. Онъ обыкновенно влъ ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы минимально поддержать свое истинно-бренное твло, онъ почти не пилъ, почти не бываль въ гостяхъ въ обычныхъ цёляхъ развлеченія, не играль въ карты, никогда не ухаживалъ за женщинами и, повидимому, не зналь въ своей жизни ни одной сердечной привязанности. Онъ никогда не мечталъ устроиться "домкомъ", никогда не имълъ осъдлости, въчно странствовалъ. Словомъ, по психологическому рисунку своему, это быль настоящій монахь, угрюмый, серьезный, всегда отданный думамъ высшаго порядка. Но аскетизмъ Гоголя никогда не бъгалъ отъ людей. Онъ былъ не изъ тъхъ монаховъ, которые уходятъ въ пустыню, чтобы спасти только свою душу и отрясають отъ себя ныль міра сего. Гоголь всегда и самъ работалъ для міра и другихъ къ этому звалъ. Всф обскурантские совфты "Переписки" представителямъ разныхъ общественныхъ положеній — губернаторамъ, помѣщикамъ и т. д. именно основаны на томъ, чтобы всякаго человъка заставить работать для ближняго, чтобы во всякой сферв привести его въ связь съ интересами другихъ людей. Другой вопросъ, въ чемъ видълъ авторъ "Переписки" работу для ближияго, но теперь ръчь идетъ только о направленіи, въ которомъ билась его мысль въ поискахъ лучшаго общественнаго будущаго.

Отроческая переписка Гоголя показала намъ, что напряженнъйшія думы о служенін людямъ столь же переполняли великаго писателя на зарѣ жизни, какъ и на закатѣ ея. Предъ нами, слѣдовательно, одинъ стройный аккордъ, звучащій въ одномъ и томъ же тонѣ, хотя между крайними точками его лежитъ промежутокъ въ двадцать лѣтъ. Можно ли поэтому хотя на одну минуту допустить, чтобы человѣкъ, съ такою ясно-поставленною и сознанною цѣлью въ началѣ и концѣ поприща, утратилъ эту сознательность въ серединѣ своего поприща, въ центральную эпоху высшаго расцвѣта своего геніальнаго творчества? Можно ли отказать въ сознательности Гоголю-мужу, когда мы вынуждены фактами удивляться ея опредѣленности даже въ Гоголѣ-отрокѣ?

$\Pi \cdot$

Пламенная мечта Гоголя осуществилась, онъ въ самомъ концѣ 1828 г. пріѣзжаетъ въ Петербургъ, гдѣ съ небольшими перерывами остается до 1836 г., когда надолго уѣзжаетъ за границу.

Эти немногіе годы захватывають почти всю творческую дѣятельность Гоголя: частью вышло въ свѣтъ, частью начато все то, съ чѣмъ связана великая слава его. Въ 1831 г. появились "Вечера на хуторѣ близъ Диканьки"; въ 1835 г. вышли 2 части "Миргорода", гдѣ впервые напечатаны "Старосвѣтскіе помѣщики", "Тарасъ Бульба", "Невскій проспектъ", "Записки сумасшедшаго" и перепечатана изъ "Новоселья" "Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ"; въ журналахъ 1835 и 1836 гг. напечатаны "Носъ" и "Коляска"; къ 1833—36 гг. относятся "Утро дѣлового человѣка", "Женитьба" и "Ревизоръ"; въ 1834 г. задумана "Шинель", въ 1835 г. начаты "Мертвыя души", первыя главы которыхъ успѣлъ еще прослушать Пушкинъ.

Передъ нами, слѣдовательно, весь Гоголь. Если главная часть "Мертвыхъ Душъ" и писана во время заграничнаго пребыванія 1837—39 гг., то все-таки въ томъ же тонѣ и направленіи которые создались въ творческомъ настроеніи Гоголя въ эпоху его петербургской жизни.

Такимъ образомъ, эти годы имѣютъ вполнѣ рѣшающее значеніе для изученія Гоголя. Въ предѣлахъ намѣченной нами задачи, ознакомиться съ умственнымъ строемъ Гоголя петербургскаго періода—значитъ имѣть ключъ къ уразумѣнію всей его дѣятельности. Вдобавокъ, въ эти же годы Гоголь выступилъ не только какъ художникъ, но и какъ ученый, занявъ въ качествѣ адъюнктъ-профессора каердру всеобщей исторіи въ петербургскомъ университетѣ. Помѣстилъ онъ затѣмъ также нѣсколько критическихъ статей въ только что тогда основанномъ (1836) Пушкинскомъ "Современникъ" и въ своихъ "Арабескахъ".

Какъ историческія занятія Гоголя, такъ и его попытки въ области критики должны имѣть особенное значеніе при рѣшеніи вопроса о безсознательности творчества великаго писателя. Едва ли кто станетъ спорить противъ того, что знаменателенъ уже самый фактъ, что Гоголь около 1½ лѣтъ состоялъ въ числѣ профессоровъ петербургскаго университета. Столь же поучителенъ, конечно, и фактъ появленія значительной критической статьи Гоголя ("Одвиженіи журнальной литературы въ 1834 и 1835 гг.") въ журналѣ такого тонкаго литературнаго цѣнителя, какъ Пушкинъ. Пушкинъ не сталъ бы поощрять съ величайшимъ благоговѣніемъ прислушивавшагося къ его совѣтамъ

Гоголя взяться за критику, если бы въ частыхъ бесёдахъ съ нимъ не подмётилъ тонкаго вкуса и умёнія разбираться въ литературныхъ вопросахъ. Уже одинъ фактъ появленія Гоголя въ роли критика, и критика, какъ мы дальше увидимъ, съ безусловно-серьезнымъ чутьемъ и серьезнёйшими представленіями о роли литературы и журналистики, чрезвычайно знаменателенъ. Какъ бы самъ собою возникаетъ вопросъ: какъ же такъ Гоголь, въ качествё литературнаго судьи показавшій, что онъ превосходно понималъ творчество другихъ писателей, могъ оказаться глухимъ и слёпымъ къ особенностямъ собственнаго творчества?

Однако, изъ этихъ двухъ важнѣйшихъ фактовъ духовной біографіи Гоголя его критическая дѣятельность обыкновенно совершенно игнорируется, а вопросъ о профессорствѣ Гоголя до сихъ поръ освѣщенъ у насъ односторонне.

О послѣднемъ эпизодѣ біографін Гоголя говорятъ только осудительно, только со стороны того, что Гоголь не былъ подготовленъ для ученой дѣятельности, обладалъ весьма ограниченнымъ количествомъ знаній и т. д.

Нельзя, конечно, отрицать, что въ значительной степени все это совершенно справедливо. Оставляя даже въ сторонѣ свидѣтельство современниковъ, изъ которыхъ особенною извѣстностью пользуется разсказъ Тургенева въ его воспоминаніяхъ, можно и въ перепискѣ Гоголя найти подтверженіе того, что профессорство Гоголя потерпѣло рѣшительное фіаско. Сообщая въ декабрѣ 1835 г. Погодину, что "эти полтора года—годы моего безславія", Гоголь съ горечью констатируетъ: "Общее мнѣніе говоритъ, что я не за свое дѣло взялся".

И тъмъ не менъе, можно привести цълый рядъ фактовъ, совсъмъ иначе освъщающихъ профессорство Гоголя и показывающихъ, что если оно и принесло ему "безславіе", то, главнымъ образомъ, потому, что отъ него, съ такимъ блескомъ выступпвшаго на литературномъ поприщѣ, ожидали такого же блеска и на поприщѣ научномъ. Попробуйте-ка сравнить Гоголя съ среднимъ профессоромъ первой половины тридцатыхъ годовъ, и онъ окажется не только не ниже, но значительно выше очень многихъ изъ нихъ. Уже одно то, что Гоголь—худо ли, хорошо ли, это другой вопросъ, — составлялъ собственныя лекціи, было явленіемъ необычнымъ. Въ то блаженное время, въ огромномъ большинствѣ случаевъ и не слыхать было, чтобы профессоръ преподавалъ что-нибудь самостоятельное. Читали тогда въ буквальномъ смыслѣ слова по тому или другому переводному руководству. Такъ напр., читали не словесность вообще, а "словесность по Бургію", "право по Гейнскцію" и т. д. Ужъ на что былъ

ученый человькъ Каченовскій, но и онъ читаль не всеобщую исторію, а "всеобщую исторію по Пелицу".

Что касается знаній профессовь того времени, то достаточно вспомнить записки Пирогова или "Былое и думы" Герцена, чтобы опять-таки убъдиться, что Гоголь и въ этомъ отношеніи всего менте представлялъ собою отрицательное явленіе. Нельзя же его, въ самомъ дёлё, поставить на одну доску, напримёръ, съ наставникомъ Пирогова - московскимъ профессоромъ В. М. Котельницкимъ, занимавшимъ важную канедру фармакологіи въ важнъйшемъ русскомъ университетъ и не умъвшимъ какъ слъдуетъ усвоить даже содержание того учебника, по которому "читалъ". Преподавание его заключалось въ томъ, что онъ всходилъ на канедру, раскрывалъ книгу и "начинаетъ читать слово въ слово и притомъ съ описками... Василій Михайловичъ съ помощью очковъ читаеть въ фармакологіи Шпренгеля, переводъ Іовскаго: "Клещевинное масло, oleum ricini,—китайцы придають ему горькій вкусь". Затімь кладеть книгу, нюхаеть со всхрапываемь табакъ и объясняетъ намъ, смиреннымъ его слушателямъ: "Вотъ видишь ли, китайцы придають клещевинному-то маслу горькій вкусь". Мы, между темъ, смиренные слушатели, читаемъ въ той же книге вивсто китайцевъ - "кожицы придають ему горькій вкусъ".

Этотъ разсказъ Пирогова относится къ концу 20-хъ гг. Въ томъ же стилъ разсказы Герцена, относящіеся уже къ 1831—34 гг., значитъ, прямо къ эпохъ профессорства Гоголя. Профессоръ Герцена Чумаковъ "подгонялъ формулы къ тъмъ, которыя были въ курсъ Пуансо, съ совершеннъйшей свободой помъщичьяго права, прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и Х за извъстное". Рейсъ "никогда не читалъ химіи далъе водорода. Онъ попалъ въ профессора химіи потому, что не онъ, а его дядя занимался когда-то ею. Въ концъ парствованія Екатерины старика пригласили въ Россію; ему не хотълось—онъ отправилъ вмъсто себя племянника" и т. д.

Всв эти разсказы, замвтимъ, относятся къ профессорамъ такихъ факультетовъ, гдв преподаваніе безъ положительныхъ знаній какъ будто и представить себв нельзя. Нечего уже говорить, какъ были плохи профессора по наукамъ нравственнымъ, политическимъ и историческимъ, съ ихъ неопредвленными очертаніями. Престижъ профессорскій былъ такъ малъ даже въ то малоученое время, что въ 1831 г. Пушкинъ писалъ Погодину: "Жалѣю, что вы не раздвлались еще съ московскимъ университетомъ, который долженъ рано или поздно извергнуть васъ изъ среды своей, ибо ничего чуждаго не можетъ оставаться ни въ какомъ твлв, а ученость, двятельность и умъ чужды московскому университету".

Таковъ былъ общій обликъ московскаго университета, старвішаго

н дучшаго изъ русскихъ университетовъ, гдв все-таки были и отпъльныя отрадныя исключенія, и въ которомъ уже показывались первые признаки замъчательнаго подъема научнаго уровня, начинающагося со средины 30-хъ гг. Петербургскій же университетъ стоялъ значительно ниже, и воспитанники его въ своихъ поздивишихъ разсказахъ объ университетскихъ годахъ не находили въ своей памяти почти ни одного профессорскаго имени, о которомъ могли бы говорить съ признательностью. Таковы воспоминанія учившагося въ петербургскомъ университетъ въ 1835 – 37 гг. Тургенева, который такъ мало вынесъ изъ петербургского ученія, что, правившись за границу "усовершенствоваться", долженъ был по многимъ предметамъ засъсть за азбуку. Сверстникъ его по петербургскому университету, Грановскій, послушавъ бердинскихъ профессоровъ, впалъ въ совершенное отчаяние отъ своего невъжества и, узнавъ, что такое есть настоящая профессорская ученость, хотъль отказаться оть всякихъ притязаній на профессорскую дъятельность, для подготовленія къ которой его послали.

Воть тв факты, съ точки зрвнія которыхъ надо разсуждать о томъ, быль ли подготовлень Гоголь занять канедру. До введенія устава 1834 года, до заведенныхъ тогда же командировокъ кандидатовъ въ профессора за границу, обшій уровень профессорскаго персонала быль поразительно низкій. Вотъ почему обычное отношеніе къ профессорству Гоголя, какъ къ чему-то близко граничащему съ нахальствомъ и даже, по выраженію Ореста Миллера, "позорному", страдаеть полнымъ отсутствіемъ исторической перспективы. Несостоятельность этого отношенія особенно ярко выясняется перепискою Гоголя, изъ которой мы сейчась извлечемь рядь доказательствь, что мысль о профессорство возникла не въ немъ самомъ, и внушена ему другими, и притомъ людьми съ установившеюся ученою репутаціею. Гоголь сталъ петербургскимъ адъюнктъ-профессоромъ въ 1834 г., но до того ему трижды предстояло быть адъюнктъ-профессоромъ: сначала въ московскомъ университеть, затымь въ кіевскомь, затымь опять въ московскомь, и всякій разъ не по его иниціативъ, всякій изъ этихъ трехъ разовъ Гоголю двлались предложенія, но онъ ихъ не принималь. Отъ кого исходило первое предложеніе, неизв'єстно. Имфется только глухое заявленіе Гоголя въ его инсьмъ къ Пушкину отъ 23 декабря 1833 г.: "Назадъ тому три года (я) могъ бы занять мѣсто въ московскомъ университетѣ, которое мит предлагали" (І, 270). Второе предложеніе относится къ концу 1833 г. и началу 1834, когда набирали профессоровъ для только что учрежденнаго тогда кіевскаго университета. Въ числѣ ихъ былъ землякъ и большой пріятель Гоголя, извѣстный М. А. Максимовичъ. Онъ и сталъ звать въ Кіевъ Гоголя, который съ радостью принималъ

это предложеніе. Въ тіхъ восторженныхъ выраженіяхъ (нікоторыя изъ нихъ, сказать кстати, весьма должны радовать "щирыхъ украинцевъ"), которыми Гоголь отвътилъ Максимовичу, слышится истинное воодушевленіе спеціалиста. Гоголь тогда страстно увлекался малороссійскою исторією и стариною и ему рисовалось широкое поле л'ятельности: "Представь, я тоже думаль: туда, туда! въ Кіевъ, въ древній. въ прекрасный Кіевъ! Онъ нашъ, онъ не ихъ--не правда ли? тамъ или вокругъ него дѣялись дѣла старины нашей. Я работаю. Я всѣми силами стараюся; на меня находить страхь: можеть быть я не успъю! Мнѣ надоѣлъ Петербургъ, или, лучше, не онъ, но проклятый климатъ его: онъ меня допекаетъ. Да, это славно будетъ, если мы займемъ съ тобою кіевскія каеедры: много можно будеть надёлать добра" (І, 268). Кіевское профессорство одно время совсёмъ налаживалось: "Министръ, — сообщаетъ Гоголь Максимовичу 29 марта 1834 г., мнъ объщалъ непремънно это мъсто и требовалъ даже, чтобы я сейчасъ подаваль просьбу, но я останавливаюсь затемъ, что мне даютъ только адъюнкта, увёряя, впрочемъ, что черезъ годъ непремённо едълаютъ ординарнымъ" (І, 287). Затъмъ, однако, вышла заминка со стороны кіевскаго попечителя Брадке, у котораго былъ другой кандидать на канедру всеобщей исторіи, привлекавшую Гоголя, —харьковскій профессоръ Цыхъ. Брадке нимало не былъ противъ назначенія вообще Гоголя кіевскимъ профессоромъ: онъ только предлагалъ ему другую канедру. Въ чрезвычайно характерномъ для выясненія вопроса о профессорствъ Гоголя письмъ его къ Максимовичу отъ 28 мая 1834 г. читаемъ:

"Мои обстоятельства очень странны. Сергей Семеновичь (Уваровъ) даетъ мив экстраординарнаго профессора и денъги на подъемъ, однако-жъ, ничего этого не выпускаетъ изъ рукъ и держитъ меня—не знаю для чего—здесь, тогда какъ мив нужно действовать и ехать. Между темъ, Брадке пишетъ ко мив, что не угодно ли мив взять каевдру русской исторіи, что сіе-де прилично занятіямъ моимъ, тогда какъ онъ самъ обещалъ мив, бывши здесь, что всеобщая исторія не будетъ занята до самаго моего прівзда, хотя бы это было черезъ годъ, а теперь, верно, ее отдали этому Цыху, котораго принесло какъ нарочно. Право, странно: они воображаютъ, что различія предметовъ это такая маловажность и что, кто читалъ словесность, тому весьма легко преподавать математику или врачебную науку, какъ будто пирожникъ для того созданъ, чтобы тачать сапоги. Я съ ума сойду, если мив дадуть русскую исторію" (I, 298).

Какъ мало соотвѣтствуетъ это письмо обычнымъ представленіямъ о несуразности претензій Гоголя на канедру! Такъ какъ, при согласіи министра, все дѣло назначенія Гоголя зависѣло исключительно отъ Брадке, то Гоголю стоило только написать послѣднему, что онъ беретъ предлагаемую канедру, и его тотчасъ же назначили бы экстраординарнымъ профессоромъ. Но для Гоголя профессорство—въ меч-

тахъ, по крайней мѣрѣ,—было всего менѣе карьерой или выходомъ изъ труднаго денежнаго положенія, въ которомъ онъ тогда находился. Онъ, вѣрно или невѣрно — это уже другой вопросъ, — считалъ себя призваннымъ для каоедры всеобщей исторіи и только одну ее соглашается брать. Не забудемъ еще и того, что съ чисто-технической точки зрѣнія каоедру русской исторіи было гораздо легче занимать, чѣмъ каоедру всеобщей исторіи, для которой—въ идеалѣ, по крайней мѣрѣ, — требовалось хорошее знаніе классическихъ и иностранныхъ языковъ.

Такъ-то кончились не Гоголемъ начатыя, но исключительно имъ однимъ разстроенныя хлопоты о кіевской профессурѣ. Не лишне будетъ отмѣтить для характеристики тѣхъ требованій, которыя тогда предъявлялись къ кандидатамъ въ профессора, что хлопотавшій за Гоголя Максимовичъ занялъ въ кіевскомъ университетѣ каеедру словесности, а до того онъ въ московскомъ университетѣ читалъ ботанику!

Гоголь же чрезъ и всколько м всяцевъ отвергъ и третье предложение профессуры, хотя предлагали ему теперь не въ провинцію, а въ Москву, предлагалъ не административный дъятель и не спеціалистъ по ботаникъ, а такая крупная научная величина, какъ Погодинъ. Погодинъ въ то время читалъ всеобщую исторію, но переходилъ на русскую исторію, и Гоголя хотълъ устроить въ качествъ адъюнктъ-профессора. Гоголь въ отвътномъ письмъ (I, 305), хотя и восторженно говоритъ о томъ, что "профессорство, если бы не у насъ на Руси, то было бы самое благородное званіе, но по причинамъ чисто-практическимъ находилъ для себя неудобнымъ перемъщеніе въ Москву.

Предложеніе Погодина въ высшей степени важно для опроверженія ходячихъ взглядовъ на профессорскія притязанія Гоголя. Погодинъ познакомился съ Гоголемъ въ 1832 г. и сразу записалъ въ своемъ дневникъ: "Познакомился съ Гоголемъ и имѣлъ случай сдѣлать ему много одолженія. Говорилъ съ нимъ о малороссійской исторіи. Вольшая надежда, если возстановится его здоровье" *). Дальше идетъ все рѣчь объ историческихъ занятіяхъ Гоголя,—значитъ, "большая надежда" относится къ Гоголю-историку. Съ тѣхъ поръ Погодинъ вступилъ въ тѣснѣйшую дружбу съ Гоголемъ, велъ съ нимъ оживленнѣйшую переписку, лично много говорилъ съ нимъ, наконецъ, что пожалуй, всего важнѣе въ данномъ случаѣ, внимательно читалъ нѣсколько статей Гоголя по всеобщей исторіи. Онъ, значитъ, имѣлъ ясное и опредѣленное представленіе о силахъ Гоголя. П если, тѣмъ не менѣе, онъ первый предложилъ Гоголю адъюнктство, то не смѣшны ли

^{*)} Барсуковъ, Жизнь и труды Погодина, т. IV, 114.

вст разговоры о самонадъянности Гоголя, да еще въ виду того, что самонадъянный-то человъкъ три предложенія профессорства не принялъ. Ко всему этому можно еще прибавить, что статьи Гоголя по всеобщей исторіи печатались въ ученомъ "Журналѣ министер. народ. просв.", что этими статьями до назначенія Гоголя профессором въ Петербурга интересовался ученый министръ народ. просв. Уваровъ, что Уваровъ иной разъ прямо заказывалъ Гоголю научныя статьи для "Журнала министер. народ. просв." (І, 301), что ученый издатель "Телескопа", извъстный профессоръ и критикъ Надеждинъ, очень гнался за историческими статьями Гоголя (І, 285), что о назначенін Гоголя профессоромъ въ Петербургъ хлопоталъ, кромъ Пушкина и Жуковскаго, также Никитенко. Поистинъ печальное впечатлъніе производить въ виду всехъ этихъ фактовъ глумящееся отношение нъкоторыхъ юбилейныхъ статей 1902 года къ неудачному по совсемъ другимъ причинамъ профессорству Гоголя. Апогея это отношеніе достигло въ стать психіатра Н. Н. Баженова "Бользнь и смерть Гоголя" ("Русск. Мысль", 1902, І). Какъ очень многіе спеціалисты, г. Баженовъ вообще весьма скоръ на всякіе рѣшительные выводы и обобщенія; ему, напр., достаточно прочесть въ письмі Гоголя жалобы на боль головы, чтобы тотчасъ же усмотреть туть типическую "неврастеническую каску". Но по отношенію къ профессорству Гоголя г. Баженовъ дошель до Геркулесовыхъ столбовъ: онъ причисляетъ весь этотъ эпизодъ къ "странностямъ почти патологическимъ" (стр. 143).

Такъ-то, катясь подобно лавинъ, растетъ и принимаетъ безобразные размъры всякое невърное или одностороннее мнъніе. Впервые пренебрежительно заговориль въ печати о профессорствъ Гоголя извъстный оріенталистъ Григорьевъ въ своей нікогда (1856--57) столь нашумъвшей и всъхъ возмутившей стать о Грановскомъ. Но у того были совсемъ особыя цели: обаяние Грановскаго, обладавшаго довольно ограниченными спеціальными знаніями, поселяло самое недружелюбное отношение къ нему въ сердцахъ разныхъ завистливыхъ спеціалистовъ à la Григорьевъ, богатыхъ знаніями, но бѣдныхъ нравственными силами. Григорьевъ всячески старался подчеркнуть незначительность научныхъ силъ Грановскаго и тутъ-то, для характеристики уровня той научной среды, изъ которой вышель Грановскій, и понадобился Гоголь въ роли профессора всеобщей исторіи. И вотъ, проходя разные промежуточные фазисы, отрицательное отношение къ Гоголю-профессору постоянно упускало изъ виду историческую точку зрвнія, постоянно имѣло предъ собою какъ единицу сравненія позднѣйшихъ крупныхъ историковъ нашихъ и становилось все резче и резче, пока, наконецъ, не пришелъ психіатръ и не усмотрѣлъ тутъ симптомъ будущей форменной душевной болѣзни Гоголя! Уже если признать стремленіе Гоголя занять каеедру "почти патологическою странностью", то дадимъ только пощаду хлопотавшимъ за него Пушкину и Жуковскому, какъ не-спеціалистамъ, а затѣмъ, чтобы быть послѣдовательными, причислимъ къ полупомѣшаннымъ и Максимовича, и Никитенко ¹), и Брадке, и Уварова, и особенно Погодина. Въ себѣ-то еще всякій человѣкъ ошибается, а они чего посходили съ ума, да сажали на каеедру человѣка, совершенно ея недостойнаго?

Читатель пойметь, почему мы такъ долго останавливаемся на профессорствъ Гоголя. Для насъ, помимо того, что хочется положить начало болье правильному отношенію къ одному изъ любопытныхъ эпизодовъ біографіи великаго писателя, есть туть другая, весьма важная сторона. Для насъ въ нашихъ стараніяхъ показать, что Гоголь быль не только человъкъ безсознательнаго творчества, но и писатель, вполнъ сознательно намъчавшій цъли своихъ произведеній, чрезвычайно важно выяснить, что Гоголь принадлежаль къ высшей интеллигенціи своего времени. Это не прасолъ Кольцовъ, сильный единственно природнымъ геніемъ. Пусть Гоголь и весьма малознающій ученый съ поздивишей точки зрвнія, пусть нась поражаеть то, что человъкъ, плоховато кончившій гимназію, черезъ два года получаетъ предложение занять канедру въ московскомъ университетъ, а черезъ шесть, безъ всякихъ экзаменовъ и диссертацій, въ самомъ дълъ становится профессоромъ. Намъ только важно показать, что въ свое-то время въ этомъ не было ръшительно ничего экстраординарнаго и что Гоголь быль вполнт нормальным кандидатом въ профессора. Пусть только читатель изъ всёхъ приведенныхъ нами фактовъ удержитъ въ памяти то, что Максимовичъ, тоже безъ всякихъ экзаменовъ и диссертацій, прямо съ канедры ботаники быль переміщень на канедру словесности, и никто насъ не упрекнетъ въ парадоксальности, если мы покамъстъ (дальше мы потребуемъ большаго) поставимъ такой тезисъ: Гоголь, отвергшій три предложенія занять канедру, добивался затемъ самъ профессуры въ Петербурге съ научнымъ багажемъ, достаточнымъ для обычныхъ академическихъ требованій начала 30-хъ годовъ.

¹⁾ Поздивние негодование Никитенки ("Дневникъ", І, 354—55) на Гоголя по поводу исторіи съ профессорствомъ объясняется, главнымъ образомъ, твмъ, что, при своихъ скромныхъ знаніяхъ. Гоголь твмъ не менве надменно и свысока смотрвлъ на другихъ "вялыхъ", по его выраженію, профессоровъ. Непоколебленнымъ остается, во всякомъ случав, и послв злой записи Никитенки тотъ фактъ, что первоначально Никитенко не только усердно хлопоталъ у попечителя о Гоголв, но даже старался, чтобы его назначили экстраординарнымъ профессоромъ, въ то время, какъ другіе друзья хлопотали только объ адъюнктствв.

Въ своей защить притязаній Гоголя на профессорство мы, однако, не намърены защищать самое профессорствованіе Гоголя, длившееся больше года. Оно, несомнънно, было неудачно, судя по отзывамъ современниковъ. Но причины тутъ были совству другія, и при разсмотртніи ихъ мы убъждаемся, что одного приравниванія Гоголя къ типу средняго профессора начала 30-хъ годовъ мало, что Гоголь, по тти задачамъ, которыя себт ставилъ, стоялъ, несомнънно, выше очень многихъ изъ своихъ университетскихъ товарищей.

Если бы, въ самомъ дѣлѣ, тѣ, которые такъ сурово отнеслись къ Гоголю-профессору, имъли бы предъ глазами 6-й томъ Тихонравовскаго изданія Гоголя (появился въ 1896 г.), гдт помѣщены выдержки изъ гоголевскихъ записныхъ книгъ, они бы поняли, что причина неудачнаго профессорствованія Гоголя, главнымъ образомъ, лежала въ широтъ замысловъ его. Въ подготовительныхъ работахъ Гоголя къ будущимъ лекціямъ мы находимъ какъ программу всего курса, такъ и наброски отдельныхъ лекцій. А такъ какъ Гоголь вообще быль крайне неаккуратень и множество лекцій пропускаль, то можно прямо сказать, что всё свои лекціи Гоголь читаль, предварительно сеставивъ себъ подробнъйшій остовъ. Это свидътельствуетъ не только о выдающейся добросовъстности Гоголя, но и о желаніи блестяще поставить свой курсъ и внести въ него что-нибудь новое. И это-то стремленіе и подкосило Гоголя, который, къ тому же, былъ страшно занять какъ разъ тогда же окончательной отделкой "Ревизора". Извъстно, что въ столь неблестяще сложившейся профессорской карьеръ Гоголя было, однако, два блестящихъ момента. Одинъ изъ нихъ-вступительная лекція, появившаяся затёмъ въ печати въ "Журн. мин. нар. просв." и "Арабескахъ" ("О среднихъ въкахъ"), другой—лекція, характеризующая эпоху арабскаго калифа Аль-Мамуна, тоже вскоръ напечатанная (въ "Арабескахъ"). Послъднюю лекцію Гоголь тщательно обработаль, ожидая, что къ нему заглянуть въ аудиторію Жуковскій и Пушкинъ. Они, дъйствительно, прівхали. Гоголь превосходно прочиталь свою эффектную характеристику и очароваль какъ своихъ высокихъ покровителей, такъ и слушателей. Такимъ образомъ, несомнънно, во всякомъ случат, устанавливается, что Гоголь мого бы быть прямо выдающимся профессоромъ. Но, понятно, это требовало огромной работы. Читать еженедъльно двъ "блестящія" лекцін такого типа, какія Гоголь прочиталь въ присутствін Пушкина и Жуковскаго, было страшно трудной задачей. Трудно не потому, однако, что тутъ требовалось особенно много спеціальныхъ знаній-Гоголь, какъ мы сейчасъ увидимъ, имѣлъ для этого достаточно источниковъ подъ руками, — а по причинамъ чисто-литературнаго свойства. Всякій, кто заглянетъ въ мало-читаемые гоголевскіе "Арабески"

и ознакомится съ характеристикою Аль-Мамуна, тотчасъ увидить, что это почти беллетристика, рядъ картинъ и силуэтовъ чисто-художественнаго пошиба. Гоголь писалъ ее съ тѣмъ же художественнымъ обдумываніемъ и увлеченіемъ, съ какимъ писалъ почти одновременно характеристику казачества въ "Тарасѣ Бульбѣ", т. е., составляя самую тщательную мозаику изъ наиболѣе яркихъ чертъ и набрасывая одну широкую картину. Но гдѣ же было справиться съ такого рода обработкой въ короткій промежутокъ между двумя лекціями, да еще при той крайней медленности, которая вообще характеризуетъ творчество Гоголя. У него годами созрѣвали даже самыя мелкія по объему произведенія. Лекціи нельзя было высиживать годами и оттого-то Гоголь такъ быстро и осѣкся. Банально онъ не хотѣлъ читать, а читать блестяще не хватало времени.

Такъ вотъ гдв истинная причина того, что университетская двятельность страшно занятаго въ то время своими художественными замыслами Гоголя потеривла неудачу. А спеціальныхъ знаній, какъ мы уже сказали, у Гоголя было достаточно, чтобы прочитать курсъ, вполнъ удовлетворяющій скромнымъ требованіямъ того времени. Въ примъчаніяхъ къ 6-му тому Тихонравовскаго изданія (стр. 689) напечатанъ списокъ книгъ историческаго содержанія, которыя впоследствін Гоголь подарилъ другу своему А. С. Данилевскому и которыми онъ своевременно, несомнънно, пользовался, готовясь къ лекціямъ. Это списокъ весьма приличный. Кромъ книгъ общаго значенія ("Cours de littérature trançaise" Вильмена, его же "Mélanges philosophiques, historiques et littéraires"), мы находимъ тутъ "Introductions à l'histoire universelle" Мишлэ, французскій переводъ Гердеровскихъ "Идей о философін исторін человъчества", "Исторію паденія римской имперін" Гиббона во франц. перевод' Гизо, "Всемірную исторію" Іоганна Миллера во франц. переводъ, "Dix ans d'études historiques" Огюстена Тьерри, его же "Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands" и др. Но это, однако, далеко не всѣ пособія, бывшія у Гоголя подъ рукою. Помимо книгъ на русскомъ языкъ, напр., трудовъ Беттихера и Герена, о которыхъ Гоголь даже переписывался съ Погодинымъ, тутъ нътъ той прекрасной книги по исторіи среднихъ въковъ-Галламовской "History of Middle Age", французскимъ переводомъ которой, какъ это показалъ Тихонравовъ, Гоголь особенно много пользовался. Слёды знакомства съ поименованными выше книгами и другими пособіями не трудно проследить какъ по напечатаннымъ историческимъ статьямъ Гоголя, гдф мы находимъ, напр., спеціальную характеристику исторіософическихъ взглядовъ Шлецера, Іоганна Миллера и Гердера, цитаты изъ лекцій Шлегеля и др., такъ и по ненапечатаннымъ подготовительнымъ работамъ къ универси-

тетскому курсу. Такъ, въ весьма обстоятельно составленной "Библіографін среднихъ вѣковъ" (т. 6, стр. 273—277 и 684—86), часть пособій названа, несомнінно, только по указаніямъ другихъ библіографій, но при ніжоторых сочиненіях сділаны краткія характеристики, показывающія, что Гоголь съ ними хорошо знакомъ. Это именно: "Исторія упадка римской имперіи" Гиббона, "Исторія европейской цивилизаціи" Гизо, "Европа въ средніе вѣка" Галлама, первые томы средней исторіи Демишеля. Слады пристальнаго знакомства Гоголя съ иностранными пособіями, которыя были доступны ему только на французскомъ языкѣ, весьма своеобразно и наглядно сказались въ томъ, что множество историческихъ именъ второстепеннаго значенія, для которыхъ еще не установилась русская транскрипція, у Гоголя встрвчается во французскомъ произношении. И уже одна эта мелочь чрезвычайно ярка и характерна. Она наглядно доказываетъ, что Гоголь, несомивнио, вносилъ въ свое преподавание ивчто свое, нъчто такое, чего его предшественники не касались.

А теперь, когда мы бросили взглядь въ самую лабораторію гоголевскаго профессорствованія, спросимь себя еще разь: такъ ли ничтожны были знанія Гоголя для начинающаго, двадцатипятилѣтняго лектора даже и не той эпохи? Въ первый же годь чтенія готовить для каждой лекціи подробный конспекть по ряду превосходныхъ пособій—это по тому времени было явленіемъ прямо изъ ряду вонъ выходящимъ.

Закончимъ нашъ экскурсъ нѣсколькими замѣчаніями о статьѣ Гоголя "О преподаваніи всеобщей исторіи". Изъ нея, въ связи съ перепискою, мы можемъ извлечь нѣсколько чертъ, весьма цѣнныхъ для нашего утвержденія, что въ эпоху высшаго напряженія художественнаго творчества Гоголя онъ напряженно размышлялъ и надъ вопросами теоретическаго характера.

При современной спеціализаціи знанія, когда человѣкъ, проработавши цѣлую жизнь, не дерзаетъ дѣлать обобщеній далѣе одного, двухъ столѣтій, трудно удержаться отъ улыбки, когда читаешь такое опредѣленіе задачи всеобщей исторіи:

"Предметъ ея великъ: она должна обнять вдругъ и въ полной картинъ все человъчество—какимъ образомъ оно изъ своего первоначальнаго, бъднаго младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и, наконецъ, достигло нынъшней эпохи. Показать весь этотъ великій процессъ, который выдержалъ свободный духъ человъка кровавыми трудами, борясь отъ самой колыбели съ невъжествомъ, природой и исполинскими препятствіями—вотъ цъль всеобщей исторіи! Она должна собрать въ одно всѣ народы міра, разрозвенные временемъ, случаемъ, горами, морями, и соединить ихъ въ одно стройное цълое, изъ нихъ составить одну величественную полную поэму".

Хотьли бы мы видьть того наиученьйшаго историка, который взялся бы составить и преподавать курсъ по такой программф. Но, конечно, никто не поставить Гоголю въ минусъ мечты о такомъ трудь. Во времена Гоголя доживаль свои послъдние дни, но не отжилъ, однако, совсемъ взглядъ на исторію какъ на "историческое искусство", при которомъ отъ исторчка требовались не столько основательность разработки, сколько широта обобщеній и художественная изобразительность. Еще не отошло въ область преданій профессорствование поэта и медика по спеціальному образованію Шиллера, которому ученвиший іенскій университеть предложиль канедру всеобщей исторіи за "Исторію отпаденія Нидерландовъ", съ строго-научной точки почти не имѣющую никакой цѣны и интересную только по блестящему литературному изложенію. Еще вполнъ свъжо было колоссальное впечатленіе, произведенное исторією Карамына, успёхъ которой покоился не на эрудиціи, а на художественной изобразительности и нравственно-политическомъ морализированіи. Почти десять льтъ спустя посль появленія "Плана" Гоголя, Бълинскій, самъ хотя и не спеціалисть, но всегда отражавшій кругь представленій наиболфе научно-образованныхъ круговъ своего времени, ставитъ историку такія же задачи (см. начало его статьи о "Россіи до Петра Великаго").

Но если еще можно что-нибудь сказать, съ чисто-научной точки зрѣнія, противъ стремленія превратить всемірную исторію въ "поэму", то именно въ этой "ненаучности" нельзя не видѣть чрезвычайно благопріятнаго обстоятельства для расширенія творческаго горизонта Гоголя въ одну изъ самыхъ напряженныхъ эпохъ его духовной жизни,—въ моментъ окончательной обработки "Ревизора". Тотчасъ по оставленіи университета, 6 декабря 1835 г., Гоголь писалъ Погодвну:

"Я расплевался съ университетомъ, и черезъ мѣсяцъ опять беззаботный казакъ. Неузнанный я взошелъ на кафедру и неузнанный схожу съ нея. Но въ эти годы—годы моего безславія, потому что общее мнѣніе говорить, что я не за свое дѣло взялся,—въ эти полтора года я много вынесъ оттуда и прибавилъ въ сокровищницу души. Уже не дѣтскія мысли, не ограниченный прежній кругъ моихъ свѣдѣній, но высокія исполненныя истины и ужасающаго величія мысли волновали меня!.. Миръ вамъ, мои небесныя гостьи, наводившія на меня божественныя минуты въ моей тѣсной квартирѣ, близкой къ чердаку! Васъ никто не знаеть, васъ вновь опускаю на дно души до новаго пробужденія: когда вы исторгнетесь съ большею силою и не посмѣетъ устоять безстыдная дервость ученаго невѣжи, ученая и неученая черпь, всегда соглашающаяся публика и проч., и проч..." (I, 357).

Невозможно, конечно, съ полною опредъленностью сказать, къ какой сферъ относятся тъ "исполненныя ужасающаго величія" мысли, о которыхъ идетъ ръчь въ этомъ первостепенной важности отрывкъ

изъ лѣтописи творчества Гоголя. Они, несомивно, охватываютъ всю совокупность его душевной жизни въ эпоху профессорствованія, которая, вмѣств съ тѣмъ, есть эпоха упорной работы надъ окончательной отдѣлкой "Ревизора". Отчасти, конечно, слова Гоголя относится къ спеціальному кругу взглядовъ его на историческую жизнь. Но несомивно, что тутъ и пророческое предвидвніе того значенія, которое предстояло получить окончательно "исторгнувшемуся" теперь изъ творческихъ нѣдръ "Ревизору". "Божественныя минуты", видимо, съ одной стороны относятся къ уясненію для Гоголя судебъ человѣчества. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, тутъ ярко и проникновенно сказалась память о тѣхъ волшебныхъ посѣщеніяхъ генія, когда умственному взору Гоголя представилось во всей его силѣ значеніе великой комедіи. А "новое пробужденіе", можетъ быть, относится къ дальнѣйшему развитію зачатыхъ ужъ тогда "Мертвыхъ душъ".

Но опредъленность въ данномъ случав не имветъ рвшительно никакого значенія. Совсемъ не важны точныя очертанія тёхъ мыслей, думъ и чувствъ, которыя волнуютъ писателя, важно только, чтобы онъ горълъ и волновался и чтобы это волнение направляло его душевную жизнь въ одну опредъленную сторону. Душа писателя-творца есть горнило, въ которомъ въ моменты рожденія великихъ произведеній плавится благородный металлъ таланта и горить святой огонь вдохновенія. Только наличность и порода плавящагося металла и имъетъ значеніе, а уже ту или другую вполнъ опредъленную форму драгоценная масса непременно приметь. И сейчась приведенный разсказъ Гоголя о томъ, что происходило въ его душъ въ годы созданія "Ревизора", прежде всего важенъ тъмъ, что отъ него пышетъ страшнымъ внутреннимъ огнемъ, что насъ обдаетъ тъмъ жаромъ, въ пылу котораго выкована великая комедія. А затемь мы ясно видимь, что раздувало и поддерживало въ душѣ Гоголя творческій огонь. Не беззаботный смъхъ, не зубоскальство, не желаніе забавить, а мысли "ужасающаго величія" создали "веселую" комедію. То единственно-честное лицо среди плутовъ и пошляковъ "Ревизора", которое Гоголь впоследствіи вводиль въ объясненіе своей комедінавторское отношеніе, — не фраза, значить, потомъ придуманная. Предъ нами реальный фактъ, "волненіе" самаго высокаго свойства наполняло душу автора въ теченіе всёхъ двухъ лётъ, которыхъ потребовало созданіе "Ревизора".

И вотъ съ полною опредъленностью вырисовывается картина духовной жизни Гоголя въ знаменательный періодъ соединенія въ одно неразрывное цѣлое его научной и художественной дѣятельности. Схема получается такая: въ эпоху во всякомъ случаѣ успленныхъ историческихъ занятій, въ эпоху мечтаній создать "поэму" всеоб-

щей исторіи, въ годы, когда Гоголю, какъ онъ писалъ Погодину, казалось, что ему суждено "сдѣлать кое-что необщее во всеобщей исторіи" (І, 275), онъ столь же усиленно работаетъ надъ произведеніемъ, которое открываетъ собою гражданскій періодъ русской литературы. Есть ли физическая возможность, чтобы не установилось взаимодѣйствіе, когда голова и душа работали одновременно и надъ исторіей и надъ комедіей, когда утромъ или вечеромъ писалась или обдумывалась лекція, а вечеромъ или утромъ писалась или обдумывалась сцена изъ "Ревизора". Разсказывая Погодину въ началѣ 1833 года о тѣхъ крайне знаменательныхъ (мы еще дальше къ нимъ вернемся) причинахъ, въ силу которыхъ у него не двигалась такъ и оставшаяся неоконченною злѣйшая по замыслу комедія "Владиміръ 3-ьей степени", Гоголь пишетъ:

"Итакъ, за комедію не могу приняться, а примусь за исторію— передо мною движется сцена, шумитъ аплодисментъ, рожи высовываются изъ ложъ, изъ райка, изъ креселъ и оскаливаютъ зубы, и— исторія къ чорту" (I, 245).

Если такъ тѣсно было соприкосновеніе въ 1833 году, при сочиненіи неоконченной и необязательныхъ историческихъ занятій, то что же говорить о 1835 годѣ, съ его интенсивнѣйшей работой надъ оканчиваемой комедіей и обязательными занятіями исторіей для подготовленія къ лекціямъ?

Рука объ руку шли теперь и историческія и художественныя думы Гоголя. Напряженно размышляль Гоголь о судьбахъ народовъ, размышляль всегда въ обобщающихъ и анализирующихъ очертаніяхъ, потому что собственно самое изложение историческихъ событий его никогда не занимало. Размышлялъ онъ также о гражданскомъ бытъ н устройствъ, которому вообще посвящалъ много вниманія въ своихъ историческихъ статьяхъ и подготовительныхъ наброскахъ. И въ это же самое время онъ весь горёль творческимь напряженіемь, чтобы ярче изобразить порядки и атмосферу того города, судьбами котораго заправлялъ Сквозникъ-Дмухановскій. Мысли "ужасающаго величія" возникали у него, когда онъ думаль о явленіяхъ исторической жизпи западно-европейскихъ и восточныхъ народовъ. Неужели же онв его оставляли какъ разъ въ тотъ моментъ, когда онъ переходиль къ явленіямь русской жизни? Не забудемь же того, что "Ревизоръ" не есть непосредственная фотографія съ живой дъйствительности, а одно изъ самыхъ сконцентрированныхъ синтетическихъ произведеній, гдѣ все есть обобщеніе, все есть результать суммированія отдъльныхъ чертъ. Предъ нами, такимъ образомъ, моментъ общаго напряженія именно рефлектирующей стороны Гоголевскаго духа, періодъ не непосредственнаго, а глубоко-размышляющаго творчества. Это-то, конечно, и сообщило веселому анекдоту, который Пушкинъ разсказалъ Гоголю, такія грандіозныя очертанія и превратило его въ потрясающую картину всего нашего общественно-государственнаго уклада.

IV.

Если Гоголь-историкъ цѣнится у насъ, обыкновенно, незаслуженно мало, то Гоголь-критикъ просто мало кому извѣстенъ. Въ обширной литературѣ о Гоголѣ эта сторона его дѣятельности почти никѣмъ не разсматривается. А, между тѣмъ, она достаточно поучительна и уже вполнѣ безспорно обрисовываетъ Гоголя не только какъ безсознательнаго художника-творца, но и какъ литературнаго судью съ вполнѣ опредѣленными взглядами на задачи литературной дѣятельности.

Первымъ критическимъ опытомъ Гоголя является "Нѣсколько словъ о Пушкинѣ", въ "Арабескахъ". Небольшая статья теперь, конечно, никого не можетъ удивить новизною или оригинальностью мыслей. Но для своего времени и въ тотъ моментъ, когда она была написана (1833), статья была выраженіемъ серьезнаго и вдумчиваго литературнаго міросозерцанія. Въ началѣ 30-хъ годовъ слава Пушкина стала меркнуть. Публика, пораженная трескомъ и блескомъ Марлинскаго, отнеслась холодно къ той пластичной простотѣ, которая характеризуетъ творчество Пушкина во вторую, лучшую и наиболѣе зрѣлую пору его дѣятельности. Въ этотъ-то моментъ было несомнѣнно ироявленіемъ мало обычной здравости вкуса, когда Гоголь напоминалъ, что "чѣмъ предметъ обыкновеннѣе, тѣмъ выше надо бытъ поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное и чтобы это необыкновенное, было, между прочимъ, совершенная истина". Съ этой точки зрѣнія онъ скорбѣлъ о томъ, что "недостаточно оцѣнены послѣднія произведенія Пушкина. Опредѣлилъ ли кто "Бориса Годунова", это высокое, глубокое произведеніе, заключенное во внутренней, пеприступной поэзіи, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа".

Наибольшій интересь изъ критическихъ опытовъ Гоголя представляеть появившаяся анонимно въ 1-й книгѣ Пушкинскаго "Современника" (1836) статья "О движеніи журнальной литературы въ 1834 п 1835 годахъ". Свидѣтельствомъ современнаго значенія ея можетъ служить отзывъ Бѣлинскаго, который, рззбирая въ "Молвѣ" первый № "Современника" и не зная, кому принадлежитъ статья, принялъ

ee за profession de foi новой редакціи и по ней судиль о "духѣ и направленіи" журнала. Передавая содержаніе статьи, Бѣлинскій считаетъ "за долгъ сказать, что всв эти сужденія не только изложены рѣзко, остро и ловко, но даже безпристрастно и благородно". Последніе эпитеты Бълинскій счелъ нужнымъ прибавить въ виду того, что "авторъ статьи не исключаетъ изъ своей опалы ни одного журнала" "И хотя",—прибавляетъ Бълинскій—"его сужденіе и о нашемъ изданіи совстить не лестно для насъ, но мы не видимъ въ немъ ни злонам вренности, ни зависти, ни даже несправедливости" (Бълинскій, Соч., по нашему изд., т. ІІІ, 4). Больше всего Бълинскаго привель вь восторгь взглядь статьи на назначение журналистики, характеристика безпринципнаго паясничества Брамбеусовской "Библіотеки для чтенія" и продажности "Съв. Пчелы". И это, дъйствительно, лучшая часть статьи. Правда, туть не все могло казаться новымъ-Такъ, напр., Бълинскій совершенно справедливо говорилъ: "О Библіотекъ для чтенія высказаны истины "ръзкія и горькія для нея, но уже извъстныя и многими еще прежде сказанныя". Между прочимъ, самимъ Бълинскимъ еще въ концъ 1834 г. въ "Литературнымъ мечтаніяхъ" была сдёлана Брамбеусу страстная отповёдь, въ которую молодой критикъ вложиль всю силу присущей ему способности возмущаться пошлостью и безпринципностью. Если мы, темъ не мене, ставимъ Гоголю въ особую заслугу протестъ противъ имъвшей огромнайшій успахъ "Библіотеки", то потому, что въ частной перепискъ Гоголь давнымъ давно возсталь противъ "брамбеусины", какъ онъ выразился въ письмѣ къ Погодину (I, 273). Въ печати, и при томъ въ очень смягченной формъ, Гоголь выразилъ свое негодование только въ 1836 году въ разбираемой теперь статьв. Но въ письмв къ Погодину отъ 11 января 1834 г. все это было высказано тотчасъ послѣ выхода первой же, столь поразившей публику, книжки "Библіотеки для чтенія":

"... нодъ ногами у тебя валяется толстый дуракъ, т. е. первый № Смирдинской "Библіотеки". Кстати о "Библіотекѣ". Это довольно смѣшная исторія. Сенковскій очень похожъ на стараго пьяницу и забулдыжника, котораго долго не рѣшался впускать въ кабакъ даже самъ цѣловальникъ, но который, однако-жъ, ворвался и бьетъ, очертя голову, сулеи, штофы, чарки и весь благородный препаратъ. Сословіе, стоящее вышеБрамбеусины, негодуетъ на безстыдство и наглость кабачнаго гуляки. Сословіе, любящее приличіе, гнушается и читаетъ. Начальники отдѣленій и директоры департаментовъ читаютъ и надрываютъ бока отъ смѣху. Офицеры читаютъ и говорятъ: "С.. сынъ, какъ хорошо пишетъ". Помѣщики покупаютъ и подписываются и, вѣрно, будутъ читать. Одни мы, грѣшные, откладываемъ на запасъ для домашняго хозяйства" (I, 273).

По этой удивительно-мѣткой характеристикѣ успѣха Брамбеуса-Сенковскаго можно подумать, что Гоголь хотя и очень быстро и чутко, но все-таки отразиль мивніе кружковь, "стоящихь выше Брамбеусины". Но въ двиствительности, однако, Гоголю безусловно принадлежить честь перваго опредвленія литературной цвны этого столь важнаго литературнаго явленія тридцатыхь годовь. Уже 20 февраля 1833 г., за годъ до выхода "Библіотеки", когда Брамбеусъ и имени никакого не имель, Гоголь писалъ Погодину:

"Читалъ ли ты Смирдинское "Новоселье"? Для меня оно замѣчательно тѣмъ, что здѣсь въ первый разъ показались въ печати такія гадости, что читать мерзко. Прочти Брамбеуса: сколько тутъ и подлости, и вони, и всего" (I, 246).

Въ этой прозорливости нельзя не усмотръть весьма тонкаго пониманія особенностей своего собственнаго творчества. Діло въ томъ, что Брамбеусъ до извъстной степени писалъ въ томъ же стиль, какъ и самъ Гоголь. На грубый вкусъ у нихъ было много общаго. Та же "забавность", то же остроуміе, которое къ тому же, какъ ни относиться строго къ Брамбеусу, было у него не заурядное, тъ же, наконець, экскурсы въ сферы, для представителей литературной чопорности казавшіяся "грязью". Благодаря этой внѣшней близости, получалась возможность для людей, неспособныхъ отличать золото отъ мишуры, смѣшивать обоихъ "забавныхъ" писателей. И ихъ смѣшивали не разъ даже люди, безконечно преклонявшіеся предъ Гоголемъ. Почтенная Марья Ивановна Гоголь, безграничное благоговъніе которой предъ талантами сына доходило до величайшихъ курьезовъ, прямо въ ярость приводила его, приписывая ему некоторыя повести Брамбеуса (I, 293), казавшіяся ей, какъ и всей провинціи, верхомъ ядовитаго остроумія. Но Гоголь-то съ перваго момента появленія Брамбеуса понялъ всю глубину бездны, ихъ отделяющей, все безграничное несходство внутреннихъ побужденій. Онъ, "копавшійся въ грязи", чтобы показать, какіе перлы таятся на дне ея и чтобы сквозь эту грязь провести людей къ свъту, онъ, "забавляя" своихъ читателей, ни на одну минуту не разстававшійся съ тоскою по совершенству, не могъ не отнестись съ истиннымъ омерзеніемъ къ чисто-клоунскому барахтанію въ грязи Брамбеуса, сознательно спекулировавшаго на возбуждение низменныхъ инстинктовъ. Оттого-то онъ и встрепенулся такъ, и вельзя объяснять его отношенія къ Брамбеусу однимъ чувствомъ досады. Тутъ замѣчательна искренность и сила презрѣнія. Извѣстно изъ жизни самыхъ великихъ писателей, что подъ вліяніемъ очень шумнаго успѣха въ нихъ зарождалось желаніе подражать вещамъ, безусловно ниже стоящимъ ихъ собственныхъ произведеній? Кому, напр., придетъ въ умъ сопоставлять геніальныя въ своей правдивой простотъ повъсти Пушкина съ фейерверочнымъ романтизмомъ повъстей Марлинскаго? Однако, Пушкинъ далеко не

сознаваль этого превосходства и съ извѣстнымъ чувствомъ не личной, а именно творческой зависти приглядывался къ огромному впечатлѣнію, которое производила эфектная напыщенность Марлинскаго, и кое въ чемъ подражалъ ему. И вотъ почему мы въ глубочайшемъ и искреннѣйшемъ презрѣніи, именно презрѣніи и ни мало не зависти, Гоголя къ модному Брамбеусу не можемъ не усмотрѣть доказательства полнаго и яснаго разумѣнія свойствъ своего собственнаго творчества.

Отношеніе Гоголя къ модному Брамбеусу, убійственная характеристика сильной своимъ вліяніемъ на среднюю публику "Сѣв. Пчелы" и мѣткое приравниваніе дававшаго всѣмъ свое имя Греча къ "почтеннымъ пожилымъ людямъ", которыхъ приглашаютъ въ посаженые отцы на всѣ свадьбы" были выраженіемъ тонкаго вкуса Гоголя и умѣнья его понимать литературныя инцивидуальности. Но въ этой же статьѣ Гоголь проявилъ и высокія общія представленія о литературной дѣятельности. Главный упрекъ, съ которымъ онъ обращался къ "Библіотекѣ для чтенія" было отсутствіе у Брамбеусовскаго журнала "цѣли". Разсказавъ, какъ блестяще была поставлена Смирдинымъ въ журналѣ издательская часть, какъ много даетъ журналъ своимъ подписчикамъ литературнаго матеріала, какъ много было привлечено хорошихъ писателей, критикъ считаетъ, однако, все это недостаточнымъ:

"Никто не позаботился,—говорить онъ,—о весьма важномъ вопросѣ "долженъ-ли журналъ имѣть какой-нибудь опредѣленный тонъ, одно уполномоченное мнѣніе, или онъ долженъ быть складочнымъ мѣстомъ всѣхъ мнѣній, всѣхъ толковъ, составить какую-то разнохарактерную ярмонку, гдѣ каждый хлопочеть о своемъ" (стр. 331).

"Какая цёль была редактора этого журнала?—спрашиваетъ опять Гоголь черезъ нёсколько страницъ.—Какой начерталъ себё путь журналъ, что такое избралъ онъ девизомъ, какая свётлая мысль, какое доброе, радушное, увлекающее слово скажетъ онъ на воспитаніе всеобщее молодого и великаго нашего отечества" (стр. 331).

А еще черезъ нѣсколько строкъ у Гоголя вырывается удивительно характерная для него тпрада:

"Прочитавши вев статьи, помвщенныя въ этомъ журналь, сльдун за всвин словами, сказанными имъ (Сенковскимъ), невольно остановишься въ изумленіи: что это такое? что заставляло писать этого человька, когда его не мучило ни одно желаніе сказать еще несказанное свъту" (стр. 332).

Въ этихъ словахъ весь Гоголь съ его литературнымъ страданіемъ, съ его страстнымъ стремленіемъ выразить всю полноту своей души, которое подъ конецъ жизни только приняло трагическіе размѣры, но глубоко сидѣло въ немъ съ нервыхъ же шаговъ на литературномъ поприщѣ. А во всѣхъ приведенныхъ выдержкахъ, вмѣстѣ взятыхъ, мы уже видимъ ясныя очертанія того пророчески-высокаго взгляда

на задачи писателя, который иной разъ приводиль къ недостаточно объективно комментируемому у насъ "высокомфрію" Гоголя, но которое на самомъ дѣлѣ были только естественнымъ отраженіемъ и великаго его генія и огромнаго значенія, пріобрѣтеннаго русскою лите-

ратурою.

Требованіе "увлекающаго" и "несказаннаго свѣту" слова "на воспитание молодого и великаго нашего отечества" до такой степени составляло святую святыхъ Гоголя, что онъ, видимо, не захотълъ даже до поры до времени выступать съ нимъ передъ публикою. Онъ какъ будто еще ственялся провозглашать лозунгь, который невольно наводилъ на мысль, что самъ-то авторъ говоритъ слово и "увлекающее" къ добру и еще "несказанное свъту". Въ печать эти лирическія міста его статьи не попали. Мы цитировали не по тексту, который явился въ "Современникъ" и потомъ перепечатывался въ собраніяхъ сочиненій Гоголя, а по черновымъ наброскамъ, впервые напечатаннымъ въ VI томъ Тихонравовскаго (X-го) изданія. Для печати самъ Гоголь, который всегда былъ возвышенъ въ первыхъ своихъ порывахъ, но далеко не всегда оставался на высотъ этихъ порывовъ въ дальнъйшихъ стадіяхъ, многое сгладилъ, смягчилъ и обезличилъ. Такимъ образомъ, въ приведенныхъ выдержкахъ предъ нами отрывки изъ задушевнаго дневника, возгласы, вытекшіе изъ того же самого настроенія, которое сказалось въ одномъ изъ первыхъ же петербургскихъ писемъ Гоголя къ матери, гдв онъ мечталъ "разсвивать благо и работать на пользу міру" (I, 124).

Экскурсін Гоголя въ область критики не ограничиваются статьями о Пушкинѣ и движеніи журнальной литературы. Онъ позднѣе не разъ высказывался по литературнымъ вопросамъ. Но мы этого теперь не станемъ касаться, потому что насъ покамѣстъ интересуетъ интеллектуальный міръ Гоголя въ эпоху созданія перваго великаго гражданскаго произведенія его—"Ревизора".

Какъ самое появленіе статьи Гоголя въ казовой книжкѣ пушкинскаго "Современника", такъ и самое содержаніе бойкаго, остроумнаго и благороднаго отпора литературной пошлости и безпринципности произвели, несомнѣнно, большое впечатлѣніе на лучшую часть публики. Дѣлая къ ней кое-какія дополненія, одинъ изъ читателей "Современника"— А. Б. (Безсоновъ) въ "Письмѣ къ издателю", напечатанному въ 3-ей книжкѣ журнала, между прочимъ, говоритъ: "Статья о движеніи журнальной литературы по справедливости обратила на себя общее вниманіе". Если къ этому присоединить восторги Бѣлинскаго, то едва ли будетъ надобность дальше останавливаться на доказательствахъ того, что статья выдвигаетъ Гоголя въ первые ряды мыслящихъ людей своего времени. Предъ нами уже совер-

шенно безспорно не только безсознательно творящій художникъ, но и тонкій представитель рефлексіи. Прибавимъ только еще одинъ чрезвычайно знаменательный фактъ. Въ своемъ дневникѣ Пушкинъ 7 апрѣля 1834 г. сдѣлалъ такую запись:

"Гоголь, по моему совъту, началъ исторію русскої критики" (Соч., изд. Литературнаго Фонда, т. V, 205).

Изъ этой затъи ничего не вышло. Пока Гоголь не попалъ на настоящій путь, пока огромное впечатлівніе, произведенное "Ревизоромъ", не укрѣпило его окончательно въ сознаніи своихъ великихъ силъ, онъ кидался въ разныя стороны и былъ занятъ планами самыхъ разнообразныхъ нехудожественныхъ предпріятій; то затіваль исторію Малороссін и печаталь въ газетахъ просьбы о присылкъ ему матеріаловъ, то собирался "дернуть" исторію среднихъ в вковъ въ восьми томахъ и т. д. Послъ "Ревизора" всъ эти затън разсъялись, какъ дымъ, и Гоголь даже не вспоминалъ о своихъ многочисленныхъ проектахъ. Не вернулся онъ и къ исторіи русской критики. Но отъ этого самый фактъ пушкинскаго предложенія не теряеть своей знаменательности. Какого высокаго мнвнія о Гоголв, какъ мыслящемъ человъкъ, долженъ былъ быть Пушкинъ, съ его тончайшимъ вкусомъ и разностороннею образованностью, чтобы предложить молодому писателю такую сложную и отвътственную литературно-критическую задачу.

V.

Переходя отъ Гоголя-историка и Гоголя-критика къ Гоголю— творцу "Ревизора" и вопросу о степени сознательности этого великаго литературно-гражданскаго подвига, считаемъ очень поучительнымъ вепомнить тутъ исторію происхожденія другого великаго литературно-гражданскаго подвига—тургеневскихъ "Записокъ Охотника".

Мы, съ одной стороны, знаемъ изъ собственныхъ показаній творца ихъ, что "Записки Охотника" были исполненіемъ "Аннибаловской клятвы" бороться съ крѣпостнымъ правомъ, которую авторъ далъ себѣ подъ совокупнымъ вліяніемъ знакомства съ европейскою жизнью, просвѣтительныхъ идей кружка Бѣлинскаго и ужасныхъ внечатлѣній, вынесенныхъ изъ родительскаго дома. Но, съ другой стороны, знаемъ мы и вотъ что. Въ концѣ 1846 года, когда "Современникъ" переходилъ въ руки новаго литературнаго поколѣнія, Панаевъ обратился къ Тургеневу съ просьбой дать что-нибудь для

первой книжки преобразованнаго журнала. У Тургенева ничего "серьезнаго" въ портфелѣ не оказалось. Но валялся у него маленький "пустячекъ", который онъ и предложилъ Панаеву. Панаевъ радъ былъ и пустячку; однако, соотвѣтственно безхитростному типу очерка, помѣстилъ его не въ отдѣлѣ заправской беллетристики, а засунулъ въ отдѣлъ "Смѣси". А чтобы окончательно обезоружить какія бы то ни было строгія требованія, Панаевъ къ скромному и безъ того заглавію очерка "Хорь и Калинычъ" прибавилъ еще подзаглавіе (Изъ записокъ охотника). Этимъ всякія требованія уже окончательно устранялись: чего же и ждать отъ мимолетныхъ впечатлѣній охотника.

Публика оказалась проницательное и автора и редактора. Ударивъ въ нервъ времени, отвътивъ потребности лучшихъ сердецъ ласково отнестись къ закръпощенному народу, "Хорь и Калинычъ" обратилъ на себя всеобщее вниманіе. Успъхъ окрылилъ начинавшаго охладъвать къ своей литературной дъятельности Тургенева, онъ въ томъ же тонв одинъ за другимъ пишетъ рядъ такихъ же очерковъ, которые вмъстъ взятые и были блистательнымъ исполненіемъ клятвы. Однако, какъ ни ясны были свойства успъха очерковъ, значеніе "Записокъ охотника" не сразу выяснилось въ полной мѣрѣ. Великій литературный прозорливецъ Бѣливскій видѣлъ въ Тургеневѣ не больше, какъ писателя Далевскаго типа. И въ то же время какъ во всёхъ отношеніяхъ ниже стоящій "Антонъ Горемыка" Григоровича произвелъ на него потрясающее впечатленіе, появившіеся при его жизни превосходные первые очерки "Записокъ Охотника", сравнительно, тронули его мало. Окончательно значение "Записокъ Охотника" установилось позже.

Разсказанный эпизодъвъ высшей степени характеренъ и вводитъ вопросъ о сознательности творчества въ надлежащія границы. Если бы мы не знали, что "Записки Охотника" представляютъ собою исполненіе клятвы, мы бы имѣли тутъ яркое подтвержденіе извѣстнаго уже намъ мнѣнія Бѣлинскаго, что творчество геніевъ вообще и Гоголя въ частности идетъ путемъ безсознательнымъ. Но такъ какъ мы знаемъ совершенно точно, что "Записки Охотника"—это единственно геніальное произведеніе въ ряду просто первоклассныхъ произведеній Тургенева—имѣли своимъ источникомъ совершенно опредѣленное намѣреніе, выводъ получается иной. Мы убѣждаемся, что въ тѣхъ случаяхъ, когда данная мысль и данное настроеніе насквозь, органически проникаютъ писателя, когда эта мысль и это настроеніе сложились въ душѣ писателя совершенно ясно и отчетливо, то нѣтъ того "пустячка", въ которомъ все это не сказалось бы въ полной силѣ. И достаточно самаго внѣшняго повода, какимъ по

отношенію къ Тургеневу быль успѣхъ перваго очерка, чтобы вдохновеніе забило ключемъ и вывело бы на свѣтъ Божійвсе скопившееся на днѣ творческой души настроеніе.

И вотъ такое-то *органическое* проникновеніе можно вполнѣ прослѣдить въ "Ревизорѣ". Если Гоголь даже и не предвидѣлъ всѣхъ выводовъ, которые можно сдѣлать изъ его комедій,—какъ не предвидѣлъ и Тургеневъ широкихъ выводовъ изъ скромнаго "Хоря и Калиныча",—то все-таки, несомнѣнно можно установить, что ни одна деталь въ "Ревизорѣ" не выскочила случайно. Всѣ части картины находятся въ тѣснѣйшей связи съ тѣми вполнѣ опредѣленными взглядами на отдѣльныя стороны и явленія русской жизни, которые сложились у Гоголя въ эпоху созданія комедіи. Переписка намъ даетъ совершенно опредѣленное указаніе, что злая и безпощадная картина зародилась въ моментъ, когда Гоголь, по собственному знаменательному опредѣленію, чувствовалъ въ себѣ особенный приливъ "правды и злости".

"Правда и злость" были заложены въ самый фундаментъ всего нравственнаго существа Гоголя и съ дътскихъ лътъ составляли самую яркую особенность великаго меланхолика.

Уже въ 18 лътъ, вспоминая "прошлое", онъ пишетъ своему другу Высоцкому: "Съ первоначальнаго нашего здёсь (Нёжине) пребыванія, уже мы поняли другь друга, а глупости людскія уже рано сроднили насъ; вмъсть мы осмъчвали ихъ" (І, 55). Съ годами, по мъръ того какъ расширялся умственный горизонтъ Гоголя, росла въ немъ и опредъленность отрицательнаго отношенія къ окружающей обстановкъ, и къ эпохъ созданія "Ревизора" Гоголь былъ "консерваторомъ" самаго страннаго сорта. Безусловный теоретическій поклонникъ существующаго уклада общественно-государственной жизни, разсматриваемаго какъ цѣлое, онъ къ каждой ел детали относился безусловно отрицательно. Достаточно для этого прослѣдить его отношенія къ отдёльнымъ сословіямъ. Не стоитъ, конечно, сколько-нибудь подробно останавливаться на томъ, какъ относился Гоголь къ чиновничеству: слишкомъ уже связано въ умъ каждаго читателя имя великаго сатирика съ бичеваніемъ чиновническихъ злоупотребленій и бездушія. Но интересно будеть отмітить ту глубину презрінія, которую питаетъ Гоголь къ чиновничеству и которая резко отделяеть его оть другихъ писателей, до него бичевавшихъ взяточничество, напримѣръ, Капниста. Для Гоголя чиновникъ не злодѣй, а пошлякъ и ничтожество по преимуществу. Чтобы хронологически не отходить отъ "Ревизора", вспомнимъ написанное въ 1833 году "Утро делового человека". Тутъ нетъ "бичеванія", а все насквозь пропитано какимъ-то безграничнымъ презрвніемъ, желаніемъ выяснить полное

ничтожество человъка, занимающаго очень видный постъ, хотя всѣ его таланты заключаются въ умѣніи слѣдить за каллиграфіей идущихъ къ министру бумагъ. И это общая черта почти всѣхъ чиновниковъ Гоголя: въ нихъ нѣтъ даже простой дѣловитости, они только и умѣютъ, что чваниться, кричать на подчиненныхъ, да самымъ грубымъ и элементарнымъ образомъ брать взятки. За исключеніемъ "весьма, по своему, не глупаго" городичаго, въ огромной галлереѣ гоголевскихъ чиновниковъ и администраторовъ нѣтъ ни одного, которому можно было бы сдѣлать такой сомнительный комплиментъ, что онъ тонкій мошенникъ или хоть и "бестія" и "шельма", но "умная".

Тъмъ же безграничнымъ пренебрежениемъ проникнуто отношение Гоголя къ сословію, которое въ огромномъ большинствѣ его современниковъ почти не возбуждало къ себъ критическаго отношенія. Мы говоримъ о военныхъ. Для декабриста Марлинскаго, для Лермонтова съ его "горечью и злостью", съ понятіемъ "офицеръ" почти всегда связано представление о чемъ-то во всякомъ случав молодомъ, сввжемъ, а сплошь да рядомъ блестящемъ и увлекательномъ. Для Гоголя же офицеръ всегда какой-то синонимъ глупости и пошлости, а часто кое-чего и похуже. Самый типичный изъ военныхъ, фигурирующихъ въ произведеніяхъ Гоголя эпохи "Ревизора", —поручикъ Пироговъ не обладаетъ даже самою элементарною добродътелью своего сословія—онъ не храбръ и въ дълахъ "чести" весьма покладистъ. Если "перекидываніе карточками" принимаеть трагическій характерь, то уже тутъ непремънно на сценъ военный и даже не малаго чина. Хлестакова на станціи "сръзаль" на штось пъхотный капитань, а "господинъ майоръ" въ первоначальномъ наброскъ ;"Коляски"—67 печати это исчезло - прямо и рекомендованъ авторомъ какъ "страшный шулеръ" (X-ое изд. подъ ред. Тихонравова, т. VI, 374). Не удивительно при такомъ отношенін, что сообщеніе Максимовичу о томъ, что на открытіе Александровской колонны събхалось много военныхъ, у него вылилось въ такой нежной форме: "Офицерья и солдатства страшное множество. Говядина и водка вздорожали страшно" (I, 321).

Отношеніе Гоголя къ высшимъ сословіямъ, хотя и не могло сказаться въ печати въ полной мѣрѣ, все же таки достаточно опредѣленно. Косвенно оно сказалось тѣмъ, что въ художественныхъ произведеніяхъ Гоголя нѣтъ и тѣни того инстинктивнаго преклоненія предъ большимъ свѣтомъ, которое такъ ярко чувствуется даже у Пушкина и Лермонтова, несмотря на громы негодованія противъ великосвѣтской пустоты, ничтожества и бездушія. Негодуютъ противъ чего-то сильнаго. А для Гоголя свѣтскость всегда была сино-

нимомъ жеманничанія и ломанія и, вышутивъ великосвѣтскость второго разбора въ лицѣ губериской аристократіи "Мертвыхъ душъ", онъ нигдѣ не противопоставилъ ей "настоящую" великосвѣтскость, какъ это дѣлаетъ и Лермонтовъ, и Марлинскій, и Сологубъ. Для Гоголя даже не существовала "поэзія бала", такъ обаятельно дѣйствовавшая на всѣхъ писателей 30-хъ и 40-хъ годовъ: вспомнимъ опять "Мертвыя души", гдѣ балъ у губернатора описывается съ тѣмъ же подсмѣиваніемъ и хихиканіемъ, какъ вечеринка у сослужицевъ Акакія Акакіевича. Но всѣ эти косвенныя указанія, однако, совершенно блѣднѣютъ предъ категоричностью той общей формулировки, которую Гоголь даетъ въ нисьмѣ къ Погодину отъ 1 февраля 1833 года. Рѣчь идетъ о будущей драмѣ Погодина "Борисъ Годуновъ":

"Если вы хотите непремённо вынудить изъ меня примёчаніе, то у меня только одно имѣется: ради Бога, прибавьте боярамъ нѣсколько глупой физіономіи. Это необходимо. Такъ даже, чтобы они непремённо были смёшны. Чтомъ знатные, чтомъ выше классъ, тъмъ онъ глупте. Это въчная истина. А доказательство въ наше время" (I, 236).

Отношеніе Гоголя къ буржуазін того временн—купечеству, въ которомъ и тогда уже находили множество "истинно-русскихъ" добродѣтелей, превосходитъ всякую мѣру презрѣнія. Гоголевскіе купцы это уже исключительно мошенники, лишенные образа человѣческаго, съ богатѣйшими изъ которыхъ никто иначе не разговариваетъ какъ на ты, и при этомъ прямо въ лицо называя ворами.

Отношеніе Гоголя къ народу составляеть великій грѣхъ его. На крипостного мужика онъ смотритъ какъ на неопрятнаго, глунаго скота, которому не следуетъ давать ни малейшей потачки, и "отлыниваніе" мужика отъ работы на барина Гоголь самымъ искреннимъ образомъ считалъ преступленіемъ со стороны мужика и проявленіемъ заслуживающей всякаго порицанія "нехозяйственности" со стороны барина. Но мы теперь этой стороны общественныхъ идеаловъ Гоголя не станемъ касаться и пойдемъ къ нему не какъ къ теоретику, а какъ къ наблюдателю. И тогда выясняется следующее. Всю жизнь Гоголь, действительно, оставался человекомъ, который ни разу не усомнился въ необходимости и нормальности крѣпостного права. Это безспорно. Но по основнымъ качествамъ своего дарованія не способный отступать отъ жизненной правды, Гоголь въ эпоху расцвъта своего таланта никогда не идеализировалъ кръпостной дъйствительности. Никогда онъ, подобно другимъ теоретикамъ крѣпостного права, не рисовалъ идиллін народно-крѣпостного быта, и крестьянскаго довольства вы у него не найдете. Кромъ имънія Коробочки, почти всв остальные мужики "Мертвыхъ душъ" въ самомъ жалкомъ положении. Пусть все это приводится въ тёснёйшую связь съ помёщичьей безпечностью и пусть на покосившуюся крестьянскую избу Гоголь смотрить съ темъ же укоромъ нерадивому помещику, съ какимъ мы смотримъ на скверный хлъвъ, уменьшающій выгоды молочнаго хозяйства. Самый факть, однако, остается во всей своей неприкосновенности, и въ ту мозанчную картину, въ которую кусочками мы вставляемъ отношение Гоголя къ отдёльнымъ сторонамъ русской жизни, благоденствіе крѣпостного мужика никоимъ образомъ не входить. И не следуеть при этомъ думать, что сознание народной бъдности безсознательно жило въ творческой душъ Гоголя просто какъ картина, которую онъ затъмъ и воплощалъ въ художественныхъ произведеніяхъ своихъ. Въ изданныхъ только въ 1896 году гоголевскихъ отрывкахъ и наброскахъ мы наткнулись на чрезвычайно любопытную рецензію, предназначенную для Пушкинскаго "Современника" 1836 г., но въ печать не попавшую. Можетъ быть, потому, что онъ служилъ когда-то въ департаментъ удъловъ, Гоголь взялся написать рецензію о книгв "Обозрвніе сельскаго хозяйства удъльныхъ имъній 1832 и 1833 гг." и здъсь разсуждаеть о причинахъ "младенческаго состоянія" русскаго земледёлія. Виноватъ, главнымъ образомъ, мужикъ:

"Что такое русскій крестьянинь? Онъ раскинуть, или, лучше сказать, разсівнь, какъ сівмена, по обширному полю, изъ котораго будеть густой хлібо, но только не скоро. Онъ живеть уединенно въ деревняхь, отдаленныхъ большими пространствами, удаленныхъ отъ городовъ,—и городовъ мало чівмъ богатіве иныхъ деревень. Лишенный живого, быстраго сообщенія, онъ еще довольно грубъ, мало развитъ и имбетъ самыя біздныя потребности. Возьмите жизив земледивльца — скверна и ередна. У него пища однообразна: ржаной хлібо и щи,—одні и ті же щи, которыя онъ істъ каждый день. Возлі дома его нізть даже огорода. У него нізть никакой потребности наслажденія. Много ли ему нужно трудовъ и усилій, чтобы достать такую пищу? ІІ какое другое желаніе можетъ занять его по удовлетвореніи этой первой нужды, когда окружающая его глубокая простота никакой не можетъ подать идеп" (Х-ое изд., т. VI, 364).

Какъ ни отнестись по существу къ нападкамъ на мужика за то, что "у него нѣтъ никакой потребности наслажденія", знаменательно тутъ ясное и отчетливое представленіе, что жизнь мужика "скверна и вредна". Въ печати эта яркая формула, нѣтъ сомнѣнія, совершенно бы обезцвѣтилась, но теперь она во всей неприкосновенности выразила представленія автора о житъѣ-бытъѣ крѣпостной массы.

Итакъ, вотъ та общая картина, которая слагается изъ отдѣльныхъ представленій "консервативнаго" автора "Ревизора" объ отдѣльныхъ элементахъ современнаго ему общественно-государственнаго уклада; жизнь народа "скверна и вредна", купцы—сплошные воры, чиновники

и судьи—продажны и ничтожны, военное сословіе пошло и лишено нравственных основь, высшіе классы "смѣшны и глупы". Къ этому остается прибавить выходки противъ "глупой цензуры" (I, 338) и сѣтованія на людей "недальнаго ума", которыхъ "у насъ не мало на первыхъ мѣстахъ" (I, 270—271).

Мы предвидимъ возраженіе, что подобранныя нами изъ разныхъ мѣстъ отдѣльныя отрицательныя воззрѣнія Гоголя на отдѣльныя явленія русской жизни составляютъ, все же, не больше, какъ мозаику. Можетъ быть, отдѣльные куски этой мозаики, хотя и однородные, только механически прилажены и нѣтъ въ нихъ широкаго, органически-цѣльнаго размаха одной и той же кисти? Можетъ быть, приступая къ комедіи, Гоголь просто выводитъ одно лицо за другимъ, а общій мрачный колоритъ создался самъ собою отъ постояннаго мельканія передъ глазами отдѣльныхъ темныхъ фигуръ?

Тутъ всего проще было бы отвѣтить собственнымъ заявленіемъ Гоголя въ "Авторской исповѣди" (1848):

"Я увидёль, что въ сочиненіяхь монхь (раннихь) я смёюсь даромь, напрасно, самь не зная зачёмь. Если смёяться, такь ужь лучше смёяться сильно и надъ тёмь, что, дёйствительно, достойно осмёянья всеобщаго. Въ "Ревизоръ" я рышился собрать въ кучу все дурное въ Россіи, какое я тогда зналь, вст несправедливости, какія дълаются въ тыхъ мъстахъ и вътьхъ случаяхъ, гдъ больше требуется отъ человъка справедливости, и за одинъ разъ посмёяться надъ всёми".

Если бы Бѣлинскому было извѣстно это категорическое заявленіе, онъ, надо думать, не сталъ бы такъ категорически утверждать, что Гоголь творилъ безсознательно. Но и намъ, однако, не слѣдуетъ придавать чрезмѣрное значеніе категоричности гоголевскаго заявленія. Черезъ долгій промежутокъ многое кажется намъ гораздо болѣе цѣльнымъ и стройнымъ, чѣмъ оно было въ дѣйствительности. Несравненно цѣинѣе поэтому вполнѣ точныя современныя данныя о настроеніи, изъ котораго вышелъ "Ревизоръ". Эти данныя связаны съ исторіей неоконченной комедіи Гоголя "Владиміръ 3-й степени".

"Владиміръ 3-ей степени" мало кому извѣстенъ подъ своимъ первоначальнымъ именемъ. Но всякій, конечно, знаетъ поразительное по своей ядовитости "Утро дѣлового человѣка", которое вмѣстѣ съ "Лакейскою", "Тяжбою" и "Отрывкомъ" составляютъ уцѣлѣвшіе обломки комедіи, либо сожженной Гоголемъ, либо вовсе имъ не оконченной. Гоголь страшно былъ занятъ своею комедіею весь конецъ 1832 и большую часть 1833 года. Послушаемъ его собственный разсказъ о томъ, что творилось тогда въ его душѣ. 20 февраля 1833 гонь объясняетъ Погодину, почему не двигается начатое имъ историко-географическое сочиненіе "Земля и люди".

"Чор тъ побери пока трудъ мой, набросанный на бумагь, до другого спокойнъйшаго времени. Я не знаю, отчего я теперь такъ жажду современной слави. Вся глубина души такъ и рвется наружу. И я до сихъ поръ не написалъ ровно ничего. Я не писалъ тебъ: я помъшался на комедіи. Она, когда я былъ въ Москвъ, въ дорогъ, и когда я пріъхалъ сюда, не выходила изъ головы моей, но до сихъ поръ я ничего не писалъ. Уже и сюжетъ было на дняхъ началъ составляться, уже и заглавіе написалось на бълой толстой тетради "Владиміръ 3-й степени", и сколько злости, смъха и соли!.. Но вдругъ остановился, увидъвши, что перо такъ и тол-кается объ такъ мъста, которыя цензура ни за что не пропуститъ. А что изъ того, когда піеса не будетъ играться: драма живетъ только на сценъ. Безъ нея она, какъ душа безъ тъла. Какой же мастеръ понесетъ на по-казъ народу неоконченное произведеніе?—мнѣ больше ничего не остается, какъ выдумать сюжетъ самый невинный, которымъ бы даже квартальный не могъ обидъться. На что комедія безъ правды и злости" (I, 205).

Последняя фраза, столь замечательная по силе сказавшагося въ ней сконцентрированнаго творческаго настроенія, имфеть, конечно, первостепенное значеніе не только для исторіи "Владиміра 3-ей степени". Какъ великолъпна формула—"что комедія безъ правды и злости!" Наравнъ съ "незримыми слезами сквозь видимый міру смъхъ" она даетъ ключъ для уразумънія всей сущности Гоголевскаго творчества и совершенно непонятно, почему до сихъ поръ это удивительно мъткое самоопредъление не стало крылатымъ. Въ частности по отношенію къ "Ревизору", Гоголевская формула имфетъ не только критическое, но и непосредственное, генетическое значеніе, потому что, не закончивъ "Владиміра 3-й степени", Гоголь немедленно принимается за "Ревизора". "Ревизоръ" въ 1836 году только появился на сценъ, но какъ всъ Гоголевскія произведенія задуманъ задолго до того. Въ срединъ 1834 года уже почти была готова вся первоначальная редакція "Ревизора". А такъ какъ эта редакція, уступая позднъйшей въ отдълкъ чисто-художественной, гораздо ръзче въ своихъ обличительныхъ стремленіяхъ 1), то совершенно ясно, что въ замысль "Ревизора" сказалось все настроеніе "Владиміра 3-й степени", весь приливъ "правды и злости", охватившей тогда Гоголя. Потерявъ надежду выразить его въ одной комедіи, онъ ухватывается за анекдотъ, разсказанный ему Пушкинымъ въ концѣ 1833 года, не остывъ еще отъ "Владиміра", тотчасъ берется за "Ревизора", и одно и то же настроеніе отливается только въ новую форму, оставаясь по существу темъ же самымъ.

¹⁾ Это сравненіе еще не сділано въ критической литературі о Гоголі и, чтобы не быть бездоказательными, приведемъ наудачу нісколько образчиковъ.

Въ первой сценъ городничій читаетъ письмо Чмыхова: "Такъ какъ я знаю, что за тобою, какъ за всякимъ, водятся гръшки потому что ты че-

Таковъ моментъ зарожденія "Ревизора". Предъ нами опредѣленное, цѣльное, ясное настроеніе, и теперь исторія происхожденія великой комедіи, извѣстная намъ изъ "Авторской исповѣди", можетъ считаться вполнѣ вѣрнымъ историческимъ свидѣтельствомъ. Гоголь, такимъ образомъ, создавая "Ревизора", не только опредѣленно и обдуманно относился къ каждой детали, не только сознательно собиралъ здѣсь "все дурное въ Россіи", не только весь горѣлъ "правдою и злостью", но даже опредѣленно зналъ, что его "правда" нецензурна, жаловался всѣмъ друзьямъ на безвыходность своего положенія, такъ что Пушкинъ справляется о "Владимірѣ 3-ей степени" въ такой формѣ: "Кланяюсь Гоголю; что его комедія, въ ней же закорючка?"

Дальше уже, конечно, никакая сознательность идти не можеть, и потому высокое гражданское значеніе "Ревизора" дѣлаетъ и автора его писателемъ-гражданиномъ по преимуществу.

VI.

Огромное и ярко-опредъленное впечатлъніе, произведенное "Ревизоромъ", кладетъ, во всякомъ случать, конецъ какимъ бы то ни было разговорамъ о безсознательности творчества во вторую половину литературной дъятельности Гоголя. Если даже допустить возможность, что Гоголь раньше не въдалъ, что творилъ, что какимъ-то образомъ вся "злость и правда", которую "цензура не пропуститъ" дъйствовали въ немъ стихійно, то уже теперь объ этомъ физически не можетъ быть

ловъкъ умный и не любишь пропускать того, что плыветь въ руки..." (остановясь), ну здъсь свои"...

Въ первоначальной редакціи это мѣсто гораздо рѣзче и послѣ словъ "плыветь въ руки" читаемъ: "То я совѣтую тебѣ взять предосторожность и удержаться на время отъ прибыточной стрижки, какъ называешь взносы со стороны просителей и непросителей".

Во второй сцень второй редакціи городничій въ разговорь съ почтмейстеромъ какъ-бы лично придумываеть остроумный способъ письма "этакъ немножко распечатать и прочитать, не содержится-ли въ немъ какогонибудь донесенія или просто переписки. Если-же ньтъ, то можно опять запечатать". А изъ первой редакціи мы узнаемъ, что не одинъ городничій додумален до этого средства; посль словъ "опять запечатать" первый набросокъ прибавляеть: "Для этого есть разныя илимяныя форми".

Въ этомъ родъ всъ отличія первой редакціи отъ второй, менье вызывающей и ръзкой.

ръчи. Потрясающее впечатльніе перваго же представленія "Ревизора" (19 апр. 1836 г.) не оставляло никакихъ сомнъній ни относительно силы взмаха сатирическаго бича, ни относительно того, противъ чего онъ былъ направленъ. Иные усмотрели тутъ только "глупую фарсу", какъ аттестовалъ пьесу Никитенкъ графъ Канкринъ ("Дневникъ", т. І, стр. 369). Но большинство поняло, что ръчь идетъ не только о томъ захолустью, отъ котораго хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь. Присутствовавшій на представленіи императоръ Николай сказаль: "Всёмъ досталось, а больше всего мнъ". Черезъ 10 дней послъ перваго представленія Гоголь пишетъ Щепкину: "Всъ противъ меня. Чиновники пожилые и почтенные кричать, что для меня нъть ничего святого, когда я дерзнуль такъ говорить о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня; купцы противъ меня; литераторы противъ меня. Если бы не высокое заступничество Государя, пьеса моя не была бы ни за что на сценъ, и уже находились люди, хлопотавшіе о запрещеніи ея" (I, 369). Это, какъ ему казалось, "общее" осужденіе на первыхъ порахъ

какъ будто подъйствовало на Гоголя угнетающимъ образомъ. По разсказу Анненкова, Гоголь прямо изъ театра прівхаль къ своему закадычному другу, поэту Н. Я. Прокоповичу, гдв собралось несколько человъкъ, и все время былъ раздраженъ и разстроенъ до крайности. Когда Прокоповичъ со словами: "Полюбуйтесь на сынка" поднесъ ему только что вышедшій экземплярь "Ревизора", Гоголь швырнуль книгу на полъ, подошелъ къ столу и, опираясь на него руками, задумчиво сказалъ: "Господи Боже! Ну, если бы одинъ, два ругали, ну и Богъ съ ними, а то всъ, всъ"... (Анненковъ, "Воспоминанія и критическіе очерки", т. І, стр. 193). Письма, относящіяся къ апрълю, маю и іюню 1836 года полны глубокой тоски, и Гоголь во "всеобщемъ" ожесточеніи, вызванномъ "Ревизоромъ", видитъ угрозу всей своей будущей литературной дъятельности. "Столица щекотливо оскорбляется твиъ, что выведены нравы шести чиновниковъ провинціальныхъ; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ея собственные нравы? Я огорченъ не нынашнимъ ожесточеніемъ противъ моей пьесы: меня заботитъ моя печальная будущность Провинція уже слабо рисуется въ моей памяти, черты ея уже бледны, но жизнь нетербургская ярка передъ моими глазами, краски ея живы и ръзки въ моей памяти. Малъйшая черта ея-и какъ тогда заговорять мои соотечественники" (І, 377).

Наиболье яркимъ выраженіемъ угнетеннаго состоянія Гоголя было его бъгство за границу. Его звали въ Москву, гдъ его ждала блестящая постановка "Ревизора" и восторженная любовь московскихъ друзей—Аксаковыхъ, Погодина, Щепкина, но онъ отъ всего

отказывается. "Чувствую, — пишеть онъ Погодину, — что теперь не доставить мив Москва спокойствія, а я не хочу прівхать въ такомъ тревожномъ состоянін, въ какомъ нахожусь нывв. Вду за границу, тамъ размыкаю ту тоску, которую наносять мив ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ долженъ подальше быть отъ своей родины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ" (I, 370).

Одновременно съ тоской, письма Гоголя эпохи первой постановки "Ревизора" полны того, что при первомъ взглядѣ можно было бы счесть отказомъ отъ болве глубокаго толкованія, которое дало великой комедін начинавшее пробуждаться общественное самосознаніе. Гоголь прилагаетъ не малыя старанія къ тому, чтобы ослабить обобщающіе выводы, возможность которыхъ съ необычайною чуткостью тотчасъ же предугадали Булгаринъ съ братіею. Въ томъ же письмъ, гдь онъ извъщаетъ Погодина о своемъ ръшенія ъхать за границу, чтобы "размыкать тоску", онъ говорить съ горечью, которая можеть служить не малою опорою для теоріи безсознательности творчества Гоголя: "Что противъ меня уже ръшительно возстали теперь всъ сословія, я не смущаюсь этимъ, но какъ-то тягостно, грустно, когда видишь противъ себя несправедливо возстановленныхъ своихъ же соотечественниковъ, которыхъ отъ души любишь, когда видишь, какъ ложно, въ какомъ невърномъ видъ ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило" (I, 371). Чрезъ нъсколько дней онъ опять возвращается къ нападкамъ Булгарина, котораго на этотъ разъ угодничество сделало прозорливымъ критикомъ: "Грустно, когда видишь, что глупъйшее мивніе ими же опозореннаго и оплеваннаго писателя дъйствуетъ на нихъ же самихъ и ихъ же водитъ за носъ: грустно, когда видишь, въ какомъ еще жалкомъ состояніи находится у насъ писатель. Всв противъ него, и нътъ никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. "Онъ зажигатель! Онъ бунтовщикъ!" И кто же говоритъ? Это говорятъ мит люди государственные, люди выслужившіеся, опытные люди, которые должны бы имъть насколько-нибудь ума, чтобъ понять дъло въ настоящемъ видъ" (І, 377).

Было бы, однако же, очень грубою ошибкою думать, что подавленность, вызванная враждебнымъ отношеніемъ вліятельной части публики была сколько-нибудь глубока. Вся эта подавленность и тоска были исключительно вившнія. Въ глубинѣ души страшный шумъ, возбужденный "Ревизоромъ", при всей своей враждебности, чрезвычайно высоко подиялъ внутреннее самосознаніе Гоголя. Оно было велико и до того. Уже въ самыхъ раннихъ письмахъ своихъ Гоголь не разъ высказываетъ убѣжденіе, что ему предстоитъ что-то очень большое

въ жизни. Крупный успъхъ, выпавшій на его долю почти съ первыхъ же шаговъ на литературномъ поприщъ, укръпилъ его въ этой увъренности и даже сообщилъ его поведенію налеть надменности. Въ значительной степени извъстное враждебное чувство, которое къ нему интали даже такіе представители новыхъ литературныхъ началъ, какъ Никитенко, было вызвано темъ, что во всемъ его существе сквозило очень уже большое мивніе о себв. Но теперь самосознаніе Гоголя начинаетъ принимать размъры совершенно исключительные. Оно выразилось прежде всего въ обычной ему религіозной формъ: "Нынъ я чувствую, что не земная воля направляеть путь мой" (І. 378), безъ всякихъ оговорокъ говоритъ онъ Погодину въ концѣ письма, гдв разсказаны "оскорбленія и непріятности", связанныя съ "Ревизоромъ". А въ чисто литературномъ отношении оно сказалось необыкновеннымъ приливомъ творческой увъренности. Уже въ первомъ письмъ (къ Жуковскому) изъ-за границы, отъ 28—16 іюня 1836 г. онъ говорить о себь: "Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, незамѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдёлаю, чего не дёлаетъ обыкновенный человъкъ. Львиную силу чувствую въ душт своей" (І, 384).

Въ дальнъйшихъ письмахъ безграничная увъренность Гоголя въ своихъ силахъ все растетъ и растетъ, такъ что въ общемъ всего менье можетъ идти ръчь о подавленности. Совсъмъ наоборотъ, любители иріурочить Гоголя къ области исихіатріи могутъ въ его развившемся именно послъ "Ревизора" необыкновенно высокомъ представленіи о своемъ призваніи найти весьма благодарный матеріалъ для утвержденія, что имъ овладъла настоящая манія величія. Но это уже другая сторона вопроса, которой удобнье коснуться въ связи съ настроеніемъ Гоголя въ эпоху подготовленія "Переписки съ друзьями".

Безконечно, однако, важнѣе и характернѣе вызваннаго "Ревизоромъ" повышеннаго самознанія Гоголя это то, что менѣе всего
измѣнилось послѣ яростныхъ нападеній Булгарина и Ко рѣзко-обличительное направленіе Гоголя, съ такою силою сказавшееся въ комедіи. "Мертвыя души" показываютъ, что крики "зажигатель", "бунтовщикъ" оказались совершенно безсильными отклонить Гоголя съ
того пути, на который его направляли основныя свойства таланта.
Еще съ несравненно большею силою ополчается онъ теперь противъ
темныхъ сторонъ русской общественной жизни.

Единство направленія и тона "Ревизора" и "Мертвыхъ Душъ" глубоко знаменательны. Если вообще всякое долгольтнее творческое единство свидьтельствуеть объ органичности настроенія, о томъ, что оно вытекло изъ цьльнаго душевнаго склада, то въ данномъ случав

оно еще несравненно характернѣе, потому что крики, поднявшіеся по поводу "Ревизора", заставили Гоголя пристально заняться свойствами своего дарованія. Прямо и опредѣленно объясняетъ онъ Погодину цѣль своей заграничной поѣздки:

"Бду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторскія, свои будущія творенія" (I, 378).

И это всего менье была фраза. Какъ ни подойти къ заявленію разстроеннаго враждебными криками автора "Ревизора", нельзя не видъть въ немъ вполнъ реальнаго желанія углубиться въ самого себя. При томъ недовъріи къ искренности Гоголя, которое было даже у лучшихъ друзей его, можно, конечно, скептически отнестись къ высокопарной оболочкѣ рѣшенія "обдумать свои обязанности авторскія". Но даже при этомъ невысокомъ мнѣніи о Гоголъ, при убъжденіи, что онъ будто бы всегда былъ себѣ на умѣ, никто уже не станетъ спорить, по крайней мфрф, противъ того, что Гоголь стремился туть наилучшимъ образомъ устроить свои литературныя дела. Даже съ узко-практической точки зрвнія Гоголю надо было обдумать свои будущія творенія, чтобы опять не натолкнуться на такой пріемъ, какой встрътилъ "Ревизоръ". И если тъмъ не менъе Гоголь пошелъ по старому пути, то, значить, уже слишкомь ясно чувствоваль, что не можеть онь свернуть на другой путь. Какъ ни "обдумываль" онъ свои "авторскія обязанности" и свои "будущія творенія", а въ результать явились "Мертвыя души" съ ихъ сокрушающимъ отрицаніемъ, явилась "Шинель", гдё сдёланъ еще шагъ впередъ вътомъ же направленін, потому что туть не только разрушена и сметена старая нечисть, но и данъ свътлый лозунгъ всей новъйшей русской литературь съ ея борьбой за униженныхъ и оскорбленныхъ.

Но самымъ яркимъ и рѣшающимъ доказательствомъ того, что рѣшеніе "обдумать свои авторскія обязанности" не есть громкая фраза, сказанная для красоты слога, является "Театральный разъѣздъ", который начатъ былъ въ годъ постановки "Ревизора" и появился только въ 1842 г., одновременно съ "Мертвыми душами". Онъ, значитъ, обдумывался, разрабатывался и, по Гоголевскому обыкновенію, десятки разъ передѣлывался въ то же самое время, когда зрѣла, инсалась и тоже на разные лады выправлялась и обсуждалась въ творческомъ настроеніи Гоголя великая "поэма".

"Театральный разъёздь" не только принадлежить къ числу самыхъ подробныхъ анализовъ "Ревизора", но вмёстё съ тёмъ является цёлымъ трактатомъ о задачахъ комедін вообще и комедін общественной въ частности. Въ десяткахълицъ, проходящихъ предъ читателемълибо съ какой-нибудь яркой фразой, либо съ подробнымъ изложеніемъ своего міросозерцанія, выражены всё мнёнія и всё толки,

возбужденные комедіей. Отъ лицъ, на которыхъ она просто никакого впечатлѣніе не произвела и "беззаботныхъ на счетъ литературы" въ такой степени, что пьеса кажется имъ переводомъ съ французскаго, до тѣхъ, которые настолько прозорливы, что полагаютъ: "За такую комедію тебя бы въ Нерчинскъ", Гоголь не оставилъ безъ возраженія и разсмотрѣнія ни одного изъ высказанныхъ въ печати или носившихся въ воздухѣ мнѣній о "Ревизорѣ". Долголѣтняя работа надъ каждой фразой сдѣлала "Театральный разъѣздъ" произведеніемъ удивительно сконцентрированнымъ п обдуманнымъ, гдѣ каждая строчка имѣетъ значеніе, гдѣ ни одного слова не сказано спроста.

По этой совершенно изъ ряду вонъ выходящей обстоятельности самоанализа и самокритики, "Театральный разъёздъ" не иметъ ничего аналогичнаго себъ въ жизни другихъ литературныхъ корифеевъ. Правда, ръдко кому изъ творцовъ тъхъ произведеній, которыя ударяди по сердцамъ съ невъдомою силою, не приходилось въ той или другой форм'я отражать или предупреждать всевозможныя нападенія и недоумънія. И Лермонтовъ въ предисловіи къ "Герою нашего времени" давалъ извъстнаго рода комментарій къ своему роману, и Тургеневъ въ "Литературныхъ воспоминаніяхъ" довольно пространно объясняль истинный смысль "Отцовъ и дътей", и Толстой писаль "Послъсловіе къ Крейцеровой Сонать". Въ западно-европейской литературъ еще больше примъровъ такого одновременнаго выступленія художниковъ въ роли не только творцовъ, но и критиковъ и полемистовъ-вспомнимъ хотя бы знаменитое предисловіе Виктора Гюго къ "Кромвелю". Но кромъ Шиллеровскихъ "Писемъ о Донъ-Карлосъ" нътъ, кажется, въ литературъ ни одного такого поразительно-детальнаго самоанализа, какъ "Театральный разъёздъ". И все-таки объ авторъ его говорятъ какъ о представителъ творчества чисто-стихійнаго и безсознательнаго! Да уже просто въ силу того, что Гоголь быль ужасно и самолюбивь, и честолюбивь, и вычно носился со своею особою, не могъ онъ себя не изучить до тонкости!

Только этимъ постояннымъ размышленіемъ надъ особенностями своего творчества можно объяснить себѣ, что никто изъ нашихъ писателей не далъ такихъ яркихъ самоопредѣленій, какъ Гоголь. Лучшія формулировки гоголевскаго творчества созданы имъ же самимъ. Кто какъ не онъ исчерпалъ всю сущность "Мертвыхъ душъ", закончивъ первую часть великой поэмы глубоко-выстраданными словами о "незримыхъ слезахъ сквозь видимый міру смѣхъ"? Онъ же намъ разсказалъ въ своихъ письмахъ, что не представляетъ себѣ комедіи "безъ правды и злости", а въ "Театральномъ разъѣздѣ" разъяснилъ, что среди плутовъ "Ревизора" есть одно честное лицо—авторскій "честный смѣхъ". Наконецъ, онъ же въ "Шинели" пояс-

нилъ намъ, что и забитый Акакій Акакіевичъ "братъ нашъ" и отошли въ глубокомъ размышленіи отъ Акакія Акакіевича потъшавшіеся надъ нимъ сослуживцы, а читатели поняли, что дана формула безконечной глубины и сказано слово, чреватое огромными литературными и общественно-моральными послъдствіями.

И всв самоопредвленія Гоголя стали крылатыми. Много сотенъ статей написано о творчествъ Гоголя. Но возьмите даже самыя лучшія, самыя блестящія изъ нихъ-ни одна не ндетъ дальше и глубже этихъ всемъ набившихъ оскомину, вошедшихъ во все учебники, но вѣчно-юныхъ по своей непреложности формулъ. Просмотрите все то, что подписывается подъ гоголевскими памятниками, бюстами, портретами, прислушайтесь ко всему тому, что говорится при техъ чествованіяхъ Гоголя, когда приходится быть краткимъ и, вмёстё съ темъ, сильнымъ, и вы опять-таки не уйдете дальше гоголевскихъ самоопредёленій, къ которымь развів еще присоединяются ніжоторыя варіаціи на эти же самыя, однако, формулы, вродъ изреченія изъ Іеремін: "Горькимъ смѣхомъ посмѣюся" и т. д. Такимъ образомъ, якобы безсознательно творившій писатель получиль такую власть надъ своими оценками, которую не иметъ ни одинъ изъ техъ, къ которымъ теорія безсознательнаго творчества никогда не примѣнялась. Выходить, что никто въ такой мере не достигь высшаго проявленія анализирующей мудрости-познать самого себя, какъ, именно, Гоголь.

И достаточно сравнить замъчательную точность гоголевскихъ самоопределеній съ самоопределеніями другихъ, не мене его великихъ писателей-твордовъ, чтобы оденить ихъ значение и понять, почему они получали такую власть надъ критикою. Возьмемъ, въ самомъ дёлё, хотя бы Пуш кинскій "Памятникъ", писанный, когда и самому Пушкину и читающей публикъ казалось, что все литературное поприще его пройдено, когда открывалась широкая перспектива на всю творческую жизнь. И какъ тутъ все-таки мало опредѣленно очерчена литературная физіономія великаго поэта. Конечно, вполнъ оправдались пророчества, что не "заростеть народная тропа" къ его памятнику, что "душа въ завътной лиръ" переживетъ его "прахъ и тленья убежить", что "слухъ" о поэте "пройдеть по всей Руси великой" и что "назоветъ" его "всякъ сущій въ ней языкъ". Но, ведь, это все только определение размеровъ творческаго генія, а никакъ не свойствъ его. Когда же дошло до указанія того, чемъ именно будеть славень "въ подлунномъ міріс" поэть, получились такіе блідные и не характерные контуры, что просто смешно и сравнивать съ вылитыми изъ бронзы ръзкими чертами самоопредъленій Гоголя И долго буду тымь любезень я народу, Что чувства добрыя я лирой пробуждаль, Что вь мой жестокій выкь возславиль я свободу И милость къ падшимь призываль.

Кто согласится съ этою странною характеристикою? Люди самаго противоположнаго образа мыслей ее будутъ оспаривать. Ни "мыслящій реалистъ" Писаревъ, ни его антиподы—эстетики чистой воды не усмотрятъ центра тяжести дѣятельности Пушкина въ возбужденіи "добрыхъ чувствъ"; возславленіе свободы слишкомъ мимолетный эпизодъ въ жизни автора "Клеветникамъ Россіи"; призываніе милости къ падшимъ — это уже скорѣе эпизодъ изъ частной жизни поэта. Словомъ, все не ярко, не характерно. Не удивительно, что это самоопредѣленіе не оказало никакого вліянія на судьбу Пушкина въ критикѣ и потомствѣ. И какъ же не оцѣнить послѣ этого силу и опредѣленность гоголевскаго самопознанія.

По власти надъ своими будущими оцѣнками, наравнѣ съ Гоголемъ, можно поставить только Некрасова, ксторый, какъ сказалъ про свою музу, что она "муза мести и печали", такъ тоже навсегда далъ опредъленіе, дальше котораго не пошла вся послѣдующая критика. Но вѣдь Некрасовъ не только не безсознательный поэтъ, но даже "идейный", а по мнѣнію иныхъ и "тенденціозный", т. е. представитель творчества, гдѣ разсудочность граничитъ съ прямою програмностью.

Чтобы покончить съ невърнымъ въ корнъ взглядомъ на безсознательность творчества Гоголя, скажемъ еще нъсколько словъ объ одной детали, въ которой, повидимому, надо искать главный источникъ возникновенія этого взгляда. Мы уже знаемъ, что зародился онъ у Бълинскало тотчасъ послъ появленія реакціонной "Переписки съ друзьями", поддерживала его позднъйшая критика тоже въ силу противоръчія между глубоко пессимистическимъ отношеніемъ Гоголя-художника къ бюрократическому механизму государственнаго уклада нашего и его теоретической преданностью существующему строю во всей его совокупности.

Но смущаться этимъ противорѣчіемъ и думать, что оно можетъ отнять отъ Гоголя право называться писателемъ-гнажданиномъ—значитъ терять историческую точку зрѣнія. Для насъ, начиная съ конца 40-хъ гг., когда иден европейскаго демократизма и жажда общественной иниціативы всецѣло завладѣли лучшими сердцами, со словами "гражданскій", "гражданственность", "гражданинъ" связано понятіе о чемъ-то—скажемъ для удобства—общественно-самодовлюющемъ, о чемъ-то непремѣнно противоположномъ всему власть имущему, о чемъ-то оппозиціонномъ. Но эта безусловно-позднѣйшая точка зрѣнія никоимъ образомъ не должна прилагаться къ жалкому состоянію

"общества", когда его наблюдалъ Гоголь. До сороковыхъ годовъ элементы прогресса всего мен'ве заключались въ общественномъ сознанін. Не будемъ даже уходить въ особенно отдаленную старину не будемъ придавать значенія тому, какъ "общество" при Аннъ Іоанновив оказало решительное противодействіе стремленію верховниковъ удълить часть власти представителямъ этого "общества"; не станемъ останавливаться также на томъ, какъ въ эпоху "Наказа" и расцвъта просвъщеннаго абсолютизма "общество" оказы вало ръшительное сопротивление всякому намеку на освобождение крестьянь; наконець, отнесемь къ старинь даже то, что великій писатель и литературный реформаторъ Карамзинъ вступилъ въ рашительную борьбу съ добровольнымъ желаніемъ Александра І уменьшить свою власть въ пользу "общества". Ограничимся только ближайшею къ Гоголю полосою созданія "Горя отъ ума". Въ рѣзкогражданской окраскъ великой комедін-старины никто не сомнъвается. Но противъ чего и кого направленъ ея павосъ? Исключительно противъ "общества" въ защиту тъхъ единичныхъ личностей, стремленія которыхъ шли въ разръзъ съ общественнымо застоемъ. Чего-нибудь "протестующаго" въ позднъйшемъ смыслъ въ "Горъ отъ ума" нѣтъ и слѣда.

И вотъ гражданственность Гоголя совершенно аналогичнаго характера, въ ней нътъ ничего оппозиціоннаго, потомму что въ то время надо было еще бороться съ самимъ обществомъ, потому что оно, съ одной стороны, состояло изъ казнокрадовъ и торговцевъ правосудіемъ, а съ другой—изъ ихъ закадычныхъ друзей, Добчинскихъ, Бобчинскихъ, Собакевичей и Маниловыхъ. Для Гоголя, слъдовательно, понятіе объ "обществъ" никакъ не могло имъть того обаянія, которое оно имфеть для позднейшихъ поколеній, и не въ немъ онъ искалъ спасенія Россіи. Чернышевскій весьма тонко и язвительно говорилъ о странной идеъ, положенной въ основаніе сюжета "Ревизора", которая уже сама въ себѣ заключаетъ нѣчто аномальное, потому что въ нормально-устроенномъ государственномъ быту есть гласный общественный контроль, исключающій и делающій ненужнымъ посылку тайныхъ ревизоровъ. Но Чернышевскій исходиль изъ теоріи, изъ того, что должно быть, а Гоголь быль великій реалисть, и для него смішно было бы и представить себі "общественный контроль", то есть, что Добчинскій, Бобчинскій и Ростаковскій будуть контролировать Сквозника-Дмухановскаго и кума Бобчинскаго Тяпкина-Ляпкина. Онъ, несомнънно, ждалъ спасенія п исцъленія общественныхъ ранъ отъ добраго желанія власти.

Но онъ ли одинъ ждалъ его изъ этого источника? Да возьмемте того же Бѣлинскаго, который такъ напустился на

Гоголя за "Переписку" и возьмемте его даже не въ эпоху созданія "Ревизора" и "Мертвыхъ душъ", не около 1840 года, когда его прославленіе "разумной дъйствительности" было поистинь бышенное, а въ 1846—48 гг., когда онъ "рассейскую дъйствительность" называлъ не иначе, какъ "гнусной", когда онъ уже былъ пламеннымъ соціалистомъ и даже фурьеристомъ. Въ концъ 1846 года въ Петербургъ разнеслись крайне преувеличенные слухи о томъ весьма мирномъ, по существу, Кирилло-Менодіевскомъ братствъ, благодаря которому пострадали Костомаровъ, Кулишъ и особенно Шевченко, сосланный солдатомъ въ Оренбургъ. Бълинскій отнесся къ нимъ съ полнымъ порицаніемъ, называлъ ихъ "врагами всякаго успѣха", потому что, какъ Гоголь, ждалъ этого "успъха" только отъ доброй воли власти. За нъсколько мьсяцевъ до смерти, Бълинскій написаль Анненкову письмо, въ которомъ съ восторгомъ сообщаетъ о разныхъ намъчавшихся тогда подготовительныхъ шагахъ къ отмѣнѣ крѣпостного права, предается радостнымъ ожиданіямъ и только одного смертельно боится, чтобы келейно вызванные въ Петербургъ представители основного элемента тогдашняго "общества"—дворяне своимъ корыстнымъ отношеніемъ къ вопросу не испортили настроенія власти. Такъ, если подобнымъ образомъ, къ "обществу" относился соціалисть и фурьеристь Бълинскій, съ какой стати будемъ мы требовать иного отношенія отъ Гоголя? Надо же, въ самомъ діль, всякое явленіе исторической жизни разсматривать въ условіяхъ того времени, къ которому оно относится. Гоголь былъ, несомивнио, представитель теоріи просв'єщеннаго абсолютизма, его идеаломъ быль благонам вренный не въ пошломъ смысл в "государственный" мужъ, окружающій себя честными чиновниками. Но это не мѣшаетъ ему. быть и гражданиномъ, въ томъ смысле, какъ мы уже выше определили понятіе о гражданинь, т. е. человькомь упорно, страстно и вполнь независимо думающемъ о благъ родины. Подчеркиваемъ независимо, потому что въ эпоху, когда пошлая "благонамъренность" требовала розовыхъ красокъ, когда по всёмъ вёдомствамъ безраздёльно господствовала формула "все обстоить благополучно", Гоголь (прибавимь къ числу известныхъ намъ и это новое яркое самоопределение изъ "Театральнаго разъвзда") смвло обнажаль "общественныя раны". Мало того: когда "господинъ В." задаетъ вопросъ: "Зачемъ выставлять дурное, зачамъ же не выставить хорошее, достойное подражанія", Гоголь, устами "господина Б.", не обинуясь отвъчаетъ: "Зачъмъ? Зачъмъ одинъ отецъ, желая исторгнуть своего сына изъ безпорядочной жизни, не тратилъ словъ и наставленій, а привель его въ лазареть, гдв предстали предъ нимъ во всемъ ужаст страшные следы безпорядочной жизни". Вотъ, значитъ, чемъ и притомъ вполне сознательно была для Гоголя оффиціальная Россія — лазаретомъ! Это ли не независимость въ самомъ высшемъ смыслѣ и можно ли идти дальше въ гражданской рѣзкости діагноза? Не будемъ же ложно понимать въ Гоголѣ то, что шокируетъ поздиѣйшую гражданскую щепетильность и будемъ оцѣнивать высоту его гражданской скорби не по степени нашего разногласія съ нимъ, а по степени того, въ чемъ мы съ нимъ сходимся. Никогда не слѣдуетъ забывать, что въ эпоху "Ревизора" и "Мертвыхъ душъ" еще не было у насъ въ литературѣ даже самого дѣленія на партіи съ различными общественно-политическими лозунгами. Все это возникаетъ только во второй половинѣ 40-хъ годовъ, о чемъ мы сейчасъ и поведемъ рѣчь въ связи съ "Перепискою съ друзьями".

VII.

Около 60 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ появилась "Переписка съ друзьями", и все еще она служитъ предметомъ самыхъ страстныхъ споровъ, все еще она не стала предметомъ спокойнаго, объективнаго анализа. До сихъ поръ ее либо считаютъ "оклеветанной" и тычутъ намъ ее въ поученіе и руководство, либо безповоротно и безъ всякихъ оговорокъ осуждаютъ, исходя изъ того, увы, далеко еще не изжитаго настроенія, подъ вліяніемъ котораго создалось знаменитое письмо Бѣлинскаго къ Гоголю.

Менте всего, конечно, выдерживаетъ какую то ни было критику взглядъ на "Переписку", какъ на "оклеветанную книгу"—любимый терминъ защитниковъ того обскурантизма, который даже добродушнаго Сергта Аксакова побудилъ считатъ книгу "вредной". Думается, что эту квинтъ-эссенцію всяческой отсталости и "оклеветать"-то трудно, если указывать при этомъ наиболте характерныя мъста книги. Трудно даже и полемизировать спокойно съ этою "оклеветанною книгою" и можно только всецтло слиться въ одномъ чуветвт съ Бълинскимъ, когда онъ, задыхаясь отъ страшнаго негодования, истерически крикнулъ Гоголю въ своемъ письмт. "Проповъдникъ кнута, апостолъ невтанства, поборникъ обскурантизма и мракобъсія, панегиристъ татарскихъ правовъ,—что вы дълаете!"

Чтобы не только понять, по вполив оправдать бышенную выходку Былинскаго, которая, какъ мы сейчасъ увидимъ, нашла откликъ во всъхъ мыслящихъ умахъ и бьющихся за благо родины сердцахъ, мы

должны вспомнить эпоху появленія гоголевской "Переписки"—начало 1847 года. Годы 1846, 1847 и начала 1848—были временемъ совершенно исключительнымъ по тому необыкновенному приливу радостныхъ ожиданій чего-то безконечно-свѣтлаго, которое тогда охватило всю Европу. По извѣстному свидѣтельству Щедрина, "изъ Франціи, разумѣется не изъ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а изъ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и въ особенности Жоржъ-Зандъ—лилась въ насъ въра въ человъчество; оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ не позади, а впереди насъ".

Какъ намъ пришлось уже разъ сказать въ другомъ мѣстѣ, въ этомъ важномъ историческомъ свидѣтельствѣ драгоцѣнны не только факты, но и общій тонъ. Рѣчь какъ будто идетъ о политико-экономическихъ теоріяхъ, но на самомъ дѣлѣ воспоминанія расшевелили въ суровомъ сатирикѣ только память сердца. Тутъ "не борьба классовъ", а человъчество, не политическая экономія, а въра и эта вѣра воспріята не сухо-логически, потому что факты и цифры неотразимы,—она возсіяла. Въ политическую экономію Луи Блана огромнымъ клиномъ врѣзалась романистка Жоржъ-Зандъ. Но разъ люди серьезно мечтаютъ о наступленіи "золотого вѣка", то почему бы романистамъ и не играть первенствующей роли въ исторіп происхожденія этихъ мечтаній.

И вотъ въ такой-то моментъ почти религіознаго экстаза появляется книга великаго писателя, которымъ до того всѣ бредили, которымъ клялись въ борьбъ съ литературнымъ старовърствомъ, и эта книга зоветъ даже не въ Византію, а куда-то еще подальше. Авторъ не остадся глухъ къ голосу времени, онъ правильно констатируетъ, что "сталь слышаться повсюду бользненный ропоть неудовлетворенія, голосъ неудовольствія человъческаго на все, что ни есть на свъть: на порядокъ вещей, на время, на самого себя"; вполнъ правильно отмѣчаеть онъ также, что "всѣмъ, наконецъ, начинаеть становиться подозрительнымъ то совершенство, на которое возвела насъ наша новъйшая гражданственность". Но въ чемъ выходъ? Можно было бы, конечно, причислить просто къ числу курьезовъ то, что, по мивнію Гоголя, "страждущіе и болвющіе отъ своего европейскаго совершенства" получать исцъленіе отъ ожидавшагося тогда появленія "Одиссеи" въ переводъ Жуковскаго! Но Гоголь не ограничился простымъ упованіемъ, что вмѣстѣ съ "Одиссеей", "многое изъ временъ патріархальныхъ, съ которымъ есть такое сродство въ русской природь, разнесется невидимо по лицу русской земли". Кромь этой "благоухающей поэзін", онъ цениль "Одиссею", какъ изображеніе борьбы съ "непокорною, жесткою, несклонною къ повиновенію природою" человъка, и главное средство этой борьбы видълъ "въ одномъ только простомъ исполненіи обычаевъ старины и обрядовъ, которые не безъ смысла были установлены древними мудрецами и заповъданы передаваться въ видъ святыни отъ отца къ сыну".

Борьба съ нежеланіемъ человіка "повиноваться" дала окраску всей книгь и въ ней центръ тяжести того подавляющаго впечатльнія, которое она произвела на современниковъ, какъ разъ теперь размечтавшихся пожить немного и на свободь. И это разногласіе съ радостнорвущимся впередъ духомъ времени рѣшило участь книги, въ которой далеко не все, однако, зоветъ назадъ и есть мысли, какъ мы увидимъ дальше, нимало не противорвчащія самымъ лучшимъ заввтамъ истинной гражданственности. Но во всякой проповъди условія момента, когда она произносится, всегда имфють болфе рфшающее значеніе, чемъ само содержаніе проповеди и ея слова, взятыя безотносительно. Строго говоря, дурныхъ словъ совсемъ и натъ на светв. Что, напримъръ, можетъ быть возвышеннъе проповъди самоотреченія? Но она превращается въ насмешку надъ человеческимъ достоинствомъ. и въ отвратительное лицемъріе, когда самоотреченіе рекомендуютъ рабу. Что можеть быть пдеальнее самообузданія животныхъ пнстинктовъ? Но если вы объ умфренности начнете говорить голодающему, какое впечатленіе должна произвести на него сама по себе весьма высокая мораль ваша?

"Переписка", взятая въ основномъ своемъ впечатленіи, въ тоне, который делаетъ музыку, и была такою проповедью воздержанія голодающему. Все изнемогало отъ безправія и произвола, закрѣпощенный народъ нравственно вырождался отъ сковавшей его по рукамъ и ногамъ певоли, литература стонала отъ бользиенной подозрительности Красовскихъ и Мусиныхъ-Пушкиныхъ, а тутъ все еще оказывается недостаточно "повиновенія". "Переписка" хотъла отнять даже священное чувство обиды, не позволяла даже стонать отъ той "неправды черной", которою была полна жизнь того времени даже по свидътельству друга Гоголя Хомякова и его самого въ его художественныхъ произведеніяхъ. И вотъ, въ виду такой —будемъ выражаться мягко-крайней неумъстности, крайней несвоевременности гоголевской проповъди смиренія, въ виду глубокаго несоотвътствія ея съ дъйствительно чазръвшей потребностью обновленія, свъта и движенія виередъ столь смъшны стремленія разсматривать "Переписку" самое по себъ, виъ времени и пространства. "Клевету", взведенную на "Переписку" можно было бы опровергнуть только однимъ путемъ: если бы кто-нибудь указалъ на благотворное, современное появленію книги возд'яйствіе ея на людей искреннихъ, не заинтересованныхъ своимъ общественнымъ положениемъ въ томъ смиренін, которое книга возводила въ главную добродѣтель

человѣка. Но именно этого живого голоса эпохи ни одному изъ защитниковъ "Переписки" не добыть, потому что на всъхъ, для кого благо родины не было пустымъ звукомъ и обдёлываніемъ житейскихъ дълишекъ, книга произвела бользненное впечатлъніе. Письмо Бѣлинскаго оттого и получило такую потрясающую силу, что его устами говорило сознаніе, можно сказать безъ всякаго преувеличенія, всего того, что въ Россін честно мыслило. Это не "партійная" фраза, это можно доказать нижеприведеннымъ свидътельствомъ, достовърность котораго никто не ръшится оспаривать, потому что оно вышло изъ среды, враждебной Бѣлинскому—оно принадлежить Ивану Аксакову. Уже самый фактъ небывало-широкаго распространенія письма Бълинскаго глубоко-характеренъ и показываеть, что въ данномъ случав общественное сознание было настолько взволновано, что нашло пути проявиться даже при невозможно-тяжелыхъ условіяхъ общественной жизни того времени. Письмо Бѣлинскаго совершенно неожиданно стало первымъ политическимъ памфлетомъ въ Россіи. Не имън никакого представленія о томъ, что его частный отвътъ получитъ такую небывалую огласку, не имъя и самаго отдаленнаго представленія о томъ, что вырвавшіяся въ пылу гнёва слова его станутъ лозунгомъ, общественно-политическою программою, Бѣлинскій писалъ письмо со всѣмъ страстнымъ порывомъ своего великаго сердца и далъ полную волю всему тому пламенному негодованію, которое не могло получить и приблизительнаго выраженія въ его печатной полемикъ съ "Перепискою". Такимъ образомъ, общественно-политическая отсталость "Переписки" получила отпоръ въ полной силъ. Создалась борьба двухъ міросозерцаній, въ которой были на сторонъ Бълинскаго не то, что "либералы", а просто всъ искренніе и порядочные люди. Вотъ что наблюдаль еще цёлыхъ шесть—семь лѣтъ спустя Аксаковъ:

"Много я вздиль по Россіи,—пишеть онъ,—имя Бвлинскаго известно каждому сколько-инбудь мыслящему юношв, всякому, жаждущему сввжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Нвть ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, который не зналь бы наизусть письма Бълинскаго къ Гоголю; въ отдаленныхъ краяхъ Россіи только теперь еще проникаеть это вліяніе и увеличиваетъ число прозелитовъ... Мы Бълинскому обязаны свочить спасеніемъ, — говорять мнв вездв молодые, честные люди въ провинціи. И въ самомъ двлв,—въ провинціи вы можете видвть два класса людей: съ одной стороны,—взяточниковъ, чиновниковъ въ полномъ смыслв этого слова, жаждущихъ ленть, крестовъ и чиновъ, помѣщиковъ, презирающихъ идеологовъ, привязанныхъ къ своему барскому достоинству и крвпостному праву, вообще довольно гнусныхъ.

Вы отворачиваетесь отъ нихъ, обращаетесь къ другой сторонѣ, гдѣ видите людей молодыхъ, честныхъ, возмущающихся зломъ и гнетомъ, поборникомъ эмансипаціи и всякаго простора, съ идеями гуманными. Если вамъ нужно честнаго человтка, способнаго сострадать болтзнямъ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слюдователя, который полѣзъ бы на борьбу,—ищите таковыхъ въ провинціи между послюдователями Бюлинскаго".

То есть, читателями и поклонниками именно его письма къ Гоголю, потому что сочиненія Бѣлинскаго тогда еще не были собраны и были разбросаны по сотнѣ №№ старыхъ журналовъ.

Это вышедшее изъ враждебнаго лагеря свидѣтельство имѣетъ рѣшающее значеніе въ данномъ случаѣ не только потому, что достовѣрность его нельзя ничѣмъ заподозрѣть, а потому еще, что оно выводитъ
вопросъ изъ области партійныхъ споровъ и переноситъ его на чистожитейскую почву. Если бы у новѣйшихъ защитниковъ "Переписки"
было бы столько же искренняго желанія добиться истины, сколько
у Аксакова, они бы прежде всего признали, что защищать Гоголевскую
"Переписку", какъ явленіе времени, нѣтъ никакой возможности и,
слѣдовательно, не можетъ идти никакой рѣчи о какой бы то ни было
"клеветѣ". Общій тонъ и практическіе выводы пзъ "Переписки"
таковы, что не только "борцы", не только люди съ ярко-окрашеннымъ
общественно-политическимъ міросозерцаніемъ, а всѣ въ самомъ простомъ и непосредственномъ смыслѣ слова "честные" люди всецѣло
присоединились къ "клеветѣ" Бѣлинскаго.

Но то же самое желаніе истины, къ которому мы сейчасъ апеллировали, должно насъ заставить признать, что и безусловное, не знающее инкакихъ оговорокъ осуждение "Переписки" не будетъ выраженіемъ полной справедливости. Книга ужасна какъ явленіе русской общественности, какъ призывъ возвращенія вспять, въ глубь средневъковья, къ отжившимъ понятіямъ и пройденнымъ фазисамъ культуры. Но нельзя, однако, забывать и того, что она была и крикомъ глубоко-изстрадавшейся души. А такой источникъ, если не всегда, конечно, спасаетъ отъ фальши, не можетъ же не заключать въ себъ и примъси чего-то върнаго. Во всякомъ искреннемъ стремленіи всегда кроется и залогъ достиженія чего-то хорошаго и нравственно-ценнаго. Примемъ во внимание также, что "Переписку" защищають не только люди, къ истинъ весьма равнодушные. О ней сказаль доброе слово и Левь Толстой. Можно было бы, конечно, при всемъ преклоненіи предъ Толстымъ, не придавать этому решительно накакого значенія, если бы дёло шло о чисто-литературномъ произведенін. Эстетическія сужденія Толстого весьма часто таковы, что только руками разведешь: Изъ его трактата объ искусствъ мы узнаемъ,

что онъ на представленіи "Гамлета" краснълъ за автора и что вообще преклонение предъ Шекспиромъ, какъ и предъ Бетховеномъ и Рафаэлемъ, ему кажется предразсудкомъ и даже притворствомъ. Но "Переписка"--произведеніе изъ области морали, и тутъ уже діло идеть о психологическомъ чутьв, котораго такъ безконечно много у великаго чтеца въ сердцахъ человъческихъ. Толстой, значитъ, почувствовалъ тутъ что-то родственное. Извѣстно, что когда въ концѣ 70-хъ гг. Толстой вступилъ на стезю проповъдничества и еще неясно было во что отольются его мистическіе порывы, его даже постоянно сближали съ Гоголемъ. Дальнъйшее показало, что сближенія и опасенія были напрасны. Но все-таки несомнінно, что въ самомъ источникъ, въ этой страстной потребности обоихъ великихъ писателей отъ искусства перейти въ область религіозно-нравственныхъ вопросовъ есть, дъйствительно, очень много такого, что сближаетъ Толстого съ Гоголемъ. И вотъ почему думается, что тѣ обскурантскіе выводы, къ которымъ Гоголь пришелъ въ результатъ своихъ думъ и размышленій, тъ рецепты леченія общественныхъ ранъ, которые привели въ содрогание Бълинскаго и его лучшихъ современниковъ, должны быть признаны ошибками ума, следствіемъ того, что, созерцая картину русской жизни изъ своего "прекраснаго далека", Гоголь потерялъ чутье дъйствительности, но не ошибками сердца.

При такой постановкъ, особенное значение получаетъ вопросъ объ искренности "Переписки", для современниковъ ея появленія весьма спорный. Многое содъйствовало тому, чтобы отнестись подозрительно къ мотивамъ появленія въ свъть книги. Даже на людей одного съ Гоголемъ міросозерцанія отталкивающе подъйствовало чрезмърное обиліе явно преувеличеннаго смиренія. Съ одной стороны-безграничное самобичевание, увърения въ родъ того, что "мнъ хотълось симъ (письмами) искупить безполезность всего, досель мною напечатаннаго"; "знаю, что моими необдуманными и незрълыми сочиненіями нанесь я огорчение многимъ", причисление себя къ людямъ, "которые изъ грязи пробрались въ люди" и т. д. А вмъстъ съ тъмъ помпезное устройство величайшаго шума вокругъ своего имени, возвѣщеніе urbi et orbi, что авторъ думалъ прежде, что думаетъ теперь, какъ поступаль прежде, какъ поступаеть теперь, какъ будеть поступать виредь, и безпрерывный разговоръ о томъ, что онъ-то не придаетъ никакого зваченія себъ какъ писателю, да вотъ другіе очень его превозносять и высоко ставять. Предшествовавшее "Перепискъ" публичное завъщание при всъхъ словахъ смирения и унижения, его переполняющаго, есть въ то же время, несомнънно, и выражение гордыни безконечной, равной которой никогда ни до того, ни послъ того въ русской литературъ не было.

Все это унижение паче гордости представляетъ собою, однако, интересъ исключительно психологическій. Предъ нами явленіе весьма сложное, потому что по значительной доль высказанной о себь правды, многое въ самобичевании Гоголя нельзя причислить и къ простому ломанію. Когда Гоголь говориль о себь "вообще въ обхожденіи моемъ съ людьми всегда было много непріятно-отталкивающаго", то едва ли ему было особенно легко дёлать такое признаніе, потому что онъ, дъйствительно, даже съ самыми близкими и преданными людьми силошь да рядомъ обращался поистинъ отвратительно и своекорыстно и отлично понималь, что всё къ этой его черствости и эгонстической жестокости относились съ большимъ осуждениемъ. Когда онъ, причисляль себя къ людямъ, которые "изъ грязи пробрались въ люди", бичевалъ свое "мелочное самолюбіе" и свою "спесивость" то, опятьтаки, ему совстмъ не легко было въ этомъ признаваться, потому что онъ, дъйствительно, былъ и очень мелоченъ въ своемъ самолюбіи и очень спесивъ и зналъ, что то и другое отталкиваетъ отъ него людей. Такимъ образомъ, извъстная доля самобичеванія "Переписки" была, несомижню, нравственнымъ подвигомъ, потому что унижало его непомфричю гордыню и потому, очевидно, вырвалось въ минуту искренняго порыва и желанія освободиться отъ печальныхъ сторонъ своего характера. Скажемъ, кстати, что и великая гордыня Геголя нъсколько тяжелъе у насъ наказывается, чъмъ она того заслуживаетъ. Почему бы, собственно, Гоголю и пе было быть преисполнену сознанія своего значенія, когда друзья и недруги не иначе къ нему относились какъ къ генію? Почему мы не вмѣняемъ въ вину Пушкину его сознанія, что онъ "памятникъ воздвигъ себъ нерукотворный"? Почему никто не возмущается молодымъ Лермонтовымъ, когда въ ту пору, когда его не баловало еще общественное признаніе, онъ, тъмъ не менъе говорилъ о себъ:

> Нѣтъ, я не Байронъ, я другой Еще невѣдомый избранникъ.

Но, какъ бы то ни было, загадочная смѣсь искренняго и напускного смиренія въ "Перепискѣ", повторяемъ, имѣетъ интересъ чисто исихологическій и общественно-политическихъ выводовъ изъ этого никакихъ не сдѣлаешь.

Гораздо важнѣе вопросъ о томъ, насколько былъ искрененъ Гоголь въ своемъ общественномъ смиреніи, въ отказѣ отъ разрушительнаго смысла своихъ художественныхъ произведеній, въ томъ, что онъ благоговѣйно преклонялся предъ всею совокупностью дореформеннаго государственнаго быта. Объ этомъ ходили очень опредѣленные толки въ самыхъ разнообразныхъ сферахъ и о нихъ, не придавая имъ, однако, реальнаго значенія, говоритъ Бѣлинскій въ своемъ инсьмѣ.

Последовательное чтеніе писемъ, изданныхъ г. Шенрокомъ въ хронологическомъ порядкъ, должно разсъять всякія сомньнія на этотъ счетъ. Можно разно относиться къ обскурантски-реакціонному направленію книги Гоголя. Но если частная переписка его, начиная съ самаго отъвзда за границу въ 1836 г., въ течение десяти летъ вси проникнута однимъ и тъмъ же пророчески-мистическимъ тономъ, высказываетъ одни и тъ же взгляды на вопросы государственности, съ однимъ и темъ же осуждениемъ относится ко всему оппозиціонному, то какъ бы все это ни характеризовать, нельзя же усомниться въ искренности писавшаго, нельзя же допустить, что, просто дёлясь съ пріятелями своимъ настроеніемъ, онъ могъ при этомъ имѣть какія-то заднія цёли. Если для многихъ частей книги реальная переписка Гоголя была не больше какъ первымъ очеркомъ темъ, въ печати получившихъ гораздо болве широкое развитіе, то какъ разъ значительная часть того, что особенно возмутило современниковъ, взята почти цёликомъ изъ написанныхъ по самымъ разнообразнымъ поводамъ дъйствительныхъ писемъ Гоголя. Ограничимся для иллюстраціи тьмъ, что можетъ быть анализировано съ извѣстною долею непринужденности. Едва ли не къ числу характернъйшихъ статей "Переписки" принадлежатъ полторы странички, озаглавленныя "Карамзинъ". Здёсь ни много, ни мало доказывается, что Карамзинъ "первый возвёстилъ торжественно, что писателя не можеть стъснить цензура, и если уже онъ наполнился чистъйшимъ желаніемъ блага въ такой мѣрѣ, что желаніе это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищею, тогда никакая цензура для него не строга, и ему вездъ просторно". Оно, пожалуй, вполнъ можно согласиться съ Гоголевскимъ утвержденіемъ. Писательское "желаніе занявшее всю душу", въ той или другой формв, двиствительно, такъ или иначе выразится и дойдетъ до читателя, особенно россійскаго, столь искусившагося въ чтенін между строкъ и символическомъ пониманіи печатныхъ словъ. Но, очевидно, Гоголь не то хотълъ сказать, когда онъ утверждалъ, что "никто, кромъ Карамзина, не говорилъ такъ смело и благородно, не скрывая никакихъ (!) своихъ мнѣній и мыслей, хотя они и не соотвътствовали во всемъ тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что онъ одинъ имълъ на то право". Хотя Карамзинскою "смѣлостью", выразившеюся въ томъ, что своею запискою о "Древней и Новой Россіи" онъ пошелъ на борьбу съ либеральными вѣяніями александровской эпохи, во времена Гоголя въ полной мѣрѣ обладаль даже Булгаринь, но все-таки Гоголь полагаль, что "смфлость" Карамзина "даеть урокъ нашему брату, писателю. Какъ смѣшны

послѣ этого изъ насъ тѣ, которые утверждаютъ, что въ Россіи нельзя сказать полной правды". Въ такихъ случаяхъ всегда виноватъ самъ писатель. "Самъ же высказался такъ нелѣпо и грубо", самъ же "выкажетъ неряшество растрепанной души своей", а потомъ чудакъ "негодуетъ, что отъ него никто не принялъ и не выслушалъ правды! Нѣтъ, имѣй такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имѣлъ Карамзинъ, и тогда возвѣщай свою правду: все тебя выслушаетъ, начиная отъ царя до послѣдняго нищаго въ государствѣ, и выслушаетъ съ такою любовью, съ какою не выслушивается ни въ какой странѣ ни парламентскій защитникъ правъ, ни лучшій нынѣшній проповѣдникъ, собирающій вокругъ себя верхушку моднаго общества; и съ такою любовью можетъ выслушать только одна чудная наша Россія, о которой идетъ слухъ, будто она вовсе не любитъ правды".

Весьма краснорфчивымъ комментаріемъ кътому, какълегко въ то время осуществлялось желаніе "возвѣщать свою правду", явилось то, что три статьи, назначенныя для "Переписки", совсемь не были пропущены цензурою, а большинство появившихся подверглось серьезнъйшимъ уръзкамъ. Вопросы государственной жизни были въ то время чьмь-то вродь "табу" австралійцевь, до котораго вообще нельзя было касаться, не только порицая, но даже анализируя ихъ съ извъстнаго рода самостоятельностью. Поэтому-то и звучали такою дикою пронією слова Гоголя, что "чудная Россія" эпохи вычеркиванія изъ поваренныхъ книгъ рецептовъ ставить пироги на "вольный духъ", отъ всякаго съ "любовью" все выслушаетъ. И, однако, искренность увъреній Гоголя не можеть быть подвергнута ни мальйшему сомньнію, потому что весь этотъ дифирамбъ цъликомъ взятъ изъ частнаго письма и при томъ очень небольшого, следовательно, не изъ техъ, которыя Гоголь долго обдумываль и переправляль, какъ бы готовя ихъ для появленія къ печати. Гоголь просто отв'ячалъ закадычному пріятелю Языкову на присылку книги Погодина о Карамзинъ и по этому поводу, вполнъ мимоходомъ, предался своимъ удивительнымъ размышленіямъ.

Ограничимся, для удобства, этимъ характеристическимъ образчикомъ полной искренности реакціонныхъ тенденцій "Переписки", прибавимъ еще только, что, собственно говоря, всякія чисто-фактическія доказательства искренности "Переписки" совсѣмъ и не нужны даже. Будучи, во всякомъ случаѣ, произведеніемъ въ высшей степени яркимъ, являясь, во всякомъ случаѣ, выраженіемъ долголѣтнихъ думъ и размышленій, "Переписка" уже въ силу одного этого не можетъ быть неискренней. Можно быть неискреннимъ въ одномъ какомъ-нибудь письмѣ, въ одной какой-нибудь статьѣ, но нельзя быть неискреннимъ въ цѣломъ стройномъ міросозерцаніи, нельзя 6—10 лѣтъ

упорно и мучительно носиться съ извъстными мыслями, имъя при этомъ въ виду какія-то заднія цёли. Это психологическій nonsens. Да, наконецъ, писательская "искренность" есть понятіе совсвиъ особенное. Она, по преимуществу, состоитъ въ глубокомъ интересъ къ предмету, въ томъ, что писателю страстно, неудержимо хочется вращаться въ опредъленной умственной сферъ. "Переписка" была выраженіемъ настроенія, назрѣвавшаго съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ Гоголь въ 1836 году увхалъ за границу. Вначалв просто преисполненный сознанія своей "львиной силы", онъ все больше и больше, по мъръ того, какъ развертывался передъ нимъ сюжетъ "Мертвыхъ душъ", укръплялся въ этомъ сознаніи, пока, наконецъ, при его глубокой религіозности, оно не приняло форму вполнъ реальнаго убъжденія въ своемъ избранничествъ. Въ письмъ къ другу дътства А. С. Данилевскому, Гоголь, давая ему рядъ совътовъ и наставленій, такъ-таки прямо и заявляеть ему: "О, върь словамъ монмъ! Властью высшею облечено отнынъ мое слово" (II, 111). Въ томъ же письмъ Гоголь, буквально какъ библейскій пророкъ, восклицаеть: "Теперь ты долженъ слушать моего слова, ибо вдвойнъ властно надъ тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова" (II, 110).

Можно какъ угодно отнестись къ этимъ и однороднымъ заявленіямъ, которыя разбросаны во множествѣ въ письмахъ Гоголя, особенно въ письмахъ къ сестрамъ. Можно въ этомъ видѣть, какъ Бѣлинскій, проявленіе mania religiosa, можно отнестись къ этому, какъ къ маніи величія и т. д. Но въ одномъ только никто не станетъ сомнѣваться,—что подобныя заявленія вытекаютъ изъ настроенія необыкновенно цѣльнаго и проникающаго всего человѣка.

Изъ этого-то глубоко-искренняго пророческаго настроенія Гоголя, изъ его проникновеннаго убѣжденія, что онъ призванъ наставлять, поучать, указать истинный путь жизни личной и общественной, и вытекла "Переписка", въ которой граждански-поучительный характеръ писательской дѣятельности Гоголя достигъ своего апогея. Это была первая русская книга, которая такъ или иначе затрогивала основные вопросы русскаго общественнаго быта, которая, хотя и въ глубоко-реакціонной формѣ, касалась самыхъ жгучихъ сторонъ русской гражданственности и тѣмъ самымъ заставляла общественную мысль работать въ извѣстномъ направленіи, подвергать анализу явленія, мимо которыхъ она до того проходила, просто не замѣчая ихъ. Въ каждомъ литературномъ произведеніи, съ общественной точки зрѣнія, гораздо важиѣе самого содержанія его способность затрогивать въ душѣ читателя извѣстныя струны, потому что основа всякаго прогресса есть, прежде всего, движеніе, и страшенъ для обще-

ственности только застой. Стоить ближе присмотръться къ самымъ реакціоннымъ мѣстамъ "Переписки", чтобы убѣдиться, какъ пламенно они стремятся внести гражданскія стремленія въ самыя обыденныя, повседневныя отношенія. Возьмемъ даже пресловутую статью "Русскій пом'єщикъ", съ ея аповеозомъ крупостного права, съ ея прямымъ возведеніемъ закръпощенія мужика въ какой-то перлъ созданія. Бълинскому, которому при чтеніи только-что тогда появившагося "Антона Горемыки" казалось, что это не Антона, а его самого "отодрали на барской конюшнъ", конечно, кровь бросилась въ голову, когда онъ прочелъ гоголевское наставление пріятелю собрать своихъ крвпостныхъ, объяснитъ имъ, что они, "родясь подъ властію, должны покориться той самой власти, подъ которою родились, потому что нетъ власти, которая бы не была отъ Бога", а главное—"показать это имъ туть же въ Евангеліи, чтобы они вст это видъли до единаго". По поводу этой кощунственной профанацін Евангелія, Бѣлинскій, конечно, только и могь сказать Гоголю, что въ моментъ преподанія своихъ совътовъ онъ былъ "преисполненъ не истины Христовой, а дьяволова ученія". Но когда Бълинскій туть же утверждаеть, что Гоголь "во имя Христа и церкви учить варвара-пом'вщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ, учитъ ихъ ругать побольше", то онъ былъ не правъ. Нътъ, Гоголь, совершенно забывъ историческое происхождение русскаго крипостного права, создаль дикую утопію помищичьей власти, вь силу которой помъщикъ всего менъе пріобрътатель. По теорін "Переписки", помъщикъ-человькъ, отъ Бога поставленный затьмъ, чтобы блюсти душу своихъ крвпостныхъ. "Скажи мужикамъ, на ставляетъ Гоголь пріятеля, --что заставляешь ихъ трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебъ деньги на твои удовольствія, и въ доказательство туть же сожги передъ ними ассигнаціи, и сдёлай такъ, чтобы они видёли дёйствительно, что деньги тебъ нуль; но что потому ты заставляешь ихъ трудиться, что Богомъ повелвно человвку трудомъ и потомъ снискивать себв хлѣбъ, и прочти имъ тутъ же это въ Св. Писаніи, чтобы они это видели. Скажи имъ всю правду: что съ тебя взыщеть Богь за послюдняго негодяя во селю". Сообразно съ этимъ, Гоголь вмоняетъ въ обязанность помѣщику обширнѣйшую программу безпрерывнаго и детальнайшаго общенія съ крестьянами, о которой въ обычной помъщичьей жизни того времени викогда и помина не было, конечно. Тотъ владълецъ 800 душъ, къ которому обращены совъты и увъщеванія Гоголя, долженъ безпрерывно пропов'ядывать своимъ "подданнымъ" и для этого долженъ знать повадку и жизнь каждаго изъ своихъ мужиковъ въ отдельности. Когда мужикъ будетъ "уличенъ въ воровствъ, люности или пьянствъ", помъщикъ долженъ "ставить его

передъ лицомъ Бога, а не передъ своимъ лицомъ", долженъ показать, что онъ "грѣшитъ противъ Бога", а не противъ помѣщика, и долженъ предпринять цёлый циклъ весьма сложныхъ увёщаній и укоровъ. Недостаточно упрекать одного только провинившагося: "Призови и бабу его, его семью, собери сосъдей, попрекни бабу, зачъмъ не отваживала отъ зла своего мужа и не грозила ему страхомъ Божіимъ; попрекни соседей, зачемъ допустили, что ихъ же братъ, среди ихъ же, зажилъ собакой и губитъ ни про-что свою душу, докажи имъ, что они дадугъ за то всв отвътъ Богу. Устрой такъ, чтобы на всвхъ легла отвътственность и чтобы все, что ни окружаетъ человъка, упрекало бы и не давало бы ему слишкомъ разстегнуться". Но не только съ "лентяями" и пьяницами долженъ возиться гоголевскій помещикъ. "А примърныхъ мужиковъ, призвавши къ себъ, и, если они старики, посадивши ихъ предъ собою, потолкуй съ ними о томъ, какъ они могутъ наставлять и учить добру другихъ, исполняя такимъ образомъ именно то, что повельть намъ Богъ". Въ чисто-хозяйственныхъ дълахъ "соприкосновение помъщика съ крестьяниномъ" должно быть самое твсное, и помвщикъ долженъ быть "самъ начинателемъ всего и передовымъ во всъхъ дълахъ", долженъ "въ комнатахъ не засиживаться", долженъ почаще самъ принимать дъятельное участіе въ крестьянскихъ работахъ съ топоромъ или косой въ рукф. Усердно долженъ помфщикъ заботиться о просвъщении народа и его религіозности. Правда, "учить мужика грамот в затемъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которыя издають для народа европейскіе человъколюбцы, есть, дъйствительно, вздоръ". "У мужика нътъ вовсе для этого времени. Послъ столькихъ работъ никакая книжонка не пользеть въ голову и, пришедши домой, онъ заснеть, какъ убитый, богатырскимъ сномъ". Къ тому же "деревенскій священникъ можетъ сказать гораздо больше истинно нужнаго для мужика, нежели всв эти книжонки". Но, "если въ комъ истинно уже зародится охота къ грамотъ, и при томъ вовсе не затъмъ, чтобы сдълаться плутомъ-конторщикомъ, но затъмъ, чтобы прочесть тъ книги, въ которыхъ начертанъ Божій законъ челов'вку, -тогда другое д'вло. Воспитай его какъ сына и на него одного употреби все, что употребилъ бы ты на всю школу". Въ религіозномъ воспитаніи крестьянъ гоголевскій помѣщикъ, который вообще является истиннымъ чудомъ природы, соединяя въ себъ ръшительно всъ способности и достоинства, играетъ тоже первенствующую роль, а духовенство тутъ сбоку-припеку. Обыкновенно священники поучають свою паству, хотя бы въ составъ этой паствы входили и такіе пом'вщики, какъ гоголевскій влад'влецъ 800 душъ. Въ "Перепискъ" наоборотъ: "Будь ему (священнику) наставникомъ", самымъ серьезнымъ образомъ говоритъ Гоголь своему

помъщику-энциклопедисту, "ты же поняль такъ хорошо обязанности сельскаго священника". Совершенно забывъ, что у священника могуть быть и свои собственные интересы и желаніе проводить время въ собственной семьъ, Гоголь дълаетъ изъ него настоящаго и безсмвинаго помвщичьяго адъютанта, который отъ того, что помвщичья власть есть учрежденіе, назначенное отнюдь не для извлеченія выгодъ, а для спасенія крестьянскихъ душъ, долженъ всецьло отдать себя въ распоряжение помъщика. "Заведи, чтобы священникъ объдаль съ тобою всякій день. Читай съ нимъ вмѣстѣ духовныя книги. А самое главное, — бери съ собою священника повсюду, гдт ни бываешь на работахъ, чтобы сначала онъ былъ при тебъ въ качествъ помощника; чтобы онъ видълъ самолично всюду всю продълку твою съ мужиками. Къ нему будетъ больше уваженія со стороны мужиковъ, когда они увидять, что онъ идеть съ тобой объ руку". Даже проповъдывать долженъ священникъ именно то, что укажетъ помъщикъ. Хотя священникъ кончилъ семинарію и, надо полагать, могъ бы, напримъръ, и самъ справиться со Златоустомъ, но направляющая рука помъщика и тутъ должна имъть главное значение. "Возьми Златоуста и читай его вмъстъ съ твоимъ священникомъ и при томъ съ карандашемь въ рукв, чтобы отмвчать туть же всв такія мвста (краткія и сильныя), а такихъ мъстъ у Златоуста десятками во всякой проповеди. И эти места пусть онъ скажетъ народу". Такимъ образомъ, въ общемъ, священникъ-простая ширма, и дело религознаго наставлєнія народа всецьло сосредоточено въ рукахъ помьщика. За то же и хвала ему воздается за всю совокупность его разносторонней дъятельности, которая, по глубокому убъжденію Гоголя, не можетъ не увънчаться блистательнъйшимъ успъхомъ, ибо "въ которую деревню заглянула только христіанская жизнь, тамъ мужики лопатами гребутъ серебро". "Не служа доселъ ревностно ни на какомъ поприщъ, сослужишь ты такую службу въ званіи поміщика, какой не сослужить иной великочиновный человькь. Что ни говори, но поставить 800 подданныхъ, которые всъ какъ одинъ и могутъ быть примъромъ всѣмъ окружающимъ своею истинно примфрною жизнію-это дѣло не бездъльное и служба истинно-законная и великая".

Можно разно отнестись къ Гоголевской утоніи—со смѣхомъ, съ негодованіемъ, съ недоумѣніемъ. Но забудемте самое содержаніе ея, возьмемте только схему отношеній, которыя она устанавливаетъ. Мы должны будемъ согласиться, что тутъ во всякомъ случаѣ не пріобрѣтательство, а попытка внести нравственное содержаніе и серьезныя обязанности въ такую сферу, гдѣ люди того круга, среди котораго вращался Гоголь, ничего кромѣ самыхъ грубыхъ практическихъ цѣлей не преслѣдовали. Чисто-экономическія отношенія превращены въ

стройное явленіе гражданской жизни, и всякій на какомъ-то общественномъ посту. Гоголевскому помѣщику, или, вѣрнѣе, настоящему отцу, духовнику и наставнику 800 душъ, никто не откажетъ въ званіи истинно-общественнаго дѣятеля, если онъ послушается Гоголя и свое сладкое житье промѣняетъ на то томительно-скучное существованіе, которое ему навязываетъ "Переписка".

Гоголевское теократизирование кръпостного права могло бы, конечно, еще быть отвратительнымъ лицемъріемъ какого-нибудь Іудушки Головлева, который въ моментъ, когда въ обществъ пошли въянія, способныя подкопать зданіе пом'єщичьяго благополучія, старается напялить благообразную личину на безобразное явленіе. Но въ этомъ отношении реакціонеръ и кръпостникъ Гоголь имъетъ за собою нъчто такое, чего не имъло за собою большинство тъхъ, которые такъ на него обрушились. Гоголь былъ идеально безкорыстенъ и нравственно свободенъ, создавая свои кръпостнические идеалы. Съ переъзда въ Петербургъ, т. е. съ первыхъ моментовъ своего сознательнаго существованія, Гоголь не пользовался ни единою крівпостною копейкою, ни единой минуты не жилъ на счетъ крестьянъ, которые, увы, обезпечивали благополучное существование и автора "Записокъ Охотника", и автора "Антона Горемыки" и, за исключеніемъ самого Бѣлинскаго, почти всёхъ его друзей и единомышленниковъ. И вотъ почему вся слащавая маниловщина статьи "Русскій пом'вщикъ", вся эта идиллія, въ существъ гораздо болью смъхотворная, чьмъ возмутительная, должна быть признана ошибкою ума, но никакъ не сердца. Во всемъ этомъ эпизодъ только ярко сказалась способность Гоголя къ всякому явленію подходить съ гражданской стороны, вносить весьма своеобразно-выразившіяся, но все-таки, несомнівню, общественныя стремленія въ самые затхлые уголки жизни.

Ту же общественность Гоголь хочетъ внести и во всё остальныя сферы русской жизни, которыя подвергаетъ анализу въ своей книге. Что можетъ быть заурядне положенія губернаторши? Однако же въ длинной статьё, составившейся изъ реальнаго письма къ его ближайшей пріятельнице — знаменитой калужской губернаторше А. О. Смирновой, Гоголь дёлаетъ этотъ "постъ" настоящимъ общественнымъ служеніемъ. Гоголевская губернаторша "должна всёхъ избранныхъ и лучшихъ въ городе подвигнуть на дёятельность общественную", должна гнать роскошь, должна "глядють на весь городъ, какъ лекарь глядитъ на лазаретъ", и лечить общественныя язвы своимъ добрымъ вліяніемъ на дамъ, въ стремленіи которыхъ къ роскоши Гоголь на протяженіи всей своей книги видитъ главный источникъ злоупотребленій чиновниковъ и судей. Забудемъ опять маниловскую патоку, на которой заварена вся эта умилительная программа

преобразованія общественнаго строя путемъ добрыхъ начальниковъ, и мы снова получаемъ тотъ же принципъ широкаго пріобщенія всякаго человѣка къ гражданской работѣ.

Еще менѣе, повидимому, имѣетъ что-либо родственнаго съ общественною дѣятельностью представленіе о богатой, знатной красавицѣ. А между тѣмъ, присмотримся къ душевному портрету такой красавицы, нарисованному въ статъѣ "Женщина въ свѣтѣ". Біографія Гоголя выяснила, что хотя статья и имѣетъ подзаглавіе "Письмо къ ...вой", но на самомъ дѣлѣ такого реальнаго письма Гоголь никому не писалъ и въ своей статъѣ онъ, какъ и въ "Русскомъ помѣщикъ", только воспользовался эпистолярной формой, чтобы начертить свой идеалъ женщины.

Какое же употребление делаетъ мнимая ...ва изъ своей молодости и красоты? Она скорбитъ о томъ, что "не можетъ быть кому-нибудь полезной", что "никакого вліянія на общество имить не можеть". Но Гоголь съ нею спорить, онъ указываеть ей, что разъ "самимъ Богомъ водворено" ей "въ душу стремленіе или жажда добра", разъ "кто заключилъ въ душъ своей такое небесное безпокойство о людяхъ, такую ангельскую тоску о нихъ среди самыхъ развлекательныхъ увеселеній, тотъ много, много можеть для нихъ сдёлать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди". "Не убъгайте же свъта, среди котораго вамъ назначено быть", умоляетъ Гоголь свою красавицу; ей непремънно удастся "обратить на путь нынъшній свътъ": отказъ "ни у кого не посмветъ пошевелиться на губахъ, когда однимъ умоляющимъ взоромъ, безъ словъ, вы попросите кого-нибудь изъ насъ, чтобы онъ сделался лучшимъ". Мы не будемъ следить за дальнъйшими совътами и указаніями Гололя—по обыкневенію, они слащаво-приторны. Но оценимте самое главное въ каждомъ нравственномъ совътъ-направленіе, которое онъ даетъ мысли. Пусть намъ укажутъ хотя бы одного изъ современныхъ "Перепискъ" самыхъ передовыхъ писателей, у котораго зародился бы такой свътлый образъ, какъ образъ гоголевской красавицы съ душой, объятой, по удивительному выраженію Гоголя, достойному стать крылатымъ словомъ, "небеснымъ безпокойствомъ о людяхъ". И этотъ образъ создался у Гоголя не мимолетно: онъ вышель изъ очень глубокихъ тайниковъ его творческой души, потому что отлился у него тоже и въ художественной формъ во 2-й части "Мертвыхъ душъ" въ лицъ Улиньки, которая вся была переполнена такимъ же "небеснымъ безпокойствомъ", не выносила ни малъйшей несправедливости. Улинька еше мало оценена нашей критикой, по она, несомивино, является первымъ художественнымъ воплощениемъ новой русской женщины,

съ ея общественными стремленіями и негодованіемъ на неправду; она—старшая сестра Тургеневской Елены.

Къ числу самыхъ яркихъ въ общественно-политическомъ отно-шеніи статей "Переписки" принадлежитъ частью дѣйствительная пе-реписка, частью только изложеніе бесѣдъ съ очень интимнымъ дру-гомъ Гоголя—графомъ Александромъ Петровичемъ Толстымъ, тѣмъ самымъ, въ домѣ котораго онъ впослѣдствіи умеръ. Къ Толстому адресованы всё статьи, гдё говорится о церкви, о духовенстве, о томъ, какъ надо "любить Россію" и служить ей. Это та часть книги, которая пользуется особенно установившейся репутаціею. Но немало будеть удивлень современный читатель, если, захотывь познакомиться поближе съ почти никъмъ теперь не читаемой "Перепиской", заглянетъ и въ тъ страницы, гдъ, повидимому, сосредоточенъ весь гого-левскій "клерикализмъ" и "аскетизмъ". И окажется тогда, что того, что можно назвать "клерикализмомъ" въ прямомъ смыслѣ, т. е. предоставленія духовенству руководящей роли въ практической жизни, у Гоголя нѣтъ и слѣда. Человѣкъ глубоко-религіозный, безгранично высоко ставящій церковь какъ руководительницу и наставительницу совъсти, Гоголь, однако, ръзко отстраняетъ духовенство отъ прямого и непосредственнаго вмѣшательства въ жизнь. Онъ даже противъ простого общенія духовенства съ паствою внѣ церкви. "Повѣрьте, что если бы стали духовные встръчаться съ нами чаще, участвуя въ нашихъ ежедневныхъ собраніяхъ и гульбищахъ или входя въ семейныя дёла, это было бы нехорошо". Весьма кстати вспомнивъ тутъ о самыхъ яркихъ и настоящихъ представителяхъ клерикализма—католическихъ патерахъ, съ ихъ вмѣшательствомъ въ семейныя дѣла, Гоголь прибавляетъ: "Духовному предстоитъ много искушеній, гораздо болье даже, нежели намъ: какъ разъ завелись бы ть интриги въ домахъ, въ которыхъ обвиняютъ римско-католическихъ поповъ". Гоголь отмежевываетъ представителямъ церкви совершенно определенную область: "У духовенства нашего два законныхъ поприща, на которыхъ они съ нами встръчаются: исповъдь и проповъдь". Гдъ же тутъ хотя бы отдаленная тёнь дёйствительнаго клерикализма?

Что касается "аскетизма", т. е. стремленія углубиться только во внутреннее самоусовершенствованіе и біжать отъ діль міра сего, то внутреннее самоусовершенствование и обжать отъ двлъ мира сего, то трудно найти болве рвшительное, болве энергическое противодвиствие такому убъганию въ пустыню, чвмъ то, которое даетъ "Переписка". Въ статьв "Нужно любить Россію" вопросъ поставленъ въ самой непосредственной формв. Здвсь Гоголь борется съ двиствительнымъ или воображаемымъ желаніемъ Толстого уйти въ монастырь и разсуждаетъ такъ: "Безъ любви къ Богу никому не спастись", но эту любовь надо имвть въ себв: "Въ монастыръ ея не найдется" тому, кто ею не проникся раньше. Какъ же обрасти любовь? "Христосъ принесъ и возвъстилъ намъ тайну, что въ любви къ братьямъ получаемъ любовь къ Богу. Стоитъ только полюбить ихъ такъ, какъ приказаль Христосъ, и сама собой выйдеть въ итогѣ любовь къ Богу самому. Идите же въ міръ и пріобрътайте прежде любовь къ братьямъ". "Но какъ полюбить братьевъ? Для этого русскому надо возлюбить Россію, въ которой теперь "бользии и страданія накопились въ такомъ множествъ". Слышится "вопль всей земли" противъ "безчинствъ и неправды" и въ такое время никто не долженъ отстраияться отъ борьбы со зломъ. "Вы еще не любите Россію: вы умфете только печалиться, да раздражаться слухами обо всемъ дурномъ, что въ ней дълается"; "это еще не любовь, далеко вамъ до любви". "Нѣтъ, если вы, дѣйствительно, полюбите Россію, у васъ пропадетъ тогда сама собою та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многихъ честныхъ и даже умныхъ людей, то есть, будто въ теперешнее время они уже ничего не могутъ сдълать для Россіи и будто они ей уже не нужны совсёмъ; напротивъ, тогда только во всей силъ вы почувствуете, что любовь всемогуща и что съ нею можно все сдёлать. Нётъ, если вы, дёйствительно, полюбите Россію, вы будете рваться служить ей; не въ губернаторы, но въ капитанъ-исправники пойдете, послыднее мысто, какое ни отыщется вы ней, возьмете, предпочитая одну крупицу дъятельности на немъ всей вашей нынъшней бездъйственной и праздной жизни".

Предложить это бывшему губернатору, чёмъ Толстой былъ и въ дъйствительности и въ качестве чего фигурируетъ передъ читателями въ "Перепискъ", было, конечно, очень наивно. Но думается, что отъ чести признать свое тъсное душевное родство съ этою наивностью не откажется ни одинъ изъ самыхъ завзятыхъ противниковъ "Переписки". Изъ этой "наивности" родилось все, что намъ свято въ русскомъ народолюбіи, изъ нея вышло "кающееся дворянство", вышли всъ тъ дорогія намъ позднъйшія теченія, которыя тоже предпочли "бездъйственной и праздной жизни" "крупицу дъятельности", хотя бы и на "послъднемъ мъстъ" общественной лъстницы. Вь поразительно-сильной формулъ Гоголя могла сказаться только мысль, глубоко-захваченная скорбью о родинъ, вся изнывшая отъ сознанія ранъ, ее разъъдающихъ, страстнаго желанія залечить ихъ.

Тотъ же страстный призывъ работать на пользу общую составляетъ главное содержание другого адресованнаго Толстому письма: "Нужно профадиться по Россіи". Тутъ опять эпергическая борьба съ настроеніемъ, изъ жажды подвига рвущимся въ монастырь, и опять "аскетическая" книга Гоголя властно говоритъ кандидату въ монахи: "Монастырь нашъ—Россія! Облеките же себя умственно рясой чер-

неца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нея, ступайте подвизаться въ ней".

Если Гоголь отъ людей всякаго званія и положенія требуетъ дѣятельной и самоотверженной работы на пользу общую, то какъ онъ смотритъ на собственную задачу свою, въ чемъ полагаетъ сущность и значеніе писательскаго призванія?

Ярко сказалась истинно-гражданская окраска всего духовнаго существа Гоголя и въ его взглядахъ на задачи литературы вообще и поэзіи въ частности. Для него писатель, какъ для самаго завзятаго "разрушителя эстетики" 60-хъ гг., только и цѣненъ съ точки зрѣнія той "пользы", которую онъ приноситъ: "Я—писатель, а долгъ писателя не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу: строго взыщется съ него, если отъ сочиненій его не распространится какаянибудь польза душѣ и не останется отъ него ничего въ поученіе людямъ".

Благоговъйный ученикъ и безграничный почитатель Пушкина, Гоголь, однако, совершенно разошелся съ нимъ въ пониманіи зада чъ художественной дъятельности. Не согласенъ онъ съ нимъ ни въ томъ, что художники рождены для звуковъ сладкихъ и молитвъ, ни въ томъ, что не ихъ дъло "корысть" и "битвы". Какъ мы уже знаемъ, Го голь обязательно требуетъ "пользы", т. е. "корысти" по терминологіи Пушкина. А что касается "житейскаго волненія" и "битвъ", т. е. отзывчивости на нужды времени и участія въ борьбъ съ несовершенствами жизни, то всего этого Гоголь требуетъ не только отъ писателя, назначеніе котораго ставилъ такъ необыкновенно высоко, — онъ вмѣняетъ рѣшительно всякому человѣку борьбу со зломъ. "Вспомни", говоритъ онъ даже человѣку, занимающему "незамѣтную должность" и имѣющему весьма скромную сферу дъйствія: "призваны въ міръ мы вовсе не для праздниковъ и пированій — на битву мы сода призваны; какъ добрый воннъ, долженъ бросаться изъ насъ всякъ туда, гдъ пожарче битва".

Звуки же сладкіе Гоголь отвергаеть съ энергіею библейскаго пророка:

"Стряхни сонъ съ очей своихъ", говоритъ онъ лучшему другу своему поэту Языкову, "и порази сонъ другихъ". И вслъдъ за этимъ Гоголь даетъ удивительнъйшую по сплъ и яркости литературную формулу:

"На колѣна передъ Богомъ и проси у него гнтва и любви". "Гнѣва и любви"!

Это сказано за нѣсколько лѣть до дорогой намъ формулы: "муза мести и печали".

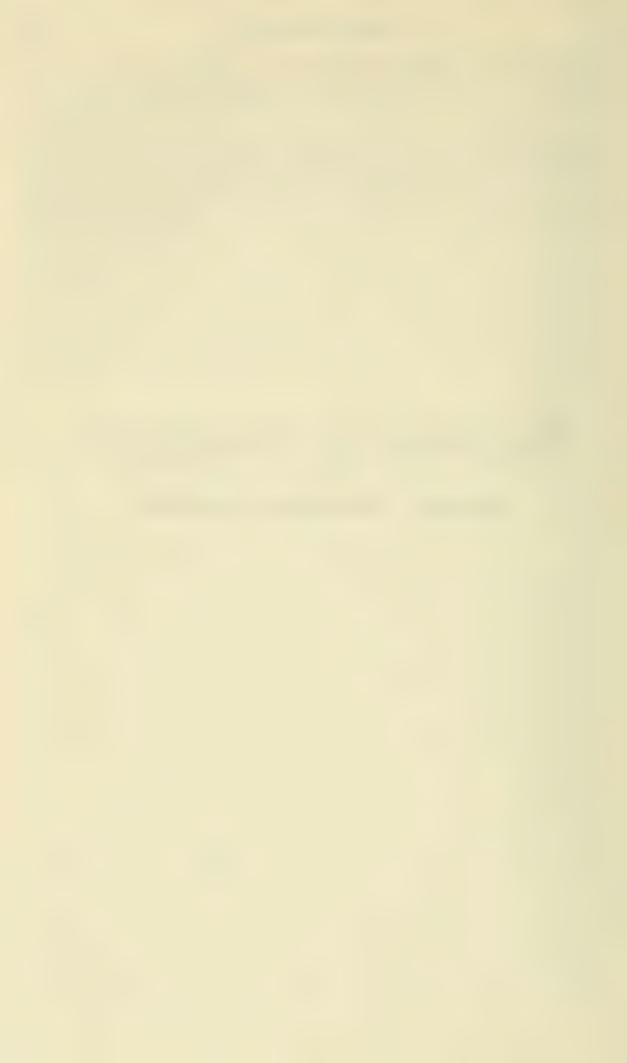
И если этой музѣ мы присвоили названіе "гражданской" по преимуществу, то будемте послѣдовательны и по отношенію къ Гоголю.

Неужели не "писатель-гражданинъ" тотъ, кто своими художественными произведеніями подкопалъ все зданіе общественной скверны, а въ произведеніяхъ теоретическихъ всякаго человъка дълаетъ ратоборцемъ за правду и общее благо, хотя и очень своеобразно понятое?

1902.

Великое сердце.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій.



Великое сердце.

Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій.

Да, именно въ томъ, по преимуществу, великое значение Бѣлинскаго, что у него было великое сердце. Огромно, конечно, и чистоумственное значение его литературнаго наслёдства. Разберитесь въ своихъ представленіяхъ о главныхъ моментахъ русской литературы и вамъ станетъ ясно, что источникъ ихъ въ разъясненіяхъ, съ такою удивительною яркостью и ясностью данныхъ Бълинскимъ. Присмотритесь къ тому пониманію исторіи русской литературы, которое теперь уже разошлось по всёмъ учебникамъ, несмотря на то, что первоисточникъ ихъ-самыя сочиненія Бёлинскаго только въ незначительной части получили доступъ въ учебныя библіотеки, и вамъ опять станетъ ясно, что все это взято изъ статей Бълинскаго о Пушкинъ, изъ его "Литературныхъ мечтаній", изъ годовыхъ обзоровъ его. Проследите, наконецъ, генетическую связь между литературнымъ движеніемъ всего ряда літь, протекшихъ послі смерти Бѣлинскаго, и мыслями, идеями и настроеніями "Неистоваго Виссаріона" и вы увидите, что для Бѣлинскаго еще не наступила исторія. У Бълинскаго вы всегда найдете отвътъ на большинство самыхъ животрепещущихъ вопросовъ современности, потому что отправные пункты путей, по которымъ шла разработка этихъ вопросовъ, намѣчены Бълинскимъ же совершенно опредъленно и ясно.

Словомъ, Бѣлинскій есть основа, первоисточникъ, краеугольный камень всей новой русской литературной мысли, живое воплощеніе всѣхъ тѣхъ новыхъ началъ, которыя сдѣлали русскую литературу важиѣйшимъ факторомъ новаго направленія русской гражданственности.

Но именно только воплощение. Никакое преклонение предъ Бълинскимъ не должно затушевывать того факта, что мысли, которыя онъ высказывалъ съ такимъ огромнымъ талантомъ и силою, были мыслями целаго круга людей, его вдохновлявшихъ. И этотъ фактъ не только потому не нужно затушевывать, что онъ есть правда, а еще и потому, что въ немъ рфшительно нфтъ ничего такого, что бы умаляло значеніе Бълинскаго. Въдь самые-то настоящіе великіе люди ть, которые не сами по себь, а отражають великія эпохи. Второстепенно было бы значение Бѣлинскаго, если бы онъ отражалъ одного Бакунина, одного Грановскаго, одного Герцена. Но если онъ одновременно, и притомъ по отношенію къ большинству изъ нихъ съ безконечно большею силою и блескомъ, отражалъ и Станкевича, и Боткина, и Бакунина, и Грановскаго, и Герцена, то это уже значить, что онъ является центральнымъ пунктомъ знаменитъйшей эпохи, выразителемъ самаго замъчательнаго момента русской культуры, давшей ту плеяду великихъ писателей, которая поставила Россію на одинъ уровень съ великими литературными державами человъчества. Какъ уже было сказано въ настоящихъ "Очеркахъ", главная заслуга великаго критика "не въ томъ, что онъ лично додумался до всёхъ идей, имъ высказанныхъ, а въ томъ, что онъ провелъ ихъ сквозь горнило сожигавшаго его внутренняго пламени и сообщиль имъ отпечатокъ своей идеально-прекрасной личности. Непреходящее вліяніе статей Белинскаго зиждется на томъ, что въ нихъ слышно біеніе сердца, безспорно, самаго благороднаго, когда-либо бившагося въ русской груди, что въ нихъ сказалась никъмъ другимъ не достигнутая высота настроенія, сила и глубина чувства. Великій праведникъ литературы русской, рыдарь безъ страха и упрека, на свътлой намяти котораго нъть ни единаго, самомальйшаго пятнышка, быль вмьсть съ тымь великимь страстотерицемъ новой русской мысли. Онъ глубоко выстрадалъ свои убъжденія и въ полномъ смысль слова писаль лучшею кровью своего сердца".

Печать необыкновенно высокаго духа Бѣлинскаго лежить на каждой строчкѣ, имъ наинсанной, и оттого такъ жгучи понынѣ эти старыя журнальныя статьи и рецензіи, болѣе полувѣка тому назадъ написанныя и часто по поводамъ совершенно ничтожнымъ. Мысли старѣются и становятся банальными, что можно сказать про многія положенія Бѣлинскаго, превратившіяся въ трунзмы. Но истинный павосъ никогда не старѣетъ и всегда сообщается читателю. И какъ вѣрующій, заглядывающій въ минуту поисковъ душевнаго утѣшенія въ исалтирь, находить въ ней слова уснокоенія, хотя они сказаны совсѣмъ по иному поводу, такъ и сочиненія Бѣлинскаго, раскрытыя

въ любомъ мѣстѣ, даютъ источникъ великаго наслажденія всякому, волнующемуся вопросами морали, назначенія литературы и выясненія истинныхъ задачъ человѣческаго существованія. Безграничное воодушевленіе Бѣлинскаго уноситъ и читателя его въ горныя вершины духа. Есть немногіе избранники, при встрѣчѣ съ которыми всякій нравственно подтягивается и куда-то далеко, далеко прячетъ всѣ мелкіе помыслы. Заразительно, вѣдь, не только эло, но и добро. Бѣлинскій—одинъ изъ такихъ избранниковъ. Въ этомъ было его значеніе въ кружкахъ превосходившихъ его знаніями пріятелей его, въ этомъ его значеніе и теперь. Въ его духовномъ присутствіи отнадаетъ все ничтожное и пошлое, и всякій чувствуетъ неодолимую потребность чѣмъ-нибудь приблизиться къ его душевной чистотѣ и настроить себя въ унисонъ съ біеніемъ его великаго сердца.

Общій обзоръ эпохи Бълинскаго.

Изъ того, что было сейчасъ сказано о значеніи Бѣлинскаго, какъ центральнаго человѣка его эпохи, вытекаетъ необходимость точно ознакомиться съ этой эпохой въ ея главныхъ очертаніяхъ. Съ такого обзора я и начинаю свой этюдъ. Нѣкоторые моменты эпохи Бѣлинскаго очень извѣстны. Я на ихъ останавливаться не буду и отмѣчу ихъ только для общей связи. Другіе, напротивътого, мало извѣстны, и я остановлюсь на нихъ подробнѣе.

Предварительно я еще хочу воспользоваться случаемъ, чтобы сказать нѣсколько словъ объ одномъ историко-литературномъ обозначеніи, которое, право, уже пора бросить. Годы, обзоръ литературной исторіи которыхъ я сейчасъ собираюсь сдѣлать, принято у насъ называть гоголевскимъ періодомъ. Трудно придумать обозначеніе, менѣе подходящее къ сущности эпохи, чѣмъ это. И если обратиться къ исторіи происхожденія термина "гоголевскій періодъ", то полная непригодность его станетъ еще яснѣе.

Терминъ созданъ Чернышевскимъ. Когда онъ въ 1855 году началъ въ "Современникъ" рядъ статей о тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, то главною цѣлью его было возстановить въ памяти читателей дѣятельность Бѣлинскаго: ему посвящена значительнѣйшая часть статей. Но имя Бѣлинскаго нельзя было въ то время называть: реакція, наступпвшая у насъ благодаря опасеніямъ, вызваннымъ европейскими революціонными событіями 1848 года, отнеслась къ дѣятельности Бѣлинскаго какъ къ чемуто противозаконному. Такъ, всѣмъ подсудимымъ по литературнополитическому дѣлу Петрашевскаго было вмѣнено въ проступокъ,

что они читали знаменитое негодующее письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, полное выходокъ противъ недостатковъ нашего строя. Вотъ почему за все семильтие (1848-1855), отдъляющее смерть Бьлинскаго отъ начала новаго царствованія, имя Бълинскаго не упоминается въ журналистикъ. Чернышевскій началъ свои очерки въ первые мъсяцы новаго царствованія, когда старыя традиціи еще не уступили мъста новымъ. Но вотъ паступаютъ новыя вѣянія, и это очень быстро сказалось на "Очеркахъ" тѣмъ, что въ четвертой стать в имя Бълинскаго уже было, наконецъ, произнесено. Въ первыхъ же статьяхъ, повторяю, Бѣлинскаго назвать еще нельзя было. Чернышевскому, следовательно, нужно было придумать своего рода псевдонимъ, надо было говорить о Балинскомъ иносказательно. Онъ и придрался къ тому, что въ то время выходило собраніе сочиненій Гоголя. Это давало поводъ говорить объ умственномъ движеніи 30-хъ и 40-хъ годовъ. А такъ какъ надо было выдумать безобидную кличку, то слова "Гоголевскій періодъ" какъ бы сами напрашивались на языкъ. И пошло это названіе, и утвердилось оно такъ, какъ будто вполнъ выражало намфренія автора статей. А между темь достаточно посмотрѣть одно только оглавленіе "Очерковъ гоголевскаго періода", чтобы убъдиться, что Гоголь туть ни при чемъ: Гоголю посвящено въ нихъ меньше 20-ти страницъ изъ 380, очерки трактуютъ исключительно о теоретической русской мысли, на которую ужъ, конечно, Гоголь не могъ оказать никакого вліянія. Критика Бѣлинскаго, правда, въ числъ своихъ другихъ заслугъ, имъетъ и заслугу правильнаго истолкованія Гоголя. Безспорно вообще, что, за исключеніемъ Булгарина, всв литературныя партіи 40-хъ годовъ чрезвычайно высоко цънили Гоголя, — но отсюда до наложенія отпечатка на всю эпоху еще очень далеко.

Я не стану касаться поднятаго за последнее время вопроса о томъ, отъ кого пошла новая русская литература? — отъ Пушкина или отъ Гоголя. Но вне спора во всякомъ случае то, что деятели сороковыхъ годовъ уже застали Гоголя большою литературною величной — следовательно, онъ относится къ эпохамъ предыдущимъ. И, наконецъ, достаточно вспомнить письмо Белинскаго къ Гоголю по поводу "Переписки съ друзьями", чтобы окончательно решить вопросъ о томъ, мыслимо ли назвать именемъ Гоголя тотъ періодъ, который такъ далеко разошелся съ Гоголемъ въ пониманіи существеннейшихъ сторонъ русской жизни.

Нѣтъ, вторую половину тридцатыхъ годовъ и сороковые нужно непремѣнно назвать эпохой Бѣлинскаго, какъ по тому центральному значенію Бѣлинскаго, о которомъ уже было выше сказано, такъ

и потому еще, что никто изъ остальныхъ дѣятелей эпохи не дошелъ въ эти годы до полнаго развитія своихъ литературныхъ силъ-Умершій въ 1848 году Бѣлинскій одинъ въ сороковыхъ годахъ обрисовался во всю свою величину. Остальные сверстники его, за исключеніемъ развѣ Грановскаго, всю силу своихъ талантовъ развернули уже послѣ его смерти — въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ.

I.

Исторія умственнаго движенія 30-хъ и 40-хъ годовъ тѣснѣйшимъ образомъ переплетена съ исторіей московскаго университета за это время. Въ началѣ 30-хъ годовъ въ немъ учились почти всѣ главныя силы новой русской литературы. Лермонтовъ, Гончаровъ, Герценъ, Огаревъ, Станкевичъ и второстепенные члены его знаменитаго кружка, Константинъ Аксаковъ и, наконецъ, Бѣлинскій—все это студенты московскаго университета конца 20-хъ и начала 30-хъ годовъ.

Въ знаменательное время попали они въ университетъ. Въ началь тридцатыхъ годовъ московскій университеть находился на рубежь совершенно новой эпохи, на рубежь рызкой перемыны въ профессуръ и студенчествъ. Цълый рядъ молодыхъ профессоровъ: шеллингистъ Павловъ, даровитый Надеждинъ, Шевыревъ — тогда еще молодой энтузіасть, только что вернувшійся изъ-за границы и еще не превратившійся въ того сухого педанта, съ которымъ ожесточенно ратоборствоваль впоследствии кружокь Белинскаго, Погодинъ, тоже еще молодой и свъжій, -- всъ эти молодыя силы внесли новый духъ въ университетское преподаваніе, который и не замедлилъ произвести въ немъ радикальныя перемъны. Вмъсто прежняго монотоннаго считыванія съ старыхъ тетрадокъ, въ незапамятныя времена заготовленныхъ и изъ года въ годъ, безъ малейшихъ переменъ, повторяемыхъ, съ профессорской канедры послышалось живое слово, стремившееся отразить вѣянія времени, удовлетворить нарождающимся потребностямъ жизни. Параллельно этимъ перемѣнамъ въ профессорской средь, происходить большая перемына и въ московскомъ студенчествъ. Студентъ изъ бурша превращается въ молодого человъка, поглощеннаго высшими стремленіями. Прежніе патріархальные нравы, когда московскіе студенты, главнымъ образомъ, занимались пьянствомъ, буйствомъ, задираніемъ прохожихъ, мало-по-малу начинаютъ отходить въ область преданій. Правда, и въ годы вступленія Бълинскаго въ университетъ студенты забавлялись еще подчасъ разными чисто-школьническими шалостями и проделками. Но въ общемъ все-таки эти времена буйства, школьничества и незнанія куда дёть запасъ юношескихъ силъ, рёшительно проходять и замёняются стремленіемъ къ "солнцу истины", какъ выражается Константинъ Аксаковъ въ своихъ университетскихъ воспоминаніяхъ. Начинается образованіе среди московскихъ студентовъ тѣсно сплоченныхъ кружковъ молодыхъ людей, восторженныхъ и чистыхъ, сходящихся затѣмъ, чтобы выяснить себѣ вопросы нравственные, философскіе, политическіе.

Студенчество новаго типа сгруппировалось по преимуществу въ двухъ кружкахъ—Станкевича и Герцена. И какъ это ни странно, но почти все, чѣмъ славно поколѣніе сороковыхъ годовъ, или прямо вышло изъ этихъ двухъ кружковъ, или тѣсно къ нему примыкало. Безусловно правъ Герценъ, когда, вспоминая въ "Быломъ и Думахъ" о студенческихъ кружкахъ своего времени, говоритъ о лицахъ, входившихъ въ составъ ихъ: "Можно сказать, что въ то время Россія будущаго существовала между нѣсколькими мальчиками, только-что вышедшими изъ дѣтства. Въ нихъ было наслѣдіе общечеловѣческой науки. Это были зародыши исторіи, незамѣтные, какъ зародыши вообще. Слабые, ничтожные, иичѣмъ не поддерживаемые, они легко могли бы погибнуть безъ слѣда, но они остаются, а если и умираютъ на полдорогѣ, то не все умираетъ съ ними".

Оба кружка, хотя и одушевленные однимъ и тамъ же жаромъ высокихъ стремленій, почти не имѣли между собою общенія и отчасти даже враждебно относились другъ къ другу. Они были представителями двухъ направленій. Кружокъ Станкевича интересовался по преимуществу вопросами отвлеченными — философіей, эстетикой, литературой и былъ довольно равнодушенъ къ вопросамъ политическимъ и соціальнымъ. Напротивъ того, кружокъ Герцена, тоже очень интересовавшійся философіей, не особенно интересовался литературой, а все свое внимание сосредоточивалъ на вопросахъ политики дня и вопросахъ соціальнаго устройства. Бурная жизнь іюльской монархіи и ученіе Сенъ-Симона составляли преобладающій интересъ Герцена и его друга Огарева. Кружку Герцена весьма скоро пришлось столкиуться съ темъ, что на жаргоне того времени называлось "дъйствительностью", и эта "дъйствительность" поступила съ ними безъ всякой ивжности, размъстивъ ихъ по разнымъ уголкамъ Россін. Поэтому на литературномъ поприщѣ они появляются позже, чѣмъ члены кружка Станкевича.

Въ составъ первоначально чисто-студенческаго кружка Станкевича, продолжавшаго жить въ тъснъйшемъ духовномъ общени и восторженнъйшей дружбъ и послъ того, какъ члены его въ 1834—1835 гг. оставили университетъ, входили люди неодинаковой умственной и правственной величины. Второстепенное значение имъютъ: рано умерший историкъ и археологъ Сергъй Строевъ; довольно посред-

ственный поэтъ, впослѣдствін профессоръ кіевскаго университета Красовъ; гораздо выше послѣдняго стоящій поэтъ-философъ Ключниковъ, извѣстный подъ своимъ исевдонимомъ,, — 0 — "и, наконецъ, Невѣровъ, получившій впослѣдствіи извѣстность въ качествѣ понечителя кав-казскаго учебнаго округа. Цвѣтъ сообщали кружку прежде всего самъ Станкевичъ, затѣмъ Константинъ Аксаковъ и Бѣлинскій. Черезъ годъ, два послѣ того, какъ кружокъ покончилъ университетскія дѣла свои, къ нему тѣснѣйшимъ образомъ примыкаютъ четыре крупнѣйшихъ дѣятеля, Бакунинъ, Катковъ, Василій Боткинъ и Грановскій.

Перечисленныя лица были люди различныхъ темпераментовъ и душевныхъ организацій. Но всёхъ ихъ сплачивало въ одно обаяніе необыкновенно свътлой, истинно-идеальной личности Станкевича. Станкевичь представляль собою чрезвычайно редкій примерь литературнаго двятеля, не имвющаго никакого значенія какъ писатель и тъмъ не менъе наложившаго яркую печать своей индивидуальности на одинъ изъ важнъйшихъ періодовъ русской литературы. Какъ писатель, Станкевичъ авторъ очень плохой quasi-исторической драмы, слабой повъсти, двухъ трехъ десятковъ стихотвореній вполнъ второстепеннаго значенія и ніскольких отрывков философскаго характера, правда, довольно интересныхъ, но найденныхъ только послѣ смерти въ бумагахъ его и напечатанныхъ цѣлыхъ 20 лѣтъ спустя. Весь этотъ незначительный литературный багажъ вмѣстѣ съ переводами заняль небольшой томикь, и не въ немъ, конечно, источникъ огромнаго вліянія Станкевича. Оно зиждется, помимо красоты его нравственнаго существа, на томъ, что Станкевичъ, не обладая литературнымъ и научнымъ талантомъ, былъ темъ не мене очень талантливою личностью просто какъ человъкъ. Одаренный тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, глубокою любовью къ искусству, большимъ и яснымъ умомъ, способнымъ разбираться въ самыхъ отвлеченныхъ вопросахъ и глубоко вникать въ сущность всякаго вопроса, Станкевичъ давалъ окружающимъ могущественные духовные импульсы и будилъ лучшія силы ума и чувства. Его живая, умная и часто остроумная бестда была необыкновенно плодотворна для всякаго, кто вступаль съ нимъ въ близкое общение. Онъ всякому спору умълъ сообщать высокое направленіе, все мелкое и недостойное какъ-то само собою отпадало въ его присутствін, какъ и въ присутствіи Бѣлинскаго. Станкевичъ представлялъ собою удивительно гармоничное сочетание нравственныхъ и умственныхъ стоинствъ. Въ идеализмъ Станкевича не было ничего напускного или приподнятаго, идеализмъ органически проникалъ въ его существо, онъ могъ легко и свободно дышать только на горныхъ высотахъ духа.

Въ 1837 году начинающаяся чахотка и жажда приложиться къ самому источнику философскаго знанія погнали Станкевича за границу. Онъ подолгу живаль въ Берлинѣ, гдѣ вступиль въ тѣсное общеніе съ душевно полюбившимъ его профессоромъ философіи, гегельянцемъ Вердеромъ. Въ это время въ сферу его обаянія попали питомцы петербургскаго университета.—Грановскій и Тургеневъ. Въ 1840 году двадцатисемилѣтній Станкевичъ умеръ въ итальянскомъ городкѣ Нови. Ранняя смерть его произвела потрясающее впечатлѣніе на друзец его, но вмѣстѣ съ тѣмъ она какъ-то необыкновенно гармонично и художественно завершила красоту его образа.

Et rose, elle a vecu ce que vivent les roses— L'espace d'un matin,

сказаль французскій поэть про умершую вь цвѣтѣ лѣть дѣвушку и находить въ этой гармоніи примиреніе сь ужаснымь фактомъ. Душевная красота Станкевича была тоже своего рода благоуханнымъ цвѣткомъ, который могъ бы и выдохнуться при болѣе прозаическихъ условіяхъ, какъ выдохся, напр., идеализмъ его друга кумира Невѣрова. Теперь-же, благодаря трагизму судьбы Станкевича и цѣльности оставленнаго имъ впечатлѣнія, имя его стало талисманомъ для всего поколѣнія 40-хъ годовъ и создало желаніе приблизиться къ нему по нравственной красотѣ.

Преобладающимъ интересомъ кружка Станкевича было изученіе германской идеалистической философіи. Изъ университета члены кружка, подъ вліяніемъ лекцій Павлова и Надеждина, вынесли интересъ къ Шеллингу, съ его широкимъ взглядомъ на міръ, какъ на развитіе одной всеобщей, объединяющей и творящей идеи. Во второй половинъ 30-хъ годовъ поэтически-восторженный идеализмъ и пантензмъ Шеллинга вытъсняется суровой схемой Гегелевскаго міропониманія. Увлеченіе кружка гегельянствомъ было безмѣрное п дошло до истинной страсти. По свидетельству Герцена, котораго не было въ Москвъ, когда началось увлечение Гегелемъ, и который засталъ его апогей по своемъ возвращения въ Москву, въ концъ 1830-хъ годовъ, члены кружка отъ всякаго, приходившаго съ ними въ столкновение, "требовали безусловнаго принятия феноменологии и логики Гегеля и при томъ по ихъ толкованію. Толковали же они объ нихъ безпрестанно, нътъ параграфа во всъхъ трехъ частяхъ гегелевской логики, въ двухъ его эстетики, энциклопедін и пр., который бы не былъ взять отчаянными спорами нёсколькихъ ночей. Люди, любившіе другь друга, расходились на цёлыя недёли, не согласившись въ опредъленін "перехватывающаго духа", принимали за обиды мнвиія объ "абсолютной личности" и о ея "по себь бытін". Всь ничтожньйшія брошюры, выходившія въ Берлинь

и другихъ губернскихъ и увздныхъ городахъ нвмецкой философіи, гдв только упоминалось о Гегелв, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ, въ нвсколько дней".

Это увлечение гегеліанствомъ порою доходило у членовъ кружка до наивно-трогательныхъ проявленій. Молодые люди такъ преисполнились ученіемъ берлинскаго философа-что у нихъ "отношеніе къ жизни, къ дъйствительности, сдълалось школьное, книжное; это было то ученое понимание простыхъ вещей, надъ которымъ такъ геніально смінлся Гете въ своемъ разговорів Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ дѣлѣ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, бледной, алгебранческой тенью. Во всемъ этомъ была своеобразная наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человъкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантенстическому чувству своего единства съ космосомъ; и, если ему попадался по дорогъ какой-нибудь солдать подъ хмёлькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредълялъ субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайномъ явленін. Сама слеза, навертывающаяся на въкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ "гемюту" или къ "трагическому въ сердцви...

На увлеченіи Станкевича и его друзей гегельянствомъ впервые ярко сказалась та основная черта русскаго усвоенія отвлеченныхъ идей, которая проходить красною нитью чрезъ всю нашу духовную жизнь последнихъ 50-60 леть. Въ томъ-то и дело, что отвлеченныя идеи никогда не оставались для насъ отвлеченными, а, переходя въ плоть и кровь, быстро переводились на языкъ дъйствительности и становились чёмъ-то очень конкретнымъ. И интересъ къ философіи у людей сороковыхъ годовъ никогда не былъ интересомъ къ философіи an und für sich. Есть два типа интереса къ философіи. Можно ею интересоваться, какъ наукой, какъ дисциплиною объясняющею. Этотъ чисто-научный типъ интереса господствоваль въ нашихъ духовныхъ академіяхъ, гдъ задолго до того, какъ флософія завладёла умами свётскаго общества, превосходно изучали всв главныя философскія системы. Если хотите, такое отношеніе — вполив европейское, культурное, можеть быть объясняемое темъ, что культура духовнаго сословія нашего старте культуры свётского общества. Но вмёстё съ тёмъ въ этомъ отношеніи и достаточно... равнодушія къ истинь. Ну, а равнодушіемъ кь истинъ и холоднымъ объективизмомъ покольние сороковыхъ годовъ всего менте отличалось. И вотъ почему оно и къ широкимъ

перспективамъ гегелевского мірообъясненія отнеслось не съ холоднымъ любопытствомъ, а внесло въ ихъ усвоение всю страсть людей, ищущихъ духовной опоры и жаждущихъ найти меру вещей. Для нихъ философія стала въ полномъ смыслѣ слова религіей, не разъ доводившей ихъ до состоянія прямого экстаза. Неудивительно, что чисто научный интересъ отошель при этомъ совершенно на второй планъ. "Мы тогда въ философіи искали всего на свътъ, кромп чистаго мышленія", говорить Тургеневь въ своихъ воспоминаніяхъ, и это драгодіннійшее свидітельство даетъ единственно върный методъ оцънки философскихъ увлеченій эпохи Бѣлинскаго. Комичны, поэтому, новѣйшія нападки на Бѣлинскаго н его друзей за то, что они не върно поняли Гегеля. Эти нападки комичны, прежде всего, по существу. Они основаны по преимуществу на томъ, что Бълинскій плохо зналъ по-нъмецки, Гегеля въ подлинникт не читалъ и знакомъ былъ съ нимъ по передачт друзей, въ частности Бакунина. Но дело-то въ томъ, что это была передача, которая превосходила непосредственное знакомство. Герценъ, въ высокой компетентности котораго по отношенію къ философскимъ вопросамъ никто еще никогда не сомнъвался, говоритъ, что изъ всёхъ людей, изучавшихъ Гегеля, онъ встрётилъ только двухъ, которые поняли великаго философа въ совершенствъ, и оба эти человъка не знали по-нъмецки: то были Прудонъ и Бълинскій, оба ученики одного и того же Бакунина. По отзыву другого компетентнаго судьи-князя Одоевскаго, Бѣлинскій представлялъ собою примъръ замъчательнъйшей философской духовной организаціи, которой достаточно было усвоить основныя начала, чтобы затёмъ уже самостоятельнымъ путемъ дойти до всёхъ ихъ логическихъ последствій. Вотъ почему и Гегеля Бълинскій превосходно понялъ по пересказу Бакунина и Станкевича.

Итакъ, повторяю, упреки въ томъ, что въ кружкъ Бѣлинскаго плохо знали Гегеля, комичны по существу. Но они еще болъе комичны по тѣмъ негодующимъ выводамъ, которые изъ нихъ сдѣлали люди взявшіеся изучать умственныя движенія русскаго общества, не уяснивъ себѣ главной особенности ихъ—способности претворять заимствованныя извнѣ отвлеченныя системы въ нѣчто вполнѣ самостоятельное, въ чисто русскій катехизисъ практической жизни. Допустимъ, что Бѣлинскій не понялъ Гегеля и даже совершенно "извратилъ" его. Что бы изъ этого слѣдовало? Единственно тотъ фактъ вполнѣ второстепеннаго значенія, что умственная жизнь русской интеллигенція 40-хъ годовъ шла безъ воздѣйствія на нее подлинной гегелевской философіи. А такъ какъ философія Гегеля даже и въ подлинномъ видѣ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть при-

знана универсальнымъ фактомъ правильнаго умственнаго развитія, какимъ должны быть признаны, напр., естественно-научный методъ или критическая философія Канта, то и ущерба никакого не произошло бы отъ "извращенія" Бълинскимъ гегельянства. Въ современной Бълинскому Франціи и Англіи Гегеля совсёмъ не знали, и это не помѣшало имъ развить первостепенную культуру. Обошлась бы, слъдовательно, отлично и Россія безъ "правильно" понятаго гегельянства. Весь интересъ "правильно" или "неправильно" понятаго русскаго гегельянства только въ томъ и заключается, поскольку онъ является русскимо умственнымъ теченіемъ. Исходи онъ даже изъ полнаго непониманія, его огромный интересь для историка русской мысли и русскаго общества столь же мало ослаблялся бы этимъ, какъ не ослабляется, напр., историческій интересъ католицизма и протестантства, если допустить, что они отступили отъ ученія первоначальнаго восточнаго христіанства. Дъйствительный интересь русскаго гегельянства только въ томъ необыкновенномъ подъемѣ духа, который гегельянство сообщило покольнію сороковыхъ годовъ. Изъ броженія мысли, имъ созданнаго, вытекли два основныхъ русла русскаго самосознанія: западничество и славянофильство; гегельянство не только сообщило русской интеллигенцін то, чего ей прежде недоставало-опредъленное міровоззрініе, но, что самое важное, оно создало неотложную потребность всегда имъть какое-нибудь міровоззрвніе. А эта опредвленность міровоззрвнія была единственнымъ способомъ воздъйствія на косность окружающей среды. Талантовъ было достаточно и до сороковыхъ годовъ. Но эти таланты по своимъ идеаламъ сливались съ толпой и потому поглощались ею и были безсильны окрасить ее въ свой цвътъ. Лидей же сороковыхъ годовъ высота ихъ міровозэртнія сразу выдвинула надъ толпой, создался маякъ мысли, который далеко вокругъ бросалъ лучи свъта. Прошло какихъ-нибудь 15 лътъ, и то, что вырабатывалось въ дружескихъ собраніяхъ ничтожнымъ количествомъ горсточки людей, оказало могущественнъйшее вліяніе на весь ходъ огромной государственной машины, которая направилась теперь по путямъ, намъченнымъ въ 40-хъ гг. кучкой гегельянцевъ. И вогъ въ этомъ одухотворении съраго фона русской жизни, въ этомъ созданіи высокаго строя мысли, въ силъ и страстности стремленія привести въ соотвътствіе русскую дъйствительность съ высшими потребностями культуры и заключается историческій смыслъ русскаго гегельянства, которое, строго говоря, и не было никогда опредъленнымъ міровоззрініемъ, которое то прославляло "дъйствительность", то нападало на нее, то было консервативно, то радикально, то давало толчокъ къ преклоненію передъ Западомъ, то, напротивъ того, служило исходнымъ пунктомъ самаго исключительнаго націонализма.

Провозвастникомъ гегельянства въ кружка Станкевича явился по пренмуществу Михаилъ Бакунинъ. Этому отставному артиллерійскому офицеру предстояло пріобрасть въ 60-хъ и 70-хъ годахъ всемірную извістность въ качестві самаго крайняго изъ самыхъ крайнихъ утопистовъ. Онъ создалъ теорію безпощаднъйшаго анархизма н полнаго упраздненія государственности. Стоявшій въ то время во главъ соціалистическаго движенія Карлъ Марксъ долженъ былъ прибътнуть къ исключенію Бакунина изъ главнаго органа партіи— "Международнаго общества рабочихъ" для того, чтобы устранить даже тень солидарности съ этимъ апостоломъ всеобщаго разрушенія. Но по странной иронін судьбы тотъ же Бакунинъ, который въ серединъ 40-хъ годовъ, перебравшись въ Европу, выдвинулъ въ одной изъ своихъ статей страшный девизъ "Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust" (страсть къ разрушенію есть зиждущая страсть), въ концъ 30-хъ не только не имълъ ничего общаго съ разрушительными стремленіями, но прямо пришель къ аповеозу существующаго порядка. На основанін Гегелевской философіи создаль онъ теорію преклоненія предъ "дійствительностью" и увлекь за собою кружокъ Станкевича, всёхъ же сильнее — Белинскаго.

Вопросъ о "дъйствительности" и ея "разумности" является центральнымъ пунктомъ всей духовной жизни кружка Станкевича въ эпоху его увлеченія гегельянствомъ, и это еще разъ доказываетъ, въ какую грубую ошибку впадають тв, которые, изучая движение 40-хъ годовъ, разсматриваютъ философские взгляды эпохи Бѣлинскаго исключительно съ научной точки зрвнія. Не знаменательна ли въ самомъ дълъ та исключительность, съ которою всъ силы ума и сердца Бълинскаго и его друзей обратились на толкованіе положенія Гегеля— "все дъйствительное – разумно". Положенія, въ концъ концовъ, второстепеннаго, мимоходомъ высказаннаго въ предисловін къ "Философін права". Если вы возьмете какую-нибудь позднѣйшую исторію философіи и прочтете статью о Гегель, вы тамъ часто не встрътите даже простого уноминанія о формуль "все дыйствительное-разумно" 1). Вотъ до чего маловажной она кажется обыкновенному изследователю рядомъ съ грандіозностью чисто-научныхъ притязаній гегелевской философіи дать абсолютную истину о сущности всего мірового процесса. Но для русскаго человіка сороковыхъ годовъ, который накинулся на гегелевскую философію не изъ жажды научнаго знанія, а потому, что ему надо было немедленно решить вопросъ,

¹⁾ Укажемъ на цълую книгу о Гегелъ Кэрда (М. 1898), на огромную статью-трактатъ Владиміра Соловьева въ "Энцикл. Словаръ" Брокгаузъ-Ефрона.

какт ему жить, все отступило предъ жгучестью ужасныхъ сомнъній, вносимыхъ формулой.

Сомнѣнія эти имѣли истинно-трагическій характеръ, формула въ корнѣ подрывала всѣ стремленія кружка, дѣлала безсмысленными всѣ его благородные порывы. Люди съ негодованіемъ отбросили всякую мысль о какихъ бы то ни было компромиссахъ, сосредоточили всѣ свои помыслы на исканіи абсолютной, безпримѣсной истины и этимъ самымъ, конечно, должны были порвать всякую связь съ пошлостью и несовершенствами окружающей среды, и вдругъ "все дѣйствительное—разумно"! Значитъ, и крѣпостное право разумно, и превосходенъ весь тотъ строй, который возмущаль еще Чацкаго, и нѣтъ ничего дурного въ той "неправдѣ черной", о которой говорили даже такіе апологеты общаго уклада русской жизни, какъ Хомяковъ. Словомъ, правы Булгаринъ и Гречъ, "громъ побѣды раздавайся, веселися, храбрый Россъ"!

Какъ бы отнеслись къ такому ужасному диссонансу люди, заинтересовавшіеся гегельянствомъ съ чисто-научной точки зрѣнія? Они бы, конечно, спокойно отбросили или формулу, или всю систему, разъ она приводить къ противорѣчію, которое ставить крестъ надъвсѣмъ, что составляетъ основу ихъ духовнаго существа. Но вътомъ-то и дѣло, что члены кружка Станкевича не столько умомъ, сколько сердцемъ примкнули къ гегельянству, они гегельянство не только усвоили, они въ него увѣровали. Ихъ въ гегельянствѣ прельстило его притязаніе дать абсолютную истину. А разъ абсолютная истина, какія же могутъ быть частныя противорѣчія?

И вотъ получилась дилемма, выходъ изъ которой былъ найденъ только черезъ носколько лоть, когда наши гегельянцы поняли, что Гегель, при всемъ консерватизмъ своихъ спеціально-государственныхъ воззрвній, не все существующее признаваль дыйствительнымъ. Слъдовательно, формула "все дъйствительное — разумно" не означаетъ, что "все существующее разумно", и не уза кониваетъ всякій порядокъ вещей только въ виду того, что онъ фактъ. Но, повторяю, до этой оговорки наши гегельянцы доискались позже. Цёлыхъ же два года, между 1838 и 1840 годомъ, будущій создатель анархизма Бакунинъ, върный фанатическому складу своего ума и чисто-русской способности jurare in verba magistri—во имя Гегеля воспъвалъ "дъйствительность" конца 30-хъ годовъ во всей ея совокупности. Бълинскій, не оглядываясь, пошелъ за нимъ. Онъ написалъ въ 1840 г. извъстную статью о "Бородинской годовщинъ", гдъ преклонение передъ существующимъ порядкомъ вещей дошло до того, что многіе, и притомъ совсѣмъ не люди крайнихъ убъжденій, съ нимъ раззнакомились. Статья была написана въ своего рода состояніи аффекта. Внутренно содрогаясь отъ сознанія, что обрекаеть себя на нравственную смерть, Бѣлинскій тъмъ не менъе безстрашно шелъ на все ad majorem Hegelii gloriam. Не доходить до конца для него было равносильно измѣнѣ. Именно по поводу статьи о "Бородинской годовщинь" Герценъ говоритъ, что Бълинскій, разъ усвонвши себъ то или другое воззрѣніе, "не бледнель ни передъ какимъ последствіемъ, не останавливался ни передъ моральнымъ приличіемъ, ни передъ мивніемъ другихъ, котораго такъ страшатся люди слабые и несамобытные. Въ немъ не было робости, потому что онъ былъ силенъ и искрененъ, его совъсть была чиста". Понявши извъстнымъ образомъ формулу Гегеля, онъ проповъдываль въ концъ тридцатыхъ годовъ "индійскій покой созерцанія и теоретическое изучение вмасто борьбы", проповадываль съ тою же лихорадочною страстностью, съ какою чрезъ полтора, два года нападалъ на представителей квіетизма и требовалъ активнаго противодъйствія тяжелымъ общественнымъ условіямъ дореформенной эпохи.

Таковы общіе контуры русскаго гегельянства, столь мало иміющіе общаго съ заправскою философіею. И эту же мало-научную и исключительно-жизненную окраску носять всё дальнёйшія движенія русской теоретической мысли, вплоть до нашихъ дней. Послѣ Гегеля - французскіе утописты 40-хъ годовъ; въ 60-хъ годахъ -- нъмецкіе матеріалисты, Дарвинъ, Милль, Бокль; въ 70-хъ и 80-хъ годахъсоціологія; въ наши дни марскизмъ и идеализмъ, все это не болве, какъ отправные пункты, отъ которыхъ идутъ самостоятельные, русскіе пути. У насъ, какъ извѣстно, установился особый типъ критическихъ статей "по поводу", въ которыхъ собственно о самомъ произведенін говорится весьма мало, а выясняются разные вопросы общественной жизни. Ну, вотъ и философскія системы Запада у насъ были не больше какъ поводомъ къ выработкъ чисто-русскихъ общественныхъ системъ. Такъ, умственное движеніе, напитавшееся идеями научнаго матеріализма и утилитаризма, въ результатв дало самое самоотверженное и великодушное изо всёхъ русскихъ поколеній—альтруистовъ 70-хъ годовъ; такъ, напротивъ того, прикрываясь эстетическимъ и философскимъ идеализмомъ, выступило на смѣну "кающемуся дворянству" 70-хъ годовъ черствое и неискреннее поколѣніе 80-хъ и начала 90-хъ годовъ.

Возвращансь опять къ эпохѣ Бѣлинскаго, отмѣтимъ еще то, что изъ одного и того же гегельянства вышли не только два такихъ непохожихъ теченія, какъ прославленіе "дѣйствительности" и нападки на нее, но и оба діаметрально-противоположныя міровоззрѣнія, борьба между которыми не кончилась до сихъ поръ: славяно-

фильство и западничество. Ультра-національное, славяно-византійское ученіе Константина Аксакова, Кирфевскаго и Хомякова брало многія схемы своихъ воззрѣній у Гегеля эпохи его возведенія прусско-протестантскаго строя 20-хъ годовъ въ перлъ созданія. Но, конечно, все это подверглось вполнѣ русской переработкѣ, и только переработка и интересна для историка русской мысли, совершенно независимо отъ того, въ какомъ видѣ тутъ является подлинный, "научный" Гегель.

Изъ лицъ, вошедшихъ въ составъ кружка Станкевича, послъ того, какъ онъ оставилъ университетъ, кромф Бакунина, следуетъ еще отмътить Василія Боткина 1). Для средняго читателя это имя говорить очень мало. Въ лучшемъ случат его знають какъ автора "Писемъ объ Испаніи", произведенія уже по самому роду своему могущаго имъть только второстепенное значение. И тъмъ болъе, что оригинальность "Писемъ" сильно заподозръна. А между тамъ, Василій Боткинъ имаетъ безусловно серьезное значеніе въ исторіи новъйшей русской литературы. Оно аналогично значенію Станкевича, съ тъмъ только отличіемъ, что Станкевичъ въ одинаковой степени вліяль и высотою нравственной своей личности, и своими замъчательными интеллектуальными силами, между темь какъ Боткинь оказываль вліяніе только въ сфере интеллектуальной своими замъчательными познаніями по литературъ и искусству и своимъ тонкимъ эстетическимъ вкусомъ. Кромъ того, Станкевичь повліяль на весь кружокь, а Боткинь только на одного изъ членовъ его. Но зато этотъ одинъ былъ Бѣлинскій. Размъръ вліянія виденъ изъ того, что когда въ 1857 году Дружининъ приступалъ къ ряду статей о Бѣлинскомъ, онъ собирался прямо заявить о первостепенномъ значеніи, которое имѣлъ Боткинъ для всего хода умственнаго развитія знаменитаго критика. Боткинъ поспъшилъ отклонить отъ себя эту великую честь и просилъ Дружинина "какъ можно меньше говорить о какой-либо помощи, какую я могъ оказывать Бълинскому". Со свойственной ему скромностью Боткинъ прибавиль: "И какъ можно мнв объ этомъ судить? Это дёло посмертныхъ замётокъ, т. е. замётокъ обо мнё, когда я умру. Найдутся люди, которые теперь сочтутъ такого рода "извъстія" за поползновенія съ моей стороны придать себъ какое-то ничьмъ не оказанное значеніе, а вась за снисходительнаго compère. Нать, оставимь лучше это дело. То время было то, что нъмцы называють Sturm und Drang Periode. Все въ насъ

⁴⁾ На Катковѣ мы останавливаться не будемъ. Его значеніе относится къ послѣдующей эпохѣ.

кипѣло и все требовало отвѣта и разъясненія; всякій клалъ свою посильную лепту въ общую сокровищницу, которою была критика Бълинскаго. Одинъ меньше, другой больше, но какъ теперь разберешь" 1).

Въ 1857 году, дъйствительно, трудно было разобраться. Но двадцать лътъ спустя появилась въ книгъ А. Н. Пыпина о Бълинскомъ съ тахъ поръ ставшая знаменитою переписка Балинскаго съ Боткинымъ, и изъ нея вполнъ ясно, что если "одинъ меньше" изъ членовъ кружка, а другой "больше" вліялъ на великаго выразителя умственнаго возбужденія 40-хъ годовъ, то именно "больше" вліяль Боткинь. И если признать Белинскаго важивйшимъ явленіемъ эпохи, то и Василій Боткинъ, мало кому изв'єстный и никъмъ не читаемый, получаетъ крупное историческое значение. Оно зиждется на томъ, что Боткинъ былъ главнымъ посредникомъ между Бълинскимъ и западно-европейскимъ искусствомъ. Тонкое эстетическое чутье было, конечно, прирожденное у Бѣлинскаго, но въ постоянномъ общени съ Боткинымъ оно окрѣпло и возмужало. Ни съ къмъ Бълинскій не обмънивался такъ охотно мыслями по чисто-литературнымъ вопросамъ, какъ съ Боткинымъ. Въ личныхъ отношеніяхъ никого Білинскій не любиль съ такою ніжностью, какъ Боткина, который быль для него живымъ воплощеніемъ ньмецкой поэзін, намецкой музыки и всахь вообще чисто-эстетическихъ эмопій.

Въ своей личной литературной карьерѣ Боткинъ не процвѣлъ. Это очень поучительно и вполнѣ соотвѣтствуетъ основной чертѣ новѣйшей русской литературы, указаніемъ на которую, подобно катоновскому саеterum censeo, изслѣдователь долженъ заканчивать всякую характеристику литературнаго дѣятеля послѣднихъ 50—60 лѣтъ: для вліянія на русскаго читателя нужна прежде всего глубина убѣжденія, нужно явиться представителемъ опредѣленнаго міросозерцанія. У Боткина были обширныя познанія, недюжинный умъ, тонкій вкусъ, не было у него недостатка и во внѣшнихъ литературныхъ достоинствахъ. Но у него совсѣмъ не было желанія схватиться на жизнь и на смерть за свои убѣжденія и во всемъ его духовномъ существѣ царилъ холодъ. Вотъ почему Боткинъ самъ по себѣ не многаго стоитъ и имѣетъ значеніе только какъ источникъ духовнаго возбужденія Бѣлинскаго. При-

⁴⁾ Это замѣчательное мѣсто, важное какъ для характеристики Боткина, такъ и для характеристики Бѣлинскаго, совеѣмъ не обращало на себя вниманія изслѣдователей эпохи 40-хъ годовъ. Оно находится въ "Сборникѣ общ. вспомощ. нужд. литер. и ученыхъ. ХХУ лѣтъ". (Спб., 1884 г., стр. 500).

ставьте къ скромному источнику свъта большой блестящій рефлекторъ, и оба вмъстъ они будутъ бросать яркій свътъ на далекое разстояніе. Умеръ Бълинскій, и Боткинъ исчезаетъ изъ исторіи русской литературы. Исчезаеть даже его личная привлекательность, столь неотразимо действовавшая на Белинскаго, который быль влюблень въ него, какъ въ женщину. Всегда сидѣвшій въ Боткинъ эпикуреизмъ превращается въ 50-хъ и 60-хъ годахъ въ какую-то отвратительную холю тела и обжорство. Еще болье печальный обороть приняла духовная жизнь Боткина. Эстетизмъ въ немъ тоже превратился въ какую-то литературную гастрономію, и общественное возбужденіе, наступившее послів крымской войны, не только не вызывало никакого сочувствія въ недавнемъ поклонникъ французскихъ утопистовъ, а страшно его раздражало. Онъ не могъ простить 60-мъ годамъ ихъ пренебреженія къ искусству и въ своемъ брюзжаніи дошелъ до того, что въ разговорахъ съ знакомыми цензорами натравливалъ ихъ на репрессивныя міры. Такъ печально кончиль (въ 1869 г.) другъ Бълинскаго, который въ ужасъ перевернулся бы въ гробу, если бы до него дошло то письмо къ Фету, гдѣ Боткинъ съ полною атрофіей нравственнаго чувства повъствуетъ о своихъ "указаніяхъ" цензорамъ. Боткину было дано большое умственное богатство, но не было дано соотвътственнаго богатства душевнаго.

Перейдемъ теперь ко второму университетскому кружку. Онъ былъ менѣе многочисленъ, чѣмъ кружокъ Станкевича, и собственно это даже не былъ кружокъ. Просто два студента физико-математическаго факультета, Александръ Герценъ и Николай Огаревъ, къ тому же дальніе родственники, поступивъ въ университетъ, продолжали вести пламенную, романтическую дружбу, возникшую между ними, когда они еще были мальчиками. Изъ другихъ студентовъ чаще другихъ приходили къ друзьямъ и были душевно съ ними близки: Сатинъ, впослъдствін переводчикъ Шекспира, Вадимъ Пассекъ, —рано умершій этнографъ, и Кетчеръ—медикъ по спеціальности, но страстный любитель литературы и тоже переводчикъ Шекспира, весельчакъ и остроумный maître de plaisir московской литературной молодежи.

Вліяніе небольшого кружка Герцена и Огарева на литературу въ началѣ эпохи Бѣлинскаго было совершенно незначительно, но по чисто-внѣшнимъ причинамъ. Въ 1834 году Герценъ, вмѣстѣ съ Огаревымъ и Сатинымъ, были привлечены къ раздутой исторіи объ университетскихъ кандидатахъ, устроившихъ по случаю окончанія курса пирушку, во время которой пѣли антиправительственныя пѣсни. Ни

Герценъ, ни Огаревъ участія въ пирушкѣ не принимали, и суровое наказаніе, постигшее дѣйствительныхъ участниковъ, ихъ миновало-Но захваченныя при обыскѣ у нихъ бумаги показали, что друзья очень интересуются французскими соціальными системами и особенно сенъ-симонизмомъ—и этого было достаточно, чтобы признать ихъ виновными. Герценъ былъ сосланъ въ Пермь, Сатинъ—въ Симбирскъ, Огаревъ, изъ вниманія къ его отцу, котораго въ то время разбилъ апоплексическій ударъ,—въ Пензу.

Только въ 1839 году Герценъ вернулся въ Москву и получилъ возможность принять болѣе или менѣе дѣятельное участіе въ литературѣ. Его обширныя познанія, огромный умъ и замѣчательный, искрящійся блестками тончайшаго остроумія, литературный талантъ не замедлили обратить на него вниманіе. Тѣмъ не менѣе, ознакомленіе съ Герценомъ только эпизодически должно входить въ исторію литературы сороковыхъ годовъ. Герценъ входитъ, главнымъ образомъ, въ исторію литературы слѣдующей эпохи, конца 50-хъ годовъ, когда онъ достигъ безпримѣрнаго вліянія и значенія, когда къ словамъ его съ одинаковымъ волненіемъ и съ одинаковою симпатіею прислушивались во всѣхъ слояхъ русскаго общества, не исключая дворцовъ и министерскихъ совѣтовъ.

Въ 40-хъ годахъ дъятельность Герцена, писавшаго подъ псевдонимомъ Искандера, была тоже очень замътна, но всетаки не такъ, какъ впоследствии. Она выразилась въ ряде блестяще написанныхъ статей, протестовавшихъ противъ той науки, которая замыкается въ себъ и создаетъ только цеховыхъ ученыхъ. Наука должна воздъйствовать на жизнь, должна идти на встречу разрешенію назревающихъ вопросовъ современности. Кромъ статей философско-критическаго характера, Герценъ въ 40-хъ годахъ написалъ нъсколько замьчательныхъ беллетристическихъ произведеній, иногда недостаточно художественно-законченныхъ, но всегда вдумчивыхъ и проникнутыхъ серьезнымъ убъжденіемъ. Особенное впечатлѣніе произвела небольшая повъсть "Сорока-воровка", съ ея косвеннымъ осужденіемъ крѣпостного права, и романъ "Кто виноватъ". Романъ ставиль, хотя и не разръщаль ни въ ту, ни въ другую сторону, вопрось о семейныхъ отношеніяхъ и правахъ сердца свободно любить. Въ лицъ же героя романа-Бельтова было очерчено, кромъ того, трагическое положение русскаго человъка съ высшими потребностями, не имфющаго возможности приложить свои силы къ общественной дъятельности и принужденнаго всю жизнь скитаться безъ опредъленной цъли.

Во внутренней жизни русской передовой интеллигенціи 40-хъ годовъ Герценъ, еще не обрисовавшійся во всю свою величину для

читающей публики, сразу пріобрель не меньше значенія, чемь впоследствін. Боле всехъ онъ содействоваль отрешенію оть узкаго пониманія гегельянства, какъ аповеоза всякаго существующаго явленія. Когда въ 1839 году Герценъ вернулся въ Москву, онъ засталъ теорію преклоненія предъ разумностью всякой "дъйствительности" во всемъ ея бъснованіи и ужаснулся. Чтобы бороться съ приверженцами этой теоріи ихъ же собственнымъ оружіемъ, онъ засѣлъ за Гегеля и со свойственнымъ ему блескомъ способностей быстро освоился какъ съ самимъ Гегелемъ, такъ и съ его школою. Школа Гегеля тогда уже начала распадаться на консервативное, правое гегельянство и гегельянство лювое, давшее вскоръ дъятелей въ родъ Карла Маркса. Герценъ явился провозвъстникомъ этого лъваго гегельянства и пришелъ къ выводамъ діаметрально-противоположнымъ тѣмъ, которые завладъли умомъ и сердцемъ членовъ кружка Станкевича. Произошла жестокая схватка съ Бълинскимъ, и молодые люди, горячо полюбившіе другь друга, разошлись. Бѣлинскій, глубоко потрясенный, уѣхалъ въ Петербургъ. Но прошелъ годъ съ небольшимъ, сомнинія, брошенныя Герценомъ, взошли въ чуткомъ сердцѣ Бѣлинскаго, онъ трезво взглянулъ на неприглядную "дъйствительность", и когда въ 1841 году друзья свиделись, между ними уже не было разногласій и они пошли, рука объ руку, по пути выработки новой общественной программы.

Другъ Герцена-Огаревъ всецъло напоминаетъ Станкевича. Человъкъ скромный, хотя и полный въры въ великое призваніе, тихій и застънчивый, Огаревъ неотразимо дъйствоваль на всякаго, кто быль чутокь къ душевной красоть. Вокругь него всегда создавался особый "Огаревскій культъ", въ его присутствіи люди, какъ въ общеніи съ Станкевичемъ, становились лучше и чище. Но не только высокимъ строемъ своего нравственнаго существа выдълялся Огаревъ. Человъкъ обширнаго, энциклопедическаго образованія, онъ оказываль сильное вліяніе на своихъ друзей и умственнымъ богатствомъ своимъ. Мало продуктивный въ печати, онъ благотворно вліяль личной бесьдой, дьлясь богатымь запасомь своихь знаній, давая широкія обобщенія, высказывая яркія мысли и при томъ часто въ очень яркихъ образахъ. Какъ поэтъ онъ въ разсматриваемую эпоху обрисовался вполнъ, хотя нъкоторыя изъ лучшихъ произведеній его написаны въ 50-хъ годахъ. Рано опредѣлились основныя черты почти безпричинно-меланхолической, женственно-мягкой музы Огарева. Его лирь-можеть быть, самой ньжной во всей русской поэзіи-были совершенно чужды мужественные аккорды. И это находится въ странномъ противоръчіи съ теоретическими воззръніями Огарева, всегда крайними и ръшительными. Поэзія Огарева, всю жизнь составлявшаго предметь неусыпнаго вниманія надзирающихъ

въдомствъ и съ конца 50-хъ годовъ ставшаго однимъ изъ главарей русской эмиграціи, поражаеть почти полнымъ отсутствіемъ элемента протеста. Тихая грусть о прошедшемъ и развитомъ счастьѣ, искреннѣйшее чувство всепрощенія и того, что на жаргонѣ 40-хъ годовъ называлось "резиньяціей",—вотъ наиболѣе характерныя черты творчества Огарева. Въ пензенской ссылкѣ своей Огаревъ написалъ стихотвореніе "Друзьямъ", гдѣ затронуто постигшее ихъ несчастіе. Кого бы не озлобила несправедливая кара? На Герцена она такъ и подѣйствовала, укрѣпивъ въ немъ протестующее настроеніе. У Огарева же вотъ чѣмъ заканчивается картина крушенія лучшихъ надеждъ:

Мы много чувствъ, и образовъ, и думъ
Въ душѣ глубоко погребли... И что же—
Упрекъ ли небу скажетъ дерзкій умъ?
Къ чему упрекъ? Смиренье въ душу вложимъ,
И въ ней затворимся безъ желчи, если можемъ.

II.

Мы ознакомились съ тѣми дѣятелями разсматриваемаго періода, которые примыкали къ московскимъ студенческимъ кружкамъ. Объ остальныхъ дѣятеляхъ эпохи удобнѣе будетъ сказать въ связи съ очеркомъ литературно-общественныхъ партій, образовавшихся въ началѣ 40-хъ годовъ. Борьба этихъ партій составляетъ главное содержаніе эпохи Бѣлинскаго, эпохи теоретической выработки міросозерцанія по преимуществу, такъ какъ чисто художественныя силы новаго поколѣнія проявились только въ самомъ концѣ эпохи.

Окончательное выдѣленіе литературно-общественных партій произошло около 1842—3 года. Я подчеркиваю слово общественных, потому что это было явленіе совсѣмъ новое. Еще какихъ нибудь пять, десять лѣтъ тому назадъ литература наша, какъ явленіе общественное, представляла собою одну почти однородную массу и совсѣмъ не знала отличій, основанныхъ на разницѣ общественнаго міросозерцанія. Въ журналистикѣ были личныя дрязги, господствовали личныя симпатіи и антипатіи, шла борьба чисто-художественныхъ стилей, какъ, напр., та борьба, которую засталъ Бѣлинскій—между классицизмомъ и романтизмомъ. Разницы же общественно-политическихъ идеаловъ почти не было. Этимъ, между прочимъ, слѣдуетъ объяснить, почему преклоненіе предъ "дюйствительностью" могло съ такою силою захватить "неистовую", по существу, душу Бѣлинскаго.

Но въ сороковыхъ годахъ литературу и журналистику уже никогда нельзя было назвать однородною массою. Образовались три рѣзко намѣченныя партіи, нерѣдко сходившіяся въ чисто-литературномъ отношеніи (славянофилы и западники, напримѣръ, одинаково восторженно относились къ Гоголю), но совершенно расходившіяся въ указаніи тѣхъ путей, по которымъ каждая изъ партій хотѣла направить исторію русской гражданственности. Двѣ изъ этихъ партій еще въ сороковыхъ годахъ получили названія славянофильства и западничества, третья не имѣла опредѣленнаго названія въ 40-хъ годахъ, несмотря на полную опредѣленность своей духовной физіономіи, и только позднѣе, въ 70-хъ годахъ, А. Н. Пыпинъ весьма удачно назвалъ ее партіей оффиціальной народности.

Партія оффиціальной народности состояла изъ печальной памяти тріумвирата—Булгарина, Греча и Сенковскаго въ Петербургѣ и дуумвирата—Погодина и Шевырева въ Москвѣ. Первые три имѣли въ своемъ распоряженіи пресловутую газету "Сѣверная Пчела" и "Библіотеку для Чтенія", послѣдніе издавали "Москвитянинъ". Имѣя очень много общаго между собою, московскіе представители теоріи оффиціальной народности въ нравственномъ отношеніи стояли все-таки гораздо выше своихъ петербургскихъ братьевъ по духу. Въ петербургскомъ тріумвиратѣ тоже нужно отдѣлить Сенковскаго отъ Греча, а Греча отъ Булгарина.

Булгаринъ представлялъ собою нъчто крайне-антипатичное со встах точекъ зрвнія. Онъ громко кричаль о своей преданности тріадъ: самодержавіе, православіе и народъ, но эта мнимая преданность по существу была только угодинчествомъ самаго низменнаго свойства и вызывала брезгливое чувство даже въ техъ сферахъ, предъ которыми пресмыкался Булгаринъ. Можно ли было върить въ искреннюю преданность православію этого недавняго католика, можно ли было допустить искреннее увлечение идеею русской народности въ полякъ, сражавшемся подъ знаменами Наполеона? Наконецъ, "двойной присягою играя", Булгаринъ преклонялся и предъ самодержавіемъ исключительно какъ предъ власть имущею силою. По декабрьской катастрофы онъ былъ въ тесной дружбе съ кружкомъ Рылвева, и если даже ничего не зналъ о заговорв, то все-таки вполнъ раздълялъ конституціонныя идеи декабристовъ. Теперь же онъ выражалъ свою преданность невъроятно холопскимъ языкомъ, который своимъ азіатскимъ пресмыкательствомъ, напоминающимъ какую-нибудь Бухару или Коканъ, глубоко возмущалъ рѣшительно всъхъ и всего болъе людей, искренно преданныхъ идеж монархической власти. Императоръ Николай, который не любилъ грубой лести, быль весьма невысокаго мнвнія о редакторв "Сверной Пчелы". Въ области чисто-литературной Булгаринъ былъ представителемъ самаго грубаго вкуса. Этотъ позорный руководитель значительной части такъ

называемой средней публики 40-хъ годовъ самымъ искреннимъ обрасомъ приравнивалъ Гоголя Поль-де-Коку. И въ довершение Булгаринъ былъ мелко-продаженъ, писалъ грубыя рекламы гостиницамъ, гдъ его даромъ кормили, и купцамъ, приносившимъ его домашнимъ по куску матерій. Для характеристики публики, довольствовавшейся газетой Булгарина и изъ нея черпавшей представление о государственной жизни Россіи и Европы, следуеть прибавить, что общій уровень "Сѣверной Пчелы", помимо пошлости и пресмыкательства, поражаетъ своею мелкотою. Самыя крупныя явленія государственной жизни оставались внѣ обсужденія единственной ежедневной русской газеты, что, впрочемъ, Булгарину нельзя вмѣнять особенно въ вину. Когда онъ однажды, по поводу правительственнаго распоряженія, воспъль ему самый восторженный дифирамбъ, то получилъ за это серьезное внушение. "Правительство въ твоихъ похвалахъ не нуждается", сказалъ ему начальникъ третьяго отделенія Дубельтъ, обращавшійся съ главнымъ представителемъ тогдашняго "общественнаго мнѣнія", какъ теперь не обращаются съ лакеемъ. "Театръ, выставки, гостиный дворъ, толкучка, трактиры, кондитерскія — вотъ твоя область, а дальше ея не моги ни шагу".

Второй представитель партіи "оффиціальной народности", соиздатель "Сѣверной Пчелы"—Гречъ, быль и чистоплотнѣе, и образованнѣе Булгарина. Но педанть по преимуществу и человѣкъ съ весьма мелкимъ кругозоромъ, совершенно неспособный слѣдить за духомъ времени и застывшій на литературныхъ традиціяхъ 20-хъ годовъ, онъ не вносилъ въ газету ничего такого, что бы хоть сколько-нибудь возвышало ея низменный уровень. Поэтому его имя въ исторіи русской литературы не отдѣляется отъ имени Булгарина и оба вмѣстѣ они являются синовимомъ крайнихъ предѣловъ сервильности и литературной пошлости.

Третій членъ петербургскаго тріумвирата, одно время мечтавшаго монополизировать въ своихъ рукахъ всю русскую печать, — Сенковскій-Брамбеусъ имѣлъ всѣ данныя для того, чтобы стать первостепеннымъ дѣятелемъ. Человѣкъ замѣчательной и разносторонней учености, писатель безспорнаго таланта и выдающагося остроумія, Сенковскій придавалъ интересъ каждому изъ тѣхъ разнообразныхъ сюжетовъ, которыхъ онъ касался въ своихъ многочисленныхъ статьяхъ. Но, къ сожалѣнію, онъ былъ лишенъ всякаго опредѣленнаго міросозерцанія и всякихъ идеаловъ. Онъ смѣялся ради смѣха. И оттого, въ концѣ концовъ, его недюжинное остроуміе было не что иное, какъ кувырканіе, производимое единственно для того, чтобы вызвать рукоплесканія толпы. Даже въ серьезныхъ статьяхъ его часто нельзя было отличить, говоритъ ли онъ серьезно или мистифицируетъ. Объ искрен-

ней преданности идев русской оффиціальной народности со стороны этого польскаго Мефистофеля смѣшно было и говорить. Единственно, что въ немъ было искренняго, — это презрѣніе къ русской публикѣ и непониманіе новаго литературнаго движенія. Послѣднее находило себѣ еще органическую поддержку въ томъ, что Сенковскій, при всей своей разносторонней образованности и талантливости, былъ лишенъ эстетическаго вкуса. Гоголя онъ не понималъ вполнѣ искренно и фольга Кукольника ему не на шутку казалась настоящимъ литературнымъ золотомъ.

Для разсматриваемаго нами періода Сенковскій, впрочемъ, не имѣетъ особеннаго значенія. Эпоха блестящаго его успѣха—это средина 30-хъ годовъ. Публика, привыкшая къ тощимъ журналамъ того времени, съ одной стороны была ошеломлена прекрасно-обставленнымъ литературнымъ матеріаломъ толстыхъ книжекъ "Библіотеки для Чтенія", а съ другой ей нравилось язвительное остроуміе барона Брамбеуса. Но успѣхъ былъ непродолжителенъ и въ концѣ 30-хъ годовъ толщина книжекъ "Библіотеки для Чтенія" никого уже не ошеломляла, потому что и другіе журналы послѣдовали примѣру "Библіотеки", а пряность лишеннаго внутренняго содержанія хихиканія Брамбеуса пріѣлась.

Московскіе представители теоріи оффиціальной народности-Погодинъ и Шевыревъ, какъ явленіе нравственнаго порядка, стояли гораздо выше своихъ петербургскихъ соратниковъ. Погодинъ представляль собою удивительную смёсь черть крайне несимпатичныхъ съ дътскою простотою и добродушіемъ. Человъкъ болье чъмъ себъ на умѣ, сумѣвшій продать за 150.000 р. свое знаменитое "древлехранилище", составившееся изъ добровольныхъ пожертвованій, онъ вмёстё съ тёмъ былъ часто очень непрактиченъ. Самъ эксплоатируя своихъ сотрудниковъ и даже слушателей — студентовъ, онъ, вмѣстѣ съ тъмъ, легко давалъ и себя эксплоатировать. По политическимъ воззрѣніямъ своимъ это былъ оппортунистъ по пренмуществу. Онъ преклонялся передъ всякою силою. Такъ, лишь только въянія измънились съ наступленіемъ новаго царствованія, и Погодинъ заговорилъ о необходимости "обновленія" того самого порядка вещей, предъ которымъ столь недавно преклонялся такъ безусловно. До Севастополя Погодинъ былъ типичнымъ представителемъ увъренности, что мы Европу шапками закидаемъ, послъ Севастополя все это какъ рукой сняло и въ извъстныхъ застольныхъ спичахъ 1857 года голосъ Погодина звучаль въ унисонъ съ общимъ самообличительнымъ тономъ. Отправившись за границу, Погодинъ даже постарался имъть свиданіе съ Герценомъ, съ которымъ онъ, конечно, спорилъ объ очень многомъ, но который все-таки въ эпоху своего огромнаго вліянія

инстинктивно притягиваль къ себъ его искренно-угодливую натуру. А какъ только кончился медовый мъсяцъ россійскаго прогресса, сошло и съ Погодина необычное настроеніе, и сталъ онъ снова представителемъ "патріотизма" охотнорядскаго пошиба. Въ разсматриваемую эпоху "направленіе" Погодина сводилось къ тому, что онъ славосло виль безъ всякихъ оговорокъ. Личный другъ славянофиловъ, Погодинъ, однако, крайне враждебно относился къ темъ сторонамъ славянофильскаго ученія, гдѣ славословіе переходило въ демократизмъ. Апологія общиннаго и соборнаго начала, вражда къ чиновничествувся эта оппозиціонная часть славянофильскаго ученія находила въ Погодинъ суроваго порицателя. Онъ желалъ быть только пріятнымъ. Но, повторяю, въ этомъ желанін было много чисто-инстинктивнаго, рождавшагося въ душт Погодина почти непроизвольно. Въ квасномъ патріотизмѣ Погодина, въ его прославленіи всего "русскаго", начиная съ русскихъ формъ государственной жизни и кончая тульскими самоварами и московскими калачами, было, помимо желанія угодить и много искренности, искренности, правда, очень наивной и см'яшноватой, во все-таки неподдёльной. И вотъ почему у Бѣлинскаго и его друзей не было даже особенной схоты съ нимъ серьезно спорить. Его больше вышучивали и пародировали.

Шевыревъ быль человъкъ иного душевнаго склада. Во многихъ отношеніяхъ онъ стояль выше своего соиздателя и товарища по профессуръ. Ни карьеристомъ, ни человъкомъ себъ на умъ его никакъ нельзя было назвать. Интересы духовные въ немъ преобладали. Образованіе онъ имёль хорошее, спеціальных знаній у него тоже было много, какъ по исторіи всеобщей, такъ и по исторіи русской литературы и нькоторыя его работы не утратили своего значенія до сихъ поръ. Какъ профессоръ онъ, во всякомъ случав, будилъ мысль стремленіемъ нъ широкимъ обобщеніямъ и желаніемъ создать опредъленное міросозерцаніе. Вотъ почему въ началь и срединь тридцатыхъ годовъ онъ пользовался симпатіями лучшей части студенчества, наряду съ Павловымъ и Надеждинымъ, и былъ представителемъ новаго теченія университетского преподаванія. Но уже черезъ нісколько літь вся его дълтельность приняла совстмъ иное направление. Педантизмъ взялъ верхъ надъ возбужденностью первыхъ лѣтъ профессорства. И такъ какъ живого пониманія у Шевырева не было, то онъ всегда теряль чувство міры, но теряль его не въ порыві страстнаго увлеченія, а именно какъ педантъ, потому что искусственно взбадривалъ себя. Въ его хватаніяхъ чрезъ край никогда не чувствовалось глубокой въры, а всегда явственно проступала напыщенная надутость. Это онъ, главнымъ образомъ, довелъ теорію "смиренія", какъ главной исторической черты русскаго народа, до тъхъ предъловъ, гдъ она

является полнымъ искаженіемъ реальныхъ очертаній действительной исторической жизни. Это онъ главнымъ образомъ, а не славянофилы, какъ обыкновенно думаютъ, провозглашалъ, что "Западъ сгнилъ". Не было у него также непосредственнаго живого пониманія искусства и, за исключениемъ обусловленнаго личною пріязнью "гоголефильства", всв его литературныя сужденія не имвють никакого значенія. Воображая себя глубокимъ цінителемъ всіхъ родовъ искусства и литературы, Шевыревъ на самомъ дѣлѣ былъ совершенно лишенъ эстетическаго вкуса и наговорилъ много такого, что прямо стало образчикомъ педантической напыщенности и безвкусицы. Добродушія, отчасти примирявшаго съ Погодинымъ, у него не было и твии. Шевыревъ быль злой самолюбецъ, никогда не прощавшій, если его задъвали, всегда вносившій во всякую полемику самое тяжелое раздраженіе. Отъ него нельзя было отделаться однимъ вышучиваніемъ и пародированіемъ, какъ это делалось по отношенію къ Погодину, надо было вести съ нимъ споръ серьезно. И такъ какъ онъ, защищая свое міросозерцаніе, ничемь не быль стеснень и имель полную возможность выдвинуть весь свой запасъ аргументовъ и нападокъ, между тъмъ какъ противники вынуждены были еле-еле намъчать свои доводы въ самыхъ общихъ и неясныхъ очертаніяхъ, то и они, въ свою очередь, не могли не быть раздражены. Все это сдвлало Шевырева предметомъ страстныхъ нападокъ Балинскаго и его друзей. Изъ всёхъ представителей теоріи "оффиціальной народности" только съ нимъ однимъ и стоило спорить: Булгаринъ былъ слишкомъ омерзителенъ, Гречъ слишкомъ мелокъ, Сенковскій выдохся, Погодинъ былъ забавенъ по преимуществу, и только борьба съ Шевыревымъ доставляла наслажденіе побѣды.

Вторая литературно-общественная партія, выдѣлившаяся въ 40-хъ годахъ и унаслѣдовавшая насмѣшливую кличку славянофиловъ (нѣ-когда данную карамзинистами защитнику "стараго слога" Шишкову), выставила на своемъ знамени ту же формулу, во имя которой дѣйствовала партія "оффиціальной народности": сомодержавіе, православіе и народъ. Но въ пониманіи элементовъ этой формулы славянофилы настолько разошлись не только съ Булгаринымъ и Гречемъ, но и съ Шевыревымъ и Погодинымъ, что смѣшнвать обѣ партіи воедино прямо оскорбительно для идеально-высокаго настроенія, изъ котораго вытекло славянофильство. То, что у Булгарина и Греча было результатомъ грубаго пресмыкательства и угодничества, у Погодина оппортунизмомъ, у Шевырева надутой напыщенностью, у славянофиловъ было проявленіемъ глубокаго одушевленія идеею. Всѣ люди богатые, неслужащіе, вполнѣ независимые, они не руководились никакими практическими разсчетами и дѣйствовали во имя

искренняго убъжденія, что въ исполненіи ихъ программы залогь величайшаго преуспъянія Россіи.

По личнымъ, вообще, качествамъ своимъ, славянофилы были люди столь же высокаго душевнаго строя, какъ и ихъ противники. Еще о Хомяковъ можно было бы спорить. Въ искренность этого падкаго на эфекты неутомимаго спорщика и человѣка, любившаго щегольнуть блескомъ своего ума, не всѣ вѣрили. Но братья Киръевскіе, Самаринъ, а въ особенности "Бѣлинскій славянофильства" — Константинъ Аксако тъ все это были истинные рыцари духа, благороднѣйшіе идеалисты, въ уваженіи къ которымъ сходились люди всѣхъ направленій.

Преданность славянофиловъ идет самодержавія вытекла изъ ихъ убтаденія, что русскій народъ по природт своей чуждъ "политическаго элемента", что онъ "отдталиль государство отъ себя и государствовать не хочеть". И только потому, что русскій народъ "не желаемъ государствовать, онъ предоставляетъ правительству неограниченную власть государственную".

Въ этой теоріи происхожденія русскаго государства, являющейся отголоскомъ старой, созданной Гуго Гропіемъ, теоріи договорнаго возникновенія государства, первостепенное значеніе имѣетъ то, что русскій народъ не потому отказался отъ "государствованія", что не можетъ быть носителемъ власти, а только потому, что онъ не хочетъ. Тутъ, слѣдовательно, существеннѣйшее отличіе отъ обычной теоріи спасительницы монархіи, зиждущейся на необходимости сильной власти, какъ единственнаго средства обуздать пагубное своеволіе. Нѣтъ, славянофилы были необыкновенно высокаго меѣнія о нравственныхъ качествахъ русскаго народа и всего менѣе думали, что онъ нуждается въ сильной власти и обузданіи Славянофилы мистически поклонялись народу и видѣли въ немъ не звѣря, а богоносиа.

Ради чего же русскій народъ совершенно отстраниль отъ себя дѣла міра сего и не хочеть государствовать? Что взяль онъ себѣ взамѣнъ?

"Взамѣнъ того, русскій народъ предоставляеть себѣ нравствен ную свободу, свободу жизни и духа".

На этихъ началахъ и зиждется единственное истинно-русское пониманіе основъ нашего государственнаго уклада:

"Правительству—неограниченная власть государственная, политическая; народу—полная свобода нравственная, свобода жизни и духа—мысли и слова".

Какъ сейчасъ было сказано, русскій народъ, по славянофильскому ученію, только потому отказался государствовать, что не хочетъ.

Но это не значить, что онъ не интересуется ходомъ государственной жизни. Напротивъ того, онъ внимательно за нею слѣдитъ и имѣетъ о ней сужденіе, которое правительствомъ непремѣнно должно быть выслушано. "Самостоятельно можетъ и долженъ предлагать безвластный народъ полновластному правительству—свое мнѣніе (слѣдовательно, силу чисто-нравственную), мнѣніе, которое правительство вольно принять и не принять".

Но "какимъ образомъ можетъ правительство вызвать это мнѣніе?" Отвѣтъ даетъ русская исторія.

"Древняя Русь указываеть намъ и на дѣло самое, и на способъ Цари наши вызывали, въ важныхъ случаяхъ, общественное мнѣніе всей Россіи и созывали для того Земскіе Соборы, на которыхъ были выборные отъ всѣхъ сословій и со всѣхъ концовъ Россіи".

Земскіе соборы, однако, не то, что западно-европейскіе парламенты:

"Земскій соборъ имъетъ значеніе *только мнюнія*, которое государь можетъ принять и не принять".

Однимъ изъ главнѣйшихъ органовъ выраженія мнѣнія народа славянофилы считали свободу слова, о которой никто въ русской интературѣ не говорилъ съ такимъ чисто-экстатическимъ воодушевленіемъ, какъ они. Для партін западнически-передовой убѣжденіе въ необходимости свободы слова было понятіемъ настолько азбучнымъ, что не являлось даже и воодушевленія для доказательства такого трунзма. Славянофилы же, особенно побуждаемые еще и тѣмъ, что въ глазахъ многихъ они сливались въ одно представленіе съ Булгаринымъ и Гречемъ, всѣми снлами старались очиститься отъ такого позорнаго смѣшенія, и это придавало имъ энтузіазма въ проповѣди самыхъ элементарныхъ принциповъ гражданской жизни. Самымъ пламеннымъ въ русской поэзіи прославленіемъ свободы печати, хотя и не въ блещущей художественными достоинствами формѣ, является стихотвореніе Константина Аксакова "Свободное Слово":

Ты—чудо изъ божьихъ чудесъ,
Ты—мысли свѣтильникъ и плами,
Ты—лучъ намъ на землю съ небесъ,
Ты—намъ человѣчества знами.
Ты гонишь невѣжества ложь,
Ты вѣчною жизнію ново,
Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь,
Свободное слово.
Лишь духу власть духа дана,—
Въ животной же силѣ нѣтъ прока:
Для истины—гибель она,
Спасенье—для лжи и порока;

Враждуетъ ли съ ложью—равно Живитъ его жизнію новой... Неправдів—опасно одно Свободное слово.

Ограды властимъ никогда
Не зижди на рабствъ народа!
Гдъ рабство—тамъ бунтъ и бъда,
Защита отъ бунта—свобода.
Рабъ въ бунтъ опаснъй звърей,
На ножъ онъ мъняетъ оковы...
Оружье свободныхъ людей—

Свободное слово.
О слово, даръ Бога святой!
Кто слово, даръ божескій, свяжеть,
Тотъ путь человѣку иной,—
Путь рабства преступный укажеть.
На козни, на вредную рѣчь
Въ тебѣ-жъ и цѣленье готово
О, духа единственный мечъ,
Свободное слово!

Младшій братъ Константина Аксакова — Иванъ впоследствін явился не только пламеннымъ теоретическимъ провозвъстникомъ принципа свободы печати, но и бордомъ за практическое примъненіе его къ дъйствительности. Восторженно преданный существующему порядку въ его основных вчертахъ, но преданный "безъ лести", онъ, во имя свободы мнвнія и слова, не ствснялся съ полною правдивостью высказываться, когда действія администраціи его не удовлетворяли, и это привело къ тому, что онъ извъдалъ всю тяжесть обычныхъ и экстраординарныхъ цензурныхъ мёръ. Вообще изъ - за непоколебимаго желанія говорить всегда то, что они думали, славянофилы длинный рядъ лётъ не могли иметь своего собственнаго журнала, что, конечно, не могло имъ, однако, помътать выразить всю полноту своихъ чувствъ въ интимныхъ собраніяхъ своего кружка, въ дружеской перепискъ и въ черновыхъ тетрадяхъ. Приведенное сейчасъ стихотвореніе Константина Аксакова нашлось только въ оставшихся после его смерти бумагахъ и напечатано только въ 1880 г., четверть въка послъ того, какъ было написано.

Не для печати также назначаль другой главарь славянофильства Хомяковъ свое стихотвореніе "Россін", чрезвычайно важное для характеристики славянофильскаго ученія, въ одно и то же время и полнаго величайшей преданности основнымъ элементамъ русской государственной жизни, и открывающаго широкое поле дъйствія критикъ ея недостатковъ. Стихотвореніе написано въ 1854 г., когда только что начиналась Севастопольская кампанія, когда еще

всѣ были убѣждены, что мы Европу шапками закидаемъ. И вотъ въ этотъ моментъ полнаго разгула шовинизма и самъ призывая "страну родную" "встать за братьевъ"—славянъ и идти

Чрезъ волны гнѣвнаго Дуная— Туда, гдѣ, землю огибая, Шумятъ струп Эгейскихъ водъ,

поэтъ ни на одну минуту не забываетъ горькой правды и, рисуя картину внутреннихъ непорядковъ нашихъ, съ рѣзкостью библейскаго пророка говоритъ Россіи:

Но помни: быть орудьемъ Бога Земнымъ созданьямъ тяжело. Своихъ рабовъ онъ судитъ строго,— А на тебя, увы, какъ много Грѣховъ ужасныхъ налегло! Въ судахъ черна неправдой черной И игомъ рабства клеймена; Безбожной лести, лжи притворной, И лѣни мертвой и позорной И всякой мерзости полна!

Послъ сказаннаго о глубокой преданности славянофиловъ идеъ полной свободы мысли и слова, само собою ясно, какъ они должны были понимать второй членъ символа своей въры: православіе. Славянофилы были восторженные апологеты христіанства въ томъ видъ, въ какомъ оно кристаллизовалось въ восточномъ православіи первыхъ въковъ. Но и въ эту восторженную любовь, свободно создавшуюся въ ихъ умахъ и сердцахъ, не потому, что православіе было господствующею формою религіи, а потому что они видели въ немъ воплощение лучшихъ идеаловъ человъчества, славянофилы вносили такую же свободу духа, какъ и въ политическую часть своей программы. Ихъ девизомъ было православіе съ полнымъ господствомъ соборнаго начала, съ широкимъ участіемъ паствы въ жизни церкви, съ безусловною терпимостью къ инославнымъ, съ полнымъ устраненіемъ принужденія со стороны свътской власти и, наконецъ, съ полною свободою изследованія. Изъ-за последняго пункта славянофилы свои богословскіе трактаты вынуждены были печатать за границею.

Третій членъ общаго у славянофиловъ съпартіей "оффиціальной народности" символа вѣры—принципъ народности въ исторіи славянофильскаго ученія занимаетъ особое мѣсто, потому что изъ всѣхъ трехъ основъ славянофильскаго міровоззрѣнія только одинъ этотъ пунктъ, по условіямъ времени, и могъ быть предметомъ сколько-нибудь детальнаго разсмотрѣнія. Такое исключительное вниманіе внесло столько полемическаго задора и партійныхъ преуве-

личеній, что достигнуть вполив точной формулировки воззрвній славянофиловъ на принципъ народности чрезвычайно трудно. Западники неизменно упрекали славянофиловъ въ томъ, что они принципъ народности, самъ по себъ вполив естественный и законный, превратили въ принципъ національной исключительности. Славянофилы горячо противъ этого протестовали и говорили о клеветъ, а Иванъ Аксаковъ даже о невъжествъ и полномъ незнакомствъ противниковъ съ сущностью ученія. И дійствительно, въ славянофильской литературъ можно какъ будто найти не одно опровержение того, что партія была проникнута національною исключительностью. Не Хомяковъ ли говорилъ о Западъ, какъ о "странъ чудесъ", не славянофилы ли придавали такое огромное значение христіанству, началу, во всякомъ случав, иноземному, и не они ли, наконецъ, всегда взывали къ "обще-человъческимъ" началамъ, какъ такимъ, которыя должны лечь въ основу русской гражданственности? Но въ томъ-то и дело, что въ понимание этихъ общечеловеческихъ началь и вносили славянофилы крайнюю исключительность, утверждая, что ,,міръ не видаль еще того общечеловъческаго, какое явить русская великая славянская, и именно русская природа". Не отрицая, конечно, иноземнаго происхожденія христіанства, славянофилы, устами наиболже горячаго изъ своихъ провозвъстниковъ-Константина Аксакова, прямо утверждали, что "исторія русскаго народа есть единственная во всемъ мірѣ исторія народа христіанскаго не только по исповъданію, но и по жизни своей, по крайней мъръ, по стремленію своей жизни".

Дальше, конечно, трудно идти въ исключительности, хотя она и вытекала изъ уваженія къ общечеловъческому.

Какъ бы то ни было, однако, даже въ этихъ своихъ проявленіяхъ славянофильская исключительность не имѣла ничего общаго съ грубымъ п эгоистичнымъ "патріотизмомъ" не только Булгарина и Греча, но и Погодина и Шевырева, видѣвшихъ величіе Россіи только во внѣшнемъ блескѣ и могуществѣ. Славянофиламъ русскія начала были дороги не только потому, что они свои, родныя, а потому, что они вполиѣ искренно казались имъ лучшими въ мірѣ, и въ торжествѣ русскихъ "особенностей" они видѣли торжество общечеловѣческихъ идеаловъ. Нежеланіе мѣшаться въ дѣла міра сего, чтобы не отвлекаться отъ духовнаго совершенствованія, и въ связи съ этимъ общинное и артельное начало въ сферѣ экономическихъ отношеній—вотъ тѣ "особенности", на основѣ которыхъ славянофилы мечтали создать русскую "самобытность". Такая "самобытность". по убѣжденію славянофиловъ, вполиѣ отвѣчаетъ идеаламъ русскаго народа въ буквальномъ смыслѣ слова, т. е. народа

не въ смыслѣ націи, а понимая подъ народомъ простого, сѣраго мужика.

Я не сомнъваюсь въ томъ, что у всякаго, кто ознакомится съ славянофильствомъ по сейчасъ данному очерку его, неизбѣжно зародится вопросъ: почему же это міровоззрініе, въ большинстві существеннъйшихъ частей своихъ столь приближавшееся къ лучшимъ и важивишимъ пунктамъ міросозерцанія западниковъ, міровоззрвніе истинно-демократическое и проникнутое дъйствительнымъ, непритворнымъ желаніемъ поставить во главѣ всѣхъ государственныхъ интересовъ интересы народа, почему оно вызывало со стороны западниковъ столько ожесточенія? Можно было спорить, можно было упрекать въ наивности, въ идеализаціи многихъ факторовъ русской исторической жизни, самихъ по себъ весьма грубыхъ, но почему надо было вести этотъ споръ съ такимъ ожесточениемъ? Вспомнимъ глубоковърное замъчание Герцена: "У нихъ (славянофиловъ) и у насъ (западниковъ) запало съ раннихъ лътъ одно сильное, безотчетное, физіологическое, страстное чувство, — безграничной, охватывающей все существованіе любви къ русскому народу, русскому быту, къ русскому складу ума. Мы, какъ Янусъ, смотрели въ разныя стороны, въ то время, какъ сердце билось одно". Вспомнимъ, затъмъ, эпоху великихъ реформъ, когда славянофилы такъ прекрасно себя вели, энергически защищая общинное землевладеніе, отстаивая крестьянскую реформу въ наиболте ея широкихъ предположеніяхъ, и столь же горячо поддерживая всв остальныя начинанія новой эпохи: гласный судъ, самоуправленіе, свободу печати и т. д.

Отвътъ надо искать исключительно въ тяжелыхъ условіяхъ времени, благодаря которому лучшія стороны славянофильскаго ученія не могли получить въ 40-хъ годахъ яркаго и яснаго литературнаго выраженія. Тотъ очеркъ славинофильства, который сделанъ выше, данъ здъсь въ исторической перспективт, т. е. при возможности пользоваться фактами и документами разныхъ датъ и разныхъ годовъ опубликованія. Такъ, государственная часть программы славянофильства очерчена выше словами той записки, которую Константинъ Аксаковъ подалъ Императору Александру II въ 1856 г. Въ этой запискъ не было ничего новаго по существу, она была только повтореніемъ того, что дебатировалось еще въ самомъ началѣ 40 хъ годовъ на постоянныхъ сходбищахъ московской интеллигенціи, на тёхъ знаменитыхъ "всенощныхъ бдёніяхъ", когда еще "славяне" и "западные" не разошлись окончательно и въ личныхъ беседахъ старались другъ друга убъдить въ правотъ своего міровоззрынія. Но въ стройной и опредъленной формъ и съ такимъ подчеркиваніемъ важности проявленія общественной мысли, государственная программа

славянофильства была изложена только въ запискъ Аксакова. Будь она извъстна Бълинскому, будь извъстны ему стихи Хомякова, кладушіе такую різкую грань между патріотизмомъ славянофиловъ и шовинизмомъ улицы, будь ему извъстны восторженные дифирамбы славянофиловъ свободъ слова и знай онъ, наконецъ, о доблестномъ поведеніи ихъ при похоронахъ дореформенныхъ порядковъ, и онъ, конечно, совсъмъ иначе повелъ бы себя. Онъ не набрасывался бы на нихъ со всёмъ озлобленіемъ человека, у котораго языкъ связанъ и который и возражать-то толкомъ не имфеть никакой возможности. . Тучшія стороны славянофильства развернулись позже Бѣлинскаго, а при немъ славянофиловъ позорило ихъ нежеланіе открыто отдълиться отъ уличнаго "патріотизма", ихъ потворство такимъ дикимъ выходкамъ à la Булгаринъ, какую, напр., позволилъ себъ близкій славянофиламъ поэтъ Языковъ (на сестръ его былъ женатъ Хомяковъ). Въ 1845 г. Языковъ, причисливъ себя и славянофиловъ къ "нашимъ", написалъ извъстное стихотворение "Къ не нашимъ", гдъ (конечно, безъ упоминанія именъ) называетъ Грановскаго, Герцена, Чаадаева пзмѣнниками, ихъ міровоззрѣніе "ученьемъ школы богомерзкой" и надъется, что скоро "замреть проклятый вашъ языкъ".

Въ интимныхъ разговорахъ, въ записныхъ тетрадяхъ славянофилы протестовали противъ стиховъ Языкова, и, напр., Константинъ Аксаковъ въ неизданномъ стихотвореніи "Къ союзинкамъ" съ негодованіемъ отвергалъ помощь такого печальнаго свойства:

Не съединить насъ буква мивнья, Во всемъ мы разны межъ собой, И ваше злобное шипвнье Не голосъ сильный и простой... На битвы выходя святыя, Да будемъ чисты межъ собой! Вы—прочь, союзники гнилые, А вы, противники, на бой!

Но въ печати эти протесты не появлялись, открыто славянофилы ничёмъ своего негодованія не выражали, а самый фактъ, что Языковъ считалъ себя купно со славянофилами "нашими", что и самъ Аксаковъ долженъ былъ признать его "союзникомъ", показывалъ, что въ общемъ, для обыкновеннаго наблюдателя, а слёдовательно, и читателя, разграничительной черты между славянофилами и партіей офиціальной народности въ 40-хъ гг. провести нельзя было. И вотъ почему западники, вёрные правилу "Тітео Danaos jam dona ferentes", не хотёли ничего брать у славянофильства. Пламенный демократъ, Бёлинскій пренебрежительно относился къ народному творчеству только потому, что славянофилы его превозносили. Восторги общиннымъ землевладёніемъ стали спеціальнымъ удёломъ славянофиловъ,

хотя, казалось бы, кому какъ не западникамъ 40-хъ гг., съ ихъ безграничнымъ увлеченіемъ соціальными утопіями, слёдовало бы ухватиться за общинно-артельныя начала русской народной жизни. Больше же всего западники были напуганы требованіями "самобытности" и выискиваніемъ русскихъ народныхъ "особенностей", флагъ, подъ которымъ такъ легко было провести всю гниль мракобъсія. Должно было пройти 30 льть, пока исчезь страхь, который нагнала партія "офиціальной народности". говоря отъ имени "народа". Только въ 70-хъ годахъ синтезъ лучшихъ началъ западничества и славянофильства выразился въ нарождении того безграничнаго народолюбія, которое въ своемъ мистическомъ, почти-религіозномъ преклоненіи предъ народомъ не убоялось преклониться и передъ "особенностями" народа, передъ его "устоями". Народничество 70-хъ и начала 80-хъ гг. вскоръ дошло до крайнихъ предъловъ въ идеализаціи народныхъ "устоевъ" (которыми признало только общинно-артельное начало и брожение религиозной мысли) и поставило ихъ выше идеаловъ интеллигенціи. Такія крайности не могли долго владъть умами, но свою долю пользы онъ принесли несомивнно. Драгоцвинвишимъ результатомъ вызваннаго ими возбужденія и изученія народныхъ "устоевъ" была увъренность, что эти устои не находятся ни въ какомъ противоръчіи съ лучшими лозунгами демократизма и европейской культуры. Боязнь "особенностей", страхъ передъ "самобытностью" исчезъ безследно и мы видимъ, что писатели, выступившіе съ протестами противъ крайностей народничества, вмъстъ съ тъмъ признали цълый рядъ "особенностей" русскаго народа, часть перваго выясненія которыхъ безспорно составляеть заслугу славянофильства.

Третья изъ литературно-общественныхъ партій, окончательно выдѣлившихся въ 40-хъ годахъ, получила названіе "западничества". Партія приняла эту полемическую кличку безъ оговорокъ, и такой, напр., выдающійся представитель ея, какъ Тургеневъ, называлъ себя "неистовымъ западникомъ". Но именно этотъ-то примѣръ, этотъ-то приверженецъ "западничества", въ десять разъ больше всѣхъ славянофиловъ, вмѣстѣ взятыхъ, сдѣлавшій для созданія симпатій къ русскому быту и природѣ русской, показываетъ, что кличка далеко не выражаетъ всѣхъ характерныхъ чертъ западническаго міровоззрѣнія. Нѣкоторое время шедшія къ намъ изъ Франціи въ 40-хъ годахъ иден назывались "филантропическими". Вотъ эта кличка, дѣйствительно, выразила бы всю полноту напряженія западничества, въ которомъ преклоненія предъ Западомъ, какъ таковымъ, никогда не было. Не Западъ самъ по себѣ, а Западъ исключительно какъ примѣръ практическаго осуществленія лучшихъ началъ пра-

вильнаго общественнаго устройства—воть что привлекало нашихъ западниковъ. Поскольку же Западъ не осуществлялъ идеала общественнаго благоустройства, онъ встръчалъ въ рядахъ западниковъ нашихъ величайшее осужденіе. На ряду со всъми "утопистами" Европы, западники наши подвергали европейскій буржуазный строй ръзкому осужденію.

Былъ въ 40-хъ годахъ и даже велъ дружбу съ западническою литературною молодежью одинъ человѣкъ, котораго, дѣйствительно, можно было назвать западникомъ,—Чаадаевъ. Тому, дѣйствительно, инчто не нравилось въ Россіи и все нравилось въ Европѣ, даже папство... Но Чаадаевъ и по возрасту, и по общему складу своего міровоззрѣнія, отнюдь не "филантропическаго", былъ очень далекъ отъ западнической молодежи. Они сходились между собою только въ критиктъ неприглядной русской дѣйствительности того времени. Идеалы же у нихъ были совершенно разные. И только полемическія цѣли могли побудить славянофиловъ связать въ одно Чаадаевское міровоззрѣніе, смотрѣвшее назадъ, въ глубь среднихъ вѣковъ, съ міровоззрѣніемъ кружка Герцена и Вѣлинскаго, жадно смотрѣвшаго впередъ въ поискахъ новыхъ путей правильнаго развитія жизни человѣчества.

Если говорить о западничеств въ смысл вліянія западных видей, то надо говорить частиве-о вліянін именно французских видей. Духовная жизнь передовыхъ кружковъ 40-хъ годовъ развивалась подъ рѣшающимъ воздѣйствіемъ французскаго общественнаго движенія, предшествовавшаго 1848 году. Тридцатые годы были годами немецкаго вліянія по преимуществу и по источникамъ своимъ-изученію Шиллера, Гете, Шеллинга, Гегеля, и по общему направленію своему-неопредъленно-идеалистическому, расплывавшемуся въ абстракціяхъ и скользившему по русской дійствительности, не зная за что ухватиться для практическаго проведенія въ жизнь своихъ идеаловъ. Въ 40-хъ годахъ все это смѣняется вліяніемъ французскихъ соціальныхъ системъ, и для характеристики міросозерцанія кружка Бѣлинскаго и Герцена ихъ можно было бы назвать "соціалистами". При этомъ следуетъ, однако, отметить, что "соціализмъ" въ позднейшемъ смысль -агрессивномь-быль чуждь людямь 40-хъ годовь. Бълинскій въ одномъ инсьмъ называетъ себя "соціалистомъ", но только въ смыслъ человъка, интересующагося по преимуществу "соціальными", т. е. общественными отношеніями. Правильнье, поэтому, называть нашихъ западниковъ 40-хъ годовъ не "соціалистами", а общественниками, и тогда подъ эту кличку подойдутъ и очень радикально-настроенный Герценъ, и бурный протестантъ Бълинскій, и безусловно мирные молодые писатели, выступившіе въ концѣ 40-хъ годовъ съ

художественною проповъдью новыхъ идеаловъ—Тургеневъ, Григоровичъ, Достоевскій, Некрасовъ, Салтыковъ и др. Послъдній изъ сейчасъ названныхъ писателей кратко, но чрезвычайно ярко формулировалъ общее настроеніе эпохи. Какъ и во всъхъ молодыхъ людяхъ конца 40-хъ годовъ, въ Салтыковъ бродилъ неопредъленный и туманный "соціализмъ", нашедшій свое выраженіе въ повъсти "Запутанное дъло", благодаря которой онъ въ началь 1848 года попаль въ Вятку. И вотъ, вспоминая въ "За рубежемъ" пору молодости, тъ настроенія, подъ вліяніемъ которыхъ написалось "Запутанное дъло", Салтыковъ говоритъ:

"Изъ Францін, — разумѣется, не изъ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а изъ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и въ особенности Жоржъ-Зандъ—лилась въ насъ въра въ человъчество; оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ не позади, а впереди насъ".

Въ этомъ важномъ историческомъ свидѣтельствѣ драгоцѣнны не только факты, но и общій тонъ. Рѣчь какъ будто идетъ о политико-экономическихъ теоріяхъ, но на самомъ дѣлѣ воспоминанія расшевелили въ суровомъ сатирикѣ только память сердца. Тутъ не "борьба классовъ", а человъчество, не политическая экономія, а въра, и эта вѣра воспринята не сухо-логически, потому что факты и цифры неотразимы,—она возсіяла. И какъ характерно затѣмъ въ политическую экономію Луи-Блана огромнымъ клиномъ врѣзалась романистка Жоржъ-Зандъ. Но разъ люди серьезно мечтаютъ о наступленіи "золотого вѣка", то почему бы романистамъ и не играть первенствующей роли въ исторіи происхожденія этихъ мечтаній?

Необыкновенно яркое пробужденіе общественнаго чувства въ концѣ сороковыхъ годовъ сказалось на всѣхъ отрасляхъ литературной производительности эпохи. Тѣ же самые "люди сороковыхъ годовъ", которые прежде, въ тридцатыхъ годахъ, только и думали, что объ "абсолютахъ", о "святынѣ искусства", о "вѣчной красотѣ" и тому подобномъ, теперь до мозга костей проникаются "политикой", думами и размышленіями о томъ, справедливъ или несправедливъ существующій общественный строй, правильны или неправильны наши космогоническія представленія, нормальны или ненормальцы наши семейныя отношенія и т. д. Сообразно съ этимъ поворотомъ, рѣшительно вся молодая литература изъ фазиса эстетическаго переходитъ въ фазисъ общественно-политическій.

Все, что появилось въ срединѣ и концѣ сороковыхъ годовъ свѣжаго, убѣжденнаго и талантливаго, все это примкнуло къ новому движенію. Примкнулъ, во-первыхъ, Бѣлинскій со всѣмъ запасомъ своего страстнаго энтузіазма. Съ тою же восторженною энергіей, съ

которою "неистовый Виссаріонъ" когда-то требоваль отъ писателей служенія чистому искусству, онъ сталъ требовать отъ нихъ опредъленной общественной тенденціи. Это же требованіе соотношенія жизни и искусства выставилъ на своемъ знамени даровитый юноша, такъ рано погибшій для русской литературы—Валеріанъ Майковъ. Ярко и определенно примыкаль къ духу времени третій даровитый теоретикъ сороковыхъ годовъ-Искандеръ. Нужно припомнить силу вліянія Бѣлинскаго, неотразимое обаяние ума Искандера и горячую убъжденность Майкова, чтобы понять, до какой степени должны были подчиниться проповеди новыхъ теорій молодые таланты, чуткіе ко всему искреннему и убъжденному. И дъйствительно, какимъ-то совершенно стихійнымъ образомъ, сев молодые таланты, точно сговорившись и почти въ одинъ и тотъ же годъ, предстали предъ изумленною публикою съ рядомъ превосходныхъ произведеній, въ основъ которыхъ лежали широкія общественныя тенденціи. Явился Григоровичъ съ "Деревней" и "Антономъ Горемыкой", въ которыхъ впервые былъ показанъ человъкъ въ кръпостномъ мужикъ. Явился Тургеневъ съ "Записками охотника", въ которыхъ то же желаніе очеловѣчить мужика было проведено съ еще большею теплотою. Явились первыя стихотворенія на народныя темы Некрасова, бросившаго подъ новымъ вліяніемъ "мечты и звуки" и посвятившаго отнынъ свою музу народнымъ страданіямъ и психологіи народной души. Та же широкая общественная тенденція лежала въ основѣ двухъ талантливыхъ произведеній, задавшихся выясненіемъ семейныхъ отношеній-искандеровскаго "Кто виноватъ" и "Полиньки Саксъ" Дружинина. "Обыкновенная исторія" Гончарова, благодаря сухости авторскаго темперамента, является какъ бы проповъдью каррьеристской "дъловитости", но по намфреніямъ авторскимъ она должна была отразить собою "первое мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, не рутиннаго, живого дёла въ борьб'є съ всероссійскимъ застоемъ". Не особенно "передового" образа мыслей быль Писемскій, засѣвшій послѣ окончанія въ 1844 году университетскаго курса въ провинціи и занявшійся тамъ исключительно личною жизнью. Мало его и въ университет в занимали "идеи в в ка", а т в мъ бол в е въ провинціальной глуши. Но до такой степени эти "иден въка" просто въ воздухъ были разлиты, до такой степени ими была проникнута каждая журнальная статья и статейка, что даже Писемскій, совершенно въ сторонъ стоявшій отъ передового движенія, въ первомъ своемъ произведенінпревосходной "Боярщинъ", настолько ръзко поставиль вопросъ о свободъ любви, что цензура 1847 года, пропустившая "Кто виновать" и "Полиньку Саксъ", не пропустила "Боярщины", которая такъ-таки только въ следующее царствование и увидела светъ. Нужно ли много

говорить о томъ, насколько рѣшительно примыкали къ новому теченію "Вѣдные люди" Достоевскаго и "Запутанное дѣло" Салтыкова? Нѣтъ надобности удлинять нашъ перечень разными второстепенными произведеніями, повѣстями Дурова, Буткова, прозою Некрасова и т. д. О литературѣ того или другого періода судятъ по выдающимся произведеніямъ, а мы ихъ всѣ назвали и всѣ они убѣждаютъ насъ въ томъ, что одна волна захватила лучшую и талантливѣйшую часть литературы, что въ одномъ и томъ же направленіи работали всѣ молодые умы. Яркое выраженіе этого направленія мы находимъ въ стихотвореніи Плещеева "Впередъ", которое для насъ въ данномъ случаѣ имѣетъ значеніе историческаго документа. Только что выступившій на литературное поприще 22-хъ-лѣтній поэтъ съ буквальной точностью отразилъ въ своемъ стихотвореніи настроеніе молодой, нарождающейся литературы:

Впередъ! безъ страха и сомивнья, На подвигъ доблестный друзья! Зарю святого искупленья Ужъ въ небесахъ завиделъ я! Смелей! дадимъ другъ другу руки И смѣло двинемся впередъ, И пусть подъ знаменемъ науки Союзъ нашъ крѣпнетъ и растетъ! Жрецовъ грѣха и лжи мы будемъ Глаголомъ истины карать, И спящихъ мы отъ сна разбудимъ, И поведемъ на битву рать. Не сотворимъ себѣ кумира Ни на земль, ни въ небесахъ; За всв дары и блага міра Мы не падемъ предъ нимъ во прахъ. Провозглашать любви ученье Мы будемъ нищимъ, богачамъ И за него снесемъ гоненье, Простивъ озлобленнымъ врагамъ. Блаженъ, кто жизнь въ борьбъ кровавой, Въ заботахъ тяжкихъ истощилъ; Какъ рабъ ленивый и лукавый, Таланть свой въ землю не зарыль! Пусть намъ звъздою путеводной Святая нетина горитъ И, върьте, голосъ благородный Не даромъ въ мірь прозвучить. Внемлите-жъ, братья, слову брата, Пока мы полны юныхъ силъ, Впередъ! Впередъ! и безъ возврата, Что бъ рокъ вдали намъ не сулилъ!

Для современнаго читателя стихотвореніе это можетъ показаться собраніемъ общихъ мѣстъ. Но подставьте подъ туманныя выраженія стихотворенія выраженія болѣе точныя, подставьте увлеченіе тѣмъ "ученіемъ любви", которое къ намъ шло изъ Франціи, подставьте ненависть къ безобразіямъ тогдашняго строя общественной жизни, которою была проникнута вся молодая литература, а главное, подставьте юношескій энтузіазмъ и молодую вѣру въ неизбѣжное наступленіе новыхъ, лучшихъ временъ, и вы убѣдитесь, до какой степени горячій и искренній призывъ молодого поэта отразилъ въ себѣ міросозерцаніе всей молодой литературы, которая поэтому и заучивала съ восторгомъ стихотвореніе Плещеева.

Таковы общіе контуры эпохи, выразителемъ которой явился Бѣлинскій. Посмотримъ теперь какъ въ этихъ рамкахъ развивалась его индивидуальная жизнь и литературная дѣятельность.

I.

Ранніе годы.

Бѣлинскій родился 30 мая 1811 года ¹), въ только-что присоединенной къ Россіи финляндской крѣпости Свеаборгъ, гдѣ въ то время находился на службѣ его отецъ Григорій Никифоровичъ, младшій лекарь флотскаго экипажа. Сынъ священника села Бълыни, Нижне-Ло-

¹⁾ Когда настоящая статья печаталась въ "Русск. Богатствв" (1898), года рожденія Белинскаго не возбуждаль никакихь сомненій и только относительно дия его рожденія я высказывался следующими образомъ:

[&]quot;Считается совершенно неправильно, что точная дата дня рожденія Виссаріона Григорьевича не установлена. Вънаписанной для классическаго труда о Бълинскомъ А. Н. Пыпина біографической запискъ близкаго родственника Бълинскаго Д. П. Иванова, которая является главнымъ источникомъ для исторіи раннихъ лътъ жизни великаго критика, рожденіе его отнесено къ февралю 1810 года. Этому показанію А. Н. Пыпинъ придаетъ настолько значенія, что помѣщаетъ его въ текстъ, а въ примѣчаніи онъ дѣлаетъ такую оговорку, безусловно опровергающую дату Иванова:

[&]quot;Бфлинскій, кажется, считаль иначе время своего рожденія. Въ марть 1846 года онт пишеть къ В. П. Боткину за границу: "Мая 30, а по вашему, по-бусурманскому, іюня 11-го, стукнеть мнь 36 льть".

Совершенно непонятно, почему этому вполнѣ категорическому заявленію не должно быть придано рѣшающаго значенія. Знаеть же каждый человѣкъ, когда ему звать пріятелей на день своего рожденія".

Съ тѣхъ поръ, какъ были высказаны эти соображенія, въ печати появилось три документальныхъ сообщенія, которыя подтверждаютъ вполнѣ что Бѣлинскій родился именно 30 мая, а не въ февралѣ. Но зато годомъ рожденія по этимъ документамъ приходится признать не 1810, а 1811.

мовскаго увзда Пензенской губерніи, о. Никифора, Григорій Никифоровичь при поступленіи въ семинарію (пензенскую?) получиль отъ

Первое сообщеніе обнародовано еще въ юбилейномъ году. Сотрудникъ "Саратовскаго Дневника" Б. А. Марковичъ напечаталъ въ этой газетѣ (1898, № 113) слѣдующую замѣтку:

"Въ архивахъ пензенскаго дворянства находятся подлинные документы, которые должны измѣнить нѣкоторыя прежнія біографичесмія данныя о великомъ русскомъ критикѣ. Эти документы можно видѣть въ "Дѣлѣ о Бѣлинскомъ", составившемся вслѣдствіе ходатайства Бѣлинскаго о занесеніи его въ родословныя книги пензенскаго дворянства.

Прошеніе Бълинскаго помъчено 12 августа 1843 г.

Изъ этого "дѣла" устанавливается, во-первыхъ, что Бѣлинскій родился не въ 1810 году, какъ принято было считать, а въ 1811 году (30 мая). Дата устанавливается какъ формулярнымъ спискомъ отца Бѣлинскаго, такъ и ходатайствомъ послѣдняго (отецъ Бѣлинскаго былъ тогда лекаремъ вофлотѣ въ 7-мъ учебномъ экипажѣ) на имя Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Павловича о воспріятіи изъ купели Виссаріона. Въ дѣлѣ затѣмъ находится представленное самимъ Бѣлинскимъ подлинное отношеніе на имя его, отъ 11 іюня 1811 года, объ изъявленіи согласія Его Императорскаго Высочества на воспріятіе отъ купели Виссаріона.

Такимъ образомъ, Бълинскій былъ крестнымъ сыномъ Государя Цесаревича Россіи. Впрочемъ, это было извъстно и раньше, но вотъ что не было извъстно (?!) или, во всякомъ случать, составляетъ новость (?) въ обычныхъ представленіяхъ о Бълинскомъ—это исторія принадлежности его къ дво-

рянскому сословію.

Дъдомъ Бълинскаго былъ діаконъ изъ с. Белынь (между прочимъ, и дъло озаглавлено "Дъло о Белинскомъ", а не Бълинскомъ), нижне-ломовскаго уъзда, Пензенской губерніи. Сынъ его Григорій получилъ званіе доктора и долго служилъ во флоть, откуда перевелся на родину уъзднымъ лькаремъ, въ чинъ коллежскаго ассессора. Кромъ того, Григорій Бълинскій былъ награжденъ орденомъ св. Владиміра, что дало ему дворянство. Виссаріонъ, однако, не былъ занесенъ въ родословныя книги, и самъ въ 1843 г., по причинамъ, которыя подлежатъ еще выясненію (очевидно, въ связи съ женитьбой, С. В.), долженъ былъ возбудить объ этомъ ходатайство. Ходатайство составлено въ обычныхъ формальныхъ выраженіяхъ. Обоснованіе просьбы можно видъть лишь въ слъдующихъ строкахъ: "Я въ дворянскую книгу не внесенъ и на потомственное дворянство права не имъю, почему и на службъ нигдъ не состою",—но нельзя, конечно, вывести отеюда желаніе Бълинскаго поступить на государственную службу.

Подпись на этомъ ходатайствь, отъ 12 августа 1843 года, сдълана собственноручно Бълинскимъ въ слъдующихъ выраженіяхъ: "Неслужащій дворянинъ Виссаріовъ Григорьевъ, сынъ Бълинскій". Въ этомъ дълъ пришлось мнь увидъть и другую подпись Бълинскаго отъ 30 января 1848 года. Эта подпись—подъ распиской, выданной имъ петербургской полиціи о полученіи какой-то бумаги отъ пензенскаго депутатскаго собранія. Подпись уже неувъренная, написанная слабою, дрожащею рукою недалекаго отъ своей кончины Бълинскаго..."

начальства фамилію Бюлынскій. Другая прямая отрасль о. Никифора, по волѣ того же семинарскаго начальства, получила впослѣдствіи

Второе сообщеніе еще документальнье. Оно напечатано преподавате лемъ Межевого института Н. Волковымъ въ "Памитной книжкъ Константиновскаго Межевого института" за 1901—1902 г. (М. 1902). Въ 1838 г. директоромъ Межевого института былъ Сергъй Аксаковъ, въ домъ котораго Бълинскій, университетскій товарищъ Конст. Серг. Аксакова, былъ принятъ, какъ родной. Желая помочь бъдствовавшему тогда послъ закрытія "Телескопа" Бълинскому, С. Т. Аксаковъ устроилъ его учителемъ русскаго языка въ старшихъ классахъ института. Для этого потребовались документы, и Бълинскій представилъ слъдующее свидътельство:

"1829 года августа 10 дня мы, нижеподписавшіеся, Пензенской губернін, города Чембара и увзда онаго, благородные дворяне, симъ свидьтельствуемъ, въ томъ, что здешняго уезднаго штабъ-лекаря Григорія Никифоровича Бѣлинскаго, продолжавшаго служеніе въ званіи лекаря 20 августа 1810 г., а штабъ-лекаря 2 сентября 1816 г., сынъ Виссаріонъ, двиствительно, рожденный отъ него прошлаго 1811 года, мая 30 числа, который нигдь на службь еще не находился и опредьлень не быль, и нынь ему отъ роду 19-ый годъ, въ чемъ удостовъряя подписуемся: чембарскій уфздный предводитель и кавалеръ Мосоловъ, городничій маіоръ Холоповъ, увздный судья поручикъ и кавалеръ Мосоловъ, дворянскій заседатель Суряевъ, дворянскій засъдатель Мачинскій, чембарскій увздный стряпчій титулярный сов'ятникь Акинфій Васильевь, подполковникь и кавалеръ Конрадій Жилинскій, губерискій секретарь Евгеній Норовъ, гвардін прапорщикъ Степанъ Владыкинъ, надворный совътникъ Никонъ Щетивинъ, чембарскаго земскаго суда дворянскій заседатель Крымскій, титулярный советникъ Иванъ Поспеловъ, чембарского земского суда секретарь титулярный совътникъ Петръ Петровъ, сынъ Ивановъ, чембарскаго увзднаго суда секретарь титулярный советникъ Игнатій Семеновъ, сынъ Семеновъ, подпоручикъ и кавалеръ Матвей Пушкаревъ, губерискій секретарь Иванъ Сокольскій, губернскій секретарь Петръ Мачинскій, губернскій секретарь Василій Патрикеевъ, коллежскій секретарь Павелъ Апфенцъ, губернскій секретарь Өедоръ Агронскій, титулярный сов'ятникъ Тимофей Гороховскій, губернскій секретарь Никифоръ Борисовъ, сынъ Щегловъ, коллежскій регистраторъ Василій Григорьевъ, сынъ Семеновъ, титулярный совътникъ Яковъ Алексвевъ, сынъ Мухинъ. 1829 г. августа 30 дня сів свидательство Пензенской губернін, Чембарскаго увзда, у предводительскихъ дѣлъ явлено и въ книгу подъ № 44 записано: за предводителя увздный судья поручикь и кавалеръ Петръ Мосоловъ. Справилъ протоколисть Павелъ Цыпровскій".

Въ сборникъ "Памяти В. Г. Бълинскаго" (М., 1899) Пыпинъ напечаталъ документы, касающіеся пребыванія Бълинскаго въ московскомъ университеть, въ томъ числѣ прошеніе, поданное имъ въ университетъ 31 августа 1829 г. Оно начинается такъ: "Родомъ я штабъ-лекарскій сынъ, отъ роду имѣю 18 льтъ".

Значить, Бълинскій и самъ зналь, что родился въ 1811 г. Совершенно непонятно, почему онъ инсалъ Боткину, что 30 мая 1846 г. ему "стукнеть 36 лътъ", когда въ дъйствительности стукнуло 35.

фамилію Кантовъ 1). Бълинскимъ почему-то сталъ писаться одинъ только Виссаріонъ Григорьевичъ, и то уже когда былъ студентомъ. Учившійся у него въ пензенской гимназіи Буслаевъ зналъ его еще подъ фамиліей Бълынскій 2).

Изъ семинаріи Григорій Никифоровичъ перешелъ въ медикохирургическую академію, окончивъ курсъ которой былъ опредёленъ въ 1809 году во флотъ. Въ томъ же году женился онъ на дочери жившаго въ Кронштадтъ флотскаго офицера. Кромъ Виссаріона у него впослъдствіи было трое дътей: 2 мало удачныхъ сына—Константинъ 3) и Никаноръ и дочь Александра.

¹) См. "Одесскія Новости" 1897 г. № 4171, "Саратов. Листокъ" 1897 г. № 253, "Волынь" 1897 г. № 226 и др. газеты, перепечатавшія справку пензенскаго корреспондента "Свѣта" о находящихся въ живых родственникахъ Бѣлинскаго. Кромѣ дочери его, Ольги Виссаріоновны Бензи, корреспондентъ называлъ слѣдующихъ ближайшихъ родственниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянниковъплемянникъ Вѣлинскій въ Москвѣ; Ольга Константиновна Прозорова, рожденная Бѣлинская, въ Пензѣ; коллежск. сов. Павелъ Кирилловичъ Кантовъ въ Пензѣ; священникъ Керенскаго женскаго монастыря Іоаннъ Кирилловичъ Кантовъ.

²) А. И. Кирпичниковъ въ стать о Буслаев в. "Критико-біогр. Словарь" Венгерова, т. V, стр. 293.

³⁾ Нѣсколько интересныхъ свѣдѣній объ этомъ забитомъ нуждою и огромнымъ семействомъ бъдномъ чиновникъ сообщилъ г. Захарьинъ-Якунинъ въ "Истор. Въст." 1898 г. (№ 3). О заманчивой по нъкоторымъ "новымъ" подробностямъ статьв г. Захарына стоитъ сказать несколько словъ. Следуетъ предостеречь техъ, которые мало знакомы съ біографіею Бълинскаго, что этою статьею надо пользоваться съ величайшею осторожностью. Г. Захарынъ принадлежить къ числу техъ, къ сожаленію, теперь очень многочисленных авторовъ всякаго рода "Воспоминаній", которые никогда не задають себф труда провфрять самихъ себя изученіемъ предмета. Они полагаются исключительно на свою память, и событія, которыя случились 30-40 льтъ тому назадъ, излагаются, точно они произошли вчера, съ разговорами въ беллетристической формв. Все, что автору такихъ "воспоминаній" разскажеть какой-нибудь "старожилъ", заносится съ величайшей готовностью, безъ мальйшей попытки провырить разсказь, лишь бы онь быль эффектень и "занимателень" для любителей легкаго историческаго чтенія. Г. Захарьинъ доходить въ своей стать до крайних предълова такого легков рія. Не касансь фантастическихъ разсказовъ о Лермонтовъ, занесенныхъ г. Якунинымъ со словъ какихъ-то чембарскихъ старичковъ Шумскихъ, отмвчу, что многое изъ сообщаемаго пиъ со словъ разныхъ лицъ о Бълинскомъ есть истиная минологія. Вінцомъ этой минологіи является сцена смерти Білинскаго: "Когда въ III отдъленіи состоялось распоряженіе объ аресть (?) Бълинскаго, въ его квартиру, вечеромъ, явился жандармскій офицеръ и ньсколько нижнихъ чиновъ — и все это ворвалось примо въ кабинетъ-

Въ 1816 г. Григорій Никифоровичь оставиль морскую службу и переселился въ родной пензенскій край—увзднымъ лекаремъ въ Чембаръ. Въ Чембаръ и протекли дътство и отрочество Бълинскаго.

Историка литературы, привыкшаго приводить въ связь душевный обликъ писателя съ тою средою, изъ которой онъ вышелъ, не могутъ удовлетворить свёдёнія объ обстановке, давшей Белинскому первыя жизненныя впечатленія. Очень ужь великь контрасть между тёмь, что должно было выйти изъ Бѣлинскаго, и тѣмъ, что въ дѣйствительности изъ него вышло. Я въ данномъ случав совсвмъ не хочу говорить о разницѣ взглядовъ и идеаловъ, которая въ эпохи смѣны общественнаго міросозерцанія столь обычна даже въ людяхъ вполнъ однородныхъ по нравственному своему облику. Я не считаю, напримёръ, контрастомъ иронію судьбы, по которой какъ разъ въ ту самую осень 1831 г., когда Бълинскій-сынъ былъ исключенъ изъ университета за трагедію, бичевавшую дворянство, Белинскій-отець, получивь по службе дворянство, весь переполнился дворянскимъ чванствомъ самаго дурного тона. "Въ вашемъ домъ, —писалъ Виссаріону его пріятель, —обуяла всвхъ одна бользнь, только похожая на холеру, и болье всвхъ страждеть твой папенька: она извастна мна подъ именемъ тщеславія дворянства. Съ чиномъ коллежскаго ассессора водворилась она у васъ въ домъ". Не считаю я контрастомъ и коренную разницу взглядовъ

спальню, гдв лежаль, въ предсмертномъ уже бреду и въ полномъ безпамятствв, умирающій писатель... Близъ его постели была лишь его жена, недавно скончавшаяси Марья Васильевна, быль докторъ и маленькая дочь. И воть, едва только умирающій увидѣль въ дверяхъ головы нѣсколькихъ жандармовъ, онъ, въ безпамятствв, не узпаль ихъ—и принялъ за народъ... Быстро подвявшись въ постели, онъ оперся лѣвою рукою на свое смертное ложе, а правою сталъ жестикулировать—и говорить рѣчь къ народу... Но изъ молчанія и нѣмого ужаса своихъ невольныхъ палачей умирающій заключиль, что его не понимаеть народъ...

[—] Машенька! объясни имъ—они не понимаютъ меня!..—проговорилъ нѣсколько разъ Бѣлинскій, обращаясь къ своей, застывшей отъ ужаса, женѣ...

Офицеръ сдёлалъ знакъ жандармамъ—и они всё вышли изъ комнаты... Въ тотъ же день, какъ извёстно, генералъ Дуббельтъ донесъ, рапортомъ, графу Бенкендорфу, что "известный сочинитель Бёлинскій не могъ быть арестованъ, такъ какъ надъ нимъ совершается Судъ Божій".

Какой эффектный разсказъ и увы, какъ мало въ немъ правды! Никакого приказа объ ареств не состоялось, никакіе жандармы не врывались и инкакіе "невольные палачи" не леденвли отъ ужаса отъ рвчи Бълинскаго къ народу (двйствительно, произнесенной), потому что одна только жена и присутствовала при смерти Бълинскаго, наступившей не вечеромъ, а въ 6-мъ ч. утра. И какъ нехорошо, что г. Захарьинъ ссылается при этомъ на мертвую Марью Васильевну для подтвержденія своихъ лубочныхъ эффектовъ. Русская двйствительность изобилуетъ такими реальными эффектами, что, право, нвтъ надобности прибъгать къ эффектамъ выдуманнымъ...

между Бѣлинскимъ и его семьею по цѣлому ряду другихъ пунктовъ житейскаго кодекса морали. Это все въ порядкѣ вещей въ молодомъ обществѣ, духовная жизнь котораго неудержимо идетъ впередъ огромными шагами. Хочу же я подчеркнуть контрастъ не взглядовъ, а душевнаго склада. Ну, пусть бы у родныхъ Бѣлинскаго были мелкія и пошлыя воззрѣнія. Взгляды—дѣло наживное. А вотъ очень уже мало былъ похожъ Бѣлинскій на свою семью просто "по человѣчеству". Откуда взялась у него высота настроенія, съ дѣтскихъ лѣтъ составлявшая основную черту его характера, кто передалъ его душѣ тѣ "движенія необыкновенныя", присутствіе которыхъ онъ чувствовалъ въ своемъ сердцѣ, какъ только началъ сознавать себя? Это, вѣдь, уже дѣло не наживное: сердце надо получить по наслѣдству.

Отъ матери Бѣлинскій могъ наслѣдовать только ея вспыльчивость и неистовость, которыя, увы, всецѣло уходили на то, чтобы превращать домашнюю жизнь въ настоящій адъ. Перешедшій къ сыну страстный темпераменть этой воинственной женщины весь былъ обращенъ на дрязги, ссоры, попреки и т. д. Ужъ подлинно изъ одного и того же куска дерева и крестъ и лопата.

По отцу своему мать Бълинскаго была дворянка, го семья, очевидно, была бъдная и незначительная. Только-что окончившій курсъ младшій лекарь Бѣлинскій отнюдь не представляль собою скольконибудь завидной "партін". И если, темъ не менее, молодой лекарь послъ очень недолгаго знакомства, "отдавшись безкорыстно женскому кокетству", ръшился сдълать благосклонно принятое предложеніе, то очевидно, что и безприданница-невъста не представляла собой блестящей партіи. Въ семейныхъ преданіяхъ не уцѣлѣла даже дъвичья фамилія Марьи Ивановны Бълинской и объ родственникахъ съ материнской стороны никогда неть речи въ письмахъ, воспоминаніяхъ и другихъ данныхъ о семейныхъ дѣлахъ Виссаріона Григорьевича. Но скромность собственнаго родословія и "скудныя средства столичной среды", гдв она выросла, не мвшали женв лекаряпоповича при семейныхъ стычкахъ бросать мужу въ лицо его недворянское происхождение и въ этомъ находить новый матеріалъ для обильныхъ и безъ того попрековъ 1).

Мать Бѣлинскаго отнюдь нельзя было назвать злою. Не будучи нѣжною женою, она дѣтей по-своему очень любила и, напримѣръ, пич-кала ихъ сверхъ мѣры всяческою ѣдою. Но невыносимая сварливость и мелочность исполненной "офицерской спеси" хозяйки дома до того

¹⁾ Щ., въ газетѣ Погодина "Русскій" 1868 г. № 15 (фельетонъ). Очерки, т. І.

измучила домашнихъ, что, всею душою привязывавшійся ко всякому сколько-нибудь нравившемуся ему человѣку, Виссаріонъ не находиль въ себѣ никакихъ нѣжныхъ чувствъ по отношенію къ собственной матери.

Свѣдѣнія объ отцѣ Бѣлинскаго въ общемъ гораздо болѣе благопріятны, но едва ли отличаются точностью. Такъ, г-жа Щ., довольно близкая родственница Григорія Никифоровича, дала портретъ его, въ которомъ, думается, гораздо больше желанія объяснить литературную дѣятельность Бѣлинскаго-сына, чѣмъ дѣйствительныхъ чертъ умственной физіономіи скромнаго уѣзднаго лекаря, жестоко зашибавшагося виномъ.

"Это быль человѣкъ съ насмѣшливымъ умомъ", разсказываетъ г-жа ІЦ. 1), "беззаботнымъ, честнымъ и прямымъ характеромъ, часто жертвовавшій общественными и семейными выгодами своему юмористическому направленію, отчасти либеральному, отчасти семинарскому. Онъ вынесъ изъ школы идеи, заброшенныя первою французскою революціей, и здравый взглядъ на литературу. Отдавая должную дань почтенія европейскимъ талантамъ первой величины, начиная съ Шиллера и проч., онъ довольно мѣтко и цинически-добродушно смѣялся надъ гордившимся своими зачерствѣлыми предразсудками провинціальнымъ обществомъ Чембара... Идеи отца имѣли большое вліяніе на религіозное и нравственное развитіе Виссаріона".

Выходить какой-то чембарскій Вольтерь. Нетрудно, однако, разрушить это крайне утрированное изображеніе, особенно, если припомнить, что разсказъ г-жи ІЦ. возникъ по приглашенію Погодина. Погодинь, отправляясь въ 1867 г. на парижскую выставку, встрѣтился въ вагонѣ съ родственницею знаменитаго "демагога" и внесъ ея разсказъ въ свои путевыя замѣтки, напечатанныя имъ въ газетѣ "Русскій". Уже не говоря о томъ, что разсказъ, котя и письменно изложенный г-жей ІЦ., вѣроятно "редактированъ" Погодинымъ, несомнѣнно, что весь разсказъ написанъ спеціально для того, чтобы объяснить, откуда взялось направленіе Бѣлинскаго, которое и Погодину и г-жѣ ІЦ. извѣстно, только съ той стороны, что оно было крайне-"демагогическое" и антирелигіозное. И вотъ—ретроспективно и подъ несомнѣннымъ вліяніемъ авторитета Погодина—разсказчица, которой было 16 лѣтъ, когда умеръ Григорій Никифоровичъ. гово-

¹⁾ Судя по тому, что г-жа Щ. говорить о своемь родномь селѣ Владыкинѣ, слѣдуеть предположить, что она изъ семьи богатаго помѣщика Владыкина который быль женать на племянницѣ Григорія Никифоровича.

ритъ о сѣменахъ французской революціи. Мыслимо ли, чтобы чембарская барышня тридцатыхъ годовъ и даже не барышня, а дѣвочка въ 16 лѣтъ, могла бы имѣтъ какое-нибудь точное представленіе о подобныхъ матеріяхъ? Но ретроспективность разсказа всего яснѣе изъ того, что ни Погодинъ, ни г-жа Щ., не имѣютъ никакого понятія о томъ, что "демагогомъ"-то Бѣлинскій сталъ подъ конецъ жизни. Не только когда Бѣлинскій жилъ въ Чембарѣ, но и цѣлую половину своей дѣятельности онъ имѣлъ мало общаго съ "сѣменами французской революціи". А что касается религіозности, то Бѣлинскій при жизни отца никакимъ скептицизмомъ не отличался и какъ въ юношеской драмѣ своей, такъ и въ критическомъ первенцѣ своемъ— "Литературныхъ мечтаніяхъ" восторженно говорилъ о "единомъ, вѣчномъ Богѣ". Ретроспективность разсказа г-жи Щ. настолько велика, что она заставляетъ Бѣлинскаго въ 1836—1837 гг. восторженно распѣвать марсельезу. Въ эти годы Бѣлинскій прямо ненавидѣлъ все французское, а революціонное въ особенности.

Въ надлежащія границы вопросъ о томъ, насколько могъ Бѣлинскій-отецъ оказать вліяніе на сыпа, вводить рукописная біографическая записка уже разъ названнаго Д. П. Иванова. Основываясь на ней, А. Н. Пыпинъ говоритъ: "Въ религіозныхъ предметахъ Григорій Никифоровичь, какъ говорятъ, пользовался репутаціей гоголевскаго Аммоса Федоровича, и все грамотное населеніе города и уѣзда обвиняло его въ безбожіи, нехожденіи въ церковь, въ чтеніи Вольтера,—съ которымъ онъ, впрочемъ, соединялъ Эккартсгаузена и Юнгъ-Штиллинга". "Недовѣрчивый и подозрительный, а вмѣстѣ лѣнивый и безпечный, онъ разошелся съ уѣзднымъ обществомъ; не находя и дома разумнаго сочувствія, онъ окончательно предался пьянству и мало заботился о семьѣ".

Вотъ это совсёмъ другое дёло. Аммосъ Өедоровичъ, почитывающій мистическія книги въ перемежку съ повёстями Вольтера (только повёсти его и имёются въ переводё, а чтобы Григ. Ник. зналъ пофранцузски—ни изъ чего не видно), неуживчивый, пьяный человёкъ, избёгающій общества и потому прослывшій "безбожникомъ"—въ этихъ предёлахъ портретъ можетъ быть признанъ правдоподобнымъ. Но съ "сёменами французской революціи" тутъ не много общаго.

Еще тономъ ниже то, что сообщаетъ о Бѣлинскомъ-отдѣ Лажечниковъ, посѣтившій Чембаръ въ 1823 году и тогда же завязавшій отношенія съ Бѣлинскимъ-сыномъ. Лажечниковъ перегибаетъ лукъ въ противоположную сторону и не только не усматриваетъ никакой связи между дѣятельностью Бѣлинскаго и атмосферой отцовскаго дома, а прямо считаетъ ее фактомъ діаметрально-противоположнаго значенія:

"Общество, которое дитя встрвчало у отца, были городскіе чиновники, большею частью чины полицін, съ которыми увздный лекарь имълъ дъло по своей должности (отъ которой ничего не наживалъ). Общество это видълъ онъ на-распашку, часто за ерофеичемъ и пуншемъ, слышалъ ръчи, вращавшіяся болье всего около частныхъ интересовъ, приправленныхъ цинизмомъ взяточничества и мерзкихъ продълокъ, видълъ во-очію неправду и черноту, незамаскированныя боязнью гласности, незакрашенныя лоскомъ образованности, видълъ н купленное за ведерко крестное целование понятыхъ и свидетельствованіе разнаго рода побоевъ и пр., и пр. Душа его, въ которую пала съ малолътства искра Божія, не могла не возмущаться при слушанін этихъ річей, при виді разнаго рода отвратительныхъ сценъ. Съ раннихъ лътъ накипъла въ ней ненависть къ обскурантизму, ко всякой неправдъ, ко всему ложному, въ чемъ бы они ни проявлялись, въ обществъ или въ литературъ. Оттого-то его убъжденія перешли въ его плоть и кровь, слились съ его жизнію. Только съ жизнью онъ и покинулъ ихъ. Прибавьте къ безотрадному зрѣлищу гнилого общества, которое окружало его въ малольтствь, домашнее горе, бъдность, нужды, въчно его преслъдовавшія, въчную борьбу съ ними, и вы поймете, отчего произведенія его иногда переполнялись желчью, отчего, въ откровенной беседь съ нимъ, изъ наболевшей груди его вырывались грозно-обличительныя рачи, которыя, казалось, душили eгo" 1).

Д. П. Ивановъ въ своей запискъ протестуетъ противъ этой мрачной характеристики, доказывая, что Григорій Никифоровичь держался вдали отъ чембарскаго чиновничества и полиціи и самъ во всякомъ случать быль безукоризненно-честный человть (послідняго, впрочемъ, не отрицаетъ и Лажечниковъ). Такъ какъ въ разсказть Лажечникова, вообще, много неточностей 2), то Пыпинъ склоненъ въ данномъ случать стать на сторону Иванова. А между тты противорти весьма легко примирить, если, на основаніи записки самого же Иванова и разсказа г-жи Щ., разбить чембарскую жизнь Бълинскагоотца на двт половины. И по разсказу Иванова выходитъ, что отчужденіе Григорія Никифоровича нарастало постепенно, что въ началт онъ и практику хорошую имъль, и съ обществомъ чембарскимъ ладилъ и только "подъ конецъ стали разстраиваться отношенія Бълинскаго-отца съ чембарскимъ обществомъ". То, что Лажечниковъ со-

⁴) Лажечниковъ, Соч. изд. 1884 г., стр. 271—72.

²⁾ Это онъ первый, ссылаясь, едва ли правильно, на показаніе смотрителя чембарскаго училища Грекова, пустиль въ обращеніе совершенно певѣрное свѣдѣніе, что отецъ Бѣлинскаго—уроженецъ Польши или западныхъ губерній.

общаеть,—относится къ началу 20-хъ годовъ, когда онъ посѣтилъ Чембаръ; то, что противопоставляетъ Ивановъ,—относится къ началу 30-хъ годовъ, и никакого, слѣдовательно, противорѣчія тутъ нѣтъ.

Но помимо чисто фактической стороны дёла, въ воспоминаніяхъ Лажечникова совсёмъ другое важно и интересно. Допуская даже, что за давностью времени онъ былъ неточенъ въ мелочахъ, никакъ нельзя допустить, чтобы онъ былъ неточенъ въ общемъ тонѣ, который, несомнѣнно, создался подъ вліяніемъ разговоровъ съ Бѣлинскимъ. Лажечниковъ былъ близокъ съ Бѣлинскимъ и, напр., очень хорошо былъ освѣдомленъ о благотворномъ вліяніи, оказанномъ на него учителемъ пензенской гимназіи Поповымъ (о немъ см. дальше). Мыслимо ли допустить, что Бѣлинскій, постаравшійся выяснить Лажечникову значеніе, которое имѣлъ для него Поповъ, умолчалъ бы о добромъ вліяніи собственнаго отца?

Пора, вообще, обратиться къ свидътельству самого Бълинскаго для того, чтобы рашить окончательно, обязань ли онъ чамъ нибудь серьезнымъ своему отцу. Если я до сихъ поръ останавливался на свидътельствахъ постороннихъ лицъ, то единственно потому, что эти свидътельства могутъ ввести въ заблуждение. Такъ, автору книжки о Бълинскомъ въ "Біографической библіотекъ" Павленкова—М. А. Протопопову показалось, что въ данномъ случав "въ Чембарв разыгралось нъчто въ родъ "горя отъ ума въ миніатюръ", что "Григорій Никифоровичь должень быль порвать съ увзднымь обществомъ всь связи, кромъ оффиціальныхъ", потому что "былъ обвиненъ въ безбожін и вольтерьянствь", и что если онъ прибыть "къ историческиосвященному и всероссійскимъ опытомъ оправданному источнику утъшенія", т. е. запиль, то это потому, что онъ "быль лишенъ поддержки". Но можно ли допустить хотя на одну минуту, чтобы этому странному вольтерьянцу, порвавшему всё связи, кромё оффиціальныхъ, казалось бы всего менве мыслимыхъ при вольтерьянствв и безбожін, можно ли допустить, говорю я, чтобы въ "поддержкь", замьненной виномъ, отцу отказалъ бы старшій сынъ? Виссаріонъ поражалъ своимъ раннимъ развитіемъ, когда былъ двинадцатилитнимъ мальчикомъ, а лътъ 16-17 это былъ вполнъ сформировавшійся пламенный энтузіасть, и имьй, дьйствительно, положеніе Григорія Никифоровича что-нибудь общее съ "горемъ отъ ума", кто, какъ не бурный Виссаріонъ, оказаль бы отцу самое восторженное сочувствіе? А вотъ этого-то сочувствія ніть и сліда, кромі, конечно, тіхь случаевъ, когда въ столкновеніяхъ Григорія Никифоровича съ его невыносимо-сварливой и мелочной женой "тайныя симпатіи Виссаріона", по свидътельству Иванова, "принадлежали отцу". По свидътельству той же г-жи Щ., которая столь неудачно открыла въ запившемъ

безъ всякихъ высокихъ причинъ Григоріи Никифоровичь, "съмена французской революціи", Виссаріонъ "къ родному отцу былъ холоденъ, почти враждебенъ". Позднъе, "бывши уже гимназистомъ, Виссаріонъ декламировалъ свою ненависть къ отцу отчаянно-восторженными возгласами героевъ Шиллера". Студентомъ Виссаріонъ писалъ брату Константину объ отцъ: "Если онъ страдалъ и теперь страдаеть-это отъ самого себя; онъ есть лютьйшій врагь, мучитель и тиранъ самого себя; не люди, а самъ онъ виноватъ въ своихъ несчастіяхъ" 1). Полагаю, что эта оцѣнка, одна изъ цѣлаго десятка такихъ же характеристикъ, разбросанныхъ въ перепискъ Бълинскаго, дълаетъ совершенно праздными всякія старанія превратить Григорія Никифоровича въ какую-то жертву высокаго строя мысли. Въ перепискъ Бълинскаго есть не мало мъстъ, гдъ онъ симпатично отзывается объ отцъ, видитъ въ немъ хорошіе задатки и вообще человъка, несмотря на всъ свои недостатки и часто недостойные поступки, въ основъ все-таки порядочнаго. Но нигдъ ни единаго намека нътъ на страдание за пдею, которое въ Виссарионъ нашло бы не сочувствіе, не отзвукъ, а прямо изступленное коленопреклоненіе.

Окончательный итогъ того, чёмъ онъ былъ обязанъ отчему дому, Бёлинскій выразиль въ письмахъ къ Боткину въ 1839 г. и этотъ общій выводъ не нуждается ни въ какихъ комментаріяхъ. Бёлинскій, въ которомъ потребность любви и привязанности были настолько сильны, что онъ привязался "сыновней любовью" къ дому своего двоюроднаго брата Иванова, о жизни своей въ собственной семьъ сообщаетъ слѣдующее, связывая это съ однимъ изъ своихъ свойствъ, особенно его мучившимъ:

"Одно меня ужасно терзаетъ: робость моя и конфузливость не ослабъваютъ, а возрастаютъ въ чудовищной прогрессіи. Нельзя въ люди показаться... истинное Божіе наказаніе! Это доводитъ меня до смертельнаго отчаннія. Что это за дикая странность? Вспомнилъ я разсказъ матери моей. Она была охотница рыскать по кумушкамъ... Я, грудной ребенокъ, оставался съ нянькою, нанятою дѣвкою; чтобъ я не безпоконлъ ее своимъ крикомъ, она меня душила и била. Можетъ быть—вотъ причина. Впрочемъ, я не былъ груднымъ: родился я больнымъ при смерти, груди не бралъ и не зналъ ея... сосалъ я рожокъ, и то, если молоко было прокислое и гнилое—свѣжаго не могъ брать. Потомъ отецъ меня терпѣть не могъ, ругалъ, унижалъ, придпрался, билъ нещадно и илощадно—вѣчная ему память. Я въ семействѣ былъ чужой. Можетъ быть—въ этомъ разгадка дикаго явленія. Я просто

¹) "Рус. Ст." 1876 г., № 2, стр. 333.

боюсь людей; общество ужасаеть меня". Еще печальнье другое место изъ переписки съ Боткинымъ въ томъ же 1839 году:

"Имъть отца и мать для того, чтобы смерть ихъ считать моимъ освобождениемъ, следовательно, не утратою, а скоре пріобретеніемъ, хотя и горестнымъ; имъть брата и сестру, чтобы не понимать, почему и для чего они мив брать и сестра, и еще брата, чтобы быть привязаннымъ къ нему какимъ-то чувствомъ состраданія—все это не слишкомъ утвшительно" і).

Могутъ ли какія бы то ни было оговорки уничтожить значеніе этихъ страшныхъ словъ? Вспомнимъ еще, что они писались и всколько лътъ послъ смерти родителей, а человъкъ при воспоминаніяхъ о прошломъ всегда склоненъ черное отметать и помнить одно только свѣтлое.

И вотъ, ознакомившись со всеми "горестными обстоятельствами нашего несчастного семейства", какъ выразился Белинскій въ письме къ брату Константину 2), и принявъ во внимание душевное ничтожество, именно душевное, а не умственное, его братьевъ и сестры, мы снова должны себѣ задать вопросъ: какъ могъ выйти изъ такой среды Бълинскій? Даже совершенно несоотвътствующее дъйствительности превращение Григорія Никифоровича въ мученика за свой скоптицизмъ и критическое отношение не объясняетъ того, что составляеть главную силу Бѣлинскаго-восторгь и жажду активнаго противодъйствія. Кто передаль ему эти основныя качества его души?

Отвътъ, какъ мнъ кажется, даютъ нъсколько строкъ въ воспоминаніяхъ о семь Бълинскаго:

"Дъдъ Виссаріона, о. Никифоръ, выростивъ дътей, провелъ остатокъ жизни въ молитвъ; въ преданіяхъ семьи осталась почтительная память о его благочестивой жизни; его считали праведникомъ. Удалившись отъ своихъ, онъ жилъ въ кельъ аскетическою жизнью" 3).

Вотъ это настоящій источникъ духовнаго облика Бѣлинскаго. Праведникъ-дёдъ возродился въ праведникё-внуке, какъ ни странна съ перваго взгляда связь между аскетомъ-монахомъ и "разрушителемъ отжилыхъ върованій". Но это противорьчіе поверхностное и никакого внутренняго противоръчія въ себъ не заключаетъ. Важно не содержаніе, а общій строй, душевный типъ, степень воодушевленія и жажды подвига. Запасъ и свойства идеализма всегда одни и тъ же въ человъчествъ и условія времени вліяють только на проявленіе. Эволюціонирують формы, но не сущность. Дідь пошель въ келью, внукъ остался въ міру и прослыль "разрушителемъ". Но порывъ къ тому, въ чемъ каждый видълъ спасенье души, въ нихъ одинъ и

⁴) Пыпинъ, т. І, стр. 37, и ІІ, стр. 39, 40. ²) "Рус. Ст.", т. XV, стр. 339. ³) Пыпинъ, т. І, стр. 7.

тъ же. Различны пути, по которымъ шли дѣдъ и внукъ, но направлялись они къ одной и той же цѣли—къ исполненію того, что каждый изъ нихъ считалъ священнымъ завѣтомъ. Дѣдъ, конечно, не зналъ мукъ сомнѣній, не переживалъ трагедіи поисковъ опредѣленнаго идеала. На его долю выпало счастіе непосредственной, ясной вѣры. Но и вѣра внука въ тѣ моменты, когда онъ приходилъ къ опредѣленному выводу, была не менѣе ясна. И его душа въ эти моменты сладко замирала при сознаніи, что ему открывается смыслъ жизни, и его душа наполнялась истинно-молитвеннымъ восторгомъ. Онъ славословилъ съ неменьшею убѣжденностью, чѣмъ дѣдъ, и экстазъ его статей и писемъ не уступалъ экстазу молитвъ и каноновъ дѣда.

Бълинскій научился грамотъ у нъкоей Ципровской, дочери мъстнаго чиновника. Латыни его нъсколько научилъ отецъ, а затъмъ онъ поступиль въ только что открывшееся въ Чембар в увздное училище, гдъ быстро выдвинулся своимъ раннимъ развитіемъ. Но, конечно, не чембарскимъ педагогамъ, въ числъ которыхъ, впрочемъ, смотритель училища Грековъ былъ человъкъ очень хорошій, обязанъ былъ этимъ Бѣлинскій. Педагогія была самая примитивная, съ одной стороны основанная на жестокомъ драньт, а съ другой-на предоставленіи ученикамъ полнъйшей свободы. Такъ случалось въ иные лътніе дни, что учителя въ учебные часы бросали учениковъ и устраивали попойку, а ученики цёлымъ классомъ отправлялись купаться. Умственное развитіе Бѣлинскаго шло, главнымъ образомъ. подъ вліяніемъ чтенія. Еще ученикомъ увзднаго училища Бълинскій перечиталъ всю русскую литературу XVIII и начала XIX века и не только перечиталь, но и превосходно усвоиль и, какъ это всегда бываеть въ подобныхъ случаяхъ страстнаго увлеченія чёмъ-нибудь, самъ очень рано сталъ пробовать свои силы на литературномъ поприщъ. Въ редензіи на плохіе стихи Коптева Бълинскій 1) вспомнилъ училищные годы:

"Еще будучи мальчикомъ и ученикомъ увзднаго училища, я въ огромныя кипы тетрадей неутомимо, денно и нощно, и безъ всякаго разбора, списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Сумарокова, Державина, Хераскова, Петрова, Станевича, Богдановича, Максима Невзорова, Крылова и другихъ; я илакалъ, читая "Бъдную Лизу" и "Марьину Рощу", и вмънялъ себъ въ священньйшую обязанность бродить по полямъ при томномъ свътъ луны, съ понурымъ лицомъ à la Эрастъ Чертополоховъ. Природа миъ

¹⁾ Соч., по изд. Венгерова, т. П, стр. 172—173.

дала самое чувствительное сердце и сдёлала меня поэтомъ, ибо, еще будучи ученикомъ уёзднаго училища, я писалъ баллады и думалъ, что онё не хуже балладъ Жуковскаго, не хуже "Раисы" Карамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума".

Такой ученикъ не могъ не броситься въ глаза всякому скольконибудь внимательному наблюдателю. Когда Лажечниковъ въ 1823 г. ревизовалъ чембарское училище, онъ сразу отличилъ Бѣлинскаго:

"Во время дѣлаемаго мною экзамена, выступиль передо мною, между прочими учениками, мальчикъ лътъ 12, котораго наружность съ перваго взгляда привлекла мое вниманіе. Лобъ его былъ прекрасно развить, въ глазахъ свътился разумъ не по лътамъ; худенькій и маленькій, онъ, между тімь, на лицо казался старіве, чімь показываль его рость. Смотрёль онъ серьезно. Такимъ вообразиль бы я себъ ученаго доктора между позднъйшими нашими потомками, когда, по предсказаніямъ науки, измельчаетъ родъ человъческій. На всѣ дѣлаемые ему вопросы онъ отвъчалъ такъ скоро, легко, съ такою увъренностію, будто налеталь на нихъ, какъ ястребь на добычу (отчего я туть же прозваль его ястребкомь), и отвычаль, большею частію, своими словами, или прибавляя то, чего не было даже въ казенномъ руководствъ, -- доказательство, что онъ читалъ и книги, не положенныя въ классахъ. Я особенно занялся имъ, бросался съ нимъ отъ одного предмета къ другому, связывая ихъ непрерывною ценью, и, признаюсь, старался сбить его. Мальчикъ вышель изъ труднаго испытанія съ торжествомъ. Это меня пріятно изумило, также и то, что штатный смотритель (Авр. Грековъ) не конфузился, что его ученикъ говорить не слово въ слово по учебной книжкъ (какъ я привыкъ видъть и съ чъмъ боролся не мало въ другихъ училищахъ). Напротивъ, лицо добраго и умнаго смотрителя сіяло радостію, какъ будто онъ видълъ въ этомъ торжествъ собственное свое. Я спросилъ его, кто этотъ мальчикъ. "Виссаріонъ Бѣлинскій, сынъ здѣшняго штабълекаря", сказаль онъ мнв. Я поцвловаль Белинского въ лобъ, съ душевною теплотой привътствоваль его, туть же потребоваль изъ продажной библіотеки какую-то книженку, на заглавномъ листв которой подписаль: "Виссаріону Бѣлинскому за прекрасные успѣхи въ ученіи" (или что-то подобное) отъ такого-то, тогда-то. Мальчикъ принялъ отъ меня книгу безъ особеннаго радостнаго увлеченія, какъ должную себъ дань, безъ низкихъ поклоновъ, которымъ учатъ бъдняковъ съ малолѣтства" ¹).

Весьма возможно, что въ этомъ эфектномъ воспоминаніи есть своя доля ретро**с**пективности и едва ли всѣ детали исторически

¹⁾ Лажечниковъ, Сочиненія т. XII, стр. 269—70.

точны. Но общій тонъ впечатлінія, произведеннаго на изумленнаго ревизора, повидимому, переданъ точно: всі дальнійшія отношенія Лажечникова къ Білинскому показывають, что онъ хорошо запомниль "ястребка" и почувствоваль къ нему искренній интересъ.

Въ 1825 г. Бѣлинскій поступиль въ пензенскую гимназію, въ то время состоявшую всего изъ четырехъ высшихъ классовъ. Гимназія находилась въ томъ же патріархальномъ періодѣ, какъ и чембарское училище. Въ наше время кажутся чѣмъ-то совершенно анекдотичнымъ многія подробности, сообщаемыя о пензенской гимназіи 20-хъ годовъ тѣмъ же директоромъ пензенскихъ училищъ и гимназіи Лажечниковымъ, воспоминанія котораго являются главнымъ біографическимъ матеріаломъ и для гимназическаго періода жизни Бѣлинскаго. Вотъ, напр., впечатлѣнія его перваго посѣщенія пензенской гимназіи:

"Въ гимназію пришелъ я въ 10 часовъ утра. Еще въ передней послышались мив дикіе голоса и между ними крики: ура! Только что я хотѣлъ войти въ классную комнату, какъ передъ моимъ носомъ распахнулась дверь; ватага гимназистовъ хлынула черезъ нее и едва не сшибла меня съ ногъ. Школьники несли на рукахъ учителя русской словесности, въ какомъ положеніи—можете догадаться.—Что это вы дѣлаете?—спросилъ я ихъ.—"Мыши кота погребаютъ", отвѣчали они. —Какія мѣры ни употреблялъ я, чтобы привести этого господина на правый путь, а по своимъ способностямъ онъ этого заслуживалъ—поселилъ его подлѣ себя, пригласилъ раздѣлить со мною хлѣбъ-соль, старался ввести въ свой кружокъ—ничто не помогало. Бывало, чѣмъ свѣтъ накинетъ на себя свой дырявый ситцевый халатъ и въ туфляхъ на босую ногу бѣжитъ къ струямъ россійской отуманивающей ипокрены и потомъ заѣдаетъ ихъ солеными огурцами. Въ другихъ классахъ ни одного учителя, ни одного ученика" 1).

Разсказъ Лажечникова относится къ началу 20-хъ годовъ. Когда поступилъ Бѣлинскій, порядки въ гимназін, главнымъ образомъ, благодаря стараніямъ Лажечникова, отчасти уже измѣнились къ лучшему 2). Но, конечно, сколько-нибудь коренныхъ измѣненій 3—4 года съ собою принести не могли и въ общемъ гимназическое преподаваніе не отразилось бы ничѣмъ существеннымъ на исторіи духовнаго развитія Бѣлинскаго, если бы среди учителей не нашелся одинъ, весьма мало похожій на остальныхъ своихъ товарищей. Это былъ молодой, недавно кончившій казанскій университеть преподаватель естественной исторіи — Михаилъ Михайловичъ Поповъ. О степени уваженія и благо-

¹⁾ Тамъ же, стр. 263.

²) Ср. Зеленецкій, ІІ. П. Историческій очеркъ пензенской 1 гимназіп съ 1804 по 1871 г. Пенза, 1889.

дарности, которыя питаль къ Попову Бѣлинскій, можно судить по письму, которое Бѣлинскій написаль ему, уже будучи студентомь, въ 1830 г. Со свойственною ему способностью отдаваться каждому настроенію со всею полнотою восторженной души своей, бывшій ученикь писаль недавнему учителю:

"Благородный человѣкъ, скажите, чѣмъ я могу вамъ заслужить? Столько ласкъ, столько вниманія! Если моя къ вамъ признательность, мое безпредѣльное уваженіе, искреннее чувство любви имѣютъ въ глазахъ вашихъ хотя нѣкоторую цѣну, то позвольте увѣрить васъ, что я оныя будувѣчно хранить въ душѣ моей, буду ими гордиться Умѣть цѣнить и уважать такого человѣка, какъ вы—есть достоинство; заслужить отъ васъ вниманіе—есть счастіе. Строки сіи не суть слѣдствіе лести; нѣтъ: это изліяніе души тронутой, сердца, исполненнаго благодарности: чувства мои неподдѣльныя: они чисты и благородны, какъ мысль о томъ, кому посвящаются. Для меня нѣтъ ничего тягостнѣе, ужаснѣе, какъ быть обязаннымъ кому-либо: вы дѣлаете изъ сего исключеніе, и для меня ничего нѣтъ пріятнѣе, какъ изъявлять вамъ мою благодарность" 1).

Обѣщаніе "вѣчно хранить" чувство благодарности къ Попову не было риторическимъ преувеличеніемъ. И если кое-что въ письмѣ 30-го года можно отнести на счетъ юношеской восторженности Бѣлинскаго, на счетъ того, что среди пензенскихъ "котовъ" и педантовъ Поповъ долженъ былъ ему показаться какимъ-то лучезарнымъ явленіемъ, то вотъ тѣ же чувства въ письмѣ отъ 1839 г. Въ 1839 г. Бѣлинскій уже до извѣстной степени держалъ въ своихъ рукахъ скипетръ руской критики и достаточно насмотрѣлся всяческихъ выдающихся людей. И тѣмъ не менѣе воспоминаніе о Поповѣ его умиляло. "Попросите г. Владиславлева", пишетъ онъ Панаеву, "засвидѣтельствовать мое почтеніе М. М. Попову, моему бывшему учителю, который во время оно много сдѣлалъ для меня и живая память о которомъ никогда не изгладится изъ моего сердца" 2).

Этихъ отзывовъ, включающихъ Попова въ число лицъ, наиболѣе содѣйствовавшихъ духовному развитію Бѣлинскаго, совершенно достаточно, чтобы приковать къ себѣ вниманіе изслѣдователя и ввести его въ кругъ людей, имена которыхъ исторія русской культуры должна занести на свои страницы съ подобающею благодарностью. Если мы обратимся къ тому письму, которое Поповъ въ концѣ 50-хъ годовъ написалъ Лажечникову 3) и въ которомъ онъ собралъ всѣ свои воспоминанія о Бѣлинскомъ-гимназистѣ, то увидимъ, что По-

¹⁾ Лажечниковъ, соч. т. XII, стр. 280.

²⁾ Панаевъ, Воспоминанія, по изд. 1876 г., стр. 3.

³⁾ Оно вошло въ составъ воспоминаній Лажечникова.

повъ виолив заслужилъ восторженную благодарность Бѣлинскаго. Письмо ярко характеризуетъ не только ученика, но и учителя.

Собственно учился Бѣлинскій у Попова только въ два послѣдніе года своего четырехлѣтняго пребыванія въ гимназіи. Но черезъ одноклассника своего, племянника Попова, они близко познакомились почти съ самаго поступленія въ гимназію Бѣлинскаго. Раннее развитіе Бѣлинскаго сразу бросилось Попову въ глаза, и онъ въ бесѣдѣ съ нимъ сталъ находить истинное удовольствіе:

"Онъ бралъ у меня книги и журнали, пересказывалъ мив прочитанное, судилъ и рядилъ обо всемъ, задавалъ мив вопросъ за вопросомъ. Скоро я полюбилъ его. По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ онъ былъ неровный мив, но не помию, чтобъ въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ.

Домашнія бесёды наши продолжались и послё того, какъ Бёлинскій поступиль въ высшіе классы гимназін. Дома мы толковали о словесности; въ гимназіи онъ, съ другими учениками, слушалъ у меня естественную исторію. Но въ казанскомъ университеть я шель по филологическому факультету, и русская словесность всегда была моей исключительной страстью. Можете представить себъ, что иногда происходило въ классъ естественной исторіи, гдъ передъ страстнымъ, еще молодымъ въ то время, учителемъ сиделъ такой же страстный въ словесности ученикъ. Разумъется, начиналъ я съ зоологіи, ботаники или ориктогнозіи и старался держаться этого берега, но съ средины, а случалось и съ пачала лекцін, отъ меня ли, отъ Бѣлинскаголи, Богъ знаетъ, только естественныя науки превращались у насъ въ теорію или исторію литературы. Отъ Бюффона-натуралиста я переходиль къ Бюффону-писателю, отъ Гумбольдтовой географіи растеній къ его "Картинамъ природы", отъ нихъ къ поэзіи разныхъ странъ, потомъ... къ цълому міру, къ сочиненіямъ Тацита и Шексиира, къ поэзін въ сочиненіяхъ Шиллера и Жуковскаго... А гербаризація? Бывало, когда отправляюсь съ учениками за городъ, во всю дорогу, пока не дойдемъ до засъки, что позади городского гулянья, или до рощи, что за ръкой Пензой, Бълинскій пристаеть ко мит съ вопросами о Гете, Вальтеръ-Скоттъ, Байронъ, Пушкинъ, о романтизмъ и обо всемъ, что волновало въ то доброе время наши молодыя

"Тогда Бѣлинскій, по лѣтамъ, еще не могъ отрѣшиться отъ обаянія первыхъ пушкинскихъ поэмъ и мелкихъ стиховъ. Непривѣтно встрѣтилъ онъ сцену: "Келья въ Чудовомъ монастырѣ". Онъ и въ то время не скоро поддавался на чужое мнѣніе. Когда я объяснялъ ему высокую прелесть въ простотѣ, поворотъ къ самобытности и возра-

станіе таланта Пушкина, онъ качалъ головой, отмалчивался и говориль: "Дайте, подумаю; еще прочту". Если же съ чѣмъ онъ соглашался, то, бывало, отвѣчалъ съ страшной увѣренностью: "Совершенно справедливо!"

"Журналистика наша въ двадцатыхъ годахъ выходила изъ дѣтства. Полевой передавалъ по "Телеграфу" идеи Запада, все, что являлось тамъ новаго въ области философіи, исторіи, литературы и критики. Надоумко (Надеждинъ) смотрѣлъ исподлобья, но глубже (?) Полевого, и знакомилъ русскихъ съ германской философіей. Оба они снимали маски съ старыхъ и новыхъ нашихъ писателей и пріучали судить о нихъ, не покоряясь авторитетамъ. Бѣлинскій читалъ съ жадностію тогдашніе журналы и всасывалъ въ себя духъ Полевого и Надеждина".

Въ дальнъйшемъ изложении мнъ еще не разъ придется пользоваться небольшимъ, но черезвычайно ценнымъ письмомъ Попова, въ которомъ, въ замъчательно сгущенномъ видъ, часто въ нъсколькихъ строкахъ, намъчается основное содержание всего большого накопившагося за последнія 40 леть матеріала о Белинскомъ и его эпохе. Теперь же, собственно для оцънки самого Попова, скажу, что, какъ и въ сейчасъ приведенномъ отрывкъ, характеристики его полны тонкаго пониманія людей и литературных теченій эпохи, его сужденія обнаруживають хорошій вкусь, а общій тонъ истинно-благородень. Въ его восторженномъ, напр., отношении къ кружку Станкевича за то, что онъ "кипълъ жаждой познанія, добра и чести", ясно слышенъ отзвукъ такихъ же собственныхъ стремленій. Удивительно ли, что такой человъкъ, прямо двумя головами выше стоявшій всего своего пензенского антуража, къ тому же "необыкновенно тихого и скромнаго характера" 1), должень быль произвести сильное впечатление на пылкаго и жаждавшаго высокихъ впечатленій ученика?

Замѣчательна дальнѣйшая карьера Попова. Съ начала 30-хъ годовъ этотъ человѣкъ, который зажегъ въ Бѣлинскомъ пламя лучшихъ чувствъ и такъ содѣйствовалъ развитію его литературнаго вкуса, перебрался въ Петербургъ и... поступилъ въ распоряженіе Дуббельта. Почти всю остальную не короткую жизнь—онъ умеръ въ 1872 г. въ чинѣ тайнаго совѣтника—Поповъ прослужилъ старшимъ чиновникомъ ІІІ отдѣленія! Вотъ и уловите тутъ психологическое единство. Впро-

^{•)} Воспоминанія Максимо в авъкнижк Зеленецкаго: «Исторія пензенской гимназіи», стр. 36. Възтих воспоминаніях Поповъ называется Максимомъ Михайловичемъ, но напечатанныя вътой же книжк гимназическія в домости подписаны: Михаилъ Поповъ. Въредакціонной зам тк «Русск. Стар.» т. XXXVI, стр. 435, онъ названъ Михаиломъ Максимовичемъ. Изъзтой же зам тки узнаемъ, что напеч. вът. Х. «Русск. Стар.» интересная и очень литературно написанная анонимная статья объ отноше. ніяхъ Пушкина къ Ш отдъленію принадлежитъ М. М. Попову.

чемъ, нужно ли особенно удивляться этому странному комбинированію Дуббельта съ Бѣлинскимъ, если мы вспомнимъ еще болѣе замѣчательнаго современника Бѣлинскаго—цензора Никитенко, днемъ весьма усердно исполнявшаго свои обязанности, а вечеромъ садившагася за дневникъ, въ которомъ онъ являлся гражданиномъ въ лучшемъ смыслѣ слова. Днемъ онъ въ писаніяхъ другихъ истреблялъ все клонящееся къ осужденію неприглядной дѣйствительности сороковыхъ годовъ, а вечеромъ, самъ превращаясь въ публициста, воспринималъ несовершенство русской жизни съ чуткостью, достойною лучшихъ порывовъ кружка Бѣлинскаго и Герцена. Отыщите-ка объединяющее начало въ этомъ двуликомъ Янусѣ, въ которомъ, въ противоположность Янусу миеологіи, повидимому, и сердца-то два было.

О дѣятельности Попова на его новомъ мѣстѣ служенія мало извѣстно. Однако тотъ факть, что Бѣлинскій вель съ нимъ дружбу и въ Петербургѣ, показываетъ, что ничѣмъ особенно усерднымъ дѣятельность Попова не выражалась. Въ тѣ времена въ заинтересованныхъ сферахъ быстро узнавали о людяхъ усердствующихъ, и, принадлежи къ нимъ Поповъ, Бѣлинскій, никоимъ образомъ старыхъ связей съ нимъ не поддерживалъ бы. Не такой былъ человѣкъ Бѣлинскій, чтобы не выложить собесѣднику все, что у него на душѣ. Поповъ упоминаетъ о горячихъ схваткахъ, но чисто литературнаго свойства, которыя "никогда не оканчивались размолвками. Иногда мы разставались, я—нахмуренный, онъ —вполнѣ взволнованный, но черезъ мѣсяцъ, черезъ два опять онъ звонилъ у моихъ дверей, и я опять встрѣчалъ его какъ гостя, по которому соскучился".

Но если нѣтъ достаточно-детальныхъ указаній на то, какъ совижщалъ Поповъ дружбу Дуббельта съ дружбой Бѣлинскаго, то есть прямое свидѣтельство, что Поповъ въ значительной степени ослабилъ для умирающаго Бѣлинскаго одно очень сильное впечатлѣніе,—когда, незадолго до своей смерти, Бѣлинскій получилъ приглашеніе "пожаловать" въ ІІІ отдѣленіе для того, чтобы "познакомиться" съ Леонтіемъ Васильевичемъ Дуббельтомъ. Поповъ выказалъ тутъ истинную деликатность и заботу о душевномъ покоѣ своего бывшаго ученика. И вотъ, пока разработка архивовъ не раскроетъ чего-нибудь другого о Поповѣ, будемте помнить только этотъ эпизодъ изъ исторіи его близости къ Дуббельту, вполнѣ соотвѣтствующій общему свидѣтельству редакцін "Русск. Старины", что Поповъ "сравнительно былъ добръ и обязателенъ, въ особенности къ писателямъ и журналистамъ" 1).

Каковъ бы, впрочемъ, ни былъ Поповъ петербургскій, это ни-

¹) «Русск. Стар.» 1882 г. т. 31, стр. 435.

мало не можетъ измѣнить представленія о Поповѣ пензенскомъблизость съ которымъ, конечно, должна быть признана крупней, шимъ факторомъ гимназическаго періода жизни Бѣлинскаго. Поновъ и лихорадочное до самозабвенія чтеніе журналовъ-рядомъ съ этимъ остальныя пензенскія вліянія настолько ничтожны, что ихъ слёдуетъ отмътить развъ только для полноты. Какое вліяніе могъ оказать на "жадно всасывавшаго духъ Полевого и Надеждина", семнадцатилътняго гимназиста какой-нибудь учитель реторики и логики Яблонскій, "школяръ и педантъ въ высшей степени", по опредъленію Лажечникова, преподававшій по "Лежаю", т. е. по реторикѣ, составленной для іезунтскихъ школъ французомъ Леже? Д. П. Ивановь, по своему обыкновенію выставлять все касающееся ранних літь Бізлинскаго въ лучшемъ свътъ, беретъ и Яблонскаго подъ свою защиту: "Виноватъ ли этотъ усердный почитатель Леже въ томъ, что училъ, какъ учили его самого и какъ почти повсемъстно учили тогда въ гимназіяхъ? Надобно припомнить при этомъ, что въ славнъйшемъ и старъйшемъ университетъ тосковскомъ въ началъ тридцатыхъ годовъ занималъ каеедру словесности для студентовъ перваго общаго курса П. В. Побъдоносцевъ, толковавшій не лучше Яблонскаго и объ источникахъ изобрътенія, о хріяхъ ординарныхъ и превращенныхъ; припомнить надобно, что пресловутая реторика Кошанскаго, по которой училъ Яблонскій, красовалась въ программахъ, изданныхъ для поступающихъ въ московскій университеть, едва ли не до пятидесятыхъ годовъ" 1).

Можно вполнъ согласиться съ приведенною сейчасъ аргументаціей и признать, что пензенская гимназія была не хуже другихъ гимназій того времени. Но все это, конечно, нимало не колеблетъ того предположенія, что на Бълинскаго вліяніе преподаванія по "Лежаю" могло отразиться только темь, чтобы усилить въ немъ отвращение къ схоластической сухости и реторической напыщенности. Весьма возможно, что върны и болье чъмъ у Лажечникова оптимистическія свёдёнія Д. П. Иванова одругихъ учителяхъ Бёлинскаго преподавателяхъ математики Ляпуновъ и Протопоповъ и учителъ латинскаго языка Димитревскомъ. "Исторія пензенской гимназіи" Зеленецкагои Соловьева тоже беретъ ихъ подъ свою защиту и выдержками изъ программъ и другихъ документовъ старается показать, что обычное представление о низкомъ уровнъ гимназическаго преподавания 20-хъ годовъ преувеличено. Но, повторяю, все это нимало не мѣняетъ общаго вывода. Не такой сидълъ передъ пензенскими педагогами ученикъ, чтобы удовлетвориться ихъ рутинной заурядностью.

Пыпинъ, l, стр. 20.

Самою лучшею стороною тогдашней гимназической жизни было то, что ученики въ сущности были предоставлены самимъ себъ. Не было и твни той суровой дисциплины и обезличиванія, которыя теперь гъсно связаны съ представлениемъ о гимназіяхъ. По выражению Буслава, учившагося въ пензенской гимназіи почти въ время съ Бълинскимъ (1829-34), царствовала какая-то "беззаботная распущенность нравовъ". "Большую часть времени мы проводили сами по себъ, такъ сказать, по методу взаимнаго обученія, безъ надлежащаго руководствованія и наблюденія со стороны учителей. Мы слушали, что одинъ изъ насъ читалъ, а то и сами читали, каждый про себя, или же что-нибудь списывали, переводили съ иностранныхъ языковъ на русскій, изготовляли свои сочиненія. Между темъ учителя ходили взадъ и впередъ по классу и разговаривали между собою, всегда двое: въ нижнемъ этажв - учителя перваго и второго классовъ, а въ верхнемъ — третьяго и четвертаго". Когда мимо оконъ первыхъ классовъ проходилъ директоръ Протопоповъ, жившій въ другомъ домъ, "тотчасъ же по всьмъ классамъ разносится осторожный шопоть: Григорій Абрамовичь! Григорій Абрамовичь!" Учителя опрометью спашать каждый на свое масто, ученики наскоро убирають со столовь всякій свой хламь и чинно разсаживаются, настороживъ глаза и уши. Директоръ, разумъется, находитъ все въ надлежащемъ порядкъ, послушаетъ немвожко учителя, у кого-нибудь изъ насъ заглянетъ въ книгу или въ тетрадку, одного погладитъ по головъ, а другому для острастки дастъ выговоръ. Тъмъ дъло и кончалось. Директоръ уходитъ, и мы, ученики и учителя, опять принимаемся за свое"1).

Бѣлинскій учился очень странно, съ замѣчательною неравномѣрностью 2). Вѣдомости его "успѣховъ" представляють собою смѣсь низшихь балловъ—единицъ и двоекъ, съ высшимъ въ то время балломъ— четверками. Хуже всего онъ учился по математикѣ, такъ себѣ по латыни—три двойки, пять троекъ и одна 4, и превосходно по исторіи, географіи, естественной исторіи и русской словесности—все четверки. Иностраннымъ языкамъ Бѣлинскій совсѣмъ не обучался. Такъ какъ въ тѣ времена выдавали награды за успѣхъ по отдѣльнымъ предметамъ, то Бѣлинскій, при переходѣ изъ 2 въ 3 классъ, получилъ наградную книгу "за успѣхи изъ логики и реторики, исторіи и географіи". Въ третьемъ (предпослѣднемъ) классѣ онъ остался на второй годъ, повидимому, вслѣдствіе того, что пропускалъ очень много уроковъ, а на переходной экзаменъ совсѣмъ не явился. Въ

¹) Буслаевъ, Воспоминанія. «Вѣстн. Евр.» 1890 г. № 11, стр. 27.

²) Отмѣтки Бѣлинскаго приводятся въ воспоминаніяхъ Лажечникова и съ еще большею полнотою въ «Истор. Очеркѣ» Зеленецкаго и Соловьева-

гимназическихъ въдомостяхъ нехождение въ классъ Бълинскаго объяснено частью "согласіемъ родителей", которыхъ и въ Пензъ-то не было, частью "леностью". Эта оффиціальная отметка ничего общаго съ дъйствительностью не имъла. Не являясь въ классъ, гдъ его ожидала скука мертвеннаго преподаванія, Бѣлинскій дома "ни одной минуты не терялъ даромъ", по свидътельству Иванова, въчно читалъ, списываль то, что ему нравилось, делаль заметки. Въ университетъ онъ явился съ превосходнымъ знаніемъ литературы, которое, конечно, пріобрълъ не въ классъ, а тогда, когда "по лѣности" въ классъ не ходиль. Къ гимназическому ученію Бѣлинскій еще потому охладѣль, что задумалъ поступить въ университеть ускореннымъ порядкомъ, по вступительному экзамену, въ то время очень нетрудному.

Какъ бы то ни было, въ въдомости за февраль 1829 г. фамилія Бълинскаго среди учениковъ 3-го класса зачеркнута и въ графахъ, вмъсто отмътокъ объ успъхахъ и поведении, противъ его фамилии, рукою директора Протопопова, сдёлана слёдующая помётка: "За нехожденіемъ не рекоменд. (ованъ)", затёмъ въ дальнёйшихъ мёсячныхъ, начиная съ марта, "имя Бълинскаго совсемъ не встречается" 1).

Итакъ, Бълинскій быль исключень изъ гимназіи, но, къ чести гимназическаго начальства, не за "слабыя способности", какъ впоследствін было мотивировано исключеніе Бълинскаго изъ университета. Напротивъ того, даже послъ того, какъ онъ остался въ 3 классъ на второй годъ, въ гимназическихъ въдомостяхъ отмъчено: "Способности и поведеніе—4". Наиболье же яркимъ проявленіемъ того, какъ цьнило "лъниваго" второгодника гимназическое начальство, можетъ служить следующее свидетельство Буслаева, сообщенное имъ сначала для "Историческаго очерка пензенской гимназіи" Зеленецкаго, а затвмъ повторенное въ "Воспоминаніяхъ" знаменитаго филолога:

"Въ 1829 году, когда поступилъ я въ первый классъ пензенской гимназіи, прежній учитель русскаго языка выбыль, а новаго опредълить еще не успъли. Тогда на нъсколько мъсяцевъ гимназическое начальство поручило обучать насъ гимназисту Белинскому. Онъ уже кончиль (?) курсь въ это время, но оставался въ Пензъ, потому что не имълъ средствъ ъхать въ Москву, гдъ намъревался поступить въ университетъ" 2).

Такое высокое довъріе къ познаніямъ недавняго третьеклассника нельзя не считать фактомъ совершенно исключительнымъ. И понятно, что ученикамъ 1 класса должно было казаться, что ихъ обучаетъ человъкъ, во всякомъ случат уже "кончившій" гимназію, а никакъ

¹) Зеленецкій, Истор. Очеркъ, стр. 47. ²) Тамъ же и "Вѣстн. Евр." 1890 г. № 11, стр. 9--10.

не исключенный изъ нея за то, что по "лености" не посещалъ классовъ.

Внъклассная жизнь Бълинскаго въ Пензъ сложилась съ тъмъ же преобладаніемъ глубокой серьезности, которая проникла все существо его и сказывалась даже во внешности его, въ крупныхъ чертахъ его съ отроческихъ лѣтъ суроваго 1) лица. "Бѣлинскій велъ жизнь замкнуто, отчужденно, не любилъ общества, чуждался товарищей 2). Почти предоставленный самому себь и имъя полную возможность проводить время какъ ему угодно, молодой гимназисть предавался исключительно занятіямъ умственнымъ и жилъ интересами исключительно духовными. Когда сходился онъ съ немногими пріятелями изъ семинаристовъ старшихъ классовъ, разговоръ тотчасъ же переходилъ на вопросы литературные, богословские и философские. Знакомыхъ онъ себѣ набиралъ только такихъ, съ которыми можно было обмѣниваться мыслями и спорить. Споръ и тогда былъ для него насущною потребностью, но не какъ умственная гимнастика и предлогъ блеснуть умомъ, а какъ средство добиться истины. Мы уже знаемъ изъ воспоминаній Попова, что онъ не сдавался до техъ поръ, пока у него была хоть тёнь сомнёнія и съ "страшною увёренностью говориль: совершенно справедливо", какъ только его въ чемъ-нибудь убѣждали.

Серьезность отвлеченныхъ интересовъ Бѣлинскаго—гимназиста и тѣхъ пріятелей, которыхъ онъ себѣ подобралъ, видна изъ переписки 3), которую они вели между собою, когда Бѣлинскій, передъ поѣздкой въ Москву, уѣхалъ въ Чембаръ. Переписка носитъ почти исключительно литературный характеръ: друзья дѣлились между собою литературными новинками, не лѣнились переписывать другъ для друга длиннѣйшія стихотворенія и цѣлые отрывки изъ поэмъ.

Матеріальная обстановка жизни Бѣлинскаго въ Пензѣ была незатѣйлива. Первый Поповъ отмѣтилъ, что онъ "видимо былъ безъ женскаго призора, носилъ платье кое-какое, иногда съ непочиненными прорѣхами". По воспоминаніямъ его гимназическаго товарища Иванисова 1), "Бѣлинскій жилъ въ большой бѣдности; зимой ходилъ въ нагольномъ тулупѣ; на квартирѣ жилъ въ самой дурной части города, вмѣстѣ съ семинаристами; мебель имъ замѣняли квасные боченки". Д. П. Ивановъ, по своему обыкновенію сглаживать неблагопріятное освѣщеніе раннихъ лѣть жизни своего знаменитаго родственника, протестуетъ противъ увѣреній Иванисова и объясняетъ

¹⁾ Тамъ же, стр. 45 и воспоминанія Попова въ стать Лажечникова.

²⁾ Воспоминанія Максимова въ "Истор. очеркь" Зеленецкаго.

³) Пыппнъ, I, стр. 29.

^{4) &}quot;Моск. Вѣд." 1861 г. № 135.

показаніе его о "нищеть" пензенской обстановки Бълинскаго тьмь, что Иванисовъ принадлежаль къ богатой купеческой семьь. Но предоставимь опять рьшающій голось самому Бълинскому, который писаль своимь родителямь въ 1831 году: "Вы сами знаете, какъ сладки были льта моего младенчества... Учась въ гимназіи, я жиль въ бъдности, скитался по сквернымь квартиришкамь, находился въ кругу людей презрыныхъ" 1).

Единственнымъ развлеченіемъ жившаго замкнутою жизнью Бёлинскаго былъ театръ. Извъстны вдохновенныя страницы "Литературныхъ мечтаній", посвященныя русскому театру и начинающіяся словами: "Театръ, любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, то есть, всеми силами души вашей, со всемъ энтузіазмомъ, со всемъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатльній изящнаго? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театръ больше всего на свътъ, кромъ блага и истины?" Начало этой, дъйствительно, "изступленной любви" относится къ пензенскому періоду жизни Бълинскаго. Несмотря на нужду и безденежье, онъ редко пропускалъ представленія пензенской труппы помъщика Гладова. Среди извъстныхъ въ публикъ подъ именами Гришки, Мишки, Данилки крвностныхъ актеровъ (все горькихъ пьяницъ), были люди талантливые. Особенно выдавался нъкій Гришка, очевидно по роли названный Сулеймановыми, въ Сумароковскомъ "Дмитріи Самозванцъ". Эта пьеса въ годы отрочества настолько понравилась Бѣлинскому, что онъ ее выучиль всю наизусть 2). Такъ отдавался онъ съ первыхъ моментовъ сознательнаго существованія всякому порыву своихъ увлеченій!

На праздники и каникулы Бѣлинскій ѣздилъ въ Чембаръ, и тутъ на него иной разъ нападали припадки лихорадочной веселости. Онъ устраивалъ домашніе спектакли, въ которыхъ самъ исполнялъ разныя трагическія и комическія роли, разъ нарядился странникомъ и въ такомъ видѣ ходилъ по домамъ, затѣвалъ игры, увеселенія и т. д. Большею частью, однако, ему было не до того. Неприглядная обстановка родной семьи, вѣчныя, становившіяся все невыносимѣе и невыносимѣе ссоры родителей, загулъ отца, все это гнало его изъ дома и большую часть времени онъ проводилъ въ мирномъ домѣ Ивановыхъ, гдѣ въ лицѣ молоденькой дочки Ивановыхъ — Катерины Петровны находилъ внимательную и умную собесѣдницу. Во время студенчества онъ часто переписывался съ Ивановой, но романическаго въ ихъ отношеніяхъ ничего не было.

Въ августъ 1829 года, преодолъвъ нелегія денежныя препят-

s) «Pyc. Ct.» 1876 r.t. XV, ctp. 79

²) Соч., по нашему изд. т. II стр. 24.

ствія, Бѣлинскій собрался, наконець, въ Москву, съ цѣлью поступить въ университетъ на филологическій или, какъ онъ тогда назывался, "словесный" факультетъ.

Кончилось отрочество, начиналась юность. Белинскій вступаль въ нее со всею неопытностью этого возраста въ вопросахъ практической жизни, но характеръ его сложился окончательно. Нравственный обликъ 19-лътняго Бълинскаго ни въ чемъ существенно не измвнился въ поздивишіе годы. И красота этого облика была понятна не только другимъ, но и самому Бълинскому. Юноша сознавалъ цъну своего душевнаго богатства. Какъ ни былъ онъ скроменъ и застфичивъ, какъ пи было ему чуждо всякое самовозвеличение, но ясно понимая душевную красоту во всякомъ другомъ, жадно ловя, гдъ только можно, мальйшій проблескь высокихь стремленій, Былинскій не могъ же не понимать движеній собственнаго сердца. Поэтому нельзя не считать драгоцаннайшимь біографическимь свидательствомь тъ строки относящагося въ первымъ мъсяцамъ пребыванія въ Москвъ письма къ Попову, когда онъ, мимоходомъ и по другому поводу, такъ самъ себя характеризоваль: "Имъю пламенную, страстную любовь ко всему изящному, высокому, имью душу пылкую. Въ сердцѣ моемъ часто происходять движенія необыкновенныя, душа часто бываеть полна чувствами и впечатлъніями сильными, въ умъ рождаются мысли высокія, благородныя".

Только человѣкъ, дѣйствительно, высокой душевной чистоты и могъ рѣшиться говорить о себѣ въ такомъ тонѣ, въ которомъ—вы это ясно чувствуете — чисто личный элементъ не играетъ никакой роли. Есть только желаніе выразить всю полноту дѣйствительно до краевъ переполняющаго душу настроенія.

Въ сферв интеллектуальной, въ своихъ воззрвніяхъ и взглядахъ, поступавшій въ университетъ Бѣлинскій, само собою разумвется далеко еще не сложился. Но то, что составляетъ сущность его критическаго дарованія—ненависть къ напыщенности и вульгарности и умвніе отличить эстетически - цвиное отъ эстетически - ничтожнаго—сказывалось въ немъ уже и тогда вполив точно и опредвленно. Онъ, который всего нъсколько лътъ тому назадъ выучиль наизустъ Сумароковскаго "Дмитрія Самозванца", теперь, въ первомъ письмъ къ родителямъ, описывая университетскую библіотеку, съ сокрушеніемъ замвчаетъ: "Жалью, что, между бюстами великихъ писателей стоятъ бюсты площадного Сумарокова, холоднаго, напыщеннаго и сухого Хераскова" 1). Нельзя приписать это критическое отпошеніе одному только "духу Полевого и Надеждина", который Бѣлинскій гимназистъ "жадно впитывалъ въ себя", по свидътельству Попова.

я) "Русскан Старина" 1876 г., т. XV, стр. 56.

Впрочемъ, "духъ"-то, пожалуй, и ихъ былъ. Но практическіе выводы принадлежали уже чутью самого Бѣлинскаго, потому что Надеждинъ именно въ 1829 году отнесся къ Сумарокову вполнѣ благосклонно, ставя его выше романтическихъ писателей ¹).

Раннее же эстетическое понимание Бълинский выказалъ при такихъ обстоятельствахъ, которыя всякаго другого, навърное, заставили бы споткнуться. Въ началъ 1830 г., -значитъ, всего нъсколько мъсяцевъ послѣ того, какъ Бѣлинскій поступиль въ университеть, онъ получилъ чрезвычайно лестное предложение: дать стихи "своего сочиненія" для альманаха "Пожинки", который Поповъ одно время собирался издавать вмъстъ съ Лажечниковымъ. Это приглашение, между прочимъ показывающее, что Поповъ, дъйствительно, еще на школьной скамь в оцениль духовныя силы своего ученика, чрезвычайно взволновало Бълинскаго. И все же чувство уваженія къ литературъ и критическое чутье даже по отношенію къ самому себѣ были настолько велики, что онъ, ни минуты не колеблясь, отказался отъ лестнаго предложенія. По поводу этого-то приглашенія Бълинскій и написалъ характеристику душевной жизни своей, которою я воспользовался выше. "Ваше желаніе", писаль онъ Попову, "котораго я, несмотря на пламенное усердіе, не могу исполнить, - все это привело меня въ необыкновенное состояніе радости, горести и зам'вшательства. Бывши во второмъ классъ гимназіи, я писалъ стихи и почиталь себя опаснымъ соперникомъ Жуковскаго, но времена перемънились. Вы знаете, что въ жизни юноши всякій часъ важень: чему онъ върилъ вчера, надъ тъмъ смъется завтра. Я увидълъ, что не рожденъ быть стихотворцемъ и, не хотя идти наперекоръ природъ давно уже оставилъ писать стихи. Въ сердцѣ моемъ часто происходятъ движенія необыкновенныя, душа часто полна чувствами и виечатльніями сильными, въ душь рождаются мысли высокія, благородныя - хочу ихъ выразить стихами и не могу! Тщетно трудясь, съ досадою бросаю перо. Имъю пламенную, страстную любовь ко всему изящному, высокому, имъю душу пылкую и, при всемъ томъ, не имъю таланта выражать свои чувства и мысли легкими, гармоническими стихами. Риема мив не дается и, не покоряясь, смвется надъ моими усиліями; выраженія не уламываются въ стопы" 2).

Въ этихъ немногихъ строкахъ девятнадцатилътняго юноши уже

¹⁾ Въ небольшой замѣткѣ одинъ изъ пензенскихъ товарищей Бѣлинскаго Иванисовъ ("Моск. Вѣд.", 1861 г., № 5) пытается доказывать, что вкусъ Бѣлинскаго въ Пензѣ былъ очень дуренъ. Но общій тонъ замѣтки свидѣтельствуетъ о такомъ умственномъ убожествѣ самого автора, что пользоваться его оцѣнками крайне рискованно.

²⁾ Лажечниковъ, Сочиненіят. XII, стр. 279.

чувствуется весь послѣдующій Бѣлинскій-критикъ, съ его благороднострастнымъ стилемъ, безконечнымъ уваженіемъ къ литературѣ, тонкимъ вкусомъ и ясностью анализа.

II.

Московскій университетъ конца 20-хъ и начала 30-хъ годовъ.

Одною изъ характернѣйшихъ чертъ хода русской образованности является отсутствіе въ ней какой бы то ни было равномѣрности. Просвѣщеніе у насъ всегда возникало оазисами среди огромной пустыни нашей духовной тьмы. Вдругъ, почему-либо, въ одномъ мѣстѣ сквозь толстый покровъ некультурности прорывался свѣжій ключъ, и быстро все вокругъ зеленѣло и распускалось пышными цвѣтами. Замѣчательныя силы самой по себѣ богатѣйшей почвы получали выходъ и проявляли себя въ рядѣ подвиговъ ума и сердца. Но сплошь да рядомъ, стоило такому живоносному ключу по тѣмъ же случайнымъ причинамъ заглохнуть, чтобы опять кругомъ воцарилось безмолвіе пустыни.

Такими оазисами русскаго просвъщенія всего чаще являлись высшія учебныя заведенія. И именно благодаря тому отсутствію равномърности, о которомъ я сейчасъ говорилъ, всякій изъ такихъ духовныхъ центровъ на время сосредоточиваль въ себъ почти всю силы эпохи. Такое центральное положеніе занимали, папр., въ началъ 20-хъ годовъ—Лицейско-Пушкинскій кружокъ, быстро захватившій скипетръ литературы; въ эпоху великихъ реформъ—студенчество петербургскихъ высшихъ учебныхъ заведеній, изъ среды котораго вышли почти всѣ литературные дѣятели 60-хъ годовъ. А въ началъ тридцатыхъ годовъ всѣ тѣ дѣятели эпохи Бълинскаго, которые дали ей свою окраску, либо учились въ московскомъ университетъ, либо сами въ немъ учили. Изъ московскихъ студенческихъ и профессорскихъ кружковъ тридцатыхъ годовъ изошли оба главныхъ теченія новой русской мысли—славянофильство и западничество.

Я уже отмътилъ выше, въ общемъ очеркъ эпохи Бълинскаго, что московскій университетъ находился около 1830 г. на рубежъ новой эпохи, наканунъ органическаго возрожденія, когда приливъ новыхъ преподавательскихъ силъ и новый духъ студенчества совершенно измънили патріархальную физіономію стараго университетскаго быта. Перемъна произошла не вдругъ. Патріархальныя традиціи были еще очень сильны и въ ту эпоху, о которой сейчасъ будетъ ръчь. Для поверхностнаго наблюдателя они даже давали окраску всей

университетской жизни. Но уже пробивались первые и очень яркіе лучи новаго отношенія къ наукѣ и задачамъ человѣческаго существованія, начинало всходить, по приведенному уже выраженію Константина Аксакова, "солнце истины". Перемѣна происходила одновременно и въ студенчествѣ, и въ профессорскомъ персоналѣ, и трудно съ опредѣленностью сказать, кто на кого вліялъ: новое ли студенчество на профессоровъ новаго типа, или, наоборотъ, профессора новаго типа создали новое студенчество. Правильнѣе всего будетъ сказать, что тутъ происходило взаимодѣйствіе. Общимъ же источникомъ оживленія и для учащихь, и для учащихся было литературное оживленіе конца 20-хъ годовъ, внесенное дѣятельностью Полевого, какъ отраженіемъ французскаго романтизма, и наплывомъ изъ Германіи новыхъ философскихъ идей.

Повторяю, однако, перемѣну не такъ-то было легко замѣтить. Общую окраску все-таки давалъ университетъ стараго, патріархальнаго времени, такъ какъ число профессоровъ новаго типа было еще очень невелико, а нарожденіе новаго студенчества сколько-нибудь ярко выражалось только въ образованіи нѣсколькихъ небольшихъ кружковъ.

Въ жизни большинства студентовъ буйства и "шалости" всякаго рода занимали первенствующее мѣсто. Этотъ духъ буйнаго студенчества стараго типа, убивавшаго молодость на кутежи и безобразія, получилъ яркое выраженіе въ Полежаевской поэмѣ "Сашка". Она даетъ крайненеприглядную картину состоянія московскаго студенчества за два-три года до вступленія въ университетъ дѣятелей эпохи Бѣлинскаго. Тутъ не просто "шалости", не "проказы", а какая-то душевная загрубѣлость и азіатчина. Уже одно вступленіе къ "Сашкѣ" коробитъ всякаго, кто привыкъ предъявлять къ литературѣ сколько-нибудь высокія требованія. Юный поэть-студентъ бравируетъ своимъ цинизмомъ:

Не для славы
Для забавы
Я пишу.
Одобренья
И презрынья
Не прошу.
Пусть кто хочеть,
Тотъ хохочеть,
Я и радъ.
А развратень,
Непріятень,
Пусть бранять.

Затьмъ идетъ рядъ бытовыхъ картинъ, написанныхъ съ тьмъ же бравированіемъ. Портреть студента:

. . . . вотъ въ вицмундирѣ,
Держа въ рукахъ большой стаканъ,
Сидитъ съ пріятелемъ въ трактирѣ
Какой-то черненькій буянъ.
Веселье рьяное играетъ
Въ его закатистыхъ глазахъ
И сквернословіе летаетъ
На пылкихъ юноши устахъ.
Кричитъ. . пуншъ блещетъ, брыжжетъ пиво,
Графины, рюмки дребежжатъ...

и т. д. все въ томъ же мажорномъ стилѣ. Авторъ очень доволенъ своимъ сквернословящимъ героемъ и выводитъ его вмѣстѣ съ компаніей такихъ же героевъ въ публику:

И вижу въ Марьиной мы рощъ Блистаемъ славою своей. Фуражки, взоры и походка, Все дышить жизнью и поеть; Табачный аромать и водка Разить, и пышеть, и несеть... Идемъ, качаясь, величаво, И вев дорогу намъ дають, А девы влево и направо Отъ насъ со трепетомъ бѣгутъ. Идемъ... И горе тебъ дерзкій, Взглянувшій искоса на насъ! "Молчать!" -- кричимъ, насупясь звърски,-"Иль выбьемъ потроха какъ разъ!" Толпа иль дамъ, иль девъ стыдливыхъ Попалась въ давкъ тесной намъ, Цфлуемъ миленькихъ, смазливыхъ, И харкаемъ въ глаза каргамъ. Кричимъ, поемъ, танцуемъ, свищемъ; Пусть дураки на насъ глядятъ. Намъ все равно, хвалы не ищемъ, Пусть, что угодно говорять.

Въ "Сашкъ" особенно поражаетъ не столько ея порнографическій сюжетъ (студенты атакуютъ домъ териимости) и ея непристойности, ни мало не остроумныя, сколько ея полная некультурность и разгулъ какихъ-то чисто-азіатскихъ инстинктовъ. Можно ли примѣнить эпитеты "шалости" и "проказы" къ такимъ дикимъ подробностямъ разгрома, произведеннаго студентами въ пріютъ "дѣвъ", куда не пустили пьяную ватагу:

Какъ лютый волкъ стремится Саша На двву бледную одну, И распростерлася Дуняша, Облившись кровью на полу.

Какое страшное смятенье, И дикій вопль, и крикъ, и ревъ, И стонъ, и жалкое моленье Нещадно избіенныхъ двеъ.

Несмотря на чудовищную грубость этой "потвхи", авторъ студентъ заканчиваетъ ея описаніе такимъ дифирамбомъ:

Скажите, дѣвы, припѣвая: Виватъ нашъ Сашка-молодецъ, А я, главу сію кончая, Скажу: ей Богу, удалецъ.

Изображая себя въ лицѣ главнаго буяна поэмы, Полежаевъ, несомнѣнно, въ значительной степени оклеветалъ самъ же себя 1). Но
тѣмъ все это характернѣе. Въ каждой этохѣ перемѣшаны самые разнообразные элементы, есть задатки всѣхъ типовъ, теченій и настроеній. Но господство получаетъ одно что-нибудь, а остальное до поры
до времени прячется. Въ 60-хъ и 70-хъ годахъ въ русскомъ студенчествѣ не было недостатка въ элементахъ карьеризма, сословнаго
чванства и пошлости всякаго рода, но все это пряталось и стыдилось.
Напротивъ того, въ 80-хъ и 90-хъ годахъ не было недостатка въ
юношахъ высокаго душевнаго строя, но обстоятельства были неблагопріятны для нихъ, и тонъ студенческой жизни задавали шикари,
бѣлоподкладочники и трактирные засѣдатели. То же самое было и въ
студенческіе годы Полежаева, который безспорно на себя "напускалъ", но "напускалъ" въ доминирующемъ тонѣ времени.

Исторія Полежаева относится къ 1826 году. Черезъ 3—4 года вступили въ университетъ Герценъ, Огаревъ, Бѣлинскій, Константинъ Аксаковъ и Станкевичъ. О такихъ грандіозныхъ буйствахъ уже было мало слышно, но болѣе невинныя проказы, шалости, продѣлки всякаго рода, подчасъ весьма забавныя, были въ большомъ ходу. Теперь уже едва ли даже въ старшихъ классахъ гимназіи выкидываютъ такія штуки: "Однажды, когда одинъ профессоръ, читавшій лекціи по вечерамъ, долженъ былъ прійти въ аудиторію, студенты, закутавшись въ шинели, забились по угламъ аудиторіи, слабо освѣщенной лампою, и, какъ только онъ появился, зацѣли: "Се женихъ грядетъ во полунощи". Въ другой разъ на лекцію къ тому же профессору принесли воробья и во время лекціи выпустили: воробей принялся летать, а студенты, какъ будто въ негодованіи на нарушеніе порядка, принялись усердно ловить его". "Едва ли не на каждой лекціи профессора реторики Побѣдоносцева на первомъ курсѣ повто-

¹⁾ Ср. нашъ этюдъ о Полежаевѣ въ нашемъ изданіи соч. Бѣлинскаго т. VII, стр. 582—595.

рялось слѣдующее. Обычный шумъ, господствовавшій въ его аудиторіи, на минуту прекращался и водворялась глубочайшая тишина; проеподаватель, обрадованный необыкновеннымъ безмолвіемъ, громко начиналъ читать что-нибудь о Ломоносовѣ, или о хріи простой и извращенной; но тишина эта была самая коварная, раздавался вдругъ тихій, мелодичный свистъ, —обыкновенно мазурка или какой-нибудь другой танецъ; Побѣдоносцевъ останавливался въ недоумѣніи; музыка умолкала, а за ней слѣдовалъ взрывъ рукоплесканій и неистовый топотъ... Трудно повѣрить, что подобная продѣлка повторялась безчисленное множество разъ" 1).

Нужно ли удивляться, что подобное студенчество не внушило особеннаго уваженія учившемуся въ то время въ московскомъ университетъ Лермонтову? Лермонтовъ одинъ только разъ и вспомнилъ о товарищахъ. Но какъ вспомнилъ?

Хвала төбф, пріють лфитяевь 2).

Вотъ и все, что подсказала ему намять при воспоминаніи о московскомъ университетъ, который онъ безъ всякаго сожалънія покинуль для школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ.

Было ли, однако, проказничавшее московское университетское юношество совершенно лишено болье серьезныхъ стремленій? Отнюдь нъть. Вернемся опять къ "Сашкь", приглядимся къ другимъ подробностямъ поэмы, и мы увидимъ, что если въ буйствъ Полежаевскаго пошиба было много грубаго и некультурнаго, то все-таки не было и испорченности. Рядомъ съ трактирными подвигами, Полежаевъ сообщаетъ и такія подробности о своемъ героъ:

Черты характера его: Свобода въ мысляхъ и поступкахъ, Не знать судьею никого, Ни подчиненности трусливой, Ни лицемфрія ханжей.

Сидить рѣшительно и смѣло Умомъ своимъ о всѣхъ вещахъ, И къ фарисеямъ въ хомутахъ Горѣть враждой закорнѣлой.

Върность этой характеристики вполит подтверждается записками знаменитаго Пирогова, учившагося въ московскомъ университетъ въ годы Полежаева. Ппроговъ даетъ подробное бписаніе жизни казен-

¹⁾ Пыппвъ, Бълинскій, стр. 63.

²⁾ Строка изъ непонавшаго въ собр. соч. Лермонтова стихотворенія его, посвященнаго московск университету. Отрывокъ изъ него приведень въ университетскихъ воспоминаніяхъ Г. Г. въ "Днѣ" 186 3

нокоштныхъ студентовъ, которые тогда жили въ огромныхъ общихъ комнатахъ, называвшихся "номерами". Пироговъ описываетъ № 10. Во многомъ это тѣ же безобразные кутежи и буйства, что въ "Сашкѣ". Но сюда же широкою волною вливались и другія стремленія или, по терминологіи того времени, "вольнодумство". Толковали тутъ и о предразсудкахъ общественныхъ, и о свободѣ изслѣдованія и наслышался тутъ Пироговъ такихъ вещей, что его, воспитаннаго въ патріархальныхъ понятіяхъ, "съ непривычки морозъ по кожѣ подиралъ". Стихи въ родѣ "Оды на вольность", "Къ временщику" Рылѣева, "Гдѣ тѣ острова, братцы" и т. д. ходили по рукамъ, читались съ жадностью, переписывались и перечитывались сообща, при каждомъ удобномъ случаѣ" ¹). Катастрофа, разразившаяся надъ Полежаевымъ, была вызвана именно этою стороною поэмы, а не фривольностью ея.

Мало-по-малу стремление Сашки

Судить рѣшительно и смѣло Умомъ своимъ о всѣхъ вещахъ

рѣшительво возобладало, и общая духовная физіономія студенчества совершенно измѣняется. Извѣстное морализующее вліяніе оказало устройство въ университетъ домашняго театра, на которомъ съ большимъ успъхомъ подвизались студенты подъ руководствомъ начинавшаго становиться очень извъстнымъ актера Щепкина. Но всего благотворнъе вліяли явившіеся какъ результать общаго подъема литературные кружки. Такъ въ № 11, куда попалъ Бѣлинскій, "участники литературныхъ вечеровъ разсуждали о прочитанномъ въ журналахъ, о лекціяхъ профессоровъ и читали собственные сочиненія и переводы. Главными учредителями вечеровъ были М. Б. Чистяковъ, извъстный впослѣдствін педагогъ, и Бѣлинскій. Первый переводилъ тогда съ нъмецкаго "Теорію изящныхъ искусствъ" Бахмана, которую посвятилъ студентамъ университета, и былъ секретаремъ "вечеровъ"; президента въ обществъ не было; секретарь долженъ былъ читать въ собраніяхъ приготовленныя сочиненія; имена авторовъ не называлисьдля свободы критики" 2).

На этихъ-то вечерахъ и прочиталъ Бѣлинскій свою трагедію, за которую ему пришлось такъ сильно поплатиться.

"Умственная дѣятельность въ 11-мъ нумерѣ", разсказываетъ 3) одинъ изъ университетскихъ товарищей Бѣлинскаго Прозоровъ, "шла бойко. Споръ о классицизмѣ и романтизмѣ еще не прекращался

¹) "Русск. Старина" 1885 г., № 1.

²⁾ Пыпинъ, I, стр. 50.

³) Въ "Библ. д. Чт.", 1859 г. № 12.

тогда между литераторами, несмотря на глубокомысленное и многостороннее ръшение этого вопроса Надеждинымъ въ его докторскомъ разсуждении о происхождении и судьбахъ поэзіи романтической... И между студентами были свои классики и романтики, сильно ратовавшіе между собою на словахъ. Нѣкоторые изъ старшихъ студентовъ, слушавшіе теорію краснорѣчія и поэзіи Мерзлякова и напитанные его переводами изъ греческихъ и римскихъ поэтовъ, были въ восторгъ отъ его перевода Тассова "Герусалима" и очень неблагосклонно отзывались о "Борисъ Годуновъ" Пушкина, только-что появившемся въ печати, съ торжествомъ указывая на глумливые о немъ отзывы въ "Въстникъ Европы". Первогодичные студенты, воспитанные въ школъ Жуковскаго и Пушкина и не заставшіе уже въ живыхъ Мерзлякова, мало сочувствовали его переводамъ и взамѣнъ этого знали наизусть пъсни его и безпрестанно декламировали цълыя сцены изъ комедін Грибовдова, которая тогда еще не была напечатана. Пушкинъ приводилъ насъ въ неописанный восторгъ. Между младшими студентами самымъ ревностнымъ поборникомъ романтизма былъ Бълинскій, который отличался необыкновенною горячностью въ спорахъ и, казалось, готовъ былъ вызвать на битву всёхъ, противоръчилъ его убъжденіямъ".

Еще более лестны отзывы Герцена о своихъ товарищахъ:

"Молодежь была прекрасная въ нашъ курсъ. Именно въ это время пробуждались у насъ больше и больше теоретическія стремленія. Семинарская выучка и шляхетская лѣность равно исчезли... Порядочный кругъ студентовъ не принималъ больше науку за необходимый, но скучный проселокъ, которымъ скорѣе объѣзжаютъ въ коллежскіе ассессоры. Возникшіе вопросы вовсе не относились до табели о рангахъ" 1).

Резюмируя вліяніе, которое оказало на него студенчество, Константинъ Аксаковъ говорилъ:

"Въ эпоху студенчества, первое, что охватывало молодыхъ людей, это—общее веселіе молодой жизни, это—чувство общей связи товарищества. Конечно, это-то и было первымъ мотивомъ студенческой жизни. Но въ то же время слышалось, хотя не сознательно, и то, что молодыя эти силы собраны все же во имя науки, во имя выстаго интереса истины... Спасительны эти товарищескія отношенія, въ которыхъ слышна молодость человѣка, и этотъ человѣкъ здѣсь не аристократъ и не плебей, не богатый и не бѣдный, а просто человѣкъ. Такое чувство равенства, въ силу человѣческаго имени, давалось университетомъ и званіемъ студента... Главная польза такого

^{1) &}quot;Былое и думы".

общественнаго воспитанія заключается въ общественной жизни юношей, въ товариществѣ, въ студенчествѣ самомъ. Общественно-студенческая жизнь и общая бесѣда, возобновлявшаяся каждый день, много двигали впередъ здоровую молодость". Вслѣдъ затѣмъ Аксаковъ прибавляетъ: "Правда, "солнце истины", представляемое университетской наукой, свѣтило тогда тускло и холодно, но живыя, неподавленныя силы находили въ ней дорогу" 1).

Запомнимте это сопоставленіе между вліяніемъ студенческой среды и вліяніемъ самой университетской "науки". Оно намъ сослужитъ большую службу для рѣшенія вопроса о томъ, дѣйствительно ли Бѣлинскаго можно считать "недоучившимся студентомъ", какъ утѣшали себя люди, уничтоженные силой его сарказмовъ и нападеній и только и сумѣвшіе ихъ отпарировать такимъ милымъ аргументомъ ad hominem.

Я бралъ до сихъ поръ новое московское студенчество въ основныхъ его очертаніяхъ, совершенно пока оставляя въ сторонъ тъ два замѣчательныхъ кружка, изъ которыхъ вышла вся новѣйшая русская литература—Станкевича и Герцена, какъ явленія исключительныя. И помимо нихъ мы можемъ послѣ всего сказаннаго констатировать, что въ годы пребыванія Бѣлинскаго въ университетѣ типъ студента-забулдыги уже не могъ считаться господствующимъ. Медленно, но систематически недавній буршъ превращался въ энтузіаста, поглощеннаго высшими стремленіями. И этой стороной университетскаго воздѣйствія пользовался, конечно, всякій студентъ, независимо отъ того, удавалось ли ему завершить пребываніе въ университетѣ полученіемъ диплома или нѣтъ.

Перейдемъ теперь къ другому фактору университетской жизни профессорамъ и посмотримъ, въ какой мѣрѣ могъ пострадать Бѣлинскій отъ того, что ему не удалось кончить университетъ офиціально.

Въ профессорскомъ персоналѣ конца 20-хъ и 30-хъ годовъ шла тоже смѣна патріархальности и новыхъ теченій, причемъ на первый взглядъ, опять-таки, тонъ какъ-будто давало старое профессорство, не очень-то напоминавшее "жрецовъ" "храма науки". Вотъ, напр., маленькая картинка нравовъ изъ записокъ студента 20-хъ годовъ Ляликова. Привезли его родители въ Москву отдавать въ университетъ и боялись, что могутъ встрѣтиться какія-нибудь препятствія. Въ виду этого, — разсказываетъ Ляликовъ, — "ужъ не знаю почему, по слуху ли о вліятельныхъ лицахъ въ университетѣ или такъ, изъ уваженія, родители рѣшились сдѣлать визитъ со мною Н. Н. Сан-

¹) «День», 1862 г., № 39—40.

дунову и М. М. Снегиреву. Припомните, то было время сюрпризовъ и съ пустыми ружами не ходили. Матушка запаслась полотенцами, хорошими, съ вышивками и кружевами. Пошли сначала къ Н. Н. Сандунову. Онъ принялъ насъ оригинально и по своему ласково. Матушка поднесла полдюжины полотенецъ. Благодарилъ".

Замѣтьте, что Сандуновъ (юристъ) былъ не кто-нибудь, а звѣзда факультета и всего университета.

"Другая полдюжины полотенецъ вручена была супругѣ М. М. Снегирева, которая насъ очень обласкала, какъ и онъ самъ".

И Снегиревъ былъ одинъ изъ видинимъ представителей университетской науки.

А вотъ, какъ лечилъ профессоръ Мудровъ, одинъ изъ первыхъ практиковъ своего времени, къ дарованіямъ котораго знаменитый Пироговъ относится съ большимъ уваженіемъ. Тотъ же Ляликовъ описываетъ пріемную Мудрова: "На стѣнѣ висѣла таблица за стекломъ въ рамкѣ, съ оглавленіемъ, какимъ святымъ и отъ какой болѣзни должно служить молебны (это было написано киноварью) и затѣмъ длинный рядъ названій болѣзней на одной половинѣ листа и исчисленіе святыхъ на другой" 1).

Ученый цензъ профессоровъ стараго типа, за небольшими исключеніями, былъ весьма малъ. Въ тѣ времена профессора не составляли самостоятельныхъ курсовъ, какъ это установилось въ 40-хъ годахъ, а читали по тому или другому переводному учебнику. Читали не словесность вообще, а "словесность по Бургію", "право по Гейнекцію" и т. д. Даже такой истинно-ученый человѣкъ, какъ Каченовскій, читалъ не всеобщую исторію, а "всеобщую исторію по Пелицу". Съ поздиѣйшей точки зрѣнія все это ничѣмъ не отличалось отъ гимназіи, и велось преподаваніе тоже по гимназически. Очень часто профессоръ обращался къ студенту съ просьбою "повторить".

Но даже въ тѣсныхъ предѣлахъ считыванія по тощему учебнику, университетское преподаваніе стараго типа сплошь до рядомъ было великимъ курьезомъ. Пироговъ прямо пишетъ, что на нѣкоторыя лекціи студенты собирались какъ на своего рода забавный спектакль: "Теперь нельзя себѣ составить и приблизительно понятіе о томъ господствъ комическаго элемента, который я засталъ еще въ университетѣ". Медики "ходили на лекціи своего и другого факультета нерѣдко для потѣхи. И теперь безъ смѣха нельзя себѣ представить Вас. Мих. Котельницкаго, идущаго въ нанковыхъ бланжевыхъ штанахъ въ сапоги (а сапоги съ кисточками), съ кулькомъ въ одной рукѣ и съ фармакологіею Шпренгеля, переводъ Іовскаго, подъ мыш-

^{1) &}quot;Русск. Арх." 1875 г., III.

кою. Это онъ, Вас. Мих. Котельницкій (проживавшій въ университетъ), идетъ утромъ съ провизіею изъ Охотнаго ряда на лекцію. Онъ отдаетъ кулекъ сторожу, а самъ ранехонько утромъ отправляется на лекцію, садится, вынимаеть изъ кармана очки и табакерку, нюхаетъ звучно, съ храпомъ табакъ и, надъвъ очки, раскрываетъ книгу, ставить свъчку прямо передъ собою и начинаетъ читать слово въ слово и притомъ съ ошибками. Вас. Мих. съ помощью очковъ читаетъ въ фармакологін Шпренгеля, переводъ Іовскаго: "Клещевин. ное масло, oleum ricini, китайцы придають ему горькій вкусь". Засимъ кладетъ книгу, нюхаетъ съ всхранываніемъ табакъ и объясняеть намь, смиреннымь его слушателямь: "Воть, видишь ли, китайцы придають клещевинному-то маслу горькій вкусь". Мы между темь, смиренные слушатели, читаемь въ той же книге: вместо китайцевъ-кожицы придають ему горькій вкусъ 1).

О такомъ же знаніи своего предмета свидѣтельствуютъ воспоминанія Герцена, учившагося на физико-математическомь факультеть. Профессоръ Чумаковъ, напр., "подгоняло формулы къ тъмъ, кото рыя были въ курсъ Пуансо, съ совершеннъйшей свободой помъщичьяго права, прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и х за извъстное". О. О. Рейсъ "никогда не читалъ химіи далъе водорода. Рейсъ попалъ въ профессора химіи потому, что не онъ, а его дядя занимался когда-то ею. Въ концъ царствованія Екатерины старика пригласили въ Россію; ему вхать не хотвлосьонъ отправилъ вмъсто себя племянника"...

Рядомъ съ этими прямыми невѣждами, были и знающіе, но такіе чудаки, что и ихъ лекціи больше забавляли, чёмъ научали студентовъ. Таковъ былъ, напр., изъ профессоровъ Герцена минералогъ А. Л. Ловецкій. "У него были созданы неизмѣнныя рубрики для формулярныхъ списковъ каждаго минерала, отъ которыхъ онъ никогда не отступалъ. Случалось, что характеристика иныхъ опредълялась отрицательно: кристаллизація—не кристаллизуется, употребленіе—никогда не употребляется, польза - вредъ, приносимый организму" 2).

На словесномъ факультетъ славился своимъ чудачествомъ профессоръ греческой словесности С. М. Ивашковскій, составитель весьма ценнаго словаря. "Какъ истолкователь ученія Сократа и Платона, онъ не любилъ лжи, софизмовъ и шутокъ, которыми отличался его собрать, преподаватель латинской стилистики. Однажды собрались наши ученые у Мерзлякова въ Сокольникахъ. Истолкователь Горація

^{4) «}Русск. Старина», 1885 г., № 1. 2) «Былое и Думы», Часть І.

и Саллюстія, зная рьяную натуру своего собрата, завелъ съ нимъ какой-то споръ и всёми мёрами старался поддержать ложное мнёніе. Ревинтель истины разсердился и незамѣтно скрылся. Проходитъ часа два, какъ вдругъ увидели Семена Мартыновича въ окно, крупно шагающаго съ фоліантомъ подъмышкою. Вошедши въ комнату, весь въ пыли и поту, онъ съ торжествующимъ видомъ восклицаетъ, указывая на замъченное мъсто раскрывшагося фоліанта: "Вотъ — будеть 1) — смотрите. Въдь я говориль, что моя правда". Таковъ быль Семенъ Мартыновичъ. Нипочемъ было прошагать ему десять верстъ взадъ и впередъ, чтобы принесеннымъ изъ дома фоліантомъ опровергнуть ложную мысль, незаконно защищаемую. Но студенты, кромф двухъ-трехъ человъкъ въ курсъ, учились илохо у этого ревнителя истины, знавшаго свой предметь, но совершенно не способнаго заинтересовать имъ своихъ слушателей, и студенты на лекціяхъ обыкновенно старались заговаривать его, чтобы сократить время занятій, имъ мудреныхъ. Лекціи не обходились безъ комическихъ подробностей, при чудачествъ профессора, который раздражался невъжествомъ своихъ слушателей. Всего интереснве были вопросы его изъ греческой словесности; онъ начиналъ, обращаясь къ которому-нибудь изъ студентовъ: "Что такое будетъ греческая словесность?" — "Поле, Семенъ Мартыновичъ", громко отвъчалъ вопрошаемый. — "Да, будетъ, поле, но какое?" И если студенть не вдругь отвъчаль, то Ивашковскій подхватываль съ жаромъ и скороговоркою: "Греческая словесность, будеть, поле, и поле обширное, будеть ... и оставался очень доволенъ такимъ опредѣленіемъ" 2).

Но не только изъ чудаковъ и малосвѣдущихъ, хотя и добродушныхъ людей состоялъ профессорскій персоналъ стараго типа. Были и злые невѣжды. Къ числу ихъ принадлежалъ, напр., Маловъ, виновникъ весьма громкой "маловской исторіи", разыгравшейся въ первый годъ студенчества Бѣлинскаго. Въ этой исторіи, любопытной не только для характеристики профессоровъ стараго типа, но и для характеристики новаго студенчества, принялъ руководящее учасціе Герценъ, и, повидимому, до извѣстной степени за участіе въ ней, долженъ былъ оставить университетъ Лермонтовъ. "Маловъ,—разсказываетъ Герценъ въ "Быломъ и Думахъ",—былъ глупый, грубый и необразованный профессоръ въ политическомъ отдѣленіи. Студенты презирали его, смѣялись надъ нимъ. "Сколько у васъ профессоровъ

¹) Любимое его слово, которое онъ говориль чуть не за каждымъ словомъ. Студенты называли его: въ прикуску.

²⁾ Разсказъ современника (М. Б. Чистикова?), со ставленный для труда А. Н. Пыпина (I, стр. 64).

въ отделени?" спросилъ какъ-то попечитель у студента въ политической аудиторіи. "Безъ Малова девять", отвічаль студенть. Воть этотъ-то профессоръ, котораго надобно было вычесть для того, чтобъ осталось девять, сталь больше и больше делать дерзостей студентамъ. Студенты ръшились прогнать его изъ аудиторін. Сговорившись, они прислали въ наше отделение двухъ парламентеровъ, приглашая меня прійти съ вспомогательнымъ войскомъ. Я тотчасъ объявиль кличь идти войной на Малова, нъсколько человъкъ пошло со мной: когда мы пришли въ политическую аудиторію, Маловъ былъ на-лицо и видълъ насъ. У всъхъ студентовъ на лицахъ былъ написанъ одинъ страхъ. ну, какъ онъ въ этотъ день не сдълаетъ никакого грубаго замъчанія? Страхъ этотъ скоро прошелъ. Черезъ край полная аудиторія была непокойна и издавала глухой, сдавленный гулъ. Маловъ сдълалъ какое-то замъчаніе, началось шарканье. "Вы выражаете ваши мысли, какъ лошади, ногами", замътилъ Маловъ, воображавшій, въроятно, что лошади думаютъ галопомъ и рысью, и буря поднялась свистъ, шиканье, крикъ "вонъ его, вонъ его, pereat!" Маловъ, блѣдный, какъ полотно, сдълалъ отчанное усиле овладъть шумомъ, и не могъ; студенты вскочили на лавки. Маловъ тихо сошелъ съ каведры и, съежившись, сталъ пробираться къ дверямъ, за нимъ, его проводили по университетском у двору на улицу и бросили вслёдъ за нимъ калоши" 1).

Репутація Малова была настолько внѣ споровъ, что, несмотря на суровость эпохи, дѣло для студентовъ кончилось относительно пустяками, а Малова уволили отъ службы.

Изъ профессоровъ стараго типа на словесномъ факультетъ представлялъ серьезный интересъ одинъ только историкъ Каченовскій, но онъ читалъ монотонно и сухо и разбрасывался на археологическія мелочи. Къ тому же самостоятельно онъ читалъ только русскую исторію, всеобщую же исторію весьма скучно читалъ "по Пелицу". Меръляковъ былъ когда-то серьезною умственною силою, но въ годы студенчества Бълинскаго онъ былъ настолько дряхлъ (умеръ въ 1830 г.) и такъ часто прибъгалъ къ "чарочкъ", что ръдко и читалъ. Бълинскій едва ли его слушалъ.

Закончимъ нашъ обзоръ профессоровъ "стараго стиля" характернымъ разсказомъ объ одномъ изъ тогдашнихъ декановъ: "Когда требовалось отъ преподавателей. по какому руководству они будутъ читать—по своему ли собственному, или какого-нибудь извъстнаго автора, онъ отвъчалъ, что "будетъ читать по Пленку, что умнъе Пленка-то не сдълаешься, хоть и напишешь свое собственное". Когда,

¹) "Вылое и Думы", часть І. Очерки, т. І.

однажды, стали при немъ хвалить молодого преподавателя, толькочто возвратившагося изъ Италіи, онъ отвѣчалъ: "Ну, не хвалите прежде времени, поживеть съ нами, такъ поглупѣетъ" ¹).

Послѣ такого признанія не покажется особенною утрировкою слѣдующая выдержка изъ письма Пушкина къ Погодину:

"Жалью, — писаль Пушкинь въ іюнь 1831 г., — что вы не раздълались еще съ московскимъ университетомъ, который долженъ рано чили поздно извергнуть васъ изъ среды своей, ибо ничего чуждаго не можетъ оставаться ни въ какомъ тълъ, а ученость, дъятельность и умъ чужды московскому университету" 2).

Суровъ этотъ приговоръ, отчасти даже несправедливъ, потому что нѣкоторымъ профессорамъ стараго типа, напр. Каченовскому, нельзя было отказать ни въ учености, ни въ дѣятельности, ни въ умѣ. Этотъ приговоръ и не совсѣмъ безпристрастенъ, потому что Пушкипъ былъ очень сердитъ на нападавшаго на него Каченовскаго, котораго приравнивалъ къ Тредъяковскому. Пушкинъ былъ даже сердитъ на сотрудника Каченовскаго—молодого Надеждина, который уже всецѣло принадлежалъ къ профессорству новаго типа. Но въ общемъ все-таки отзывъ Пушкина безусловно вѣренъ, и нечего удивляться тому, что галлерея невѣждъ и чудаковъ, которая продефилировала передъ нами, ничего кромѣ отрицательнаго впечатлѣнія на слушателей произвести не могла. Изъ біографіи даже такого патентованнаго ученаго, какъ Константинъ Аксаковъ, мы видимъ, что положительныхъ знаній онъ почти не вынесъ изъ университета. Онъ ихъ пріобрѣлъ впослѣдствіи.

Не вынесь ихъ въ большемъ количествъ и Бълинскій. И вліяніе университетскаго ученія на него было бы совершенно ничтожно, если бы онъ не попаль въ эпоху смѣны стараго профессорскаго типа новымъ, когда допотопные мастодонты и ихтіозавры старой университетской формаціи мало-по-малу уступили мѣсто людямъ, стоявшимъ на высотъ истинно-университетскихъ требованій.

Объ этой немногочисленной, но сильной талантами групив молодыхъ ученыхъ я скажу въ следующей главе, въ связи съ юношескою драмою Белинскаго "Дмитрій Калининъ".

¹⁾ Пыппнъ, І, 61—62.

³) Барсуковъ, Жизнь и труды Погодина, т, III, стр. 308.

III.

Профессора новаго типа.

Группа профессоровъ новаго типа была ничтожна числомъ. Не безъ хронологическихъ натяжекъ и значительной снисходительности, въ нее можно включить всего на всего пять человѣкъ, которыхъ по степени вліянія, оказаннаго на студентовъ, слѣдуетъ расположить въ слѣдующемъ восходящемъ порядкѣ: Давыдовъ, Погодинъ, Шевыревъ, Павловъ, Надеждинъ.

Иванъ Ивановичъ Давыдовъ въ общемъ оставилъ по несимпатичную память въ исторіи русской литературы. Въ началь 40-хъ годовъ Грановскій, подвергаясь разнымъ заподозриваніямъ, объяснилъ ихъ наушничествомъ Давыдова. Въ статьяхъ своихъ того же періода Давыдовъ, и въ жизни считавшійся образцемъ низкопоклонства и угодничества, доводилъ теорію "офиціальной народности" до крайнихъ предъловъ ея вражды къ движенію мысли. Характеристикой еще болье поздняго періода его двятельности, когда онъ перевхалъ въ Петербургъ и сталъ директоромъ главнаго педагогическаго института, является то, что весь ранній періодъ жизни и дъятельности Добролюбова ушелъ на борьбу съ Давыдовымъ. Но въ началъ своего профессорства-въ 20-хъ и самомъ началь 30-хъ гг., пока Давыдовъ не превратился еще въ шипящаго противъ всякой свѣжей мысли, злобно-завистливаго и низкопоклоннаго профессора-чиновника, онъ былъ человекъ съ известными духовными запросами, съ желаніемъ внести что-то новое въ сознаніе своихъ слушателей и расширить ихъ кругозоръ. Въ схоластику прежняго преподаванія "словесности" онъ внесъ элементь философскій и быль однимъ изъ самыхъ раннихъ у насъ пропагандистовъ шеллингіанства. Знанія его были весьма разнообразны: онъ последовательно занималь съ большимъ блескомъ канедры философіи, латинской словесности, высшей алгебры и, наконецъ, русской словесности. Правда, и въ ранніе годы въ немъ чувствовался не столько действительный интересь къ научнымъ изследованіямъ, сколько желаніе блеснуть и щегольнуть. Даже такой не слишкомъто "горячій" слушатель его, какъ Гончаровъ, отмѣчаетъ, что "въ обществъ его принимали за то, чъмъ онъ хотълъ казаться, но мы, юноши, чутко прозирали въ немъ что-то искусственное, декоративное" '). Но все же отъ его лекцій уже не пахло гимназіей и слу-

¹) Гончаровъ, соч. т. IX, стр. 30.

шатель вводился въ кругъ знаній и движенія общеевропейской мысли.

Основныя черты духовной физіономіи Погодина уже намічены выше, въ общемъ обзоръ эпохи Бълинскаго. Теперь же, спеціально о немъ какъ о профессоръ, прибавлю, что въ его отношеніи къ своимъ лекціямъ ярко сказалось новое теченіе университетскаго преподаванія. Если мы обратимся къ дневнику Погодина, выдержки изъ котораго въ такомъ изобиліи приведены въ трудъ Н. П. Барсукова, то увидимъ, что онъ послѣ долгихъ лѣтъ профессорства все-таки тщательнъйшимъ образомъ готовился къ каждой лекцін, иногда просиживая целыя ночи. Вотъ это-то тщательное подготовленіе, вм'єсто обычнаго считыванія со старыхъ тетрадокъ, въ незапамятныя времена составленныхъ, и выдъляло его изъ общаго уровня профессоровъ стараго типа. Студенты, чуткіе ко всякой до бросовъстности, цънили старанія Погодина. Бълинскій въ первый періодъ дъятельности своей, когда еще у него были свъжи университетскія впечатлівнія, относился къ Погодину благосклонно, и если кое-что и поридалъ въ его дъятельности, напримъръ, неодобрительно отнесся къ его учебнику русской исторін, то съ точки зрѣнія очень большихъ требованій. Цёлыхъ 50 лётъ спустя, одинъ изъ ого слушателей, и притомъ слушатель совсѣмъ особаго рода—Я. И. Костенецкій, еще студентомъ сосланный за политическую исторію, отозвался въ своихъ запискахъ о Погодинъ съ чрезвычайною похвалою: "Его свътлыя и новыя идеи, тогда еще нигдъ не появлявшіяся въ печати, возбуждали самое напряженное вниманіе къ каждому его слову, и тишина на лекціяхъ его была невозмутимая" 1).

Еще большее впечатльніе производиль въ началь своей профессорской дьятельности Шевыревъ. Онъ только-что вернулся тогда изъ Италіи и, насколько это было доступно сухо-педантскому темпераменту его, быль полонь воодушевленія европейскою культурою. Онъ не только не провозглашаль еще, что Западь сгниль а, напротивь того, широкимь примьненіемь сравнительнаго метода любовно вводиль слушателей въ исторію западно-европейскихъ литературныхъ движеній. Живымь отголоскомь общаго впечатльнія первыхъ льтъ университетской дьятельности Шевырева является то мьсто "Литературныхъ мечтаній", гдь Бълинскій коснулся дьятельности Шевырева, какъ поэта и переводчика. Бълинскій высказаль при этомъ большую проницательность, первый отмьтивь, хотя и въ очень сдержанныхъ выраженіяхъ, преобладаніе въ Шевыревь "усилій ума" надъ "горячимъ вдохновеніемъ". Это было, между прочимъ, причиною

¹) "Рус. Арх." 1887 г. № 2, стр. 231.

того, что привыкшій тогда къ единодушнымъ похваламъ Шевыревъ, съ большими похвалами говорившій о появлявшейся по частямъ въ "Молвъ" статьъ Бълинскаго, вдругъ круто измѣнилъ свое мнѣніе о ней. Но въ общемъ все-таки Бълинскій говорилъ о Шевыревъ, какъ объ одномъ "изъ молодыхъ замѣчательнѣйшихъ литераторовъ нашихъ, съ раннихъ лѣтъ своей жизни предавшемся наукъ и искусству, съ раннихъ лѣтъ выступившемъ на благородное поприще дѣйствованія въ пользу общую", "обогащенномъ познаніями, коротко знакомомъ со всеобщею исторіею литературъ, что доказывается многими его критическими трудами, и, особенно, отлично исполняемою имъ должностью профессора при московскомъ университеть".

Крупная роль, которую сыграль въ исторіи русскаго просвіщенія вообще и умственнаго развитія кружка Бълинскаго въ частности профессоръ физики, минералогіи и сельскаго хозяйства М. Г. Павловъ, можетъ служить яркою иллюстраціей къ тому, что я говориль въ общемъ очеркъ эпохи по поводу мнимаго "извращенія" у насъ въ сороковыхъ годахъ гегельянства. Къ какимъ ложнымъ выводамъ придеть изследователь, если приступить къ исторіи данной научной дисциплины въ Россіи, не принявъ при этомъ въ соображеніе, что у насъ относятся къ наукъ не просто какъ къ наукъ, "объективно" и съ желаніемъ спеціализироваться, а нщуть въ ней по преимуществу общихъ руководящихъ началъ. Вотъ, напр., почтенный профессоръ физики Ө. Ө. Петрушевскій, по своей спеціальности не обязанный быть знакомымъ съ исторіей русской общественности, береть "основанія физики" Павлова, вышедшія 60 літь тому назадъ, разсматриваетъ 1) ихъ an und für sich и остается чрезвычайно недоволенъ: книга "отличается полнымъ отсутствіемъ приложенія математики къ анализу, а взамънъ того авторъ трактуетъ теоріи съ точки зрвнія натуръ-философовъ". Почему такъ преступно въ эпоху, когда "натуръ-философія" еще нимало не была сдана въ архивъ, примкнуть къ ней, я не совсемъ понимаю. Еще черезъ 60 лётъ, когда изследователь будеть давать отзывь о курсахь физики 80-хъ и 90 хъ годовъ, онъ, в роятно, столь же неодобрительно отнесется къ ея атомистическимъ основаніямъ и другимъ подобнымъ теоріямъ современной "положительной" физики. Но не въ этомъ, впрочемъ, дъло. Конечно, Павловъ, имъя возможность примкнуть къ точной школ физики Біо, чемъ его дальше упрекаетъ въ своей заметке Ө. Ө. Петрушевскій, научно быль неправь, увлекшись Океномъ и мистическою натуръ-философіею. И все же, какъ далекъ его суровый критикъ отъ истины, какъ невърно изобразилъ онъ роль Пав-

^{1) &}quot;Энцикл. Словарь" Брокгаузъ-Ефрона, т. XXII, стр. 569.

лова въ исторіи русской научной мысли, когда говорить: "Ни Велланскій 1), ни Павловъ не способствовали развитію изученія физики въ нашемъ отечествъ. Напротивъ того, оставляя въ сторонъ только туманнаго Велланскаго, про Павлова нужно сказать, что онъ чрезвычайно много способствовалъ изученію физическихъ явленій, если и не прямо, то косвенно, пріохотивъ университетское юношество къ самому изученію естественныхъ наукъ. Можетъ быть, въ самомъ тъсномъ смыслъ для физики онъ и мало сдълалъ, но для всего дела изученія природы въ Россіи сделаль чрезвычайно много. До Павлова естественныя науки въ общемъ представленіи русской публики и студенчества были безпорядочнымъ сборомъ отдельныхъ фактовъ, чъмъ-то въ родъ кунсткамеры разныхъ курьезовъ и раритетовъ. Павловъ первый внесъ въ сознание общества и молодежи представление о естествовъдънии, какъ наукъ обобщающей и философской. До него у насъ изъ-за деревьевъ лѣса не видѣли, за отдъльными травками и козявками, за отдъльными явленіями физическими терялось общее представление о великой книга природы. Павловъ, проникшись философіей Шеллинга, съ ея основнымъ объединяющимъ принципомъ, первый изъ представителей университетского преподаванія прочно внідриль понятіе объ единстві физическихъ силъ, а это уже, конечно, понятіе не только "натуръ-философское". Въ той первоначальной стадін, въ которой при Павловъ находился у насъ интересъ къ естественнымъ наукамъ, еще рано было бросать семена спеціальных знаній, надо было расчищать самую ниву научнаго "дъланія". Чтобы понять это піонерское значеніе Павлова, надо судить не абсолютно, а въ исторической перспективъ, и если мы обратимся къ свидътельству современниковъ, то и увидимъ, что въ дъйствительности натуръ-философія Павлова не только не затемняла умы слушателей, а, напротивъ того, сообщала имъ замъчательно ясное міросозерцаніе. Причина лежала въ талантливости Павлова и въ томъ, что онъ не просто въщалъ съ чужого голоса, а органически проникся самъ натуръ-философскими абстракціями, казавшимися ему, поэтому, чёмъ-то вполнё конкретнымъ. "Павловъ, вспоминаетъ Герценъ, — излагалъ учение Шеллинга и Окена съ такой пластической ясностью, которую никогда ни имфль не одинъ натуръфилософъ. Физикъ было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству невозможно ²), но его курсы были чрезвычайно полезны. Навловъ стоялъ въ дверяхъ физико-математическаго отдъ-

¹⁾ Физикъ-шеллингіанецъ, профессоръ Мед.-Хир. Академіп.

²⁾ Проф. Совътовъ гораздо благосклоннъе смотритъ на роль Павлова въ исторіи распространенія въ Россіи спеціально-агрономическихъ знаній, См. "Энциклоп. Словарь" Брокгаузъ-Ефрона, т. XXII, стр. 569.

ленія и останавливаль студента вопросомь: "Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать? Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая въ университеть, совершенно лишена философскаго подготовленія, одни семинаристы имъють понятіе объ философіи, совершенно превратное" 1). И молодежь отлично поняла, что "это чрезвычайно важно". Студенты всёхъ факультетовъ съ величайшимъ интересомъ слушали Павлова. "Значительная часть аудиторіи словеснаго отділенія спускалась однимъ этажемъ ниже, въ скромную залу физико-математическаго, и наполняла ее биткомъ" 2). Юристъ Костенецкій "постоянно посъщалъ лекціи физика Павлова не по обязанности, а добровольно". И что самое важное, эти лекціи не затуманивали его сознанія, а, напротивъ того, открывали широкія и ясныя перспективы. "Павловъ имѣлъ удивительный даръ излагать лекцію ясно, въ высшей степени логично, безъ всякихъ краснорфинвыхъ или напыщенныхъ фразъ, но просто и вразумительно до невъроятности. Каждая его лекція запечатлъвалась твердо въ памяти и ее очень легко можно было повторить всю наизусть, такъ послёдовательно истекала одна мысль изъ другой. До поступленія въ университеть, въ гимназін всё науки преподавались намъ чисто-механически: мы затверживали только факты, объидеяхъ и помину не было, и когда я прослушалъ первую лекцію Павлова, то я былъ необыкновенно пораженъ, какъ будто какая-то завъса спала съ ума, и въ головъ моей засіяль новый свъть. Предо мною открылся новый міръ идей, новый взглядъ науки..." 3).

Дать этотъ-то общій взглядъ на науку и есть задача университетскаго преподаванія. Важенъ методъ, умѣніе научно мыслить.

Какъ отразились лекціи Павлова непосредственно на Бѣлинскомъ, прямыхъ указаній нѣтъ. Но зато извѣстно, что онѣ произвели огромное впечатлѣніе на Станкевича, а это одно и то же. Главнымъ образомъ, Бѣлинскій пріобрѣталъ знанія въ томъ, стоившемъ, по превосходному выраженію М. М. Попова, "цѣлой Сорбонны" университетѣ, который назывался "кружокъ Станкевича".

Но наиболье рышительное вліяніе изъ всыхъ профессоровь новаго типа оказываль Надеждинь. Я сейчась ничего не скажу о Надеждинь вообще, потому что характеристикь его литературной дыятельности будеть посвящена одна изъ слыдующихъ главъ. Надеждинъ въ исторіи духовной жизни Былинскаго занимаеть первенствующее мысто по той тысныйшей связи, которую принято устанавливать между лите-

¹) "Былое и Думы", ч. III.

²⁾ Анненковъ, Воспомпнанія, т. III, стр. 285.

^{5) &}quot;Русск. Архивъ" 1887 г. № 2, стр. 230.

ратурною дъятельностью редактора "Телескопа" и его молодого сотрудника. Принято думать, что весь первый періодъ діятельности Бълинскаго долженъ быть названъ "Надеждинскимъ". Я съ этимъ согласиться не могу и постараюсь подтвердить свое мивніе фактами 1). Теперь же я собственно отмъчу только значение Надеждина, какъ профессора.

Воспоминанія бывшихъ слушателей Надеждина о его лекціяхъ носять прямо восторженный характерь. Одинь изъ нихъ говорить, что "часы, проведенные имъ на этихъ лекціяхъ, принадлежатъ къ лучшимъ часамъ его жизни, и воспоминание о нихъ онъ лелетъ въ своей памяти, какъ золотой сонъ" 2). Станкевичъ говорилъ Константину Аксакову, что Надеждинъ "много пробудилъ въ немъ своими лекціями и что если онъ (Станкевичъ) будетъ въ раю, то Надеждину за то обязанъ". Ужъ на что уравновъшенный человъкъ Гончаровъ, а посмотрите, въ какомъ тонъ говоритъ онъ о лекціяхъ Надеждина: "Какъ профессоръ, онъ былъ намъ дорогъ своимъ вдохновеннымъ, горячимъ словомъ, которымъ вводилъ насъ въ таинственную даль древняго міра, передавая духъ, бытъ, исторію и искусство Греціи и Рима. Чего только не касался онъ въ своихъ импровизированныхъ лекціяхъ! Онъ читалъ на память, не привозя никакихъ записокъ съ собою. Память у него была изумительная. Онъ одинъ замънялъ десять профессоровъ. Излагая теорію изящныхъ искусствъ и археологію, онъ излагалъ и общую исторію Египта, Грецін и Рима. Говоря о памятникахъ архитектуры, о живописи, о скульптурф, наконець, о творческихъ произведеніяхъ слова, онъ касался и исторін философін. Изливая горячо, почти страстно передъ нами сокровища знанія, онъ училь насъ и мастерскому владенію речи. Записывая только одне его лекцін, можно было научиться чистому и изящному складу русскаго языка" ³).

Есть отзывы и не столь восторженные. Такъ, Константинъ Аксаковъ, нимало не отрицая, впрочемъ, огромнаго впечатленія, произведеннаго на студентовъ блестящими импровизаціями Надеждина, въ которыхъ университетское юношество чутко ловило "воздухъ мысли", вмъстъ съ тъмъ увъряеть, что "молодое покольніе, съ жадностью и благодарностью обратившееся къ Надеждину, скоро увидьло, что ошиблось въ своемъ увлечении. Надеждинъ не удовле-

⁴) Нам'вреніе это въ изв'єстной степени приведено въ псполненіе въ примфчаніяхъ къ I тому моего изданія Бфлинскаго, т. I, стр. 397—414. Ср. также въ этомъ изданіи т. IV, прим. 114; т. V пр. 10, 12, 118; т. VI, прим. 162, 164.

2) "Истор. Вѣст." 1889 г., № 8, стр. 318.

³⁾ Гончаровъ. Сочиненія, т. ІХ, стр. 28.

творилъ серьезнымъ требованіямъ юношей; скоро замітили сухость его словъ, собственное безучастие къ предмету и недостатокъ (?) серьезныхъ знаній". Въ этомъ отзывѣ ужасно много и ретроспективности и прямой несправедливости. "Недостатокъ серьезныхъ знаній" студенты уже никакимъ образомъ не могли замътить. Не только потому, что не имъ было объ этомъ судить, но и потому, что это совершенно невърное утверждение. Знаній у Надеждина была пропасть, больше чемъ у кого-либо изъ другихъ профессоровъ. Что касается "сухости" и "безучастія къ предмету", то, конечно, оба эти качества составляють основу духовной природы Надеждина. Но при внъшней живости Надеждина надо было уже обладать очень большою проницательностью, чтобы разглядеть его индифферентизмъ. Даже такому чуткому ко всякой неискренности наблюдателю, какъ Бълинскій, это стало ясно очень поздно и тогда, когда ссылка и желаніе реабилитировать себя вынудили Надеждина обнаружить дъйствительную сущность своего душевнаго склада.

Аксаковъ писалъ свои воспоминанія очень поздно, въ 1855 году, и просто не сумѣлъ отдѣлить своихъ позднѣйшихъ представленій. Всѣ остальныя свидѣтельства о Надеждинѣ-профессорѣ, какъ тѣ прямыя, которыя приведены выше, такъ и разныя мимоходныя въ воспоминаніяхъ старыхъ московскихъ студентовъ, единодушно и единогласно говорятъ объ огромномъ и благодѣтельномъ вліяніи лекцій Надеждина, впервые давшаго своимъ слушателямъ стройную, философски-обоснованную систему эстетическаго пониманія литературы и искусства.

Если брать студентовъ вообще всёхъ факультетовъ, то въ ряду профессоровъ новаго типа, по степени оказаннаго на студентовъ вліянія, Надеждина и Павлова надо поставить рядомъ. Но спеціально для словесниковъ, которые Павлова не могли слушать систематически и постоянно, первенствующее значеніе имѣлъ Надеждинъ. Съ германскою философіею, вліяніе которой дало основную окраску тридцатымъ годамъ, ознакомилъ словесниковъ больше всѣхъ Надеждинъ.

Человѣкъ въ молодости всегда благодаренъ за всякое добро, ему оказываемое, и на все готовъ смотрѣть оптимистически, если есть только малѣйшее основаніе. Вотъ почему тѣхъ немногихъ профессоровъ новаго типа, силуэты которыхъ я пытался набросать выше, было достаточно, чтобы въ представленіи студентовъ-сверстниковъ Бѣлинскаго дать общую благопріятную окраску всему университетскому преподаванію того времени. Прибавьте къ этому отмѣченныя

въ предыдущей главъ отрадныя, бодрящія и плодотворныя впечатльнія, которыя давало студенчество новаго типа, и вы поймете, почему общій тонъ всьхъ безъ исключенія студенческихъ восноминаній объ интересующемъ насъ періодъ чрезвычайно повышенъ. Ярче всьхъ отразилъ это восторженное отношеніе Герценъ. Двадцать льтъ спустя, изгнанникомъ вспоминая годы студенчества, онъ ихъ заканчиваетъ такимъ лирическимъ изліяніемъ:

"Alma Mater! Я такъ много обязанъ университету и такъ долго послѣ курса жилъ его жизнью, съ нимъ, что не могу вспоминть о немъ безъ любви и уваженія. Въ неблагодарности онъ меня не обвинить, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ университету легка благодарность, она нераздѣльна съ любовью, съ свѣтлымъ воспоминаніемъ молодого развитія... и я благословляю его изъ дальней чужбины".

Не слѣдуетъ думать, что въ этомъ любовномъ отношеніи играетъ главную роль обаяніе воспоминаній о той порѣ, когда человѣку дороги и новы "всѣ впечатлѣнья бытія". Нѣтъ, тутъ есть нѣчто спеціально московскому университету принадлежащее. Въ воспоминаніяхъ о петербургскомъ университетѣ тѣхъ же лѣтъ нѣтъ ничего подобнаго. Грановскій и Тургеневъ вышли изъ петербургскаго университета и никакой нѣжности къ своей alma mater не вынесли.

IV.

Юношеская драма Бълинскаго.

Бѣлинскому пришлось натерпѣться не мало страха, пока его зачислили студентомъ. Онъ не запасся метрическимъ свидѣтельствомъ, безъ котораго ректоръ Двигубскій не хотѣлъ принимать его прошенія; отецъ, несмотря на обѣщаніе, это свидѣтельство почемуто не высылалъ, и былъ моментъ, когда Бѣлинскому казалось, что "надежда потеряна". Онъ однако твердо рѣшилъ въ Чембаръ не возвращаться, гдѣ, какъ мы сейчасъ увидимъ, его молодое и потому особенно чувствительное самолюбіе было чѣмъ-то очень оскорблено. "Лучше соглашусь умереть съ холода и голода среди московскихъ улицъ, или просить милостыню подъ окнами, нежели ѣхать къ вамъ въ "Чембаръ". Онъ не хотѣлъ "быть предметомъ посмѣянія и насмѣшекъ всего города".

Дѣло, однако, уладилось. Свидѣтельство получилось, экзаменъ Бѣлинскій выдержаль хорошо, судя по тому, что его вскорѣ приняли на казенный "коштъ". Бѣлинскій былъ особенно доволенъ тѣмъ, что

поступиль безъ всякой протекцін. Онъ изъ дому, правда, запасся ивумя рекомендательными письмами: къ генералу Дурасову и къ Лажечникову (отъ М. М. Попова). Но Дурасовъ ничего не сдълалъ, а Лажечниковъ, хотя и просилъ двухъ профессоровъ, которые должны были экзаменовать Бълинскаго, но на самомъ дълъ онъ экзаменовался у другихъ профессоровъ. Съ большою радостью извѣщалъ Бълинскій родителей о благопріятномъ оборотъ своихъ дълъ и при этомъ не могъ удержаться отъ тщеславнаго чувства. "Итакъ, я теперь студенть и состою въ XIV классь, имью право носить шпагу и треугольную шляпу". Странная фраза въ устахъ Бълинскаго, мало вяжущаяся съ общимъ обликомъ его, но въдь совсвиъ отъ среды не уйдешь. Цёлыхъ щесть лётъ спустя, его ровесникъ-"небесный" Станкевичъ, уже кончившій университетъ, уже вполнѣ опредалившійся какъ душевный и интеллектуальный типъ, не могъ удержаться отъ того, чтобы не сообщить съ большимъ удовольствіемъ своему другу Невърову, что по должности попечителя уъзднаго училища у него будеть очень красивый мундиръ. Впрочемъ, и то сказать, Бълинскій писаль людямь, передъ которыми онъ въ чемъ-то долженъ быль реабилитировать себя и, конечно, доказательствами, подходящими къ ихъ пониманію: чиномъ, шпагой, треуголкой. Очевидно, что оставление гимназии и почти годовое "праздношатание" поселили недовъріе къ нему. Этимъ объясняется и другое мъсто въ перепискъ съ родителями, полное совершенно чуждой Бълинскому даже въ самые ранніе годы его хвастливости: "Я думаю, въ вашемъ пресловутом в (курсивы Бълинскаго, Чембаръ) очень удивляются, что я принять въ императорской московскій университеть студентомъ. Впрочемъ, я очень мало дорожу мнѣніемъ чембарцевъ. Ежели меня не умъли оцънить въ Чембарю, то оцънили въ Москвъ. Я думаю всёмъ вёстимо, что между Чембаромъ и Москвою есть небольшая разница, и что между чембарскими жителями и московскими профессорами есть маленькое разстояньщие. О, Чембаръ, пресловутый Чембаръ!!!» 1).

Долженъ и вообще замѣтить, что переписка Бѣлинскаго съ родителями ²) вся носитъ какой-то совсѣмъ особенный характеръ. Бѣлинскаго въ этой перепискѣ точно подмѣнили. Нѣтъ ни блеска слога, почти нѣтъ и слѣдовъ того удивительнаго огня, который дѣлаетъ переписку Бѣлинскаго лучшею частью его духовнаго наслѣдства. Все какіе-то мелкіе счеты, попреки и исключительно частные

¹) «Русск. Ст.» т. XV, стр. 53.

³) Вев дальнъйшін выдержки изъ переписки съ родителями взяты тоже изъ XV тома «Русск. Ст.».

интересы. Но, конечно, весь этотъ тонъ надо отнести исключительно на счеть лиць, съ которыми велась переписка. Мы знаемъ письмо Бълинскаго къ Попову, отъ того же времени имъются письма его къ Ивановымъ: тамъ Бълинскій-настоящій. Ивановымъ молодой студентъ сообщалъ о литературныхъ собраніяхъ своего кружка, а матери и отцу -какъ его надули при покупкъ чемодана, какія кушанья дають казеннокоштнымь студентамь и т. п. Попробоваль онъ разъ описать имъ игру Мочалова, прибавивъ въ концѣ: "Если вамъ будетъ пріятно сіе слабое описаніе московскаго театра, то я буду вамъ писать о семъ подробнъе". Оказалось однако, что это родителямъ не только не было "пріятнымъ", а вызвало попреки. Отецъ, видимо, просто промолчалъ, а мать написала, что лучше бы сынь, вивсто театра, обошель "всв соборныя московскія церкви". Послъ такого ласковаго отклика, Бълинскій уже ограничивался краткими реляціями чисто-фактическаго свойства, да препирательствами изъ-за денегъ, которыя родители крайне скудно ему высылали. Повторяю, никакъ нельзя ставить этотъ мелкій тонъ въ вину Бфлинскому сыну. И кремень даеть искру только тогда, когда его надлежащимъ образомъ высъкаютъ.

Бѣлинскому первые мѣсяцы пришлось намучиться не мало. Небольшія деньги, привезенныя изъ дому, быстро таяли. Съ неопытнаго и ничего не понимавшаго въ практической жизни провинціала часто драли въ тридорога, да еще за гниль, которую чрезъ нѣсколько дней приходилось выбрасывать. А затѣмъ онъ и позволялъ себѣ "роскошь" не совсѣмъ по карману: покупалъ, напр., какуюнибудь едва ли особенно ему нужную ариеметику Войцѣховскаго за два рубля, т. е. за сумму, въ которую ему обходилась ѣда въ теченіе цѣлой недѣли. Эта страсть тратить деньги на "роскошь" подобнаго рода осталась у него на всю жизнь. У Панаева есть разсказъ, какъ слывшій у людей, не видѣвшихъ его, "циникомъ" Бѣлинскій разъ употребилъ почти весь полученный за большую статью гонораръ на то, чтобы накупить великолѣпнѣйшихъ цвѣтовъ, а затѣмъ цѣлый мѣсяпъ жилъ чуть что не впроголодь.

Чтобы покрыть дефициты, приходилось опять обращаться къ родителямъ, а это было куда какъ не весело. И деньги получались только послѣ повторенныхъ просьбъ съ такого рода аргументами: "Я думаю, что вы, несмотря на мон ошибки, все еще мнѣ отецъ и не допустите сына своего умереть съ голоду", и сопровождались присылки несноснѣйшими попреками.

Около новаго 1830 года просьба Бѣлинскаго быть принятымъ на "казенный коштъ" была, наконецъ, уважена. На первыхъ порахъ Бѣлинскій былъ просто въ восторть. Онъ, очевидно, такъ набѣдство-

вался, провдая, вкупь съ двумя товарищами, по рублю ассигнацій въ день и снимая конуру у какого-то портного, что его приводило въ восхищение даже то, что въ "отлично-хорошихъ номерахъ", гдъ номъщалось человъкъ по 12 студентовъ, "у каждаго студента своя кровать, свой столь и своя табуретка". У портного, надо думать, не у каждаго изъ жильцовъ была своя кровать и свой табуретъ. Завтракъ студентамъ давался великольпныйшій: булка и стаканъ молока. Воскресные объды совершенно лукулловскіе: "Бываютъ пироги, жаркое, какое-нибудь пирожное". Въ обыкновенные дни, значить, жаркого не было. Сервировка тоже удивительная: "Для всякаго студента особенный приборъ" и даже особая салфетка. Особенно забавенъ паеосъ Бълинскаго по поводу общаго вида студенческой столовой: "Увидя столы, накрытые снъговыми скатертями, на которыхъ поставлены миски, блюда, графины съ квасомъ, приборы въ величайшемъ порядкъ, можно подумать, что это приготовленъ объдъ для гостей какого-нибудь богача по случаю праздника, бала или чего-нибудь подобнаго".

Восторги "казеннымъ коштомъ" длились недолго. Къ началу новаго учебнаго 1830—1331 года отношение Бълинскаго къ этому "кошту" круго измѣняется. Бѣлинскій только что вернулся изъ вакаціонной повздки въ Чембаръ, куда выбрался не безъ большихъ затрудненій: онъ писаль родителямь, что хотёль бы ихъ повидать, а нъжные родители ему отписали, что если онъ, дъйствительно, желаетъ видъться съ ними, то самъ и найдетъ средства. Въроятно, вследствие того, что ему удалось осуществить свое намерение очень поздно -- въ концѣ іюня, Бѣлинскій вернулся изъ отпуска тоже очень поздно-въ срединъ сентября, когда лекціи уже начались, и это сразу поставило его въ дурныя отношенія къ начальству. Университетскія власти всецёло еще принадлежали къ людямъ стараго университетского типа, смотръвшимъ на студентовъ, какъ на школьниковъ, обращавшимся съ ними на ты и весьма мало съ ними церемонившимся. Были возможны такіе эпизоды: Бёлинскій "передъ окончаніемъ холеры" осени 30-го года не ночевалъ ночи двѣ или три въ университетъ, что возбранялось правилами. Приходитъ онъ затемъ къ новому инспектору Щепкину и "онъ начинаетъ меня ругать", пишетъ Бълинскій родителямъ, "говоритъ, что меня за это онь отдасть, какъ какую-нибудь каналью, въ солдаты и, наконець, съ презрвніемъ началь выгонять изъ своихъ комнатъ". Этотъ новый инспекторъ завелъ цълый рядъ стъсненій и неудобствъ. Матеріальная обстановка казеннаго кошта, которымъ такъ восхищался на первыхъ порахъ Бѣлинскій, тоже чрезвычайно ухудшилась. "Пища въ столовой такъ мерзка, такъ гнусна, что невозможно всть. Я удивляюсь, какимъ образомъ мы уцёлёли отъ холеры, питаясь пакостною падалью, стервятиной и супомъ съ червями". Все это вмёстё породило въ Бёлинскомъ все болёе и болёе крёпнувшую рёшимость "сорваться съ казеннаго кошта". Подъ первымъ же впечатлёніемъ заведенныхъ Щепкинымъ новыхъ порядковъ и въ особенности грубаго выговора за просрочку отпуска, онъ пишетъ родителямъ: "Я теперь нахожусь въ такахъ обстоятельствахъ, что лучше бы согласился быть подъячимъ въ чембарскомъ земскомъ судё, нежели жить на этомъ каторжномъ, проклятомъ казенномъ коштё. Если бы я прежде зналъ, каковъ онъ, то лучше бы согласился наняться кому-нибудь въ лакеи и чищеніемъ сапогъ и платья содержать себя, нежели жить на немъ".

Мысль его теперь вся сосредоточивается на томъ, чтобы уйти съ казеннаго кошта. Но какъ? Разсчитывать на родителей было еще горше, и вотъ нашъ тонкій дѣлецъ останавливается на чрезвычайно практичномъ проектѣ. Онъ напишетъ драму, сюжетъ которой вертится у него въ головѣ, благодаря ей "разживется казною" и "употребитъ оную на то, чтобы сорваться съ казеннаго кошта, который такъ сладокъ, что при одномъ воспоминаніи объ ономъ текутъ изъ глазъ не водяныя, а кровавыя слезы".

Осуществленію "предпріятія" отчасти содъйствовала холера. Казеннокоштныхъ студентовъ не выпускали изъ университета и для "разсѣянія отъ скуки я и еще человѣкъ съ пять затворниковъ,—писалъ Бѣлинскій Ивановымъ,—составили маленькое литературное общество. Еженедѣльно было у насъ собраніе, въ которомъ каждый изъ членовъ читалъ свое сочиненіе. Это общество, кончившееся седьмымъ засѣданіемъ, принесло мнѣ ту пользу, что заставило меня окончить мою трагедію".

Драма Бѣлинскаго "Дмитрій Калининъ", или, какъ онъ ее весьма вѣрно назваль, "драматическая повѣсть", до сихъ поръ не только мало одѣнена, но даже и извѣстна очень мало. А. Н. Пыпину она была извѣстна только по отрывку 4-го дѣйствія, напечатанному кн. Енгалычевымъ въ "Русск. Старинъ" 1876 г., да по пересказу (устному?) секретаря "литературныхъ вечеровъ" Чистякова. Вѣроятно, этимъ слѣдуетъ объяснить его миѣніе, что "говорить серьезно о трагедіи, конечно, нѣтъ возможности; она ребячески ходульна и неестественна". Она кажется "любопытной" почтенному біографу, только какъ "свидѣтельство настроенія 20-лѣтняго Бѣлинскаго и какъ фактъ, имѣвшій большое вліяніе на его внѣшнюю судьбу". М. А. Протопопову трагедія тоже была извѣстна только по отрывку 4-го дѣйствія, что, впрочемъ, не помѣшало ему вполнѣ правильно заключить и по этому обломку, что "общественно-историческій смыслъ

трагедіи очень серьезенъ". Въ 1891 трагедія была напечатана Тихонравовымъ цѣликомъ въ "Сборникѣ общ. любителей россійской словесности" по рукописи, "списанной не совсѣмъ исправными писцами
для представленія въ московскій цензурный комитетъ". И Тихонравовъ усмотрѣлъ въ ней только "драгоцѣнный матеріалъ для исторіи развитія Бѣлинскаго". Въ печати и публикѣ какъ самый сборникъ, такъ и трагедія прошли почти незамѣтно. Очевидно, этою малою
извѣстностью "Дмитрія Калинина" надо объяснить то, что даже наиболѣе полныя изъ новѣйшихъ изданій его сочиненій (напр., изд.
Павленкова) помѣщаютъ изъ двухъ драматическихъ произведеній
Бѣлинскаго одного только "Пятидесятилѣтняго дядюшку", неизмѣримо
ниже стоящаго "Дмитрія Калинина" 1).

Г. Евг. Соловьеву, семь лѣтъ послѣ напечатанія драмы въ "Сборн. Общ. Любит. Росс. Слов." написавшему цѣлую книгу о Бѣлинскомъ, драма осталась неизвѣстной. Самъ Бѣлинскій вначалѣ такъ дорожилъ драмой, что когда братъ попросилъ прислать ее на время въ Чембаръ для прочтенія, то онъ отвѣтилъ, что скорѣе готовъ "отрубить себѣ руку и послать ее въ подарокъ", чѣмъ разстаться съ своимъ дѣтищемъ. А черезъ нѣсколько лѣтъ онъ и рукопись подарилъ брату 2), и самъ такъ аттестовалъ это дѣтище, разбирая въ 1836 г. книжечку "Ночь" какого-то С. Темнаго:

"Замътно, что "Ночь" есть произведение молодого человъка съ душею, съ пыломъ, но еще не созрѣвшаго для мысли, еще не умѣвшаго отдавать самому себъ отчетъ въ своихъ мысляхъ, а уже сгорающаго желаніемъ написать и издать въ свётъ что-нибудь, непременно написать и издать. Опасное желаніе, которое губить истинный таланть, вымучивая изъ него насильственныя и недозрълыя созданія, которое плодить толпы дурныхъ писателей, служа имъ порукою за то, что они имъютъ талантъ! О, если бы каждый молодой человѣкъ, не лишенный чувства и сгорающій желаніемъ печататься, издаваль всв плоды своей фантазіи, сколько бы дурныхъ книгъ бросиль онь въ свъть и сколько бы раскаянія приготовиль себъ въ будущемъ!.. Мы говоримъ это отъ чистаго сердца, говоримъ даже по собственному опыту, потому что имвемъ причины благодарить обстоятельства, которыя помѣшали намъ пріобрѣсть жалкую эфемерную извъстность мнимыми произведеніями искусства и занять мъсто въ забавномъ ряду литературныхъ рыцарей печальнаго образа" 3).

¹⁾ Въ "Собр. соч. Бълинскаго", выходящемъ подъ моею редакціей, "Дмитрій Калининъ" помъщенъ въ I т. (Спб., 1900).

²) По уцѣлѣвшимъ въ бумагахъ Константина Григорьевича остаткамъ собственноручнаго оригинала кн. Енгалычевъ и напечаталъ въ "Русск. Ст." сохранившуюся часть 4-го дѣйствія.

³⁾ Бълинскій, Соч. подъ ред. Венгерова, т. Ш, стр. 36.

Эта уничтожающая критика, направленная противъ самого себя, можетъ служить только лишнимъ доказательствомъ удивительной способности Бѣлинскаго всецѣло и беззавѣтно отдаваться всякому своему настроенію, ничего и никого при этомъ не щадя. Но значеніе того огромнаго запаса благородныхъ чувствъ, который почти безсознательно сразу забилъ кипучимъ ключемъ по такому ничтожному поводу, какъ "желаніе сорваться съ казеннаго кошта" и разсѣять скуку товарищей, тутъ очерчено крайне несправедливо. Столь же несправедливо, какъ и огульное помѣщеніе всѣхъ "рыцарей печальнаго образа" въ "забавный рядъ". Были бы только "рыцари", а тамъ "печальнаго" они образа или, напротивъ того, очень свѣтлаго—покажетъ будущее. Одинъ уже, въ обликѣ Бѣлинскаго, сейчасъ на-лицо и нельзя сказать, чтобы онъ былъ очень "забавенъ".

Если кратко опредълять общій характеръ драмы Бълинскаго по основному ея мотиву, то приходится, конечно, сказать, что она представляеть собою "протесть протавъ крвпостного права". Именно за это московскій цензурный комитеть, состоявшій тогда изъ профессоровь университета, призналь драму "произведеніемь безиравственнымь, позорящимъ университетъ". Свести, однако, драму именно къ протесту и слишкомъ прямолинейно, и не въ томъ свъть выставляетъ психологическое настроеніе, подъ вліяніемъ котораго создалась драма. М. А. Протопоновъ совершенно правильно вспоминаетъ, что трагедія Бълинскаго "во всей русской литературъ имъла только одинъ прецеденть, равный ей по силь и искренности чувствь, -это знаменитая книга Радищева, съ которой какъ разъ около этого времени (1833) раздражительно полемизировалъ величайшій русскій поэтъ" 1). Но безъ оговорокъ, это сопоставление односторонне. Протестъ Радищева вытекъ изъ цълаго строя вполнъ опредъленнаго міросозерцанія. Книга Радищева была яркимъ отраженіемъ идей 1789 года на русской почвъ. Всего менъе, конечно, желая умалить историче-

¹⁾ Этотъ отзывъ о стать Пушкина не совсемъ точенъ. Статья не можетъ считаться полнымъ выражениемъ мнения великаго поэта объ автор в "Путе-шестви изъ Петербурга въ Москву". Достаточно для этого вспомнить одинъ изъ варіантовъ "Памятника":

И долго буду тымь любозонь я народу, Что чувства добрыя я лирой пробуждаль, Что вслыдь Радищеву возславиль я свободу И милость къ падшимь призываль.

[&]quot;Раздражительность" статьи отчасти объясняется тёмъ, что Пушкинъ хорошо зналъ цензуру своего времени, которан и въ этомъ видё ве пропустила статьи. Она появилась только 20 лётъ спустя въ Анненковскомъ изданіи Пушкина.

ское значение подвига Радищева, я все-таки, просто для установленія фактовъ, долженъ отмътить, что это былъ подвигъ ума, а не сердца. Книга Радищева убъждаеть, но не увлекаеть. Драма же Бълинскаго есть крикъ сердца и именно великаго, потому что въ тъ времена надо было обладать совствить особымъ, если можно такъ выразиться, сердечнымъ зрвніемъ, чтобы найти въ обстановкв и явленіяхъ, не поражавшихъ и не шокировавшихъ даже лучшихъ людей своего времент столько матеріала для грознаго обличенія. Возьмемте всёхъ утальныхъ дёятелей сороковыхъ годовъ, не только прямыхъ ровесниковъ Бълинскаго, какъ Станкевичъ, напр., но и младшихъ его современниковъ, хотя бы Тургенева, и мы увидимъ, до чего отношение юноши-Бълинскаго къ кръпостному праву было явленіемъ вполнт индивидуальнымъ, вполнт исключительнымъ. Та борьба съ крупостнымъ правомъ, которымъ обезсмертило себя поколуніе 40-хъ годовъ, началась почти 20-ю годами позже. Много ли и видалъ то Бълинскій кръпостное право-только наъздами въ родственныя помъщичьи семьи и, во всякомъ случат, меньше встхъ другихъ людей своего покольнія-баричей и, однако же, онъ одинъ только и выразиль свое отвращение. А самое главное-выразиль его не потому, что усвоилъ себъ "передовое" міровоззръніе, не потому, что подъ вліяніемъ общаго идейнаго возбужденія далъ "аннибалову клятву", не потому, что тогдашній государственный строй ему не нравился. Нътъ, Бълинскій въ 1829 году быль безконечно "благонамъренъ" и къ общему строю русскаго государственнаго укладаотносился съ полнымъ одобреніемъ. Вотъ, напримъръ, при какихъ условіяхъ читатель драмы воспринимаетъ одинъ изъ самыхъ сильныхъ "протестующихъ" монологовъ героя драмы, столь же неистоваго, какъ былъ неистовъ авторъ драмы. Дмитрій Калининъ говорить о крипостныхъ "рабахъ":

Неужели эти люди для того только родятся на свътъ, чтобы служить прихотямъ такихъ же людей, какъ и они сами?.. Кто далъ это гибельное право—однимъ людямъ порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу? Господинъ можетъ, для потъхи или для разсъянія, содрать шкуру со своего раба, можетъ продать его, какъ скота, вымънять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями, и со всъмъ, что для него мило и драгоцѣнно!..

Въ этомъ "сильномъ" монологѣ, столь "сильномъ", что ему даже и приблизительной параллели не подберешь во всей нашей освободительной литературѣ, неистоваго, но въ то время, повторяю, ультра-"благонамѣреннаго" автора обезпокоили слова "кто далъ это гибельное право", и вотъ онъ спѣшитъ сдѣлать къ монологу Калинина примѣчаніе:

"Къ славъ и чести нашего мудраго и попечительнаго правительства подобныя тиранства уже начинають совершенно истребляться. Оно поставляеть для себя священившиею обязанностью пещись о счастін каждаго человъка, ввъреннаго его отеческому попеченію, не различая ни лицъ, ни состояній. Доказательствомъ сего могуть служить всв его поступки, и между прочимъ указъ о наказаніи купчихи Аносорой за тиранское обхождение со своею дъвкой и городничаго за допущение онаго, напечатанный въ 77-мъ номерф "Московскихъ Вфдомостей" за 1830 годъ, 14 день сентября. Этотъ указъ долженъ быть напечатанъ въ сердцахъ всвхъ истинныхъ друзей человъчества, въ сердцахъ всвхъ истинныхъ россіянь, умьющихь цвнить мудрыя распоряженія своего правительства, напоминающія слова нашего знаменитаго, незабвеннаго Фонъ-Визина: "Гдв государь мыслить, гдв знаеть онъ, въ чемъ его истинная славатамъ человъчеству не могутъ не возвращаться права его; тамъ вст скоро ошутять, что каждый должень искать своего счастія и выгодь въ томъ, что законно, и что угнетать рабствомъ себф подобныхъ, есть беззаконно"

Было бы величайшей ошибкой думать, что эте примъчание есть лукавство и можеть быть приравнено къ темъ, мало кого вводившимъ въ заблужденіе, примічаніямъ, которыя въ 60-хъ годахъ ділали въ геологическихъ книжкахъ къ "щекотливымъ", съ извёстной точки зрвнія, космогоническимъ фактамъ. Белинскій во всю свою жизнь не написаль ни одного лукаваго слова и славословиль только тогда, когда весь быль переполнень славословія. Такь было гораздо позже, въ эпоху сознательнаго прославленія "разумной действительности", такъ было тъмъ болъе теперь, когда Бълинскому даже ни на одну минуту не приходило въ голову, что онъ своими выходками противъ кръпостного права совершаетъ нъчто противозаконное. Въ 1847 году Бълинскій возвращался изъ Парижа и на бельгійской границь съ нимъ произошло забавное столкновение съ таможнею изъ-за какихъто дътскихъ игрушекъ. Сначала къ нему отнеслись строго, но потомъ дъло уладилось, потому что, пишетъ Бълинскій Анненкову, таможенные чиновники "увидъли, что я глупъ до святости". Безспорно такую же "глупость", и безспорно такую же "святую", проявиль Бѣлинскій и въ 1830 г., когда пришлось провести литературную контрабанду. Великольпенъ юный драматургь, когда жалуется родителямъ на то, что цензура его не "оцънила" и не "поняла". У него-то, оказывается, желанія и намфренія были самыя "благородныя", онъ, видите ли, въ своей драмъ "со всъмъ жаромъ сердца, пламенъющаго любовію къ истинъ, со всъмъ негодованіемъ души, ненавидящей несправедливость, въ картинъ довольно живой и върной представилъ тиранство людей, присвоившихъ себъ гибельное и несправедливое право мучить себъ подобныхъ". По его глубокому убъжденію, драма не только "не можеть оскорбить чувства чистъйшей правственности",

а напротивъ того, "цѣль сочиненія есть самая нравственная" 1). И вдругъ цензура "составляеть журналъ" о драмѣ и признаеть ее "безнравственной и позорящей университетъ". Бываютъ же такія недоразумѣнія!...

Въ сжатой формѣ желая объяснить причину гоненія, воздвигнутаго на его "сочиненіе", Бѣлинскій недостаточно точно свелъ всю драму къ "картинѣ тиранства присвоившихъ себѣ гибельное и несправедливое право мучить себѣ подобныхъ". На самомъ дѣлѣ "тиранство" играетъ въ самомъ замыслю драмы далеко не исключительную роль. Задуманъ "Дмитрій Калининъ" какъ драма судьбы, что совершенно ясно изъ общаго эпиграфа пьесы:

И всюду страсти *роковыя*, И отъ *судебъ* защиты нѣтъ.

Главный герой драмы Калининъ постоянно говоритъ о "враждебной судьбъ", о "мщеніи жестокаго рока". Одинъ изъ резюмирующихъ пьесу монологовъ его сводитъ всъ разыгравшіеся въ драмъ ужасы къ тому, что "безпощадная судьба играетъ слабыми смертными".

Что же касается трагическаго характера ужасныхъ событій, проходящихъ кровавою чередою ²) передъ читателемъ и зрителемъ,

^{&#}x27;4) "Русск. Стар." 1876 г. № 1, стр. 81.

²⁾ Богатый и добрый, хорошо обращающийся съ крипостными своими, помъщикъ Лъсинскій взяль къ себь въ домъ сына одного изъ своихъ крестьянъ Дмитрія Калинина и далъ ему тщательное воспитаніе. Потомъ-то оказывается, что Дмитрій его незаконный сынь, но этого пока никто не знаеть. Жена Лесинскаго-жестокая и чванная тиранка. Достойны матери сынки столь же жестокіе, лінивые и распутные. Дочь Лівсинских Софья, выросшая внв дома, а потомъ воспитанная благородною "русскою мамзелью" Рудиной, пошла въ отца, прониклась любовью ко всему высокому и на этой почвь, по возвращени домой, сближается съ Дмитріемъ. Они страстно влюбляются другъ въ друга и вступаютъ въ связь. Чтобы устроить свое общественное положение, Дмитрій уважаеть въ Москву, и въ это время умираетъ старикъ Лъсинскій. Изверги-сынки, и при жизни отца пользовавшіеся всякимъ случаемъ, чтобы мучить Дмитрія словомъ "рабъ", пишуть ему такое письмо: "Почтеннъйшій, высокопменитый господинь, пылкая голова, молодой мечтатель, маленькій философъ! Вашъ благод втель, не усиввши излить на васъ остатки щедроть своихъ, изволиль отправиться на тотъ свътъ. Ваша отпускная уничтожена, сестра наша выходить замужь за князя Кизяева, и такъ какъ у насъ недостаетъ лакеевъ для служенія при свадебномъ столь, то и просимъ васъ всепокорньйше какъ можно скорье пожаловать къ намъ". Обезумъвшій Дмитрій, не для того, конечно, чтобы исполнить просьбу Лъсинскихъ, ъдетъ къ нимъ. Его сопровождаетъ его другъ, благородный, хотя и прикидывающійся холоднымъ насмешникомъ, Сурскій, у котораго созрѣваеть такой планъ: онъ познакомится съ Софьей, уговорить ее оставить домъ, а тамъ уже будеть приготовленъ священ-

то причина ихъ въ необузданномъ темпераментѣ Калинина, охарактеризованнаго въ эпиграфѣ къ третьему дѣйствію словами Озерова:

> Ахъ! не вини меня: вини мои ты чувства, Которыхъ укрощать не знаю я искусства, Вини сей огнь въ моей пылающей крови. Чрезмѣренъ я во всемъ—и въ злобѣ и въ любви.

Собственны художественный узель драмы въ кровосившении и въ томъ, что Калининъ явился на свётъ какъ плодъ незаконнаго сожительства. "Такъ скрытныя семейныя преступленія наказываются", говоритъ Калининъ предъ самою смертью, уже совершивъ всѣ убійства. Въ скелетъ драмы, слъдовательно, нътъ ничего "протестующаго". Но, задумавъ драму въ одномъ направленіи, Бѣлинскій, охваченный воспоминаніями своего зоркаго сердца, быстро перешелъ на картины "тиранства". Задавшись замысломъ чисто-головнымъ, Бѣлинскій не мсть остаться при одной сухости этой книжной затьи. Живая дъйствительность врывается въ книжность замысла, Бѣлинскимъ овладъваетъ желаніе разсказать про вещи, въ которыхъ кое-кто изъ чембарцевъ себя узнаетъ. "Вы увидите", пишетъ онъ отцу, "многія лица, довольно вамъ извъстныя". Благодаря этому драматизированію лично видинаго и перечувствованнаго, пьеса получаеть двойной интересь-какъ біографическій матеріаль, какъ матеріаль для сужденія о сердечной зоркости Бълинскаго, п какъ картина помъщичьяго быта 20-хъ годовъ, хотя и освещеннаго исключительно съ одной

никъ, который и обвенчаеть ее съ Дмитріемъ. Все идеть отлично, но портить дело Дмитрій. Онъ врывается въ домъ Лесинскихъ, где происходить баль, "съ дикою улыбкою и блуждающими взорами" произносить громовой монологъ, затемъ среди всеобщаго недоумения бросается къ Софью и заключаеть ее въ объятія. Остолбеновшій сначала Люспнскійсынъ приходить въ себя и велить слугамъ заковать Калинина въ кандалы, но оторопфвийе слуги боятся страшнаго вида Дмитрія и медлять. Лесинскій имъ кричить: "Скоты! и вы боитесь подойти къ такому же рабу, какъ и вы сами". Слово "рабъ", какъ всегда, лишаетъ Дмитрія послѣдняго остатка самообладанія, и онъ убиваеть брата Софыи. Въ последнемь действін Дмитрій, убъжавъ изъ тюрьмы, съ разорванною цъпью на рукь, является въ деревню Лъсинскихъ свидъться съ Софьей. Софья все еще любить убійцу своего брата, но жизнь ей опостыльла, она предлагаеть Дмитрію вмъсть умереть. Посль долгихъ колебаній, Дмитрій ее закалываеть и собирается покончить съ собою. Но его ждеть еще одинъ страшный нравственный ударъ. Ему передають письмо, которое передъ смертью написаль ему Лесинскій, и изъ него онь узнаеть, что отець Софып-и его отець, что этоть высоконравственный "благодьтель" его такъ страшно злоупотребилъ своею властью для удовлетворенія похоти. Братоубійца и кровосмфентель въ ужасф закалываеть себя.

точки зрвнія. Въ біографіи Калинина Бвлинскій даль свою собственную автобіографію. Нетрудно догадаться, съ кого списанъ портретъ Дмитрія, набросанный имъ въ разговоръ съ пріятелемъ:

"Чтеніе рано сділалось любимійшимъ моимъ занятіемъ. Оно образовало мой вкусъ и, питай начинавшія обнаруживаться во мні страсти, дало мні благородное направленіе. Напитанная духомъ поэзіп, душа моя окрылялась какимъ-то невыразительнымъ восторгомъ. Въ ней пробудилась любовь ко всему высокому. Почти никімъ не любимый, я никому не повіряль ни моихъ чувствъ, ни моихъ мыслей; да если бы захотіть сділать это, то могли ли бы эти толпы людей низкихъ, пресмыкающихся въ пыли презрінныхъ, мелочныхъ суетъ, понимать меня".

Съ того же оригинала списаны другія подробности:

"Ты не можешь себь представить, съ какимъ чувствомъ я смотръжь всегда на несчастнаго. Если при мнъ разсказывали о несправедливостяхъ, гоненіяхъ, жестокостяхъ сильныхъ надъ слабыми, о злоупотреб леніяхъ властей,—то адъ бунтовалъ въ груди моей".

Душа Калинина "страстна ко всему прекрасному", а главное-необуздана безъ мёры. "Калининъ! Калининъ! голова пылкая и безумная!" говорить ему пріятель, "когда ты опомнишься, когда ты перестанешь метаться изъ крайности въ крайность и попадешь на счастливую середину? — Вся драма и полна этого необузданнаго метанія. Каждый монологъ его сопровождается предварительной авторской ремаркой: "Говорить съ постепенно возрастающимъ жаромъ", "въ бъшенствъ", "трепещетъ всъмъ тъломъ", "дико улыбаясь", "ужаснымъ голосомъ", "громовымъ голосомъ", "задыхаясь отъ ярости", "съ блуждающими взорами" и т. п. Есть параболическія зеркала, въ которыхъ каждый предметь отражается очень ярко и рельефно, но въ уродливыхъ, неестественныхъ очертаніяхъ. Въ лицѣ Калинина "неистовость" натуры Бълинскаго отразилась въ параболическомъ зеркалѣ романтизма и потому порою она такъ уродлива и неестественна, но сходство-то все-таки уловить нетрудно и въ этомъ исковерканномъ изображеніи. Основныя очертанія порывовъ Бѣлинскаго тѣ же.

Картины "тиранства", однако, нарисованы безъ всякихъ романтическихъ прикрасъ и безъ всякихъ излишествъ дикаго слога монологовъ Калинина. Съ одной стороны Бѣлинскій устами слугъ тиранки Лѣсинской и обрисовкой ихъ характеровъ осуждаетъ самую идею "рабства". "Какъ будто у насъ не такая душа, какъ въ ихъ благородіяхъ", говоритъ горничная Лиза. "Чай у Бога-то всѣ равны. Здѣсь имъ хорошо повелѣвать нами, а на томъ свѣтѣ, небось, не такую пѣсню затянутъ". Всѣ выведенные въ драмѣ крѣпостные честны, добры, кротки и жалостливы. Напротивъ того, дворяне, помимо "ти-

ранства" — невѣжественны, корыстолюбивы и подны глупѣйшаго чванства. Между гостями, собравшимися на именинахъ у Лѣсинской, происходитъ такой разговоръ:

Третья госпожа. И, помилуйте, дело ли это? На что похоже? Прилично ли дворянину учиться въ этихъ школахъ, которыя набиты разночинцами, и семинаристами, и мещанами, и отпущенниками, и всякимъ сбродомъ, и всякой сволочью?

Первая госпожа. То ли дѣло, какъ держать дѣтей при себѣ-то? За главами-то и научатся Богъ знаетъ чему, пожалуй, и Бога-то забудутъ.

Третъл госпожа. Да и чему учатъ-то въ этихъ университетахъ? — безбожію, разврату, да и только. Я знала одного этакаго ученаго. Человъкъ не старше двадцати ияти лътъ, а представь себъ, какой нравственности: смъялся надъ постами, презиралъ дворянствомъ, чинами, поносилъ стряцчаго Андреева, который схватилъ крестикъ и за то, что прокуроръ объ немъ постарался, подарилъ ему три тысячи золотомъ. Вотъ каковы эти развратные ученые!

Өедоръ Максимычъ. Да къ чему это ученье? Мы и наши отцы не учились, а всегда были съ кускомъ хлѣба. Слава Богу, не хуже ученыхъ-то жили, даже иной ученый-то поклонится нашему брату, чтобы посадилъ его за свой столъ.

Четвертая госпожа. Да не низость ли учиться дворянину въ какомънибудь университетишкь, гдь какой-нибудь профессоръ, мъщанскаго пропехожденія, будеть съ нимъ обходиться безъ должнаго уваженія? Да, опять, стоятъ ли эти пустыя науки того, чтобы дворянинъ ими занимался? Другое дъло французскій языкъ: безъ него, какъ безъ рукъ".

Представителями тиранства являются Лѣсинская и ея сыновья. "Шкуру сдеру съ мерзавца; каждый день буду бить до полусмерти" раздается окрикъ Андрея Лесинскаго, вследъ за которымъ идетъ и исполненіе. Но хуже всёхъ сама Лёспиская. Всею душою ненавидить она "проклятое хамовое покольніе". Оправдываній для нея не существуеть: "Когда барыня говорить тебь, что ты виновата, такъ какъ же ты смѣешь оправдываться". Идеаломъ для нея служить "братецъ Филипиъ Андреичъ. Онъ до полусмерти колотитъ вашего брата, да не смъй рта разинуть, не смъй слова пикнуть. Коль станетъ орать, или плакать, такъ вдвое велить пріударить. А то, вишь, какія ніженки: чуть мазнешь по рожі, такъ и разхнычутся, точно дворяне какіе". Какъ только умеръ ея мужъ, относившійся мягко и жалостливо къ крѣпостнымъ, она тотчасъ завела у себя порядки своего братца. "Насъ стали мучить, какъ скотовъ какихъ", разсказываеть старый слуга Иванъ. Коли учнутъ напрасно взыскивать, не моги рта разинуть, не моги пикнуть въ оправданіе-на конюшню, да и только; ужъ порютъ, порютъ, какъ собакъ какихъ. А если кто захвораеть, да доложать барынв, такъ только и услышишь: вишь какой благородный! вишь, какой дворянинъ! Еще хворать вздумалъ,

полечите-ка его хорошенько арапельникомъ". Былъ у ея мужа бурмистромъ богатый мужикъ Антипъ, работящій, трезвый и умный. Вскорѣ послѣ смерти Лѣсинскаго проходитъ его вдова со своими сыновьями мимо двора Антипа.

"А у него передъ избой стояли два новыхъ сруба, съ полей прівхали его работники, да къ этому же времени стада подогнали. Воть барыня на досугв и смекнула, что у него и скота-то и лошадей-то, и хлеба больно много. "А чьи это у тебя, Антипъ, срубы?"-Мон, сударыня.--"Да что ты больно богать, чемъ это больно разжился?"--Да своими трудами, сударыня.- "Хорошо же ты, брать, обворовываешь господское добро-то, да мужиковъ-то обиралъ!" Взяла да и велела срубы-то перевезти на барскій дворъ, хлібъ-то перекласть на господское гумно, лошадей и скотъ также перегнать къ себъ, а ему оставила сущую малость. Взвыль нашъ мужакъ, повалился ей въ ноги: "Матушка Лисафета Андреевна, не пусти по міру!"-Вотъ ты у меня, старый чорть, не такъ завоещь, пойдемъ-ка въ клать-то твою да посмотримъ, что у тебя въ коробъв-то есть. Вскрыла коробью, нашла сотняжекъ шесть деньжонокъ, да всф до одной копейки прибрала къ себъ. Иванъ-то, его сынъ, знаешь, парень молодой, не вытеривлъ, да и скажи: "Ведь это, сударыня, сущій разбой; вы насъ совсъмъ изволили ограбить". — А! такъ-то ты поговариваешь съ госнодами-то? хорошо, я тебф припомню это. А ты, Антипъ Васильевичъ, знать, происхожденія-то дворянскаго, самъ и работать не хочешь, а нанимаешь работниковъ; вишь, какъ съ вороветва разжился! живешь, какъ баринъ какой".

Настала некрутчина; очередь была на одномъ мужикъ, у котораго было три сына, и барыня его обошла, да отдала Ивана, Антипова сына. То-то жалости-то достойно было, какъ онъ разставался съ отцомъ, да съ молодой женой. Бъдная въ постелю слегла, захиръла, да умерла. Антипъ остался одинъ-одинехонекъ, сыну копеечки не могь дать. Съ горя спился съ кругу да и пошелъ по міру. А все таки его гоняютъ на барщину; онъ отъ старости, да отъ горя работать не можетъ, такъ безпрестанно его колотятъ не на животъ, а на смерть".

Въ положительныхъ лицахъ драмы этотъ дикій произволъ возбуждаетъ настоящій ужасъ. Выслушавъ разсказъ объ Антипъ, Софья съ отчаяніемъ восклицаетъ:

"Боже мой! О, я, несчастная! И это чудовище есть моя мать! она наряжаеть меня, какъ куклу; я потеряла счеть моимъ платьямъ, шалямъ, шляпкамъ; у меня лежатъ тысячи перстней, колецъ и другихъ драгоцѣнныхъ бездѣлицъ и все это пріобрѣтено цѣною несчастія моихъ ближнихъ. О, прочь эти пустые наряды! Я истреблю ихъ, иначе они будутъ жечь мое тѣло. Пойду и посмотрю, не превратились ли они въ кровъ".

Съ однимъ изъ наиболе сильныхъ монолеговъ Дмитрія противъ пом'вщичьяго тиранства мы уже знакомы.

Такимъ образомъ, авторъ съ трехъ сторонъ нападаетъ на твердыню крѣпостного права: съ точки зрѣнія его несправедливости по существу, съ точки зрѣнія злоупотребленій помѣщичьею властью и, наконецъ, съ точки зрѣнія отвращенія, которое должно производить помѣщичье тиранство на людей, сколько-нибудь нравственночуткихъ.

Страстность этой авторской атаки, это безпощадное битье по нервамъ дълаетъ драму Бълинскаго съ чисто-эстетической точки зрънія, можеть быть, и очень "кричащимъ", но во всякомъ случав высокозамъчательнымъ литературнымъ явленіемъ. Пусть она и "незръла", и "ребячески-ходульна", но равнодушно пройти мимо нея, не вдуматься въ тъ явленія, которыя она съ такимъ содроганіемъ отмъчаетъ, не было бы никакой возможности. Въ этомъ смыслѣ, и можеть быть даже въ теснейшей связи со своими литературными недостатками, драма Бълинскаго безусловно должна быть признана самымъ яркимъ произведеніемъ всей нашей освободительной литературы. Когда почти двадцать лътъ спустя молодая литература взялась за освободительныя задача, она, не желая писать исключительно для свёдёнія цензуры, уклонилась отъ обличительныхъ задачь и дъйствовала косвенно, прославлениемъ хорошихъ сторонъ крестьянской жизни и народной психологіи. Одинъ "неистовый Виссаріонъ" хватиль обухомь само "тиранство", само помъщичье сословіе. Какъ мы уже знаемъ изъ отзыва о "Ночи", Бѣлинскій чрезъ нѣсколько лътъ призналъ свое дътище эфемернымъ. Но допустимъ на одинъ моменть, что драма увидела бы свёть. Можно ли сомневаться въ томъ, что дъйствіе ея было бы потрясающее, при всъхъ ея недостаткахъ чисто-литературныхъ. Мало ли есть произведеній, не обладающихъ литературными достоинствами и все-таки явившихся крупнымъ факторомъ умственнаго возбужденія эпохъ замізчательнійшихъ. Велика ли связь между художественными достоинствами "Что дълать" и вліяніемъ, которое оказалъ этотъ романъ, есть ли какаянибудь соразмърность между скромнъйшими размърами таланта Бичеръ-Стоу и сказочными размърами впечатлънія, произведеннаго "Хижиною дяди Тома"?

Къ тому же, какъ произведение чисто-литературное, "Дмитрій Калининъ", конечно, вещь не важная, но однако же не такъ уже безусловно. Кое-что въ немъ, ну хотя бы разсказъ объ Антипъ, приведенный выше, по простотъ языка и реализму обрисовки представляетъ и литературный интересъ.

Самое ужасное въ драмѣ—это навѣянные Шиллеровскими "Разбойниками" и романтизмомъ монологи Калинина:

"Чувствуешь ли ты, какъ горить моя голова? Она раскалена адекимъ иламенемъ! Чувствуешь ли ты, какъ страждеть это бѣдное сердце? Лютое отчаяніе вонзило въ него свои кровавые когти и раздпраетъ его на милліоны частей! Видишь ли ты эти лоскутки? Какъ разорваль я эту бумагу, такъ ра-

ворву написавшихъ ее!... Я расщению на части ихъ тьло! Я высосу по капиь кровь изъ жилъ ихъ! Я притащу ихъ на могилу моего благодътеля, скажу имъ "здѣсь погребень отецъ вашъ" и брошу въ глаза ихъ эти лоскутки (скрипитъ отъ ярости зубами). О, тщетны будутъ мольбы ихъ! Тщетно будутъ обнимать колѣна мои! О, какое сладостное зрѣлище! Какое веселое пиршество!.. Сурскій, видишь ли, какъ черная кровь клубится изъ зіяющихъ ранъ ихъ? Видишь ли, какъ ужасно смерть исказила посинѣлыя уста ихъ?.. Какъ страшно они обращаютъ на меня свои кровавые глаза?.. Видишь ли ты эти судорожныя движенія, это бореніе смерти съ жизнью, эти глухіе, хриплые стоны? Они предшествуютъ смерти! но она еще медлитъ: она хочетъ усладить меня этимъ зрѣлищемъ, Видишь: кровавыми руками они разрываютъ землю и грызутъ ее зубами! Видишь ли, какъ черная пыль смѣшалась съ багровою пѣною"? и т. д.

Монологъ выхваченъ совершенно наудачу изъ цѣлаго десятка страницъ, отведенныхъ завываніямъ Дмитрія, все такимъ же диконеистовымъ и кровавымъ. "Тысячи ядовитыхъ змѣй", "адскія проклятія", "адское самонаслажденіе", "жажда крови, убійства и разрушенія", "тысячи кинжаловъ, въ одну секунду вонзающихся въ сердце", "огненный тартаръ души въ милліонъ разъ болѣе ужасный потрясающихъ своими факелами" и т. д. и т. д.—весь этотъ словарь романтизма исчерпанъ Бѣлинскимъ съ тѣмъ отсутствіемъ мѣры, которымъ характеризуется каждое изъ его увлеченій. Не забудемте однако требованій исторической перспективы и не поставимъ всецѣло въ вину двадцатилѣтнему юношѣ то, что было свойствомъ цѣлой эпохи.

Протестомъ противъ "тиранства" и анализомъ ходячихъ представленій не исчернывается все оппозиціонное въ драмѣ Бѣлинскаго. Въ ней есть еще и другіе весьма замѣчательные элементы "протеста", которыхъ однихъ было бы совершенно достаточно, чтобы придать драмѣ интересъ и опредѣленную окраску, если бы вниманіе читателя не было всецѣло поглощено основною борьбою драмы съ крѣпостнымъ правомъ. Драма ополчается противъ всякой сословности вообще, противъ ханжества, защищаетъ свободу чувства и "права разсудка" нарушать законы, если они стѣснительны.

Въ лицъ Лъсинской побивается, самое основание сословныхъ преимуществъ. Софья напала на нихъ и

"Какую непобѣдимую силу имѣли доказательства въ ея устахъ! Она утверждала, что права происхожденія, предки суть не что иное, какъ предразсудки, постыдные для человѣчества, что единственно однѣ достоинства личныя должны давать права на почести и славу. Мать ея не могла выдержать этихъ быстрыхъ, огненныхъ взоровъ, не могла противиться этому сильному, убѣдительному краснорѣчію, этимъ доказательствамъ, источникомъ которыхъ была истина".

Въ лицѣ той же Лѣсинской и нѣкоего Сидора Андреевича, отрекомендованнаго въ спискѣ дѣйствующихъ лицъ какъ "лицемѣръ, живущій въ домѣ Лѣсинской", осмѣяно ханжество и внѣшнее благочестіе. Только что "мазнувъ по рожѣ" горничную и велѣвъ отодрать на конюшнѣ старика-дѣда ея, Лѣсинская спѣшитъ къ обѣднѣ, во время которой думаетъ о томъ, "что нужно достать хорошую плетку для дѣвокъ, да надо отпороть кого-нибудь изъ лакеевъ". Обращающейся къ ней за помощью весьма достойной, но бѣдной женщинѣ она оказываетъ грошевое подаяніе пудомъ сѣна, а вслѣдъ за этимъ приходящимъ монахинямъ даетъ 50 р. А елейный "лицемѣръ" Сидоръ Андреевичъ, подбирающій пословицы и текстики для доказательства того, что "бить рабовъ ничуть не грѣшно, а должно", прямо темная личность, плутъ и негодяй.

Свободу чувства проповѣдуетъ Дмитрій:

Неужели ты думаешь, что согласіе родителей, пустые обряды даютъ право двумъ существамъ питать другъ къ другу любовь и наслаждаться вю? Неужели ты слѣдуешь этимъ глупымъ, унизительнымъ для человѣчества предразсудкамъ? Одна только природа соедняетъ людей узами любви и позволяетъ имъ наслаждаться всѣми благами, какія только можетъ доставлять имъ.

Когда законы противны правамъ природы и человъчества, правамъ самого разсудка, то человъкъ можетъ и долженъ нарушать ихъ. Неужели я потому только не имъю права любить дъвушку, что отецъ ен носитъ на себъ пустое званіе дворянина и что онъ богатъ, а я безъ имени и бъденъ? Она меня любитъ: вотъ неотъемлемое право и мнъ отвъчать тъмъ же! Неужели людей соединяютъ ничтожные обряды, а не любовъ".

По поводу протеста драмы Бёлинскаго противъ крѣпостного права я уже сказаль, что было бы слишкомь прямолинейно отнести ее просто къ разряду "протестующихъ" произведеній. Это значитъ лишить ее букета, спеціально ей одной принадлежащаго. По отношенію же къ сейчась указаннымъ другимъ "протестамъ", мы уже впадемъ въ прямую ошибку, принявъ ихъ безъ оговорокъ. Высменваетъ ханжество Бълинскій не изъ скептицизма, а потому что ханжество "оскорбляеть святость и чистоту религій" Когда Динтрій, прежде "въ благоговъйномъ безмолвін шептавшій священное имя Бога", теперь разражается такою угрозою небу: "Уста моя загремять хулою на Бога, какъ на тирана, который утьшается воплями свонхъ жертвъ, который упивается ихъ слезами", то Бѣлинскій спѣшитъ сдълать примъчаніе: "Такъ говоритъ дерзкое безуміе, неистовое отчаяніе человіка, не упитаннаго чистыми струями религін и правственности". Въ отвътъ на разсужденія Дмитрія о правъ не соблюдать "пустой обрядности" и нарушать законы, "противные природъ человька", другъ Дмитрія Сурскій доказываеть ему, что онъ поступиль дурно, сдѣлавъ Софью "супругой" на основаніи однихь только "правъ природы". И доводы Сурскаго убъждають Дмитрія:

"Проклятый разочарователь! Торжествуй: ты правъ! ты правъ! Но для чего ты открываешь мнѣ глаза тогда, какъ я уже стремглавъ полетълъ въ бездонную пропасть, открыгую мнѣ враждебною судьбою? Не для того личтобы освѣщать мнѣ всѣ ужасы, которые она скрываетъ въ себѣ?.. О, Сурскій! О, Сурскій! Съ высоты небесъ ты низвергнулъ меня въ адскія бездны, изъ царя сдѣлалъ нищимъ! О! Не смотри на меня такими глазами: они убиваютъ меня, какъ взгляды василиска! Въ этихъ выразительныхъ ледяныхъ взорахъ я читаю укоръ, читаю мое преступленіе пли, лучше сказать, мщеніе жестокаго рока!"

Такимъ образомъ и этотъ "протестъ" никоимъ образомъ нельзя подвести подъ общій типъ протестовъ, которые вытекаютъ изъ строго-опредѣленнаго міросозерцанія. При опредѣленномъ міросозерцаніи человѣкъ идетъ отъ общаго къ частному, запасшись извѣстнымъ критеріемъ, начинаетъ прилагать его ко всему окружающему. Бѣлинскій же, напротивъ того, никакого опредѣленнаго міросозерцанія не имѣлъ, онъ былъ только одушевленъ однимъ неопредѣленнымъ стремленіемъ къ истинѣ и справедливости. Но зато это стремленіе, дѣйствительно, насквозь его проникало, онъ не могъ выносить ни малѣйшаго диссонанса и потому, теоретически въ 1830 г. весьма далекій отъ какой бы то ни было "неблагонамѣренности", практически подвелъ подкопъ подъ весь общественный строй того времени.

Не оконченъ и едва ли когда будетъ конченъ споръ о рангѣ и важности сознательнаго и безсознательнаго творчества. Что выше: когда человѣкъ сознательно идетъ къ цѣли или когда онъ творитъ Wie der Vogel singt.

Не стоить по поводу "Дмитрія Калинина" подымать этоть вопрось уже потому, что въ чисто-литературномъ отношеніи драма немногаго стоить. Но, при сужденіи собственно о нравственной природѣ писателей, едва ли можно сомнѣваться, что творчество, вышедшее изъ глубины непосредственнаго, ничѣмъ извнѣ не подогрѣтаго чувства, выше чувства сложнаго, подогрѣтаго вліяніемъ ума. Честь и слава тому, у кого сердце настолько чутко къ добру, что, вооруженное общимъ анализирующимъ міровоззрѣніемъ, оно открываетъ несовершенства и недочеты окружающаго. Но еще большая слава тому, кто доходитъ до этого не вооруженный ни анализомъ, ни скептицизмомъ. И вотъ, если принять во вниманіе полную невозможность вывести "Дмитрія Калинина" изъ протестующаго міросоверцанія и то, что "художникомъ" Бѣлинскій былъ менѣе, чѣмъ посредственнымъ, слѣдовательно, вообще-то не обладалъ особенною наблюдательностью, мы должны будемъ отнестись къ драмѣ совсѣмъ особенно. Безъ всякихъ натяжекъ нужно будетъ признать, что это первое, незрѣлое по исполненію произведеніе Бѣлинскаго, съ его на двадцать лѣтъ опередившимъ эпоху негодованіемъ противъ крѣпостного права и другими отступающими отъ шаблоновъ настроеніями, представляетъ собою истинный подвигъ сердца благороднѣйшаго или, чтобы уже держаться эпитета, принятаго въ настоящемъ этюдѣ, великаго.

Отдавая дань глубочайшаго уваженія благородству порыва великаго сердца Бѣлинскаго, считаемъ однако необходимымъ оттѣнить одно чисто-фактическое обстоятельство. Представляетъ именно извѣстный интересъ установить соотношеніе между юношескими драмами двухъ земляковъ—Бѣлинскаго и Лермонтова.

Выше я старался выяснить исключительное положеніе "Дмитрія Калинина", на много лѣтъ опередившаго освободительное движеніе 40-хъ годовъ. Есть однако одно произведеніе, которое отчасти раздѣляетъ это исключительное положеніе—юношеская драма Лермонтова "Странный человѣкъ". Основные мотивы "Страннаго человѣка" совершенно иные, чѣмъ въ драмѣ Бѣлинскаго. Но есть въ ней двѣ страницы, необыкновенно тѣсно сближающія оба произведенія. Въ комнату одного изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ—симпатичнаго Бѣлинскаго (какое странное совпаденіе именъ) входитъ его слуга.

Слуга. Дмитрій Василичъ! какой-то мужикъ проситъ позволенія васъ видѣть. Онъ говоритъ, что слышалъ, будто вы покупаете ихъ деревню, такъ онъ пришелъ...

Бълинскій. Вели ему войти. (Слуга уходить).

(Входить мужикь, съдой, и бросается въ ноги Бълинскому).

Бѣлинскій. Встань, встань! Чего тебѣ надобно, другь мой?

Мужикъ (на колъняхъ). Мы слышали, что ты, кормилецъ, хочешь купить насъ, такъ я пришелъ... (кланяется). Мы слышали, что ты баринъ доброй...

Бѣлинскій. Да встань, братець, а потомъ говори... встань прежде!..

Мужикъ (вставъ). Не прогивайся, отецъ родной, коли я... Бълинскій. Да говори же...

Мужикъ (кланяясь). Меня, старика, прислаликъ тебѣ отъ всего села, кормилецъ, кланяться тебѣ въ ноги, чтобы ты сталъ нашимъ защитникомъ... всѣ мы стали Богу молить о тебѣ! Будь нашимъ спасителемъ!

Бѣлинскій. Что же? Вамъ не хочется съ госпожей своей разставаться, что ли? Мужикъ (кланяясь въ ноги). Нътъ! купи, купи насъ, родимой!

Бѣлинскій (въ сторону). Странное приключеніе! (Мужсику). A! такъ вы вѣрно недовольны своей помѣщицей?

Мужикъ. Охъ, тяжко!.. за гръхи наши... (Арбенинъ начинаетъ вслушиваться).

Бѣлинскій. Ну, говори, брать, смѣлѣе! Жестоко, что ли, госпожа поступаеть съ вами?

Мужикъ. Да, такъ, баринъ, что вѣдь, ей-Богу, териѣнья ужъ нѣтъ... Долго мы переносили, однако пришелъ конецъ... хоть въ воду...

Владиміръ. Что же она делаеть? (Лицо Владиміра мрачно).

Мужикъ. Да что вздумается ея милости...

Бѣлинскій. Напримъръ... съчетъ часто?

Мужикъ. Сѣчетъ, батюшка, да какъ еще! за всякую малость, а чаще безъ вины... У нея управитель, вишь, въ милости; онъ и творитъ, что ему любо. Не сними-ка передъ нимъ шапки, такъ и нивъсть что сдѣлаетъ! за версту увидишь, такъ тотчасъ шапку долой, да такъ и работай на жару въ полдень, пока не прикажетъ надѣть, а коли сердитъ или позабудетъ, такъ иногда цѣлый день промаетъ...

Бѣлинскій. Какія злоупотребленія!

Мужикъ. Разъ какъ-то барынѣ донесли, что-дескать "Өедька дурно про тебя говоритъ и хочетъ въ городѣ жаловаться...", а Өедька мужикъ былъ славной; вотъ она и приказала руки ему вывертывать на станкѣ... а управитель былъ на него сердитъ... Какъ повели его на барскій дворъ, дѣти кричали, жена плакала... вотъ стали руки вывертывать. "Господинъ управитель! — сказалъ Өедька:—что я тебъ сдѣлалъ? Вѣдь ты меня губишь!" "Вздоръ!" сказалъ управитель... да вывертывали, да ломали... Өедька и сталъ безрукой. На печкѣ такъ и лежитъ, да клянетъ свое рожденье...

Бѣлинскій. Да что, въ самомъ дѣлѣ, кто-нибудь изъ сосѣдей, или исправникъ, или городничій не подадутъ на нее просьбу? На это есть у насъ судъ. Вашей госпожѣ плохо можетъ быть.

Мужикъ. Гдѣ защитники у бѣдныхъ людей? У барыни же всѣ судьи подкуплены нашимъ же оброкомъ... Тяжко, баринъ, тяжко стало намъ! Посмотришь въ другое село—сердце кровью обливается!.. живутъ спокойно да весело; а у насъ такъ и пѣсенъ не слышно стало на посидѣлкахъ... Разсказываютъ горничныя: разъ барыня разсердилась; такъ, вишь, ножницами такъ и кольнула одну изъ дѣвушекъ... охъ, больно... а какъ бороду велитъ щипать волосокъ по волоску, батюшка... ну, такъ тутъ и святыхъ забудешь, батюшка... (Падаетъ

на колкна передъ Бълинскимъ). О! кабы ты намъ помогъ! Купи насъ, купи, отецъ родной! (Рыдаетъ).

Владиміръ (въ бъщенствъ). Люди! люди!... И до такой степени злодъйства доходить женщина, твореніе, иногда столь близкое
къ ангелу!.. О, проклинаю ваши улыбки, ваше счастье, ваше богатство!.. все куплено кровавыми слезами... Ломать руки, колоть, съчь,
ръзать, выщипывать бороду волосокъ по волоску... О, Боже! при
одной мысли объ этомъ, я чувствую боль во всъхъ моихъ жилахъ...
Я бы раздавилъ ногами каждый суставъ этого крокодила, этой женщины. Одинъ разсказъ меня приводитъ въ бъшенство.

Бѣлинскій. Въ самомъ дѣлѣ ужасно!

Мужикъ. Купи насъ, родимой.

Владиміръ. Дмитрій, есть ли у тебя деньги? Вотъ все, что я имѣю: вексель на 1000 рублей... ты мнѣ отдашь когда-нибудь. (Кладетъ на столъ бумажникъ).

Бѣлинскій (сосчитавъ). Если такъ, то я постараюсь купить эту деревню. Поди, добрый мужичокъ, и скажи и своимъ, что они въ безопасности. (Владиміру). Какова госпожа?

Мужикъ. Дай Боже вамъ счастья обоимъ, отцы мон! Дай Богъ вамъ долгую жизнь! Дай Богъ вамъ все, что душѣ ни пожелается!.. Прощай, родимой! Благослови тебя Царь небесный! (Уходитъ).

Владнміръ. О, мое отечество! мое отечество! (Ходить быстро взадь и впередь по комнать)

Бѣлинскій. Ахъ, какъ я радъ, что могу теперь купить эту деревню! какъ я радъ! Впервые мнѣ удается облегчать страждущее человъчество! Такъ это доброе дѣло!.. Несчастные мужики! что за жизнь, когда я каждую минуту въ опасности потерять все, что имѣю, и попасть въ руки палачей!

Владиміръ. Есть люди болѣе достойные сожалѣнья, чѣмъ этотъ мужикъ. Несчастія внѣшнія проходять; но тотъ, кто носить всю причину своихъ страданій глубоко въ сердцѣ, въ комъ живетъ червь, пожирающій малѣйшія искры удовольствія... тотъ, кто желаетъ и надѣется... тотъ, кто въ тягость всѣмъ, даже любящимъ его... тотъ... но для чего говорить о такихъ людяхъ? Имт не могутъ сострадать, ихъ никто, никто не понимаетъ.

Бѣлинскій. Опять за свое! О, эгонстъ! Какъ можно сравнивать химеры съ истинными несчастіями? Можно ли сравнить свободнаго съ рабомъ?

Владиміръ Одинъ рабъ человѣка, другой рабъ судьбы. Первый можетъ ожидать хорошаго господина, или имѣетъ выборъ; второй никогда. Имъ играетъ слѣпой случай: и страсти его п безчувственность другихъ,—все соединено къ его гибели.

Протестъ Лермонтова не такъ ярокъ, какъ протестъ Бѣлинскаго, но все-таки совершенно опредѣленно и выпукло сказался въ приведенной сценѣ. И вотъ получается удивительнѣйшее совпаденіе. Въ одинъ и тотъ же 1830—31 годъ, въ одной и той же литературной формѣ, одно и то же крайне рѣдко тогда встрѣчавшееся чувство негодованія и возмущенія крѣпостнымъ правомъ выразили изъ всей русской литературы два юныхъ чембарца (Лермонтовъ родился и провелъ дѣтство въ селѣ Тарханахъ, лежащемъ въ 14 верстахъ отъ Чембара), между собою незнакомые!

Нѣкоторый свѣть бросаеть на это до жуткости странное совпаденіе интересная статья П. К. Шугаева: "Изъ колыбели замѣчательныхъ людей" ("Жив. Обозр." 1898 г. № 22). Г. Шугаевъ собралъ у чембарскихъ старожиловъ разныя свѣдѣнія о лицахъ, такъ пли иначе прикосновенныхъ къ біографіи Лермонтова и Бѣлинскаго, и вотъ что онъ между прочимъ сообщаетъ:

"Григорію Николаевичу Бълинскому (отду) неоднократно грозила участь увольненія въ отставку даже безъ прошенія, да и онъ неоднократно собирался оставить свой родной Чембаръ и перевестись въ другой городъ, но богатый и вліятельный пом'вщикъ, генералъ Д. А. Мосоловъ, жившій неподалеку отъ Чембара въ своемъ имфніи, селф Тарховъ, въ 3 верстахъ отъ города, всегда отъ этого его удерживалъ и былъ его защитникомъ. Со словъ генерала, участвовавшаго въ Бородинскомъ сраженіи, и отчасти гувернера Жандра, бывшаго полковника наполеоновской гвардін, было написано М. Ю. Лермонтовымъ знаменитое стихотвореніе "Бородино". Д. А. Мосоловъ доводился М. Ю. Лермонтову дядей и, несмотря на то, что считался образованнымъ и передовымъ человъкомъ своего сословія и времени, быль кандидатомь на пость пензенскаго губернатора, - преждевременная смерть не позволила ему губернаторствовать, -- все-таки не быль свободень оть произвола и дикостей, овладевшихь въ тё времена помъщичьимъ міромъ, вслъдствіе чего и окончилъ свою жизнь трагически: былъ около 1840 года за свой нев фроятный деспотизмъ задушенъ въ своемъ гаремъ кръпостными женщинами при помощи 3 лакеевъ, которые по задушении и раздълили деньги, не зная въ нихъ счету, по 17 ф. въсомъ на человъка, въшая заодно золото, серебро и бумажки. Преступленіе было открыто лишь спустя долгое время и то благодаря настоянію и энергіи Е. А. Арсеньевой, бабки М. Ю. Лермонтова, такъ какъ Д. А. Мосоловъ доводился ей близкимъ родственникомъ. Родная сестра Д. А. Мосолова, номѣщица села Полянъ, жившая въ 7 верстахъ отъ Чембара, спустя лѣтъ 10 послѣ трагической смерти брата, около 1850 года, тоже была за свой ужасный деспотизмъ заживо сожжена своими же крепостными крестьянами".

Въ другомъ мѣстѣ статьи говорится:

"Замъчательно то обстоятельство, что ни дъдъ, ни отецъ . Гермонтова, ни его мать деспотами надъ крепостными не были, какъ большинство помъщиковъ того времени. Хотя Е. А. Арсеньева и была сурова и строга на видъ, но самымъ высшимъ у нея наказаніемъ было для мужчинъ обритіе половины головы бритвой, а для женщинъ отръзание косы ножницами, что практиковалось не особенно часто, а къ розгамъ она прибъгала лишь въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ, такъ напримъръ, кръпостной человъкъ Петръ Алексвевь, бывшій поваромь у М. Ю., во время его службы въ Петербургѣ, напившись до опьяненія, ударилъ М. Ю., за что и быль отправленъ М. Ю. въ Тарханы къ бабушкъ, которая уже за обиду Мишеньки распорядилась по-своему, приказавъ примърно наказать виновнаго на конюшит розгами. Это было исполнено въ точности, вслъдствіе чего у Петра Алексвева на спинв кожи не осталось п следа, а въ заключение онъ былъ навсегда отправленъ пасти овецъ въ перевню Михайловскую. Но зато всв ея ближайшие родственники, а Столышины въ особенности, могли уже смело назваться даже и по тогдашнему времени первоклассными деспотами".

Вотъ въ этомъ-то поразительномъ даже для своего времени тиранствъ Мосоловыхъ и Столыпиныхъ, повидимому, надо искать причину поразительнаго совпаденія негодованія Лермонтова и Бѣлинскаго. До какой степени должно было доходить тиранство Мосоловыхъ, чтобы довести крѣпостныхъ того времени до убійства! Такія преступленія были чрезвычайно рѣдки. Правда, убійство Мосолова относится къ 1840, а Мосоловой даже къ 1850 г., слѣдовательно, десять и двадцать лѣтъ спустя послѣ написанія обѣнхъ драмъ, но вѣдь и долготерпѣніе крѣпостной массы было безгранично, и требовалось необычайно долголѣтнее мучительство, чтобы дѣло дошло до катастрофы.

Судя по тому, что и у Лермонтова, и у Бѣлинскаго тиранкой является женщина, прототипомъ имъ служила Мосолова. Самый же фактъ существованія такого реальнаго прототипа для Лермонтова доказывается тѣмъ, что его юношескія драмы носятъ яркій автобіографическій характеръ, а что касается Бѣлинскаго, то онъ прямо инсаль отцу 22 янв. 1831 г. по поводу окончанія драмы: "Вы увидите многія лица, довольно вамъ извъстныя. Но впередъ говорить нечего: когда напечатается, тогда имѣющіе уши слышать, да слышать".

V.

Послъдствія драмы. Исключеніе изъ университета. Литературные дебюты. Доучился или не доучился Бълинскій?

Неудача, постигшая драму, страшно удручала Бѣлинскаго. Какъ всякаго юношу, его волновала мысль объ извъстности. "Пускаюсь, писаль онъ отцу, въ море треволненное, въ море великое и пространное, въ немъ же гади нъсть числа. Можетъ быть, вы скоро увидите имя мое въ печати и будете читать обо мит разные толки и осужденія, какъ въ худую, такъ и въ хорошую сторону. Не могу рѣшительно опредѣлить достоинство моего сочиненія, но скажу, что оно много надълаетъ шуму". Удручало его и крушеніе извъстныхъ намъ надеждъ "сорваться", благодаря драмъ, съ казеннаго кошта. Съ комическою точностью вычисляеть онъ родителямъ свои протори и убытки: "Мое произведение было бы расхвачено въ мъсяцъ и доставило бы мнь, по крайней мьрь, тысячь шесть". Этоть забавный подсчеть служить еще однимь доказательствомь того, какъ далекъ былъ Бълинскій отъ протеста систематическаго и обдуманнаго, всегда заранве знающаго, что не только сочинение, но и самого автора можно "расхватать". Впрочемъ, не одинъ Бѣлинскій высказаль въ данномъ случав наивность безконечную. Когда онъ прочиталь драму товарищамь, участникамь "литературныхь вечеровъ", она имъ при всехъ своихъ недостаткахъ, тутъ же указанныхъ страшно волновавшемуся автору-растянутости, отсутствію дъйствія, чрезмърному преобладанію лирическаго элемента, - очень понравилась глубиною чувства и горячими тирадами противъ крупостного права 1).

Въ шутливомъ письмѣ отъ 12 августа 1837 г. Станковичъ писалъ Бѣлинскому изъ Воронежа:

"Меня рекомендоваль губернатору секретарь, какъ человъка умнаго

⁾ Ср. разсказы Чистякова въ книгъ Пыпина, Прозорова въ "Библ. для Чтенія" 1859 г. и Аргиландера въ "Русск. Ст." 1889 г. Драма была прочтена не совсемъ въ томъ виде, въ какомъ была представлена въ цензурный комитеть. Но изминения коснулись только второстепенныхъ подробностей.

Въ экземпляръ, представленномъ въ цензурный комитетъ, Бълинскій назваль свою трагедію "Дмитрій Калининь". Но въ кругу товарищей-студентовъ (свидътельство Аргиландера) онъ называлъ ее "Владиміръ и Ольга". Это находится въ связи съ темъ, что въ собственноручномъ экземплярь трагедін, подаренномъ брату Григорію (сохранпвшійся отрывокъ изъ него и былъ напечатанъ въ "Русск. Стар." 1876 г.), главный герой называется не Дмитріемъ, а Владиміромъ.

Одинъ изъ товарищей — Н. А. Аргиландеръ, разсказывалъ впослъдствін ("Русск. Старина" 1880 г., т. 28, стр. 140—143), что Бълинскій читалъ свое произведеніе "съ большимъ увлеченіемъ, и всъмъ, по тому времени, весьма ръзкимъ монологамъ (слушатели) страшно

и притомъ сочинителя—можешь себв представить, какъ это пріятно было сочинителю; я не зналъ, какую рожу корчить, и проклиналъ услужливаго секретаря; какъ я ни старался увврить, что я не сочинитель, но это приняли за скромность, просили моихъ сочиненій, говорили о трагедіи—а? и секретарь, выходя, шепталъ мив, чтобы я прислаль ему стишковъ. Ты торжествуешь?... Ты долженъ вымвнять образъ Цввтаева, который погубиль твою Сироту—двлалъ бы ты рожи не лучше моей".

Очевидно, въ кружкѣ Станкевича пьеса, къ которой Бѣлинскій въ то время уже относился очень насмѣшливо, была извѣстна подъименемъ Сироты.

Бѣлинскій много работаль надъ своимъ литературнымъ первенцемъ и нѣсколько разъ его передѣлывалъ, что видно и изъ различныхъ пересказовъ содержанія пьесы лицами, ее слышавшими.

- 1) Первый по времени пересказъ далъ, въ "Москов. Вѣд." 1859 г. № 293, Ив. Остров—овъ. Это, впрочемъ, не пересказъ, а догадки автора статъи и потому интереса не представляютъ. Онъ пользовался тѣми самыми письмами Бѣлинскаго къ брату Константину и тѣмъ сохранившимся у послѣдняго отрывкомъ драмы, которые въ 1876 г. были напечатаны въ "Русск. Ст.".
- 2) Съ пересказомъ и догадками И. Остров-ова не совсемъ совпадаеть то, что осталось въ памяти Б. М. Чистякова и съ его словъ сообщено А. Н. Пыпинымъ (Белинскій I, 54): Владиміръ—действительно, незаконный сынъ помъщика, богатаго барина, и родился въ семьъ его кръпостного крестьянина; этотъ крестьянинъ потомъ умеръ, засфченный бариномъ, который, чтобы несколько загладить ужасное дело, взялъ Владиміра къ себъ. Владиміръ (или какъ иначе звали этого героя) отличался пылкимъ нравомъ и талантами; отецъ ставилъ его въ примфръ своимъ барченкамъ сыновьямъ, и предпочтеніе, оказываемое передъ ними холопу, возбудило въ нихъ скрытую злобу. Героиня-не сестра Владиміра, во въ любви къ ней его соперникомъ являлся именно одинъ изъ братьевъ. Отецъ умираетъ, не успъвши дать вольной своему незаконному сыну, и, по смерти отца, онъ достается по наследству своему сопернику по любви къ героинт; новый баринъ, чтобъ отомстить и унизить его, заставляеть его служить себф за столомъ. Здфсь же, за столомъ, Владимірь убиваеть его.

Другой современникъ, родственникъ Бѣлинскаго Д. П. Ивановъ, подтверждалъ, что разсказъ Чистикова передаетъ вѣрно ту редакцію, въ которой трагедія читалась на студенческихъ вечерахъ, но что послѣ Бѣлинскій многое въ ней измѣнилъ, и отрывокъ, который напечатанъ въ "Русск. Ст.", принадлежалъ къ этой исправленной редакціи.

3) Въ "Русск. Старинъ" 1876 г. по подлинной рукописи, подаренной брату Григорію, напечатанъ сохранившійся отрывокъ изъ послѣдняго дъйствія. Онъ не отличается по тексту отъ представленнаго въ цензурный комитетъ и воспроизведеннаго въ І т. моего изд. соч. Бѣлинскаго, но измѣнены названія дѣйствующихъ лицъ. Дмитрій называется Владиміромъ, Сурскій—Вельскимъ, Марья Николаевна фигурируетъ подъ именемъ "мамзели".

аплодировали и многіе совѣтовали даже представить драму на разсмотрѣніе цензурнаго комитета, для того, чтобъ можно было поставить ее на сцену университетскаго театра". Другой университетскій товарищъ Бѣлинскаго—Прозоровъ (въ "Библ. для Чт." 1859, № 12) указываетъ и на замѣченные товарищами недостатки, но въ общемъ отношеніе было очень поощряющее. Прозоровъ тридцать лѣтъ спустя еще живо помнилъ чтеніе и даже наружность автора во время этого чтенія:

"Наружность его, сколько могу припомнить, была очень истощена. Вивсто свежаго, живого румянца юности, на лице его быль разлить какой-то красноватый колорить; прическа волось на голов торчала хохломъ; движенія р'єзкія, походка скорая, но зато горячо и полно одушевленія было чтеніе автора, увлекавшее слушателей страстнымъ изложениемъ предмета и либеральными, по тогдашнему, идеями. Но при изяществъ изложенія, смълости мыслей и глубинъ чувствъ, читанная драма была слишкомъ растянута и содержала въ себъ больше лиризма, чъмъ дъйствія... Очевидно, что драматическое поприще не было истиннымъ призваніемъ Бѣлинскаго"... По объясненію Прозорова, попытка Бълинскаго была плодомъ его увлеченія театромъ и еще свъжаго вліянія Шиллеровыхъ "Разбойниковъ", "Коварства н любви", Шекспирова "Отелло", которые тогда часто давались на сцень. Бълинскій очень огорчился, когда по окончаніи пьесы ему сділали замъчанія объ ея недостаткахъ: "По измънившимся чертамъ лица его и засверкавшимъ глазамъ можно было ожидать, что вотъ онъ вцёпится коршуномъ въ дерзкаго, осмёлившагося унизить его авторитетъ передъ товарищами, однако онъ сдержалъ свой порывъ, и только по чертамъ лица можно было прочесть чувство презрѣнія какъ будто говорившее: odi profanum vulgus et arceo".

По разсказу (устному) секретаря литературныхъ вечеровъ—извѣстнаго впослѣдствін педагога М. Б. Чистякова— Бѣлинскій хотя и очень волновался и съ тревогой начиналъ чтеніе, но все же мирно выслушалъ возраженія (Пыпинъ, Бѣлинскій, т. І, 52).

Лишь болье искушенный "дыйствительностью" Лажечниковь сразу оцынль необычность сюжета и "предсказаль судьбу" пьесы. Но Былинскій не послушался предостереженія. Еще менье, конечно, могло его остановить то, что родные неодобрительно отнеслись уже къ самой мысли пуститься въ "море пространное" литературной дыятельности, даже не зная ничего о тыхь подводныхъ рифахъ, которымъ суждено было потопить легкомысленно оснащенное суденышко. Отець прямо не ждаль добра отъ литературныхъ занятій сына. А доброжелательная, умная и симпатичная Катя Иванова, горячо сочувствуя Былинскому, желая ему "отъ всей души" блистательнаго

успъха" и того, "чтобы отечество почтило назвать (его) своимъ ІПиллеромъ", все же деликатно совътовала не спъшить отдавать пьесу въ печать, показать ее "людямъ опытнымъ, какимъ-нибудь ученымъ старичкамъ, а не молодымъ товарищамъ", и не полагаться "на собственное мнъніе; въдь, говорять, самъ сочинитель есть самый плохой судья своего произведенія". Но и этого доброжелательнаго голоса не послушался Бълинскій, горя желаніемъ поскорве "выразить", какъ онъ говорилъ въ предисловіи къ драмѣ, "этотъ міръ собственныхъ мыслей и чувствованій, возбуждаемыхъ въ немъ созерцаніемъ этой чудесной гармонической безпредальной вселенной, въ которой онъ обитаетъ, назначениемъ, судьбою человъка, сознаниемъ его нравственнаго величія". Отмічу кстати, что небольшое предисловіе къ "Дмитрію Калинину" принадлежить къ интереснейшимъ страницамъ сочиненій Бълинскаго. Слогъ его уже достигь здѣсь всей своей силы и красоты выраженія, а павосъ-всей высоты и благородства воодушевленія. Въ біографическомъ отношеніи предисловіе представляеть собою яркій отрывокъ изъльтописи сердечной жизни "молодого студента", какъ онъ себя здѣсь называетъ. Съ присущею чистымъ сердцамъ способностью говорить о себъ безъ твни самолюбованія, Бълинскій рекомендуеть читателю свое произведеніе, какъ

"порывъ души пламенной, души страстной ко всему высокому, изящному,-души, желающей излиться и борющейся между этимъ желаніемъ и слабостью силь. Чтеніе поэтовь, чтеніе исторіи, углубленіе въ самого себя почали, радости, восторгъ, равнодущіе, волненіе страстей, порывъ къ чему то неопредвленному: тоска по чемъ-то невъдомомъ, размышление о человъкъ, о непонятной емъси добраго и злого, высокаго и низкаго, составляющей существо его, мысль о другомъ, таинственномъ мірф родить тысячи вопросовъ безответныхъ, волнующихъ юный, неопытный умъ, какъ неразръшимая, но слабо понимаемая какимъ-то темнымь чувствомъ загадка. Въ это поэтическое состояніе душа человька воспламеняется какимъ-то неяснымъ, но сильнымы желаніемы выразить самое себя, грудь его волнуется какимы то тревожнымъ чувствомъ непзъяснимаго безпокойства, и онъ желаетъ раскрыть ее, показать свое сердце, чтобы могли прочитать и истолковать самому емуть непонятныя буквы, которыя начертаны на немь рукою. Невъдомаго. Кому знакомы эти ръдкія минуты восторга, тоть пойметь меня. Не знаю, благосклонно ли приметь публика мое сочиненіе; но ежели достоинства его равны энтузіазму, съ которымъ оно писано, то труды мои не тщетны. Если хотя искра того божественнаго огня, того животворящаго восторга, которыя оживляли меня, какъ электричество, сообщится душь читателя, то и достигъ моей цели".

Бѣлинскій, повидимому, пробовать пристронть трагедію въ журналь и носиль ее къ Погодину, но изъ этого ничего не вышло, и тогда онъ отнесъ ее въ цензуру. Цензура тогда состояла при университетъ и цензорами были профессора. И вотъ какой получается результатъ, подробно описанный въ горестномъ письмъ Бълинскаго къродителямъ отъ 17 февраля 1831 г.:

"Сообразивши всв обстоятельства моей жизни, —писалъ онъ, —я въ правъ назвать себя несчастнъйшимъ человъкомъ. Въ моей груди сильно пылаетъ пламя тъхъ чувствъ, высокихъ и благородныхъ, которыя бывають удъломъ немногихъ избранныхъ-н при всемъ томъ меня очень родкіе могуть цанить и понимать... Вса мои желанія, намфренія и предпріятія самыя благородныя, какъ въ разсужденіи самого себя, такъ и другихъ, оканчивались или неудачами, или ко вреду мив же и, что всего хуже, навлекали на меня нареканія и подозрвніе въ дурныхъ умыслахъ. Доказательства передъ глазами. Вы сами знаете, какъ сладки были лъта моего младенчества... Учась въ гимназін, я жиль въ б'ёдности... Поёхаль въ Москву съ пламеннымъ желаніемъ опредёлиться въ университетъ; мое желаніе сбылось. По вътренности, а болъе по неопытности, истратилъ данную мнъ сумму денегь, которая въ моихъ глазахъ казалась огромною, неистощимою. Потомъ поступилъ на казенный коштъ... о, да будетъ проклятъ этотъ несчастный день!.. (Послъ этого идутъ жалобы на дъла, съ драмой не связанныя). Осужденный страдать на казенномъ коштъ, я вознамфрился избавиться отъ него и для этого написалъ книгу (т.-е., трагедію), которая могла скоро разойтись и доставить мит не малыя выгоды. Въ этомъ сочиненіи, со всёмъ жаромъ сердца, пламенёю. щаго любовію къ истинь, со всьмъ негодованіемъ души, ненавидящей несправедливость, я въ картинт, довольно живой и втрной, представилъ тиранство людей, присвоившихъ себъ гибельное и несправедливое право мучить себъ подобныхъ. Герой моей драмы есть человъкъ пылкій, съ страстями дикими и необузданными: его мысли вольны, поступки бъщены, — и слъдствіемъ ихъ была его гибель. Вообще скажу, что мое сочинение не можетъ оскорбить чувства чистъйшей нравственности и что цъль его есть самая нравственная. Подаю его въ цензуру-и что же вышло?.. Прихожу черезъ неделю въ цензурный комитетъ и узнаю, что мое сочинение цензоровалъ Л. А. Цвътаевъ (заслуженный профессоръ, статскій совѣтникъ и кавалеръ). Прошу секретаря, чтобы онъ выдалъ мнѣ мою тетрадь; секретарь, вмѣсто отвѣта, подбѣжалъ къ ректору (И. А. Двигубскому), сидѣвшему на другомъ концѣ стола, и вскричалъ: "Иванъ Алексѣевичъ! Воть онъ, воть г. Бѣлинскій!" Не буду много распространяться, скажу только, что, несмотря на то, что мой цензоръ, въ присутствін всфхъ членовъ комитета, расхвалилъ мое сочинение и мои таланты какъ нельзи лучше, оно признано было безиравственнымъ, безчестящимъ университеть, и о немъ составили журналь!.. Но послѣ это дѣло

уничтожено, и ректоръ сказалъ мив, что обо мив ежемвсячно будуть ему подаваться особенныя донесенія.

"Каково это?... Я надѣялся на вырученную сумму откупиться отъ казны, жить на квартирѣ и хорошенько экипироваться—и всѣ мои блестящія мечты обратились въ противную дѣйствительность, горькую и бѣдственную. Я могъ бы найти кондицію, завести хорошія и полезныя для меня знакомства, но въ форменной одеждѣ, кромѣ аудиторіи, нигдѣ нельзя показаться, ибо она въ крайнемъ пренебреженіи (подробности объ одеждѣ).

"Лестная, сладостная мечта о пріобрѣтеніи извѣстности, объ освобожденіи отъ казеннаго кошта для того только ласкала и тѣшила меня, довѣрчиваго къ ея дѣтскому, легкомысленному лепету, чтобы только усугубить мои горести... Теперь, лишившись всѣхъ надеждъ моихъ, я совершенно опустился: все равно, вотъ девизъ мой"...

О результатахъ представленія пьесы въ цензуру разсказываетъ также Аргиландеръ:

"Съ окончаніемъ пьесы и нікоторыми сділанными въ ней измівненіями, при общей нашей помощи, она была переписана, и Бѣлинскій самолично представиль ее въ комитеть, состоящій изъ профессоровь университета. Прошло нъсколько дней въ нетерпъливомъ ожиданіи, какъ вдругъ разъ утромъ-въ это время я былъ одинъ въ номерѣ 1) и мы занимались чтеніемъ какого-то періодическаго журнала —его потребовали въ засъданіе комитета, помъщавшагося въ зданіи университета. Спустя не болье получаса времени, вернулся Бълинскій, бледный какъ полотно, и бросился на свою кровать лицомъ внизъ; я сталь его разспрашивать, что такое случилось, но ничего положительнаго не могъ добиться; онъ произносиль только одно, и то весьма невнятно: "Пропалъ, пропалъ, каторжная работа, каторжная работа!" Заглянувъ ему въ глаза и увидавъ почти смертную блёдность лица, я крикнуль сторожа, приказаль принести воды и, сбрызнувь его, даль немного напиться. Когда же онъ сталъ успоканваться, я болье его не разспрашивалъ, догадавшись, въ чемъ было дѣло, и только настоялъ на томъ, чтобъ онъ сей же часъ отправился въ клиническое отделеніе казеннокоштныхъ студентовъ, помѣщавшееся на томъ же университетскомъ дворъ, близъ анатомическаго театра, и проводилъ его туда витстт со сторожемъ. Вечеромъ того же дня я быль въ больницт и узналъ отъ него, что профессора цензурнаго комитета распекли еготаки порядкомъ и грозили, что съ лишениемъ правъ состояния онъ будетъ сосланъ въ ('ибирь, а могло случиться еще что-нибудь и хуже.

¹) Казеннокоштные помѣщались по нѣсколько человѣкъ въ комнатѣ, или "номерѣ". Бѣлинскій жилъ въ № 11.

Я его успоканваль по мёрё возможности и доказываль ему, что самое большее, что могли съ нимъ сдёлать,—это послать его, какъ неокончившаго курсъ казеннокоштнаго воспитанника, учителемъ приходскаго училища или исключить изъ университета".

Неудача съ драмой оказала, безспорно, сильное вліяніе на внѣшнюю судьбу Бѣлинскаго. Безспорно, что послѣдовавшее позднѣе исключеніе изъ университета находится въ органической связи съ драмою.

Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что Бѣлинскій былъ удаленъ именно за пьесу. Формально придрались къ другому—къ тому, что въ теченіе трехлѣтняго пребыванія въ университетѣ Бѣлинскій частью не держалъ, частью не выдержалъ экзаменовъ. Но такъ какъ подобное неглижированіе совсѣмъ не было такимъ уже необычнымъ явленіемъ, —были случаи, что люди по десяти лѣтъ оставались на казенномъ коштѣ, не держа никакихъ экзаменовъ, —то и нельзя не привести исключеніе въ связь именно съ пьесой. Ко времени этого исключенія —сентябрю 1832 года въ московскомъ университетѣ водворились большія строгости.

Бълинскій и палъ жертвою этого режима. Безъ такого повальнаго стремленія "очистить" университеть не было никакого основанія увольнять его. Строго говоря, не было даже формальнаго основанія для этого. Правда, кончался третій годъ пребыванія Бѣлинскаго въ университетъ, и онъ не выдержалъ экзамена для перевода на "ординарныя" лекціи, т. е. на второй курсъ. Но какъ видно изъ офиціальнаго же донесенія инспектора Щепкина, которое сейчась будеть приведено, второй годь студенчества Бѣлинскаго—1830—31 "въ счетъ не принимается" по "случаю бывшей эпидеміи". Должно, следовательно, было исходить изъ того, что онъ пробылъ не три, а только два года на первомъ курсъ. И лучшимъ доказательствомъ, что только такъ и можно было смотреть, служить то, что въ начале 1831—32 учебнаго года никакого вопроса объ исключении Бѣлинскаго не подымалось. Нормальнымъ срокомъ экзамена, такимъ образомъ, являлась весна 1832 года. Но держать ихъ именно весной Бълинскій не могъ. Онъ былъ совершенно истощенъ продолжительною и изнурительною бользнью, продержавшей его нысколько мысяцевы вы университетской клиникъ. И вотъ онъ обращается съ законнъйшею и ничтоживищею по существу просьбою, въ которой не могъ ему отказать даже грозный Голохвастовъ.

"Вышедши изъ больницы, я просилъ Голохвастова, чтобы онт, изъ уваженія къ моей долговременной бользни, позволилъ мив въ концв августа или въ началъ сентября держать особенный экзаменъ. Онъ, хотя и не объщалъ исполнить моей просьбы, но и не отказалъ, а сказалъ: хорошо, посмотримъ".

Окончательный результать, однако, быль совершенно неожиданный:

"Я остался въ надеждѣ, и съ половины мая до самаго сентября, несмотря на чрезвычайно худое состояніе моего здоровья, работаль и трудился, какъ чортъ, готовясь къ экзамену. Но экзамена не дали, а вмѣсто него увѣдомили объ увольненіи изъ университета".

Изгнаніе Бѣлинскаго состоялось съ такою исключительною мотивировкою, что невольно является мысль о мщеніи исторической Немезиды, избирающей иногда самые неожиданные пути. Вѣдь сколько есть съ виду вполнѣ благоприличныхъ предлоговъ для исключенія студента, формально три года пробывшаго на одномъ курсѣ, а понадобился такой: инспекторъ и профессоръ П. С. Щепкинъ доносилъ помощнику попечителя (Голохвастову) о студентахъ Сомовѣ и Бѣлинскомъ:

"Виссаріонъ Бѣлинскій, сынъ штабъ-лекаря, поступилъ въ словесное отдѣленіе въ сентябрѣ 1829 года и затѣмъ вскорѣ на казенный коштъ. По окончаніи перваго учебнаго курса, онъ не оказалъ достаточныхъ успѣховъ для перевода на ординарныя лекціи отдѣленія. Въ теченіе же минувшаго учебнаго года, съ января мѣсяца до начала годовыхъ испытаній, лечился въ больницѣ. Бѣлинскій, самъ. чувствуя свое безсиліе для продолженія наукъ, просиль, въ 1831 году, уволить его отъ университета и опредѣлить въ канцелярскіе служители 1).

"Не имѣя надежды, чтобы Сомовъ п Бѣлинскій: первый по совершенно разстроенному здоровью, а второй—также по слабому здоровью и притомъ по ограниченности способностей, могли образо-

⁷⁾ По причинамъ, совершенно незатронутымъ Бѣлинскимъ въ перепискѣ съ родными и потому недостаточно яснымъ, онъ въ октябръ 1831 г. ръшиль оставить университеть и подаль прошеніе объ определеніи его на службу въ училищный комитетъ московскаго университета. Надо думать, что на такое решение повлияло два обстоятельства: ему, очевидно, не хотелось оставаться на третій годъ на первомъ курсф, и хотфлось, по прежнему, "сорваться съ казеннаго кошта". Разсчитывать на помощь родителей нечего было и думать, вотъ онъ, вфроятно, и задумалъ определиться къ симпатичному дълу, болже или менъе обезпечивавшему его скромныя потребности (200 р. въ годъ) и въ то же время не прерывавшему его связей съ московскимъ университетомъ. Правленіе университета согласилось исполнить просьбу "оказавшагося веспособнымъ къ слушанію ординарныхъ лекцій" Бълинскаго и въ этомъ смыслъ сдълано представление попечителю. Но дъло кончилось ничамъ, потому что въ виду того, что предстояло преобразованіе училищнаго комитета, решено было на некоторое время пріостановиться опредъленіемъ на службу новыхъ лицъ. См. у Пыпина, І, стр. 72 73 и въ сборникъ, изд. Пензенской Публич. Библіотекой въ намять Бълинскаго (М. 1899)

ваться полезными чиновниками по учебной службь, долгомъ почитаю представить о семъ во вниманіе вашего превосходительства и просить объ увольненіи ихъ изъ университета" 1).

Эта классическая мотивировка, навсегда увѣковѣчивающая имя Щепкина, имѣетъ въ исторіи высшихъ учебныхъ заведеній. кажется, только одну аналогію—выданный тюбингенскимъ университетомъ Гегелю аттестатъ, въ которомъ было сказано, что онъ "молодой человѣкъ съ хорошими способностями, но не отличается ни прилежаніемъ, ни свѣдѣніями, весьма не искусенъ въ словѣ и можетъ быть названъ идіотомъ въ философіи". Но если аттестація, выданная Гегелю, имѣетъ одинъ вполнѣ опредѣленный источникъ—школярскую тупость и неумѣнье разбираться въ явленіяхъ, на которыхъ еще не налѣплена этикетка, то аттестацію "ограниченности способностей", выданную Бѣлинскому, не такъ-то легко подвести подъ одинъ типъ. Мы знаемъ, что цензора-профессора расхвалили самое

^{1) &}quot;Русск. Ст." 1876 г., т. XV, стр. 678. Представленіе Щепкина напечатано здесь по черновику изъ записной книги его. Но напечатано только незачеркнутое, т. е. то, что (очевидно, въ переписанномъ видъ) и пошло къ попечителю. На выставкъ въ память Бълинскаго, устроенной въ Москвъ весною 1898 года Обществомъ любителей россійской словесности, былъ помъщенъ въ особой витринъ самый этотъ черновикъ (воспроизведенный затвиъ въ альбом выставки, изд. фототипіей Фишера), и ознакомленіесъ нимъ интересно въ томъ отношенін, что совершенно точно устанавливаетъ дату исключенія Бълинскаго. До сихъ поръ, благодаря тому, что постранной разсъянности Бълинскій ошибочно датировалъ подрядъ нъсколько писемъ къ родителямъ 1832 годомъ, вмѣсто 1833 года, было фактическое основаніе относить его исключение къ сентябрю 1831 года. Датпровано, между прочимъ, 1832 годомъ то самое письмо, въ которомъ Бълинскій пишетъ: "Въ сентябръ псполнится годъ, какъ я выключенъ изъ университета". На основаніи этого вполно категорическаго указанія и кн. Енгалычевь, и редакція "Русск Ст." вносили поправку въ дату, установленную А. Н. Пыпинымъ въ его изследованін, когда оно еще печаталось въ "Вфстникф Европы", и относили исключеніе къ 1831 г. Въ отдъльномъ изданіи своего изследованія Пыпинъ вполне убъдительнымъ сопоставленіемъ нъкоторыхъ выраженій того же самаго письма, на которомъ основывались кн. Енгалычевъ и редакція "Русск. Ст.", (такихъ, напр., какъ "проходитъ уже четвертый годъ, какъ я поступилъ въ университетъ"), выяснилъ, что тутъ все дъло въ разсъянности Бълинскаго. Но все-таки его смущало это упорное повтореніе ошибки и онъ нерѣшительно говорить (т. І, стр. 62): "Исключеніе состоялось, кажется, въ сентябр 1832 г.", Теперь уже нерашительность можно отбросить. Въ зачеркнутыхъ строкахъ черновика Щепкина воть что сказано: "По окончаніи второго года, который, впрочемъ, не принимается въ счеть полнаго трехлътняго курса по причинъ бывшей эпидеміп, онъ также подвергался особому испытанію и оставлень въ первомъкурсъ". Итакъ, Бълинскій быль тригода въ университеть: поступиль осенью 1829 года и исключенъ, слъдовательно, въ сентябръ 1832 г. Помъчено представление Щенкина тоже 1832 годомъ.

"сочиненіе и таланты" Бѣлинскаго "какъ нельзя лучше". Не могъ же этого не знать инспекторъ и, очевидно, его мотивировка была вынужденная. Современники именно такъ на нее и смотрѣли. "По всѣмъ отзывамъ, какіе намъ приходилось читать и слышать", говоритъ Пыпинъ, "трагедія имѣла положительную роль въ исключеніи Бѣлинскаго изъ университета".

"Исторія Бѣлинскаго сильно водновала студентовъ, — разсказываетъ одинъ современникъ, — и долго толковали о ней товарищи. Мы (студенты) съ изумленіемъ услыхали, что Бѣлинскій исключенъ изъ университета за неспособностью; конечно, никто изъ насъ не подозрѣвалъ въ немъ знаменитаго критика, какимъ онъ явился впослѣдствіи, но все же мы почитали его однимъ изъ самыхъ умныхъ и даровитыхъ студентовъ и въ исключеніи его видѣли вопіющую несправедливость" (Пыпинъ, I, стр. 71).

Не трудно себъ представить душевное состояние Бълинскаго послѣ исключенія. Уже послѣ исторіи съ драмой онъ писаль родителямъ: "Лишившись всёхъ надеждъ монхъ, я совершенно опустился, все равно-вотъ девизъ мой". Теперь же, конечно, отчаяние было полное, потому что дело шло уже не только о будущемъ, но о томъ, гдь сегодня же приклонить голову. Отчаяние Бълинскаго было велико не столько потому, что лично онъ былъ выброшенъ на улицу, сколько потому еще, что съ перваго момента поступленія въ ункверситеть онъ смотръль на себя, какъ на будущую опору семьи. Если онъ сдерживалъ свой неистовый нравъ въ столкновеніяхъ съ университетскимъ начальствомъ, то именно потому, что его никогда не покидало сознаніе о взятомъ на себя, хотя и вполнѣ добровольно, обязательствъ. "Да правду, я ихъ (ректора и инспектора) очень мало боюсь, -- писаль онъ родителямъ, -- только одна мысль, что я не одинъ (курсивы Б.), удерживала меня поговорить съ ними обстоятельные". "Я живу не для себя, —пишеть онъ въ другомъ письмѣ, извѣщая родителей о своемъ исключенін, помню, что я крепкими узами свизанъ съ кровными-и вотъ только поэтому-то и огорчаюсь". И дома кръпко надъялись на ного. "Вы сами знаете, —писала ему Катя Иванова въ 1831 году, — что вы должны быть опорой вашего семейства и знаете ихъ надежду на васъ!".. Когда въ Чембаръ получилось письмо Бълпискаго съ описаніемъ постигшихъ его цензурныхъ невзгодъ, то мать "глазъ не осушала цѣлый день", по сообщенію той же Кати Ивановой, и ее "не знали, какъ утвшить". Но, конечно, разстроило ее не огорченіе сына и крушеніе дорогихъ ему литературныхъ надеждъ, а то, что онъ утратилъ "выгодное мићніе начальства" и могъ лишиться "казеннаго кошта".

Зная все это, Бѣлинскій долго ничего не сообщалъ родителямъ о

неожиданномъ завершеній своей университетской карьеры. Мало того, онъ систематически скрываль отъ родныхъ постигшій его ударъ судьбы, въ корнѣ подрѣзавшій всѣ ихъ упованія: "Девять мѣсяцевъ танлъ я отъ васъ свое несчастіе, обманываль всѣхъ чембарскихъ, бывшихъ въ Москвѣ, лгаль и лицемъриль, скрѣпя сердце"...

бывшихъ въ Москвъ, лгалъ и лицемърилъ, скръпя сердце"...
Мимо этого скрыванія, мимо этой лжи (какое слово въ примѣненіи къ Бълинскому!) нельзя быстро пройти, какъ это дълаетъ Пыпинъ. Надо непременно остановиться и определить, съ чемъ мы тутъ имъемъ дъло. Нельзя оставить безъ тщательнъйшаго изслъдованія такое обстоятельство въ біографіи человека, жизнь котораго носить поистинь героическій характерь, хотя вся она и протекла въ тиши рабочей комнаты. Во вступительныхъ страницахъ настоящаго этюда Бълинскій названъ "рыцаремъ безъ страха и упрека, на свътлой памяти котораго нътъ ни единаго самомалюйшаго пятнышка". Это сказано не въ качествъ обобщающей фразы, характеризующей основные контуры и главныя очертанія, фразу надо понимать буквально. Это точный выводъ изъ всего того, что когда либо сообщалось о Бълинскомъ и сообщено имъ самимъ въ лучшемъ матеріалъ для его біографін—въ его письмахъ. Во всемъ біографическомъ матеріаль о Бълинскомъ, накопившемся за шестьдесять льть, неть ни одной черточки, которая хотя въ чемъ-нибудь омрачала бы его свътлый образъ. Бълинскій не просто хорошій, прекрасный, благородный человъкъ, онъ-личность совершенно исключительная. Тургеневъ, перевидавшій на своемъ вѣку всѣхъ замѣчательныхъ людей Россіи и Европы, восклицаетъ: "Нътъ, подобнаго ему человъка я не встръчалъ ни прежде, ни послъ". То же, въ разныхъ выраженіяхъ, говорятъ и Панаевъ, и Кавелинъ, и Герценъ, еще болье Тургенева видавшій людей и при томъ въ такихъ рядахъ, которые къ вопросамъ нравственнаго совершенства относились съ особенною чуткостью. Даже многочисленные литературные враги Бълинскаго, даже г. Медвъдскій въ наши дни не дерзнули посягнуть на красоту его образа. Историкъ литературы, особенно часто указывавшій на руководящую и, следовательно, первенствующую по отношенію къ намъ роль Запада—Алексъй Веселовскій, занявшись личностью Бълинскаго; долженъ былъ признать, что въ его лицв мы имвемъ духовную организацію, равной которой, по стремительности и беззавътности исканія правды, нътъ среди представителей европейской критики. Такимъ образомъ, Бълинскій есть явленіе совершенно исключительное. Въ этихъ очертаніяхъ Бѣлинскій, можно сказать, не просто человѣкъ, а "учрежденіе", какъ говорили французы, съ другой точки зрѣнія, о Викторѣ Гюго. Существованіе такой личности, если хотите, прямо логически необходимо. Надо же имъть мъру вещей, надо имъть идеалъ, изъ котораго можно было бы исходить, произнося приговоры надъ литературными двятелями. Какъ мы будемъ требовать согласованія слова и дъла, проповъди и практики, если исторія литературы не дастъ намъживого примъра возможности такого согласованія? Долженъ же хоть на комъчносудь отдохнуть тотъ желчный пессимизмъ, то горькое и обидное чувство, которое назръваетъ въ историкъ литературы по мъръ того, какъ онъ ближе присматривается къ разнымъ установившимся литературнымъ репутаціямъ.

Бѣлинскій и есть эта мѣра вещей литературныхъ, этотъ абсолютно-чистый праведникъ, жизнь котораго показываетъ, что есть въ литературѣ пророки настоящіе и что достиженіе полнаго согласованія слова и дѣла не есть пустая химера. Вотъ почему, повторяю, никакъ нельзя ограничиться простымъ констатированіемъ того, что за годъ до "Литературныхъ мечтаній" и уже будучи авторомъ такого благороднѣйшаго произведенія, какъ "Дмитрій Калининъ", Бѣлинскій, какъ только жизнь поставила его въ непріятное для его самолюбія положеніе, позволиль себѣ такую элементарную непорядочность.

Но въ томъ-то и дело, что это отступление Белинскаго отъ правды было отступленіемъ только вившнимъ. По существу же это было не неправда, а именно правда, то, что въ возвышеннъйшихъ системахъ этики принято обозначать какъ pia fraus-благочестивый обманъ для блага другого. И можно съ особеннымъ душевнымъ удовлетвореніемъ остановиться на этой чисто-формальной лжи, потому что во всей жизни Бѣлинскаго было только два случая, когда онъ позволиль себф чисто-формально отступить отъ истины. Два случая въ теченіе 20 лѣтъ горькой и тяжкой нужды—кажется, такой человъкъ безъ всякой "партійной" натяжки могъ бы быть названъ праведникомъ даже тогда, если бы эти два случая были вызваны собственною выгодою. На самомъ же дѣлѣ Бѣлинскій въ обоихъ случаяхъ руководился не своею, а чужою выгодою, онъ щадилъ не свое, а чужое самолюбіе и чужое огорченіе. Одинъ разъ Бълинскій, тоже по собственному опредъленію, "солгалъ" въ 1843 году, когда, желая скрыть отъ пріятелей нѣкоторыя, какъ ему казалось, пошлыя воззрвнія своей неввсты, даль имъ другое объясненіе, а вотъ другой разъ онъ "дгалъ и лицемфрилъ" послф исключенія изъ университета. Но почему "лгалъ"? Изъ корысти, потому что зависвлъ отъ родителей, получаль отъ нихъ деньги и долженъ былъ бояться, что съ обнаружениемъ печальной истины лишится ихъ? Совсемъ напротивъ. Именно скрываніе-то и лишало его той ничтожной помощи, которую ему оказывали родители до тахъ поръ, какъ онъ поступилъ на казенный кошть. Онъ продолжаль считаться пребывающимь на казенномъ коштъ и, слъдовательно, продолжалось считаться, что онъ въ деньгахъ не нуждался. "Лгалъ" же Вълинскій и лицемърилъ исключительно потому, что ему жаль было стариковъ, жаль было лишать ихъ послъднихъ надеждъ. Чтобы ослабить ударъ, Бълинскій ръшилъ сообщить имъ печальную новость только тогда, когда дъла его примутъ хоть сколько-нибудь лучшій оборотъ. "При одной мысли (объ васъ),—пишетъ онъ матери,—сердце мое обливается кровью. Я потому такъ долго молчалъ, что еще надъялся хотя сколько-нибудь поправить свои обстоятельства, чтобы вы могли узнать объ этомъ хладнокровнъе... Я не щадилъ себя, употребилъ всъ усилія къ достиженію своей цълн, ничего не упускалъ, хватался за каждую соломенку и, претерпъвая неудачи, не унывалъ и не приходилъ въ отчаяніе—для васъ, только для васъ. Я всегда живо помнилъ и хорошо понималъ мои къ вамъ отношенія и обязанности, терпълъ все, боролся съ обстоятельствами, сколько доставало силъ, трудился и, кажется, не безъ успъха".

И, конечно, только сознаніе, что, по своимъ мотивамъ, такое "лганье" не унизительно, и дало Бѣлинскому нравственную увѣренность закончить письмо отцу слѣдующимъ образомъ: "Если это (псключеніе) васъ огорчить, то она одна моя мольба къ вамъ: ни слова въ упрекъ. Если я, болѣе или менѣе, былъ самъ причиною сего моего несчастья, то, повѣрьте, я съ лихвою наказанъ за это самимъ собою. Надѣюсь, что вы поймете меня. Я уже не мальчикъ и свой собственный судъ для меня всего страшнѣе".

А этотъ судъ былъ всегда неумолимъ. Самобичеваніе и недовольство собою составляетъ одну изъ наиболѣе трогательныхъ чертъ въ характерѣ Бѣлинскаго, и переписка его полна курьезнѣйшихъ самообвиненій. И тщеславенъ-то онъ, и недостаточно искрененъ, и духъ у него дряблый, и даже неспособенъ онъ всецѣло отдаться какой-нибудь идеѣ. "Бѣда только въ томъ,—писалъ онъ въ одномъ письмѣ 1837 года,—что идея не проникаетъ, не въѣдается, такъ сказать, въ сокровенные тайники моего бытія, не овладѣваетъ всѣмъ существомъ моимъ". Это онъ-то, неистовый Виссаріонъ, мало проникался идеею!

Я сейчасъ коснусь тёхъ совершенно мнимыхъ "послёдствій", которыя, по мнёнію враговъ Бёлинскаго, хватавшихся за каждый предлогъ чёмъ-нибудь его уязвить, повело за собой исключеніе его изъ университета. Но раньше отмёчу еще одинъ эпизодъ его студенческой жизни—его первое появленіе въ печати.

Это относится къ 1831 году, когда нѣкій кн. Д. В. Львовъ 1)

⁴⁾ Въ бывшихъ у А. Н. Пыппна, но не напечатанныхъ имъ письмахъ Бълинскаго, издателемъ называется какой-то Артемовъ. Но это имя въ «Листкъ» нигдъ не названо.

вздумалъ выпускать періодическое изданіе подъ заглавіемъ "Листокъ". Съ перваго взгляда "Листокъ" производилъ впечатлѣніе поразительнаго убожества. Представьте себѣ "листокъ" въ буквальномъ смыслѣ слова—2 страницы текста, ростомъ въ обыкновенный писчій листъ. Чрезъ нѣкоторое время форматъ и объемъ измѣнились, и "Листокъ" выходилъ 4 листками въ четверку. Состояли номера изъ какого-то невообразимаго мусора: какія-то описанія московскихъ улицъ и балагановъ, повѣсти, занимающія 2 столбца, шарады, анекдоты и т. п. Но вмѣстѣ съ тѣмъ общій тонъ этой скорѣе дѣтской забавы, чѣмъ дѣйствительнаго періодическаго изданія, былъ очень симпатиченъ. Такъ, одною изъ цѣлей "Листка" было взываніе къ благотворительности (см. № 10) и указываніе лицъ, которымъ надо пірійти на помощь. Одинъ изъ наиболѣе дѣятельныхъ сотрудниковъ "Листка"—другой кн. Львовъ, съ иниціалами В. С., писалъ такія стихи:

Сжальтесь, сжальтесь надъ убогимъ, Не отвергните его, Я доволенъ хоть немногимъ, Ломоть хлъбца мнъ всего.

Очень забавно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и очень симпатично по своимъ стремленіямъ другое произведеніе кн. В. С. Львова—"Картины изъ крестьянскаго быта",—имѣющее цѣлью показать, что и крестьянамъ доступны весьма нѣжныя чувства:

"Вы думаете, господа городскіе жители, что въ курной избѣ, куда сквозь маленькія нечистыя окна рѣдко проникаеть лучъ солнца, гдѣ живутъ по виду не люди, а варвары, какъ честятъ всѣ иностранцы и многіе русскіе православныхъ нашихъ, не можетъ родиться никакая страсть благородная? Ошибаетесь и очень ошибаетесь"!

И въ доказательство разсказывается исторія, какъ зачахла отъ любви деревенская дѣвушка, когда ея милаго забрили въ солдаты.

Рядомъ съ ничтожнѣйшими стишками, въ "Листкѣ" появились стихи "Съ Гейне" Н. Кирова (№ 17). Едва ли Гейне тутъ не впервые появляется въ Россіи и стихи выбраны не любовные, а тѣ, въ которыхъ юноша вопрошаетъ волны:

Скажите: къ чему все бытье человѣка? Откуда пришелъ онъ? Куда онъ идетъ? Кто тамъ въ высотѣ надзвѣздной живетъ?

Содержаніе "Листка" становилось все серьезнѣе и подъ конецъ 1)

⁴⁾ Всего вышло 49 номеровъ. «Листокъ» довольно неаккуратно выходилъ 2 раза въ недѣлю. Онъ прекратился въ іюлѣ. Въ инсьмѣ отъ 29 сентября

получаетъ литературный интересъ. Таковы, напр., довольно ядовитыя выходки противъ Полевого (№ 25—26), рецензіп, подписанныя иниціалами Π . C., театральныя рецензіп, подписанныя **, разборъ "Наложницы" Баратынскаго (№ 39) и др.

По странной проніп судьбы именно въ этомъ, въ общемъ, всетаки совершенно ничтожномъ "Листкъ" суждено было впервые явиться въ печати нъсколькимъ геніальнымъ писателямъ. Въ "Листкъ" напечатаны первыя стихотворенія Кольцова (Вздохъ на могилъ В—ва въ № 22, "Посланіе къ ***", въ № 39, и "Посланіе къ А—й", въ 42—43), одна изъ эпиграммъ, приписываемыхъ Лермонтову 1), и, наконецъ, первыя печатныя произведенія Бълинскаго—

АЛЬБОМЪ.

Первый блинъ, да комомъ!

Прошу не оскорбляться, почтенныя читальницы; я разскажу случай, который не могъ бы встрѣтиться въ хорошемъ обществѣ (курсивъ "Листка"); цѣль моя состоитъ въ томъ, чтобъ заставить васъ улыбнуться, а общество, въ которомъ это случилось, вѣрно, не одинъ разъ заставляловасъ не только улыбаться, но и смѣяться даже отъ добраго сердца!

Подражаніе губить людей такого тона: "У графини есть альбомъ—какъ мив не имвть?"—сказала Матрена Савишна, дввушка или, такъ сказать, барышня.—Купила альбомъ.—"Сдвлайте одолженіе, Николай Максимовичь, начните вы писать въ моемъ альбомв".—Долго отговаривался онъ, наконецъ, кто можетъ противъ власти женской? взялъ перо, чтобъ удовлетворить неотвязчивую Матрену Савишну, открылъ первый листъ и—пишетъ

Три граціи считались въ древнемъ мірѣ; Родились вы...

"Нѣтъ, полноте! зачѣмъ! уже это явная лесть!"— "Дайте кончить",—сказалъ хладнокровно избранный на важное начало, и продолжалъ:

Родились вы-все три, а не четыре!

Разумъется, что Николай Максимовичъ не могъ сказать начъ, чѣмъ наполнился послѣ альбомъ, онъ съ тѣхъ поръ не видалъ ни его, ни Матрену Савишну".

Изумленіе мое виолив понятно, потому что приведенное въ статейкв двустишіе принадлежить къ числу извъстивійшихъ эпиграммъ Лермонтова и помвицается во всёхъ изданіяхъ его стихотвореній безъ всякихъ оговорокъ и безъ всякихъ сомивній въ томъ, что эта удивительно тонкая насмышка,

¹⁸³¹ г. Бѣлинскій писалъ брату: "О "Листкѣ" не безпокойся. Многострадательный юноша кончилъ свою жизнь; великій мужъ помре вмалѣ... Вотъ уже болѣе двухъ мѣсяцевъ, какъ объ немъ нѣтъ ни слуху, ни духу". ("Рус. Ст." XV, стр. 64).

¹⁾ Знакомясь съ "Листкомъ," я быль не мало изумлень, наткнувшись на слъдующую статейку.

стихотвореніе "Русская Быль" (въ № 40—41, подпись $B. E-i\check{u}$) и маленькая рецензія (въ № 45, безъ подписи). И если еще прибавить, что цензуровалъ "Листокъ" Сергъй Аксаковъ, то букетъ получается замѣчательно литературный.

"Русская Быль" - произведение странное. Нельзя про него сказать,

дъйствительно, принадлежить ему. Болье точное разслъдование показываеть, что въ рукописяхъ Лермонтова эпиграммы нътъ и взята она всъми издателями изъ записокъ Хвостовой, гдъ разсказано вотъ что:

"Въ нашемъ обществъ была тогда одна барышня, сосъдка по чембарской деревнъ; она упрашивала Лермонтова не терять словъ для нея и написать ей на память хоть строчку правды для ея альбома. Онъ ненавидълъ попрошаекъ п, не имъя возможности отдълаться отъ ея настойчивости, сказалъ: "Ну, хорошо, дайте листокъ бумаги, я вамъ выскажу правду". Сосъдка принесла поскоръе бумаги и перо, онъ началъ:

Три грацін...

Барышня смотрѣла черезъ плечо на рождавшінся слова, и сказала: "Миханлъ Юрьевичъ, безъ комплиментовъ! Я правды хочу".—Не тревожьтесь, будеть правда", отвѣчалъ онъ и продолжалъ:

Три граціи считались въ древнемъ мірѣ, Родились вы... все три, а не четыре!

За такую сцену можно было бы илатить деньги; злое торжество Мишеля, душившій насъ смѣхъ и слезы восиѣтой,—все представляло комическую картину" ("Русск. Вѣст." 1857 г., т. V, стр. 402).

Признаться, первою моею мыслью при сопоставлении замѣчательнаго совпаденія статейки "Листка" съ этимъ мѣстомъ записокъ Хвостовой было то, что Хвостова вклеила въ нихъ ходячій анекдотъ. Отъ на. шихъ мемуаристовъ, а въ особенности мемуаристокъ это вполит станется. Въдь вставляла же Смирнова въ свои знаменитыя записки и пріурочила къ Пушкину десятки прямо дикихъ анахронизмовъ, физически немыслимыхъ, потому что они связаны съ событими, случившимися уже послъ смерти Пушкина. Въ данномъ случав однако такой физической невозможности нътъ. Дъло въ томъ, что осень холернаго 1830 года Лермонтовъ и его бабушка Арсеньева проводили въ Москвъ и въ подмосковной деревић Арсеньевой По вечерамъ у Арсеньевой, чтобы разсвять старуху. собиралось большое общество молодежи, развлекавшееся разными играми п забавами. На одномъ изъ этихъ вечернихъ собраній и произошла, по словамъ Хвостовой, описанная ою сцена. Возможно, что острота Лермонтова разнеслась по великосвътскимъ кружкамъ и дошла до князей Львовыхъ, которые и тиснули ее въ "Инсткв".

Для изследователей Пермонтова прибавимь, кстати, что злая шутка не всецело принадлежить ему. Она собственно представляеть собою переделку заключительных строкъ пошлаго мадригала, посвященнаго одной актрись поэтомъ Екатерининскихъ временъ Василіемъ Петровымъ:

Три граціи во всемъ считались мірѣ: Когда родилась ты—вдругь стало ихъ четыре.

(См. "Русск. Поэзію" подъ ред. Венгерова т. І, стр. 446).

что оно очень слабое, потому что недостатки его—болье нельная, чъмь дикая, кровожадность, которою оно проникнуто,—не могуть быть всецьло приписаны юному стихотворцу, явно впадавшему въ тонь, не имъ созданный. Но, конечно, еще менье можно его назвать сколько-нибудь удовлетворительнымъ. Трудно сказать, подражаніемъ чему именно является "Русская Быль". Русскія народныя пъсни никогда подобною кровожадностью не отличаются, да еще такою изысканною, чтобы подать измънниць на серебряномъ блюдь сердце убитаго соперника. Это ужасы вполнь романтическіе, плодъ недавняго чтенія и увлеченія кровавыми произведеніями эпохи, втиснутый внышнимъ образомъ въ рамки русскаго быта и изложенный русскимъ пьсеннымъ складомъ.

Зато рецензія очень интересна, показывая, что критическое чутье Бѣлинскаго уже вполнѣ созрѣло. Она трактуеть о "Борисѣ Годуновѣ" и вполнѣ соотвѣтствуетъ тому, что сообщаетъ Поповъ о замѣчательной перемѣнѣ къ лучшему въ эстетическихъ воззрѣніяхъ Бѣлинскаго, которую онъ не могъ не замѣтить, когда свидѣлся съ нимъ въ началѣ 1831 года. Будучи въ гимназіи, Бѣлинскій, "по лѣтамъ своимъ, еще не могъ отрѣшиться отъ обаянія первыхъ пушкинскихъ поэмъ и мелкихъ стиховъ. Непривѣтно встрѣтилъ онъ сцену: Келья въ Чудовомъ монастырть. Онъ и въ то время не скоро сдавался на чужое мнѣніе. Когда я объяснялъ ему высокую прелесть въ простотѣ, поворотѣ къ самобытности и возрастаніе таланта Пушкина, онъ качалъ головой, отмалчивался или говорилъ: "Дайте, подумаю; еще прочту".

Теперь, когда Поповъ, во время масляницы 1831 года, свидълся съ Бълинскимъ, тотъ же "Борисъ Годуновъ" явился наибольо яркимъ показателемъ его духовнаго роста. "Я увидълъ большую перемъну въ Бълинскомъ. Умъ его возмужалъ; въ замъчаніяхъ его проявлялось много истины. Тамъ прочли мы только что вышедшаго тогда (въ полномъ составѣ) "Бориса Годунова". Сцена "Келья въ Чудовомъ монастыръ" на своемъ мъстъ, при чтенін всей драмы, показалась мив еще лучше. Бълинскій съ удивленіемъ замівчаль въ этой драм'в върность изображеній времени, жизни и людей; чувствовалъ поэзію въ пятистопныхъ безриеменныхъ стихахъ, которые прежде называлъ прозанчными, чувствовалъ поэзію и въ самой прозъ Пушкина. Особенно поразила его сцена "Корчма на литовской границъ". Прочитавъ разговоръ хозяйки корчмы съ собравшимися у нея бродягами, улики противъ Григорія и бъгство его черезъ окно, Бълинскій вырониль книгу изъ рукъ, чуть не сломалъ стуль, на которомъ сидвль, и восторжение закричаль: "Да это живые; я видьлъ, я вижу, какъ бросился онъ въ окно!" Въ немъ уже

проявился тотъ критическій взглядъ, который впослѣдствіи руководиль имъ при оцѣнкѣ сочиненій Гоголя".

Рецензія собственно не касается трагедін. Она высмѣиваетъ ничтожную брошюрку неизвъстнаго автора: "О Борисъ Годуновъ, сочиненін Александра Пушкина. Разговоръ. М. 1831". Но мимоходомъ рецензенть весьма ясно даеть понять, какого онъ высокаго мивнія о трагедін. Онъ проявляетъ тутъ полную самостоятельность, нападая на Полевого и слегка пронизируя надъ Надеждинымъ, тогда только что выступившимъ подъ псевдонимомъ Надоумки. Немногія строки о Надеждинь очень интересны какъ потому, что онъ мытко опредвляють духовную сущность Надеждина, лишеннаго глубокихъ убъжденій, такъ и потому, что онъ показывають, что еще студентомъ Бѣлинскій относился къ Надеждину съ достаточною дозою скептицизма. "Въ одномъ только Телескопт, —писалъ Бълинскій, — "Борисъ Годуновъ" былъ одененъ по достоинству. Известный г. Надоумко, который, въроятно, издателю этого журнала (т. е. Надеждину) не чужой и который некогда советоваль Пушкину сжечь Годунова, теперь сіе же самое твореніе взяль подъ свое покровительство. Но это сделано имъ, кажется, только для того, что онъ, г. Надоумко, какъ самъ признается, любитъ плавать противъ воды, идти наперекоръ общему голосу и вызывать на бой общее мнѣніе" ¹).

Чтобы покончить съ литературными дебютами Белинскаго, надо еще отмътить второе его появление въ печати-переводъ романа Поль-де-Кока "Магдалина", вышедшій 4 небольшими томиками. (М. 1833. Имя переводчика означено иниціалами В. Б.). Послъ исключенія изъ университета, Бѣлинскій бросался во всѣ стороны, ища заработка, и, между прочимъ, задумалъ перевести романъ Польде-Кока "Монфермельская молочница". Но его ждала неудача. "Къ Рождеству (1832 г.), --писалъ онъ роднымъ, -- съ великими трудами, просиживая иногда напролеть цёлыя ночи, а во время дня не слёзая съ мъста, перевелъ я (романъ), въ надеждъ пріобръсти рублей 300. Но фортуна и тутъ прежестоко подшутила надо мной: въ газетахъ было объявлено о другомъ переводъ сего самого сочиненія, и потому я едва-едва могу получить 100 руб ассиги. ". На самомъ дълъ онъ, въроятно, и 100 р. не получиль, потому что "Монфермельская молочница" имъется только въ одномъ переводъ, и его переводъ издателя не нашелъ. Неудача, однако, не обезкуражила Бълинскаго, онъ засълъ за новый романъ того же Поль-де-Кока, который ему далъ 200 p.

⁴⁾ Невходившая прежде въ собр. соч. Бѣлинскаго первая рецензія его вошла въ I т. моего изданія.

Въ своихъ ("Москов. Вѣд.", 1898), писаніяхъ по поводу юбилея Бѣлинскаго г. Медвѣдскій не преминуль ядовито отмѣтить, что вотъ, молъ, "либералы" доказываютъ, что Бѣлинскій такой, сякой, хорошій, да благородный, а между тѣмъ онъ насадилъ въ русской литературѣ поль-де-коковщину. Если бы г. Медвѣдскій чуточку получше зналъ Бѣлинскаго, онъ могъ бы напитать свои стрѣлы еще большимъ ядомъ. Я ему великодушно приду на помощь и приведу нѣсколько строкъ изъ отзыва самого же Бѣлинскаго о томъ писателѣ, распространенію котораго онъ посвятилъ первое напряженіе духовныхъ силъ. Два года послѣ выхода "Магдалины" Бѣлинскій писалъ въ "Телескопѣ":

"Передо мною лежить романь Поль-де-Кока "Сынь моей жены", перелистываю его съ разстановкою и трепещу при мысли, что это подлое и гадкое произведение можеть быть прочтено мальчикомь, дъвочкой и дъвушкой; трепещу при мысли, что Поль-де-Кокъ почти весь переведень на русскій языкъ и читается съ услажденіемъ всей Россіей".

Въ другой рецензіи того же времени онъ называетъ Поль-де-Кока "корифеемъ кабаковъ и лакейскихъ", пишущимъ для "любителей неблагопристойныхъ сочиненій" и т. д. Правда, чрезъ нѣсколько лѣтъ Бѣлинскій значительно измѣнилъ свой взглядъ на Поль-де-Кока, называлъ его Теньеромъ и даже сближалъ съ Беранже. Но сейчасъ, для опредѣленія чисто-нравственной стороны положенія, имѣетъ значеніе только взглядъ Бѣлинскаго, хронологически наиболѣе близкій къ тому времени, когда онъ выпустилъ переводъ "Магдалины". Сознаюсь откровенно, подчеркиванія г. Медвѣдскаго меня смутили не мало. Говоря словами сейчасъ приведенной рецензіи, всякій поклонникъ Бѣлинскаго и его великаго сердца не можетъ не "трепетать при мысли, что подлыя и гадкія произведенія" Поль-де-Кока вошли въ литературный обиходъ, между прочимъ, при содѣйствіи "неистоваго Виссаріона".

Смущеніе, однако, прошло совершенно безслѣдно, какъ только я приступилъ къ непосредственному разслѣдованію литературнаго проступка Бѣлинскаго, т. е. началь читать самый corpus delicti—"Магдалину". Рекомендую г. Медвѣдскому сдѣлать то жэ самое, и онъ убѣдится, что и этотъ маленькій козырь въ пгрѣ противъ Бѣлинскаго (вѣдь въ концѣ концовъ нравственный типъ человѣка не можетъ же считаться установившимся въ такіе молодые годы) придется ему выпустить изъ рукъ. Изъ этого испытанія Бѣлинскій выходить все тѣмъ же рыцаремъ безъ страха и упрека, не имѣющимъ на своей репутаціи ни одного, самомалѣйшаго пятнышка.

Первый разъ въ жизни пришлось мив читать Поль-де-Кока,

въ наше время совершенно забытаго, а нѣкогда, наравнѣ съ Дюма, всеобщаго любимца. Его читалъ даже столь далекій отъ литературы Чертопхановъ, соединившій всѣ доступныя ему пріятности жизни въ одно представленіе:

Хлопъ въ лобъ, въ потолокъ, Ай-да шельма Поль-де-Кокъ.

Я зналъ и теоретически, по разнымъ критическимъ статьямъ, что "подлость" и "гадость" произведеній Поль-де-Кока очень относительны и сводятся, большею частью, къ разстройству желудка. Но все-таки чтеніе "Магдалины" привело меня въ совершенное изумленіе, въ данномъ случав, конечно, чрезвычайно пріятное. "Грязи" въ смыслъ эротическомъ въ немъ нътъ и слъда. Во всемъ романъ есть единственная глава, посвященная щекотливому предмету-, паденію " нъкой маркизы Эрнестины. Но и эта глава обрывается на томъ, какъ будущій любовникъ уговариваетъ маркизу провожать соседей и затъмъ они одни возвращаются домой. Нътъ даже простого многоточія, которое принято ставить въ этихъ случаяхъ. Не только по сравненію съ французскими натуралистами последнихъ десятилетій, но даже по сравненію съ русскими писателями эта самая рискованная глава есть олицетвореніе скромности. Смёшно ее даже сравнивать съ "паденіемъ" Елены въ "Наканунъ" или Въры въ "Обрывъ". А собственно "польдекоковщина" въ "Магдалинъ" сводится къ нъсколькимъ эпизодамъ въ излюбленномъ стилъ французской юмористики: гризетки объблись пряниковъ и внезапно должны спасаться въ кусты; близорукій господинь, вмёсто разсыпавшихся боченковъ отъ лотто, подбираетъ съ земли остатки отъ прохожденія мимо того мъста, гдъ онъ шарилъ, нъсколькихъ козъ; одна старушка, всегда имъющая при себъ "свою добрую пріятельницу"--клистирную трубку, попадаеть въ неловкое положение въ присутствии нъкоего молодого человѣка-вотъ и все "грязное" въ романъ. Не скажу, чтобы все это было очень "чисто", эстетично и даже просто забавно. Но всетаки смію думать, переводь таких невинных вещей, инчего не прибавляя къ лаврамъ Бѣлинскаго, ровно ничего не прибавляетъ п къ лаврамъ г. Медвъдскаго, и безъ того уже блистательно доказавшаго, что Бълинскій-величина, не по заслугамъ раздутая "либералами". Къ тому же въ общемъ составъ романа "польдекоковщина" занимаеть не болье трехъ, четырехъ главъ. Остальное представляеть собою типичивйшій романь добраго стараго времени-"правоучительный и длинный": порокъ наказывается, добродътель вознаграждается и торжествуетъ, устранвается свадьба, отецъ находить свою дочь, симпатичная крестьянка оказывается графиней и т. д. Главное двиствующее лицо, по имени котораго названъ романъ, - воснитанная крестьянкой, а на самомъ дѣлѣ дочь графа Магдалина есть олицетвореніе великодушія и самоножертвованія, и романъ кончается ея словами: "Всѣ, которыхъ я люблю, счастливы, значитъ, и я счастлива".

Я не считаль, конечно, нужнымъ заняться изслъдованіемъ того, занимаетъ ли "Магдалина" въ ряду романовъ Поль-де-Кока исключительное положеніе или же остальные его романы тоже въ этомъ родъ. Интересуетъ меня не авторъ, а перевсдчикъ. Весьма даже возможно, что переводчикъ многое выбросилъ. Но какъ бы то ни было, въ томъ видъ, въ какомъ вышла "Магдалина" на русскомъ языкъ, нътъ надобности слъдовать совъту Бълинскаго, который даже въ позднъйшей статъъ, относящейся довольно благосклонно къ Польде-Коку, какъ върному бытописателю мелкой парижской жизни, всетаки прибавляетъ: "Горе безпечному отцу, который не вырветъ изъ рукъ своего сына-мальчика романа Поль-де-Кока; горе неосторежной матери, которая дастъ его въ руки дочери". Кто, зная Поль-де-Кока по его веселой репутаціи, возьметъ русскій переводъ "Магдалины", очень и очень разочаруется и будетъ жестоко скучать.

Бълинскаго исключили изъ университета. Хотя и незаконно, съ нелъпъйшей мотивировкой и по существу только за то, что онъ написаль протестующую драму, но все-таки исключили, и враги Бълинскаго имъли пріятную возможность называть его недоучкой. "Литературныя петербургскія знаменитости", —разсказываеть Панаевъ, смотръли на Бълинскаго съ высоты своего величія. Онъ не удостоивали замвчать его, или отзывались о немъ, какъ о нагломъ, недоучившемся студенть, который осмъливается посягать на въковыя славы". Недоучившійся студенть! Забавно, что это требованіе диплома исходило изъ сферъ, гдъ университетскій дипломъ составляль величайшую редкость. Изъ петербургскихъ знаменитостей ихъ имели только два профессіональныхъ ученыхъ-профессора Плетневъ и Сенковскій. Остальные учились кто гдь: эльйшій ненавистникъ Бьлинскаго-кн. Вяземскій получиль домашнее воспитаніе, Жуковскій не пошель дальше московскаго университетскаго пансіона, такъ же какъ и сверстники его по этому пансіону и по принадлежности къ петербургскимъ литературно-административнымъ высотамъ-Блудовъ, Дашковъ, Воейковъ, Уваровъ и др.; Гречъ окончилъ юнкерское училище, Булгаринъ-кадетскій корпусь и т. д. Если бы "недоучившійся студентъ" былъ человъкъ почтительный и скромный, уважалъ бы литературные авторитеты, старался бы показать, въ чемъ величіе нашихъ блистательныхъ одописцевъ блистательнаго вѣка Екатерины и другихъ мнимыхъ "въковыхъ славъ", а наипаче ихъ преемниковъсовременныхъ генераловъ отъ литературы, никто бы, конечно, и справляться не сталь, доучился или не доучился панегиристь. Однако, что этотъ недоучившійся, "наглый" студентъ писаль блестящимъ, пламеннымъ слогомъ, что у него свътлая голова, ясный умъ и тонкое литературное чутье-это всв сразу почувствовали, какъ только "недоучка" напечаталъ въ 1834 г. "Литературныя мечтанія". Не было даже недостатка въ попыткахъ залучить къ себъ грядущую крупную литературную величину. Какъ ни дружилъ въ началѣ своей издательской діятельности Краевскій съ старымъ литературнымъ покольніемъ, однако, звалъ къ себь Бълинскаго еще въ 1837 г., еще до того, какъ издательскій нюхъ подсказаль ему окончательно перейти на сторону новаго движенія и отдать пріобратенныя имъ "Отеч. Зап." въ распоряжение московского кружка возбужденной молодежи, зараженной безпокойнымъ духомъ анализа и всякаго исканія. Мечталъ залучить къ себт въ "Современникъ" "недоучившагося студента" и Пушкинъ, главный представитель той литературной аристократін, которую такъ разозлиль Бѣлинскій. Такимъ образомъ, на практикт "петербургскія знаменитости" нимало не пренебрегали "недоучившимся студентомъ". Все дѣло было въ томъ, чтобы приручить его.

Но въ томъ-то и дело, что этого "чудака", какъ его называлъ Гоголь, было ужасно трудно приручить. Чёмъ кончились бы переговоры съ Пушкинымъ, если бы они не прервались смертью поэта, сказать трудно, но исторія попытки Краевскаго залучить Белинскаго въ "Литер. прибавл. къ Русск. Инвалиду" на-лицо 1). Въ частной жизни скромный и конфузливый, какъ институтка, "чудакъ" былъ невыносимо упрямъ, резокъ и колючъ, какъ только дело касалось его литературныхъ убъжденій, и ни на мальйшій компромиссь не соглашался. Нищій въ буквальномъ смыслѣ слова, онъ поставилъ Краевскому такія суровыя требованія полной независимости и права расправляться по-своему съ темп, которыхъ онъ не считалъ нужнымъ щадить, что дёло разстроилось. Матеріальныя условія онъ принималь всякія. Но по отношенію къ тому, что онъ самъ называлъ своею "литературною совъстью", онъ былъ непреклоненъ. Возобновляя черезъ 2 года послѣ первой неудавшейся попытки переговоры съ Краевскимъ, онъ писалъ Панаеву: "Моя литературная совъсть для меня такъ дорога, что во всемъ Петербургъ нътъ и приблизительной суммы для ея купли. Если дело дойдеть до того, что мив скажуть: независимость и самобытность убъжденій, или голодиая смерть-

¹⁾ Относящаяся сюда переписка, уже бывшая въ рукахъ А. Н. Иыпина, цъликомъ напечатана въ "Отчетъ Ими. Публич. Библ." за 1889 г.

у меня достанеть силы скоръе издохнуть, какъ собака, нежели живому отдаться на позорное съъденіе псамъ... Что дълать—я такъ созданъ".

Это писалось въ моментъ, когда Бѣлинскому въ полномъ смыслѣ слова предстояло "издохнуть" съ голоду: онъ не только заработка тогда не имѣлъ, но и съ ближайшими друзьями разсорился и уходилъ въ одну дверь, когда они входили въ другую.

Съ такимъ человъкомъ трудно было справиться. Ясно чувствовали всъ, задътые имъ, страшную убъжденность и отсюда убъдительность его писаній. Надо было поэтому уязвить чёмъ-нибудь совершенно постороннимъ, къ дълу никакого отношенія не имъющимъ-пріемъ, который уже былъ приміненъ къ предшественнику Бълинскаго на поприщъ самостоятельной критики-Полевому. Пока Полевой никого не задъваль, ему покровительствовали, какъ дълающему честь русскому уму "самородку", а какъ только онъ показалъ зубы, онъ тотчасъ изъ "самородка" былъ переведенъ въ "самоучку". Бълинскій быль окрещень "недоучкой", точно это въ чемъ-нибудь ослабляло значеніе и силу высказываемыхъ имъ воззрѣній. Благо бы еще его назвали невъждой -- это было бы вздоромъ по существу, но имело бы свою логическую стройность. Но въ томъ-то и дело, что Балинскаго, при всей злобъ его литературныхъ враговъ, ни одного раза не уличили въ какомъ бы то ни было промахѣ или ошибкъ. У него не мало отдъльныхъ мелкихъ промаховъ, но въ общемъ Бълинскій писаль только о томъ, что зналъ превосходно, и только послѣ того, какъ обслѣдуетъ предметъ обстоятельнѣйшимъ образомъ. Если онъ чего самъ не зналъ, то замучитъ разспросами друзей, служившихъ для него ходячими справочными книгами, а уже добьется твердаго и опредвленнаго ответа, за который уже готовъ былъ голову положить на плаху. Бѣлинскаго справедливо упрекали въ томъ, что онъ повторялся. Это именно потому, что такъ прочно быль обосновань фундаменть, на которомь онь строиль свое міросозерцаніе.

Въ виду пошлости такого пріема, какъ отдѣлываться эпитетомъ "недоучка" въ борьбѣ съ человѣкомъ, который вамъ ясно, опредѣленно и фактически обоснованно приводитъ свои доводы, не стоило бы и останавливаться на вопросѣ, доучился или не доучился Бѣлинскій. Но просто для точности я приведу нѣсколько соображеній въ доказательство того, что все, что можно было извлечь изъ университета, Бѣлинскій извлекъ изъ него въ три года своего студенчества, хотя экзамена и не держалъ, къ которому, однако, готовился, "какъ чортъ". Если мы обратимся къ воспоминаніямъ дипломныхъ сверстниковъ Бѣлинскаго, то увидимъ, что вся польза университетскаго пре-

подаванія того времени заключалась исключительно въ возбужденіи интереса къ высшему знанію и въ накоторой выучка пріемамъ самостоятельнаго изследованія и мышленія. Лучшимъ студентамъ университеть даваль только то, что можно назвать развитиемъ. Константинъ Аксаковъ былъ не просто образованный человъкъ, а ученый, магистръ, одинъ изъ творцовъ философіи русской исторіи, и онъ прямо сознавался, что въ смыслъ запаса знаній ровно ничьмъ не обязанъ московскому университету. Грановскій, окончивъ петербургскій университеть, быль послань за границу, и когда приступиль къ занятіямъ въ берлинскомъ университеть, то первое чувство, которое онъ испыталь, было чувство ужаса и желаніе отказаться отъ ученой карьеры: онъ увидёлъ, что русскій университеть ему ничего не далъ и что ему надо не "совершенствоваться", а засъсть за азбуку. То же самое было съ Тургеневымъ. "Я слушалъ въ Берлинв, -- говоритъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ, - латинскія древности у Цумпта, исторію греческой литературы у Бека, а на дому принужденъ былъ зубрить латинскую грамматику и греческую. И я быль не изъ худшихъ кандидатовъ". А кромъ того, онъ поступилъ въ университетъ почти 10 годами позже Бълинскаго, и за это время уровень университетскаго преподаванія нашего чрезвычайно повысился. Обзоръ университетского преподаванія начала 30-хъ годовъ, данный въ предыдущихъ главахъ, имълъ цълью выяснить, что, оставайся Бълинскій еще нъсколько времени въ университеть, онъ мого бы извлечь пользу только изъ лекцій четырехъ профессоровъ-Павлова, Надеждина, Шевырева и Давыдова. Но какой же самый придирчивый врагъ Бѣлинскаго ръшится отрицать, что курсь этихъ-то профессоровъ, путемъ чтенія и изученія предмета, Бълинскій зналь превосходно, первоклассно. Общее понятіе о философін, надеждинскую эстетику, исторію русской литературы, теоретическое обоснованіе русской грамматики-блистательное знаніе всего этого Бълинскій съ первыхъ же шаговъ на литературномъ поприщъ проявилъ не какъ ученикъ, а какъ учитель. Уже въ "Литературныхъ мечтаніяхъ" онъ является однимъ изъ наиболье блестящихъ популяризаторовъ шеллингіанства, превосходнайшимъ знатокомъ псторіи русской литературы, человакомъ, имъющимъ отчетливъйшее представление о ходълитературы всемирной и стоящимъ вполнѣ на высотъ новъйшаго пониманія вопросовъ эстетики. Какъ извъстно, очень многіе думали, что "Литературныя мечтанія" написаны Надеждинымъ, а когда убъдились, что статья на самомъ дълъ написана Бълинскимъ, то утверждали, что она по своимъ основнымъ взглядамъ, по обилію фактовъ и по блеску литературноэстетическихъ знаній заимствована изъ курса Надеждина. Опять-таки не стану теперь останавливаться по существу на вопросф о заимствованіяхъ Бѣлинскаго изъ Надеждина (ср. выше стр. 324). Отміну только, что это общее убѣжденіе, что статья написана Надеждинымъ, избавляетъ отъ всякой необходимости приводить дальнівйшія доказательства, что Бѣлинскій доучился, что всю ту пользу, которую можно было извлечь изъ университетскаго преподаванія, онъ исчерпаль до дна. И не величайшій ли это комизмъ называть "недоучкой" человѣка, первое же выступленіе котораго со статьей, затрогивавшей важнѣйшіе научно-литературные вопросы, дало поводъ смѣшать его съ самымъ ученымъ, съ самымъ блестящимъ по эрудиціи и философскому образованію профессоромъ?

Вся дальнѣйшая литературная дѣятельность "недоучившагося студента" тоже тѣснѣйшимъ образомъ соприкасается именно съ наукою и является теоретическою и практическою проповѣдью важности и необходимости научнаго мышленія. Вѣлинскій создалъ исторію русской литературы, которая до него прямо не существовала; Бѣлинскій привель въ общее сознаніе начала научно-обоснованной эстетики, Вѣлинскій въ умахъ большой публики поставилъ на царственную высоту философію, которая прежде считалась достояніемъ однихъ семинаристовъ; наконецъ, въ своемъ преклоненіи предъ наукой онъ дошель до того, что провозгласилъ науку "пѣстуномъ искусства" и утверждалъ, что "безъ науки немощно вдохновеніе, безсиленъ талантъ". (Конецъ статьи 1842 г. о Баратынскомъ 1).

³⁾ Настоящею главою заканчивается первая часть моего изслѣдованія, напечатанная въ "Русск. Богатствъ" въ 1898 г. Съ тѣхъ поръ предпринятое мною изученіе дѣятельности Бѣлинскаго значительно подвинулось впередъ въ примѣчаніяхъ къ выходящему подъ моею редакцією съ 1900 г. полному собранію сочиненій Бѣлинскаго. Въ вышедшихъ покамѣстъ VIII томахъ комментаріи доведены до 1843 г. и занимаютъ уже больше 40 листовъ. Съ окончаніемъ изданія комментаріи п біографическія данныя будутъ сведены въ отдѣльное сочиненіе.



ПЕРЕДОВОЙ ВОЕЦЪ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА.

(Константинъ Аксаковъ).



Передовой боецъ славянофильства.

(Константинъ Аксаковъ).

I.

Сначала нъсколько біографических свъдъній о немъ.

Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ былъ старшій сынъ Сергѣя Тимофеевича Аксакова и его жены—Ольги Семеновны, урожденной Заплатиной. О Сергѣв Тимофеевичв, отъ котораго страстно любившій его первенецъ наслѣдовалъ размахъ таланта и нравственную
чистоту, будетъ еще рѣчь въ ІІІ т. настоящихъ "Очерковъ". Что
касается матери, то она тоже не совсѣмъ обыденная женщина, по
крайней мѣрѣ по происхожденію. Отецъ ея былъ Суворовскій генералъ, а мать—плѣнная турчанка Игель-Сюмъ. И, можетъ быть, этато примѣсь восточной крови сообщила обоимъ знаменитымъ внукамъ
турчанки—Константину и Ивану Сергѣевичамъ ту страстность и ту
энергію, которую едва ли они могли унаслѣдовать отъ магкаго и
добродушнаго Сергѣя Тимофеевича.

Внѣшній очеркъ жизни Константина Сергѣевича не сложенъ. Родился онъ 29 марта 1817 года въ селѣ Аксаковѣ бугурусланскаго уѣзда, Оренбургской губерніи. Аксаково есть то самое Багрово, которое такими привлекательными красками описано въ "Семейной Хроникѣ". Здѣсь К. С. прожилъ до девяти лѣтъ, находясь въ постоянномъ общеніи съ багровскими крестьянами, которые, благодаря благодатнымъ климатическимъ условіямъ богатаго сренбургскаго края, въ интеллектуальномъ и нравственномъ отношеніи стояли выше забитаго крестьянства другихъ частей Россіи. И такъ какъ Константинъ Сергѣевичъ отличался необыкновенно раннимъ умственнымъ развитіемъ, то нѣтъ сомнѣнія что первыя идиллическія условія, среди которыхъ прошло дѣтство будущаго восторженнаго проповѣдника необходимости единенія интеллигенціи съ народомъ, не оста-

лись безъ вліянія на оптимистическій взглядъ его на возможность этого единенія.

Первымъ наставникомъ и духовнымъ руководителемъ Константина Аксакова былъ самъ Сергъй Тимофеевичъ, не мало содъйствовавшій его раннему восторженному отношенію къ русской литературъ. Но не особенно долго длилось это руководительство. Уже въ 1832 году пятнадпатильтній юноша поступаетъ на словесный факультетъ московскаго университета и попадаетъ въ умственныя теченія, весьма мало похожія на тѣ, въ которыя его могъ ввести застрявшій въ путахъ условнаго классицизма и мелкихъ театральныхъ интересовъ Сергъй Тимофеевичъ.

Намъ нѣтъ надобности останавливаться здѣсь на характеристикѣ студенческаго періода жизни Константина Аксакова. Она дана выше въ статьѣ о закадычномъ до поры, до времени другѣ его Бѣлинскомъ, вмѣстѣ съ которымъ онъ является однимъ изъ столповъ кружка Станкевича (см. выше, стр. 248 и дальше). И намъ остается только отмѣтить непосредственныя отношенія къ кружку Станкевича Константина Аксакова.

Въ тѣ годы (1833—1840), когда Константинъ Аксаковъ, находясь подъ неотразимымъ обаяніемъ высокой душевной красоты Станкевича и страстныхъ порывовъ къ свѣту Бѣлинскаго, шелъ рука объ руку съ людьми, съ которыми впослѣдствіи вступилъ въ ожесточеннѣйшую борьбу, онъ тоже съ фанатическимъ увлеченіемъ предался изученію нѣмецкой философіи вообще и Гегеля въ частности.

Въ ряду московскихъ энтузіастовъ гегеліанства одно изъ первыхъ мѣстъ по силѣ увлеченія ученіемъ берлинскаго философа занималъ Константинъ Аксаковъ, страстная натура котораго не умѣла ничего дѣлать на-половину. Гегеліанство, впрочемъ, настолько прочно въ немъ засѣло, что еще долго послѣ того, какъ онъ совершенно разошелся съ друзьями по кружку Станкевича и съ такимъ же пыломъ боролся съ ними, съ какимъ нѣкогда шелъ заодно, онъ все-таки не могъ отдѣлаться отъ схемы творца діалектической философіи. Такъ, дальше мы увидимъ, что магистерская диссертація Константина Аксакова, относящаяся къ 1846 г., т. е. къ тому времени, когда онъ уже былъ однимъ изъ передовыхъ застрѣльщиковъ славянофильства, является по основной задачѣ своей не болѣе, какъ иллюстраціей къ ученію Гегеля о смѣнѣ историческихъ эпохъ и наслоеній.

Если мы вспомнимъ эпизодъ преклоненія московскихъ гегеліанцевъ передъ "разумною дъйствительностью" (см. выше стр. 254—256), то увидимъ, что между фанатическою преданностью основамъ русской жизни, которою знаменуется общественное міросозерцаніе Кон-

стантина Аксакова въ 40-хъ и 50-хъ годахъ, и общественными взглядами кружка Станкевича по существу разницы не было. Но темъ не мене, самъ же Константинъ Аксаковъ, составляя въ 1855 г. свои "Университетскія воспоминанія", гдь онь, между прочимь, довольно подробно распространяется о кружкѣ Станкевича, говорить о своемъ пребываніи въ немъ, какъ о фазись, давно пережитомъ. Эта постановка совершенно правильна, потому что, избъгая "либеральничанія и фрондерства", по выраженію К. Аксакова, кружокъ Станкевича, однако же, представляль собою во всёхъ отношеніяхъ оппозиціонное явленіе: начиная съ внішней формы собранія кружка этихъ скромныхъ сходбищъ, гдв почти никогда не пили вина и истребляли только огромное количество чая и булокъ, и кончая способомъ выраженій, которому давали тонъ "буйныя річи" Білинскаго, тогда-то и получившаго отъ пріятелей прозвище "неистоваго Виссаріона". Такъ вотъ, начиная съ этой истинно-демократической, несмотря на присутствіе многихъ баричей, внёшности собранія кружка и кончая юношески-страстными дебатами, все въ кружкъ дышало тою свободою отношеній къ обсуждаемымъ предметамъ, о которой не было н помину въ аристократическомъ академизмъ позднъйшихъ друзей Константина Аксакова—славянофиловъ. И затъмъ: "Университетскія воспоминанія", сейчась названныя, прямо показывають, что, при всей своей преданности главнымъ основамъ русской жизни, члены кружка по множеству частныхъ вопросовъ держались направленія совсвиъ иного. Давая общую характеристику друзей своей ранней юности, К. Аксаковъ считаетъ возможнымъ сказать о нихъ следующее:

"Въ кружкѣ Станкевича (въ срединѣ 30-хъ годовъ) выработалось уже общее возрѣніе на Россію, на жизнь, на литературу, на міръ—возарѣніе, большею частью отрицательное".

Это отрицательное направленіе часто даже шокировало Аксакова, "русское" направленіе котораго ярко опредёлилось, по свидётельству Гильфердинга, еще тогда, когда ему было 9, 10 лёть. Съ болью сердечною вспоминаетъ Конст. Сергевичъ о нападкахъ членовъ кружка на многія частности тогдашнихъ порядковъ:

"Одностороннъе всего", говорить онъ, "были нападенія на Россію, возбужденныя казенными ей похвалами. Пятнадцатильтній юноша, вообще доврачивый и тогда готовый върить всему, еще многаго не передумавшій, еще ко многимь не уравнявшійся, ябыль поражень такимь направленіемь, имнъ оно часто было больно; въ особенности больны мнъ были нападенія на Россію, которую люблю съ самыхъ малыхъ льтъ. Но видя постоянный умственный интересъ въ этомъ обществъ, слыша постоянныя ръчи о нравственныхъ вопросахъ, я, разъ познакомившись, не могъ оторваться отъ этого кружка и ръшительно каждый вечерь проводиль тамъ".

Всего ярче отрицательное направленіе кружка выразилось въ вопросахъ чисто-литературныхъ. Вспомнимъ, въ самомъ дѣлѣ, что къ эпохѣ процвѣтанія кружка относится "Литературныя мечтанія" Бѣлинскаго, гдѣ съ такою безпощадною "дерзостью", по выраженію пришедшихъ въ ужасъ литературныхъ старовѣровъ, было провозглашено, что собственно никакой-то у насъ настоящей литературы и нѣтъ. Вспомнимъ затѣмъ то, что первые люди, которые прозрѣли, что въ лицѣ Гоголя народился геніальный писатель, были члены кружка Станкевича и Бѣлинскаго. Поклоненіе Гоголю находится въ непосредственной связи съ общимъ направленіемъ литер атурныхъ убѣжденій кружка, о которыхъ Аксаковъ сообщаетъ:

"Искусственность россійскаго классическаго патріотизма, претензін, наполнявшія нашу литературу, усплившаяся фабрикація стиховъ, неискренность печатнаго лиризма, все это породило (въ членахъ кружка) справедливое желаніе простоты и искренности, породило спльное нападеніе на всякую фразу и эффектъ".

И если въ заключение мы обратимъ внимание на то, что, по словамъ К. Аксакова, подтверждаемымъ и всёми другими многочисленными данными о Станкевиче и его друзьяхъ, кружокъ "отличался самостоятельностью мнения, свободою отъ всякаго авторитета", то въ общемъ и выяснится решительно оппозиціонный характеръ его.

И вотъ почему отношенія между К. Аксаковымъ и его унпверситетскими товарищами, въ концъ концовъ, должны были порваться. Пока этотъ оппозиціонный характеръ быль присущъ кружку лишь implicite, пока одностороннее пониманіе формулы Гегеля приводило къ такимъ проявленіямъ, какъ статейка Бѣлинскаго о "Бородинской годовщинъ", К. Аксаковъ могъ идти рука объ руку съ будущими ожесточенными противниками своими. Но около 1840-1842 гг. целый рядъ обстоятельствъ приводитъ къ тому, что скрытый оппозиціонный духъ кружка переходить въ открытый. Умираетъ, во-первыхъ, Станкевичъ, мягкая натура котораго уравновѣшивала и сдерживала ръзкія выходки многихъ членовъ кружка. А затъмъ- самое главное-напболье близкій къ Канстантину Аксакову по кружку Станкевича человекъ -- Белинскій, добравшись въ статейке о "Бородинской годовщинъ до кульминаціоннаго пункта своего увлеченія правымъ гегеліанствомъ, круто поворачиваетъ въ противоположную сторону и съ такою же стремительностью начинаетъ произносить, говоря выраженіемъ К. Аксакова, "буйныя хулы" по адресу понятій, которыми еще не такъ давно восхищался. Не вытеривлъ этого Аксаковъ, все болве и болве начинавшій сближаться, послъ смерти Станкевича и отъезда Белинскаго въ Петербургъ (1839), съ Хомяковымъ и Кирфевскими, прежніе друзья обмфиялись ифсколькими ръзкими письмами и навъки разстались: К. Аксаковъ пошель направо, Бълинскій нальво. У каждаго изъ нихъ при этомъ сердце кровью обливалось. Нужно перечитать напечатанныя перво начально въ "Руси" 1881 г. письма Бълинскаго къ К. Аксакову (отъ 1837 г.), чтобы понять, какая горячая, истинно-братская привязанность соединяла обоихъ идеалистовъ. Но именно потому, что оба они были идеалисты, именно потому, что исканіе правды не было для нихъ высокопарною фразою, а насущною потребностью ихъ высокаго духовнаго существа, именно потому-то разрывъ между ними и сталъ неизбѣженъ, какъ только они стали разно понимать истину. "Я по натурѣ жидъ", писалъ Бѣлинскій по поводу своей ссоры съ Аксаковымъ, подразумъвая подъ этимъ словомъ человъка съ исключительными симпатіями, которому ненавистно все не свое, который не выносить ни мальйшаго компромисса съ "филистимлянами". Но такимъ же "жидомъ" по натуръ былъ и Константинъ Аксаковъ. Для него тоже не существовало истины вообще, онъ тоже понималъ только свою истину, только ту истину, которая окрашена въ любезный ему цвътъ, онъ тоже не понималъ какихъ бы то ни было компромиссовъ, уступокъ, соглашеній. И вотъ почему оба прежніе друзья играють одні и ті же роли въ тіхъ лагеряхъ, къ которымъ они окончательно примкнули послѣ разрыва. Съ тою же необузданностью, съ какою "неистовый Виссаріонъ" выступаеть передовымъ бойцомъ западничества, Константинъ Аксаковъ выступаетъ передовымъ застръльщикомъ славянофильства въ его наиболье крайнихъ проявленіяхъ. Онъ первый одъваеть мурмолку и первый же провозглашаетъ, что надо вернуться "домой", т. е. въ допетровскую Русь.

II.

Послѣ разрыва съ Бѣлинскимъ и вообще со старыми друзьями, жизнь Константина Аксакова, и до того бѣдная внѣшними событіями, окончательно укладывается въ тѣ рамки, въ которыхъ онъ ее проводитъ вплоть до самой своей смерти въ 1861 г. Оно и неудивительно, если вспомнить, до какой степени К. Аксаковъ былъ человѣкомъ не отъ міра сего и до какой степени онъ душой и тѣломъ ушелъ цѣликомъ въ книжныя занятія, въ чистую и исключительную сферу идей и теоретическихъ построеній, внѣ которыхъ для него почти ничего не существовало на свѣтѣ.

"Константинъ Аксаковъ", пишетъ Панаевъ съ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ, "въ житейскомъ, практическомъ смыслѣ оставался до сорока слишкомъ лѣтъ, то есть до самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ беззаботно всю жизнь провелъ подъ домашнимъ кровомъ и приросъ къ нему, какъ улитка къ родной раковинѣ, не понимая возможности самостоятельной жизни, безъ подпоры семейства. Внѣ своихъ ученыхъ и литературныхъ занятій, онъ не имѣлъ никакого общественнаго положенія. Смерть отца и происшедшая отъ этого перемѣна въ домашнемъ быту вдругъ сломила его несокрушимое здоровье. Онъ не могъ пережить этой потери и перемѣны, и умеръ не только холостякомъ, даже дѣвственникомъ".

При такомъ складъ жизни и отсутствіи личныхъ интересовъ, біографія К. Аксакова, главнымъ образомъ, есть исторія хода его литературнаго развитія, исторія его литературныхъ и ученыхъ работъ.

Начинается эта научно-литературная дѣятельность Аксакова еще на студенческой скамьѣ и—какъ оно вполнѣ приличествуетъ для такого энтузіаста и пламеннаго идеалиста—стихами. Уже на торжественномъ актѣ 1835 г. только-что окончившій курсъ 18-лѣтній кандидатъ читаетъ соотвѣтствующіе случаю стихи, впослѣдствін приведенные имъ въ "Университетскихъ воспоминаніяхъ". Вслѣдъ затѣмъ К. Аксаковъ принимаетъ довольно живое участіе (иной разъ подъ псевдонимомъ К. Эврипидинъ) въ тѣхъ журналахъ, въ которыхъ сотрудничалъ Бѣлинскій — "Телескопѣ", "Молвѣ", "Московскомъ Наблюдателѣ". Послѣдній журнальодно время (1838—1839 гг.) редактировался Бѣлинскимъ, и всѣ члены кружка Стапкевича дѣятельно въ немъ сотрудничали. Аксаковъ давалъ маленькія рецензіи и стихи, — по преимуществу переводы изъ Шиллера и Гете—двухъ поэтовъ, которыми онъ тогда бредилъ, именно потому, что они проповѣдывали общечеловюческіе идеалы.

Въ 1838 г. Аксаковъ повхалъ за границу. Но недолго пробылъ онъ тамъ. Полное неумвніе жить самостоятельно, черезъ пять мвсяцевъ пребыванія въ Германіи и Швейцаріи, погнало его обратно въ родимое гивздо, гдв на немъ не лежали прозаическія хлопоты жизни и гдв онъ могъ погрузиться въ любимыя занятія, не отягощая своихъ думъ такими трудными заботами, какъ прінскиваніе обѣда, уходъ за своимъ туалетомъ и т. д.

Съ поъздкой Аксакова за границу связанъ очень характерный разсказъ о томъ, какъ во время пребыванія въ Берлинъ онъ первый и послъдній разъ въ жизни пытался сблизиться съ женщиной.

Когда настоящая статья появилась въ нечати первый разъ (1887), этотъ эпизодъ былъ изложенъ нами такъ:

На перекресткъ одной изъ берлинскихъ улицъ обратила на себя вниманіе Аксакова молоденькая продавщица цвътовъ. Миловидное личико итмочки показалось ему отраженіемъ столь же привлекательной души. И. началъ онъ каждый день приходить на перекрестокъ и покупать по букету, отваживаясь при этомъ сказать продавщицъ нъсколько словъ о постороннихъ предметахъ. Продавщица ласково ему отвъчала и между ними установилась нъкоторая интимность. Ободренный молодой человъкъ началъ все дольше и дольше простанвать у прилавка продавщицы, началъ приносить Шиллера и читать изъ него наиболе возвышенныя и трогающія душу места. Нъмочка внимательно слушала и все болъе и болъе задумывалась во время чтенія. Восхищенный Аксаковъ съ восторгомъ наблюдаль это впечатление высокой поэзіи великаго поэта. Но воть въ одно изъ посъщеній цв точной лавочки продавщица ему прямо заявляеть, что Шиллерь Шиллеромь, а что онь ей отбиваеть покупателей, что объ его продолжительных в посещениях в много говорять сосъди и что если онъ хочетъ продолжать знакомство, то ей было бы желательно получать отъ него что-нибудь посущественные стиховъ, за что, въ свою очередъ, она, не требуя отъ него наложенія на себя брачныхъ узъ, готова всецъло отдаться въ его распоряжение. Въ ужась слушаль эти рычи упавшій съ неба прямо въ лужу идеалисть и въ ужасъ бъжалъ изъ цвъточной лавочки, и когда впослъдствін пріятели, узнавши отъ него въ минуту откровенности всю исторію, пробовали дразнить его ею, лицо Аксакова перекашивалось отъ внутренняго страданія.

Этотъ разсказъ въ настоящее время приходится признать легендою. Въ "Космополисъ" 1898 г. Г. Князевъ напечаталъ письма, которыя Аксаковъ писалъ изъ-за границы родителямъ и родственникамъ своимъ Карташевскимъ. Письма очень интересны для характеристики Аксакова. Опъ тутъ весь со своею безграничною любовью къ родителямъ, со своею безконечною безпомощностью въ практической жизни, всегда восторгающійся, всегда полный самыхъ высокихъ помысловъ. Характерны также письма для объясненія глубокоорганическаго предрасположенія К. Аксакова къ славянофильству. Любовь его ко всему русскому была прямо фанатическая и заграничная жизнь нимало его не захватила.

Онъ, конечно, восторгается многимъ: готическими церквями, картинными галлереями, горными ландшафтами Саксонской Швейцаріи, Фирвальдштедскимъ озеромъ и др. Но собственно заграничный бытъ, заграничные порядки, такъ глубоко повліявшіе на другихъ русскихъ путешественниковъ, на Тургенева, напр., не только совершенно не дъйствовали на міросозерцаніе Аксакова, а, напротивътого, еще укръпляли его любовь къ русскимъ формамъ жизни. Описывая отдъльныя проявленія нъмецкой образованности и культурности, онъ ни разу не вздохнетъ, не проведетъ параллелей съ рус-

ской дикостью, не подумаеть съ тоскою: да почему же у насъ этого нътъ? Совсъмъ наоборотъ, онъ во всемъ находитъ матеріалъ для того, чтобы восторгаться всемь русскимь, начиная съ русской взды и кончая вотъ какими областями національныхъ свойствъ: "Пруссаки народъ образованный, бодрый, но нють въ нихъ этого ума (!), этой силы, какая видна въ русскомъ народъ". "Все напоминаетъ", говорить онъ въ другомъ мъстъ, "что вы въ странъ образованной, въ странъ наукъ; особенно въ Берлинъ вы это чувствуете живъе; честь и слава нъмцамъ! Все, что дано имъ отъ природы, все развили они до высшей степени и продолжають развивать, но субстанція народа (говоря ихъ же выраженіемъ) ниже, гораздо ниже субстанціи русскаго народа. Другими словами: больше талантовъ дано русскому, нежели нѣмцу; но въ томъ и состоитъ заслуга и преимущество последняго, что опъ развилъ, обработалъ все, что дано ему. И однако, несмотря на то, сей чувствуеть разность въ субстанціяхъ этихъ двухъ народовъ, видна птица по полету: маленькій орленокъ-уже все не то, что выросшій коршунъ".

Уже съ первыхъ писемъ Аксаковъ рвется домой и еле-еле выдержалъ пять мѣсяцевъ, ограничившись Германіей и Швейцаріей и не порываясь даже въ Парижъ.

Въ частности по отношенію къ эпизоду, только что разсказанному, письма дѣлаютъ его совершенно невѣроятнымъ. Начать съ того, что (какъ видно изъ примѣчаній г. Князева къ письмамъ), Аксаковъ предпринялъ поѣздку, чтобы разсѣять сердечную тоску—онъ влюбился въ одну дальнюю родственницу, но не встрѣтилъ взаимности. Изъ писемъ ясно, что рана не зажила и что образъ любимой дѣвушки все время носился предъ нимъ. Возможно ли, поэтому, психологически, чтобы чуждавшійся женщинъ идеальный юноша такъ быстро и при томъ одновременно затѣялъ бы скольконибудь интимное новое сближеніе? Но главное—весь этотъ эпизодъ съ цвѣточницей фактически не могъ имѣть мѣста. Аксаковъ всего-то на всего въ Берлинѣ былъ четыре дня и все время бѣгалъ по музеямъ, а вечеромъ посѣщалъ театры. Въ другихъ городахъ онъ оставался еще меньше.

Но если мнимый эпизодъ съ берлинской цвѣточницей слѣдуетъ признать легендой, то все-таки и какъ выдумка онъ не теряетъ своего значенія въ біографіи К. Аксакова. Вотъ уже гдѣ можно сказать: si non e vero, е ben trovato. Разсказъ, во всякомъ случаѣ, ярко характеризуетъ, какое представленіе имѣли объ Аксаковѣ въ литературныхъ кружкахъ.

Въ 1847 г. Аксаковъ защитилъ диссертацію о Ломоносовѣ, представленную имъ для полученія степени магистра русской словесности. Диссертація была изготовлена гораздо раньше, но при печатанін уже разъ пропущенной цензурой книги встрѣтились неожиданныя цензурныя препятствія. Нѣкоторыя выраженія о Петрѣ и "петербургскомъ періодѣ" показались слишкомъ рѣзкими, и книгу пришлось перепечатывать.

Гораздо болье трудныя цензурныя препятствія, и на этоть разь даже непреодолимыя, встрътилъ К. Аксаковъ въ началъ 50-хъ годовъ при печатаніи нікоторыхъ изъ его статей въ "Московскомъ Сборникъ". Изданіе "Московск. Сборника" было предпринято славянофильскимъ кружкомъ еще въ 1846 г. Въ вышедшемъ тогда томѣ К. Аксаковъ, подъ псевдонимомъ Имрека, помъстилъ обширную критическую статью, съ которой мы познакомимся дальше. Когда въ 1852 г. "Сборникъ" возобновился, Аксаковъ далъ для него статью "О родовомъ бытъ у славянъ вообще и у русскихъ въ частности". Но приготовленная имъ для следующаго тома "Моск. Сборника" (1853 г.) статья о "Богатыряхъ князя Владиміра" своевременно свъта не увидъла и была напечатана только въ новое царствованіе. Вызванная ею буря не должна насъ удивить, если вспомнить эпоху, къ которой она относится. 1853 годъ принадлежить къ знаменательному семильтію 1848—1855 гг., такъ характерно завершающему собою дореформенную эпоху. Извъстно, что революціонный ураганъ, пронестійся надъ Европою 1848 года, но оставившій совершенно въ сторонъ Россію, вызваль, темь не мене, у нась рядь мерь, которыя уже чрезь нъсколько лътъ, когда новое царствование замънило въяния недовърія къ общественнымъ силамъ теченіями иного характера, казались невъроятными до анекдотичности. Не станемъ здъсь сколько-нибудь подробно останавливаться на подробностяхъ этого семильтія, потому что о немь въ общихъ чертахъ была рычь выше (см. стр. 26-33) и еще будеть обстоятельная ръчь во II томъ настоящихъ "Очерковъ". Отмътимъ только двъ, три детали, непосредственно касающіяся Константина Аксакова.

Желая слиться съ народомъ не только духовно, но и наружно, К. Аксаковъ рѣшилъ, что ему слѣдуетъ принять и внѣшній народный обликъ. Для этого онъ одѣлъ на голову мурмолку, нарядился въ рубашку съ косымъ воротомъ 1) и отпустилъ бороду. Въ послѣднемъ до 1848 г. ничего предосудительнаго не видѣли. Но почти съ пер-

^{&#}x27;) Въ "Однодворцѣ Овсявниковѣ" Тургеневъ въ лицѣ одѣтаго "ио-русски" Любозвонова вышутилъ К. Аксакова. Ср. переписку Аксаковыхъ въ "Русск. Обозр." 1894, № 8, и статью В. Шенрока "С. Т. Аксаковъ и его семья" въ "Жур. Мин. Нар. Пр." 1904, № 12, стр. 340.

выми же въстями о февральскихъ, мартовскихъ и прочихъ революціонныхъ событіяхъ, началось у насъ гоненіе на бороду. Густая растительность на головъ—большая борода и длинные волосы были очень модны въ 1848 году въ революціонныхъ сферахъ Европы. И вотъ, благодаря этому, ношеніе бороды воспрещается. Въ числъ многихъ другихъ, Константину Аксакову чрезъ полицію было приказано, чтобы онъ сбрилъ бороду. Пришлось также сбросить "русскую одежду".

Когда въ 1852 году московскіе славянофилы издали І-й томъ возобновленнаго "Московск. Сборника", онъ болье или менье благо-получно миноваль цензурные рифы. Но все-таки тогдашній министръ народнаго просвышенія кн. Ширинскій-Шихматовь обратиль вниманіе на "предосудительность направленія Сборника", находя, что "хотя народность и составляеть одну изъ главныхъ основъ нашего государственнаго быта, но развитіе понятія о ней не должно быть одностороннее и безусловное; иначе безотчетное стремленіе къ народности можеть перейти въ крайность и вмъсто пользы принести существенный вредь". Въ виду этого приказано было къ ІІ-му тому Сборника отнестись по возможности "внимательно". Результатомъ такого вниманія было то, что представленный на слъдующій годъ ІІ-й томъ быль цёликомъ запрещенъ. По отношенію къ Константину Аксакову, московскій цензурный комитеть находиль, что онъ,

"подобно Хомякову, старается отыскивать въ сказкахъ и пфеняхъ признаки того же небывалаго въ Россіи общиннаго порядка дель. Но кроме того К. Аксаковъ указываетъ на мъста, гдъ Соловей-Разбойникъ называетъ великаго князи воромъ, богатырь Тугаринъ Змфевичъ целуетъ великую княгиню въ уста сахарныя, а Алеша Поповичъ чуть не назвалъ ее сукою. Еще въ одной ивсив говорится, что Владиміръ, желая отбить жену у богатыря Данилы, отправиль его на явную смерть и потомъ повельль убить его: но Данило предупредилъ его и самъ лишилъ себя жизни. К. Аксаковъ прибавляетъ къ этому: "Когда сила побъждена сплою, когда нъть болье ен оскорбительнаго притязанія, Данило говорить: видно я сталь неугодень князю, и убиваетъ себя; въ этихъ словахъ вовсе не видать ни подобострастія, ни рабскаго чувства; отношенія богатырей къ великому князю были основаны на свободной привязанности". Сверхъ того К. Аксаковъ обращаеть внимание на пфсию, въ которой описывается нашествіе на Кіевъ татарскаго царя Калина. Хотя это и непріятельскій царь, но все-таки неприлично, что сочинитель выписываеть изъ песни следующе стихи:

Собака, проклятый ты, Калинъ, царь Васъ-то, царей, не бьютъ, не казнятъ, Не бьютъ, не казнятъ и не вѣшаютъ.

Пѣсни и сказки, на которыхъ К. Аксаковъ основаль статью свою, большею частью, напечатаны: всѣ читали ихъ, относя безцеремонные поступки богатырей къ простотѣ древнихъ нравовъ или къ вымыслу составителей сказокъ; одинъ К. Аксаковъ могъ вывести изъ нихъ *пебывалыя въ Россіи*— общину, вольницу и дерзаетъ богатырей ставить противъ великаго князя" (См. "Русск. Стар." 1875 года № 10).

Кромѣ статьи о богатыряхъ, К. Аксаковъ помѣстилъ въ Сборникѣ два стихотворенія. По мнѣнію цензора, выступившаго въ роли эстетическаго критика, стихотворенія "ничтожны по содержанію, но и въ нихъ есть непонятныя мысли и говорится о человѣкѣ, котораго духъ свободенъ и открытъ". Такая "темнота" дѣлала для цензора "смыслъ стихотвореній подозрительнымъ".

Наложеніемъ цензорскаго veto дѣло не ограничилось. По разсказу редактора Сборника—Ивана Сергѣевича Аксакова ("Рус. Арх. 1878 г. № 11), не только Сборникъ въ полномъ составѣ былъ запрещенъ (по личному объясненію, данному издателю—"не столько за то, что въ немъ сказано, сколько за то, что умолчано"), но "вмѣстѣ съ нимъ состоялось повелѣніе: всѣмъ главнымъ участникамъ: братьямъ Аксаковымъ, Кн. Черкасскому, Хомякову, Кирѣевскимъ не иначе печатать свои статьи, какъ проведя ихъ чрезъ Главное Управленіе цензуры въ Петербургѣ". Послѣднее, по свидѣтельству Ивана Аксакова, "равнялось запрещенію".

А въ довершение всѣ сотрудники Сборника, въ томъ числѣ и К. Аксаковъ, были отданы подъ полицейскій надзоръ фактъ, любопытный не только для характеристики того времени, но и спеціально для исторіи славянофильства. Онъ показываетъ, что въ первое десятильтіе своего существованія славянофильство еще настолько мало опредѣлило практическій характеръ своей доктрины, настолько мало заявило себя на поприщѣ фактической поддержки основъ русской жизни, что вѣдомства, наблюдавшія за образомъ мыслей, не могли отличить благонамѣреннаго народничанія отъ оппозиціоннаго демократизма.

Только съ наступленіемъ новаго царствованія К. Аксаковъ снова принимается за литературную дѣятельность, но зато уже съ удвоенною энергіей. Начавшая выходить съ 1856 г. "Русская Бесѣда" считала его въ числѣ наиболѣе дѣятельныхъ сотрудниковъ своихъ а въ 1857 году онъ даже самъ редактировалъ еженедѣльную гэзету "Молва", гдѣ помѣстилъ множество мелкихъ статей. Кромѣ того онъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ напечаталъ двѣ драмы—"Князя Луповицкаго" и "Олега подъ Константинополемъ", начало своей русской грамматики и многое другое.

Но вся эта кипучая дѣятельность была внезапно прервана смертью Сергѣя Тимофеевича. Безкопечно любившій отца сынъ не вынесъ потери главной личной привязанности своей и чрезъ 1½ года—7 Декабря 1860 г. умеръ отъ легочной чахотки на островѣ Занте.

Подробности этого глубоко-трогательнаго и рѣдкаго проявленія сыновней любви будутъ приведены дальше.

Мы очертили внѣшнія рамки жизненнаго поприща Константина Аксакова. О внутреннемъ содержаніи ихъ даютъ намъ опредѣленное представленіе его сочиненія. Но раньше чѣмъ перейти къ нимъ, мы считаемъ не лишнимъ привести нѣкоторые отрывки изъ статей, посвященныхъ воспоминаніямъ о Константинѣ Сергѣевичѣ. При отсутствіи обстоятельной біографіи К. Аксакова, эти воспоминанія, при всей ихъ отрывочности, намѣчаютъ, все-таки, главныя черты духовной физіономіи благороднѣйшаго изъ представителей московскаго славянофильства.

Начнемъ съ характеристики, драгоцѣнной тѣмъ, что ее давалъ врагъ, человѣкъ всю жизнь свою боровшійся съ идеями, наиболѣе дорогими К. Аксакову. Вотъ что писалъ Герценъ подъ свѣжамъ впечатлѣніемъ смерти Константина Сергѣевича:

"Константинъ Аксаковъ не смѣялся, какъ Хомяковъ, и не сосредоточивался въ безвыходномъ сѣтованіи, какъ Кирѣевскіе. Мужающій юноша онъ рвался къ дѣлу. Въ его убѣжденіяхъ не неувѣренное пытанье почвы, не печальное сознаніе проповѣдника въ пустынѣ, не темное придыханіе, не дальнія надежды,—а фанатическая вѣра, нетерпимая, стѣсняющая, односторонняя, та, которая предваряетъ торжество. Аксаковъ былъ одностороненъ, какъ всякій воннъ,—съ спокойно взвѣшивающимъ эклектизмомъ нельзя сражаться. Онъ былъ окруженъ враждебной средой, средой сильной и имѣвшей надъ нимъ большія выгоды, ему надобно было пробиваться рядомъ всевозможныхъ непріятелей и водрузить свое знамя. Какая тутъ терпимость!

"Вся жизнь его была безусловнымъ протестомъ противъ петровской Руси, противъ петербургскаго періода во имя непризнанной, подавленной жизни русскаго народа. Его діалектика уступала діалектикъ Хомякова, онъ не былъ поэтъ-мыслитель какъ И. Кирѣевскій, но онъ за свою вѣру пошелъ бы на площадь, пошелъ бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убѣдительны. Онъ въ началѣ сороковыхъ годовъ проповѣдывалъ сельскую общину, міръ и артель. Онъ научилъ Гакстгаузена понимать ихъ, и послѣдовательный до дѣтства, первый опустилъ панталоны въ сапоги и надѣлъ русскую рубашку съ кривымъ воротомъ. "Москва—столица русскаго народа,—говорилъ онъ,—а Петербургъ только резиденція".—И замѣтьте,—отвѣчалъ я ему,—какъ далеко идетъ эго различіе, въ Москвѣ васъ непремѣню посадятъ на сътзжую, а въ Петербургѣ сведуть на гауптвахту.

"Аксаковъ остался до конца жизни въчно восторженнымъ и безиредъльно благороднымъ юношей, онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни "славяне" ни мы не хотъли больше встръчаться; я какъ-то шелъ по улицъ, К. Акса-

ковъ вхалъ въ саняхъ. Я дружески поклонился ему. Онъ было провхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подощелъ ко мнв. "Мив было слишкомъ больно", сказалъ онъ, "провхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послв всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ вздить; жаль, жаль, но двлать нечего. Я хотвлъ пожать вамъ руку и проститься". Онъ быстро пошелъ къ санямъ, но вдругъ воротился; я стоялъ на томъ же мвств, мнв было грустно; онъ бросился ко мнв, обнялъ меня и крвико поцвловалъ. У меня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту ссоры!"

Столь же симпатичными красками обрисовываль въ 1861 году личность только что умершаго К. Аксакова одинъ изъ собственниковъ "Современника"—Панаевъ. И если вспомнить, что "Современникъ" тогда находился въ ожесточенной перепалкъ съ славянофилами, то мы тутъ опять имфемъ доказательство необыкновеннаго нравственнаго обаянія К. Аксакова, про котораго недаромъ Герценъ въ другомъ мъстъ своихъ воспоминаній говорилъ, что онъ "одинъ изъ тъхъ противниковъ, которые были ближе намъ многихъ своихъ". И такъ какъ это отношение къ К. Аксакову можно назвать всеобщимъ, то мы и считаемъ возможнымъ въ заключение біографической тасти настоящей статьи съ полнымъ довфріемъ привести отрывки изъ воспоминаній горячаго поклонника аксаковскихъ идей—Н. Бицына (псевдонимъ Н. М. Павлова) въ "Рус. Архивъ" 1885 г., № 3. Восноминанія Бицына представляють собою наиболье полное изъ до сихъ поръ появившихся статей о К. Аксаковъ собрание отдельныхъ свъденій о его характере и нравственной личности.

"Какое множество, быть можетъ, умныхъ людей", начинаетъ Бицынъ свои воспоминанія, "съ высоты своего практическаго разумінія считади Константина Сергъевича ребенкомъ и даже дитей. Какъ они должны были забавляться его простодушною върою въ людей и совершеннымъ невъдъніемъ такъ, такъ называемыхъ практическихъ истинъ, что известны даже весьма дюжиннымъ умникамъ наизустъ. Но какъ вся эта масса свътскихъ мудрецовъ пасовала предъ нимъ, передъ этимъ "младенцемъ на злое", именно ради его неумолимаго и неподкупнаго правственнаго чувства. Никакой сделки съ совестью, никакого компромисса или способа уживчивости, никакого modus vivendi кривды съ правдой онъ не допускалъ. "Я ему руки не подаю", сказалъ мив одинъ разъ Константинъ Сергвевичъ про человвка, весьма известнаго тогда въ московскомъ светь. Признаться, меня это удивило, именно потому, что личность о которой шла рвчь, пользовалась всеобщимъ вившнимъ почетомъ; трудно было бы п избъжать встрвчъ въ обществв именно съ этимъ бывшимъ тогда въ славъ, общественнымъ дъятелемъ. — "Я не знаю ничего безправственные свытской правственности", продолжаль какъ бы въ поясненіе своей мысли Константинъ Сергвевичъ. "Случалось ли вамъ слышать такое общепринятое про человека выражение (именно только въ свъть оно могло родиться!) :это-разбойникъ, это-безиравственный человъкъ, mais c'est un homme tout à fait comme il faut, руку ему можно

"Я у нея не бываю и съ ней не говорю", точно также сказалъ мий разъ

Константинъ Сергъевичъ про одну извъстную даму, и это меня удивило тъмъ болье, что съ ея мужемъ Константинъ Сергъевичъ былъ въ постоянныхъ живыхъ отношеніяхъ".

К. Аксаковъ не позволяль себѣ самыхъ пустыхъ отступленій отъ истины въ угоду условнымъ свѣтскимъ приличіямъ:

"Одинъ разъ", разсказываетъ г. Бицынъ, "пришлось мев просить Константина Сергъевича удълить нъсколько часовъ времени для выслушанія одной рукописи, а къ ней онъ относился и самъ съ живымъ участіемъ. Онъ назначиль мив быть на другой же день. Чтеніе началось съ ранняго утра и продолжалось часу до четвертаго. Предъ самымъ началомъ, Константинъ Сергвевичь оговориль въ домв, что онь будеть занять и желающихъ видъть собственно его не приметь никого. Скоро раздался звонокъ, человъкъ вощель въ комнату и назваль фамилію прівхавшаго. "Сказать, что я занять п принять не могу", отвъчалъ Константинъ Сергвевичъ. Въ самомъ непродолжительномъ времени последоваль другой звонокъ, потомъ третій. Человъкъ по прежнему входиль съ докладомъ. "Занять и принять не могу", попрежнему отвачаль Константинь Сергаевичь. Не помню посла котораго ввонка и доклада, и, наконецъ, невыдержалъ и спросилъ: "почему бы не сказать въ такихъ случаяхъ общепринятаго дома ньть?" "Очень жаль, что это общепринято", съ живостью возразилъ Константинъ Сергвевичъ, "но ни въ малыхъ, ни въ большихъ делахъ лгать не вижу надобности. Неужели не проще сказать: не могу принять, чемъ ньть дома? Темъ более, что, если бы комунибудь встратилась теперь действительная надобность меня видать, мнв было бы даже совъстно лишить его этой возможности, да еще и солгавъ предъ нимъ. Но вотъ, вы сами видите, насъ никто и не безпокоитъ. Мив кажется даже, что, привыкнувъ къ моему обычаю, то-есть къ тому, что я не отказываю фразой дома инть, сами посвтители тяготятся теперь настанвать на непременномъ свиданіп, а это бываеть при лживомъ ответе ньше дома". Было и еще насколько звонковъ. Посла одного изъ нихъ человакъ доложилъ фамилію одного изъ профессоровъ московского университета, оговоривъ, что просятъ непремѣнно принять хоть минуты на двѣ. Константинъ Сергъевичъ, извиняясь за перерывъ чтенія, вышелъ къ тому посьтителю. и даже менфе чфмъ черезъ двф минуты возвратился назадъ. "Вотъ видите ли", сказаль онь сіяющій, "мы и опять свободны продолжать чтенів; такой маленькій перерывъ почти и не помішаль намь. А я радь, что не отказаль въ пріемь: профессоръ хлопочеть объ одномъ бідномъ студенть, діло пдеть объ его опредъленіи, а оно и вовсе не состоялось бы, если бы я не далъ себя видать, теперь же дало кончено, и молодой человакъ устроенъ. И повфрьте мив, люди чутки къ правдв болве, чвмъ обыкновенно думають. Откажи я ему подъ предлогомъ, что меня дома нътъ, и потомъ выйди къ нему по усиленной просьбь, онъ продержаль бы меня гораздо долье, чемъ теперь, когда ему сразу сказали, что я дома, но занять".

Столь же велико было прямодушіе К. Аксакова и въ тѣхъ случаяхъ, когда оно шло прямо въ разрѣзъ съ его личными выгодами.

"Мнѣ припоминается", сообщаетъ г. Бицынъ, "разсказъ очевидца о диспутѣ Константина Сергѣевича при его магистерской диссертаціи (Ломоносовъ). Это разсказъ Ө. М. Д—ва, который въ шестидесятыхъ годахъ и самъ занималь каоедру въ московскомъ университетѣ, а тогда лишь готовился къ тому и былъ наканунѣ своей собственной магистерской диссертаціи 1). На всѣ возраженія,—разсказываль этоть очевидець,—Константинъ Сергѣевичъ отвѣчаль живо и ничего не уступаль изъ собственныхъ тезисовъ. Но послѣ одного сдѣланнаго ему замѣчанія, магистрантъ вдругъ воскликнулъ: "Ахъ, какое дѣльное возраженіе!" и это съ такой дѣтской искренностью и съ такимъ невольнымъ движеніемъ руки, поднесенной къ волосамъ, что вся аудиторія разразилась смѣхомъ. Ясно было, что не личное самолюбіе, а самый предметъ спора занималь диспутанта".

Въ связи съ этою душевною чистотою находилось и телесное целомудріе К. Аксакова, о которомъ г. Бицынъ сообщаетъ любопытныя подробности:

"Гоголь въ одномъ изъ своихъписемъ, теперь уже напечатанномъвъполномъ изданій его сочиненій, допустиль такое выраженіе о Константина Сергвевичь: "Этотъ человъкъ боленъ избыткомъ силъ физическихъ и правственныхъ, тв и другія въ немъ накопиялись, не имвя проходовъ извергаться. И въ физическомъ и нравственномъ отношеніи онъ остался девственникъ. Какъ въ физическомъ, если человъкъ, достигнувъ тридцати лътъ, не женился, то делается болень, такъ и въ нравственномъ для него даже было бы лучше, еслибъ онъ въ молодости своей.... (многоточіе въ печатномъ подлинникъ). Но воздержаніе во всъхъ разсъяніяхъ жизни и плоти устремило всь силы у него къ духу. Онъ долженъ былъ неминуемо сдълаться фанатикомъ". Гоголь умеръ задолго до возмужанія и кончины Константина Сергввича. Нътъ ли здъсь, въ приведенныхъ словахъ, немножко того, что зовуть съ больной головы на здоровую? При усердін не по разуму и при веригахъ не по силамъ, дъйствительно, происходятъ, бользиенные пароксизмы духа и тела. Это те нервноболезненные припадки, въ которыхъ менье всего обличается духъ собственно такъ называемый. Эти пароксизмы составляють лишь законное возмездіе и своего рода казнь именно за извращеніе свободнаго духа: ибо, во всѣхъ явленіяхъ такого рода, собственно говоря, плоть прикидывается духомъ. Самъ Гоголь, какъ извъстно, напоследокъ, действительно, "воздерживался отъ всехъ разсеяній жизни и плоти, и отъ этого всв у него силы устремились".... только не къ духу, къ сожалвнію, а именно въ фанатизму. Свобода духа и фанатизмъ двв вещи несовивстныя. Какъ нельзя сознательные и свободные относился Константинъ Сергевнить даже къ своему девственному состоянію, о чемъ говорится въ этомъ печатномъ письмѣ Гоголя. Были другіе коментаторы этого состоянія Константина Сергвевича: они прямо считали его какимъ-то платоническимъ идеалистомъ: сама ужъ природа у него такая, это его физіологическая черта, не больше. На этоть счеть и тв, и другіе не правы. Это не было фанатизмомъ съ его стороны ни въ основъ, ни въ послъдствіяхъ, какъ могля бы заключить иные изъ письма Гоголя: это не было и отсутствіемъ подвига, какъ легкомысленно объясняли другіе. Я посмѣлъ ему прямо это высказать какъ-то разъ во время нашей беседы. "Говорятъ", сказаль я, "что въ самомъ организмъ человъка заключаются иногда условія для дъвственнаго состоянія его; иной человѣкъ таковъ ужъ отъ природы, въ томъ нѣтъ и заслуги съ его стороны. Что вы скажете объ этомъ относительно васъ са-

¹⁾ Рачь, очевидно, о позднайшемъ попечитела петербургскаго учебнаго округа— Θ . М. Дмитріева.

м пхъ"—Зачьмъ такъ думать?—возразилъ онъ съ живостью — Даромъ чело въку вичто не дается, достиженіе чего составляеть нравственный подвигъ Это подвигъ воли, и очень тяжелый.—И столько же скромно, сколько гордо, овъ прибавилъ: "Я скажу, по крайней мъръ, о себъ; нътъ мнъ это не даромъ далось". Послъднее было имъ выговорено съ большимъ усиліемъ".

При такомъ удивительномъ преобладаніи въ Константинъ Аксаковъ духовной натуры надъ физической, намъ станетъ понятной поразительная смерть этого человъка, не въ переносномъ, а въ буквальномъ смыслъ умершаго отъ тоски. Смерть поистинъ поразительная, если припомнить, что Конст. Аксаковъ быль атлеть въ полномъ смысль слова. "Зльйшая чахотка и сухотка, безь всякихъ физическихъ поводовъ къ тому, единственно отъ нравственнаго недуга!" восклидаетъ г. Бицынъ. "И это въ Константинъ Сергъевичъ, чья криность вошла въ пословицу и котораго самъ Оверъ (московская знаменитость 50-хъ годовъ) за его желъзное здоровье звалъ печенъгомъ". Умиравшій Сергьй Тимофеевичь предчувствоваль, что столь дорогой его сердцу первенецъ скоро последуеть за нимъ въ могилу. "Бъдный Константинъ!" говорилъ онъ. "Боюсь за него: онъ не перенесетъ". На возможныя успокоенія со стороны собесѣдника онъ возражалъ однимъ и темъ же: "Нетъ! все это было бы возможно при другомъ воспитаніи Константина; а онъ воспитанъ не такъ".

Предчувствія старик**а** оправдались. 30-го Апрѣля 1859 г. умеръ Сергѣй Тимофеевичъ, а уже въ срединѣ мая г. Бицынъ, зашедши въ редакцію "Русской Бесѣды",

"услыхаль мало утвшительнаго. Константинь Сергвевичь быль безнадеженъ: не только свои, и чужіе боялись за него. Его укоряли, что онъ не бережеть себя, еще прямо и въ томъ, что онъ какъ бы намъренно убиваетъ себя. Къ этому прибавляли, что онъ страшно измънился. Хорошо предупрежденный на этотъ счетъ, я готовился быть особенно осторожнымъ при встрвчв съ нимъ. Перебвжавъ только улицу, ужъ я былъ на Кисловкъ, а сдълавъ еще шаговъ тридцать къ знакомому дому, ужъ видълъ палисадникъ за перилами, большія ворота, и изъ вороть, въ противуположную отъ меня сторону, медленными шагами удалявшуюся фигуру. Я нагналь вследь; медленно отходившій оть меня обернулся. Можно ли было узнать прежняго, бодраго душевно и телесно Константина Сергеевича! Мало сказать: онъ страшно изменился въ лице! неть, а отъ общей исхудалости было еще что-то удлиненное и утоненное во всей фигуръ. Пепельность бороды и усовъ, вдругъ взявшаяся просъдь, вмъсто прежняго ихъ цвъта; съ ногъ до головы чрезвычайная угрюмость во всемъ видь; неподвижный, какой-то внутрь самого себя обращенный, самоуглубленный взоръ и тихость, жуткая тихость, поразили меня.

[—] Я иду въ церковь, -сказалъ онъ,—какъ служба отойдетъ—вернусь. Вы меня застанете дома, я жду васъ.

[—] Но, Константинъ Сергвевичъ, поберегите себя,—вырвалось у меня совершенно невольно.

Тутъ же, стоя на улицѣ, онъ отвѣчалъ очень серьезно, но тихимъ и задумчивымъ голосомъ, а не какъ бывало: "Да, меня упрекаютъ. На меня даже взводятъ обвиненіе, что я не удерживаюсь отъ горя, даю ему волю и намѣренно разстраиваю себя. Не вѣрьте этому. А я просто не могу".

"Кто разсчитываль на время", говорить въ другомъ мѣстѣ г. Бицынъ, "надѣясь еще, что само время излечить—тотъ ошибся вдвойнѣ. "Время тутъ ничему не поможетъ, повѣрьте", говорилъ онъ мнѣ еще тогда въ Москвѣ, и онъ быль правъ. Въ горести, давившей все его существо, не было ничего эффектированнаго съ самаго начала; ничего такого, что было бы связано, какъ самъ онъ говорилъ, съ нервнымъ разстройствомъ; а лишь въ такихъ случаяхъ и помогаетъ время. Это была, напротивъ того, скорбъ усиливавшаяся съ каждымъ днемъ, потому что каждый новый день приносилъ и большее разувѣреніе въ возможности будущаго и настоящаго безъ прошлаго".

Ярче всего настроеніе Константина Сергѣевича сказалось въ одномъ изъ писемъ къ г. Бицыну, удивительно симпатично обрисовывающемъ душевную глубину этого высоко-идеальнаго человѣка, сотканнаго изъ однихъ чистыхъ помысловъ и возвышенныхъ порывовъ:

"Вы приглашаете меня къ вамъ въ деревню, братъ показалъ мнф письмо ваше. Приглашение ваше такъ искренно, въ немъ сказалось такое дружеское движение, что мив захотвлось непременно написать вамь и воть я ппшу. Я всегда очень много цаниль въ жизни привать и всегда съ такою радостью на него отзывался; но привътъ вовсе не такъ часто встръчается въжизни, какъ, можетъ быть, думаютъ. Въ вашихъ словахъ мив послышался именно этотъ привътъ, который такъ ръдокъ. Если бъ это приглашение ваше сдълано быо бы при батюшкв... тогда я не провздомъ къ Хомякову, а нарочно бы къ вамъ повхалъ. Но теперь, любезнвиший... все кончилось. Ни удовольствіе, ни радость жизни для меня существовать не могуть. Однимъ словомъ, жизнь кончилась—жизнь какъ моя. Я здъсь еще, подъ условіями этой жизни; но это не моя жизнь. Все доброе, все хорошее въ другихъ-я чувствую; отзываюсь на это, какъ и на ваше приглашеніе, и только. Если бъ вы предлагали какое-нибудь удовольствіе, миж было-бъ пріятно виджть ваше желаніе, а отъ самаго удовольствія я бы отказался, потому что его ніть для меня. Такъ теперь и вы все сдълали, пригласивъ меня, и дали мят все, что я могу теперь принять. Прежде для меня было бы истиннымъ удовольствіемъ повидаться съ вами у васъ... взглянуть на юную семью въ обстановкъ природы со всей ея непостижимой красотою, которую батюшка передаетъ въ своихъ сочиненіяхъ такъ неподражаемо. Но этого прекраснаго удовольствія для меня теперь быть не можеть. Это все кончилось. Вы знали Константина Сергвевича, который удить, курить, съ восхищениемъ радуется жизни и природава каждома ея проявленін, будь это зима или лато, будь это палящее солнце или дождь, промачивающій насквозь Константина Сергвевича, который любить слышать въ себв силы именно тогда, когда неудобство, стужа пли что нибудь подобное ихъ вызываетъ; который въ восхищени и крвинеть на тельгь, прыгающей по камнямь, или подъ дождемь, его всего обливающимъ, -- Константина Сергвевича, который 28 верстъ проходитъ не присаживаясь, выпиваеть сливокъ, потомъ квасу и отправляется еще, взваливъ на себя огромныя удилища--удить. Теперешній Константинъ Сергфевичъ

не удить, не курить, смотрить и не видить природы или бользненно ее чувствуеть и даже отворачивается оть нея; ньженкой онь не сдылается, слабымь тоже; но не слышить въ себь этого пріятнаго ощущенія силь, не ищеть чего нибудь-понеудобнье и потяжелье; ему все равно, карета ли или любимая прежде тельга, въ которой онъ прежде даже и стихи писаль. Да, все для меня кончилось, жизнь моя кончилась; жизнь была хороша и исполнена прекрасныхъ радостей; и воть я помянуль себя въ письмъ къ вамъ. Благодарю же васъ... за все радушіе, какое я видьль бы у васъ. Обнимаю васъ крыпко... Я занимаюсь довольно; это я считаю своимъ долгомъ, который я долженъ выплатить. Постараюсь сдылать все что могу, на что имью способности, и такимъ образомъ расплатиться съ долгами. Я точно собираюсь перефхать и укладываюсь. Прощайте... Вашъ Константинъ Аксаковъ". Былъ розт-ясгіртит: "время дыйствуеть на меня совершенно наобороть противъ того, какъ полагаютъ".

Письмо это относится къ Августу 1859 г. Всю зиму затемъ К. С.

"чахнулъ; весной илътомъ заболълъ такъ, что его отправили за границу, въ томъ же 1860-мъ году онъ и скончался 7-го Декабря вдали отъ родины, въ Греческомъ архипелать, на островь Занте. За границею первоклассныя знаменитости, иноземные врачи дивились чахоткв и сухоткв этого богатыря, умиравшаго сътоски по своемъ отцъ;собственно, вся и бользнь была възтомъ. Доктора не давали лекарствъ, не прописывали рецептовъ, совътовали только развлекать его. Тогда Италія шумъла именемъ Гарибальди; въ ней пробуждапось народное движеніе, не совътовали пускать туда, а указывали на какія-нибудь "увеселительныя воды" или даже на Парижъ, совътуя возить на разныя гулянья, а осли въ театръ, то исключительно въ водевили, но жить такимъ образомъ для Константина Сергъевича значило не жить. Онъ уже умиралъ, послѣднія оставшіяся средства, хоть для продленія послѣднихъ дней, медики свели на "теплый морской климать", и воть онъ попаль на островъ Занте. Когда пароходъ везъ его къэтому послёднему пристанищу, онъ съболезненной грустью глядъль въволны и говорилъ своему неизмънному спутнику, сопровождавшему его брату, Ивану Сергъевичу Аксакову: " Неужели, однако, ужъ и кончено? Какъ не ожидалъ я, но чтобы такъ ужъ скоро, кто бы думалъ?"

На пустынномъ островѣ не было русскаго православнаго священника для исповѣди больного; нашелся грекъ, едва говорившій по-французски. У этого-то грека и исповѣдывался умирающій на своемъ нелюбимомъ языкѣ. Что за судьба? И, словно, еще не пронія ли съ ен сторовы? Никакой проніи тутъ нѣтъ, хотя и знаменательно оно. Свободная вѣра Константина Сергѣевича не знала ничего условнаго, и всякій фетишизмъ былъ ей чуждъ. Кто не понималъ и не понимаетъ, что можно снимать піапку въ Спасскихъ воротахъ и креститься на золотыя маковки Кремля и въ то же время не быть фетишистомъ,—тотъ не понимай.

Трекъ, призванный къ умирающему и спъшившій попросту справить требу, быль изумлень исповъдью, причащеніемь и кончиной столь необыкновеннаго человъка. Самымь простодушнымь образомь выражаль онь свое удивленіе и недоумѣніе; онь просиль: нельзя-ли ему повидать всѣхъ близкихъ этого человѣка и, главное, мать покойнаго? Ему хотѣлось передать—и если пе придется лично, грекъ просиль ей передать отъ него праведникь скончалси, ощо не видываль исповъдникь примъровъ такой въры на землѣ. Онъ не прокращаль своихъ распросовъ: "Да кто-же это былъ? Кто это умеръ передъ нимъ?

Ему отвѣчали что это былъ Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ. И что же можно было сказать больше этого"?

И если этотъ праведникъ произвелъ такое глубокое впечатлѣніе на необразованнаго, захолустнаго попа-грека то удивительно ли, что огромно было обаяніе, которое онъ производилъ на людей, жив-шихъ приблизительно такими же, какъ и онъ самъ, нравственными стремленіями:

"Теперь прошло не мало времени со смерти Константина Сергвенча" говорить г. Бицынь, "а, встрвчаясь съ его знакомыми, приходится оть нихь слышать и до сихъ поръ: неправда ли, всякій разъ, какъ приходилось быть съ Константиномъ Сергвевичемъ послв того приходилось и самого себя чувствовать какъ-то чисто: какъ-то нравственнве двлался съ нимъ, и нравственность чувствовалъ болве обязательною для себя".

II.

Какъ уже было сказано выше, раньше другихъ родовъ творчества К. Аксаковъ проявилъ свои литературныя способности на поприщъ стихотворства. Писаніе стиховъ было насл'ядственно въ род'я Аксаковыхъ, и вст три представителя его оставили послт себя обильное поэтическое наследство. "Поэтическое", впрочемъ, больше въ формальномъ значеніи этого слова, потому что сколько-нибудь видное художественное значение имфють только стихи Ивана Сергфевича. Стихи Сергвя Тимофеевича были весьма посредственны. Было бы большою несправедливостью применять последній эпитеть къ стихамъ Константина Сергъевича, которые по полету мысли несравненно выше и не лишены интереса съ "гражданской" точки зрѣнія. Но несомивнию, однако же, что разсматриваемые съ чисто-литературной точки зрвнія, съ точки зрвнія проявленнаго въ нихъ таланта, они не высоко стоятъ. Враждебная идеямъ 60-хъ годовъ критика любила и любить подчеркивать, что такъ называемая "гражданская поэзія", отодвигающая на второй планъ непосредственно-художественныя цёли, введена въ русскую литературу Некрасовымъ и прогрессивною критикою Добролюбова, Писарева и др. Утверждение это, однако же, только на-половину върно. Если мы присмотримся къ славянофильской поэзін, мы не преминемъ убъдиться, что даже въ лицъ наиболье даровитыхъ представителей своихъ, Хомякова и Ивана Аксакова, она задолго до движенія 60-хъ годовъ рѣшительно отвергла завътъ Пушкина быть поэзіею "звуковъ сладкихъ и молитвъ". "Житейскія волненія" и "битвы" всегда были ея главною задачею. Поэзія Константина Аксакова всецёло имѣетъ служебное публицистическое назначеніе. Стихи для К. Аксакова были

однимъ изъ средствъ проводить свои любимыя иден. Тѣ же темы, которыя составляють предметь его историческихъ, филологическихъ и публицистическихъ работъ, легли въ основание и наиболее прочувствованныхъ изъ стихотвореній его. К. Аксаковъ писалъ стихи не порывами, какъ братъ его Иванъ, а въ теченіе всей своей жизни, и все, что только волновало его, какъ публициста и исторпка, все это онъ выливалъ въ риомованныя строки. Но именио только въ риомованныя строки. Если про "гражданскіе мотивы" 60-хъ годовъ принято говорить, что они представляють собою передовыя статьи въ стихахъ, то тъмъ болье примънимо такое опредъление къ стихотвореніямъ К. Аксакова. Прочитавъ тѣ изъ нихъ, которыя были напечатаны 1), мы не нашли между ними ни одного, которое имъло бы ивли непосредственно-художественныя. Все это или призывъ "домой" — въ до-петровскую Русь, или сътованія на "оторванность" интеллигенцін отъ народа, или, наконецъ, отдёльные пункты программы желательной государственной жизни Россіи. Но, конечно не самое содержаніе, только-что отміченное, ділаеть стихотворенія К. Аксакова мало поэтичными. Не въ томъ же, въ самомъ деле, состоить истинная поэзія, чтобы воситвать исключительно "красу небесь и ласки милой". Нътъ, если мы называемъ стихи К. Аксакова мало-поэтичными, то не за общественно-политическое содержание ихъа за недостаточно-поэтичную обработку этого содержанія. Поэзія телько тогда поэзія, если она говорить не только уму, но и воображенію, если она доказываетъ и объясняетъ свои тезисы не словами, а образами и картинами. И вотъ именно образовъ-то и картинъ мы и не находимъ въ стихотвореніяхъ К. Аксакова. Чтобы не быть голословными, возьмемъ и всколько стихотвореній, которые въ ряду поэтическихъ произведеній Константина Сергфевича могуть быть названы нанболфе сильными и наиболфе отражающими его стихотворную манеру. Вотъ, напр., напечатанное въ "Див" 1862 года стихотвореніе "Возвратъ", съ призывомъ "домой", темъ самымъ призывомъ, который надълалъ такъ много шуму въ началъ 80-хъ годовъ и неправильно приписывался Ивану Сергвевичу, между твиъ какъ на самомъ двлв онъ принадлежитъ Конст. Сергъевичу и относится еще къ 1843 году.

> Прошли года тяжелые разлуки, Отсутствія исполнень долгой срокь, Прельщенія, сомнѣнія и муки Испытаны,—и взять благой урокъ!

⁴⁾ Большое количество стихотвореній К. Аксакова остается еще, повидимому, до сихъ поръ въ рукописи.

Оторваны могущею рукою, Мы бросили отечество свое, Умчались вдаль, плфиясь чужой землею, Земли родной презрѣвши бытіе. Преступно мы объ ней позабывали, И голось къ намъ ея не доходилъ; Лишь иногда мы смутно тосковали: Насъ жизни ходъ наспльственный давиль! Предателей, изминиковъ не мало Межъ нами въ долгомъ странствін нашлось; Въ чужой земль ничто ихъ не смущало, Сухой душв тамь весело жилось! Слетель туманъ! предъ нашими очами Явилась Русь!.. Родной оя призывъ Звучить опять, и нашими сордцами Вновь овнадёль живительный порывъ, Конецъ, конецъ томительной разлукь! Отсутствію насталь желанный срокъ. Знакомые теснятся въ душу звуки И взоръ вперенъ съ любовью на Востокъ. Пора домой! И, пъсни повторяя Старинныя, мы весело идемъ. Пора домой! Насъ ждетъ земля родная, Великая въ страданіи нѣмомъ! Презрѣніемъ отягчена жестокимъ, Народнаго столица торжества, Опять полна значеніемъ глубокимъ Является великая Москва. Постыдное, безчестное презранье, Скорве въ прахъ! Свободно сердце вновь, И грудь полна тревоги и смятеній, И душу всю наполнила любовь! Друзья, друзья! Теснев въ кругъ сомкнемся, Покорные движенью своему, И радостно, и крѣпко обоймемся, Любя одно, стремяся къ одному! Земль родной-все, что намъ Небо дало, Мы посвятимъ! Пускай заблещеть мечъ, И за нее, какъ въ старину бывало, Мы радостно готовы стать и лечь. Друзья, друзья! Грядущее обильно, Надежды сладкой въруйте словамъ. И жизнь сама, насъ движущая сильно, Порукою за будущее намъ!.. Смотрите-мракъ ужъ робко убъгаетъ, На западѣ земли лишь онъ растетъ: Востокъ горитъ, день не далекъ, свътаетъ, И скоро солнце красное взойдеть!

А вотъ другое стихотвореніе ("Гуманисту" въ "Днѣ" 1862 г., № 8), иллюстрирующее одну изъ наиболѣе завѣтныхъ мыслей К. Акса-Очерки, т. І. кова — о необходимости тѣсной связи съ народомъ, съ "землею". Поэтъ обращается къ гуманисту съ слѣдующими рѣчами укоризны:

> Ты-эгоистъ, хотя бы наслажденья Высокія непытываль твой духь; Ты-эгонсть, хотя-бъ другихъ мученья Бользненно тревожили твой слухъ; Хотя-бъ тебф высокое искусство Открыло свъть таниственный во мгиъ, Хотя-бъ въ тебф горфло свято чувство Къ прекрасному, благому на землъ; Хотя-бъ своей любовію широкой Ты всьхъ людей и цьлый міръ объяль, Хотя-бъ ты плакалъ и страдалъ жестоко II радостью прекрасною сіялъ... Но ты сидишь съ простертыми руками, Съ возвышеннымъ мечтаньемъ на челъ, Съ блестящими и влажными глазами. Уединенъ далеко на скаль: Передъ тобой толпа стремится твено-Ты полонъ къ ней участья и любви, Ты для людей придумаль мірь чудесный, Огонь мечты горить въ твоей крови... О, нътъ, не такъ участіе прилично, И правды нътъ въ волненьи думъ твоихъ: Бѣды людей ты испытуешь лично, И плачешь ты не съ ними, а объ нихъ! Не понялъ ты великаго значенья Въ одинъ потокъ соединенныхъ волнъ! Могущества ихъ общаго стремленья Не поняль ты, сеоей тоскою полнъ! Оставь-же свой отдельный міръ страданыя, Гдѣ ты живешь—вдали людей любя! Участія не нужны подаянья, Изъ цълаго не псключай себя, Лишь откажись отъ личныхъ притязаній, Живую связь поймешь ты въ мигъ,-и вотъ Съ своей судьбой и моремъ колебаній, Величественъ является народъ! Скорбь общая и общая невзгода Тебф твои страданья замфиять,-Сильный всего великій гласъ народа, Предъ нимъ твои всѣ вопли замолчатъ! Пойми себя въ народъ! Не сжимаетъ, Какъ океанъ, твоей свободы онъ: Тебв онъ только мвсто назначаетъ, Ты общему въ немъ живо покоренъ. А безъ того-ты эгоистъ безъ силы, II жизнь твоя прекрасная пуста, Страданья вялы и оружья гнилы, Порывъ безплоденъ и ложна мечта.

Съ народомъ лишь взойдетъ свобода зрѣло, Могущественъ народа только кликъ, Принадлежитъ народу только дѣло, И путь его державенъ и великъ!

Со "Свободнымъ Словомъ" читатели уже знакомы (см. выше стр. 273—4). Это стихотвореніе, появившееся въ печати только 27 лѣтъ послѣ того, какъ было написано ("Русь" 1880, № 1), и на которое мы впервые обратили вниманіе, когда настоящая статья печаталась первый разъ (1887), съ нашей легкой руки цитируется очень часто. До извѣстной степени, оно даже стало лозунгомъ всѣхъ требованій свободы печати. Но, какъ мы уже замѣтили, приводя его цѣликомъ, художественными достоинствами это пламенное прославленіе свободы слова не блещетъ.

Указанныя три стихотворенія иллюстрирують самые дорогіе К. Аксакову пункты его общественнаго міросозерцанія. Казалось бы, значить, что по такому поводу онъ долженъ быль развернуть весь имъвшійся въ его творческой способности лирическій павосъ. Н между тъмъ всякій, кто сколько-нибудь привыкъ разбираться въ поэтическихъ произведеніяхъ и различать въ нихъ настоящее поэтическое золото отъ мишурныхъ блестокъ, всякій такой цёнитель сразу, конечно, почувствуетъ въ приведенныхъ стихотвореніяхъ не только отсутствіе истинно поэтическихъ образовъ и картинъ, но еще и риторическій холодъ. Послёднее особенно поразительно по отношенію къ "Свободному слову". Подъ этимъ стихотвореніемъ имъется дата "1853 года", т. е. тотъ годъ, когда разразилась надъ славянофильскимъ кружкомъ вообще и надъ Константиномъ Аксаковымъ въ частности упомянутая выше цензурная гроза. Такимъ образомъ, стихотвореніе не только отражаеть собою теоретическое уб'яжденіе, но и писано подъ свъжимъ впечатлъніемъ конкретнаго факта, несомнѣнно взволновавшаго автора до глубины души. И тѣмъ не менье, все это вмысты взятое, вы результаты дало стихотворение, весьма замъчательное только по гражданскому, а никакъ не поэтическому паносу.

Кстати будеть вообще замѣтить, что, по нашему по крайней мѣрѣ мнѣнію, у К. Аксакова не было того, что въ тѣсномъ смыслѣ этого слова принято называть литературнымъ талантомъ. Сынъ и братъ такихъ великихъ мастеровъ слова, какъ Сергѣй Тимофеевичъ и Иванъ Сергѣевичъ, Константинъ Сергѣевичъ самъ, однако же, всего менѣе можетъ быть названъ стилистомъ. Пушкинское опредѣленіе:

Такъ онъ писалъ темно и вяло,

поневоль приходить на умь, когда читаешь путанныя и длинныя тирады, которыми изобилують даже самыя удачныя и выношенныя

статьи Константина Аксакова. Человѣкъ, незнакомый съ біографіею Константина Сергѣевича, не знающій, что онъ былъ пламеннымъ, восторженнымъ энтузіастомъ, человѣкъ, руководствующійся только старой эстетической формулою—le style c'est l'homme, навѣрное, составитъ себѣ самое превратное представленіе о Константинѣ Аксаковѣ, если по его сочиненіямъ захочетъ возсоздать себѣ обликъ автора. У него былъ такъ великъ паносъ мысли, что какъ бы не осталось достаточно духовныхъ силъ для пафоса слова.

Чтобы покончить съ беллетристическими работами нашего писателя, скажемъ нъсколько словъ о драматическихъ произведеніяхъ его.

Какъ и стихотворенія К. Аксакова, его драмы имѣютъ цѣли не художественныя, а дидактическія. Такъ, "Освобожденіе Москвы въ 1612 году" должно убѣдить читателя въ громадномъ историческомъ значеніи "земли", "Князь Луповицкій" есть сатира на оторванныхъ отъ той же "земли" интеллигентовъ нашихъ, наконецъ "Олегъ подъ Константинополемъ" есть пародія на такъ называемое "скептическое" направленіе русской исторіографіп. Авторъ даже и попытокъ не дѣлаетъ создать настоящія драматическія произведенія и дать что нибудь, кромѣ драматизированныхъ историко-публицистическихъ тезисовъ. Въ наиболѣе серьезной по авторскимъ намѣреніямъ драмѣ Константина Аксакова "Освобожденіе Москвы" даже нѣтъ никакой интриги и все дѣйствіе исключительно вращается около явленій общественныхъ.

По формъ и относительной легкости выполненія, наибольшими художественными достоннствами изъ перечисленныхъ трехъ драматическихъ произведеній обладаетъ "Олегъ подъ Константинополемъ". Мотивы, послужившіе къ написанію этой изданной лѣтъ 25 спустя (въ 1858 г.) драматической шутки, изложены авторомъ въ предисловін:

"Въ тридцатыхъ годахъ русскую исторію преподавалъ въ московскомъ университетѣ М. Т. Каченовскій, имя котораго навсегда останется въ лѣтописяхъ русской исторической науки. Студенты были увлечены скептическимъ его взглядомъ. Молодость любитъ критическое направленіе и охотно сомнѣвается. Повидимому, это противорѣчитъ стремленію вѣрить, стремленію которое составляетъ отличительную черту молодости, но здѣсь противорѣчіе только видимое, ибо самое сомнѣніе молодость часто принимаетъ на вѣру. Въ такомъ, очень нерѣдко одностороннемъ, влеченіи къ скептицизму лежитъ часто прекрасная основа: все испытать, все провѣрить своимъ умомъ,ничего не принимать безъ труда и ради авторитета.

Увлекаясь тогда, вмёстё съ другими, скептическими мнёвіями профессора, я увидёль потомъ ихъ ошибочность. Тогда, подъ вліяніемъ этого скептицизма, написаль я, съ одобренія товарищей, эту пародію, въ которой преувеличиль до крайности мнёнія противниковъ, представивь Олега государемъ эпохи развитой и просвещенной. Вмёстё сътёмъ это была пародія и на стихотворныя идеализаціи исторіи въ появлявшихся тогда нѣкоторыхъ патріотическихъ драмахъ, и вообще на звучность стиховъ, иными принимаемыми еще и теперь за поэзію"·

Общій тонъ пародін виденъ хотя бы изъ разговора между Олегомъ и волхвомъ. Волхвъ приходитъ къ князю и въ ужасъ разсказываетъ, какой ему приснился странный и дивный сонъ:

На сѣверѣ, между пѣсовъ дремучихъ,
Возникнетъ нѣкогда великій градъ,
Владыко царствъ, исполненъ силъ могучихъ,
Правительственной мудростью богатъ.
Воздвигнется въ немъ зданіе науки,
Ему названья въ русскомъ словѣ нѣтъ,
И въ этомъ зданьи нѣкогда ученый
Торжественно всѣ дивныя твои
Дѣла постыднымъ омрачитъ сомнѣньемъ
И, наконецъ, отвергнетъ вовсе ихъ.
Онъ скажетъ и доводами докажетъ,
Что не было, Олегъ, тебя совсѣмъ;
Что это вымыслъ, ложное преданье;
Что ты—народа басня, что ты—миеъ.

Олегъ (въ бъщенствъ и съ ужасомъ).

?теним-В

Волхвъ.

Отчаянье твое понятно. Погибнеть все, когда отвергнуть даже Существованье самое твое.

Олегъ.

? сени-В

Волхвъ,

Спокойся, квязь! Еще есть средство... Олегь (не слушая).

Какъ, варвары? Я миеъ? Но сердце бъется Такъ пламенно въ груди моей! Но кровь Такъ горячо бѣжитъ по этимъ жиламъ?.. Но этимъ грознымъ уступаютъ силамъ Всѣ козни, всѣ усилія враговъ!.. Нелѣпость! Вздоръ! О, если-бъ только могъ я, Ученому злодѣю моему Я-бъ доказалъ свое существованье и т. д.

И вотъ, чтобы доказать будущему скептику-ученому, что онъ не миеъ, Олегъ рѣшается предпринять походъ на Константинополь, прибить къ вратамъ его свой щитъ и вообще оставить прочный слѣдъ въ анналахъ писанной исторіи.

Кромъ этого основного мотива, въ пародіи есть и побочные эпизоды, какъ, напр., внезапно завязавшійся романъ между греческою царевной и однимъ дулѣбомъ изъ войска Олегова, такой же романъ между кіевлянкой Людмилой и кіевляниномъ Всеславомъ, который погибаетъ въ поединкѣ съ варяжскимъ скальдомъ Ингелотомъ и, наконецъ, третій романъ между тою же греческою царевною, что прельстила дулѣба, и самимъ Олегомъ. Соль всѣхъ этихъ эпизодовъ заключается въ ихъ книжномъ, напыщенномъ языкѣ, немыслимомъ, конечно, въ устахъ первобытныхъ сыновъ Х вѣка.

"Освобожденіе Москвы", снятое съ репертуара послѣ перваго же представленія въ 1850 г., какъ уже было сказано, не имѣетъ никакой драматической интриги и потому передать его содержаніе затруднительно. Это просто рядъ безпорядочно-нагроможденныхъ сценъ, иллюстрирующихъ отдѣльные энизоды событій 1612 года, сценъ, почти ничѣмъ между собою не связанныхъ, кромѣ авторскаго старанія выдвинуть на первый иланъ истинный патріотизмъ простого народа и "земли", поборающій, въ концѣ концовъ, корыстные пропски боярства. Эта центральная идея пьесы ярче всего выражена въ одномъ изъ монологовъ представителя "земщины" Прокофія Ляпунова:

Виноваты много бояре. Много возгордились они. На черныхъ людей свысока смотрять; ихъ только хрестьянами называють; видимое дело, что еами ужъ стали не хрестьяне. - Горько это; забыли, стало, что всв мы братья и вев христіане; вев мы одной матери дети; вев мы братья и сродники по христовой въръ и по русской земль. Пусти одинъ бояринъ-при немъ его боярство; пусть другой воинь-при немъ его воинство; пусть еще третій земледель-при немъ его земледеліе. - Да ведь сегодня онъ земледель, а завтра бояринъ, а бояринъ завтра земледель. Это все какъ случится, и какъ приведется, и какой талантъ, и что Богъ дастъ; а непременное и вечное то, что вев мы, сколько насъ ни есть, всв братьи православные христіане и русскіе люди. А это-то мы и позабыли, не какъ братья стоимъ другъ за друга; возвысились одни передъ другими гордостію. Богъ насъ и караетъ Преврвить Василій Ивановичь земской совыть, Богь и покараль его. Презрыли и вы, бояре, братство и землю; эй, не забывайте земли русской и народа. Больше правды въ простомъ народъ.-Когда во вторникъ на страстной недълъ едфланась схватка съ поляками, кто стоялъ за Божіе и земское дфло? Все народъ. Сталъ тутъ и князь Дмитрій Михайловичъ Пожарской; вотъ это человъкъ смиренный духомъ, и твердо стоить обще съ народомъ за въру и землю. Такъ народа-то вы, бояре, не презирайте и надъ народомъ не высьтесь; ведь этимъ вы и сами себя осуждаете и отъ братства себя отрываете. Не разрывайте земскаго союза, не забывайте народа-тогда п вамъ будетъ хорошо и вы родной земль нашей полезны будете, — а безъ того нътъ. Въдь вет мы, отъ мала до велика, вет христіане православные и русскіе люди, всѣ братья".

Весь этотъ монологъ и по идеямъ своимъ, и даже по слогу скорве напоминаетъ одну изъ историко-публицистическихъ стате й Аксакова, чъмъ дъйствительную ръчь "думнаго дворя нина". Но

автора и не заботила особенно историческая достовфрность. Какъ и во всемъ, что онъ писалъ, ему былъ важенъ предлогъ высказать переполнявшія его чувства того мистическаго демократизма и той пламенной любви къ древнимъ формамъ русскаго народнаго быта, которыя составляютъ основу всѣхъ его общественныхъ, историческихъ и даже филологическихъ взглядовъ.

Такою же иллюстраціею историко-публицистическихъ воззрѣній Константина Аксакова является третье драматическое произведеніе его—"комедія" въ двухъ дѣйствіяхъ съ прологомъ "Князь Луповицкій". Комедія имѣетъ цѣлью доказать, съ одной стороны, до какого комизма доходитъ оторванность русскихъ "культурныхъ" людей отъ реальныхъ основъ нашей народной жизни, а съ другой—какія великія сокровища ума и сердца кроются въ невзрачномъ на первый взглядъ мужичкѣ русскомъ. Въ частности, "Князь Луповицкій" есть подробное развитіе и переложеніе въ лица одной изъ наиболѣе горячихъ критическихъ статей Константина Аксакова, напечатанной имъ подъ псевдонимомъ Имрекъ въ "Моск. Сборникъ" 1847 г.

Статья эта написана по поводу повѣсти изъ народной жизни кн. Одоевскаго "Сиротинки" (изъ сборника гр. Соллогуба "Вчера и сегодня") и вмѣстѣ съ нѣкоторыми деталями "Князя Луповицкаго" рельефно обрисовываетъ одинъ изъ кардинальныхъ пунктовъ міровоззрѣнія Константина Аксакова—его отношеніе къ простому народу.

"Сиротинки" привели рецензента въ крайнее негодованіе:

"Всегда съ невольнымъ горькимъ чувствомъ", говоритъ онъ, "и съ негодованіемъ читаемъ мы такія пов'єсти, гді изображается (будто-бы изображается) нашъ народъ; невыносимо тяжело и больно, когда какой нибудь писатель, народу совершенно чуждый, совершенно отъ него оторванный, лицо отвлеченное, какъ все, что оторвано отъ народа, когда такой писатель, полный чувства своего мнимаго превосходства, вдругъ заговорить списходительно о народь, могущественномъ хранитель жизненной великой тайны, во всей силь своей самобытности предстоящемъ предъ нами, легко и весело съ нимъ разставшимися. Писатель не трудится надъ твиъ, чтобы узнать, понять его; для него узнавать и понимать въ немъ нечего; ему стоить только снизойти написать о немь. Противно видеть, когда онъ, для върнъйшаго изображенія, прибъгаеть къ народному будто бы оттынку рычи, къ народнымъ выраженіямъ, дошедшимъ до его слуха чрезъ переднюю и гостиную. Такой умышленный маскарадъ, такая милостивая подделка, особенно когда пишуть для народа, оскорбительна. Въ такомъ родъ и повъсть кн. Одоевскаго".

Насмѣшливо и негодуя пересказываетъ, затѣмъ, Конст. Сергѣевичъ содержаніе повѣсти, которое заключается въ томъ, что нѣкая барыня увозитъ бѣдную деревенскую дѣвушку, сиротинку Настю, въ Петербургъ, и та, черезъ нѣкоторое время, возвращается въ деревню, гдѣ, благодаря полученному ей въ одномъ изъ петербургскихъ прію-

товъ воспитанію, оказываетъ благотворное вліяніе на подъемъ крестьянской нравственности и религіозности. Подводя итоги, возмущенный критикъ говорить:

"Итакъ, все село возвышено и преобразованъ народъ, имѣющій коечто въ своихъ воспоминаніяхъ, имѣющій, какъ народъ, тяжесть и твердость дѣйствительности въ своихъ движеніяхъ и переходахъ,—преобразованъ такъ легко и скоро Настей, воспитанной въ Петербургѣ. Она научила его молиться, онъ не умѣлъ этого, конечно!.. Но никакая въ свѣтѣ Насти и никакой въ свѣтѣ образованный и воспитанный человѣкъ не можетъ стать наряду съ народомъ и осмѣлиться наставлять его въ этомъ чувствѣ,—его силою вѣры прогнавшаго столько враговъ иноплеменныхъ. Можно ли такъ легко судить о народѣ, такъ легко воспитывать его посредствомъ какой-нибудь Насти, такого отвлеченнаго и легкаго лица; такъ не знать глубины убѣжденій и многаго, многаго въ народѣ, что для Насти темный лѣсъ, и гдѣ-бы тысячу разъ она потерялась и пала бы, почувствовавъ и понявъ свое безсиліе, если-бъ, къ счастью, могла хоть сколько-нибудь понять его. Можно ли это? Что сказать о такомъ поступкѣ?

Къ счастью, Настя и ей подобные не понимають и не могуть приблизиться даже къ глубокой сторонъ народа: это для нихъ непроницаемая тайна, запертое святилище. И сколько людей, именно въ наше время, именно въ нашей земль, такихъ, которые оторвались отъ народа, отъ естественной тяжести союза съ нимъ, умфряющей и утверждающей шаги человека, дающей ему действительность, и пошли летать и носиться, полные гордости и синсхожденія, такихъ людей, которые, будучи одаты въ европейское платье и заглянувъ въ европейскія книги, выучившись болтать на чужомъ языкв и приходить, какъ следуеть, въ заемный восторгъ отъ итальянской оперы, подходять съ указкою къ бедному, необразованному народу и хотять чертить путь его народной и внутренней и вившней жизни. Хотя бы они поглотили въ самомъ деле всю европейскую мудрость, но если они оторваны отъ народа и хотятъ оставаться въ этой оторванности, въ этомъ попугайномъ развитіи, если они свысока смотрятъ на него, — они ничтожны. Итакъ, Настя – явленіе поучительное. Ошибка автора въ томъ, что когда такой человекъ, какъ Настя, прикоснется къ народу, то совсемь не выйдеть такихъ результатовъ, какіе придумаль г. авторъ: напротивъ, какъ мыльный пузырь, лойнетъ такая попытка, если только, при перевъсъ спла на ея сторонъ, она не сдавитъ внъшнимъ образомъ народа".

Исторію такого мыльнаго пузыря Конст. Аксаковъ и хотѣлъ представить въ "Князѣ Луповицкомъ". Стоитъ остановиться на содержаніи этой комедіи, мало замѣчательной съ художественной точки зрѣнія, но интересной тѣмъ, что въ ней авторъ всего цѣльнѣе выразилъ свой взглядъ на современный ему народъ. Какъ всѣ кабинетные мыслители, Константинъ Аксаковъ большею частью виталъ въ тѣхъ самыхъ сферахъ отвлеченности отъ реальной, непосредственной народной жизни, за которую онъ такъ пушилъ князя Одоевскаго въ приведенныхъ только - что цитатахъ. Говоря о народѣ, Константинъ Сергѣевичъ всегда удалялся въ глубъ исторіи и сливалъ въ одно понятіе народъ удѣльнаго періода, народъ 1612 года и народъ

нашихъ дней. Сквозь туманъ восторженныхъ словъ о парадныхъ, такъ сказать, сторонахъ народной жизни, проявляющихся только въ великихъ историческихъ событіяхъ, у Константина Аксакова, какъ у всёхъ, впрочемъ, славянофиловъ, трудно было проглядёть, какъ онъ себъ рисуетъ народъ въ его повседневномъ, будничномъ быту, и только въ одномъ "Князѣ Луповицкомъ" онъ сколько-нибудь подробно и остановился на этой повседневной жизни нашего народа. Вотъ почему и любопытно ознакомиться съ названной "комедіей", самой по себф очень слабой, но зато дающей болфе детальный матеріаль для оценки практической, жизненной ценности народолюбія Конст. Сергвевича. И если еще вспомнить, что "Князь Луповицкій" писанъ въ 1851 г., т.-е. въ тъ же, приблизительно, годы, когда писались "Записки охотника", "Антонъ Горемыка" и другія произведенія изъ народной жизни, исходившія изъ противоположнаго лагеря, то на "комедін" Константина Аксакова можно будеть наглядно проследить разницу между демократизмомъ западническаго лагеря русской интеллигенціи и демократизмомъ славянофиловъ.

Содержание комедіи состоить воть въ чемъ:

Богатый князь Луповицкій, проживающій въ Парижѣ, въ одно прекрасное послѣ обѣда объявляетъ своимъ пріятелямъ, что онъ твердо рѣшилъ уѣхать на время въ Россію съ цѣлью "сивилизовать" своихъ крестьянъ. Пріятели его удерживають. Одинъ изъ нихъ—графъ Долонскій, заявляющій, что для него Россія есть мѣсто, откуда онъ получаетъ деньги, отказывается понимать намѣренія Луповицкаго:

"Вѣдь наши мужики, вѣдь это развѣ люди? Знаешь, какое ихъ назначеніе? Ихъ назначеніе, чтобы мы, люди образованные, могли наслаждаться всѣми удовольствіями сивилизаціп, с'est le mot; чтобы я, напримѣръ, могъ жить въ Парижѣ и, между прочимъ, обѣдать въ Café de Paris. Вотъ для чего мужики, чтобы намъ давать средства на всѣ сивилизованныя удовольствія; с'est leur mission sur la terre, ils ne sont bons, qu'a ça et c'est encore trop d'honneur pour eux".

Приблизительно то же самое думаеть другой пріятель—баронъ Салютинь, который, кромѣ того, проводить мысль, что если уже Луповицкій ни за что не хочеть отстать отъ своей блажи и непремѣнно уже хочеть "сивилизовать" своихъ крѣпостныхъ, то должень это сдѣлать силою:

"Э! mon ami, непремѣнно надо употребить силу; даже и убѣждать нечего пробовать: надо знать, съ кѣмъ быть деликатнымъ. Нужна желѣзная рука mon cher,—une main de fer. Такъ только надо учить необразованный народъ. Сломай его, сдѣлай изъ него тѣсто, faites en une pâte,—и потомъ лѣпи, что, угодно. С'est ainsi, que Pierre le Grand a agi envers nous. Ehbien, кажется, трудъ не потерянъ. Мы можемъ быть ему благодарны за это; мы, надѣюсь, стали вполнѣ образованными людьми, можемъ быть собою довольны. Force brutale est très neccessaire et très utile envers les brutes".

Луповицкій не поддается, однако же, пріятелямъ. Онъ полагаетъ, что "русскій народъ также часть человѣчества" и что поэтому "къ русскому народу, —дикому, положимъ, необразованному, положимъ, можно, однако же, привить просвѣщеніе европейское". Планъ его дѣйствій состоитъ въ томъ, чтобы "сивилизовать" и придать "видъ", какой надобно "тѣмъ "зародышамъ", которые уже есть въ народѣ.

Напримѣръ, благотворительность; вѣдь, конечно, мужикъ дѣлаетъ добро, n'est се раз? Но какъ онъ дѣлаетъ?—подаетъ нпщимъ; это грубо, необразованно, n'est се раз? Я возьму это свойство въ мужикѣ.—и сивилизую. Онъ будетъ, какъ-нибудь, что-нибудь дѣлать въ пользу бѣдныхъ, какъ мы дѣлаемъ; но баловъ, конечно, у нихъ нельзя завести, нужно что-нибудь другое: ужъ я придумаю".

И вотъ, запасшись "всѣмъ, что вышло на французскомъ языкѣ объ Россін", Луповицкій ѣдетъ въ свою деревню, гдѣ. собравши мужиковъ, произноситъ имъ, "ставши въ позу", слѣдующую рѣчь:

"Съ большимъ удовольствіемъ принимаю я изъявленіе вашей... вашей признательности, или скорфе любви ко миф, пробви, еще не заслуженной мною. Но я надъюсь заслужить ее. Върьте (одушевляя себя), о да, върьте, что и я люблю васъ. Я постараюсь устроить вашъ бытъ, передать вамъ плоды просвъщенія, роскошные плоды наукъ и некусствъ-(горячась). Ничего не пожалья для этого, никакихъ трудовъ, ни... безсонныхъ ночей, ни... утомительных дней, ни... препятствія природы, ни челов ческія препятствія не остановять меня.—Гдв ваши орудія, омоченныя не разъ благороднымъ потомъ вашимъ? Гдв соха, гдв пила? Дайте мев ихъ! Моя рука не побоится прикоснуться къ нимъ, если нужно.-Но важнайшій трудъ предстоитъ мић я говорилъ о немъ сейчасъ. - Это тв правственныя сокровища, которыя передамъ я вамъ, добытыя мною отъ Запада Европы, это-семена умственныя, которыя должень разсеять я здесь.-Вы поймете меня. Ваше сочувствие, въ которомъ я не сомиваюсь, будеть для меня лестною наградою. Повърьте мнь, я васъ уважаю, и докажу это! Вы можете считать на меня. (Пауза). Господа! я въ вашихь распоряженіяхъ. (Въ сторону). Какъ хорошо бы это было по-французски!"

Понятно, что крестьяне въ недоумѣніи молчатъ въ отвѣтъ на эту рѣчь.

Болъе детально развиваетъ Луповицкій отдъльные пункты своей "сивилизаціонной" программы въ разговоръ со старостой Антономъ. И тутъ-то начинается для Луповицкаго рядъ посрамленій, обусловленныхъ его полнъйшимъ незнаніемъ народной жизни. Дъло начинается съ того, что Луповицкій совътуетъ быть религіозными.

"Лупов. Исполняйте, что велить вамъ религія или вѣра. Староста. Мы исполняємъ, сколько силы нашей. Луп. Однако, Антонъ, явѣдь былъ сегодня въ церкви; конечно, я пришель не къ началу, однако служили еще,—и я видѣлъ, что народу не много. Стар. Да вы, батюшка, послѣ обѣдни пришли; а это служили молебны, такъ тѣ и остались, кто служиль, а другіе разо-

шлись. Луп. (сконфузившись). Да, точно, да, молебны.—Позволь, однако, позволь: тамъ священникъ давалъ крестъ цѣловать. Стар. Да какъ же, батюшка, это за всякимъ молебномъ бываетъ. Луп. (совсьми сконфузившись) Бываетъ, да, бываетъ, точно (принимается за завтракъ). Не хочешь ли ты позавтракать? Я велю тамъ подать (указываетъ ему на свой завтракъ). Стар. Нѣтъ, батюшка, не стану. Луп. Отчего? Стар. У насъ постъ, батюшка; это — скоромное. Луп. Постъ, —какой постъ? Стар. Петровки, батюшка. Луп Петровки (кладетъ вилку и ножикъ). Признаюсь, не зналъ".

Потерпѣвъ пораженіе по предмету насажденія религіозности, Луповицкій смотритъ въ бумажку, гдѣ у него намѣчены всѣ пункты его "сивилизаціоннаго" плана и переходитъ къ насажденію благотворительности:

Луп. Вотъ что я придумаль. Вы устройте у себя благотворительный хороводъ. Стар. Что-жъ это будетъ такое? Луп. А вотъ что. Когда у васъ соберутся для хоровода, -- каждый, кто захочеть участвовать, дасть по копъйки, или по полушкъ въ общую сумму, для бъдныхъ; а потомъ эти деньги и будеть раздавать нищимъ, настоящимъ нищимъ, тотъ, кого хоть я на значу. - А? хорошо? Стар. Умныя твои рачи, батюшка. Только вотъ что: у насъ есть въ церкви кружка для бѣдныхъ. Хороводъ-то веселье-то зачѣмъ? Луп. А веселье-то для того, чтобы охотнее дали; иной бы, можеть быть, безъ этой причины и не подаль, а для веселья подасть. Стар. Стало, батюшка, человъкъ ужъ тутъ не для Бога, а для своей потъхи нищему подасть. Гдъ-жъ тутъ доброе-то дѣло будетъ? Для души-то что? Луп. Положимъ, добраго дѣла собственно нътъ; для души, какъ ты выражаешься, нътъ; да все же польза. Стар. Ужъ коли, батюшка, въ такомъ деле святомъ, что нищему подать, для души ничего не будеть, такъ ужъ туть какая польза,—туть вредъ, да и какой. Въдь, какъ нищаго увидишь – и вздохнешь, и подумаешь, что вотъ-де нищая братья, да и подашь, такъ оно для души много. А тутъ, что это будеть? Гамъ, веселье. Что, дескать, вамъ о нищей братін думать; знай ве селись, да себя тышь: воть тебы и доброе дыло сдылаль.

Провалившись и тутъ, Луповицкій заводить рѣчь о грамотѣ и о томъ, чтобы завести школу. Староста согласенъ, что "грамота хорошее дѣло: ученье свѣтъ, а неученье тьма", но вмѣстѣ съ тѣмъ говоритъ барину: "Чѣмъ школу заводить, батюшка, а ты пономарю дай жалованье за выучку, за каждаго, хоть рубли четыре или хоть три, онъ тебѣ и учить станетъ и выучитъ". Луповицкій соглашается и только желалъ бы "книгъ накупить, книгъ для народа, приноровленныхъ къ понятію народа":

"Стар. Какія же это книги, батюшка? Луп. Есть много такихъ книгъ, нарочно написанныхъ для простого ума. Въ нихъ разсуждается о предметахъ, нужныхъ для крестьянъ; напримѣръ, о томъ, что такое быкъ? Стар. Выкъ? Луп. Ну да, быкъ. Я думаю, быкъ много значитъ въ вашемъ быту. Стар. Неужто же, батюшка, мы быка не знаемъ Неужели и того не знаемъ, около чего цѣлый вѣкъ ходишь. Луп. Тамъ не только о быкѣ; тамъ о нравственныхъ обязанностяхъ; тамъ говорится, что ненадо лгать, пьянство-

вать, ну... и такъ далъе. Въдь эти книги для васъ нужны. Стар. И по нашему, батюшка, не годится пьянствовать и лгать; да въдь кто-жъ этого не
знаеть? Не дълають только. Луп. Ну, да все же не худо объ этомъ еще почитать. Стар. Не худо, кто говорить, только ужъ объ этомъ давно написано
и хорошо написано; врядъ ли ужъ лучше написать можно. На это ужъ есть
книги. Луп. Гдъ? Какія? Стар. Священныя книги, батюшка. Вотъ ихъ-то
ты намъ купи, батюшка, сдълай милость".

Заводить, затьмь, Луповицкій рычь о неопрятности крестьянской:

"Посмотри, какія у тебя грязныя руки, вѣдь какая разница съ монми сравнивает свою руку съ рукою старости). Просто даже совѣстно. Стар. Кому, батюшка, совѣстно? Луп. Конечно, тебѣ должно быть совѣстно Стар. Э, батюшка, въ навозѣ возимся, какъ же быть-то? Оттого, батюшка, твои ручки и бѣлы, что наши черны,—ну, и на здоровье".

Не увѣнчивается большимъ успѣхомъ планъ Луповицкаго поднять крестьянскую нравственность посредствомъ награжденія за добрыя дѣла.

"Луповицкий. Если кто изъ огня кого-нибудь выхватить, ну тамъ, ну какъ-нибудь, еще номожеть, ну, денегь дасть,—такъ этому я даю кушакъ шелковой, шитый золотомъ, а женщинѣ жемчужныя серьги. Ты онять молчишь.—Неужто и это не нравится? Стар. Вотъ что, батюшка, я тебѣ скажу. Дѣлаетъ человѣкъ доброе дѣло: вѣдь онъ, батюшка, не изъ награды его дѣлаетъ; такъ ты наградою его обидишь, да и доброе-то дѣло ты не добромъ покажешь.—А коли для награды доброе дѣло кто едѣлалъ, такъ ужъ это какое доброе дѣло?—и награждать-то его не за что".

Такъ-то отбрилъ простой мужичекъ представителя парижской "сивилизацін" и, пунктъ за пунктомъ, разрушаетъ всю программу либеральнаго барина, такъ что тотъ, "совершенно сбитый съ толку", долженъ сказать себѣ: "Ваttu, completement battu. Какъ онъ уменъ, однако, этотъ Антонъ. Недаромъ говорятъ, что народъ русскій имѣетъ умъ, еще бы! бездну ума".

Но не только предъ умомъ "народа русскаго" приходится преклониться парижскому спвилизатору. Разыгрывается предъ его глазами такое зрѣлище: собираются его крестьяне на сходку затѣмъ, чтобы рѣшить, кого сдать въ рекруты. Большинство высказывается за то, чтобы отдать безроднаго пария Андрюху. Но такое рѣшеніе вызываетъ рѣзкій протестъ стараго крестьянина Прохора:

"Вы хотите Андрюху отдать; онъ, дескать, спрота. Такъ это, выходитъ, отдаемъ мы въ солдаты безпомощнаго. Спротство его, выходитъ, мы ему въ вину ставимъ.—Такъ ли? А? Подумайте. Не грѣхъ ли это будетъ? Виноватъ ли онъ, что спрота?—Что некому за нимъ поплакать, да поскорбѣть; такъ вѣдь онъ и самъ тому не радъ; вѣдь его горе—спротство-то; а тутъ мы къ горю да еще горе на него навалимъ.—Такъ, что ли? Нѣтъ, братцы; грѣхъ будетъ міру спроту обидѣть; передъ Богомъ грѣхъ; онъ плакаться на насъ Богу будетъ.—Ужъ если нѣтъ у него ни роду, ни племени некому заступиться, такъ міръ ему заступникъ. Вотъ, по-моему, какъ".

Слова Прохора производять впечатлёніе. Сходка соглашается, что, дъйствительно, "гръхъ будетъ сироту обидъть", и ръшаетъ, что у кого больше сыновей, тотъ и долженъ выставить рекрута. На бѣду оказывается, что больше всего сыновей у любимаго всеми старосты Антона. Какъ тутъ быть? Какъ тутъ соблюсти справедливость, какъ сдълать, чтобы и старосту не обидъть и вмъстъ съ тъмъ не заставить "помилованіемъ" старосты отдуваться кого-нибудь изъ прочихъ крестьянъ. И вотъ, по совъту того же правдолюба Прохора, сходка постановляеть купить рекрутскую квитанцію, которая стоить ни много, ни мало 800 руб. серебромъ. Съ удивленіемъ узнаеть объ этомъ рѣшенін Луповицкій, который быль увѣренъ, что отдадутъ Андрея. "Некому заступиться", говорить онъ въ изумленіи, "такъ міръ заступникъ... mais c'est sublime, c'est beau, ça!" "C'est de la clemence, c'est touchant", говоритъ онъ затъмъ, по поводу того, что старосту "помиловалъ" міръ: "il est imposant се міръ. Я сегодня очень доволенъ; сегодня прекрасный для меня день. Міръ познакомиль меня съ собой своимъ возвышеннымъ, истинно благороднымъ поступкомъ. Я убду отсюда съ большимъ почтеніемъ къ народу. Је vous estime, monsieur le peuple".

Таково содержаніе комедін, повторяемъ еще разъ, очень слабой въ литературномъ отношеніи, но очень удобной для выясненія основныхъ пунктовъ народолюбія Константина Аксакова. Въ историко-иублицистическихъ статьяхъ Константина Сергѣевича эти пункты изложены расплывчато, туманно, а главное разбросанно и отрывочно, такъ что для полученія полной картины пришлось бы прибѣгать къ мозаикѣ, здѣсь же все ясно до схематичности. Сама собою слагается такая формулировка:

- 1) Народъ не нуждается ни въ какихъ указаніяхъ, въ особенности со стороны нашихъ нахватавшихся верховъ европейской цивилизаціи "культурныхъ людей".
- 2) У народа есть свое стройное и устойчивое міросозерцаніе, не только вполнѣ пригодное для ежедневной, сѣрой крестьянской жизни, но способное выдержать натискъ міросозерцанія людей, безконечно превосходящихъ мужика образованіемъ и соціальнымъ положеніемъ.
- 3) Въ частности, у народа есть своя самобытная нравственность и своя, если и не. самобытная, то все-таки окрашенная самостоятельнымъ пониманіемъ религіозность; на совокупности нравственно-религіозныхъ представленій народа и строятся соціальныя отношенія крестьянской общины.
- 4) Народная нравственность основана на чувствахъ справедливости. Оба эти чувства народъ никогда не понимаетъ въ формальномъ, математическомъ смыслѣ. Вотъ почему, строго блюдя интересы всей

общины народъ все-таки заботится и о томъ, чтобы не только интересы меньшинства, но даже интересы отдёльныхъ личностей не страдали бы отъ соблюденія мірскихъ выгодъ.

- 5) Религіозность народа, какъ и нравственность его, не внѣшняя и не показная. Она есть удовлетвореніе внутренняго призыва къ добру.
- 6) Источникъ нравственности и религіозности народа кроется въ испов'єдуемой имъ православной вѣрѣ. Когда староста Антонъ пунктъ за пунктомъ, разрушилъ всю "сивилизаціонную" программу своего барина, между "сбитымъ совершенно съ толку" Луповицкимъ и его собес'єдникомъ произошелъ такой разговоръ:

"Луп. Антонъ, ты гдѣ учился? Стар. Нигдѣ, батюшка. Луп. Грамотѣ умѣешь? Стар. Умѣю, батюшка. Луп. Что ты читалъ? Стар. Церковныя книги, батюшка".

7) Совокупность всего вышесказаннаго создала глубоко-своеобразный правовой, экономическій и правственный институть—крестьянскій "міръ", который есть хранитель истинно-народныхъ традицій и панацея противъ тѣхъ золъ, которыя при иномъ строѣ повели бы къ цѣлому ряду соціальныхъ и индивидуальныхъ несправедливостей.

Таковы основные пункты народолюбія Константина Аксакова, прямо вытекающіе изъ его якобы "Комедін". Но есть въ этой пьесѣ еще кое-что, что не сразу бросается въ глаза и требуетъ кое-какихъ разъясненій. Разъясненій тѣмъ болѣе необходимыхъ, что дѣло идетъ объ основной чертѣ всего міровоззрѣнія Константина Аксакова. Мы говоримъ о томъ мажеорномъ тонъ, въ которомъ написанъ "Князь Луповицкій" и который характеризуетъ не только Константина Аксакова, но и всю славянофильскую школу. Этимъ тономъ Константинъ Аксаковъ отличается не только отъ западниковъ сороковыхъ годовъ, но и отъ народниковъ позднѣйшей формаціи, не менѣе его восторженно относившихся къ складу народной души и къ основамъ народно-общинной жизни. И является у Аксакова этотъ тонъ, потому что генезисъ его народолюбія не тотъ, что у народолюбцевъ противоположнаго лагеря.

Если мы, въ самомъ дѣлѣ, присмотримся къ исторіи западническаго народолюбія, намъ не трудно будеть убѣдиться, что источникъ его кроется: 1) въ чувствѣ жалости правственно-чуткихъ представителей русскаго культурнаго класса къ бѣдственному положенію мужика и 2) въ чувствѣ раскаянія, которое испытывали "сыны народнаго бича" при мысли о своей причастности грѣху вѣкового угнетенія крѣпостного раба. Мы уже знаемъ изъ общаго обзора эпохи Бѣлинскаго, что въ началѣ сороковыхъ годовъ, когда шедшія къ намъ изъ Франціи "филантропическія", по терминологіи того времени, идеи

привели къ необыкновенно яркому пробужденію общественных з чувствъ, вопросъ о народъ сталъ однимъ изъ центральныхъ вопросовъ времени. Мы знаемъ, что поколвніе, вся духовная жизнь котораго сосредоточилась на размышленіяхъ о томъ, справедливъ или несправедливъ существующій общественный строй, прежде всего стало больть душою за "униженныхъ и оскорбленныхъ" вообще и за русскаго крупостного мужика въ частности. Глашатай этого поколунія— "неистовый Виссаріонъ", съ тою же восторженною энергіею, съ которою онъ нѣкогда требоваль отъ писателей служенія чистому искусству, началь требовать отъ нихъ определенной общественной тенденцін, подразумѣвая подъ нею, по преимуществу, все ту же защиту "униженныхъ и оскорбленныхъ" вообще и мужика въ частности. И чутко внимавшіе пламенному искателю истины "молодые таланты того времени поддались неотразимому вліянію горячей уб'яжденности Бълинскаго и, точно сговорившись, почти въ одинъ и тотъ же годъ, предстали предъ изумленною публикою съ рядомъ превосходныхъ произведеній, въ основъ которыхъ лежали самыя широкія симпатін къ загнанному простолюдину. Явился Григоровичъ съ "Деревней" и "Антономъ Горемыкой", въ которыхъ впервые былъ показанъ человъкъ въ кръпостномъ мужикъ, явился Тургеневъ съ "Записками охотника", въ которыхъ то же желаніе очеловъчить мужика было проведено съ еще большею теплотою, явились первыя стихотворенія на народныя темы Некрасова, бросившаго подъ новымъ вліяніемъ прежніе "мечты и звуки" и посвятившаго отнынъ свою музу народнымъ страданіямъ и психологіи народной души.

Итакъ, желаніе выяснить, что крѣпостной рабъ есть тоже человѣкъ, и что, слѣдовательно, его страданія должны быть облегчены, — вотъ на чемъ зиждется народолюбіе писателей школы Бѣлинскаго. Но именно потому-то въ ихъ произведеніяхъ и не могло быть того мажорнаго тона, того изображенія народа бодрымъ и полнымъ сознанія своихъ внутреннихъ силъ, которое мы встрѣчаемъ въ произведеніяхъ славянофильскаго направленія.

Правда, могло быть мажорное *негодованіе*, но такъ какъ этому мѣшали цензурныя условія, то въ результатѣ и получилось, что почти всѣ произведенія изъ народной жизни, вышедшія изъ-подъ пера людей прогрессивнаго лагеря 40-хъ годовъ, написаны въ гуманно-сострадающемъ тонѣ, цѣль котораго вызвать и въ читателѣ состраданіе къ крестьянской недолѣ.

Изъ діаметрально-противоположнаго источника вытекло народолюбіе славянофиловъ или, чтобы держаться ближе предмета настоящей статьи, народолюбіе Константина Аксакова. Если Тургеневу, Григоровичу, Некрасову мужикъ былъ близокъ потому, что они въ

немъ видели человъка, и притомъ человека, нуждающагося въ сочувствін и помощи, то Константину Аксакову мужикъ былъ дорогъ, главнымъ образомъ, какъ хранитель "истинно-русскихъ" традицій. Не потому любилъ Константинъ Аксаковъ мужика, что мужикъ-нашъ меньшій брать, и, значить, должень имьть такое же мьсто за столомь жизненнаго ниршества, какъ и мы сами, а потому, что онъ видълъ въ мужикъ живой обломокъ дорогого ему древне-русскаго быта. И вотъ почему, совершенно закрывая глаза на реальную дъйствительность и на тъ печальныя условія, среди которыхъ протекла жизнь крупостного мужика, онъ изображаль ее въ такихъ оптимистическихъ краскахъ, въ такомъ мажорномъ тонъ, что иностранецъ, который, не зная другихъ произведеній, рисующихъ крапостной бытъ, захотель бы по "Князю Луповицкому", да и по остальнымъ писаніямъ Константина Аксакова составить себъ представление о крестьянской жизни въ эпоху крѣпостного права, вынесъ бы изъ этихъ писаній самое розовое впечатленіе. Такъ, въ "Князь Луповицкомъ" всь крестьяне очень зажиточны и въ порывѣ великодушія даютъ 800 рублей, изъ которыхъ 100 даетъ староста, представляющій собою, замътьте, не обычный типъ ворюги-старосты, обкрадывающаго барина и выжимающаго сокъ изъ мужика и потому имфющаго въ кубышкв не малую толику награбленныхъ денегъ. Напротивъ того, онъ-человъкъ высоко-честный и, следовательно, вполне нормальнымъ путемъ нажилъ свой достатокъ. Когда. еще неузнанный своими крестьянами, Луповицкій стороною спрашиваеть одну изъ попавшихся ему бабъ, какъ живется мужикамъ его деревни, она ему говорить: "Намъ гръхъ Бога гивнть, намъ хорошо". Словомъ, настоящая Аркадія. И если бы мы изъ всеобщихъ отзывовъ друзей и недруговъ не знали бы, что Константинъ Аксаковъ былъ человъкъ высоко-идеальнаго склада характера, весь горфвшій святымъ огнемъ стремленія къ истинь, то всь эти усилія выставить черное облымъ и ликовать тамъ, гдъ у другихъ вырывались стоны отчаянія, можно было бы причислить къ славославію Булгариныхъ и Гречей. Но именно потому, что сопоставление этихъ именъ было бы глубокимъ оскорбленіемъ для чистой памяти Константина Сергвевича, тутъ п не можеть быть рачи о сколько-нибудь намаренномъ квістизма и умышленномъ закрываніи глазъ. Нѣтъ, все дѣло тутъ въ томъ, что, упрекая другихъ въ кабинетности и незнаніи народа, Константинъ Аксаковъ, какъ улитка прожившій всю свою жизнь въ раковинь отцовского дома, самъ болье другихъ былъ въ этомъ повиненъ и считалъ "знаніемъ" народа изученіе былинъ Владимірова цикла и льтонисей. Живые же люди, съ которыми ему пришлось водить дружбу после разрыва съ кружкомъ Станкевича и Белинскаго, все эти Хомяковы, Самарины, Кпревскіе, наконець (почти всю жизнь) собственный отецъ его-были люди очень богатые, не имввшие рвшительно никакой надобности сколько-нибудь дурно обращаться со своими крестьянами. Если мы вспомнимъ, съ какимъ добродушіемъ относится Сергьй Тимофеевичь къ крыпостному праву, то намъ станетъ вполнъ понятнымъ, что и въ сынъ его, разъ онъ жизни не зналъ, только теоретическіе импульсы могли создать иное, болье озлобленное отношение. Но именно теоретические-то импульсы и направляли его на иные пути борьбы. Тѣ импульсы, которые вдохновляли бывшихъ друзей Константина Сергъевича на возможно ръзкій протесть противъ темныхъ сторонъ крупостного права, для него были несимпатичны уже въ источникъ своемъ: помимо того, что они шли съ Запада, они говорили о вражде и "фрондерстве", столь нелюбимыхъ имъ. Свое же общее міросозерцаніе и складъ восторженной натуры гнули въ сторону усматриванія положительныхъ сторонъ. Правда, это, въ конечномъ результатъ, не умаляло отвращение Константина Аксакова къ крвпостному праву, въ ненависти къ которому онъ едва ли уступалъ кому бы то ни было. Но со стороныто, для читателя-то, получалось очень странное впечатленіе, получался тотъ совершенно неумъстный мажорный тонъ, то идиллическое изображение крупостного люда, но поводу котораго каждый крупостникъ и рабовладелецъ могъ сказать: зачемъ отменять крепостное право, когда при немъ народу такъ хорошо живется.

Такимъ образомъ, по главному пункту, въ которомъ могло практически сказаться народолюбіе человѣка 40-хъ годовъ, Константинъ Аксаковъ проявилъ какой то академическій холодъ, совершенно не вязавшійся съ общимъ, горячимъ складомъ его личнаго и писательскаго характера. Онъ, который произнесъ въ теченіе своей литературной дъятельности такъ много негодующихъ словъ по адресу людей и понятій, всего только повинныхъ въ "обезьяничаніи" европейскихъ "шаблоновъ", болфе чфмъ рфдко говорилъ о бфдности и приниженности мужика. Предпочитая дъйствовать на пользу народа изображениемъ его высокихъ правственныхъ и умственныхъ качествъ, онъ весь уходилъ въ панегирические дифирамбы его историческому прошлому и современному бодрому самосознанію. Но не имфетъ дифирамбъ такого доступа къ сердцу читателя, какъ слово состраданія и сожальнія, и воть почему народолюбіе "оторванныхь" отъ почвы западниковъ было практически плодотворнее, чемъ народолюбіе одвишагося въ мурмолку Константина Сергвевича. Эти "оторванные" люди получили величайшую награду, какая только можетъ быть для писателя-ихъ произведенія дали огромный толчокъ освобожденію народа изъ подъ въкового гнета. Все русское общество,

начиная съ императора Александра II, именно на Тургеневъ, Григоровичъ и частью на Некрасовъ воспитало свое отвращение къ кръпостному праву, а дифирамбы Константина Аксакова были въ свое время извъстны только его друзьямъ и журналистамъ, а теперь - историкамъ литературы.

Сформулировавши на стр. 413 основные пункты народолюбія Константина Аксакова и давши затвиъ характеристику общаго тона этого народолюбія, мы ознакомили читателя съ одною изъ наиболье существенныхъ сторонъ его духовной физіономіи. Перейдемъ теперь къ другимъ руководящимъ идеямъ его и къ другимъ родамъ литературной деятельности, въ которыхъ разбрасывавшійся на всё стороны Константинъ Сергъевичъ упражиялъ свое разнообразное творчество и къ которымъ примънялъ свои общирныя и разнообразныя познанія. Такъ великъ былъ пылъ этого пламеннаго искателя истины и такъ стремителенъ напоръ переполнявшихъ его чувствъ, что онъ въ теченіе 25 літь своихъ научно-литературныхъ занятій не могъ сконцентрироваться на чемъ-нибудь одномъ. Стихи, драмы, критика, исторія вообще, исторія литературы въ частности, публицистика, филологія, все это шло въ перемежку и все это интересовало автора не само по себъ, а какъ средство пропагандировать свои общественнополитические взгляды.

III.

Въ хронологическомъ порядкъ Константинъ Сергъевичъ послъ "изящной словесности" раньше всего сталь работать на поприщъ критики, начавъ съ мелкихъ рецензій въ "Московск. Наблюдатель", редакцією котораго въ концѣ 30-хъ годовъ завѣдывалъ Бѣлинскій и его друзья. Въ 1842 г. Аксаковъ издаетъ небольшую брошюру о "Мертвыхъ душахъ". Самой брошюры, ставшей чрезвычайною библіографическою редкостью, намъ, къ сожаленію, не удалось видеть, но о ней даютъ весьма полное понятіе двѣ посвященныя ей статейки Бѣлинскаго и сердитый отвъть на нихъ, напечатанный задътымъ Константиномъ Аксаковымъ въ "Москвитянинъ" 1842 г. (№ 9). Вирочемъ, весь этотъ инцидентъ любопытенъ не столько самъ но себъ, сколько для характеристики взаимныхъ отношеній полемизировавшихъ. Недавніе горячіе друзья обмѣнивались такими колкостями, что, со стороны глядя, трудно было допустить мысль, что еще какихъ-нибудь два года раньше противники души не чаяли другъ въ другъ. Да и самый объектъ спорачерезчуръ восторженное отношение Константина Аксакова къ Гоголю довольно удивителенъ для всякаго, кто знаетъ, что именно въ кружкф

Бѣлинскаго и развилось пламенное "гоголефильство" автора брошюры. Но и то сказать, "гоголефильство" "гоголефильству" рознь. Если у Бѣлинскаго хватило мужества еще въ 1835 г. такъ-таки еп toutes lettres написать, что Гоголь—геній, то это одно изъ самыхъ блестящихъ проявленій его критической проницательности. Но когда не знавшій удержу въ своихъ симпатіяхъ Константинъ Сергѣевичъ написалъ, что въ "Мертвыхъ душахъ" воскресаетъ древній эпосъ и что, по "акту творчества", рядомъ съ Гоголемъ могутъ быть поставлены только Гомеръ и Шекспиръ, то это была простая безвкусица.

О внѣшней формѣ восторженнаго по содержанію панегирика Бѣлинскій отозвался такимъ образомъ:

"Брошюра г. Константина Аксакова вся состоить изъ сухихъ, абстрактныхъ построеній, лишенныхъ всякой жизненности, чуждыхъ всякаго непосредственнаго созерцанія, и поэтому въ ней нъть ни одной яркой мысли, ни одного теплаго, задушевнаго слова, которыми ознаменовываются первыя и даже с мыя неудачныя попытки талантливыхъ и пылкихъ молодыхъ людей, и потому же въ ея изложеніи видна какая-то вялость, расплывчатость, апатія, неопредъленность и сбивчивость".

Зная высокій нравственный обликъ Бълинскаго, невозможно даже на одну минуту допустить, чтобы этоть отзывъ быль продиктованъ чьмъ-нибудь инымъ, кромъ искренняго желанія дать читателю понятіе о литературной сторонь брошюрки. Самый же факть совершеннаго несоотвътствія вялой формы и восторженнаго содержанія можно объяснить отчасти темъ, что, какъ мы уже отметили разъ, панось мысли и чувства вообще не соотвътствоваль въ произведеніяхъ Константина Аксакова павосу изложенія. А еще болье тьмъ, что брошюрка, судя по выдержкамъ, приведеннымъ у Бѣлинскаго, писана на томъ малопонятномъ и донельзя путанномъ гегеліанскомъ жаргонь, который одинь остроумный московскій профессорь 40-хъ годовъ назвалъ "птичьимъ языкомъ". Этотъ "птичій языкъ" портиль статьи даже такого блестящаго стилиста, какъ Герценъ, который самъ впоследстви добродушно сменлся надъ слогомъ своихъ гегеліанскихъ мудрствованій. Мы уже знаемъ, что страсть всюду видёть подтвержденіе гегеліанскихъ тезисовъ доходила у членовъ кружка Станкевича до того, что "человекъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шель для того, чтобы отдаваться пантенстическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогъ какой-нибудь солдать подъ хмелькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредълялъ субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайномъ явленін". Брошюрка К. Аксакова, даже въ тёхъ только частяхъ,

которыя приведены у Бѣлинскаго, написана точно нарочно для того, чтобы иллюстрировать эту характеристику. Такъ, между прочимъ, по "птичьей" терминологіи юнаго гегеліанца выходило, что, любя ѣзду на тройкахъ, Чичиковъ не просто любилъ скорую ѣзду, а сливался въ это время съ субстанціей русскаго народа, тоже любящаго ѣзду на тройкахъ.

Пять лѣтъ спустя—въ "Московск. Сборникъ" 1847 г. Константинъ Сергъевичъ выступаетъ подъ псевдонимомъ Имрека съ тремя критическими статьями болье виднаго литературнаго значенія. Съ первой изъ нихъ, гдф авторъ въ лицф князя Одоевскаго напустился на всвхъ "оторванныхъ" отъ народа интеллигентовъ вообще, мы уже знакомы. Вторая посвящена "Опыту исторіи русской литературы" извъстнаго въ свое время ученаго Никитенко и вся состоитъ изъ очень грубыхъ выходокъ противъ петербургскаго профессора, болве всего провинившагося предъ рецензентомъ своимъ пренебрежительнымъ отношеніемъ къ допетровской старинь, Жестоко ему достается за одно мъсто, гдъ онъ говоритъ о "звърскихъ брадатыхъ лицахъ" стрѣльцовъ. Но самое большое негодование критика возбудила одна тирада Никитенко, защищающая Петровскую ломку такими доводами: "Что за важность, если бы даже для облегченія по этой дорогь пришлось бросить накоторыя изъ старинныхъ привычекъ, надать новое платье, выбрить бороду, пить для подкрапленія силь чай и кофе вмёсто охмёляющаго питья, отдыхать отъ трудовъ въ опрятныхъ и удобныхъ домахъ вмёсто дымныхъ логовищъ".

"Поговищъ!"—со справедливымъ негодованіемъ восклицаетъ критикъ по поводу этой, дъйствительно, возмутительной тирады.—"Мъсто, гдъ живетъ дикій звърь! Такъ называетъ г. Никитенко наши крестьянскія избы! Ибо ни къ чему другому не могутъ относиться его слова. Если онъ говоритъ про прошедшее, то бояре и прежде Петра не живали въ дымныхъ палатахъ; а наши бъдныя дымныя избы носятъ на себъ и теперь весь отпечатокъ древней Руси; итакъ, только къ нимъ могутъ относиться эти изумительныя слова. Но, оставя въ сторонъ такую нѣжность выраженія, которую видно допускаетъ просвъщенный и гуманный европеизмъ г. автора, спросимъ: развъ это зависитъ отъ выбора—опрятный и удобный домъ? Развъ нѣтъ тутъ матеріальныхъ условій богатства? Развъ не согласился бы всякій промънять дымную избу на избу (или домъ), построенную опрятно и удобно?—Кажется—это не пужно доказывать. Налагать же упрекъ бъдности на народъ, который живетъ въ дымныхъ логовищахъ, какъ имѣлъ духъ сказать г. Никитенко,—это невыносимо".

Вотъ какую ноту взялъ вознегодовавшій критикъ въ нылу полемики! Мало она имѣютъ общаго съ тѣмъ мажорнымъ тономъ, который составляетъ главную особенность большинства другихъ писаній Константина Аксакова, трактующихъ о народѣ. Но это-то и доказываєтъ справедливость сказаннаго нами выше по поводу народолюдія

Аксакова, это-то и доказываетъ, что онъ меньше западниковъ скорбълъ о бъдности народной, но только класть жалость въ основу своего народолюбія, какъ дълали западники, мъшала ему доктрина, по которой не жалъть должны мы народъ, а, напротивъ того, завидовать ему и поучаться у него.

Третья статья Имрека - Аксакова въ "Московск. Сборн." разбираетъ изданный Некрасовымъ "Петербургскій Сборникъ", въ составъ котораго, какъ извъстно, входили произведенія почти всъхъ представителей тогдашней молодой прогрессивной литературы. Не любилъ ихъ Константинъ Сергъевичъ, очень не любилъ. И все за ту же "оторванность" отъ народа. Больше всего, впрочемъ, досталось Достоевскому за "Бъдныхъ людей" и "Двойника", въ которыхъ критикъ видълъ неудачное подражаніе Гоголю. Попало и Тургеневу, по мнънію критика, пишущему "постоянно плоше и плоше". Поэму Майкова "Двъ судьбы" Имрекъ "прочелъ съ непріятнымъ и грустнымъ чувствомъ". Что же касается статьи Бълинскаго о русской литературъ, то въ ней петербургскій критикъ "обнаружилъ невъжество" и въ общемъ его статья есть "болтовня, повтореніе столько разъ повторявшейся болтовни о русской литературъ, болтовни, которую встръчали мы въ "Отечественныхъ Запискахъ".

Впрочемъ, не одно только осуждение вызывали "петербургские" литераторы въ Имрекъ. Такъ какъ вражда къ нимъ была въ московской критикъ исключительно идейная, то всякая черточка въ литературной дъятельности противниковъ, сколько-нибудь симпатичная Константину Сергъевичу и совпадающая съ основами его общественно-политическаго міросозерданія, встръчала съ его стороны самое горячее одобреніе. Такъ, статью Искандера онъ причислилъ къ "числу умныхъ, замъчательныхъ", и за то причислилъ, что она ръзко бичевала ту условную ложь, которая у насъ въ обществъ считается признакомъ благовоспитанности и которую, какъ читатель, въроятно, помнитъ изъ приведенныхъ выше воспоминаній г. Бицына, Константинъ Аксаковъ ненавидълъ всёми силами своей невыносившей никакихъ компромиссовъ чистой души.

Удёлиль Имрекъ нѣсколько сучувственныхъ строкъ и стихотворенію Некрасова "Въ дорогѣ", гдѣ такъ симпатично обрисованъ ямицикъ, несчастный въ своемъ неравномъ бракѣ съ крестьянкой, получившей барское воспитаніе. Но въ рѣшительный восторгъ привелъ его своимъ первымъ отрывкомъ изъ "Записокъ охотника" Тургеневъ. Только-что отдѣлавъ его самымъ немилосерднымъ образомъ за тѣ произведенія, которыми Тургеневъ началъ свою писательскую карьеру, Имрекъ тутъ же поставилъ звѣздочку и въ примѣчаніи написалъ:

"Мы должны указать на появившійся въ 1 № "Современника"

превосходный разсказъ г. Тургенева Хорь и Калинычъ. Вотъ. что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: въ мигъ дается сила! Пока г. Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвяхъ, да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгонзмѣ,—все выходило вяло и безталантно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ, и посмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, танвшійся въ сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ въ мигъ обнаружился и какъ сильно и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ. Всѣ отдадутъ ему справедливость: по крайней мѣрѣ мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ г. Тургеневу продолжать по этой дорогѣ".

Но всего обстоятельные изложиль Константинь Сергыевичь свой взглядь на нашу литературу вообще и на писателей эпохи 40-хъ и 50-хъ гг. въ частности въ обширномъ "Обозрыни современной литературы", напечатанномъ въ "Русской Бесыдь" 1857 г. Обозрыне состоить изъ небольшихъ замычаній чисто-литературнаго свойства, высказанныхъ по поводу отдыльныхъ произведеній, только-что тогда появившихся, и изъ оцынокъ общихъ, которыя даютъ намъ возможность формулировать дальныйшіе пункты міросозерцанія Аксакова.

Что касается отдёльных замёчаній чисто-литературнаго свойства, то нельзя сказать, чтобы они отличались особенною тонкостью и глубиной. Мъстами же критикъ доходитъ даже до больщой безвкусицы. Такъ, находя, что плеяда поэтовъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, т. е. Тютчевъ, Фетъ, Полонскій, Майковъ, Некрасовъ, Мей, Щербина, представляють собою сравнительный упадокъ русской поэвін, онъ кого же изъ оставшихся въ живыхъ представителей "прошедшей эпохи стихотворства" противопоставляеть имъ въ назиданіе? "Лира Жуковскаго", говоритъ онъ, "еще недавно звучала гармонически съ береговъ Рейна; иногда раздадутся замысловатые, и подчасъ полные чувства, стихи Вяземскаго, умные и колкіе стихи М. Дмитріева, или по-своему некогда мелодическіе стихи Ө. Глинки". Чтобы не очень отвлекаться въ сторону, не станемъ пускаться въ требующее детальности разсмотржнію вопроса о томъ, насколько "замысловатые" стихи Вяземскаго и произведенія послёднихъ лётъ жизни Жуковского значительнью произведеній вышеперечисленныхъ поэтовъ плеяды 40-хъ и 50-хъ годовъ. Но серьезно противопоставлять имъ какого-нибудь Өедора Глинку или бездарнаго Михаила Дмитріева, про котораго Соболевскій такъ върно сказаль:

Онъ камеръ-юнкеръ при дворф И камердинеръ на Парнасф,—

это уже грубъйшая безвкусица.

Не свидътельствуетъ также о тонкости пониманія такая характеристика писательской манеры Тургенева: "У г. Тургенева, собственно, въ разсказахъ, не касающихся крестьянскаго быта, развилась чрезмърная подробность въ описаніяхъ: такъ и видно, что авторъ не прямо смотритъ на предметъ и на человѣка, а наблюдаетъ и списываетъ (Курсивъ Аксакова). Онъ чуть не сосчитываетъ жилки на щекахъ, волоски на бровяхъ". "Жажда быть вѣрнымъ дѣйствительности", говоритъ въ другомъ мѣстѣ критикъ, "доходитъ часто до цинизма у г. Тургенева". Но всего страннѣе читать слѣдующій упрекъ Тургеневу:

"Андрей Колосовт еще весь проникнуть твить лермонтовскимъ направленіемъ, которое подъ ложнымъ видомъ будто бы силы скрываетъ только совершенное бездушіе, самый сухой эгонзмъ и крайнее безстыдство; эта сила—вещь весьма дешевая, какъ скоро бороться не съ чвить. Повъсть "Три портрета" самымъ возмутительнымъ и оскорбительнымъ образомъ выражаетъ то же направленіе. Изт уваженія къ г. Тургеневу мы бы не пожелали видъть этой повъсти въ печати".

Желаніе—поистинѣ удивительное! Выходитъ, такимъ образомъ, что авторъ виноватъ, если выведенныя имъ лица несимпатичны. Всякій, кто читалъ "Три портрета", помнитъ, конечно, какую они даютъ рельефную картину прошлаго, и именно то, что Аксаковъ изъ повѣсти почерпнулъ матеріалъ для сдѣланной выше (и совершенно правильно) характеристики людей печоринскаго склада, именно этото и показываетъ, что, какъ художникъ, Тургеневъ исполнилъ свою задачу выпукло и ярко. Для полной послѣдовательности критику слѣдовало бы желать "не видѣть въ печати" и "Героя нашего времени", гдѣ впервые выведенъ ненавистный для него "сухой эгонзмъ", скрывающійся подъ "видомъ будто бы силы".

Чтобы покончить съ чисто-литературными вопросами разсматриваемой статьи, мы должны отмѣтить въ ней одну подробность, на которую, насколько намъ извѣстно, до сихъ поръ не было обращено вниманія и которая, однако, весьма любопытна для исторіи нашихъ литературныхъ теченій.

Уже при разборѣ стихотвореній Константина Аксакова было сказано, что враждебная идеямъ 60-хъ годовъ часть журналистики любила и любитъ подчеркивать, что такъ называемая "гражданская поэзія", отодвигающая на второй планъ непосредственно-художественныя цѣли, введена въ русскую литературу Некрасовымъ и прогрессивною критикою Добролюбова и Писарева. Утвержденіе это мы находили только наполовину вѣрнымъ, доказывая, что если присмотрѣться къ славянофильской поэзіи, то нетрудно убѣдиться, что въ лицѣ наиболѣе даровитыхъ представителей своихъ она задолго до движенія 60-хъ годовъ рѣшительно отвергла завѣтъ Пушкина

быть поэзіей "звуковъ сладкихъ и молитвъ" и всецѣло посвящала себя "житейскимъ волненіямъ" и "битвамъ".

Въ разсматриваемой статъв мы находимъ теоретическое обоснование такого пониманія поэзін и даже прямое провозглашеніе тенденціозности:

"Въ наше время", говоритъ Константинъ Аксаковъ, "поэтическое произведеніе, котя написанное съ талантомъ (пбо таланты всегда возможны), можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извѣстенъ анекдотъ о математикѣ, который, выслушавъ изящное произведеніе спросилъ: что этимъ доказывается? Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ, произведеніи, является вопросъ, что этимъ докозывается? Таковы эпохи исканій, изслѣдованій, трудовыя эпохи постиженія и рѣшенія общихъ вопросовъ. Такова наша эпоха" (стр. 15).

Это общее воззрѣніе критика легло въ основу отдѣльныхъ характеристикъ его. Такъ, къ Фету онъ относится насмѣшливо:

"любовь, любовь, любовь; милая, милая и милая: вотъ что на всѣ лады, не уставая, воспѣваетъ г. Фетъ".

Столь же мало удовлетворяеть его Мей, хотя онъ отмъчаеть у него "звучный прекрасный стихъ". Въ антологическихъ стихотвореніяхъ Щербины, которыми такъ восхищались эстетики 40-хъ и 50-хъ годовъ, онъ видитъ только "излишество" сочувствія къ древнему міру. По поводу же "Губернскихъ очерковъ", которые кажутся Константину Сергъевичу "не произведеніемъ искусства, а ораторскою ръчью", онъ говоритъ:

"И въ добрый часъ! намъ нужны такія рѣчи. Сочиненія г. Щедрина имѣють общественный интересь—и воть главная причина ихъ усиѣха! Мы говорили уже, какъ важенъ общественный элементь въ Россіи, и то, что это существенный элементь пашей литератури. Законное негодованіе, съ которымъ представлены всѣ общественныя искаженія, слышное даже тамъ, гдѣ авторъ, повидимому, въ сторонѣ, не можетъ не находить сочувствія во всѣхъ хорошихъ людяхъ и въ цѣломъ обществѣ. Усиѣхъ "Губернскихъ очерковъ" есть утѣшительное явленіе" (стр. 36).

Если вспомнить, что всё только-что приведенныя нами выдержки относятся къ началу 1857 г., то въ представленія наши объ исторіи нарожденія на Руси утилитарно-публицистическаго взгляда на искусство должна быть внесена важная поправка. Принято считать основателемъ публицистической критики въ русской литературё Чернышевскаго, Добролюбова и продолжателя ихъ Писарева. Такъ оно, дёйствительно, и есть, потому что та часть русскаго общества, которая усвоила себѣ новый взглядъ на искусство, вычитала его именно въ пользовавшихся огромною популярностью статьяхъ Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева, а никакъ не у Константина Аксакова,

статьи котораго читались самымъ незначительнымъ въ тѣ годы кружкомъ адептовъ славянофильства. Въ частности, Фетъ былъ свергнутъ съ пьедестала не насмѣшливымъ отношеніемъ критики "Русской Бесѣды", а вышучиваніемъ критика "Русскаго Слова". Такимъ образомъ, фактичеки К. Аксаковъ весьма мало причастенъ дѣлу разрушенія старыхъ эстетическихъ понятій. Но такъ какъ писателя можно осуждать или восхвалять исключительно по его намѣреніямъ, а не по тому, нашлись ли люди, которые вняли его проповѣди, то послѣ приведенныхъ выписокъ всѣ, которые ставятъ насажденіе публицистическаго взгляда на искусство въ вину Добролюбову и Писареву, должны не забывать въ своихъ діатрибахъ и главаря славянофильства—Константина Сергѣевича Аксакова. Хронологически онъ раньше провозгласилъ ту теорію служебнаго значенія искусства, которою знаменуется эпоха конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ.

И не только раньше, но отчасти и ризие, по крайней мфрф, сравнительно съ Добролюбовымъ. Добролюбовъ только внутреннимъ смысломъ своихъ статей доказывалъ, что больше всего слфдуетъ цфнить въ литературныхъ произведеніяхъ ихъ общественное значеніе. Но такъ-таки прямо написать, что "общественный элементъ есть существенный въ литературф нашей", какъ это написалъ Конст. Аксаковъ, или сочувствовать математику, который требовалъ, чтобы произведеніе искусства что нибудь "доказывало", до такого утилитаризма ни авторъ "Темнаго царства", ни Чернышевскій не доходили.

Что касается общихъ взглядовъ Константина Аксакова на русскую литературу, то они прежде всего заключаются въ бичеваніи подражательности нашей письменности. Начало этой подражательности онъ почему-то ведетъ исключительно отъ Петра, хотя ему ли, какъ знатоку исторіи русской литературы, было не знать, какую первенствующую роль игралъ элементъ подражательности въ нашей допетровской словесности, чуть ли не на половину состоявшей изъ прямыхъ переводовъ и передълокъ иностранныхъ образцовъ. Въ исторіи "легкаго и веселаго труда подражанія" и въ ходѣ "глотанія готовой, чужими руками изготовленной умственной инщи", въ чемъ повинны, "впрочемъ, только верхніе классы", К. Аксаковъ усматриваетъ два періода-до и послів-карамзинскій. Въ первомъ мы подражали западно-европейскому классицизму, который "былъ, въ свою очередь, безжизненное поклонение древнему міру", и такъ какъ "эта классическая литература Европы, подражая древнему міру, уже лишенному жизни, была непоцвижна", то и "наша послушная литература, вдвойнъ подражательная, была въ ту эпоху тоже неподвижна". Карамзинъ "уничтожилъ это двойственное подражание и предложилъ лучше подражать самой Европъ. Тяжесть двойныхъ оковъ была крайне неудобна и съ радостью вняла наша литература гласу новаго прателя, новаго подражателя. Съ этой эпохи, съ Карамзина, литература наша, наоборотъ, сдълалась подвижна въ высшей степени, ибо элементь подражанія быль не классицизмь европейскій, а сама Западная Европа, въ совокупности всёхъ своихъ народовъ. Подражать было здёсь гораздо легче, пріятнёе и интереснее, при вотъ дело пошло живве. Переимчивость составила съ этихъ поръ характеристику нашей литературы". Но тутъ-то и кроется источникъ ея крупнъйшихъ непостатковъ. "Достаточно этой быстроты перемънъ для того, чтобы оценить и понять смысль и достоинство нашей словесной дъятельности. Мы знаемъ, что серьезный и самобытный ходъ иначе движется, что, при глубинъ общаго основанія, не легко отдълываются отъ одного убъжденія и принимають другое. Но литература наша-собраніе чужихъ формъ, разныхъ отголосковъ, и только. Вотъ почему такъ быстро мъняются формы, не утвержденныя на прочной мысли; вотъ почему безпрестанно переливаются отсвъты и отблески, лишенные собственнаго свъта и блеска. Таланты, разумвется, у насъ есть; но мы говоримъ не объ отдельныхъ талантахъ, а объ общемъ ходъ литературы, котораго не измъняютъ и таланты". Представляя затёмъ перечень литературныхъ направленій послёднихъ десятилетій, критикъ говорить: "Почти не стоить нападать на произведенія того или другого литературнаго направленія или школы: не имъл поддержки внутри, они падаютъ собственнымъ безсиліемъ, собственнымъ истощеніемъ". Для современной ему литературы Аксаковъ не дълаетъ исключенія. Онъ убъжденъ, что "и современная ложь ея не замедлить обнаружиться и исчезнуть, и если погодить критиковать, то какъ разъ и критиковать опоздаешь, ибо все падаетъ само собою".

Но если русская литература полна "лжи", если она "безплодна", какъ увъряетъ критикъ, то что же нужно сдълать для того, чтобы лживыя и безплодныя теченія замѣнились теченіями болѣе плодотворными?

На всё эти вопросы статья, какъ она ни обширна и детальна, прямого отвёта не даетъ. Какъ и всё славянофильскія писанія, статья богата негодованіемъ и критикою, но въ положительной части своей, въ начертаніи программы практической дёятельности, не идетъ дальше самыхъ общихъ и потому совершенно неопредёленныхъ указаній. Нельзя же въ самомъ дёлё, даже при полномъ желаніи послёдовать, назвать указаніемъ слёдующее мёсто, хотя оно еще самое опредёленное во всей статьё. Критикъ отмёчаетъ, что мы всегда жили "чужимъ, заемнымъ умомъ", и только теперь нашлись люди, т. е. славянофилы, которые "догадались, что это не жизнь". "Но

гді же жизнь?"—задаеть вопрось пророкь "догадавшагося" направленія:

"Этотъ вопросъ, эта потребность, а следовательно, и возможность жизни, жизни настоящей, самобытной, вънасъпробудилась. Вмфстфсътфмъ, какъ бы въ отвътъ на вопросъ, вниманіе наше обратилось ко всьмъ самобытнымъ проявленіямъ русской жизни, въ древней исторіи, къ обычаямъ народнымъ, къ устройству народной общественности, къ языку, ко всему, въ чемъ высказывается Русь. Хотя и здёсь раздичны точки эрёнія, хотя подражательный взглядь и здесь еще думаеть удержаться, но уже образовалосьцелое направленіе, въ сущности очень простое, направленіе, основанное на томъ, что русскимъ надо быть русскими, другими словами, что безъ самостоятельности умственной, и жизненной-все ложно (курсивъ автора). Если самостоятельности въ насъ натъ и быть не можетъ, то подобная истина для насъ безполезна и насъ не возстановитъ духовно. Если же у насъ есть самостоятельность и только лишь подавлена и спить, то достаточно сознавія въ ен необходимости, чтобы она пробудилась сама. Поднять огромный вопросъдля русскихъ людей, вопросъ: быть иль не быть? Быть же не собою-для человъка не значить быть".

Можно ли, повторяемъ, извлечь какое бы то ни было практическое указаніе изъ этого болѣе чѣмъ туманнаго рецепта? И удивительно ли, что сейчасъ приведенныя мысли Конст. Аксакова пріобрѣли себѣ кое-какихъ приверженцевъ при жизни его и довольномногочисленныхъ послѣ смерти, но приверженцевъ—теоретиковъ же, т. е., людей, повторявшихъ слова учителя во всей ихъ туманности и неопредѣленности, и совсѣмъ не пріобрѣли себѣ приверженцевъ-практиковъ, которыми въ данномъ случаѣ могли быть писатели художники?

И вотъ почему нельзя не назвать крайне неудачнымъ пророчествомъ заключительныя слова разсматриваемой статьи, которыя, кромѣ того, крайне любопытны, какъ общее резюме отношенія Константина Аксакова къ современной ему литературѣ:

"Что же скажемъ мы въ заключение нашего обозрвния современной литературы? Она многоплодна, это не подлежитъ сомнанію. Передъ нами множество писателей, и множество произведеній, но нать основной мысли, которая бы двигала эту массу повъстей, романовъ, комедій и пр. Въ самомъ этомъ отсутствін общей мысли есть свой смысль. Это отсутствіе общей мыслиэта безполезность талантовъ выражають, по нашему мижнію, прекращеніе литературы, начавшейся съ Кантемира, духъ которой въ основаніи быльподражательность. Эта литература давала намъ поэтическія произведенія, болье или менье отвлеченныя, произведенія истинных талантовь, понавшихъ на общій ложный путь; она давала намъ ихъ, пока не замкнула своего круга, пока не истощила своихъ силъ, пока не поколебалась въра въ ел направленіе. Но теперь наступила эта минута, и прежняя литература, послѣ полутораста лать своей даятельности, впала въ совершенное безсиліе. На рубежь ея стоить Гоголь, величайшій писатель русскій, не договорившій своего слова (sic), которое рвалось уже въ новую область. Когда рышится задача, чемъ станетъ русская поэзія, - это дело будущаго. Въ настоящее время передъ нами толпа писателей, покинутыхъ духомъ прежней эпохи, свидътельствующихъ собою о прекращени цълаго направления. У насъ есть нъсколько авторовъсъзамъчательнымъ талантомъ, которые, хотя ничего не измъняютъ въ общемъ состояни нашей литературы, не даютъ иного направлени ея ходу, но въ пихъ свътится какая-то, чуть видная заря литературнаго будущаго дня; она исчезнетъ, какъ скоро появится солице".

Подъ появленіемъ солица туть, конечно, разумфется полное воспринятіе нашею художественною литературою славянофильскихъ тепденцій, договариваніе слова, которое не успѣлъ сказать Гоголь, рвавшійся въ "новую область". И если вспомнить, что стремленіе Гоголя въ "новую область" привело къ "Перепискъ съ друзьями" и къ исканію "положительныхъ" сторонъ русской жизни тамъ, гдъ неотуманенный мистицизмомъ умъ всего менъе можетъ ихъ усмотръть; если, затемъ, бросить хотя бы самый беглый взглядъ на ходъ новъйшей литературы, то нельзя будеть не признать, что даромъ предвиденія Конст. Сергевичь не обладаль. Почти полвека прошло съ тъхъ поръ, какъ написаны только-что приведенныя слова и какъ мало они сбылись. Солнце-то, действительно, взошло, но только совсёмь не съ той стороны, съ какой его ожидалъ Константинъ Сергъевичъ. Всъ эти лишенные "основной мысли" и стоявшіе на "ложномъ пути" таланты далеко, далеко ушли отъ той "новой области", куда ихъ звалъ Константинъ Аксаковъ. И темъ не мене они успели создать литературу, передъ которой въ изумленіи остановилась даже привыкшая смотръть на насъ, какъ на варваровъ, Западная Европа.

Отъ К. Аксакова-критика перейдемъ къ К. Аксакову-историку литературы, т. е., къ его магистерской диссертаціи, появившейся въ 1846 г. и озаглавленной: "Томоносовь вы исторіи русской литературы и русскаго языка". Въ этой области онъ менће всего интересенъ. Какъ научное изследованіе, книга имеетъ весьма мало значенія. Но столь же мало значенія она имфетъ для обрисовки руководящихъ идей Константина Сергвевича. Въ снабженной ивмецкимъ эниграфомъ (изъ Гете) диссертацін своей, К. Аксаковъ еще мало похожъ на того пламеннаго палладина идей славянофильства, какимъ онъ явился чрезъ ивсколько льть. Въ гораздо большей степени книга представляеть собою свидательство того огромнаго вліянія, которое имѣли на духовную дѣятельность русской интеллигенціи 40-хъ годовъ иден Гегеля. Вся обширная диссертація написана тімь знакомымъ уже намъ гегеліанскимъ жаргономъ, который былъ въ такомъ ходу въ писаніяхъ членовъ кружка Бѣлинскаго, Станкевича и Искандера, гдв еще такъ недавно вращался Аксаковъ. Но, помимо жаргона, и вся суть книги гегеліанская, потому что задача автора только въ томъ и состоитъ, чтобы въ исторіи русской литературы вообще и въ исторіи литературной дѣятельности Ломоносова въ частности найти моменты, установленные германскимъ философомъ въ качествѣ абсолютныхъ и непреложныхъ условій всякой исторіи литературы. Благодаря этому пламенному стремленію jurare in verba magistri и представить иллюстрацію теорій излюбленнаго учителя, диссертація крайне поражаетъ современнаго читателя. Достаточно прочитать хотя бы слѣдующія строки, которыми молодой магистръ очерчиваетъ кругъ своего изслѣдованія:

"Смотря на Ломоносова, какъ на лицо въ нашей литературѣ, мы въ правѣ предложить одинъ вопросъ: Ломоносовъ, какъ моментъ въ исторіи русской литературы, вопросъ, который въ своемъ собственномъ развитіи, вмѣстѣ съ конкретированіемъ самого предмета, является какъ вопросъ: Ломоносовъ въ отношеніи къ языку, къ слогу,—и какъ вопросъ: Ломоносовъ, какъ поэтъ.

Въ сущности эти три вочроса не что иное, какъ одинъ:

"Томоносовъ какъ моментъ въ исторіи нашей литературы (курсивъ автора),—вопросъ возможно полный и единственный, который въ своемъ развити ставитъ моменты своего конкретированія сообразно съ моментами конкретированія самого предмета (ибо вопросъ, изслѣдованіе, есть не что пное, какъ сознаніе самого предмета и имъ условливается) и раздѣляетъ, такимъ образомъ, диссертацію нашу на три части, именно:

I. Ломоносовъ, какъ моментъ въ псторіп литературы, моментъ самъ въ себѣ, in abstracto.

II. Ломоносовъ въ отношеніп къ языку, къ слогу, моменть чистоисторическій.

III. Ломоносовъ, какъ поэтъ, гдѣ мы отъ чисто-историческаго опредѣленія переходимъ къ нему самому, какъ индивидуму, и гдѣ моментъ получаетъ полнѣйшее конкретированіе и имѣетъ значеніе самъ для себя—моментъ личный".

Такимъ тарабарскимъ языкомъ написана сплошь вся диссертація, заключающая въ себѣ 517 страницъ. Мы уже нѣсколько разъ старались подчеркнуть, что при всей горячности своего личнаго темперамента, Константинъ Аксаковъ былъ очень вялымъ писателемъ пли, говоря частнѣе, стилистомъ. Но нигдѣ эта вялость изложенія не сказалась такъ рѣзко, какъ въ обсуждаемой нами теперь диссертаціи. Она читается съ чрезвычайною скукою и къ ней вполнѣ приложимъ отзывъ, который далъ Бѣлинскій о брошюркѣ Аксакова, написанной по поводу появленія "Мертвыхъ душъ". Именно о ней-то и должно сказать, что она "вся состоитъ изъ сухихъ абстрактныхъ настроеній, лишенныхъ всякой жизненности, чуждыхъ всякаго непосредственнаго созерцанія, и что, поэтому, въ ней нѣтъ ни одной яркой мысли, ни едного теплаго, задушевнаго слова, которыми озна-

меновываются первыя и даже самыя неудачныя попытки талантливыхъ и пылкихъ молодыхъ людей".

Но если современнаго читателя непріятно поражаетъ внѣшняя сторона диссертаціи, то въ какой же степени его удивляетъ и внутреннее содержаніе ея. Начать съ того, что въ книгѣ, озаглавленной "Ломоносовъ въ исторіи русской литературы и русскаго языка", Ломоносовъ какъ-то совершенно ни при чемъ. Архитектура книги такова: обширное вступленіе, занимающее собою 64 страницы, почти исключительно посвящено изложенію гегеліанскихъ представленій объ искусствѣ, изложенію, сказать кстати, до нельзя туманному и сбивчивому. Легко ли, напр., понять такую фразу:

"стиль вообще показываеть тайное сочувствіе съ искусствомъ самого матеріала, являеть точку ихъ соприкосновенія, чрезъ которую матеріалъ теряеть свою тяжесть и грубость, и искусство опредфляется?".

Послѣ введенія философскаго, идетъ введеніе историко-литературное, въ которомъ авторъ дѣлаетъ обзоръ языка произведеній доломоносовскихъ періодовъ русской письменности. Это историческое введеніе занимаетъ около 250 страницъ. Такимъ образомъ рѣчь о Ломоносовѣ начинается только съ 327 стр. А такъ какъ съ 436 стр. начинаются приложенія (выписки изъ грамотъ и разныхъ литературныхъ произведеній), то и выходитъ, что собственно Ломоносову изъ 517 страницъ книги удѣлено 110.

Но даже и эти 110 страницъ не всъ посвящены спеціально Ломоносову, а ровно на половину состоять изъ разныхъ разсужденій эстетическаго и философскаго содержанія. Такимъ образомъ, въ общемъ получается работа, весьма мало похожая на тъ точныя, исчериывающія предметь, историко-литературныя изследованія, къ которымъ насъ пріучила университетская жизнь последнихъ десятильтій. Отмътимъ уже, кстати, что диссертація не обнаруживаетъ и особенной эрудиціи автора. Всю жизнь свою разбрасывавшійся въ разныя стороны, Константинъ Сергвевичь, вообще говоря, былъ человъкъ съ обширными знаніями. Но собственно спеціальныхъ знаній въ одной какой-нибудь области у него было не много. Такъ, если мы присмотримся къ источникамъ, которые цитируетъ магистранть, то они всего менфе поразять насъ своею многочисленностью. 1-я часть "Актовъ историческихъ", 1-я часть "Собранія государственныхъ грамотъ", 1-я и 4-я ч. "Актовъ, собран. археогр. комиссіей", "Сборникъ Кирши Данилова", — вотъ почти единственныя пособія, которыми магистрантъ пользовался много. А если къ нимъ прибавить еще около десятка лишь эпизодически цитируемыхъ книгъ, то мы получимъ и весь научный багажъ автора. Правда, магистрантъ ссылается иной разъ на Остромирово Евангеліе, на лѣтопись Нестора, на "Сказанія" Князя Курбскаго, на проповѣди Өеофана Прокоповича, на сочиненія Кантемира и, наконецъ, Ломоносова, но нельзя же по поводу этихъ, извѣстныхъ каждому студенту вещей серьезно говорить объ "эрудиціи".

Если въ общемъ относительно диссертаціи Конст. Аксакова можно сказать, что она не блещеть эрудиціей, то въ частности по поводу той части ея, гдѣ рѣчь идетъ объ эпохѣ, Петра, т. е. эпохѣ, наиболѣе важной для предмета разсматриваемаго изслѣдованія, можно прямо сказать, что эрудиція автора недостаточна. Мы не станемъ, конечно, сравнивать изученіе магистрантомъ Петровской эпохи съ тѣмъ знаніемъ ея, которое, напр., обнаружилъ въ своей "Наукѣ и литературѣ при Петрѣ" — Пекарскій. Но и помимо параллели съ Пекарскимъ, въ сравненіи съ эрудиціей котораго диссертація К. Аксакова представляется какимъ-то школьническимъ упражненіемъ, помимо, говоримъ мы, такого сравненія, нельзя не признать, что изученіе эпохи Петра по тѣмъ, счетомъ семи, источникамъ 1), которые цитируетъ магистрантъ, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть признано достигающимъ цѣли.

И, надо думать этимъ-то болѣе чѣмъ поверхностнымъ изученіемъ эпохи, породившей писателя, разсмотрѣніе дѣятельности котораго составляетъ предметъ диссертаціи, и объясняется то, что характеристика Ломоносова поражаетъ своею банальностью. То, что говоритъ магистрантъ о даровитости Ломоносова, объ историческихъ его заслугахъ въ дѣлѣ выработки русскаго стиха, о разнообразіи его дарованій и т. д. все это до такой степени школьнически-извѣстно, хотя прикрыто часто весьма туманною гегеліанскою тарабарщиною, что ради такихъ ничтожныхъ результатовъ рѣшительно не стоило изготовлять книгу въ 500 страницъ.

Есть, впрочемъ, въ диссертаціи и не банальныя вещи. Но лучше бы ихъ вовсе не было. Болѣе чѣмъ неудачно магистрантъ слѣдующими притянутыми за волосы доводами старается оправдать Ломоносова отъ обвиненій въ томъ, что онъ ввелъ въ русскій синтаксисъ латико-нѣмецкую конструкцію:

"Мы знаемъ", говорить онъ, "что многіе, или лучше общее мнѣніе, думаютъ, что синтаксисъ Ломоносова не русскій, что онъ сформированъ по патинскому и частію по нѣмецкому; но мы невольно спрашиваемъ: гдѣже критеріумъ этого сужденія? На чемъ опираясь, произноситъ оно свой приговоръ: гдѣ нашло оно синтаксисъ русскій, противъ котсраго погрѣшилъ Ломоносовъ? Намъ скажутъ: разговоръ, живая рѣчь; но между раз-

^{1) &}quot;Полное Собр. Закон. Россійскихъ" т. IV и V, пропов'яди Стефана Яворскаго, слова и рѣчи Өеофана Прокоповича, рѣчи Гаврінла Бужинскаго, сочиненія Кантемира, духовное стихотвореніе Петра Буслаева и ода о сдачъ Данцига Тредьяковскаго.

говоромъ и письменностью лежить необходимая разница. Ихъ нельзи сравнить между собою. Языкъ, являющійся въ разговорѣ, долженъ быть основаніемъ синтаксиса языка письменнаго, какъ мы сказали выше; но онъ не стоитъ съ нимъ рядомъ; это два, одинъ за другимъ слѣдующіе момента, и разговоръ, какъ сравненіе, не можетъ служить критеріумомъ. Что же встрѣтилъ Ломоносовъ и въ томъ отношеніи, въ которомъ разговоръ важенъ и имѣетъ значеніе для синтаксиса высшаго, то есть, какъ основаніе его? Что вообще нашелъ Ломоносовъ, чтобъ постигнуть, создать или, лучше, вывести русскій синтаксисъ? Что нашелъ онъ въ русскомъ національномъ языкѣ? Въ русскомъ языкѣ нашелъ онъ, въ томъ національномъ видѣ, въ которомъ онъ былъ, полное разнообразіе оборотовъ полную синтаксическую свободу. Это было основаніемъ, собственностью русскаго синтаксическую свободу. Это было основаніемъ, собственностью русскаго синтаксичес.

Оправданіе очень оригинальное. Если синтаксическая свобода была отличительнымъ качествомъ до ломоносовскаго языка, то зачёмъ же было накладывать на него оковы тяжелов всной латино-и вмецкой конструкцін? Магистранть, впрочемь, и самь, видимо, понималь малую убъдительность своей защиты, и потому черезъ нъсколько страницъ онъ выдвинулъ другой доводъ, крайне любопытный въ его устахъ. Согласно гегеліанской философіи, онъ старается доказать, что всякій языкъ сначала, "въ первомъ своемъ моментъ", когда онъ нуженъ только какъ средство разговора о предметахъ ежедневнаго быта того или другого народа, есть явленіе "случайное", т. е. исключительно одной національности принадлежащее. Но затёмъ "языкъ всякаго народа отрывается отъ сферы случайной жизни, переходить въ сферу общаго и отъ сферы разговора восходитъ до сферы письменности". "Синтаксисъ и вообще слогъ этой высшей сферы и имъетъ въ себъ общее, собственно свойственное этой сферх и, слудовательно, встрхчающееся естественно во встхъ языкахъ". Вотъ почему "общее датинской конструкцін вслёдствіе закона, только-что показаннаго, доступно языку русскому". Ломоносовъ, следовательно, имель право вводить "латинизмы" въ созданный имъ первымъ русскій письменный языкъ:

"Языкъ русскій могъ согласно съ существомъ своймъ подняться въ высшую сферу языка, сферу общаго, открывающуюся тогда, когда общее пробуждается въ народѣ, и онъ возвысился до нея: слѣдовательно, сфера эта и формы общія языка принадлежать ему потому уже самобытно; въ существѣ его лежитъ возможность этихъ формъ, этого синтаксиса: въ немъ уже,—и въ національной его сферѣ, и такъ же въ отвлеченномъ развитіп мысли въ словѣ,—видимъ мы эти начала, и видимъ главное—свободу синтаксиса. Иомоносовъ былъ геніемъ языка, возведшимъ его въ эту высшую сферу; дѣло его было свободно, и формы, принятыя языкомъ, принадлежали уже ему вполнѣ, вытекали изъ его духа". Не отрицая затѣмъ того, что "фразы Ломоносовъ имѣютъ отпечатокъ латинской, собственно въ оттѣнкѣ внѣшнемъ; что Ломоносовъ обращалъ впиманіе на латинскій языкъ, его избралъ, иногда по крайней мѣрѣ, примѣромъ своимъ", магистрантъ находитъ только, что "въ образѣ этого языка видѣлъ и находилъ

онъ общее; онъ бралъ эти обороты, какъ выражающіе общее въ языкѣ, обороты высшей его сферы и свойственные, слѣдовательно, языку русскому. Онъ бралъ ихъ, какъ достояніе языка русскаго и потому еще, что языкъ русскій, какъ именно русскій, самобытно имѣлъ ихъ или подобные имъ въ себѣ, и взятое повидимому изъ чуждаго не было чуждое; онъ занималъ съ полнымъ правомъсобственности, и оборотъкакъбы вновь вырасталъ на русской почвѣ, шелъ изъ русскаго и съ помощію полной его свободы становился русскимъ".

Такимъ образомъ, вся защита Ломоносова отъ обвиненій въ насажденіи латинской конструкціи сводится не къ отрицанію самаго факта, который слишкомъ очевиденъ, а къ сообщенію ему путемъ чисто-философскихъ построеній иного характера. Но могутъ ли философскіе доводы имъть значеніе въ такой точной, основанной на строгофактическихъ данныхъ наукъ, какъ языкознаніе? То, что говоритъ магистрантъ объ общности синтаксиса всъхъ языковъ, дошедшихъ въ своемъ историко-культурномъ развитіи до фазиса письменности, все это, если бы даже было вфрно, требовало для доказательства своей справедливости рядъ сравнительныхъ сопоставленій синтаксиса различныхъ языковъ. Но магистрантъ и попытки не сдълалъ такого фактическаго подтвержденія своего положенія. И вотъ почему его диссертація, р'вшительно ничего новаго не вносящая въ исторической своей части, а въ филологической дающая только произвольныя философствованія ad majorem gloriam гегеліанства, въ общемъ, не представляла собою никакого вклада въ исторію русской литературы. Въ настоящее время она совершенно забыта.

Чтобы покончить съ диссертаціей Константина Сергвевича, отмътимъ въ ней еще кое-что, очень любопытное для изученія хода умственныхъ настроеній разсматриваемаго нами писателя. Всякаго, кто имветъ представленіе о Константинв Аксаковв, какъ о главарв славянофильства, поразили, ввроятно, цитаты изъ диссертаціи его о Ломоносовв, въ которыхъ такъ настойчиво говорится объ общности русской и западно-европейской духовной жизни. Настойчивость эта весьма мало вяжется съ мыслями о полной "самобытности" русскаго духа, которыя составляють основной тезисъ большинства другихъ писаній Константина Сергвевича. Но еще меньше вяжется съ общимъ складомъ міросозерцанія Константина Аксакова восторженное отношеніе къ Петру, которое составляєть основную черту диссертаціи о Ломоносовъ. Просто глазамъ своимъ не въришь, читая такую характеристику Петровской эпохи:

"Для Россіи настало время рѣшительнаго освобожденія отъ исключительной національности, рѣшительнаго перехода въ другую, высшую сферу, рѣшительнаго преобразованія. Началась страшная борьба. Съ одной стороны исключительная національность, опиравшаяся на уже образовавшуюся положительную силу стрѣльцовъ, старовѣровъ, имѣвшая съ собою если не весь, то

большинство народа. Она силилась удержать свои права, сохранить жизнь по старинь, и, лишенная уже жизни внутри, она хотьла удержать ея прежній образъ, сохраняя развъ одинъ призракъ прежняго опредъленія, навсегда утратившаго свою действительность; она упорно противилась новому свету и поддерживала ложную свою необходимость. Пробужденная рашительнымъ ударомъ, она совокупила вев свои силы, поднилась и начала ожесточеный бой за свою мнимую современность.—Съ другой стороны, противъ народа, упорствовавшаго въ своемъ національномъ определенін,-Петръ, опиравшійся на действительную потребность русскаго народа, сему последнему самому, можетъ быть, неизвестную. Онъ решительно возсталъ на эту національность, сокрушая прежнее, только мфшавшее уже свободному развитію народа. Раскрывая передъ нимъ новую сферу жизни, онъ круто поворачивалъ въ противоноложную сторону, принималь опредъленія другихъ народовъ, обильно наполняль чуждымь предёлы Россін, презирая страхъ національ. ности, только въ одномъ ограждении находившей свое спасение; напротивь, онъ принималъ отъ Запада все, къ чему только дошелъ Западъ въ своемъ развитін, и настежь распахнуль для него ворота Россіи, становясь съ нею. какъ была она дотоль и тогда, въ рызкую противоположность. Дыйствительность дела его победила. Въ страшной кровавой борьбе пала навсегда исключительная національность Россіи; наступила новая эпоха".

Болѣе восторженнаго панегирика не могъ бы написать самый завзятый западникъ! Но именно оттого-то было бы ошибочно строить на немъ какіе бы то ни было выводы объ общемъ строѣ міровоззрѣнія Константина Аксакова. Онъ просто указываетъ, что въ началѣ сороковыхъ годовъ, къ которому относится диссертація 1), славянофильская доктрина не дифференцировалась еще окончательно, а въ частности Константинъ Аксаковъ, хотя уже находился въ открытой враждѣ съ членами кружка Бѣлинскаго и Станкевича, но нѣкоторыя изъ прежнихъ своихъ симиатій еще удержалъ въ полной силѣ.

Диссертація о Ломоносов'я только наполовину относится къ исторіи литературы. Другая же и притомъ большая половина ея, именно обзоръ языка произведеній до-ломоносовскаго періода, им'я характеръ чисто-филологическій и составляетъ, такимъ образомъ, одно изъ звеньевъ ц'ялаго цикла филологическихъ работъ, которыми Константинъ Серг'я вичъ занимался въ теченіе всей своей жизни. По свид'я тельству близкихъ къ нему лицъ, филологія была любимою наукою Константина Аксакова, начиная съ 15 л'ятъ. Онъ ей отдавался съ тою страстью, безъ которой для этого удивительно-ц'яльнаго челов'я не были мыслимы сколько-нибудь серьезныя занятія.

Но не только въ филологическія занятія свои вносиль Константинъ Сергѣевичъ страсть. Онъ вносиль ее также въ методъ своихъ лингвистическихъ изслѣдованій, которыя лишь постольку его интересовали, посколько они подтверждали тезисы его общественнаго

¹⁾ Она писалась въ .1842-43 гг.

міросозерцанія. Но именно оттого-то эти изслёдованія весьма мало напоминають заправскія филологическія сочиненія и, какъ все, что писаль Константинь Аксаковь, представляють собою рядь публицистических статей на любимыя темы изслёдователя. Могло ли оно и быть иначе, когда Константинь Сергвевичь приступаль къ своимъ филологическимъ работамъ съ такими понятіями о наукв вообще и о филологіи въ частности:

"Всякая живая наука", говорить онъ въ предисловін къ "Опыту русской грамматики", изданному имъ незадолго до смерти (1860), "то есть: наука, пивющая двло съ жизнью, импеть двло съ таинствомь; такова и филологія, предметь которой-слово, этоть сознательный снимокь видимаго міра, эта воплощенная мысль. Преследуя жизнь въ той или другой области ея проявленія, наука доходить до преділовь тапиственнаго, до тьхъ предвловъ, откуда внутреннее становится внашнимъ, духъ-осязательнымъ, безконечное-конечнымъ. Наука думаетъ иногда выйти изъ затрудненія, принявъ анатомическое воззрвніе, сдвлаться матеріальною, сказать, что нътъ духа и души, и недостойно успоконться такимъ воззрвніемъ, отрицательнымъ и тупымъ, при которомъ вовсе непонятна и жизнь, и смыслъ ея, и то, что даже просто угадываетъ въщая душа наша. Но слава свъту сознательной мысли! Разумъ самъ обличаетъ ложь всъхъ матеріальныхъ теорій, на немъ повидимому основанныхъ, прогоняетъ ихъ тяжелую тьму, самъ низвергаетъ всякое богослужение себф, самъ знаетъ свои предълы и признаетъ непостижимое, открывающееся откровеніемъ духу человіческому.

Наука есть сознаніе общаго въ явленій, цѣлаго въ частности; зная свои предѣлы и доходя до нихъ, наука должна необходимо допустить тапнство жизни, не подлежащее уже ея осязанію, тапнство, которое можеть она угадывать и опредѣлять приблизительно, но которымъ овладѣть она не въ силахъ, ибо это—"таинство жизни". "Итакъ, мы допускаемъ въ наукѣ (а слѣдовательно, и въ филологій), на границѣ ея, свой тапнственный. такъ сказать, мистический элементь, къ которому необходимо примыкаетъ вся дѣятельность нашего разума, какъ мы ни стараемся объяснить это"

Можно быть разнаго мивнія о психологической теоріи, легшей въ основаніе только-что приведеннаго взгляда. Но съ однимъ непременно согласится всякій безпристрастный читатель, именно съ темъ, что такое воззреніе на науку, какое было у К. Аксакова, даетъ самый широкій просторъ элементу, всего мене терпимому въ настоящей наукъ—субъективности. Тамъ, где речь идетъ о неподчиняющихся анализу чувствахъ и мистицизме, какъ одномъ изъ главныхъ факторовъ, тамъ можетъ быть место чему угодно—вере, дару проникновенія въ непостижимое и т. п. крайне субъективнымъ вещамъ, но никакъ не науке, которая только постольку и наука, поскольку она объективно и такъ сказать нелицепріятно изследуетъ и констатируетъ. И особенно неуместно было припутывать мистицизмъ къ филологіи, этой точнейшей изъ всехъ "словесныхъ" наукъ, знающей

долько красноръчіе фактовъ и всегда основывающей свои законы на обильномъ количествъ тщательно сдъланныхъ наблюденій.

И оттого-то, повторяемъ мы, страстныя филологическія діатрибы Константина Аксакова весьма мало напоминаютъ заправскія филологическія сочиненія, гдѣ о личности автора, о его вкусахъ, симпатіяхъ или антипатіяхъ, политическихъ или общественныхъ убѣжденіяхъ никогда и рѣчи не можетъ быть.

У Константина же Сергъевича все это, какъ на ладони.

Начать съ того, что даже въ самые мелочные, чисто-спеціальные вопросы онъ вносилъ весь запасъ своего обычнаго страстнаго отношенія. Какъ уже замѣтилъ Безсоновъ, Константинъ Аксаковъ "особенно любилъ звукъ ъ, играющій столь видную роль у насъ и столь много способствующій разысканію филологическому: въ ту же мѣру, онъ возненавидълъ противника—звукъ ѕ, тою ненавистью, которую можетъ питать добрѣйшее сердце къ чему-либо гнусному Онъ расточалъ этому врагу прозвища "надоѣднаго", "назойливаго", "вторгавшагося пролазы", "услужливаго", "рабскаго"; онъ перенесъ сюда смыслъ приторной угодливости, чуждый собственному его лицу и проникшій къ намъ въ видѣ поддакиванья, какъ рабское "да-съ", "нѣтъ-съ"; потому, какъ самъ говорилъ обыкновенно съ твердостью "да" или "нѣтъ", такъ навѣрное можно было считать признакомъ, что Аксаковъ недоволенъ или гнѣвенъ, когда онъ начиналъ употреблять "да-съ", "нѣть-съ".

Безсоновъ констатируетъ приведенные факты съ чувствомъ умиленія, видя въ нихъ доказательство того, что Константинъ Сергѣевичъ держалъ свое знамя "грозно и честно". Умиленіе вполнѣ
законное. Трудно, дѣйствительно, представить себѣ болѣе трогательное проявленіе душевной цѣльности и чистоты, какъ эту личную
ненависть и любовь къ какимъ-нибудь суффиксамъ. Но нужно ли
много доказывать, что такое страстное отношеніе къ дѣлу неизбѣжно
ведетъ и къ страстному желанію отыскать непремѣнно то, что
изслѣдователю хочется отыскать. А при такомъ желаніи какіе же
мыслимы истинно-научные, т. е. соотвѣтствующіе дѣйствительности
результаты? И вотъ почему извѣстный чешскій ученый Гаталла имѣлъ
возможность сказать про "грамматику" Константина Аксакова:

"Покойный редко где подкрепляють взгляды примерами, почерпнутыми изъ письменныхъ и устныхъ памятниковъ языка русскаго, напротивъ—обычно онъ ограничивается такими, которые самъ себъ понавыдумываль (navymyslel)".

Это пришлось сказать о Константинъ Сергъевичъ! Онъ, который не задумываясь отдалъ бы жизнь за истину, "понавыдумывалъ"! И однако же оно такъ. Такого миънія не одинъ Гаталла. И Буслаевъ,

и Срезневскій, въ свое время писавшіе о филологическихъ работахъ К. Аксакова, всѣ они того мнѣнія, что труды его полны крайней одностороннюсти и притягиванія за волосы фактовъ къ предвзятымъ теоріямъ.

Къ какимъ же именно теоріямъ?

Главнымъ образомъ—о вредоносномъ вліяній на русскую грамматику "иностранныхъ воззрѣній". Для того, чтобы имѣть такія иностранныя воззрѣнія, вовсе не нужно быть, по Аксакову, дѣйствительнымъ иностранцемъ.

"Нѣтъ сомнѣнія", говоритъ Константинъ Сергѣевичъ въ началѣ своего изслѣдованія о русскихъ глаголахъ, "что иностранцамъ трудно постигнуть языкъ, имъ чуждый; особенно нѣмцамъ трудно постигнуть языкъ русскій; но едва ли легче понять его и русскому, руководимому иностраннымъ воззрѣніемъ вообще, хотя бы онъ и не былъ послѣдователемъ именно того или другого иностранца. Не въ томъ главное дѣло, иностранецъ ли по происхожденію сочинитель, но въ томъ, иностранецъ ли онъ по воззрѣнію".

Эти-то пностранныя воззрѣнія принесли большой вредъ русскому языкознанію:

"Вмѣстѣ съ нашествіемъ пноземнаго вліянія на всю Россію, на весь ея быть, на вей начала, и языкь нашь подвергся тому же; его подвели подъ формы и правила пностранной грамматики, ему совершенно чуждой, и, какъ всю жизнь Россіи, вздумали и его коверкать и объяснять на чужой падъ. И для языка должно настать время освободиться отъ этого ственяющаго ига иностраннаго. Мы должны теперь обратиться къ самому языку, изследовать, сознать его и изъ его духа и жизни вывести начало и разумъ его, его грамматику. Она будеть противорфчить грамматик общечелов вческой, но только и строго общей, а совствы не общечеловтческой-выразившейся извъстнымъ образомъ у другихъ народовъ и только представляющей свое самобытное проявленіе этого общаго... Въ ней, въ русской грамматикв, можеть быть, полнве и глубже явится оно, нежели гдв-нибудь. Кто изъ васъ станетъ отвергать общее, человъческое? Русскій на него самъ имъетъ прямое право, а не черезъ посредство какого-нибудь народа; оно самобытно и самостоятельно принадлежить ему, какъ идругимъ, и кто знаетъ? - можетъ быть ему боме, нежели другимъ, и можетъ быть міръ не видалъ еще того общаго, человъческаго, какое явить великая славянская, именно русская природа... Да возникнетъ же вполнъ вся русская самобытность и національность! Гдъ же національность шире русской? Да освободится же и языкъ нашъ отъ наложеннаго на него ига иноземной грамматики, да явится онъ во всей собственной жизни и свободъ своей" (т. II, стр. 405, 406).

Непремѣнно слѣдуетъ внести въ русское языкознаніе свои русскія воззрѣнія, которыя должны состоять въ томъ, чтобы мы отказались отъ стремленія непремѣнно отыскать у себя такія же грамматическія формы, какъ въ чужихъ языкахъ. Такъ, по вопросу о глаголахъ:

"ніжоторые теоретики, сливая всі глагольныя формы 1), съ присоединеніемъ даже иныхъ предложныхъ въ одно сприженіе, богатое временами, быть можеть, думають, что это служить къ чести русскаго языка, что-де не только въ языкахъ чуждыхъ, но и у насъ есть полное спряжение, что нашъ языкъ въ этомъ имъ не уступаетъ, что у насъ у одного и того же глагола есть вев времена. Но здесь видны ошибочное чувство и ошибочная мысль. Разве только въ томъ состоить честь и слава, чтобы повторить у себя чужое, чтобы пройти по чужой дорогь не хуже другихъ? Развъ нельзя идти по своей дорогь, развы нельзя, не имыя чужого, имыть вмысто него свое, совершенно особенное, отличное отъ всехъ? Разве это свое не можеть быть еще лучше, еще достойнье, и развъ тогда не больше славы? Но, какъ бы то ни было, мы должны руководиться, при нашихъизследованіяхъ, не темь, чтобы стараться отыскать у насъ всв чужія особенности, какъ бы, повидимому, онв ни были хороши—въ этомъ случав мы впадемъ въ ошибку, чему примвръ всв наши грамматики, - а тымъ, чтобы отыскать и узналь свое, какое бы оно ни было тогда мы придемъ къ истинному взгляду" (т. II, стр. 410, 411).

И твиъ болве все это необходимо, что русскія грамматическія формы, по мнвнію Константина Сергвевича, гораздо совершеннве. "Я нисколько не завидую другимъ языкамъ", говорить онъ въкнижкв о глаголахъ, "и не стану натягивать ихъ поверхностныхъформъ на русскій глаголъ".

Таково основное направленіе филологическихъ стремленій Константина Сергѣевича. Въ примѣчанін мы даемъ нѣсколько спеціальныхъ деталей практическаго осуществленія ихъ 2). Здѣсь же скажемъ объ общемъ характерѣ этого осуществленія.

¹⁾ Т. в. виды глагола-двигну, двигаю, двигивалъ.

²⁾ Особенно выдается стремлевіе Константина Аксакова отстоять самостоятельность русскаго глагола, который "управляется съ категорією времени совершенно самостоятельно и вовсе не похоже на глаголы других в языковъ", именно вотъ какимъ образомъ:

[&]quot;Глаголъ въ русскомъ языкъ выражаеть самое дъйствіе, его сущность. Отъ качества дъйствія ділается уже заключеніе о времени. Поэтому и формами глагола обозначается самое действіе, время же въ немъ есть дело употребленія; это употребленіе основано на соотв'ятствін глагольных в формъ съ временами. Неопределенное действіе, съ точки зренія времени, естественно является неопредёленно продолжающимся; поэтому двигать образуеть время настоящее. Дайствіе, какъ мгновеніе, напротивъ, длиться не можетъ, сладовательно, не можеть быть настоящимь; понятое въминуту своего проявленія. оно является мгновенно наступающимъ, и потому относительно времени принимается и употребляется, какъ будущее время, напримеръ: двигну. Это понятно: если действіе, какъ мгновеніе, неможеть проявиться въ настоящемъ, то, само собою разумфется, оно можетъ проявиться только въ будущемъили прошедшемъ; но прошедшее (о немъ надвемся опять сказатьниже) уже не есть дъйствіе, не есть глаголь; стало быть, остается одно будущее. Такъкакъ въ русскомъ глаголь (что уже было замьченовыше) главное дъло-опредыленів самаго дійствія, а время есть только выводъ, заключеніе, то поэтому дъйствіе, и неопредъленное, п мгновенное, выражается независимо отъвре-

Не имѣють они сколько-нибудь видной научной цѣнности и не принадлежить Константинъ Аксаковъ къ авторитетнымъ дѣятелямъ русской филологін! Мы бы могли привести въ подтвержденіе сказаннаго отзывъ такого первокласснаго представителя русскаго языкознанія, какъ Буслаевъ, который упрекалъ Константина Аксакова и въ сбивчивости, и въ поверхностности, и даже въ отсутствіи "надлежащаго запаса этимологическихъ и историческихъ (о языкѣ) свѣдѣній". Но такъ какъ Буслаевъ относился неодобрительно къ чрезмѣрному стремленію Константина Сергѣевича отстаивать нашу національную самостоятельность тамъ, гдѣ въ этомъ едва ли предстоитъ серьезная необходимость, и, слѣдовательно, его неодобреніе можетъ быть отнесено не на счетъ дѣйствительной научной малоцѣнности филологическихъ трудовъ Аксакова, а на счетъ непріязни къ славянофильству, то воть отзывы Срезневскаго. По поводу книжки о глаголахъ онъ писалъ:

"Разсужденіе г. Аксакова не филологическое, а философское; если оно пробуждаеть мысль, то и достигаеть своей цёли; а едва ли можно сказать, что оно не пробуждаеть мысли. Нельзя, впрочемь, не пожалёть, зачёмь оно

мени, придавая такую жизнь и силу русской рвчи, и ставя въ недоумвніе вашихъ филологовъ. Что касается до прошедшаго дъйствія, то оно не есть дъйствіе по понятію русскаго языка, и это очень върно. Въ самомъ дъль, какъ скоро дъйствіе прошло, гдь-же дъйствіе? его ньть; остается тоть, кто совершиль дъйствіе, предметь, изъкотораго проистекло оно и въкоторомъ пребывало; въ такомъ случав все значеніе двіствія переходить на предметь, дъйствительно или отвлеченно представляемый, и становится уже качествомъ предмета или прилагательнымъ. Поэтому прошедшее время въ нашемъязыкъ не имфеть соответственной глагольной формы, но форму отглагольнаго прилагательнаго или причастія. Всфстепени или моменты дъйствія имфють, какъ и следуеть, свое прошедшее, ибо всякое действіе можеть перестать; поэтому всв формы глагола, выражающія эти степени, имвють оть себя форму прошедшаго, - отглагольное прилагаемое (двигаль, двигнуль, двигиваль). Дъйствіе же, какъ рядъ моментовъ (двигать), необходимо является только въ прошедшемъ (депливаль). Въ настоящемъ оно не можетъ быть представлено; ибо дъйствіе опредъленное, дъйствіе, какъ осуществленные, моменты, не можеть длиться, не можеть быть въ настоящемъ, которое, какъ скоро оно, понятно, не отвлечено, а дъйствительно, -- не существуетъоно есть только невидимый резецъ, делящій действіе на прошедшее и будущее. Въ будущемъ дъйствіе, какъ рядъ моментовъ, также представлено быть не можеть; ибо действие грядущее или наступающее, выходящее изъ неопределенности, является при выражении всегда какъ одинъ моменть; о невыразпвшемся следующемь моменте мы говорить еще не можемъ, ибо его еще ивтъ; онъ таится въ безразличной отвлеченной силв дъйствія. Рядъ моментовъ можеть образоваться тогда, когда является рядъ выраженныхъ, следовательно, совершившихся, бывшихъ, прошлыхъ моментовъ. Поэтому дъйствіе, какъ рядъ моментовъ, понимается и употребляется, относительно времени, только какъ прошедшее, и следоване филологическое, зачемъ авторъ не далъ места разбору употребления глаголовъ въ древнемъ славянскомъ языке по несколькимъ его наречиямъ, и, между прочимъ, въ памятникахъ переводныхъ, особенно въ техъ местахъ, где переводчики отступали отъ дословности перевода".

Пять лѣтъ спустя, когда вышелъ первый выпускъ "Русской грамматики", Срезневскій опять подчеркиваль способность К. Сергѣевича "вызвать въ читателѣ силу наблюдательности", говорилъ о "самобытности" авторскаго мышленія и его "независимости" умственной, о "чутьѣ" языка, которымъ авторъ "часто замѣняетъ наблюдательность", и вслѣдъ затѣмъ прибавлялъ: "Несмотря на это, едва ли нужно пожелать, чтобы и слѣдующіе выпуски этой книги были совершенно таковы, какъ первый. То ли пожелаютъ отъ нихъ всѣ, а я со своей стороны позволяю желать себѣ:

- Чтобы во всёхъ подобныхъ произведеніяхъ теорія языка была строго выводима исключительно изъ однихъ наблюденій и чтобы эти наблюденія были производимы не надъ какими-нибудь избранными явленіями, и насколько можно болёю были разнообразны.
- Чтобы чутье свойствъ языка было строго сдерживаемо также въ предълахъ, допускаемыхъ наблюденіями, и укръплялось изслъдо-

тельно, въ глаголф, не имфя собственно глагольной формы, имфетъ только форму прошедшаго, т. е. форму отглагольнаго прилагательнаго, напримфръ, двигивалъ.

Итакъ, уже съ перваго взгляда видно, что Русскій языкъ совершенно особенно и самостоятельно образовалъ глаголъ. Языкъ нашъ обратилъ вниманіе на внутревню сторону или качество дъйствія, и отъ качества уже вывелъ, по соотвътствію, заключеніе о времени.—Такой взглядъ несравненно глубже взгляда другихъ языковъ. Вопросъ качества, вопросъ: какъ? есть вопросъ внутренній и обличаетъ взглядъ на сущность самого дъйствія; вопросъ времени, вопросъ: когда? есть вопросъ поверхностный и обличаетъ взглядъ на внъшнее проявленіе дъйствія.

Итакъ, временъ въ Русскомъ глаголѣ вовсе нѣтъ. Каждая форма глагола, выражая опредѣленіе самого существа дѣйствія, имѣетъ только отношеніе къ соотвѣтствующему, приличному ей, времени. Форма глагола неопредѣленная относится ко времени настоящему, форма мгновенная—къ будущему, форма многомгновенная—только къ прошедшему. Прошедшее, какъ прекратившееся дѣйствіе и потому уже не какъ глагольная форма, а отглагольное прилагательное, идетъ ко всѣмъ формамъ глагола; но при послѣдней оно исключительно.

Вотъ наша общая мысль о Русскомъ глаголь. Вопросъ о временахъ устраняется. Поэтому, съ одной стороны, мижніе наше противоположно мижнію последователей Ломоносова, принявшихъ столько временъ въ Русскомъ глаголь и оттого смешавшихъ въ немъ определенія самого дей ствія. Съ другой – опровергается мижніе Фатера, Таппе и ихъ последователей, разделявшихъ спряженіе на отдельные глаголы и сохранившихъ категорію времени.— Истъ, все эти формы, —формы одного и того же глагола, но формы не времени, а качества действія; понятіе же времени, какъ сказано, есть выводное изъ качества действія.

вательностью: самъ въ себѣ человѣкъ легко можетъ смѣшать дѣйствительное чутье съ тѣмъ, что не чутье, а только случайное мнѣніе, выведенное изъ немногихъ данныхъ и опровергаемое другими.

— Чтобы наблюденія были не только производимы полно, но представляемы читателю для того, чтобы онъ могъ положительнѣе изучить исходъ наблюденій".

Нужно знать язвительность покойнаго Измаила Ивановича, чтобы тотчасъ же понять, что за этими очень вѣжливо-выраженными desiderata въ дъйствительности скрываются совстмъ не въжливо задуманные три весьма серьезныхъ упрека. Прежде всего скептикъ и насмѣшникъ, Срезневскій, по разнымъ однако же причинамъ, примыкаль къ направленію, выставлявшему напоказъ свои "русскія" чувства и потому онъ особенно рѣзко не могъ отнестись къ стремленію Константина Сергвевича создать вполнв самобытную и нежелающую знать иностранныхъ образдовъ грамматику. Но по существу его desiderata должны быть поняты въ томъ смыслъ, что Константинъ Сергъевичъ для своихъ выводовъ: 1) пользовался только "избранными явленіями", т. е. игнорироваль тв, которыя ихъ не подтверждали; 2) не подкрвпляль ихъ "изследовательностью", т. е. не заботился о томъ, чтобы его грамматическія индукціи были основаны на сколько-нибудь достаточномъ количествъ фактовъ, и наконецъ, 3) часто вовсе не "представлялъ читателю наблюденія", т. е. давалъ выводы чисто-догматически, не вводя читателя въ свою филологическую лабораторію.

Противъ послѣдняго упрека, крайне тяжелаго по отношенію къ научной работъ, счелъ необходимымъ возражать издатель и большой почитатель филологическихъ трудовъ Константина Сергћевича—Безсоновъ. По его словамъ, эта "безиримфрность", т. е. отсутствіе подкрапляющихъ выводы грамматическихъ примаровъ, объясняется тъмъ, что филологическія работы Константина Сергвевича "и не выражались и не сопровождались непремвнио вынисками пера: работавшій-много если ділаль замітки на самихъ книгахъ, краткія, летучія. Вся эта бездна прочтеннаго филологическимъ взоромъ и передуманнаго языкознательнымъ умомъскрывалась внутрь, слагая запась громаднейшей памяти, какую лишь удавалось намъ встречать въ комъ-либо: она пошла въ душе на созиданіе того величаваго, но не вещественнаго, одухотвореннаго образа, какимъ представлялся русскій языкъ Аксакову. Матеріалъ превращался въ живое существо, работа-въ творчество; творчество въ самомъ языкъ, создавшее языкъ силами народа, и творческій образъ самаго языка, изъ языка схваченный взоромъ личнымъ, умомъ художественнымъ, сливались воедино. Мало было бы сказать, что Аксаковъ "носилъ" въ себъ этотъ образъ, и существующій въ природъ, и оттуда добытый, или что онъ "носился" съ этимъ образомъ, какъ съ роднымъ и все-таки "виъшнимъ", какъ принятымъ внутрь, и всетаки со стороны: Аксаковъ этимъ жилъ, вопросъ русскаго языка былъ для него вопросомъ жизни собственной; жизнь личная, казалось, иногда, располагалась по вопросамъ языка и имъ всего чаще отвъчала. Странно было бы (поэтому) встрътить, что Аксаковъ "записываетъ", трудно было уловить моменты его справокъ по книгъ".

Такимъ образомъ, самаго факта, отмѣченнаго Срезневскимъ и другими критиками, Безсоновъ и не отрицаетъ. Онъ только даетъ ему другое объясненіе; объясненіе, въ сотый разъ доказывающее удивительную симпатичность Константина Сергѣевича, какъ человѣка, но совсѣмъ не измѣняющее существа дѣла. Въ наукѣ нѣтъ личнаго довѣрія, вѣрятъ только въ факты, доступные провѣркѣ каждаго, а не "чутью".

Въ заключение нашего обзора филологическихъ трудовъ Константина Аксакова приведемъ оцѣнку ихъ, сдѣланную Иваномъ Сергѣевичемъ Аксаковымъ. Приводимъ ее не потому, что она заключала въ себѣ что-нибудь новое и что-нибудь такое, что бы не было высказано выше, а именно потому, что она, правда, съ другой точки зрѣнія и иначе освѣщая, по существу подтверждаетъ всѣ тѣ упреки, которые мы отмѣтили. Уже если такой восторженный поклонникъ учено-литературной дѣятельности Константина Сергѣевича, какъ Иванъ Сергѣевичъ, не могъ обойти того факта, что филологическіе труды Константина Аксакова, главнымъ образомъ, замѣчательны поэтическою и художественною стороною своею, значитъ, дѣйствительно, въ пользу научнаго значенія ихъ немного можно привести доводовъ.

Итакъ, вотъ эта характеристика, въ которой такъ нетрудно отдълить факты отъ дружескихъ стараній смягчить ихъ:

"Константинъ Сергвевичъ не былъ и, по самой природъ своей, не могъ быть ученымъ въ смыслъ нѣмецкаго гелертера; процессъ его ученой работы былъ не просто аналитическій, но, такъ сказать, и художественный вмѣстъ, мгновенно объемлющій синтезъ изслъдуемаго явленія, его "душу живу" и органическую цѣльность. Его мысль почти всегда предваряла длинный путь логическихъ выводовъ и формальнаго знанія, и нерѣдко, къ удивленію ученыхъ, находила себѣ подтвержденіе или въ цѣлой массѣ научныхъ данныхъ, еще вовсе не извѣстныхъ Константину Сергѣевичу, или въ послѣдующихъ открытіяхъ науки. Было бы ошибочно, впрочемъ, заключать изъ нашихъ словъ, что мы ставимъ ему въ особенную заслугу такой способъ научныхъ изслѣдованій и даже отдаемъ этому способу пред-

почтеніе предъ всёми другими. Мы просто указываемъ на художественную стихію, присущую всей дізтельности К. С., какъ на психическую его особенность, и съ своей стороны свидетельствуемъ, что въ его душт не было ни тти пренебрежения къ строгому методу нъмецкихъ ученыхъ. Мы полагаемъ однако же, что эта его особенность, въ свою очередь, не должна бы возбуждать (какъ это до сихъ поръ не разъ бывало) пренебреженія со стороны тружениковъ ученаго цеха, и что поэтическое чувство есть также одно изъ познательныхъ орудій челов'в ческаго духа, наравн'в съ логическимъ разумомъ. Константину Сергъевичу, безъ сомнънія, недоставало той обширной эрудиціи, которая лежить въ основаніи ученыхъ трудовъ германскихъ филологовъ, и того близкаго знакомства съ литературою предмета, которое обнаруживають многіе изъ русскихъ ученыхъ, особенно въ области сравнительной филологіи. Но этотъ недостатокъ, имъ вполнъ сознаваемый, едва ли не съ избыткомъ восполнялся его филологическимъ чутьемъ, его способностью проникать въ самыя духовныя нёдра слова и угадывать сокровенную мысль грамматическихъ видоизмѣненій" (Предисловіе къ II т. соч. К. А.).

IV.

Перейдемъ теперь къ значительнѣйшей части духовнаго наслѣдія Константина Сергѣевича—его историческимъ трудамъ, которые почти всѣ относятся къ первой половинѣ пятидесятыхъ годовъ.

Но прежде всего, да не выведетъ читатель ложнаго заключенія изъ слова "трудамъ". "Константинъ Аксаковъ", скажемъ мы словами Костомарава, "не оставилъ послъ себя ни историческихъ повъствованій, ни даже трудолюбивой обработки источниковъ, онъ по русской исторіи писаль мало". Если мы, въ самомъ деле, присмотримся къ І тому собранія сочиненій Констант. Аксакова, посвященному "Сочиненіямъ историческимъ", то что мы тутъ находимъ? На пространствъ 600 страницъ-27 статей. Нъкоторыя изъ нихъ представляютъ собою простые черновые наброски, другія занимають 6-7 страниць, а самая значительная какъ по содержанію, такъ и по объему историческая статья Констант. Сергвевича-"О древнемъ бытв славянъ вообще и русскихъ въ особенности" содержитъ въ себъ всего 65 страницъ. Такимъ образомъ, того, что обыкновенно составляетъ главное достоинство заправскихъ историческихъ "трудовъ" — обстоятельности, читатель не найдеть въ "Сочиненіяхъ историческихъ" Констан. Аксакова.

Но не одною обстоятельностью, однако же, обусловливается зна-

ченіе историческихъ работъ. Помимо трудовъ повъствующихъ, требующихъ детальности и объемистости, есть еще цёлый разрядъ трудовъ обобщающихъ и критическихь, значение которыхъ обусловливается широтою проведенныхъ въ нихъ взглядовъ. Къ этому-то разряду трудовъ по философіи исторіи и принадлежать историческія и историко-критическія статьи Константина Сергвевича. "Въ немногихъ статьяхъ его", говоритъ Костомаровъ, "сохранилисъ животворныя мысли, свътлые взгляды, которые не напрасно высказаны для начки, и будуть служить путеводными нитями для дальньйшихъ изследованій надъ важнейшими сторонами нашего прошедшаго". Слова знаменитаго историка очень субъективны: "свътлы" ли взгляды К. Аксакова или, напротивъ того, вносятъ мракъ, "животворны" ли они или, напротивъ того, мертвящи, -- объ этомъ могутъ быть разныя мижнія, хотя несомижню, что въ устахъ Костомарова, отнюдь не принадлежащаго къ славянофильской школь, похвала одному изъ главарей славянофильства могла бы служить ручательствомъ ея полнаго безпристрастія. Но, конечно, мы будемъ еще ближе къ истинъ, если, устранивъ всякую субъективность, скажемъ просто, что исторические взгляды Константина Аксакова очень значительны. Они открывають новые горизонты, безспорно обширные.

По нашему мнѣнію, воззрѣнія К. Аксакова на русскую исторію могуть быть сведены къ четыремъ основнымъ мыслямъ: 1) укладъ первоначальной русской жизни былъ не родовой, а общинно-вѣчевой; 2) русскій народъ рѣзко отдѣлялъ понятіе "земли" отъ понятія о государствѣ; 3) древне-русская, до-петровская исторія представляеть собою картину высокондеальныхъ общественныхъ отношеній. П наконецъ, какъ общій выводъ изъ предыдущаго, является у Константина Аксакова 4) мысль о томъ, что русскій народъ есть носитель спеціально ему присущихъ высокихъ доблестей, которыя отводятъ ему особое, высокое положеніе во всемірной исторіи. Послѣднюю мысль мы бы назвали мыслью о богоизбранности русскаго народа.

Теорію общиннаго быта Константинъ Аксаковъ высказалъ сначала въ небольшой газетной статейкѣ "Родовое или общественное явленіе было Изгой", помѣщенной въ "Моск. Вѣд." 1850 г. (№ 97), а затѣмъ болѣе обстоятельно въ статьѣ "О древнемъ бытѣ у славянъ вообще и у русскихъ въ особенности", напечатанной въ I т. "Моск. Сборника" 1852 года.

Статья начинается съ констатированія того, что нѣмецко-русскіе ученые — Байеръ, Миллеръ, Шлецеръ, "не принадлежа къ русскому народу, не имѣя съ нимъ жизненной связи, принялись толковать его жизнь" и "объяснять русскимъ ихъ исторію". Подъ ихъ вліяніемъ

и настоящіе русскіе ученые "смотрали также не по-русски на свою исторію" и "изображали русскую исторію такъ, что въ ней русскаго собственно ничего не было видно". "Но дальнъйшее знакомство съ лътописями и грамотами, но бытъ простого народа, сохранившійся въ своей тысячельтней оригинальности, подъйствовали, наконецъ, на взгляды нашихъ ученыхъ, и желаніе понять русскую исторію настоящимъ образомъ, желаніе самобытнаго воззрэнія—пробудились. Политическій взглядь, гдф обыкновенно рисуются князья, войны, дипломатические переговоры и законы, взглядъ Шлецера и (его последователя) Карамзина, былъ, наконецъ, оставленъ, и, въ наше время, внимание обратилось на бытъ народный, на общественныя, внутреннія причины его жизни". Къ числу представителей такого "желанія самостоятельнаго пониманія" и "воззрвнія бытового" Аксаковъ причисляетъ, между прочимъ, Соловьева. Но тотъ же Соловьевъ, однако, а вмъстъ съ нимъ еще нъсколько молодыхъ ученыхъ-Кавелинъ, Калачовъ, Афанасьевъ, освободившись отъ взглядовъ одного нъмца-Шлецера, выдвинули другую нъмецкую, совствит не соотвътствующую русской исторической действительности, теорію то родовомъ бытъ у древнихъ славянъ вообще и у русскихъ въ частности, теорію, возвъщенную извъстнымъ Эверсомъ.

По мнтнію Аксакова, теорія о существованій родового быта у древнихъ славянъ зиждется на томъ, что приверженцы ея "не опредълили настоящимъ образомъ, что такое родовой бытъ", н путають два такихъ совершенно различныхъ понятія, какъ бытъ родовой и бытъ семейный. Такъ, Соловьевъ въ некоторыхъ местахъ своей исторіи позволяеть себѣ говорить "семья или родъ", а въ другихъ утверждаетъ, что предки наши не знали семьи; затъмъ въ нъкоторыхъ мъстахъ онъ говорить о родоначальникъ, какъ о правитель рода, не знающемъ надъ собою высшей власти, въ чемъ и выражается родовое начало, а въ другихъ мъстахъ оказывается, по Соловьеву же, что "каждый младшій, будучи недоволенъ рішеніемъ старшаго, имълъ возможность возстать противъ этого рашенія". Такую же сбивчивость представленій о родовомъ бытѣ Аксаковъ подчеркиваеть и у Кавелина, который, кромѣ того, возмущаеть его тѣмъ, что доводитъ родовой бытъ въ Россіи до Петра Великаго, между тъмъ какъ даже Соловьевъ говоритъ, что родовой бытъ начинаетъ исчезать у насъ при Ярославъ.

Остановившись еще на митніяхъ Калачова и Афанасьева, изъ которыхъ послідній особенно смітшиваеть семью и родь, Аксаковъ даеть, затімь, свое собственное опреділеніе родового быта. Если при изложеніи взглядовъ Кавелина онъ всего менте пріязненно относился къ стараніямъ послідняго подвести родовой быть у нашихъ

предковъ подъ общій законъ развитія общественной жизни, свойственный всемь народамь, то теперь онь все-таки "не думаеть отвергать", что "первоначальный быть-есть безспорно родовой". Но въ чемъ отличительныя черты этого быта? Сделавши краткій очеркъ хода его нарожденія, Константинъ Сергвевичъ говорить: "Что же мы въ немъ видимъ? Мы видимъ, во-первыхъ, что семья въ немъ исчезаетъ, нбо поглощена единствомъ рода и единствомъ родоначальника; вовторыхъ, что отношенія родовыя не остаются въ своей чистотъ, а немедленно получають значение гражданское, не переставая быть родовыми. Состояніе напряженное и ложное, стѣсняющее съ одной стороны семью, а съ другой гражданственность. Гражданственность смущаетъ родовыя отношенія; родовыя отношенія мішають гражданственности и семьъ. Такимъ образомъ, семья и родъ, семейное и родовое начало не одно и то же, но взаимно исключаютъ или ослабляють другь друга. Гдв сильно начало родовое, тамъ нътъ начала семейнаго или оно слабо. Гдъ сильно начало семейное, тамъ нътъ родового или же оно находится на слабой ступени. Патріархальное и семейное начало образують два противоположности, хотя, повидимому, истекають изъ одного источника, близки другь къ другу".

Но если родовой быть, въ только что очерченномъ видъ, и "былъ первою общественною ступенью, черезъ которую прошли, безспорно, вст народы", то все-таки "одни только прошли черезъ него, не останавливаясь, другіе остановились болье или менье, утвердили за собою этотъ бытъ, формулировали, опредълили его явственно, съ большими или меньшими подробностями, особенностями и оттънками". Славяне къ числу последнихъ народовъ, по мненію К. Аксакова, не принадлежатъ. Такъ, если мы обратимся къ сказаніямъ древне-византійскихъ историковъ, то что мы находимъ? "Прокопій говоритъ, что славяне не повинуются одному мужу, но изначала живуть при народномъ правленіи є̀ν δημοκρατίο. Это свидѣтельство говоритъ ясно противъ родового быта, ибо демократическое устройство такому быту противоръчитъ". Тотъ же Прокопій сообщаетъ, "что у славянъ былъ обычай совъщаться вмъсть о своихъ дълахъ. Опять свидътельство, указывающее ярко на народное или общинное устройство". Маврикій говоритъ, что славяне не знаютъ правительства. Приблизительно то же самое отмечають позднейшие хронисты. Такъ, Адамъ Бременскій говорить о славянахъ, что они не терпять между собою господина или повелителя. Дитмаръ Мерзебургскій, "повъствуя о въчахъ Лутичей и, почти въ техъ же выраженіяхъ, какъ Прокопій, говоря, что они не повинуются одному, а всё совёщаются о дёлахъ своихъ, прибавляеть, что дёла рёшались единогласіемь, которое было необходимо".

Отъ иноземныхъ свидътельствъ Константинъ Аксаковъ переходитъ къ разбору двухъ славянскихъ памятниковъ, на нъкоторыхъ мъстахъ которыхъ Соловьевъ съ особенною настойчивостью хотълъ основать свою теорію родового быта. Памятники эти—1) "Судъ Любуши" и 2) Лътопись Нестора.

Содержаніе "Суда Любуши" 1), какъ извъстно, состоить въ томъ, что братья Кленовичи поспорили объ отцовскомъ наслъдствъ и явились за разръшеніемъ спора къ княжит Любушт. Любуша собираетъ снемъ (сеймъ) изъ Кметовъ, Леховъ и Владыкъ, предлагаетъ дъло на ихъ разсмотрвніе, причемъ отъ себя говорить, что по закону въкожизненныхъ боговъ, братья-или должны владъть вмъстъ, или раздълиться поровну. Снемъ ръшаетъ, чтобы оба брата владъли вмъстъ. Старшій брать недоволень этимь ръшеніемь. Онъ съ яростью говорить, что наслёдство надо дать первенцу, и поносить Любушу за то, что она другого мивнія. Тогда въ защиту ея поднимается Ратиборь, который, усматривая въ словахъ старшаго Кленовича вліяніе ньмецкихъ обычаевъ, говоритъ: "Не хвально намъ въ нъмцахъ искать правды, у насъ правда по закону святому, которую принесли отцы наши" и затъмъ рисуетъ такую картину древне-чешской жизни: "Всякой отецъ воеводить свою челядь (домочадцевъ). Мужи пашутъ, женщины шьють одежду, и какъ скоро умираетъ глава челяди, то дъти всъ владъють вмъстъ наслъдствомъ, выбирая себъ владыку изъ рода, который, для пользы, ходить въ славные снемы, ходить съ Кметами, Лехами, Владыками".

Во всемъ этомъ Соловьевъ видитъ родовое устройство, съ его общимъ владъніемъ и ръшающей властью родоначальника. Но Аксаковъ видитъ тутъ, напротивъ того, полное опровержение теоріи родового быта:

"Любуша", говорить онъ, "предлагаеть или общее владвніе, или ровный раздвлъ. Снемъ рвшаеть общее владвніе. Положимъ, что предметь суда есть вопросъ родовой, вопросъ именно родовою владвнія, наслідства. Этоть вопрось о наслідстві рішается на основаніи родового устройства (думаеть г. Соловьевъ) именно словами Ратибора, въкоторыхъ изображается родовой быть. Допустимъ это. Кімъ же представляется родъ? Двумя братьями. Весь споръ между ними и для нихъ, для рішенія братскаго спора приводится весь порядокъ, вся правда, принесенная предками. Что должны мы заключить? Или то, что родъ не иміль другихъ представителей, быль весь кромів

⁴⁾ Въ настоящее время можетъ считаться совершенно установленнымъ, что "Судъ Любуши" не подлинный памятникъ, а поддѣлка Ганки. Но въ данномъ случав это не имветъ значенія, потому что мнимымъ памятникомъ старины Аксаковъ пользуется не для того, чтобы что-нибудь основать на немъ, а только для того, чтобы показать, что его неправильно комментируетъ Соловьевъ.

двухъ, уничтоженъ (а то бы всф родичи должны были участвовать въ спорф, нбо всф имфли общее право на общее владфије, по мифијю послфдователей Эверса); но такую случайность предположить трудно и объ ней было бы упомянуто, тфмъ болфе, что оба брата—древняго происхожденія. Или же, что гораздо проще, судебный вопросъ этотъ былъ не родовой, а чисто семейный. Да и прямо говорится, что споръ идетъ объ отцовской дфдинф. Тогда дфло перемфияется и родовое устройство исчезаеть: ибо какъ скоро выступаетъ семья, какъ скоро рфчь идетъ только между братьями и ни о какихъ родичахъ нфтъ и рфчи, то гдф же общее владфије рода, гдф же родовой бытъ, который допускаетъ участіе всфхъ родичей, особенно когда родъ оставался безъ главы!—Итакъ, на сценф голько семья, выдфлившаяся, слфдовательно, изъ рода, а рода ифтъ".

Затёмъ: "Вспомнимъ, что Любуша, по закону въкожизненныхъ боговъ, говоритъ братьямъ: или владёйто вмёстё, или раздёлите поровну. Итакъ и то и другое—по закону боговъ", и рушится, значитъ, другой отличительный признакъ родового быта —общность владёнія.

Наконецъ, что касается мъста ръчи Ратибора, гдъ говорится о выборахъ и роли владыки, то здёсь Аксаковъ не усматриваетъ ничего такого, что бы давало основание видъть во владыкахъ родоначальниковъ. Если "въ пъснъ говорится, что дъти выбираютъ себъ владыку (а не отда, не родоначальника), который ходить въ снемы съ Кметами и Лехами, то это значило, что каждая семья посылала на сходку своего представителя. Кто знаетъ устройство нашихъ сходокъ, тотъ увидитъ, что этотъ обычай и до сихъ поръ у насъ сохранился въ народъ: на сходку ходить или старшій въ домъ, или же избранный въ дом'в отъ семьи. Кого послать-это былъ и есть домашній распорядокъ внутри дома, но за порогъ дома семья у насъ не переходила. Итакъ, владыки были то же, что и теперь у насъизбранные или неизбранные представители семей на сходъ. Кметы и Лехи, составлявшіе, какъ видно, званія (можетъ быть, мужи княжіе), уже не по званію своему тамъ засъдали, какъ у насъ потомъ на земскихъ соборахъ бояре и выборные люди".

Покончивъ съ "Судомъ Любуши", составляющимъ одинъ изъ краеугольныхъ камней теоріи Соловьева, Константинъ Сергѣевичъ останавливается нѣсколько на извѣстномъ изслѣдованіи Губе о наслѣдственномъ правѣ у славянъ. Изъ него онъ извлекаетъ рядъ одиночныхъ доказательствъ того, что у древнихъ славянъ отнюдь не было родового быта, а дѣйствовала свободная воля семьи, и затѣмъ переходитъ къ другому краеугольному камню поборниковъ родового быта—лѣтописи Нестора. У Нестора имѣется слѣдующее мѣсто, съ перваго раза, дѣйствительно, заставляющее думать, что у предковъ нашихъ господствовалъ родовой бытъ:

"Поляномъ же, живущемъ особъ и володъющимъ роды своими, и живяху каждо съ своимъ родомъ и на своихъ мъстахъ, владъюще каждо родомъ своимъ".

Но въ какомъ однако же смыслѣ употреблено здѣсь слово "родъ"? "Несторъ, говоря о Полянахъ, вследъ за вышеприведенными словами, разсказываетъ о трехъ братьяхъ: Ків, Щекв и Хоривв; это даеть намъ возможность проследить и проверить слова Нестора о Полянахъ. Кій, Щекъ и Хоривъ-три брата: одинъ ли это родъ? Конечно, если сколько-нибудь есть родовое устройство. Что же мы видимъ? Что всъ трое жили особо, на своихъ мъстахъ. Кій живетъ на горь, гдь увозъ Боричевъ, Щекъ —на другой горь, Щековиць, а Хоривъ-не третьей, Хоревицъ. Итакъ, каждый братъ составлялъ особый родъ, но возможно ли это при родовомъ устройствъ? Три брата не могли быть тремя родоначальниками и раздёлить родъ на трое, ибо родовое устройство такого дёлежа не допускаеть. Если же у каждаго изъ нихъ могъ быть свой родъ, ибо они жили особо другъ отъ друга, то это можно объяснить не иначе, какъ темъ, что родъ быль семья". Въ последнемъ убеждении Аксакова поддерживаеть еще и то, что "летопись Нестора южно-русская, п въ ней много встречается, и до сихъ поръ сохранившихся въ Малороссіи, южно-русскихъ выраженій, — а въ Малороссіи и теперь родъ имъетъ вначение семьи. Малороссъ, говоря про свою семью, скажетъ: се мій родъ. Итакъ, нътъ сомнънія, что родъ въ вышеприведенномъ мъстъ льтописи имжетъ значение семьи; онъ упоминается только у Полянъ, у которыхъ однихъ былъ бракъ и, слъдовательно, семья". Да и порусски развъ мы не говоримъ; "двоюродный братъ"? А что "значить: двоюродный? Здёсь мы легко открываемъ двойственное число: двою роду, то есть: двухъ родовъ; итакъ двоюродный братъ значитъ брать двухъ семей".

Разсмотрѣвъ, такимъ образамъ, доказательства, выставляемыя приверженцами теоріи родового быта, Аксаковъ начинаетъ уже отъ себя приводитъ рядъ свидѣтельствъ древнихъ памятниковъ, по его мнѣнію рѣшительно не оставляющихъ мѣста для предположеній о существованіи родового быта въ древней Руси. Такъ, по Русской Правдѣ, "мстить долженъ или братъ, или отецъ, или племянникъ съ братниной или сестриной стороны; вотъ всѣ родовые мстители". Вяжется ли такое ограниченіе съ сколько-нибудь развитымъ родовымъ бытомъ?

Но еще важнѣе другое свидѣтельство Русской Правды изъ области гражданскихъ отношеній, именно то, что имѣніе человѣка, не оставившаго послѣ себя дѣтей, считается выморочнымъ и переходитъ къ князю. Тутъ уже, значитъ, о родовомъ бытѣ съ его общимъ владѣніемъ и рѣчи не можетъ быть.

Всв эти "опроверженія родовому быту" и приводять Аксакова къ мысли о быть семейному и вмьсть общинно-вычевому. Не довольствуясь уже извъстными намъ свидьтельствами Прокопія Маврикія, Дитмара Мерзебургскаго, Адама Бременскаго и "Суда Любуши", К. Аксаковъ приводить длинный рядъ почерпнутыхъ изъльтописи фактовъ древне-русской жизни, фактовъ, говорящихъ какъ о развитіп государственной жизни, такъ и о широкомъ народовластіи.

Кѣмъ призываются Варяги? Всѣмъ народомъ. Ни о старѣйшинахъ, ни о старцахъ въ относящемся сюда лѣтописномъ сказаніи ни слова нѣтъ. Призваніе князей было полнымъ проявленіемъ "народной воли. Это заставляетъ предполагать бытъ народный, общинный. Самое призваніе князя, особенно же племенами, даже чужеродными (славяне, чудь), устраняетъ всякую мысль о родовомъ бытѣ. Это поступокъ гражданскій, государственный и сознательный" "Въ договорѣ съ греками Олега, еще виднѣе Игоря, высказывается вполнѣ общинное устройство, которое вдругъ завести нельзя. Въ этихъ договорахъ посольство правится отъ великаго князя, князей, бояръ, купцовъ и отъ всей земли. Бытъ вполнѣ общественный. Это то же явленіе, какое мы видимъ и впослѣдствіи и которое приняло образъ Земской Думы, Земскаго Собора. Въ договорахъ этихъ выступаетъ значеніе всей земли, всего народа".

Еще характернъе событія, связанныя со смертью Игоря. Древляне, сдумавши съ княземъ своимъ Маломъ (а не князь Малъ самъ по себъ) и не видя конца насиліямъ Игоря, убивають послъдняго. Послъ этого Древляне (т. е. народъ) говорятъ: возьмемъ Ольгу за нашего князя Мала. Древляне же посылаютъ лучшихъ мужей къ Ольгъ. Мужи эти, пришедши къ Ольгъ, говорятъ: посла ны Деревьска земля".

Когда Святославъ "жилъ въ Переяславлѣ, и Кіевъ едва былъ спасенъ воеводою Претичемъ отъ печенѣговъ, кіевляне посылаютъ сказать ему, что онъ бросилъ свою землю и ищетъ чужой, напоминаютъ ему о матери его и дѣтяхъ, о семейныхъ его обязанностяхъ. Нечего и говорить, что тутъ между княземъ и народомъ не было никакихъ родовыхъ или патріархальныхъ отношеній".

Чѣмъ дальше отодвигается Аксаковъ отъ первыхъ князей Рюрикова дома, тѣмъ легче, понятно, ему становится находить доказательства существованія государственнаго быта въ древней Руси. И если бы его задача состояла въ томъ, чтобы доказать невѣрность теоріи родового быта, онъ бы могъ ограничиться вышеприведенными фактами, такъ какъ несостоятельность мнѣнія Кавелина, что родовой бытъ сохранился до Петра I, слишкомъ уже очевидна, а Соловьевъ и самъ признаетъ, что при Ярославѣ родовой бытъ исчезаетъ въ Россіи.

Но Константину Аксакову хочется, кром того, доказать, что укладъ государственной жизни древней Россіи быль общинно-въчевой. Вотъ почему онъ и приводитъ длинный рядъ выписокъ изъ льтописей, доказывающихъ первенствующее значение народной воли въ древне-русской жизни и зависимость князя отъ въча. Такъ, кіевляне, собравшись въ 1067 г. на въче и встрътивъ въ Изяславъ I сопротивление своему намфрению сразиться съ Половцами, освободили заключеннаго Всеслава и поставили его княземъ, а Изяславъ долженъ былъ удалиться. Въ 1096 году Святополкъ и Владиміръ, предлагая Олегу идти противъ Половцевъ, дёлають это въ такой формъ: "Понди Кыеву, да порядокъ положимъ о русьтъй земли предъ епископы, и предъ игумены, и предъ мужи отець нашихъ, и предъ людьми градскими, да быхомъ хоронили руськую землю отъ поганыхъ". Ослъпление Василька совершилось только послъ того, какъ Святополкъ, имъвшій уже Василька въ своихъ рукахъ, собралъ кіевлянъ на въче и увърилъ ихъ, что Василько пптаетъ разные предательскіе замыслы. Въ томъ же году, когда Володарь и Василько осадили Давида во Владиміръ (Волынскомъ), они вели переговоры не съ Давидомъ, а съ Владимірцами, которые "созваща въче" и заставили князя покориться своему решенію. Въ 1146 году, после брата своего Всеволода Ольговича, Игорь сталъ княземъ Кіевскимъ. "И неугоденъ бысть Кіяномъ Игорь", и послали они къ Изяславу и сказали последнему: "Пойди, княже, къ намъ, хощемъ тебе. Не хотимь Ольговичей, не хотимь доставаться какь бы по наслыдству" Сѣвши на Кіевскій столъ, Изяславъ задумалъ идти походомъ противъ Юрія, сына Владиміра Мономаха. Но кіевляне, созванные Изяславомъ для совъта, прямо ему отвътили: "Князь! Ты на насъ не гнъвайся, мы не можемъ поднять руки на Владимірово племя; если на Ольговичей, то готовы хоть съ дътьми". Изяславъ соединился тогда съ черниговскими Ольговичами, но когда тъ затъяли измъну, послаль опять къ кіевлянамъ за помощью. Кіевляне сошлись всь, оть мала до велика, къ святой Софіи на дворъ, составили въче и на этотъ разъ, возмущенные предательствомъ Ольговичей, оказали князю содъйствіе. Въ 1154 г. Изяславъ умираетъ. "И посадиша въ Кіевт Ростислава, Кіяне рекуче ему: якоже брать твой Изяславъ честилъ Вячеслава 1), такоже и ты чести; а до твоего живота Кіевъ твой". "Здёсь", замёчаеть Аксаковъ, "народъ распоряжается кпяжествомъ".

¹⁾ Вячеславъ былъ старшій въ родѣ и могъ бы претендовать на княжество, чего однако не дѣлалъ цовольствуясь почтптельнымъ къ нему отношеніемъ Изяслава.

Ростиславъ, ставъ княземъ, затѣялъ разные походы и уѣхалъ изъ Кіева, но мужи уговаривали его вернуться туда, говоря ему: "Ты съ людьми (т. е. народомъ), въ Кіевъ еще не утвердился; поъзжай лучше въ Кіевъ, утвердись съ народомъ".

Еще нѣсколько, подобныхъ предыдущему, примѣровъ огромнаго значенія народной воли въ древне-русской жизни приводитъ Константинъ Аксаковъ и затѣмъ съ торжествомъ отмѣчаетъ слѣдующія въ высшей степени замѣчательныя и важныя слова лѣтописи: "Новгородцы бо изначала, и Смолняне, и Кыяне, и Иолочане, и вся власти (т. е. волости), якоже на думу, на въча сходятся" Слова эти "прямо указываютъ на общинное устройство во всей русской землѣ".

"Мы привели достаточно примфровъ", говорить затъмъ Константинъ Сергвевичь, "доказывающихъ, что въ древней Руси было общественное, именно общинное устройство, - общинный быть. Здесь неть и места родовому быту. Это общинное устройство, со времени единодержавія Москвы, провозгласившей имя всей земли русской, не уничтожилось. Изъ грамоть мы видимъ, какъ цёлыя волости, слободы управляются выборными людьми. Губные старосты, целовальники, выборные люди, присутствовавшіе на судахъ, все показываетъ, что древняя основа хранилась. Наконецъ Земскіе Соборы, созываемые царями ото всей Земли, представляли голосъ и совътъ всей русской Земли, что тогда ясно чувствовалось и сознавалось.-Междуцарствіе, въ теченіе котораго разлетвлась на время государственная оболочка и обнажилась Земля, показываеть намъ, что она не отвыкла отъ своего устройства: безпрестанныя совъщанія народныя въ городахъ п селахъ, совъщанія, на которыхъ, по обычаю русскому, всь сословія весь народъ принималъ участіе, условія Земли съ воеводами троеначальниками, наконецъ, выборный отъ всей Земли русской, все это свидътельствуеть, что община постоянно была основою русскаго общественнаго цетройства.

Заканчивается статья такъ:

"Изъ изслѣдованій нашихъ выводимъ заключеніе: русская Земля есть изначала наименье патріархальная, наиболье семейная и наиболье общественная (именно общинная Земля)".

Таковы основы выдвинутой Константиномъ Аксаковымъ общинной теоріи.

Не трудно замѣтить въ ней, при сколько-нибудь детальномъ анализѣ, рядъ частныхъ недохватокъ и тенденціозныхъ натяжекъ. Не станемъ однако же останавливаться на мелочахъ и укажемъ только существеннѣйшій недостатокъ Аксаковской теоріи, именно отмѣтимъ крайнюю неопредѣленность, съ которою авторъ общинной теоріи пользуется словомъ "общинный".

Подъ общиною принято понимать небольшую территоріальную или соціальную единицу, тісно связанную общностью непосредствен-

ныхъ житейскихъ интересовъ. Въ частности, подъ общиною въ русской экономической и политической литературь принято подразумьвать общину сельскую. Между темъ, К. Аксаковъ подставляеть подъ слова "община" и "общинный" самыя разнообразныя понятія. Такъ, въ только-что приведенномъ резюме статьи о родовомъ бытъ, онъ прямо употребляетъ какъ синонимы слова "общинный" и "общественный", а въ другихъ мъстахъ у него понятія объ общинности сливаются съ понятіемъ о государственности, и "община" обнимаетъ собою то пространство волости, то пространство княжества, то наконецъ пространство всей Россіи. Разбирая, напр., І томъ исторіи Соловьева, Аксаковъ говоритъ по поводу исторической роли Москвы: "Москва первая задумала единство государственное и начала уничтожение отдельныхъ княжествъ. Вся эта борьба княжествъ на общины не простиралась; общины были довольны, когда падали между ними государственныя перегородки. Государство, уничтожая ихъ, исполняло желаніе земли, и, стремясь къ единству государственному, содъйствовало единству земскому. Нътъ ни одного примъра, чтобы община заступилась за своего князя. Москва провозглашаетъ, наконецъ, имя всей Руси, единаго русскаго государства и единой Русской Общины, русской земли".

На пространствъ нъсколькихъ строкъ тутъ господствуетъ самое хаотическое смъшение административно-политическихъ единицъ, и предълы общины до того раздвинуты, что теряется всякое опредъленное о ней представление.

И, конечно, эта неопределенность и смешение понятий могли бы совствить подорвать значение общинно-втиевой теоріи, если бы не здоровое зерно ея, если бы не то, что въ основъ ея лежало глубокое пониманіе внутренняго смысла древне-русской исторіи. Теперь, когда прошло больше полувѣка послѣ появленія статьи Константина Аксакова, не найдется уже ни одного историка, который сталь бы игнорировать огромную роль общинно-вѣчевого начала въ ходѣ древне-русской государственной жизни. Приведенные нами факты, на которыхъ Константинъ Аксаковъ основалъ свой взглядъ, были, конечно, хорошо извъстны и до него. Но прежній государственный взглядъ на исторію настолько еще сильно владёлъ умами историковъ русскихъ, настолько еще сильна была привычка обращать вниманіе исключительно на трактаты, походы и княжескія междоусобія, что все, касавшееся народа въ тесномъ смысле этого слова, оставалось въ тени. Вотъ почему оставались въ тени и факты, такъ рѣзко выдвинутые Константиномъ Аксаковымъ на первый планъ. И факты эти, действительно, говорять все то, что подчеркивалось съ такимъ энтузіазмомъ восторженнымъ авторомъ общинно-вѣчевой теорін. Они, дійствительно, не оставляють никакого сомнінія относительно необыкновеннаго развитія демократическихъ чувствъ въ древней Руси и широкихъ предёловъ народовластія, они, действительно, говорять о подставленной Конст. Сергъевичемъ вмъсто "рода" сельской общинь, какь объ основной соціальной единиць, дававшей тонь всему укладу древне-русской жизни. И вотъ почему подборъ всёхъ этихъ фактовъ былъ новымъ откровеніемъ для занимающихся русскою исторією. Съ тъхъ поръ основныя черты Аксаковской теоріи доминируютъ въ разработкъ древне-русскаго права. Всепъло, со всеми ея деталями, теорія Аксакова, правда, не принята. Но, во-первыхъ: теорія родового быта пала совершенно, и даже тъ изъ изслъдователей, которые ивсколько отрицательно относятся къ воззрѣніямъ Константина Аксакова на древне-русскую жизнь (проф. Самоквасовъ, напр., или Забълинъ), не могутъ не признать, что критическая часть обсуждаемой нами статьи блистательна. Конст. Сергъевичъ окончательно похоронилъ теорію родового быта въ томъ видъ, какъ ее создали Эверсъ и Соловьевъ, и послъ его статьи ни одинъ серьезный изследователь не подняль этой теоріи, которая теперь фигурируеть исключительно въ обзоръ старыхъ гозэрвній на древне-русскій быть.

Но важиве, конечно, положительная часть теоріи Константина Аксакова. Про нее-то и можно сказать, что она доминируетъ въ современныхъ воззрѣніяхъ на древне-русское право. Если мы переберемъ взгляды главивишихъ юристовъ и историковъ последнихъ 30-40 лътъ, то мы увидимъ, что большинство изъ нихъ и при томъ таків люди, какъ Бѣляевъ, Лешковъ, Костомаровъ, Шпилевскій, Градовскій, всецёло примыкають къ возгреніямь Константина Сергвевича на древне-русскій общественный укладъ, другіе, какъ Сергвевичь, Владимірскій-Будановь, принимають ихь съ некоторыми оговорками, наконецъ третьи, выступающіе съ собственными теоріями, какъ Леонтовичъ и Бестужевъ-Рюминъ съ теоріей задруги, пли Соколовскій съ теоріей волостной-по существу, все-таки тоже примыкають къ направленію, созданному Константиномъ Сергвевичемъ. Община-задруга на хорватскій образецъ и волость съ тѣмъ характеромъ, съ какимъ она является въ теоріи II. А. Соколовскаго все это видоизмѣненія одного и того же общественнаго и правового института. Важна основа, а она-то именно одна и та же и въ волостной, и въ задружной и въ Аксаковской теоріи; важно, что всѣ эти теоріи съ одинаковою энергіей выдвигають рашающее значеніе демократически-альтруистическихъ началъ, глубоко коренящихся въ русской народной исихологін и потому окрашивавшихъ въ свой цвътъ тотъ періодъ древне-русской жизни, когда вліяніе другихъ

факторовъ было слабо. П вотъ эта-то энергія въ подчеркиваніи демократическаго характера старо-русской жизни, этотъ-то энтузіазмъ предъ основами русскаго народнаго быта и составляетъ огромную заслугу Константина Аксакова. Онъ внесъ народничество въ разработку древне-русскаго права, онъ заставилъ насъ смотрѣть на народное міровоззрѣніе и складъ народнаго характера съ тѣмъ уваженіемъ, котораго они заслуживаютъ по своему огромному вліянію на ходъ русской исторіи. Онъ пріобщилъ, такимъ образомъ, русскую историческую науку къ тому великому движенію демократическихъ идей, которое составляетъ основную черту духовной жизни русской интеллигенціи вотъ уже болѣе шестидесяти лѣтъ.

Въ заключение считаемъ не лишнимъ сказать нъсколько словъ по адресу проф. Самоквасова, который въ своемъ курсѣ исторіи русскаго права называетъ первымъ провозвъстникомъ общинно-въчевой теоріи Бѣляева. Это невѣрно. Ошибка профессора произошла вследствіе того, то онъ считаеть, что впервые Константинь Аксаковъ высказалъ свои мысли о родовомъ бытѣ въ обсужденной нами статьв, появившейся въ "Моск. Сборникв" 1852 года. А такъ какъ Бъляевъ двумя годами раньше, во "Временникъ Московскагс Общества Исторіи и Древностей" 1850 г., кн. VII, пом'єстиль статью "Русская земля передъ прибытіемъ Рюрика въ Новгородъ", гдѣ высказаль идеи, весьма схожія съ теми, которыя проводиль Константинъ Аксаковъ въ своей стать о родовомъ быт , то оно и выходить, какъ будто Бъляевъ имъетъ тутъ права первенства. Но дёло въ томъ, что мысли свои объ общинно-вёчевомъ началё древней Русп Аксаковъ только развилъ въ стать в "Моск. Сборника" 1852 года. Въ общихъ же чертахъ всв эти мысли выражены имъ въ стать в "Родовое или общественное явление былъ Изгой", помѣщенной въ началѣ 1850 года въ "Моск. Вѣд." (№ 97) и заключавшей въ себъ прямое объщание "представить въ особой стать в доказательство того, что въ древней Руси не было родоваго быта, а быль быть общественный". Статья "Моск. Сборн." и явилась исполнениемъ этого объщания.

Уже если говорить въ данномъ случав о чьихъ-нибудь правахъ на первенство, то рвчь можетъ идти только о Юрів Самаринв, который въ статьв "О мнвніяхъ "Современника" историческихъ и литературныхъ", помвщенной въ "Москвит." 1847 г. (ч. II, стр. 135—174), двиствительно, первый въ русской литературв, хотя очень кратко, но все-таки очень опредвленно, заявилъ: "общинное начало составляетъ основу, грунтъ всей русской исторіи, прошедшей, настоящей и будущей; свмена и корни всего великаго, возносящагося на поверхности, зарыты въ его плодотворной глубинв".

Только что сдёланное указаніе принадлежить Иыппиу и высказано имъ въ его "Характеристикахъ литературныхъ мићній" еще въ началѣ 70-хъ годовъ. Этимъ замѣчаніемъ почтенный изслѣдователь хотель ослабить панегирикъ Костомарова, который ставиль Константину Аксакову въ особую заслугу провозглашение общиннаго начала. Мы думаемъ однако, что поправка Пыпина имъетъ по преимуществу библіографическое значеніе и заслугь Аксакова не умаляеть. Да, дъйствительно, въ печати общинную теорію первый провозгласилъ М... З... К. (псевдонимъ Юрія Самарина). Но вёдь достаточно извёстно, что славянофильскій кружокъ представляль собою начто до такой степени сплоченное и слитное, что отдалять, гда начинаются мивнія одного изъ членовъ кружка и гдв кончаются мнънія другого, является дъломъ почти невозможнымъ. Первые славянофилы были люди, тесно связанные не только единствомъ, духовныхъ стремленій, но и личнымъ общеніемъ. Чуть ли не ежедневно встръчались они другь съ другомъ либо въ домѣ Хомякова, либо у Киръевскихъ, Самариныхъ, либо, наконецъ, у Аксаковыхъ и въ живомъ обмінь мыслей разрабатывали детали общаго имъ всімь міросозерцанія. Иниціатива принадлежить туть всемь вмёстё и каждому вь отдъльности. Одинъ дълалъ намекъ, другой его подхватывалъ, третій подбиралъ доказательства и въ общемъ получался тезисъ, родительскія права на который въ одинаковой степени должны приписываться всёмъ членамъ кружка безраздъльно. Вотъ почему, между прочимъ, первоначальное славянофильство совсёмъ не знаетъ фракцій. Туть люди до того спълись предварительно, дома, что выступали въ печать уже съ совершенно законченнымъ міровоззрѣніемъ, вошедшимъ въ плоть и кровь каждаго изъ принимавшаго участіе въ выработкъ его. Сльдовательно, печатное первенство въ дълъ возвъщения славянофильскихъ принциповъ можетъ имъть исключительно библіографическій интересъ и всегда есть простая случайность. Юрію Самарину по конкретной надобности (для опроверженія идей Кавелина) пришлось говорить объ общинномъ началѣ, -- онъ его и провозгласилъ. А Константину Аксакову въ 1847 г. надобности такой не было, онъ и не высказался. Но отсюда всего менње следуеть, чтобы Константинъ Сергвевичь чему-нибудь научился изъ коротенькой, чисто катехизической статейки Самарина или узналъ бы что-нибудь новое изъ нея. Все это было ему превосходно извъстно раньше, и въ кружковыхъ дебатахъ онъ, конечно, не одно тутъ доказательство подобраль и не одинь разъ укръпляль своимь павосомъ увъренность сочленовъ въ томъ, что дъйствительно только общиннымъ началомъ можно уяснить себъ явленія древне-русской и современной пароднорусской жизни.

Мы нъсколько распространились по вопросу о правахъ первенства Юрія Самарина на общинную теорію, потому что тутъ идетъ рѣчь о вещи, имъющей значение для оцънки всъхъ вообще идей разсматриваемаго нами писателя. Намъ очень важно подчеркнуть, что, читая сочиненія основателей славянофильства, мы какъ будто имфемъ предъ собою разныя редакцін одного и того же. У одного короче, у другого длиниве, у одного съ большимъ, у другого съ меньшимъ талантомъ, у одного суше, у другого страстиве, наконецъ у одного намеки, у другого подробное развитие. Только этими, почти внъшними качествами и отличаются сочиненія славянофиловъ другъ отъ друга. Въ частности, следовательно, идеи Константина Аксакова не ему одному принадлежатъ. Если же мы говоримъ о нихъ, усматривая въ нихъ писательскую индивидуальность Константина Сергъевича, то потому, что помимо такихъ уже чисто-индивидуальныхъ качествъ, какъ, напримъръ, хорошее знаніе русской исторіи, древне-русскаго юридическаго быта п т. д., сочиненія Константина Сергъевича ръзко запечатлены его необыкновенною страстностью, благодаря которой онъ довелъ всѣ принцины славянофильства до ихъ крайняго развитія. Тамъ, гдѣ у спокойныхъ Кирѣевскихъ, дѣловитаго Самарина и лишеннаго душевнаго энтузіазма Хомякова пдеть спокойная экспозиція, тамъ Константинъ Аксаковъ, выражаясь вульгарно, рветъ и мечетъ. Онъ въ славянофильствъ занимаетъ приблизительно такое же мъсто, какое занимаетъ въ западничествъ его нъкогда закадычный другь Бѣлинскій. И "неистовый Виссаріонъ" проводиль иден, далеко не ему одному принадлежавшій, но онъ проводиль ихъ съ такимъ жаромъ и увлеченіемъ, что онъ остались въ литературъ съ его именемъ. У Константина Аксакова не было таланта Бѣлинскаго, но и изъ его изложенія многія славянофильскія иден, благодаря горячей убъжденности, запечатлъваются ръзче, чъмъ изъ изложенія другихъ славянофиловъ, и потому онъ по справедливости должны быть связаны именно съ его литературною дъятельностью.

Возвращаясь же къ проф. Самоквасову, замѣтимъ, что во всякомъ случаѣ, если говорить о фактическомъ вліяніи общинно-вѣчевой теоріи на разработку древне-русской исторіи, то честь его всецѣло принадлежитъ Константину Аксакову. Статья Бѣляева настолько мало извѣстна, что одинъ только проф. Самоквасовъ и цитируетъ ее. Всѣ же, которые поддались дѣйствію народническихъ возэрѣній на древне-русскую жизнь, взяли ихъ у Константина Сергѣевича. Это онъ ихъ зажегъ своимъ восторженнымъ энтузіазмомъ, это его стремительность опрокинула освященное прежнею историческою наукою пренебреженіе къ основамъ народнаго міросозерцанія.

Переходя ко второй основной мысли историческихъ работъ Константина Сергъевича—о томъ, что русскій народъ ръзко отдѣлялъ понятіе о "землъ" отъ понятія о государствъ, не можемъ не замѣтить прежде всего, что, свидѣтельствуя, какъ и все когда-либо вышедшее пзъ-подъ пера Константина Аксакова, о глубокомъ благоговѣніи его къ качествамъ русскаго народнаго духа, мысль эта однако же весьма мало гармонируетъ съ только-что очерченной теоріей того же автора о шпрокомъ значеніи народовластія въ древней Руси. Читатель, конечно, замѣтилъ, съ какою энергіею Аксаковъ подбиралъ лѣто-писные факты, изъ которыхъ ясно, что важнѣйшія событія государственной жизни древней Руси совершались при непосредственномъ участіи народа. Всѣ вообще усилія автора теоріи объ общинно-вѣчевомъ бытѣ только къ тому и направлены, чтобы нарисовать картину того, какъ въ первоначальные періоды нашей исторіи русскій народъ государетвовалъ.

Но что же находимъ мы въ двухъ статьяхъ "Объ основныхъ началахъ русской исторіи", которыя совершенно правильно ставятся во главѣ историческихъ работъ Константина Аксакова, какъ заключающія въ себѣ главныя мысли его о русской исторіи?

Авторъ даетъ въ ней очеркъ нарожденія русскаго государственнаго уклада. До Рюрика, говоритъ онъ, "славянскія племена, населявшія Россію, жили подъ условіями быта; община, такъ устроенная, носитъ простое названіе земли, которое мы удержимъ: оно оправдается впослѣдствіп". Но вотъ землю начинаютъ тѣснить "бранные, неугомонные сосѣди", возникаетъ также вражда внутренняя. Тогда "земля, чтобы спасти себя, свою земскую жизнь, рѣшается призвать на защиту государство. Но, надо замѣтить, славяне не образуютъ изъ себя государство, они призываютъ его; они не изъ себя избираютъ князя, а ищутъ его за моремъ; такимъ образомъ, они не смощивають земли съ государствомъ, прибыгая къ послъднему, какъ къ необлюдимости для сохраненія первой. Государство, политическое устройство—не едълалось цълью ихъ стремленія,—нбо они отдѣляли себя или земскую жизнь отъ государства и для сохраненія первой призвали послѣднее".

Стремленіе отдёлить землю отъ государства такъ глубоко вкоренилось въ русскомъ характерё, что оно замётно даже у такой вольницы, какъ новгородцы. "Многіе думають о Новгородѣ", говорить Аксаковъ, "какъ о наиболѣе мѣнявшемъ князей, что онъ былъ республика: совершенно ложно! Новгородъ не могъ оставаться безъ князя. Возьмите новгородскую лѣтопись, прочтите, съ какимъ ужасомъ говоритъ лѣтописецъ о томъ, что они три недѣли были безъ князя".

Чрезъ всю исторію Россіи, начиная съ древивнихъ временъ ея

и вилоть до междуцарствія и Петра, проходить это рѣшительное открещиваніе отъ власти. "Государство никогда у насъ не обольщало собою народа, не плѣняло народной мечты; вотъ почему, хотя и были случаи, не хотѣлъ народъ нашъ облечься въ государственную власть, а отдавалъ эту власть избранному имъ и на то назначенному государю, самъ желая держаться своихъ внутреннихъ жизненныхъ началъ".

Можно быть разнаго мнвнія объ исторической вврности толькочто приведеннаго взгляда Аксакова и о степени его соотвътствія съ такими явленіями древне-русской жизни, какъ частые земскіе сборы или выборное замъщение должностей чисто-административнаго характера, т. е. представляющихъ собою делегацію центральной государственной власти. Но, во всякомъ случав, едва ли кто станетъ отрицать коренное противоречие выдвигаемаго нашимъ авторомъ открещиванія отъ власти съ общимъ характеромъ фактовъ, имъ же подчеркиваемыхъ въ стать в объ общинномъ быт в. Тамъ объ этомъ открещиваніп и индифферентизм'є не было ни слова. Напротивъ того, энергично напиралъ Константинъ Сергъевичъ на то, что "голосъ и совътъ Русской земли" имълъ огромное значеніе даже въ эпоху царскую, когда по общему представленію народовластіе исчезло окончательно. Съ энтузіазмомъ указываеть онъ тамъ, какъ въ эпоху междуцарствія происходили "безпрестанныя сов'ящанія народныя въ городахъ и селахъ, совъщанія, на которыхъ, по обычаю русскому, всъ сословія, весь народъ принималь участіе", какъ земля предъявила свои условія къ воевсдамъ-троеначальникамъ" и какъ вообще даже "единодержавіе Москвы" ничуть не измѣнило прежняго уклада. О томъ же, что все это народовластіе носить тоть особенный, мало имъющій общаго съ обычными представленіями о народовластіи характеръ, который придаетъ ему Константинъ Аксаковъ въ своихъ стараніяхъ отдёлить понятіе древне-русской "земли" отъ понятія о государствь, обо всемь этомь, повторяемь, авторь статьи объ общинномъ бытъ и не занкался. Странность тъмъ болъе разительная, что статья объ общинномъ бытъ написана позже статей, трактующихъ о различіи между древне-русскою "Землей" и государствомъ.

Странность эта однако же вполнѣ объяснится, если мы примемъ во вниманіе, что не an und für sich привлекали Константина Сергѣевича историческія явленія, изслѣдованіемъ которыхъ онъ отъ времени до времени занимался. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ ученыхъ, которыхъ интересуетъ предметъ изслѣдованія, какъ таковой. Публицистъ и трибунъ по натурѣ, онъ приступалъ къ историческимъ работамъ исключительно затѣмъ, чтобы обставить "фактами" тѣ апріорные выводы, которые онъ дѣлалъ подъ диктовку общаго своего

міровоззрѣнія. Въ данномъ случаь, вопрось объ общинномъ быть древней Руси отнюдь не по существу занималь нашего пламеннаго натріота. Все это ему нужно было какъ средство выставить въ идеальномъ видъ древне-русскую жизнь. Бытъ государственный выше патріархальнаго, и народу, стоявшему на этой ступени историческаго развитія, отводится въ этнографической іерархін болѣе почетное мѣсто—вотъ изъ чего сердцемъ исходилъ Константинъ Сергѣевичъ и вотъ что побуждало его выдвинуть общинно-вѣчевую теорію, какъ возвеличивающую основы русскаго народнаго быта и духа. А что тутъ не было строгаго соотвѣтствія съ тѣмъ весьма ограниченнымъ народовластіемъ, которое лежить въ основѣ ученія Константина Аксакова о различіи между "землею" и государствомъ—это потому мало тревожило его, что самое-то ученіе о различіи "земли" и государства есть тоже не что иное, какъ средство выставить въ идеальномъ видъ древне-русскую жизнь.

О какомъ, въ самомъ дѣлѣ, высокомъ нравственномъ уровнѣ гоговоритъ эта раздѣльность, если понимать ее, а главное, объяснять ея происхожденіе такъ, какъ оно дѣлается Аксаковымъ.

"Нравственное дѣло", говоритъ онъ, "должно и совершаться нравственнымъ путемъ, безъ помощи внѣшней, принудительной силы. Вполнѣ достойный—путь одинъ для человѣка: путь свободнаго убѣжденія, путь мира, тотъ путь, который открылъ намъ Божественный Спаситель и которымъ шли Его Апостолы. Это путь внутренней правды".

Существуетъ, однако, и "другой путь, гораздо, повидимому, болѣе удобный и простой; внутренній строй переносится во внѣ, и духовная свобода понимается только какъ устройство, порядокъ; основы, начала жизни понимаются какъ правила и предписанія. Все формулируется. Этотъ путь не внутренней, а внъшней правды, не совѣсти, а принудительнаго закона".

Послѣднимъ путемъ, "путемъ виѣшней правды, путемъ государства двинулось западное человѣчество". Такой путь гибеленъ. "Формула, какая бы то ни была, не можетъ обнять жизни; потомъ, налагаясь извиѣ и являясь принудительною, она утрачиваетъ самую главную силу, силу внутренняго убѣжденія и свободнаго ея признанія; потомъ далѣе, давая такимъ образомъ человѣку возможность опираться на законъ, вооруженный принудительною силою, она усыпляеть склонный къ лѣни духъ человѣческій, легко и безъ труда успокаивая его исполненіемъ наложенныхъ формальныхъ требованій и избавляя отъ необходимости внутренней нравственной дѣятельности и внутренняго нравственнаго возрожденія".

Русскій же народъ пошелъ путемъ внутренней правды. "Подъ

вліяніемъ вѣры въ нравственный подвигъ, возведенный на степень исторической задачи цѣлаго общества", создался "мирный и кроткій характеръ древне-русскаго народа", благодаря которому онъ, не желая государствовать, добровольно призвалъ государственную власть извнѣ. Добровольность призванія государства имѣетъ въ глазахъ Константина Аксакова особенную цѣну, потому что оно рѣзко оттѣняетъ процессъ нарожденія государства въ Россіи отъ процесса его нарожденія на Западѣ, гдѣ онъ совершился путемъ завоеванія. Вслѣдствіе добровольности призванія, въ Россіи земля и государство, хотя "и не смѣшались, а отдѣльно стояли", все-таки находились "въ союзѣ другъ съ другомъ. Въ призваніи добровольномъ означились уже отношенія земли и государства—взаимная довѣренность съ обѣихъ сторонъ. Не брань, не вражда, какъ это было у другихъ народовъ, вслѣдствіе завоеванія, а миръ, вслѣдствіе добровольнаго призванія".

Такъ складывался русскій государственный строй въ княжескій періодъ, такъ было и потомъ. "Явился Великій Князь и потомъ Царь Московскій и всея Руси, наслѣдственный и самодержавный. Отношеніе Земли и Государства, народа и правительства, прежняя взаимная довѣренность—были основою ихъ отношеній. Подобно тому какъ князь созывалъ Вѣче ¹), царь созывалъ Земскую Думу или Земскій Соборъ. Народъ не требевалъ, чтобы государь спрашивалъ его мнѣнія. Государь не опасался спрашивать мнѣнія народа. Кто читалъ эти Думы, тотъ знаетъ, какъ просто излагалось въ нихъ дѣло. Спрашивали выборныхъ отъ всѣхъ сословій; они говорили: мысль наша такова, а тамъ какъ будетъ угодно государю. Не личное самолюбіе, не гордость западной свободы была здѣсь, а обоюдное искреннее желаніе пользы. Здѣсь не ораторствовали, а говорили, и слово не превышало дѣла".

Вотъ въ какихъ очертаніяхъ представлялась въ воображеніи Константина Сергѣевича древне-русская государственная жизнь, вотъ какія идиллическія соціальныя отношенія вырисовывалъ онъ съ помощью раздѣльности "Земли" отъ Государства, которая только потому и дорога ему, что является посылкою для восторженнаго панегирика древней Руси. Если бы, въ самомъ дѣлѣ, его тутъ интересовалъ вопросъ непосредственнаго историческаго изслѣдованія явле-

¹⁾ Въ другихъ мѣстахъ своихъ историческихъ работъ, —тамъ, гдѣ Константину Сергѣевичу хотѣлось подчеркнуть широкіе предѣлы древне-русскаго народовластія, "созывъ" вѣча окрашивался имъ совсѣмъ въ другой цвѣтъ. Вотъ что, напр., мы читаемъ на стр. 617: "Князь долженъ былъ заниматься дѣлами, пока вѣче не собиралось. А когда вѣче собиралось, оно было важнѣе князя и могло князя прогнать".

ній, відь не могь же бы онь проглядіть и темных сторонь, которыя неизбѣжны во всѣхъ человѣческихъ учрежденіяхъ уже просто потому что нать совершенства на земль. Но такъ какъ вся даятельность Константина Аксакова, какъ историка, имела въ основе своей исключительно-полемическія ціли, ціли борьбы съ "пренебреженіемъ" западниковъ къ древне-русской жизни; такъ какъ во всехъ своихъ историческихъ статьяхъ онъ всегда является адвокатомъ и никогда не бываетъ судьею, то слова укоризны и не срываются никогда съ его устъ. Когда-же темныя стороны настолько ръзки, что просто умолчать о нихъ, какъ это делаетъ онъ обыкновенно, невозможно, тогда всв силы его страстной діалектики направляются къ тому, чтобы смягчить и скрасить неприглядность фактовъ, плохо вяжущихся съ картиною аркадскихъ нравовъ. Любопытнымъ образчикомъ такого желанія скрашивать—во что бы то ни стало и не смущаясь рѣшительно ничѣмъ-можетъ служить отношение Константина Сергѣевича къ крипостному праву въ древней Руси. Казалось бы, какъ справиться съ этимъ фактомъ, столь мало говорящимъ о какомъ-то необыкновенномъ душевномъ согласін "земли" и государства? II однако же, Аксаковъ нашелъ въ себъ достаточно пристрастности, чтобы пронически обратиться къ "милостивымъ государямъ", "просвѣщеннымъ противникамъ древней Руси", отъ которыхъ "часто слышишь, что безчеловъчное кръпостное право установлено древнею Русью", и сказать имъ: "Кто говоритъ, милостивые государи, кръпостное право наше - дъло возмутительное. Но виноватали въ этомъ древняя Русь?" Статья, начинающаяся такимъ проническимъ обращениемъ ("О состоянии крестьянъ въ древней Руси"), осталась неоконченной, следовательно, вполне развить свою защиту Константину Сергъевичу не удалось. Но на поляхъ статьи нашелся краткій конспекть ея и тезисы. И воть заключительный изъ этихъ тезисовъ, въ связи съ общимъ ходомъ аргументаціи статьи, даетъ полное представление объ окончательномъ выводъ ея, которымъ должны были быть посрамлены "милостивые государи", коловшіе славянофильству глаза древне-русскимъ крѣпостнымъ правомъ:

"Русь не понимала рабства", намѣчалъ въ общихъ чертахъ Константинъ Сергѣевичъ свою главную мысль, "къ тому же въ ней нѣтъ ни либерализма, ни рабства. Свободная страна. Западъ началъ съ рабства, прошелъ сквозь бунтъ, и хвастаетъ холопской дерзостью либерализма...

"Западъ имъетъ опытность гръха; онъ ужъ узналъ всъ мерзости и установилъ свои отношенія. Кому же, какъ не лисъ, всъ лисьи норки знать? Русь не имъла этой опытности и поневолъ попала въ рабство.

"Большая разница между тръхомъ и порокомъ. Въ древней Руси есть тръхи, по нътъ пороковъ".

Мы съ особеннымъ удовольствіемъ привели эти нѣсколько строкъ. Въ нихъ весь Константинъ Аксаковъ, съ его почти безумнымъ обожаніемъ допетровской старины, съ его поистинѣ трогательною способностью выдвигать въ защиту древне-русской жизни такіе поражающіе софизмы, которые показываютъ, что мы тутъ имѣемъ дѣло уже не съ теоретическимъ воззрѣніемъ, не съ научнымъ взглядомъ, а прямо съ какимъ-то религіознымъ экстазомъ.

Мы выше старались показать, что мысли Константина Аксакова объ общинномъ бытъ и раздъльности "Земли" отъ Государства, по основному назначенію своему, являются посылками для созданія величаваго образа древне-русской жизни до ея "порчи" ненавистными Аксакову, въ періодъ окончательнаго установленія его міросозерцанія, реформами Петра Великаго. Эти посылки могутъ быть названы главными устоями историческихъ взглядовъ Константина Аксакова и потому мы ихъ выдълили особо. Но ими далеко не исчерпывается число деталей, съ помощью которыхъ восторженный паладинъ древне-русскаго уклада жизни хотълъ сразить скептицизмъ своихъ западническихъ противниковъ, видъвшихъ въ этомъ укладъ не только свътлыя стороны, но и цълый рядъ фактовъ грубаго попиранія элементарныхъ основъ человъческаго общежитія. Константинъ Сергъевичъ, напротивъ того, то и дъло открываль новыя данныя для подтвержденія своего восторженнаго отношенія къ древней Руси.

Въ древней Руси, напримъръ, не было аристократіи, "и не могло быть, ибо боярство не было наслъдственно. Князья часто попадаются въ жильцахъ; все зависъло отъ службы. Сюда, правда, входило мъстничество; но само мъстничество на воспоминаніяхъ службы основывало права свои. Раздъленія на неподвижныя сословія не было. Живое начало проникало весь составъ, и нигдъ, ни въ какомъ сословіи, не застаивалось кругообращеніе силъ государственныхъ; можно было дослужиться до боярина; изъ людей земскихъ можно было перейти въ служивые. Аристократіи западной не было вовсе".

Это отсутствіе арпстократическаго начала сказалось особенно ярко въ былинахъ Владимірова цикла, разобранныхъ Константивомъ Сергѣевичемъ въ особой статьѣ, о которой упомянуто выше (стр. 385—387).

Тѣ же былины Владимірова цикла дають нашему автору матеріаль для обрисовки высокаго общественнаго положенія славянской женщины. "Женщины былинь часто носять куяки, панцыри, кольчуги, также выѣзжають въ поле искать бранныхъ опасностей. Сила ихъ иногда не уступаеть мужской. Такова Настасья Королевишна, на которой женился Дунай, сестра Афросиньи Королевишны, супруги Великаго Князя Владиміра, отличавшейся влюбчивымъ сердцемъ.

Такова жена Ставра-боярина Василиса Микулишна. Прибавимъ, въ дополненіе къ этой мужественности женщинъ образъ, совершенно русскій, Царь-Дѣвицы: вспомнимъ преданія объ Амазонкахъ, о Чешской Власкѣ, и все это вмѣстѣ, утверждая за славянскою женщиною независимость и равныя права съ мужчиною даже въ ратномъ дѣлѣ. совершенно уничтожаетъ тѣмъ самымъ всякую мысль о рабствѣ или угнетеніи женщинъ у Славянъ".

Но самый жгучій энтузіазмъ возбуждаеть въ Константинѣ Сергѣевичѣ христіанство древней Руси, причемъ исторію его водворенія на нашей родинѣ онъ представляеть себѣ совсѣмъ не въ томъ видѣ, въ какомъ оно намъ извѣстно изъ другихъ историческихъ данныхъ. Занимавшіеся древне-русскою письменностью знаютъ, какую огромную роль играетъ въ ней борьба съ двоевъріемъ. Принявши христіанство, предки наши не могли, конечно, сразу отстать отъ прежнихъ вѣрованій своихъ и въ теченіе многихъ, многихъ вѣковъ примѣшиваютъ ихъ къ вѣрованіямъ новымъ. Противъ этого, какъ его назвали древне-русскіе пастыри, двоевѣрія направлена значительная часть литературы древняго періода нашей исторіи. Чтобы не останавливаться на мелкихъ явленіяхъ, отмѣтымъ проновѣди преп. Өеодосія Печерскаго, жившаго въ ХІ вѣкѣ, св. Серапіона, епископа Владимірскаго, жившаго въ ХІІ вѣкѣ, Максима Грека и Стоглавъ, боровшихся съ двоевѣріемъ еще въ срединѣ ХVІ вѣка.

Но ничего этого знать не хотель Константинь Аксаковь. Онъ не прочь даже серьезно утверждать, что русскіе Славяне никогда собственно и не были язычниками. (Статья "О язычествъ у древнихъ Славянъ"). "У Русскихъ Славянъ мы положительно не видимъ ни жрецовъ, ни храмовъ, не видимъ ни идоловъ, ни даже боговъ". Правда, Несторъ упоминаетъ о богахъ и кумирахъ, но, по митнію Константина Аксакова, "слова Нестора объясняются какъ недьзя яснве", именно твмъ, что "идолопоклонство это была ввра Князи и дружины". Язычество же народа "было самое чистое язычество, было при върованіи въ Верховное Существо, постоянное освященіе жизни на земль, постоянное ощущение общаго высшаго смысла вещей и событій. Следовательно, верованіе темное, неясное, готовое къ просвъщенію и ждавшее луча истины". Конечно, сколько нибудь серьезныхъ доказательствъ этого удивительнаго взгляда на древне-русскую народную мноологію, богатую цёлымъ рядомъ божествъ. нашъ авторъ п не приводитъ, въ своемъ занимающемъ говно иять страниць обзоръ русскаго язычества, на которыхъ онъ однако же съ такою решительностью выдвигаетъ взгляды діаметрально-противоположные тому, къ чему пришла русская историческая наука. Эта решительность, имеющая своимъ единственнымъ основаніемъ жесланія автора, составляеть одну изъ основных черть всёхь вообще исторических и иных писаній Константина Сергевича, который, за исключеніемъ статьи о родовомъ быте, почти всегда говориль догматически, т. е. положеніями и утвержденіями, не подкрепляемыми фактическими данными.

Но возвратимся къ исторіи христіанства на Руси по представленію Константина Аксакова. Мивніе объ отсутствій заправскаго язычества у нашихъ предковъ понадобилось нашему автору для того, чтобы, смвшавши въ одно всв стольтія допетровской старины,—создать одну общую характеристику древне-русскаго душевнаго настроенія. Въ результать получается слъдующая противорьчащая исторіи картина, въ которой перепутаны такія мало имвющія общаго между собою эпохи, какъ время Владиміра и 1612 годъ, и въ которой упущенъ фактъ лишь постепеннаго наростанія древне-русскаго благочестія. По Аксакову-же это благочестіе народилось сразу:

"При Игоръ и Владиміръ идолопоклонство князя и дружины начинаетъ простираться и въ народъ, но оно недолго продолжалось; скоро свътъ христіанскій озариль Русскую землю, Русскій народъ, скоро Владиміръ приняль крещеніе. Народъ легко отдаль принятые имъ кумиры, и также легко принялъ христіанство, -- но оно глубоко проникло его душу и стало необходимымъ условіемъ всего его существованія. Христіанинъ и Русскій стали однимъ словомъ. Русь, какъ земля христіанская, именуется святою, и вся последующая исторія показала, что ни соблазны, ни насилія не могуть лишить нась духовнаго блага вфры. — Отдавая на терзаніе свое тело, русскій не отдаваль души, и, терпеливый во всемь, онъ не переносить оскорбленія віры; исторія казаковъ, исторія польскаго нашествія показывають намь это, являють намь этоть спасающійся на земль народь, падающій, какь грышникь-человыкь, но не слабыющій въ въръ, не отрывающійся, всегда кающійся и возстающій покаяніемъ. Поляки изумлялись, смотря на это во время междуцарствія; ихъ католическая въра была власть политическая, завоевательная, была дело государственное, и поэтому дело совсемь другое. Приходя въ частныя соприкосновенія съ Русскимъ народомъ по вопросамъ государственнымъ, Поляки съ изумленіемъ говорять: странный народъ: онъ толкуеть не о политическихъ условіяхъ, а о въръ. Но мы, Русскіе, этому не удпвимся, а съ благоговъніемъ слышимъ это.

Когда вспоминаешь, какъ крестился русскій народъ, невольно умиляешься душою. Русскій народъ крестился легко и безъ борьбы, какъ младенецъ, и христіанство озарило всю его младенческую душу.—Въ его душѣ не было воспоминаній языческихъ, не было огрубѣлой, опредѣленной лжи".

V.

Мы ознакомили читателя съ историческими взглядами Константина Аксакова, имѣющими цѣлью выставить въ идеальномъ свѣтѣ древне-русскую жизнь.

Можно ли однако сказать, что эта идеализація древней Руси есть окончательная цёль историческихъ изслёдованій Аксакова? Нёть ли въ его историческомъ міровоззрёніи другой, еще болёе центральной идеи?

Намъ кажется, что въ такой-же степени, какъ всё взгляды Константина Аксакова на явленія древне-русской жизни имёютъ своимъ назначеніемъ служить посылками для созданія величавой картины допетровской Руси, такъ, въ свою очередь, эта идеализація есть по существу тоже не что иное, какъ посылка для обоснованія теоріи богоизбранности русскаго народа.

Мы хорошо сознаемъ, что, выдвигая такую формулировку ученолитературной дѣятельности Константина Аксакова, мы должны натолкнуться на оживленный протестъ приверженцевъ идей первоучителя славянофильства. Уже упреки въ національной исключительности вызывали со стороны славянофиловъ обвиненія въ клеветѣ. А Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, такъ тотъ въ предисловіи ко ІІ тому сочиненій своего брата находилъ даже, что направленныя по адресу Константана Сергѣевича обвиненія въ національной исключительности имѣютъ своимъ источникомъ "невюжеество противниковъ славянофиловъ".

Очень однако нетрудно будеть показать, что стремление къ національной исключительности, понимая въ данномъ случав этотъ терминъ какъ желаніе отвести русскому народу місто, совершенно особенное въ ряду другихъ народовъ цивилизованнаго міра, лежитъ въ основе всёхъ писаній какъ славянофиловъ вообще, такъ и Константина Аксакова въ частности. Протесты же въ родъ только-что приведеннаго основаны на недоразумении и на слишкомъ буквальномъ толкованіи нікоторыхъ выраженій основателей славянофильства. Не отридаемъ, что, дъйствительно, въ сочиненіяхъ, между прочимъ, и Константина Сергъевича мы иной разъ наталкиваемся на подчеркиваніе "общечеловьческихъ" чертъ русскаго духа. Такъ читатель, вфроятно, вспомнить приведенную нами на стр. 437 цитату изъ изследованія Константина Сергевича о русскихъ глаголахъ, гдъ авторъ такъ опредъленно говоритъ: "Кто изъ насъ станетъ отвергать общее, человъческое?" Вспомнить, въроятно, также читатель диссертацію о Ломоносов'я, основное стремленіе которой, съ одной стороны, заключается въ томъ, чтобы подсмотръть въ русской исторіи фазисы, установленные Гегеломъ для всего человъчества, а съ другой, въ томъ, чтобы пропѣть восторженный диепрамбъ Петру за освобожденіе Россін отъ "оковъ исключительной національности". Правда, читатель можетъ припомнить и то, что диссертація о Ломоносовъ не выражаетъ собою настоящаго Константина Аксакова, какимъ онъ

быль въ періодъ окончательнаго развитія своего міровоззрѣнія. Но мы въ данномъ случаѣ придемъ на помощь людямъ, протестующимъ противъ "навязыванія" славянофиламъ стремленія къ національной исключительности, и укажемъ на рецензію Константина Сергѣевича о І томѣ исторіи Соловьева, въ которой авторъ, прямо отрекаясь отъ прежняго восторженнаго отношенія къ Петру, съ неменьшимъ, однако, восторгомъ подчеркиваетъ, что національная исключительность чужда и ненавистна русскому народу.

Только-что указаннаго было бы совершенно достаточно, чтобы перестать считать учение о богоизбранности русскаго народа характерною чертою міровоззрѣнія Константина Аксакова. Въ особенности убѣдительно то, что и въ періодь своего фанатическаго увлеченія реформами Петра, и въ періодъ еще болѣе фанатической ненависти къ нимъ онъ, подходя къ предмету съ діаметрально-противоположныхъ отправныхъ точекъ, тѣмъ не менѣе одинаково отрицательно относился къ національной исключительности.

Все это на первый взглядъ отрицательное отношеніе однако же только кажущееся, и при сколько-нибудь пристальномъ анализѣ именно тѣ-то самыя немногія мѣста произведеній Константина Аксакова, гдѣ говорится объ общечеловѣческихъ сторонахъ русскаго духа, только увеличиваютъ число посылокъ, на которыхъ поконтся теорія богоизбранности русскаго народа. Начнемъ хотя бы съ цитаты, приведенной на стр. 437 настоящаго тома. Что тамъ говорится непосредственно послѣ словъ "Кто изъ насъ станетъ отвергать общее, человѣческое?":

"Русскій народъ самъ имѣетъ на него (общечеловѣческое) прямое право, а не черезъ посредство какого-нибудь народа; оно самобытно и самостоятельно принадлежитъ ему, какъ и другимъ? Можетъ быть ему болъе, нежели другимъ, и можетъ бытъ міръ не видалъ еще того общаго человъческаго, какое явитъ великая славянская, и именно русская природа".

Это ли не провозглашение богоизбранности русскаго народа, это ли не превращение общечеловъческихъ сторонъ русской духовной природы въ средство показать, что русский народъ духовно выше, духовно совершеннъе другихъ народовъ?

Въ такое же прославление спеціально русскому народу присущихъ доблестей неожиданно превращается, первоначально вытекшее изъ другого источника, желаніе Константина Аксакова показать, что національная исключительность чужда русскому духовному складу. Восторженное одобреніе этой чертъ русской народной исихологіи, высказанное Константиномъ Сергъевичемъ въ вышеупомянутой рецензіи на І томъ исторіи Соловьева, конечно, исключило бы, какъ

мы уже сказали, возможность видёть въ нашемъ писателё провозвъстника идеи богоизбранности русскаго народа. Но въ томъ-то и дело, что идея русскаго превосходства такъ переполняетъ его, желаніе видіть въ народі русскомъ избранный сосудь Господень такъ велико, что, начавши, такъ сказать, за упокой, онъ кончаеть во здравіе, начавши съ аплодированія идев общности народовъ, онъ незамѣтно для самого себя переходить на почву преимуществъ русскаго народа передъ другими. "Исключительности національной не было никогда въ допетровской Россіи", читаемъ мы сперва, и вследъ за этимъ идутъ историческія доказательства. "Духъ нашего народа есть христіанской-человическій", провозглашаеть на слидующей страниць Константинъ Сергьевичъ, идя въ томъ же направленіи. Но вотъ въ одинъ моментъ вся постановка вопроса совершенно мъняется и мы читаемъ следующія слова, направленныя противъ гордыни европейскихъ народовъ, но на самомъ деле обличающія національную гордыню ихъ автора:

"И теперь ни къ нѣмцамъ, ни къ полякамъ, въ простомъ народѣ нѣтъ никакой ненависти. Но этот высокій христіанскій взилядь нашего народа быль недоступень народамъ другимъ, гордымъ народамъ Запада, которые только теперь, и то въ избранныхъ своихъ, въ нѣкоторыхъ сословіяхъ, дошли до человѣческаго взгляда русскаго народа, да и то больше какъ космо-политы,—слѣдовательно, впали въ новую ошибку".

Опять, значить, русскій народь выше всёхь, опять онь исключительное вмёстилище нравственныхь началь.

Такъ вотъ къ чему сводятся два, три мѣста въ произведеніяхъ Констант. Аксакова, которыя на первый взглядъ какъ будто противорѣчатъ нашему формулированію центральной идеи его учено-литературной дѣятельности. На диссертаціи о Ломоносовѣ мы, конечно, не останавливаемся, но читатель, достаточно ознакомленный выше съ тѣмъ, какъ нужно смотрѣть на эту послѣднюю отрыжку гегеліанства юныхъ дней Констант. Сергѣевича, не увидитъ тутъ упущенія съ нашей стороны.

А теперь, по слѣ того, какъ мы устранили тѣ немногія препятствія, которыя могли бы помѣшать нашей формулировкѣ, наша задача становится до-нельзя простою. Изъ отдѣльныхъ формулировокъ Аксакова можно составить цѣлую хрестоматію, цѣлую мозацку цитатъ, настолько рѣзкихъ и опредѣленныхъ, что одно приведеніе ихъ, безъ всякихъ комментаріевъ, ярко обрисовываетъ идею русской богоизбранности.

Оставляетъ ли, напр., какія-нибудь сомнѣнія такая фраза: "Русская Исторія импьеть значеніе Всемірной Исповыди. Она можеть читаться, какь житія святыхь" (стр. 625). Спѣшимъ прибавить, что, настапвая на терминѣ "богоизбранность", мы въ данномъ случаѣ просимъ его понимать отнюдь не въ переносномъ смыслѣ, а непремѣнно въ буквальномъ. Да, по глубокому убѣжденію Константина Аксакова, Господь Богъ, въ своей неисчерпаемой благости, взыскалъ Россію своею особенною милостію и въ награду за его смиреніе поставилъ русскій народъ превыше всѣхъ буйныхъ и кичливыхъ своею суетною мудростью народовъ Запада.

Съ мыслями Конст. Сергѣевича о смиреніи русскаго народа мы бы, собственно говоря, должны были ознакомить читателя выше, въ томъ отдѣлѣ, гдѣ шла рѣчь о доблестяхъ древне-русскихъ по представленіямъ нашего писателя. Но ученіе о русскомъ смиреніи такъ тѣсно переплетено у Константина Аксакова съ ученіемъ о русской бого-избранности, что ихъ трудно разсматривать отдѣльно. Одно другое дополняетъ и одно изъ другого вытекаетъ.

"Русская исторія", читаємъ мы на стр. 18 (т. І), "въ сравненіи съ исторіей Запада Европы отличаєтся такою простотою, что приведеть въ отчаяніе человѣка, привыкшаго къ театральнымъ выходкамъ. Русскій народъ не любитъ становиться въ красивыя позы; въ его исторіи вы не встрѣтите ни одной позы, ни одного красиваго эффекта, ни одного яркаго наряда, какими поражаєть и увлекаєть вась исторія Запада; личность въ русской исторіи праєть вовсе не большую роль; принадлежность личности—необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ея—и нѣтъ у насъ. Нѣтъ рыцарства съ его кровавыми доблестями, ни безчеловѣчной религіозной пропаганды, ни крестовыхъ походовъ, ни вообще этого безпрестаннаго, щегольского драматизма страстей".

Въ приведенныхъ покамѣстъ словахъ нѣтъ еще ничего специфически славянофильскаго. Рѣчь идетъ о той составляющей основу русскаго національнаго характера симпатичной простотѣ и безыскусственности, предъ которыми западничество преклоняется не меньше славянофильства. Кто рѣзче Тургенева въ "Запискахъ Охотника" оттѣнилъ полное отсутствіе въ коренномъ русскомъ человѣкѣ рисовки и театральности?

Но простое уважение къ этой чертъ русскаго характера не удовлетворяетъ Константина Аксакова. И вотъ создается знаменитая теорія русскаго "смиренія", которою такъ грубо злоупотребляли люди, ничего общаго не имъвшіе съ высотою помысловъ и чистотою намъреній восторженнаго славянофила, но отлично понявшіе, что "смиреніе"—удивительно удобная почва для проповъди застоя и китайщины.

Обрисовавъ "театральный" характеръ западной исторіи, Константинь Сергьевичь переходить къ исторіи русской:

"Русская исторія—явленіе совсёмъ иное. Дёло въ томъ, что здёсь другую задачу задалъ себё народъ на землё, что христіанское ученіе глубоко легло въ основаніе его жизни. Отсюда, среди бурь и волненій,

насъ посъщавшихъ, эта молитвенная тишина и смиреніе, отсюда внутренняя духовная жизнь въры. Не отъ недостатка силъ и духа, не отъ недостатка мужества возникаетъ такое кроткое явленіе! Народъ русскій, когда бываль вынуждень обстоятельствами явить свои силы, обнаруживалъ ихъ въ такой степени, что гордые и знаменитые храбростію народы, эти лихів бойцы человвчества, падали въ прахъ предъ нимъ, смиреннымъ и тутъ же, въ минуту побъды, дающимъ пощаду. Смиреніе, въ настоящемъ смысль, несравненно большая и высшая спла духа, чемъ всякая гордая, безстрашная доблесть. Вотъ съ какой стороны, со стороны хрпстіанскаго смиренія, надо смотрать на Русскій народъ и его исторію. Въ такомъ народь не прославляется человькь съ его дълами, прославляется одинь Бого. Чтобы въ этомъ увфриться, стоить только приномнить нашу исторію. Русскіе одерживають невіроятную побіду; и, говоря о ней безъ всякаго слова похвалы или гордости, приписывають ее помощи Божіей: не чувство победнаго тріумфа одушевляеть ихъ, а чувство благодарности къ Богу. Напетаютъ татары или поляки, народъ говорить: это за грахи наши, мы прогнавали Господа-кается и выходить на неизбажную брань. Побъждены татары, взята Казань, разбиты рыцари, освобождена Москва-Русскій народъ не ставить памятниковъ ни делу, ни человеку, а строитъ деркви и учреждаеть крестные ходы. Скажемъ здёсь кстати о Русскомъ народь, что до христіанства онъ быль уже добрая почва, и что слово Божіе, упавшее на него, какъ на добрую почву, возросло во благь. Поэтому (согласно и съ духомъ Русскаго народа, согласно и съ въчными началами Вфры, которыми по благости Божіей быль онъ просвътлень) исполнена такой глубокой простоты Русская исторія; поэтому не встрътите вы въ ней ни одной этой красивой лжи, которая заставляетъ человъка любоваться собою въ своемъ собственномъ порывъ, говорить фразы, щеголять нарядомъ тела и души. Въ Русскомъ міре неть ничего гордаго, ничего блестящаго, ни единаго эффекта. Все просто. Слово скупо; вы встретите его столько, сколько нужно для дела, скорее даже мене, чемъ нужно для дела. Совершаются великія дела-безъ щегольства и хвастливости. Собирается Земская Дума или Соборъ безъ всякихъ театральныхъ обстановокъ, а просто для дела. Пдутъ освобождать Москву, зовуть другь друга на общій подвигь, искренно и просто. И все кажется некрасиво и невидно для неглубокаго взгляда-тому, кто не замътитъ великости смиренія и внутренней силы, для того нужной. А кто замфтить, кто увидить его, передь темь побледивыть все иллюстрированныя картпики, которыми такъ богаты исторіи другихъ народовъ. Въ самомъ дъль, какая можетъ тамъ быть красивость и блескъ, гдь нътъ поклоненія человьку, гдь человькь не любуется самъ собой, гдь онъ, христіанинъ, постоянно сознаеть себя граховнымъ и недостойнымъ и смиряется, молясь, передъ Богомъ. Здесь высшая духовная красота, не многимъ понятная. Но Русскій народъ не впалъ и въ другую гордость, въ гордость Върою, т. е. онъ не возгордился тъмъ, что онъ имъетъ Въру. Нать, это народъ христіанскій въ настоящемь смысла этого слова, постоянно чувствующій свою граховность. Исторія Русскаго народа есть единственная во всемь мірь исторія народа христіанскаго не только по исповыданію но по жизни своей, по крайней мъръ, по стремленію своей жизни" (т. І, стр. 19).

Курсивъ послѣднихъ словъ принадлежитъ Аксакову. Онъ, значитъ, хотѣлъ, чтобы они особенно запечатлѣлись въ представленіи

читателя, чтобы они особенно крыпко засыли въ находящихся "подъ нгомъ Запада" умахъ нашихъ "верхнихъ классовъ". Боле резкой постановки идеи богоизбранности и представить себъ нельзя. Древнееврейскіе пророки не говорили въ болье восторженныхъ выраженіяхъ о богоизбранности своего народа. А не забудемъ, что древніе еврен были единствевнымъ народомъ Востока, дошедшимъ до идеи Единобожія, между тъмъ какъ Константинъ Аксаковъ строитъ свои параллели не на сравненіяхъ съ язычниками, а на сравненіяхъ съ народами, поклоняющимися тому же Христу, что и русскіе, и притомъ еще просвъщенными благодатью христіанскаго ученія на много въковъ раньше русскаго народа. И вотъ, если принять во вниманіе эту весьма капитальную разницу, то мы неизбёжно приходимъ къ убёжденію, что ученіе Константина Аксакова о богоизбранности русскаго народа проникнуто гораздо большею національною исключительностью, чёмъ то древне-еврейское ученіе о богоизбранности Израиля, которое считается крайнимъ проявленіямъ исключительности и національной гордыни. Не забудемъ также, что библейские пророки, говорившие такъ страстно и восторженно о любви Господа къ Израилю, были столь же страстны въ нападкахъ на недостатки своего народа, на его отступленія отъ шествованія по стезъ богобоязненности и добродьтели. Съ устъ же Константина Аксакова слова укоризны не срываются никогда по отношенію къ тому ядру русской націи, которое онъ считаетъ "настоящимъ" русскимъ народомъ. Онъ безпощаденъ только въ нападкахъ на "оторванную" отъ "почвы" интеллигенцію, созданную реформами Петра. О народъ же допетровскомъ Константинъ Сергвевичъ можетъ говорить не иначе, какъ съ молитвеннымъ благоговъніемъ. Правда, послъ приведеннаго выше курсивомъ утвержденія, что русскій народъ "есть единственный во всемъ міръ" образецъ истинно-христіанскій жизни, Константинъ Сергѣевичъ прибавляеть:

"Да не подумають, чтобы и считаль исторію русскую исторією народа святого! О, я тѣмъ бы нарушиль и свое мнѣніе о немъ, и святыню его смиренія! Нѣтъ, конечно, это народъ грѣшный: безгрѣшнаго народа быть не можетъ".

Но вся эта оговорка, противоръчащая, впрочемъ, выше цитированному афоризму: "Русская исторія читается, какъ житія Святыхъ" въ концѣ концовъ ведетъ все-таки къ прославленію безпримѣрныхъ качествъ русскаго народа: онъ хотя и

"народъ грѣшный (безгрѣшеаго народа быть не можетъ), но постоянно, какъ христіанинъ, падающій и кающійся—не гордящійся грѣхами своими, не имѣющій именно тѣхъ блестящихъ суетныхъ сторонъ той славы, величанія и гордости земной другихъ народовъ, которыя показываютъ уже

не христіанскій путь. Грѣхъ былъ для русскаго народа всегда грѣхомъ, а не добродѣтелью; онъ въ немъ каялся, а не хвалился имъ. Начало всей его жизни, отъ котораго, по слабости человѣческой, онъ въ поступкахъ и отклонялся иногда, никогда его не отвергая, не переставая къ нему стремиться и сознавая въ такомъ случаѣ себя виновнымъ, — есть Вѣра Православная. Не даромъ Русь зовется Святая Русь" (стр. 20).

Но если духовныя качества русскаго народа такъ высоки, если Святая Русь есть такое безпримѣрное вмѣстилище доблестей и богобоязненности, то какая ей за все это уготована награда? Извѣстно вѣдь, что всякое ученіе о богоизбранности или по крайней мѣрѣ то, съ которымъ мы знакомимся по Ветхому Завѣту, очень краснорѣчиво въ описаніи благъ и милостей, которыми Господъ осыпаетъ народы, имъ излюбленные особо.

По отношенію къ ученію Константина Аксакова, казалось бы съ перваго раза, что эта награда должна быть исключительно духовная. Онъ такъ часто подчеркиваетъ противоположность между спеціально-нравственнымъ духовнымъ складомъ народа русскаго и грубо-матеріальнымъ другихъ народовъ, что казалось бы, что и награду русскому народу за его смиреніе и шествованіе по стезѣ добродѣтели онъ долженъ былъ видѣть въ какихъ-нибудь исключительно-духовныхъ благахъ.

Къ удивленію оно не такъ. Восторженный апологеть русскаго смиренія, беззавѣтнаго служенія истинѣ и безкорыстнаго духовнаго совершенствованія съ тѣмъ же паеосомъ, съ которымъ древне-еврейскіе пророки говорили о роскошныхъ пажитяхъ и виноградникахъ Изранля, рисуетъ такую картину матеріальнаго могущества Россіи:

"И Господь возвемичиль смиренную Русь. Вынуждаемая своими драчливыми сосёдями и пришельцами къ отчаянной борьбь, она повамила (sic) ихъ веёхт одного за другимъ. Ей дался просторъ на землё. Въ трехъ частяхъ свёта ея владёнія, седьмая часть земного шара принадлежитъ ей одной. Въ ея предёлахъ невыносимое знойное лёто и невыносимая вѣчная зима; въ ея предёлахъ солнце восходить на одномъ концё и заходить на другомъ въ одно и то же время. И вотъ гордая Европа, всегда презиравшая Русь, презиравшая и не понимавшая ея духовной силы, увидёла страшное могущество силы матеріальной, и для нея понятной (sic),—и снёдаемая ненавистью, въ какомъ-то тайномъ ужаеф, смотрить она на это страшное, полное жизни, тёло, души котораго понять не можеть".

Всего поразительные, конечно, въ этой тирады то, что въ ней говорится о территоріальномъ расширеніи Россіи, которое, какъ извыстно, главнымъ образомъ, происходило при Петры и его преемникахъ, т. е. въ тотъ ненавистный Константину Сергыевичу петербургский періодъ, когда по ученію славянофиловъ истинно-русскія начала были попраны и тлетворныя вліянія Запада исказили характеръ русской государственной жизни.

Намъ остается теперь, чтобы покончить съ ученіемъ Константина Аксакова о богоизбранности русскаго народа, указать на одну изъ наиболье характеристичныхъ особенностей этого ученія, которую мы, при всемъ нашемъ желаніи остаться въ предёлахъ строгой объективности, ръшаемся назвать одной изъ самыхъ темныхъ сторонъ міровоззрвнія Константина Сергвевича. Мы говоримь о его фанатической ненависти къ Западу, о его ничемъ не оправдываемомъ стремленін для вящинаго прославленія русскаго народа унижать и поносить другіе народы цивилизованнаго міра. Хотимъ надѣяться, что читатели настоящей статьи не упрекнуть нась въ проявленіяхъ партійнаго чувства. Принадлежа къ другому лагерю, мы все-таки съ искреннимъ уваженіемъ комментировали экзальтированный патріотизмъ Константина Сергъевича, потому что видъли его источникъ въ обиліи любви и въ богатствъ энтузіазмомъ, т. е. въ такихъ чувствахъ, которыя могутъ привести къ ложнымъ и невърнымъ выводамъ, но всегда согрѣваютъ сердце читателя возвышенностью своего полета и потому будять въ немъ хорошіе инстинкты. Константинъ Сергвевичь, напр., выставляеть древне-русскую жизнь въ такомъ идеальномъ свете, который иметь весьма мало общаго съ трезвою правдою другихъ болье хладнокровныхъ и менье одностороннихъ изсльдователей нашего прошлаго. Мы поэтому несогласны съ Константиномъ Сергвевичемъ умомъ. Сердцемъ же чувствуещь невольную симпатію къ такой удивительной любви и преданности. Константинъ Аксаковъ затъмъ неоднократно протестуетъ противъ нъмецкой духовной опеки и нъмецкихъ взглядовъ на русскую жизнь. Можно, онять-таки, не соглашаться съ вредоносностью нёмецкой опеки и указать на длиннъйшій рядъ явленій русской духовной жизни, когда ньмцы и русскіе, воспитанные на ньмецкихъ воззрыніяхъ, являлись истинными благодътелями русскаго народа, разсъевая мракъ окружавшаго его невъжества и внося блага духовнаго совершенства въ грубость первобытныхъ нравовъ. Но все-таки стремление къ самостоятельности и нежеланіе быть подъ опекою-чувства самыя законныя, и мы не имъетъ никакого права ставить ихъ кому бы то ни было въ укоръ. Наконецъ, можно даже простить Константину Сергвевичу его провозглашение иден русской богоизбранности, пока она поконтся только на отыскивании у русскаго народа совершенно безпримърныхъ добродътелей. Это идея, конечно, совершенно нелъпая, потому что всё люди и народы равны предъ Богомъ, и только младенчествующая мысль можеть серьезно предаваться подобнымъ наивнымъ иллюзіямъ. Несомнѣнно шокируетъ также грубая хвастня объемомъ и силою "повалившаго" своихъ супротивниковъ кулака русскаго, хвастня-болье достойная охтнорядскихъ молодцевъ, нежели такого возвышеннаго идеалиста, какъ Константинъ Сергѣевичъ. И все-таки, въ общемъ, идея русской богоизбранности не оскорбляетъ нравственнаго чувства, потому что источникъ ея, повторяемъ, есть обиліе любви, переполняющей духовное существо Константина Аксакова, т. е. такой источникъ, о которомъ всегда можно сказать: лучше больше, чѣмъ меньше.

Но дело принимаеть совсемь другую окраску, разъ Константинъ Сергъевичъ изъ человъка, защищающаго величие своей родины отъ высокомфрнаго презрвнія къ ней заправских и домашних европейцевъ, самъ превращается въ фанатическаго ругателя всего европейскаго. Туть уже, значить, не любовь является подкладкою, а вражда, и вражда, къ тому же, совершенно ненужная для техъ целей, къ которымъ стремится Константинъ Аксаковъ. Если ему хочется непремънно доказать, что "Россія—земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейскія государства и страны" и что "очень ошибаются ть, которые прилагають къ ней европейскія воззрвнія и на основаніи ихъ судять о ней" (стр. 7), то для доказательства этой мысли было бы достаточно установить разницу между Россіею и Европою и ихъ взаимную противоположность, а не было ръшительно никакой надобности поносить Европу. Зачёмъ было затемнять такое свътлое и возвышенное чувство, какъ патріотизмъ, человъконенавистничествомъ, зачёмъ было поддаваться такому нехристіанскому побужденію, какъ униженіе ближняго?

А сильно и стремительно было это побуждение. Просто до смѣшного доходила у Константина Аксакова вражда къ Западу. Чего, чего только не приписывалъ онъ ему!

Ужасно прошлое Запада:

"Въ основаніи государства западнаго лежало: насиліє, рабство и вражда" (курсивы К. А.) и "если тамъ и была тишива, какъ явленіе, въ основѣ все-таки лежала вражда" (стр. 8). Въ то время, какъ "благодать сошла на Русь и Православная Вѣра была принята ею, Западъ ношелъ по дорогѣ католицизма. Страшно въ такомъдѣлѣ говорить свое мнѣніе, но если мы не ошибаемся, то скажемъ, что по заслугамъ дался и истинный, дался и ложный путь Вѣры: первый—Руси, второй—Западу" (стр. 9). Пошедши по ложному пути, Западъ являетъ "страшныя преступленія, превосходящее всякую мѣру звѣрство, предательство, всевозможныя гнусности". Правда, Константинъ Сергѣевичъ не можетъ отрицать того, что и въ "русской исторіи встрѣчаются преступленія, но они лишены этого страшнаго, нечеловѣческаго характера, по которому человѣкъ становится въ разрядъ животныхъ, какъ новый, совершеннѣйшій видъ его, и которымъ отличаются кровавыя дѣла Запада" (стр. 22).

Немногимъ лучше прошлаго Запада его настоящее:

"Западъ весь проникнуть ложью внутренней, фразой и эффектомъ: онъ постоянно хлопочеть о красивой позв, картинномъ положения. Картинка для него все. Покуда онъ быль молодъ, картинка еще была хороша и красива сама по себь; красивъ былъ рыцарь въ жельзныхъ латахъ, красивъ былъ хитрый, безжалостный монахъ; красивы были художники XV стольтія. Но когда молодость его прошла, когда исчезли кипящія силы жизни, и осталась одна только картинка, одна фраза, даже безъ пылкости юношеской, тогда это становится въ высшей степени жалкимъ и—сказать ли? — отвратительнымъ явлениемъ. Таковъ Западъ теперь въ своихъсмутахъ, безъ всякой внутренней жизни, даже безъ кливнія крови. Таковы теперешнія его борьбы п волненія, волненія борьбы безъ мальшшаго убъжденія, безъ мальшшей искренности, безъ мальйшаго увлеченія, совершающіяся въ страшной апатіи, вялыя, несмотря на напряженность. Скука и безучастіе, отсутствіе энергін во вевхъ кровопролитіяхъ и смятеніяхъ. Старческія мечты Запада, мечты, лишенныя своей единственной правды, кипфнія молодой крови, мечты, которыми разгорячаль онъ себя такъ долгое время, подъйствовали на него, какъ раздражительное средство и привели въ механическое движение его ослабшій организмъ. Если нетъ духа, то нетъ и истинной жизни" (т. І, стр. 22).

И такъ-таки ни единой свитлой точки не усматриваетъ грозный обвинитель въ духовной и государственной жизни "одряхлѣвшаго" Запада. Что тутъ, впрочемъ, эта "дряхлость" ни при чемъ, видно изътого, что и молодая Америка весьма мало симпатична нашему пламенному ненавистнику всего непохожаго на Россію и русскіе порядки. У него даже хватаетъ ослѣпленія усматривать неполноту въамериканской гражданской свободѣ:

"Въ Соединенныхъ Штатахъ вмѣсто живого народа государственная машина изъ людей. Отношенія тамъ становятся политическими: миръ и спокойствіе основаны не на любви, а на взаимной выгодѣ. Какъ ни блестящъ внѣшній порядокъ, но блескъ его наружный; какъ ни строенъ онъ кажет ся но это строй машины, какъ ни кажется онъ свободенъ, но это свобода личный взаимно-ограниченный произволъ. Нътъ, свобода не тамъ" (стр. 58)

Гдѣ же истинная свобода?—полюбопытствуетъ читатель.—Въ Россін,—не шутя отвѣчаетъ Аксаковъ,—", идѣ же духъ Господень".

Нужно ли серьезно доказывать умственную несостоятельность этого удивительнаго отношенія ко всему западному? Неужели ктолибо повърптъ Аксакову, хотя бы на единую минуту, что ничего, кромъ "нечеловъческаго звърства" въ прошломъ и "лжи" въ настоящемъ, нельзя усмотръть въ ходъ европейской исторіи, неужели "ложью" объясняется реформація, о которой почему-то пи единымъ словомъ не упоминаетъ нашъ прокуроръ, такъ что можно подумать, что все человъчество исповъдуетъ католичество? Неужели въ Шиллеровскомъ "Донъ-Карлосъ" можно видъть однъ только "старческія мечты, лишенныя кипънія молодой крови", неужели "безъ малъйшей искренности" дъйствовали пуритане, ушедшіе въ Новую Англію,

неужели отъ "скуки и безучастія" горѣли на кострахъ и сгнивали въ тюрьмахъ Джордано Бруно, Галилей, итальянскіе патріоты и сотни имъ подобныхъ мучениковъ стремленія къ истинѣ, нравственному совершенству и духовной красотѣ? Неужели, наконецъ, "ослабшій организмъ" можетъ породить такое могучее литературное, научное и художественное движеніе, которымъ ознаменована европейская духовная жизнь послѣднихъ трехъ столѣтій, и неужели этого движенія долженъ чураться всякій "настоящій" русскій человѣкъ?

Нѣтъ, впрочемъ, никакой охоты продолжать опровержение и серьезно доказывать умственную несостоятельность совершенно непонятнаго по своей парадоксальности отношения Константина Аксакова къ Западу. Это отношение достаточно дискредитируетъ уже одна огульность его и исключительное употребление чернѣйшей краски, благодаря чему, вмѣсто картины съ разнообразными деталями, получается сплошное мрачное пятно, ни о чемъ не дающее понятія.

Но намъ въ данномъ случав было бы интересно выяснить вотъ какія двв вещи: во-первыхъ, изолированность фанатической ненависти Константина Сергвенча даже къ средв славянофильства и, во-вторыхъ, нравственную несостоятельность ея.

Съ обычною своею необузданностью, съ обычною односторонностью своей незнающей удержу, какъ въ симпатіяхъ, такъ и въ антипатіяхъ страстной натуры, Константинъ Аксаковъ, не взлюбивъ Западъ, быстро дошелъ до Геркулесовыхъ столбовъ національной розни. Дурное отношеніе къ Западу не есть что-либо спеціально Константину Аксакову принадлежащее. Но никто изъ другихъ славянофиловъ не доходилъ все-таки до такихъ крайностей, какъ Константинъ Аксаковъ. Современное "гніеніе" Запада не мѣшало имъ, однако, признавать хоть огромныя историческія заслуги не-русской Европы предъ человѣчествомъ, и Хомяковъ, напр., говорилъ о Западѣ не иначе, какъ о

. . . . странъ святыхъ чудесъ.

А затѣмъ, что касается даже современнаго состоянія европейскихъ народовъ, то, усматривая въ немъ начала разложенія, большинство славянофиловъ не думало, однако, отрицать значеніе такихъ, напр., свѣтлыхъ явленій, какъ быстрый прогрессъ европейской науки и высокій уровень европейской литературы и искусства. Конечно, нельзя сомнѣваться ни единой минуты въ томъ, что если бы къ Константину Аксакову приступить съ категорическимъ запросомъ относительно европейской науки, онъ бы не причислилъ ее къ "отвратительнымъ зрѣлищамъ". Но тѣмъ непростительнъе, значитъ, огульность его характеристики.

Однако же мы все еще стоимъ на почвъ фактической невърности характеристики Запада, сделанной Константиномъ Аксаковымъ, т. е. на умственной несостоятельности ея, слишкомъ уже очевидной. Между тъмъ гораздо любопытнъе подчеркнуть нравственную несостоятельность фанатической ненависти Константина Сергвевича, несостоятельность, которая не отпадаеть, если даже стать на славянофильскую точку зрънія. Чёмъ, въ самомъ дёлё, болёе всего гордится славянофильство? Если при столкновеніи съ вопросами практической жизни славянофилы сплошь да рядомъ становились за сильнаго противъ слабаго, сплошь да рядомъ симпатизировали тенденціямъ застоя и сплошь да рядомъ оказывали поддержку идеямъ человъконенавистничества, то все-таки въ теоріи славянофильство всегда было искренно воодушевлено совстмъ иными стремленіями и убъжденно писало на своемъ знамени: миръ, любовь, гармонія. Мы въ этомъ могли убъдиться изъ ознакомленія и съ идеями Константина Сергъевича. Его стремленія превратить древнюю Русь въ какую то Аркадію, гдъ "въ основаніи лежали: добровольность, свобоса и миръ" (курсивы автора), его пламенная любовь къ общинному началу, его преклонение предъ русскимъ смирениемъ и кротостью, все это можетъ быть недостаточно фактически обосновано, но все это проникнуто свътомъ духовной красоты и согръто самыми лучшими намъреніями. Но въ томъ, что говоритъ Константинъ Аксаковъ о Западъ, и добрыхъ намъреній нътъ. Слова его дышутъ только ненавистью и слъпымъ озлобленіемъ, они проникнуты только враждою и безцёльнымъ униженіемъ всего, что не есть русское. И вотъ почему мы придаемъ такое значеніе нашему замічанію. Оно оттіняеть крупное противорвчіе въ системв міровоззрвнія разсматриваемаго нами писателя и выясняеть въ немъ детали, столь же смъшныя, сколько и антипатичныя. Единственнымъ смягчающимъ обстоятельствомъ въ данномъ случав можеть служить то, что страстныя филиппики Константина Сергвевича писались въ самый разгаръ партійной полемики. Въ тв времена національное самосознаніе было такъ мало развито и въ обществъ, и въ литературъ, полное поклонение Западу въ ущербъ всечу русскому было такимъ общимъ явленіемъ, что было дъйствительно, съ чего озлобиться и изъ чувства протеста начать гнуть въ діаметрально-противоположную сторону.

Закончимъ нашъ обзоръ литературной дѣятельности Константина Аксакова нѣсколькими замѣчаніями о непосредственно-публицистическихъ сторонахъ ея. Подчеркиваемъ слово "пепосредственно", потому что, какъ мы уже имѣли случай не одинъ разъ сказать, все, что когдалибо писалъ Константинъ Сергѣевичъ, представляетъ собою и по на-

мъреніямъ, и по способу исполненія публицистику чистьйшей воды. Говорить ли онъ о призваніи Варяговъ, характеризуеть ли подвиги Ильи Муромца, объясняеть ли значение суфикса я, знакомить ли читателя съ языкомъ Ломоносова, обозрѣваетъ ли современную литературу, наконецъ, сочиняетъ ли стихи и драмы-все это онъ дълаетъ только затъмъ, чтобы обосновать тезисы своей общественно-политической программы. И желаніе это настолько ясно сквозить въ каждой строкъ, что вы изъ чтенія по виду "историческихъ", "критическихъ", "филологическихъ" и "беллетристическихъ" произведеній Константина Аксакова выносите совершенно опредёленное представление объ общественно-политическихъ идеалахъ автора. Вотъ почему изъ непосредственно-публицистическихъ страницъ сочиненій Константина Сергвевича, т. е. тъхъ, гдв не намеками и общимъ смысломъ, а прямо и опредъленно авторъ говоритъ о своихъ общественныхъ идеалахъ, мы не узнаемъ ничего новаго. И если мы нъсколько остановимся на этихъ непосредственно-публицистическихъ сторонахъ литературной даятельности Константина Аксакова, то только затамь, чтобы рельефиве формулировать основные пункты его общественнополитическаго міросозерцанія.

Во главѣ ихъ, конечно, слъдуетъ поставить требованіе "само-

Лучшая страна въ мірѣ, обитаемая единственнымъ во всемъ свѣтѣ истинно-христіанскимъ народомъ, исповѣдующая лучшую религію, имѣющая лучшій образъ правленія, само собою разумѣется, не должна быть разсматриваема съ точки зрѣнія "европейскихъ шаблоновъ". Все въ ней, не исключая даже такой нейтральной области, какъ наука, должно быть строго-самобытно, должно въ точности соотвѣтствовать тѣмъ исконнимъ началамъ русскаго духа, которыя, по мнѣнію Аксакова, пронесены русскимъ народомъ во всей ихъ неприкосновенности чрезъ все тысячелѣтнее историческое существованіе его.

"Надо воротиться къ началамъ родной земли, путь Запада ложенъ, постыдно подражание ему, Русскимъ надо быть Русскими, идтипутемъ Русскимъ, путемъ въры, смирения, жизни внутренией, надо возвратить самый образъ жизни, во всъхъ его подробностяхъ, на началахъ этихъ основанный, и слъдовательно, надо освободиться совершение от Запада, какъ от его началъ, такъ и от паправления, от образа жизни, от языка, от одежды, от привичекъ, обычаевъ его, именно отъ этого свъта и свътскости, вошедшихъ къ намъ, однимъ словомъ, отъ всего, что запечатльно печатію его духа, что вытекаетъ даже какъ мальйшій результать пзъ его направленія" (т. І, стр. 24).

Вотъ какъ понималъ Константинъ Сергъевичъ самобытность. Дальше идти въ этомъ направленіи уже, конечно, нельзя.

Но приглядимся еще разъ, чемъ обусловливаетъ Константинъ

Аксаковъ свое требованіе самобытности. Такое требованіе самобытности можетъ вытекать изъ очень различныхъ источниковъ. Извѣстно, напр., что есть воззрѣніе, всего менѣе восторгающееся русскими порядками, но полагающее, вмѣстѣ съ тѣмъ, что мы еще не "доросли" до Европы и потому должны пробавляться своими "самобытными" общественно-политическими учрежденіями. Есть затѣмъ воззрѣніе, полагающее, что на свѣтѣ нѣтъ ничего абсолютнаго, п въ томъ числѣ нѣтъ ни абсолютно-хорошаго, ни абсолютно-дурного общественнаго устройства, а есть просто нормы, соотвытствующія или несоотвытствующія культурному состоянію того или другого народа и потому желательныя или нежелательныя. Такое воззрѣніе тоже требуетъ самобытности, но руководствуясь принципомъ: что русскому здорово, то нѣмцу смерть, и наоборотъ.

Ни подъ одно изъ этихъ воззрвній не могуть быть подведены требованія Константина Аксакова. Онъ далеко не потому только добивается торжества русскихъ началъ, что они свои, родныя, а потому что они самыя лучии на свътъ. И вотъ почему для него не существуеть простого констатированія историческихъ явленій. Такъ мы уже знаемъ, что Константинъ Сергвевичъ со свойственною ему настойчивостью указываеть на исконнее нежеланіе русскаго народа государствовать. Всякій другой историкъ на его м'яст'я ограничился бы этимъ констатированіемъ. Историкъ-публицистъ, пожалуй, прибавиль бы къ такому констатированію, что согласно этой чертв русскаго народнаго характера должна складываться и современная русская государственная жизнь. По нашему апостолу русской богоизбранности нужно не констатированіе, а непремічно апонеозъ, и вотъ почему онъ, вследъ за выяснениемъ русскаго отношения къ государствованію, ръзко осуждаеть непохожіе на него государственные порядки Запада. На Западъ, -- говоритъ онъ, --

"внѣшнее начало, законъ, сперва жестокій, почти непремѣнно дѣйствующій при завоеваніи и порабощеніи, долженъ былъ усилиться, развиться и одинъ стать высоко въ глазахъ человѣка. Такъ и случилось. Вопросъ жизни и исторіи былъ рѣшенъ для западныхъ народовъ: государство, учрежденіе (институтъ), централизація, власть внѣшняя стала ихъ идеаломъ; народъ (земля) отказался отъ внутренняго, свободнаго, правственнаго общественнаго начала и вкусилъ плоды начала внѣшняго, государственнаго; народъ (земля) захотѣлъ государственной власти. Отсюда—революціи, смуты и перевороты, отсюда—насильственный внѣшній путь къ насильственному внѣшнему порядку вещей. Народъ на Западѣ плѣняется пдеаломъ государства. Республика есть попытка народа быть самому государствомъ, перейти ему всему въ государство; слѣдовательно, попытка бросить совершенно нравственный, свободный путь, путь внутренней правды, и стать на путь внѣшній, государственный Самое крайнее выраженіе такой попытки, самое гибельное (sic) государствованіе народа видимъ въ Америкѣ, въ Соединенныхъ Штатахъ" (т. І, стр. 57).

Сопровождаемое подобнымъ отношеніемъ ко всему нерусскому, требованіе самобытности уже не есть простое желаніе устранвать свою жизнь по собственному усмотрѣнію. Тутъ уже деспотическое желаніе подчинить русскому міросозерцанію міросозерцанія всѣхъ другихъ европейскихъ народовъ и объявить истину исключительною монополіею русскаго духа. Тутъ уже не русскій патріотизмъ, а панруссизмъ, стремящійся устроить все человѣчество по своему образцу.

Не есть ли, напр., доведенный до крайнихъ предъловъ панруссизмъ другой пунктъ общественно-политической программы Константина Аксакова — его нелюбовь къ писанной конституціи? Только потому, что историческія изслѣдованія выработали въ немъ тотъ взглядъ на роль Земскихъ Соборовъ, который намъ извѣстенъ изъ предыдущаго изложенія, Аксаковъ объявляетъ противонравственнымъ учрежденіемъ всѣ существующіе на Западѣ договоры между властью и народомъ.

"Намъ скажутъ", восклицаетъ онъ, "или народъ или власть могутъ измѣнить другъ другу. Гарантія нужна!—Гарантія не нужна! Гарантія есть зло. Гдѣ нужна она, тамъ нѣтъ добра, пусть лучше разрушится жизнь, въ которой нѣтъ добраго, чѣмъ стоять съ помощью зла" (стр. 9).

Можно было бы признать извѣстную логическую стройность за этой наивнѣйшей политической манпловщиной, если бы она была редактирована такъ: "Въ Россіи не нужны гарантіи". Въ ней заключался бы отвѣтъ русскимъ конституціоналистамъ, она носила бы характеръ опроверженія, основаннаго на провѣркѣ европейскихъ нормъ данными русской дѣйствительности. Но теперь Константинъ Аксаковъ дѣлаетъ какъ разъ то же самое, противъ чего борется. Конституціоналисты считаютъ писанную хартію всеобщей панацеей, годной для всѣхъ странъ и народовъ, а Константинъ Сергѣевичъ только всего и дѣлаетъ, что одну всеобщую панацею замѣняетъ другою, съ тою, однако, весьма существенною разницею, что противники его основываютъ свои стремленія на опытѣ многихъ европейскихъ народовъ, а онъ выводитъ свою государственную теорію изъ наблюденій надъ жизнью одного народа.

Теоріи, противъ которыхъ борется Константинъ Аксаковъ, отнюдь не считаютъ свои положенія идеаломъ человѣческаго благоустройства. Онѣ только считаютъ ихъ лучшимъ изъ золъ, обусловленныхъ стремленіемъ сильныхъ подчинить себѣ слабыхъ. Аксаковъ же не знаетъ, какъ достаточно восторгаться русскимъ соотношеніемъ государственныхъ элементовъ. Такимъ образомъ, мы должны прійти къ тому же формулированію публицистическихъ стремленій Конст. Аксакова, къ

которому привело насъ изученіе историческихъ его произведеній: русскій народъ есть носитель спеціально ему одному присущихъ высокихъ доблестей, которыя отводять ему особое, высокое и безпримѣрное положеніе во всемірной исторіи, онъ—народъ богоизбранный, и горе тѣмъ народамъ, которые не хотятъ заимствовать у него начала духовной и государственной жизни. Ихъ ждетъ погибель.

Но если все это такъ, если мы, русскіе, такъ безмѣрно возвышаемся надъ гнилымъ Западомъ, то какія проклятія достаточно сильны для тѣхъ "отступниковъ", для тѣхъ "рабовъ" европейскаго просвѣщенія, которые въ умственной слѣпотѣ своей преклонились предъ мишурнымъ блескомъ западной цивилизаціи?

Съ которыхъ поръ идетъ это отступничество?

Съ реформъ Петра и основанія Петербурга, отодвинувшаго на второй планъ настоящую столицу Россіи—Москву. Удивительно ли, что то и другое одинаково ненавистно Константину Сергъевичу.

Мы уже знаемъ, что отношеніе Аксакова къ реформамъ Петра имѣло два діаметрально-противоположныхъ другъ другу фазиса. Въ первомъ изъ нихъ онъ посвятилъ все общирное предисловіе диссертаціи о Ломоносовѣ прославленію энергическаго стремленія великаго царя "освободить Россію отъ оковъ исключительной національности", во второмъ фазисѣ онъ, со свойственною ему прямотою, заявлялъ, что "напрасно" занимался такимъ прославленіемъ (т. І., стр. 42).

Собственно говоря, взгляды Константина Аксакова на реформы Петра должны были быть разсмотрѣны нами въ обзорѣ историческихъ работъ его. Но дѣло въ томъ, что эти взгляды такъ тѣсно переплетаются съ отношеніемъ нашего писателя къ современной ему жизни, что скорѣе должны быть причислены къ непосредственной публицистикѣ. Аксаковъ всего менѣе считаетъ Петровскую эпоху законченною. Для него она все еще продолжается, онъ съ горечью видитъ, что "обезьяничаніе" въ полномъ ходу, что "измѣна" русскимъ началамъ не прекратилась, и потому-то петровскія реформы для него не тема для историческаго изслѣдованія, а предметъ для негодованія чисто публицистическаго.

Къ тому же Константинъ Аксаковъ въ историческихъ сочиненіяхъ своихъ настолько отрывочно и эпизодически говорилъ о Петрѣ, что наиболѣе цѣльнымъ выраженіемъ его отрицательныхъ мнѣній о дѣятельности великаго преобразователя можетъ считаться стихотвореніе "Петру", напечатанное впервые въ "Руси" 1881 г. Стихотвореніе всего менѣе блещетъ поэтическими достоинствами, но за-

то оно представляеть собою какъ бы сводъ славянофильскихъ воззрѣній на реформу Петра и связаннаго съ ними москвофильства. Приводимъ его цѣликомъ:

> Великій геній, мужъ кровавый Вдали на рубежв родномъ, Стоишь ты въ блеске страшной славы, Съ окровавленнымъ топоромъ. Съ великой мыслью просвищенья Въ своей отчизнѣ ты возникъ И страшныя подъиль мученья И казни страшныя воздвигъ. Во имя пользы и науки, Побытой изъ страны чужой, Не разъ твои могучи руки Багрились кровію родной. Ты думаль, -быстротою взора, Предупреждая времена,-Что, кровью политыя, скоро Взойдуть науки сфиена! И вкругъ она лилась обильно, И воплямъ Руси не внемля, Упорство ты сломиль, о сильный! И смолкла Русская земля. И по назначенному следу, Куда ты ей сказалъ: "Иди"! Она пошла. Ты могъ нобъду Торжествовать, но погоди! Ты много снесъ головъ стрелецкихъ, Ты много крвпкихъ рукъ сломилъ, Сердецъ ты много молодецкихъ Ударомъ смерти поразилъ. Но въ часъ невзгоды удаляся, Скрывъ право вѣчное свое, Народа духъ живетъ, таяся, Храня родное бытіе. И ждеть завътнаго онъ часа, И вождельный чась придеть, И снова ввукъ родного гласа Народа волны собереть; И снова вспыхнеть взорь отважный И вновь подвигнется рука, Порывъ младой и помыслъ важный Взволнуетъ духъ, нъмой пока. Тогда къ желанному предвлу Борьба достигнеть, и конець Положить начатому двлу, Достойный, истинный вынецъ! Могучій мужъ, желалъ ты блага,

Ты мысль великую питалъ, Въ тебъ и сила, и отвага, И духъ великій обиталъ. Но, истребляя зло въ отчизнъ, Ты всю отчизну оскорбиль; Гоня пороки русской жизни, Ты жизнь безжалостно давилъ. На самобытный трудъ стремленье, Не вызываль народь ты свой, Въ его не вфрилъ убфжденья И весь закрынь его собой. Вся Русь, вся жизнь ен досель, Тобою презрана была, И на твоемъ великомъ дълъ Печать проклятія легла. Отринулъ ты Москву жестоко И отъ народа ты вдали Построиль городь одинокій!-Вы вмъсть жить ужь не могли! Ты граду даль свое названье, Лишь о тебь гласить оно, И-добровольное сознанье-На чуждомъ языкв дано. Настало время зла и горя, И съ чужестранною толпой Твой градъ, пирующій у моря, Сталъ Руси тяжкою грозой. Онъ сокъ народа истощаетъ, Названный пменемъ твоимъ, Объ Русской онъ земль не знаетъ И духомъ движется чужимъ. Грвхъ Руси далъ тебъ побъду, И Русь ты смяль. Но не всегда По твоему ей влечься следу Путемъ блестящаго стыда. Такъ, будетъ время, Русь воспрянетъ, Разсветь долгольтній сонь И на неправду дружно грянетъ-Въ неправдъ подвигъ твой свершенъ! Народный духъ подниметъ крылья, Отступниковъ обниметъ страхъ, Созданья лжи, дела насилья Падуть, разсыплются во прахъ! И вновь оправданный судьбою Возстанетъ къ жизни твой народъ, Съ своею древнею Москвою-И жизнь свободный приметь ходъ. Все отпадеть, что было лживо, Любовь всв узы сокрушить, Отчизна зацвътотъ счастинво-И твой народъ тебя простить.

Предвозвъщаемая второю частью стихотворенія, побъда славянофильскихъ принциповъ составляетъ одну изъ любимыхъ темъ Константина Аксакова, къ которой онъ возвращается весьма часто. Онъ увъренъ въ грядущемъ торжествъ своей партіи и потому всегда говоритъ о ней въ мажорномъ тонъ.

"Наступаетъ борьба", резюмируетъ онъ свой обзоръ "петербургскаго" періода русской исторіи. "Москва начинаетъ и продолжаетъ дѣло нравственнаго освобожденія, поднимаетъ вновь знамя русской самобытности, русской мысли. Въ наше время среди верхнихъ, отъ народа оторванныхъ, классовъ пробуждается сознаніе ложности направленія иностраннаго и стыдъ обезьянства. Русская мысль начинаетъ освобождаться изъ плѣна; вся дѣятельность ея въ Москвѣ и изъ Москвы, и окончаніе долгаго испытанія, а вмѣстѣ и торжество, и возникновеніе истинной Руси и Москвы, кажется, приближается" (стр. 49).

Къ стремленіямъ же противниковъ Константинъ Сергѣевичъ, какъ всякій фанатикъ, конечно, ничего, кромѣ глубочайшей антипатіи, чувствовать не можетъ и, на каждомъ шагу расточая своей партіи самые лестные эпитеты, не находитъ ни одного привѣтливаго слова для западничества. Соотношеніе славянофильства и западничества ему рисуется въ такомъ видѣ:

"Надъ русскимъ простымъ народомъ и надъ его священнымъ миромъ и тишиною, въ обществъ, Русскимъ началамъ измънившемъ, идетъ вражда и борются два направленія. Одно силится поддержать свою неправду—измъны всему Русскому и покорности западнымъ уставамъ. Другое искренно жаждетъ возстановленія Русскихъсвятыхъ началъ Въры, Русскаго основного образа жизни, всего Русскаго духа, Русскаго ума и христіанскихъ добродътелей, по крайней мъръ въ общемъ дълъ. Съ одной стороны: всякое упорство и желаніе, поблажающее удобной лъни, остаться безъ труда, подражателями Запада, пользоваться вежми его политическими благами, повторять за нимъ слова и дъйствія, и не знать труда самостоятельной жизни; съ другой стороны: добрая надежда и дъятельное стремленіе возвратиться къ святымъ началамъ Русской жизни. Нужно ли говорить, что такое стремленіе есть право и законное и спасительное?

Зародилось это стремленіе, какъ мы уже знаемъ изъ предыдущей цитаты, въ Москвъ. Зародилось не случайно. Москва, по мивнію славянофиловъ вообще и Константина Аксакова въ частности, имветъ своимъ Провиденціальнымъ назначеніемъ быть средоточіемъ русскаго духа. И какъ въ былыя времена не одинъ разъ первопрестольная спасала Россію отъ разныхъ иноземныхъ нашествій, такъ и въ наши дни она выдвинула славянофильство, которое раскрыло "верхнимъ классамъ" тайники русскаго духа. Раскрыло именно потому, что въ Москвъ эти тайники доступнъе, явственнъе, неотразимъе дъйствуютъ, чъмъ въ "Санктиетербургъ"...

Москвофильство Константина Аксакова должно быть названо однимъ изъ главныхъ устоевъ его міровоззрѣнія, одною изъ существеннѣйшихъ деталей его желанія порвать всякія связи съ послѣпетровскою Россіей. Всего цѣльнѣе это москвофильство, въ видѣ отдѣльныхъ фразъ и изреченій разбросанное по всѣмъ писаніямъ Константина Сергѣевича, выразилось въ статейкѣ "Семисотлѣтіе Москвы", изъ которой и приводимъ наиболѣе существенныя выдержки:

"Москва, безъ сомнѣнія, выразила въ себѣ общее всерусское значеніе, и для насъ во всякомъ случав является она представительницей общей Русской жизни, жизни всей Русской земли, жизни земской (собственно народной), говоря словомъ, такъ часто встрѣчающимся вълѣтописяхъ и грамотахъ, со времени возвышенія Москвы на степень Русской столицы. Были ли довольны князья, или нѣтъ—это по крайней мѣрѣ вопросъ; но народъ былъ доволенъ. Москва выражала собою не власть надъ Русскою землею, но власть Русской земли; и если Москва принимала участіе въ войнахъ и не рѣдко коварныхъ поступкахъ удѣльнаго времени, если она виновата въ томъ, въ чемъ былъ виноватъ каждый городъ Русскій,—то она загладила вину свою, храня святую Русь и терия за нее, выражая въ себѣ общую всерусскую жизнь. Успѣхъ, ей одной изъ всѣхъ городовъ принадлежащій, основывается на ея общемъ значеніи.

Въ Москвъ раздался голосъ Русской земли, зовущій подняться противъ Татаръ; въ нее стеклось и въ ней собралось ополчение изъ многихъ городовъ Русскихъ; изъ нея пошло оно на Куликово поле. Съ техъ поръ она всегда привлекала на себя удары врага, и самая лютая доля бедствій доставалась ей на часть; ей назначалось страданіе за Русскую землю-самое важное неоспоримое оя право и свидътельство, что она истинная столица Русская.-Въ нее, при Іоаннъ IV. созвана была первая Земская дума изъ городовъ и вообще изъ земли Русской; Іоаннъ IV, свирыный къ боярамъ, но милостивый къ народу и соблюдавшій права его, хранилъ областную жизнь; тому доказательствомъ являются многія его грамоты, напечатанныя въ драгоцінныхъ актахъ, изданныхъ Археографическою Комиссіей. Въ свирепостяхъ является его личность: въ этомъ же благомъ действіи духъ Москвы и Руси, что одно. Борисъ, покоряя Сибирь, въ грамотъ своей писалъ, чтобы спрашивать Остяковъ: какъ имъ лучше. Но всего важнее, важнее всехъ возможныхъ доказательствъ и взысканій, сильнье всьхъ сужденій и теорій голосъ народа, голосъ Божій, который призналъ Москву своею столицею, назваль ее матерью Русскихъ городовъ, корнемъ Русскаго царства и возвъстиль къ ней народную любовь.

Когда Дмитрій Самозванецъ взошелъ на престолъ и хотѣлъ перемѣ. нить русскую вѣру, хотѣлъ покрыть русскую народность, то дальновидные іезунты совѣтовали ему оставить Москву, уничтожить ее, какъ столицу, и основать новую столицу: безъ этого, говорили они ему, ты нисколько не успѣешь къ своихъ намѣреніяхъ.

Въ эпоху междуцарствія сзывали другь друга на враговъ, сзывали къ Москвѣ; тутъ-то называется она матерью городовъ русскихь и корнемъ русскаго царства. Вотъ слова одной окружной грамоты: "Будьте съ нами обще за одно, противъ враговъ нашихъ и вашихъ общихъ; помяните одно: только коренью основаніе крѣико, то и дерево неподвижно: только коренья не будетъ, къ чему прилѣпиться? Здѣсь образъ Божія Матери, вѣчныя заступницы крестьянскія, Богородицы, ея же Евангелистъ Лука написалъ; и великіе свѣтильники и хранители Петръ, Алексѣй и Іона чудотворцы".

До Петра Великаго существовала въ Москвѣ такая перекличка стрѣльдовъ, когда вечеромъ въ 8 или 9 часовъ запирались ворота Кремлевскія:

Влизь собора Успенскаго часовой сторожь первый начинаеть протяжно и громогласно, какъ бы на расивъв, возглащать: Прессятая Богородица, спаси наст! Затьмъ второй въ ближнемъ притинъ возглащаетъ: Святые Московскіе Чудотворцы, молите Бога о наст! Потомъ 3-й: Святой Николай Чудотворець, моли Бога о наст! Потомъ 4-й: Всъ Святые, молите Бога о наст! 5-й: Славенъ городъ Москва! 6-й: Славенъ городъ Кіевъ! 7-й: Славенъ городъ Владиміръ! 8-й: Славенъ городъ Суздаль! и такъ поименуютъ: Ростовъ, Ярославль, Смоленскъ и проч.

Многозначительное свидѣтельство! Въэтой перекличкѣ раздается голосъ Русской земли; слышишь, какъ она сама себя чувствуетъ, сама себя называетъ и сознаетъ въ городахъ своихъ, въ общемъ чувствѣ себя самой, единымъ совершеннымъ цѣлымъ. Въ этомъ непридуманномъ народномъ голосѣ слышишь, что царствующій градъ Москва помнилъ всѣ города Русскіе, всю Русскую землю.

Но въ 1703 году была основана новая столица, городъ Санктпетербургъ... Какой же посла этого удаль Москвы? Имаеть ли она еще прежнее значение? Въ Петербургъ, какъ извъстно, было перенесено все управленіе... Прежде нежели станемь отвъчать на нашъ вопросъ, взглянемъ на самыя событія съ тахъ поръ, какъ Петербургъ сталъ столицею. -- Спасенная, соединенная и украпленная Москвою, Россія представляла много силь, и съ этими силами были ведены войны и завоевывались разныя страны; но вотъ чрезъ стольтіе снова собралась гроза, гроза неожиданная, невероятная. Съ Запада шелъ Наполеонъ и велъ безжалостныя побъдоносныя войска. Въ эту минуту бъдъ, когда все смущалось предъстрашною грозою, въ эту минуту явилась Москва, опять со всемъ своимъ значеніемъ столицы, какъ и прежде, и приняла на себя тяжелый ударъ новъйшаго врага. Какъ въ 1612-мъ, такъ въ 1812-мъ она вновь объялась пламенемъ; по всей Русской земль раздалось вновь ея имя: Москва! Москва! И на это имя снова поднялся Русскій народъ и спасъ Русскую землю.-Такое явленіе обнаружило внутри-сокровенное, и, кажется, навсегда утвердило значеніе Москвы, вычной столицы земли русской, столицы народной. Здесь опять встречаемъ суждение великаго иностранца. Наполеонъ сказаль въ разговорѣ съ Тучковымъ: "Столица ваша Москва, а не Петербургъ, который не что иное, какъ резиденція Государя".

Ясно для насъ и для всёхъ истинно Русскихъ вѣчное значеніе Москвы. Она жива, и жива къ ней любовь Русскаго народа, и будетъ вѣчно живо и то и другое: бытіе ея неразлучно съ бытіемъ святой Руси. На нее крестясь смотритъ крестьянинъ; сильно движетъ она и образованнаго русскаго въ чужестранной одеждѣ, въ комъ пробудилось Русское народное чувство. Но

болье всего любить и разумьеть ее народь. Онь называеть ее матушкой; повторяемь съ нимь это слово.

Любовь къ Москва ссть любовь къ Русской земла, потому что Москва имаеть въ себа не мастное, а общеезначение, и единство всей земли Русской.

Да здравствуетъ Москва!

Только-что приведенными выдержками мы бы могли закончить нашъ обзоръ непосредственно-публицистическихъ взглядовъ Константина Аксакова. Правда, можно было бы привести еще очень много другихъ непосредственно-публицистическихъ мфстъ, разбросанныхъ по разнообразнымъ писаніямъ Константина Сергвевича. Но этого не стоить дълать. Мы бы уже не узнали ничего новаго. Опять поношеніе западно-европейской "лжи", опять восхваленіе русскаго превосходства, опять упреки интеллигенціи за "оторванность" и предвозвъщение грядущаго торжества славянофильства и, наконецъ, оцять восторженное преклонение предъ современнымъ крестьянствомъ, какъ единственнымъ представителемъ "истинно-русскихъ" началъ-вотъ къ чему сводятся всв "лирическія отступленія" Константина Сергвевича. И не могуть не сводиться, потому что только этими думами и было наполнено его духовное существо, только ими онъ и тёшилъ себя въ своей аскетической жизни, ничего не знавшей, кромъ умственныхъ интересовъ.

Мы сдълаемъ исключение только для одного произведения Константина Сергвевича-его записки "О внутреннемъ состояніи Россіи", поданной въ 1855 г. чрезъ графа Блудова только-что вступившему тогда на престолъ Императору Александру II 1). Сдълаемъ это не потому, чтобы записка не ознакомляла насъ съ какими-нибудь новыми сторонами міровоззрвнія Константина Сергвевича, а потому, что она представляетъ собою единственное его произведение, гдъ съ высотъ заоблачнаго идеализма онъ спускается на почву практическихъ совътовъ. И высоко-поучительно прислушаться къ этимъ совѣтамъ! Рѣзко они выясняютъ, что въ сущности разница между "западниками" и честными славянофилами, т. е. такими, для которыхъ славянофильство не есть красивое прикрытіе самого низменнаго сервилизма, совсвмъ не такъ велика, что, строго говоря, разница только въ теоретическомъ обоснованіи. Приглядитесь, въ самомъ дёлё, къ тезисамъ записки, которые мы сейчасъ приведемъ, отбросьте въ нихъ теоретическія посылки и вы увидите, что не только одна и та же цёль воодушевляеть и западниковь и искреннихъ славянофиловъ--счастье и благоденствіе Россіи, но что и пути

¹⁾ Въ печати появилась въ "Руси" 1881 г.

достиженія этого счастья всего менёе расходятся между собою. Подъ практическою частью записки съ величайшимъ удовольствіемъ подписались бы самые передовые изъ тогдашнихъ западниковъ; въ 1855 г., по крайней мёрё, ихъ мечтанія не шли дальше. "Благодётельная гласность" долго составляла единственное требованіе западническаго лагеря. А между тёмъ Константинъ Аксаковъ пошелъ дальше этого требованія.

Записка раздъляется на три части: вступленіе, изложеніе взгляда автора на сущность русскаго государственнаго уклада и тезисы.

Во вступленіи Константинъ Сергѣевичъ объясняютъ, почему именно теперь онъ нашелъ нужнымъ представить свою записку:

"Государь! ты вступиль на престоль. Эти первыя минуты драгоцѣнны и важны не только для тебя, но и для твоихъ подданныхъ. Облекшись мгновенно въ санъ царскій, ты еще не привыкъ быть Царемъ. Внутренній слухъ твой имѣетъ всю свою свѣжесть и тонкость, внутреннее зрѣніе всю остроту и дальновидность; скажу болѣе: и слухъ твой, и зрѣніе напряжены въ эти первыя минуты царствованія сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Надѣемся, что ты постоянно будешь напрягать всѣ силы души для узнанія истины, ко благу своего народа; но всякое мгновеніе имѣетъ свой смыслъ и свою честь, собственно ему подобающіе: таковы и эти первыя минуты власти царской, свѣжесть и чуткость которыхъ не можетъ повториться. Благое употребленіе этихъ минутъ, конечно, будетъ имѣть для тебя и, слѣдовательно, для твоихъ подданныхъ, важное значеніе".

Вслёдъ за вступленіемъ, идетъ изложеніе достаточно изв'єстныхъ намъ взглядовъ Константина Серг'євнича на русскую государственную жизнь, на разд'єльность "земли" и государства и т. д. Первоначально теоретизированіемъ записка и ограничивалась. Но, чувствуя всю абстактность и практическую непригодность подобнаго пріема, самъ сознавая, что въ его запискі "недостаетъ сосредоточеннаго вывода, извлеченнаго изъ общихъ указаній и необходимаго для надлежащей ясности и для ощущительнаго показанія д'єствительнаго жизненнаго и въ этомъ смыслі практическаго ихъ значенія", Константинъ Серг'євнить представиль дополненіе къ запискі которое заканчивалось слідующими тезисами:

I. Русскій народъ, не имфющій въ себф политическаго элемента, отделиль государство отъ себя и государствовать не хочетъ.

II. Не желая государствовать, народъ предоставляеть правительству неограниченную власть государственную.

III. Взамънъ того, Русскій народъ предоставляетъ себѣ нравственную свободу, свободу жизни и духа.

IV. Государственная неограниченная власть, безъ вмѣшательства въ нее народа,—можетъ быть только неограниченная монархія.

V. На основаніи такихъ началъ зиждется русское гражданское устройство: правительству (необходимо монархическому)—неограниченная власть государственная, политическая; народу—полная свобода нравственная, свобода жизни и духа (мысли и слова). Единственно, что самостоятельно можетъ и долженъ предлагать безвластный народъ полновластному правительству,—это мижніе (следовательно, сила чисто нравственная), мифніе, которое правительство вольно принять и не принять.

VI. Эти истинныя начала могуть быть нарушены и съ той, и съ дру-

гой стороны.

VII. При нарушенін ихъ со стороны народа, при ограниченіи власти правительства, слѣдовательно, при вмѣшательствѣ народа въ правительство, народъ прибѣгаетъ къ внѣшней принудительной силѣ, измѣняетъ своему пути внутренней духовной свободы и силы—и непремѣно портится нравственно.

VIII. При нарушеній этихъ началъ со стороны правительства, при стѣсненій правительствомъ въ народѣ свободы нравственной, свободы жизни и духа,—неограниченная монархія обращается, въ деспотизмъ, въ правительство безнравственное, гнетущее всѣ правственныя силы и

развращающее душу народа.

IX. Начала русскаго гражданскаго устройства не были нарушены въ Россіи со стороны народа (ибо это его коренныя народныя начала), но были нарушены со стороны правительства. То есть: правительство вмф-шалось въ нравственную свободу народа, стфсиило свободу жизни и духа (мысли, слова) и перешло такимъ образомъ въ душевный деспотизмъ, гнетущій духовный міръ и человфческое достоинство народа и, наконецъ, обозначившійся упадкомъ нравственныхъ силъ въ Россіи и общественнымъ развращеніемъ. Впереди же этотъ деспотизмъ угрожаетъ или совершеннымъ разслабленіемъ и паденіемъ Россіи, на радость враговъ ея, или же искаженіемъ русскихъ началъ въ самомъ народѣ, который, не находя свободы правственной, захочетъ наконецъ свободы политической прибъгнетъ къ революціи и оставитъ свой истинный путь. И тотъ и другой исходъ ужасны, ибо тотъ и другой гибельны, одинъ въ матерьяльномъ и нравственномъ, другой въ одномъ нравственномъ отношеніи.

X. Итакъ, нарушеніе, со стороны правительства, русскаго гражданскаго устройства, похищеніе у народа нравственной его свободы, однимъ словомъ: отступленіе правительства отъ истинныхъ русскихъ началъ—

воть источникъ всякаго зла въ Россіи.

XI. Поправленіе діла, очевидно, зависить отъ правительства.

XII. Правительство наложило нравственный и жизненный гнетъ на Россію,—оно должно снять этотъ гнетъ. Правительство отступило отъ истинныхъ началъ русскаго гражданскаго устройства,—оно должно воротиться къ этимъ началамъ, а именно:

Иравительству—неограниченная власть государственная, народу—полная свобода правственная—свобода жизни и духа. Правительству—право дъйствія и, слъдовательно, закона; народу—право мнънія и, слъдовательно, слова.

Вотъ единственный, существенно жизненный совъть для Россіи въ настоящее время.

XIII. Но какъ же его привести въ исполнение? Отвътъ на это находится въ самомъ указании общихъ началъ. Духъ живетъ и выражается въ словъ Свобода духовная или правственная народа есть свобода слова.

XIV. Птакъ, свобода слова: вотъ что нужно Россіи, вотъ прямое приложеніе общаго начала къ дѣлу, до того съ нимъ нераздѣльна, что свобода слова есть начало (принципъ) и явленіе (фактъ).

XV. Но и не удовлетворнясь темъ, что свобода слова, а потому и общественное мивніе, существуєть, правительство чувствуєть иногда нужду само вызывать общественное мивніе. Какимъ образомъ можеть правительство вызвать это мивніе?

Древняя Русь указываеть намъ и на дѣло самое, и на способъ. Цари наши вызывали, въ важныхъ случаяхъ, общественное мнѣніе всей Россіи, и созывали для того Земскіе соборы, на которыхъ были выборные отъ всѣхъ сословій и со всѣхъ концовъ Россіи. Такой земскій сборъ имѣетъ значеніе только мнънія, котораго государь можеть принять и не принять.

Итакъ, изъ всего сказаннаго въ моей "Запискъ" и объясненнаго въ этомъ "Дополненіи", вытекаетъ ясное, опредъленное, прилагаемое къ дѣлу и, въ этомъ смыслѣ практическое, указаніе: что нужно для внутренняго состоянія Россіп, отъ котораго зависитъ и внѣшнее ея состояніе.

Именно:

Полная свобода слова устнаго, письменнаго и печатнаго—всегда и постоянно, и Земскій соборь, въ техъ случаяхъ, когда правительство захочеть спросить мивнія страны.

Внутренній общій союзъ жизни,—сказаль я въ своей "Запискъ",—до того ослабъль въ Россіи, сословія въ ней до того отдалились другь отъ друга, вслѣдствіе полуторастолѣтней деспотической системы правительства, что Земскій соборъ въ настоящую минуту не могъ бы принести своей пользы. Я говорю: съ настоящую минуту, т. е. немедленно. Земскій сборъ непремѣнно полезенъ для государства и земли, и нужно пройти нѣкоторому только времени, чтобы правительство могло воспользоваться мудрымъ указаніемъ древней Руси и созвать Земскій соборъ.

Открыто возвѣщаемое общественное мнѣніе—вотъ чѣмъ въ настоящую минуту можетъ быть замѣненъ для правительства Земскій соборъ; но для того необходима свобода слова, которая дастъ правительству возможность созвать вскорѣ съ полною пользою для себя и народа Земскій соборъ.

Закончимъ настоящую статью нѣсколькими словами о томъ значеніи, которое, по нашему мнѣнію, имѣетъ Константинъ Аксаковъ въ русской литературѣ послѣдняго полустолѣтія. Мы старались до сихъ поръ очертить его роль въ славянофильствѣ—роль огромиую, потому что всякое ученіе вербуетъ себѣ послѣдователей только энтузіазмомъ, только тою глубокою вѣрою въ непреложность своихъ принциповъ, которою дышетъ каждая строчка Константина Сергѣевича. Но имѣетъ ли его литературная дѣятельность какое-нибудь значеніе внѣ тѣсной сферы славянофильства? Поучительно ли чтеніе его сочиненій для людей, которымъ думается, что полное осуществленіе идеаловъ Константина Сергѣевича отодвинетъ Россію куда-то очень далеко отъ общечеловѣческаго просвѣщенія?

Намъ кажется, что и для такихъ людей изучение Константина

Аксакова имѣетъ въ себѣ нѣчто высоко-привлекательное и поучительное. Не было ли бы, въ самомъ дѣлѣ, проявленіемъ крайней узости оцѣнивать писателей съ точки зрѣнія соотвѣтствія или несоотвѣтствія ихъ взглядовъ и убѣжденій съ нашими? Не значитъ ли это упираться въ стѣну, которая закрываетъ намъ широкія перспективы истинно-научной критики, не одобряющей и не порицающей, а всего только анализирующей и констатирующей? Не смѣшно ли вообще брать на себя задачу опредѣлять, насколько тѣ или другія убѣжденія "правильны"? Гдѣ мѣрило "правильности" и не разлетаются ли всѣ такія оцѣнки, какъ дымъ, какъ только вы подойдете къ нимъ съ противоположными симпатіями? Все "правильно", что честно надумано и искренно прочувствовано, все хорошо и поучительно, въ чемъ вы видите высокій полетъ и широкій размахъ.

Да, эти два критерія не призрачны и не разлетаются, какъ дымъ, съ какой бы точки зрѣнія вы къ нимъ не подошли. Полетъ и искренность—это свойства, нравственная цѣна которыхъ останется неизмѣнной для васъ, къ какому бы вы направленію ни принадлежали.

И вотъ, если съ такими критеріями подойти къ оцѣнкѣ литературной дѣятельности Константина Аксакова,—значеніе ея несомнѣнно будетъ крупное. Со стороны умственной нельзя не оцѣнить высоты полета и широты размаха мысли Константина Сергѣевича. Его иден свидѣтельствуютъ объ умѣ большомъ, онѣ безусловно значительны и открываютъ новые горизонты, можетъ быть и невѣрные, но безспорно обшириые. Для людей, которыхъ увлекутъ взгляды Константина Аксакова, они являются новымъ откровеніемъ, для людей, которые не согласятся съ ними, они послужатъ могущественнымъ ферментомъ, способнымъ напречь всѣ силы ихъ ума и привести въ движеніе всѣ запасы ихъ знаній: легко ли въ самомъ дѣлѣ побѣдить такого вооруженнаго съ головы до ногъ противника, какъ Константинъ Сергѣевичъ?

Но, конечно, всего крупнъе становится значение Константина Аксакова, когда вы приступаете къ оцънкъ чистоты его помысловъ и искренности его намъреній. Въ этомъ отношеніи мы, кромъ Бѣлинскаго, не знаемъ ни одного человъка въ покольніи сороковыхъ годовъ, котораго можно было бы поставить съ нимъ рядомъ. Какъ намъ извъстно, знавшіе Константина Аксакова лично утверждаютъ, что всякій разъ послъ того, какъ имъ приходилось сталкиваться съ нимъ, они чувствовали себя чище и нравственнъе. То же ощущеніе испытываетъ и каждый, изучающій Константина Аксакова по даннымъ его біографіи и литературной карьеры. Невольно умолкаетъ въ васъ тотъ желчный пессимизмъ, то горькое и обидное чувство, которое назръваетъ въ историкъ литературы по мъръ того, какъ онъ ближе присматривается къ разнымъ установившимся литературнымъ репу-

таціямъ. Если пессимизмъ есть неизбѣжный удѣлъ воякаго вообще, кто ближе знакомится съ людьми, то еще горшее разочарованіе ждетъ насъ, если эти люди не кто-нибудь такіе, а писатели, глашатан добра по профессіи, пророки правды по основному назначенію своему. Сколько ложныхъ репутацій, сколько мишуры вмѣсто золота, сколько фразерства вмѣсто дѣйствительныхъ убѣжденій, сколько праздной болтовни и драпировки вмѣсто дѣйствительнаго желанія слѣдовать проповѣдуемымъ принципамъ!

Но ни къ одной изъ этихъ категорій даже близко не подходитъ Константинъ Сергвевичъ. Въ его лицв мы имвемъ двло съ пророкомъ настоящимъ, до мозга костей воодушевленнымъ своими идеями, съ глашатаемъ правды, понимаемой имъ, конечно, по своему, но псповудуемой имъ съ такою горячею искренностью, съ такою святою чистотою, что онъ будятъ хорошія чувств въ каждомъ, кто приходитъ съ ними въ соприкосновение. И вотъ почему литературная двятельность Константина Аксакова не замыкается, по нашему мивнію, тъснымъ кругомъ славянофильской доктрины, а имъетъ значение для всей русской литературы вообще. Главное назначение литературыпорождать честныя стремленія, а въ какихъ формахъ такія, разъ пробужденныя, стремленія впоследствін проявятся-это, право, детали второстепеннаго значенія. Мы глубоко убъждены, что истинночестные и добрые люди, не прикрывающіе разными принципами какія-нибудь низменныя побужденія, всегда приносять пользу, къ какой партіи они бы ни принадлежали и къ какому "толку" они бы себя ни причисляли. Люди, искренно-желающие добра своей родинь, всегда сумьють столковаться и, стремясь къ нему даже съ разныхъ теоретическихъ точекъ зрвнія, на практикю придуть къ однимъ и темъ же вековечнымъ началамъ, которыми живо и движется впередъ человъчество. Чтобы не ходить далеко за примърами, возьмемъ редакціонныя комиссін по крестьянскому дёлу, гдё честные славянофилы, въ родъ Юрія Самарина, расходясь въ частностяхъ, въ общемъ шли къ той же цёли, что и люди "крайняго" и западническаго "Современника".

1887.

